Туркменские повести

Туркменские повести

Перевод с туркменского



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984

Составление
А. Тагана

Предисловие
З. Османовой

Художник
А. Ременник

Т88 **Туркменские повести**: Пер. с туркм./Предисл. З. Османовой.— М.: Худож. лит., 1984.— 560 с.

Включенные в настоящее издание произведения советских туркменских писателей относятся к числу наиболее значительного из того, что создано в туркменской литературе в жанре повести.
Они — о дореволюционном быте туркменского дайханина, об эпохе борьбы за Советскую власть в Туркмении, о борьбе женщин с косностью житейских правил адата, о наших современниках — строителях, добытчиках газа, чабанах. Они — о человечности и величии подлинного искусства, о его нравственной силе.

Т $\frac{4702540200\text{-}287}{028\ (01)\text{-}84}$ 111-84

ББК 84Тур7
С(Туркм)2

Нравственный смысл туркменской повести

Книгу туркменских повестей открывают два разных по содержанию и стилю произведения. Ведя читателя в глубь народной жизни, каждое из них заложенными в нем мыслями и образами способствовало формированию рожденной Октябрем туркменской прозы, каждое содержало черты, которые легли в основу современных традиций национального реалистического повествовательного искусства.

Первую повесть написал зачинатель и старейшина туркменской советской прозы Берды Кербабаев, автор первых туркменских исторических и историко-революционных романов, романов о жизни молодого туркменского рабочего класса, разведчиков и добытчиков нефти и газа, о неграмотных дайханах, которые становились хлопкоробами, учителями, механизаторами, агрономами, партийными и государственными деятелями,— обо всех тех, кто делал первые решающие шаги из прошлого в настоящее. «Решающий шаг» — так и назывался роман Б. Кербабаева, принесший его автору, а вместе с ним и его родной литературе, всесоюзную и международную известность.

Действие повести «Обоюдное сватовство» разворачивается полностью в сфере дореволюционного быта туркменских дайхан. В неукоснительном соблюдении установленных предками законов общежития видится герою сохранение святости домашнего очага, нравственности, завещанной многими поколениями.

Сюжет повести — самый что ни на есть повседневный, житейский: бедняку надо женить старшего сына, но справить свадьбу не на что. И только просватав за калым малолетнюю дочь, бедняк мог бы помочь своему старшему устроить судьбу, а заодно и себе — с тем чтобы выпутаться из долгов, соблюсти неписаные законы и суровые правила адата.

Уже в этом, одном из ранних произведений Б. Кербабаева, заметны те черты, которые станут характерными для творчества

выдающегося туркменского писателя: неторопливость повествовательной манеры, умение проникнуть в характер, внимательное вглядывание в жизнь, пластика описаний природы, одежды, внутреннего убранства жилища, повадок домашних животных — сторожевой собаки, овец, кормильца верблюда. И при этом — незаметная, неназойливая акцентировка положительного в народном характере: прямота и честность, верность слову и долгу.

У жителя песков — кумли — жажда прекрасного, звучащая немолчной музыкой в его душе, едва ли не самая стойкая черта натуры. Об этой страсти туркмена к музыке, корни которой уходят в даль веков, о высокой миссии народного певца — бахши — рассказывается в повести Нурмурада Сарыханова «Шукур-бахши». Эта повесть, не публиковавшаяся при жизни автора, который погиб в боях за Родину во время Великой Отечественной войны, сыграла совершенно особую роль в истории туркменской литературы. Пленительные звуки, рожденные дутаром Шукура-бахши, до сих пор звучат в произведениях туркменских писателей и, наверное, не затихнут никогда: ведь Н. Сарыханов затронул сокровенные струны души народа, рассказал о том, что ценится им превыше всего. Потому что «самое дорогое для туркмен не ковры, не желтый и белый металл, самое дорогое у нас — музыка». Именно так отвечал гордый Шукур-бахши коварному Мамед-Яр-хану, от одного взгляда которого зависела жизнь певца. И это чувство не романтическое преувеличение, не дань легендарному сюжету, оно — в основе духовной культуры народа.

Больше жизни любил свой дутар, свою музыку Шукур-бахши. Так любил и так верил в магию звуков, что одной силой своего искусства рискнул вызволить из ханского плена своего единокровного брата. И он победил. Победил бескорыстием таланта, высоким творческим даром озарения. В повести идет речь о великодушии и благородстве, о верности своему призванию. В нелегком состязании Шукуром-бахши руководили не только родовые обязательства по отношению к брату, но и всепоглощающее желание помочь человеку, который первым почувствовал в нем тягу к музыке и поддержал ее.

Обе повести — о прошлом, преломленном через обыденное и легендарное. Но основные мотивы этих произведений возникнут и в повестях младших современников Кербабаева и Сарыханова, возникнут уже в другой идейно-художественной и стилистической аранжировке. В одном случае — как мотивы преодоления вредных пережитков прошлого, неустанной и нелегкой борьбы за новый уклад жизни, за новые общественные идеалы, за нового человека; в другом — как продолжение и обогащение в новых исторических условиях лучшего в нравственно-этических традициях народа, в его духовной культуре, в его отношении к труду, к воинскому

долгу, к защите природы, окружающей среды от посягательств браконьеров, хищников, стяжателей...

К первой группе я бы отнесла повести Наримана Джумаева «Тихая невестка», Ташли Курбанова — «Желтый цветок», Берды-назара Худайназарова — «Сормово-27». Написанные в начале 60-х годов, они несут на себе печать интенсивных исканий своего времени, отмеченного усилением творческой активности писателя, пристальным его вниманием к быстро меняющейся действительности туркменского села и города, к отношениям в семье, в рабочем коллективе. И не случайно, а закономерно, что в центре этих повестей — женские судьбы. Образ «тихой» невестки Сельби никого в свое время не оставил в Туркменистане равнодушным: это был новый положительный образ в туркменской прозе.

Выйдя замуж по любви и сделав, таким образом, самостоятельный выбор, героиня повести, считаясь с чувствами родителей мужа — людей, придерживавшихся старых взглядов и обычаев,— согласилась на традиционную церемонию сватовства, томилась на свадьбе в жару под ватным халатом, спрятанная от глаз посторонних, яшмак и борук[1] позволила на себя надеть. Но исподволь делала все, что было в ее силах, чтобы противостоять старому, завести в доме мужа новые, разумные правила, найдя в этом поддержку поначалу не столько даже у мужа, сколько у его младшего брата-школьника. Ей было трудно. Ведь даже полированный ящик-радиоприемник раздражал суеверную свекровь, боялась она нечестивого духа, который, считала она, вселился в дом вместе со строптивой невесткой. А свекор — честнейший человек — хотел саблей изрезать ковер, сотканный Сельби, только потому, что, в нарушение обычая, она вплела в сложный узор слова любви к своему Джемшиду...

Нелегко пришлось Сельби. Но еще, пожалуй, труднее складывалась судьба героини повести Ташли Курбанова «Желтый цветок» юной Малике. Получилось так, что мир Малике после смерти матери замкнулся стенами дувала, которыми был обнесен двор Девлета, ее брата. «Небо над головой, стены и горы вокруг, да земля под ногами»,— вот и все, что могла видеть девушка, с утра до вечера склоненная над ковроткацким станком. Но вот и ее случайно коснулась сплетня, обывательские пересуды, и любящий отец, чтобы спасти, по его понятиям, честь семьи, готов принести в жертву адату любимую дочь... Но и в податливой натуре Малике пробуждаются силы сопротивления, и она сама, вырвавшись из дому и оседлав коня, скачет навстречу своему счастью. Героини повестей Н. Джумаева, Т. Курбанова, Б. Худайназарова нашли

[1] Яшмак — «платок молчания», которым женщина завязывала себе рот в присутствии мужчины; борук — головной убор.

поддержку у передовых людей села, у новой сельской интеллигенции, у коммунистов — строителей Каракумского канала.

Вопросы, поднятые писателями двадцать лет назад, не потеряли своей общественной остроты и сегодня. Об этом свидетельствует хотя бы темпераментное выступление одного из авторов этого сборника Тиркиша Джумагельдиева на страницах журнала «Дружба народов» (1963, № 6). Писатель говорил о все еще существующей диспропорции между трудовым вкладом женщины (особенно в деревне), ее общественным положением и представлениями об идеале женщины. «Да, наши женщины всегда были верными, покорными, всегда работящими. Но если подчеркивать в них только такие качества,— заостряет свою мысль писатель,— то будет ли это положительная героиня времени и будет ли с о в р е м е н н ы м (разрядка моя.— *З. О.*) национальный характер?..»

Думается, что позитивное значение повестей Н. Джумаева, Т. Курбанова, Б. Худайназарова еще и в том, что в них творчески осмыслены и демократические традиции родного фольклора, замечены и обобщены новые черты в женском характере и тем самым внесена новая нота в понимание и оценку положительного начала в герое современной советской многонациональной литературы, в особенности литератур народов Средней Азии, в историко-художественных традициях которых есть, как известно, много общего. А в характерах Сельби, Малике немало черт, сближающих их, скажем, с образом айтматовской Джамили.

Общее и национально особенное... Как плотно, как туго бывают эти понятия перевиты и сплетены в едином многокрасочном узоре художественного целого! В особенности, если в центре повествования оказывается фигура такого масштаба, как Махтумкули, поэт-воин, мыслитель и гуманист XVIII века, наследие которого оказало и продолжает оказывать влияние на духовную жизнь не только туркмен, но и многих других народов Средней Азии, Казахстана, Азербайджана, зарубежного Востока.

Образ Махтумкули вдохновлял многих туркменских поэтов и прозаиков. В посвященной Махтумкули повести «Приглашение» Курбандурды Курбансахатов создает романтический образ поэта-воина, вольнолюбивого мыслителя, мечтателя и трезвого реалиста, противостоящего злу своей нравственной силой, силой человека, наделенного личной отвагой, сознанием ответственности своего поэтического дара. Из жизни Махтумкули выбран один, но яркий эпизод: поэт вероломно уведен в плен к иранскому шаху. Как легендарный Шукур-бахши у Н. Сарыханова, Махтумкули в повести К. Курбансахатова противостоит злу и коварству нравственной цельностью, талантом и государственной мудростью. Махтумкули подписывал свои стихи псевдонимом Фраги — Разлученный. Это слово в контексте повести о жизни Махтумкули может быть

истолковано различно: разлученный со своей прекрасной возлюбленной Менгли, разлученный с родиной и родными, разлученный с заботой о благе и процветании своей земли, которую в мечтах он представлял себе не разобщенной племенными и родовыми распрями, а единой, процветающей, сильной, живущей в мире с соседями. Образом Махтумкули и его отца — ученого и поэта Давлетмамеда — писатель подчеркнул преемственность гуманистических традиций народа, его представлений о счастье, о справедливости, о добре и зле, подчеркнул значение памяти в истории культуры. Памяти, которая крепче камня, времени подвластного.

«Все, что связано с народом,— всегда драгоценно»,— говорил Ата Каушутов. Драгоценностью для туркмена был конь. История скакунов, рассказанная Ата Каушутовым в повести «Туркменские кони», тесно связана с историей народа, с историей его борьбы с иноземными захватчиками, с историей воинских подвигов его героев. Писатель свидетельствует: «Да, в прошлые времена люди смело вверяли свою судьбу коню! Конь был верным другом и спасителем». «Встань поутру, повидай своего отца, а потом своего скакуна» — гласит древняя туркменская пословица. Повесть А. Каушутова интересна современному читателю не только как иллюстрация туркменского быта, отчасти уходящего, но и как существенная часть образа жизни и миропонимания человека, его своеобразных связей с живой природой. Поэтому конь нередко наделяется человеческими чертами, вырастает до символа свободолюбия, мужества, выносливости и преданности человеку.

О новаторских чертах в произведениях туркменских писателей, авторов данного сборника, в последнее десятилетие свидетельствует и расширение тематического диапазона, и глубокое осмысление общественно значимых конфликтов, сопровождающееся, как правило, более развернутой, социально точной мотивировкой поведения героев, выбора ими жизненного пути.

Когда, начиная с конца 50-х годов, в печати стали появляться рассказы, повести, а затем и романы Тиркиша Джумагельдиева, они привлекли внимание нетрадиционным, оригинальным решением старых конфликтов, остротой столкновения характеров.

В повести «Спор» Т. Джумагельдиев обратился к дням гражданской войны в Туркменистане, к времени борьбы за установление там Советской власти. Спор — наступательный, последовательный — ведется не только по кардинальным проблемам настоящего,— речь в нем, что очень важно, идет и о будущем родного народа. В этот спор так или иначе вовлекаются все, с кем приходится сталкиваться двадцатилетнему большевику Мердану, утверждающему правоту революционного дела, которое коренным образом должно изменить судьбу туркмен. Это и бедняк Сапар, запу-

ганный баями, и его мать, и многие другие. Но главным «оппонентом» Мердана становится сын бая, реакционер и монархист Якуб, цинично относящийся к народу, видящий в нем бессловесное, неспособное к сопротивлению и к самостоятельному, осознанному выбору пути стадо. В жарком, кровопролитном споре, в котором рождалась историческая правда и обретали классовое самосознание замороченные религиозной демагогией, задавленные феодальным гнетом бедняки, с несокрушимой логичностью победу одерживает Мердан.

Самый молодой из авторов сборника Ходжанепес Меляев в повести «Пламя» продолжает тему, к которой одним из первых обратился Берды Кербабаев. На материале наших дней Х. Меляев повествует о труде людей, осваивающих недра Каракумской пустыни. Выпускника Бакинского института нефти и химии туркмена Мергена Мергенова посылают, по его просьбе, «в самую горячую точку» на газопромыслах, расположенных в пустыне. Мергена окружают не только хорошие люди, честные и самоотверженные рабочие и мастера, настоящие коммунисты. Деляги, приспособленцы, карьеристы занимают далеко не последнее место в поле зрения писателя, беспощадно их развенчивающего. Многонациональный коллектив тружеников помогает молодому специалисту выстоять, проявить лучшие качества своей натуры, добиться реализации своих творческих планов, обрести истинных друзей, найти настоящую любовь.

Отношение к пустыне, как к некоему нравственному началу, которое должно иметь место в жизни каждого туркмена и в эпоху научно-технической революции, определяет поведение всех действующих лиц завершающей сборник повести Аллаберды Хаидова «Мой дом — пустыня».

Тут мне кажется уместным вспомнить слова видного деятеля туркменской кинематографии, пути развития которой различны и в то же время очень схожи с путями развития туркменской литературы,— слова кинорежиссера Ходжакули Нарлиева, чей фильм «Дерево Джемал» с момента его показа в 1981 году на XII Московском международном кинофестивале неизменно вызывает интерес зрителей. Споря с трактовкой образа пустыни в некоторых картинах, Х. Нарлиев высказал важную мысль, связанную с пониманием национального своеобразия искусства: «Как там показаны пески? Как враг. А для туркмена пески — его жизнь. Его друг. Пески сохранили народ от легионов завоевателей... Для нас пески — как земля и леса; все, что мы имеем, где мы живем. Современная пустыня — рабочее место человека. Она наполнена голосами, здесь живут пастухи, геологи, строители...»

Таким другом стала пустыня для старого чабана — главного героя повести А. Хаидова. Образ этот, очень естественный, выпи-

санный с большой теплотой, искони туркменский и в то же время способен тронуть сердца людей самых разных национальностей.

Тема труда — одна из основных в творчестве туркменских, как и всех других советских писателей. И на видном отовсюду месте находится здесь «простой» труженик, много и честно работающий на своем веку, никогда не забывающий о своем долге перед Родиной и людьми. Командир аемснаряда из повести Б. Худайназарова, бурильщик Торе-ага у Х. Меляева, чабан Юсуп у А. Хаидова — во всех этих образах воплощено понимание писателями роли и значения подлинного строителя жизни, передающего свой опыт поколениям, идущим на смену.

Как схожи и как различны пути советского многонационального искусства и литературы... Так тесно, как никогда раньше, взаимосвязаны в наше время смежные виды искусств. Творческие искания писателей, кинематографистов, художников разных народов идут в одном магистральном направлении, а разнонациональный материал — их основа — позволяет ярче оттенить и выразить и национальное своеобразие, и общую гуманистическую суть. Разве не таким же полноправным и своенравным героем, как пустыня в повестях туркменских писателей, является степь в произведениях казахских и киргизских писателей? А как емок и многозначен образ серозекских степей в романе Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» («Буранный полустанок»)! А какая это школа подлинно гражданского, интернационального воспитания, когда художественные ценности, созданные разными народами, утверждаются в их интернациональном, общечеловеческом, высоком и равноправном эстетическом значении! Идейно-эстетическая общность проявляется не только в утверждении положительных начал, но и в развенчивании зла, отрицательных явлений. Их корни, как и их плоды, могут быть также схожими на вкус и цвет, социально однотипными. Вспомним широко известную повесть Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей». В повести белорусского писателя Алеся Жука «Охота на последнего журавля» браконьеры, как и в повести Х. Меляева «Пламя», устраивают ночную охоту на зайцев. И чтобы положить конец кощунственной практике безжалостных и к людям, и ко всему живому расхитителей народного достояния, жертвует жизнью бывший партизан, проливший кровь в борьбе с фашистами, человек светлой души и высокого сознания общественного долга. Таких примеров из истории советской многонациональной литературы последних лет можно привести немало. Непримиримостью к собственнической психологии, равнодушию, эгоизму характеризуется повышение социальной активности советской литературы, усиление ее идейно-нравственного воспитательного пафоса.

С углублением социального анализа в туркменской повести меняется и ее структура. Описание, рассказ о событии, вытесняется изображением. Изменяется функция повествователя: повествование от его лица заменяется повествованием от лица героя произведения. Четче и динамичнее развивается конфликт, усложняется нравственно-философская проблематика, значительнее, крупнее становится обобщающая мысль автора, что нередко связано с обращением туркменских писателей к теме Великой Отечественной войны. Память о войне неистребима в сознании героев их произведений, определяет и в мирное время их отношение к жизни. Но остаются стабильные черты поэтики. Они связаны с обращением к фольклорным истокам и образам. Почти в каждую повесть вплетаются легенды, притчи, предания. Речь персонажей уснащена пословицами, поговорками, стихами классиков. Много в повестях музыки. Можно сказать, что туркменские повести озвучены народными мелодиями.

Особенности развития туркменской литературы, туркменской повести неотрывны от закономерностей развития всей советской многонациональной прозы. Прошлое и современность — постоянные темы туркменских писателей. Чем глубже осмысливается ими прошлое, тем в более ясной и четкой перспективе видится современная проблематика, современная жизнь, тем очевиднее необходимость и сегодня утверждать и защищать завоевания революции. Основа будущего — светлое настоящее, завоеванное ценой стольких жертв,— нуждается и сегодня, в период ожесточенного наступления сил империализма против сил мира и демократии, в защите и упрочении. В этом и заключается нравственно-этический смысл повестей, созданных туркменскими писателями в 30-х — 70-х годах и только частично представленных в этом сборнике.

З. Османова

Повести

Берды Кербабаев

1894–1974

Обоюдное сватовство

1

Все это произошло лет двадцать назад в Теджене, одном из наших дальних аулов.

Жил в этом ауле бедный крестьянин из племени аквекил по имени Черкез. Был он человеком невысокого роста, со смуглым округлым лицом, чуть приплюснутым носом. Семья небольшая, да и хозяйство малое, так что с трудом сводили концы с концами. Как и другим беднякам, трудно приходилось. Один год семян для посева не хватит, другой — воды для полива. Помимо Черкеза хозяйством занимались его жена Аннабагт и старший сын Дурды. Но как они ни старались, достатка у них не прибавлялось, и жили они только лишь не впроголодь.

Дурды давно уже пора было жениться, да как же без калыма сосватаешь невесту. Здесь нужно целое богатство, а в доме не каждый год появлялась у кого-нибудь обновка. Все уходило на то, чтобы только прокормиться. У Черкеза был еще один сын — Сахы и дочь Аджаб, самая младшая в семье. Вот она-то и была единственной надеждой отца, чтобы разрешить задачу женитьбы старшего сына.

И сам Дурды с нетерпением ждал, когда подрастет его двенадцатилетняя сестренка и можно будет устроить обоюдное сватовсгво, то есть найти для Дурды невесту в таком доме, где был бы жених и для подрастающей Аджаб, чтобы ни тем, ни другим не выплачивать калыма, чтобы сватовство сошло так на так.

Сверстники Дурды уже давно поженились, обзавелись своим хозяйством, заимели детей, а он все ходит холостым.

Бороду Дурды стрижет ножницами, получается неровно, где плешь, а где будто мураши скопились. Но зато завитушки его лихо закрученных усов стремительно пересекают щеки. Черные брови сходятся на переносице, а из-под них блестят темные глаза, в глубине которых затаились недовольство и обида.

То, что Дурды сетует на свою судьбу, в семье и так все знали, но он не забывал подчеркивать досаду при любом случае, каждым своим жестом. То, выходя из дому, нарочито небрежно набросит на плечи чекмень, то шапку сдвинет набок — все равно, мол, пропадать! А спросите, на кого он сердится, почему такой злой, с кем он не согласен, он толком и не ответит. Но самого себя он, во всяком случае, ни в чем не винит. Зато покрикивает то на брата, то на сестру, бранится с матерью, достается с ним хлопот и отцу. Когда тот зовет его помочь ему по хозяйству, Дурды делает вид, что не слышит. Он надолго уходит, не сказав куда, и частенько выкидывает всякие фокусы.

Черкез, глядя на выходки сына, начинает советоваться с женой, как быть, но оба не знают, что придумать. Единственный выход — обоюдное сватовство. Но среди знакомых семейств пока ничего подходящего нет. Да и Аджаб всего лишь двенадцать лет.

Мало того, что Черкеза угнетает нужда, так еще прибавилась одна забота — женитьба сына.

2

К концу тусклого осеннего дня с запада целыми табунами повалили тучи, постепенно застилая все небо. Одну за другой они проглотили все звезды... Какая неведомая сила со свистом и воем гоняет ветер, предвещая бурю?..

А Дурды ветер не помеха. Он не спеша шагает вдоль села, направляясь к кибитке Бессира в другом конце аула, где проводят время желающие повеселиться парни. В это время там как раз идет сговор, чтобы устроить очередную складчину.

Но неудачное время выбрал Дурды для веселья. Отец, бывший несколько дней в отлучке, как раз в этот час воз-

вратился домой. Долгий путь утомил его. Он спешился возле своего бедного жилища и, привязав лошадь, вошел в прокопченную кибитку, где тлели и нещадно дымили мокрые дрова. Глаза Черкеза, подобно глазам собаки, не чувствовали дыма: попривыкли за долгие годы.

В кумгане, пристроенном на очаге, закипает вода... Черкез садится в центре кибитки, подобрав под себя ноги. Хозяйка заваривает чай в потрескавшемся чайнике и подает мужу.

Аннабагт далеко за сорок. В ее волосах, спускающихся на виски, еще нет седины, но множество морщин на лбу говорит, как много у нее забот и какой тяжелой трудовой жизнью живет эта женщина.

Аннабагт поднимается, покрывает голову старой, залатанной накидкой.

— Ты, видно, устал, да и продрог. На дворе вон какой холод. Надо тебе пропотеть, а потом хорошенько выспаться. Пойду-ка я принесу еще топлива.— И Аннабагт выходит во двор.

Ветер неистовствует. Лошадь, почувствовав приближение хозяйки, подняла уши, повернулась к ней и, в ожидании от нее корма, заржала. Аннабагт стало жаль лошади. Она возвратилась в кибитку, взяла сито и бросила лошади соломы. Потом быстро набрала сухих колючек и вернулась к очагу.

— Погода-то какая скверная... Такой ветер обязательно нагонит дождливые тучи. А мы еще ничего на зиму не припасли. Яму для самана не вырыли. Стойло для лошади не покрыто.

То, о чем говорила Аннабагт, не на шутку растревожило хозяина. Он не мог уже спокойно лежать и пить чай. Поставив пиалу, он спросил Аннабагт:

— А где Дурды? Я же перед отъездом велел ему все это сделать. Он и ямы для самана не вырыл?

— Нет.

Последнее время в душе Аннабагт накопилось много обиды на сына, и теперь она не удержалась и начала жаловаться мужу:

— Если б Дурды был хорошим сыном, давно бы все сделал и без твоей указки. Перед соседями стыдно. У них все делается вовремя. Сам знаешь, каким стал Дурды... Днем не работает. Каждый вечер уходит из дому. Вот и сегодня опять ушел. Бог его знает, где он ходит и чего делает. Ни дождь, ни холод ему нипочем. Дома мать да малые дети, а ему все одно. Была бы у него совесть, подумал

бы: «Вот вернется отец, надо его встретить, присмотреть за лошадью. А потом посидеть подумать, как дальше жить». Если бог не поможет, то никто за него даром свою дочь не отдаст. Но и самим надо что-то делать.

Черкеза не особенно волновали житейские мелочи. К тому же он устал. Но жалобы Аннабагт на сына были справедливы. В нем закипела злоба, на лбу собрались морщины, и недобрым светом засветились его глаза из-под сдвинутых бровей.

— Где сейчас этот шалопай?

Аннабагт, видя, что муж сильно рассердился, уже раскаивалась, что наговорила на сына. Теперь она боялась, как бы не произошел скандал, и попыталась успокоить мужа. Она поправила волосы и обратилась к нему с улыбкой:

— Да что ты, отец, стоит ли сердиться из-за таких пустяков. Я не знаю, куда ушел Дурды. Далеко он не уйдет. Скоро появится. Пей чай, а то остынет.

Но Черкез уже не мог успокоиться. Он глубоко вздыхал, а когда слышался малейший шорох, окрикивал:

— Эй, Дурды!.. Дурды!

Но ответа не было.

— Где он пропадает, негодник?

Необдуманно сказанные слова ничего хорошего не приносят, а вернуть их нельзя. Аннабагт теперь жалела, что затеяла весь этот разговор.

— Послушай, отец, пока ничего страшного не произошло. Дурды-джан за один день выроет яму. А стойло для лошади он сделает и того быстрее.

— Да, стойло он поправит и яму выроет, а на нас все так же будет плевать. Ни отца, ни мать не уважает. Всем недоволен. Всех в чем-то винит. А сам?.. Сейчас же позвать его домой, где бы он ни был!

В углу, обхватив руками колени, молча сидела Аджаб. Совсем недавно она стала заплетать волосы на две косички, уже не маленькая. Услышав последние слова отца, она вдруг сказала:

— Я видела, как Дурды недавно вошел в кибитку Бессира.

Аннабагт, желая угодить мужу, ласково попросила дочь:

— Доченька, если ты его там видела, так иди позови Дурды домой.

На Аджаб были тюбетейка и платьице. Она быстро вскочила, надела башмаки и вдруг в испуге остановилась:

— У той кибитки собака!.. Она меня укусит.

Рассерженный Черкез закричал на ни в чем не повинную девочку:

— Чего остановилась? Когда эта собака кусалась? Беги, трусиха!

Аджаб пулей вылетела за дверь и помчалась к кибитке Бессира.

Не успела за Аджаб закрыться дверь, как в кибитку вошел рослый мужчина.

— Добрый вечер! — приветствовал он хозяев.

— Добро пожаловать, Эсен, проходи.— Черкез хотя и ответил приветливо, как подобает хозяину, но по голосу все же можно было догадаться, что он не в духе.

Эсен роста был высокого, но худощав, на его грудь спускалась редкая борода. На нем были бязевые штаны, бязевая рубашка. Из-под старой шапки выглядывала отпоровшаяся подкладка. На плечи он накинул старый, уже потерявший всякий цвет халат. Босые ноги болтались в огромных чокаях. Эсен сел с правой стороны от Черкеза, поближе к огню. Он знал, что его сосед Черкез куда-то ездил, и теперь, услышав его громкий хриплый голос, подумал: «Не случилось ли чего? Упоминают Дурды. Как бы не обидели его зря. И так парень обижен судьбой». Вот Эсен и пришел, чтобы успокоить Черкеза.

Аннабагт взяла из засаленного мешочка две щепотки чаю. Каждую засыпала в отдельный чайник и заварила кипятком из кумгана. Один чайник поставила перед Черкезом, другой подвинула Эсену.

— Аннабагт,— тихо сказал Эсен,— я только что пил чай. Пейте сами.

— Чего там, бери и пей! От чая плохого не будет,— невесело, продолжая думать о своем, ответил ему Черкез.

Справившись о здоровье хозяев, Эсен пододвинул к себе чайник, уселся поудобнее и завел разговор:

— Эй, Черкез, ты куда-то уезжал. Что ты там пил, ел — пусть все будет твое. А нам расскажи, что видел, что слышал. Что нового на свете?

Черкез отвечал холодно, без особого желания:

— А что может быть нового? Везде одно и то же. И везде порядки одни. У богатых даже собаки с жиру бесятся, а беднякам все труднее и труднее. Конечно, где народ, там и разговоры, где разговоры — там и новости. А если тебя интересует что-то особое, тогда иди подряд по всем кибиткам, а возле нашей остановись, посмотри кругом — и увидишь: на дастархане нет хлеба, в очаге нет дров. По кибит-

ке ветер гуляет, во дворе под дождем мокнет саман. Единственная лошадь — без укрытия, дрожит от холода. Я не знаю, когда мы увидим светлый день, когда будем жить посвободней? — с горечью вопрошал Черкез. Было видно, что этот человек дошел до отчаяния. Надо было его чем-то утешить.

— Что ты, Черкез! О чем ты говоришь? — спокойно заговорил Эсен.— Все это пустяки. А будем живы, увидим и светлый день.

— Эсен, ты такой же крестьянин, как и я, и знаешь, что всякому делу есть свое время.

— А что, разве зима пришла и все завалило снегом? Или у нас с тобой табуны лошадей и им негде укрыться? Много ли надо времени, чтобы сделать конюшню для твоей клячи? А для твоего самана большой ямы не нужно.

— Я и не говорю, что у меня всего много. Но и то малое, что надо сделать, не делается! Правильно ты судишь, все это не такой великий труд. Сам я справлюсь за один день. Не это меня мучает. Обида моя в том, что сын не считается ни с отцом, ни с матерью. Что ему ни говоришь, не слушает.

Справедливы слова Черкеза. И Эсен, не зная, чем еще успокоить соседа, делает вид, что занят чаем, внимательно следя за выражением лица Черкеза.

— Не пойму я тебя, Черкез. То ли у тебя характер испортился, то ли ты от усталости разворчался сегодня.

— Мы с тобой не должны сравнивать себя с Дурды или твоим сыном Гельдымурадом. У них на губах еще молоко не обсохло. Они наши дети и должны нам повиноваться.

— Хороши дети! Бороды стричь не успевают, усы отрастили, точно рога у черного быка. Дети!

В это время в кибитку вошел Дурды и тихо поздоровался с отцом. Черкез, не ответив на его приветствие, сдвинул брови и строго уставился на Дурды:

— Ты что же это? На кого ты оставил хозяйство? Где шатаешься? Ты что, внук бая Насыра? Тебе, кроме как шляться по аулу, и делать нечего?

Но Дурды не считал себя счастливчиком. Ему тоже эти дни было не сладко. И у него на душе накипело. Потому на ругань отца он ответил дерзостью:

— Ты тоже всюду шатаешься попусту. Видно, и теперь возвратился ни с чем и хочешь сорвать свое зло на мне.

— Замолчи!..

— Подумаешь, нашелся бай. Какое там у тебя хозяйство! Одна лошаденка. Шумишь, будто у тебя сто отар овец!..

— Как ты смеешь пререкаться со мною! Сейчас же замолчи! — закричал Черкез.

— Я сам себе хозяин. Сам управляю своим языком.

Черкез, как ужаленный, вскочил с места:

— Ах ты свинья поганая!

— Если ты хочешь, чтобы я уважал тебя как отца, остановись,— угрожающе пробасил Дурды.

Эсен не знал, что и делать. Он схватил Черкеза за плечо:

— Ну что ты, Черкез! Ну ладно... Что такого по глупости сказал Дурды? Ты тоже сказал лишнее. Это тебе не к лицу.

Черкез стоял недвижно.

— Вон с моих глаз! — И он указал Дурды на дверь.

Дурды плотно запахнул халат.

— Если от того, что ты выгонишь меня, тебе станет легче, я уйду,— сказал он и ушел.

На улице шел дождь...

Эсен сел на свое место.

— Черкез, раньше ты не был таким. Что это вдруг случилось с тобой? Вы что, каждый свою злобу срываете друг на друге? — Он замолчал, вопросительно глядя на соседа.

Черкез не отвечал. Тогда заговорила Аннабагт. В голосе ее слышались печаль и жалость. Ей было одинаково жалко и отца, и сына.

— Что с тобой сегодня, отец? Каков бы ни был Дурды, но он твой сын. Поругать его следует, но зачем гнать парня из дому?

Не пришедший еще в себя Черкез грубо оборвал ее:

— Молчи хоть ты. Была бы хорошей матерью, этот щенок не вел бы себя так.

«А не в тебя ли он уродился?» — хотелось ответить Аннабагт, но, постеснявшись Эсена, она промолчала.

Теперь для Эсена настала очередь примирять мужа и жену:

— Ничего, Аннабагт, уж такова отцовская доля: сегодня поругает, завтра приласкает. Между отцом и сыном часто так бывает.— Он поднялся.— Ну, пора и спать,— сказал Эсен и вышел.

В темной кибитке наступила тишина. Поверх нее забарабанил дождь.

3

К полуночи дождь перешел в ливень. Земля, насытившаяся влагой, покрылась лужами. Потом дождь то припускал сильнее, то стихал, а перед рассветом тучи иссякли, пелена тумана начала разрываться на пенистые, быстро рассеивающиеся легкие облака. Солнце явилось на чистое, голубое небо. Радостно улыбаясь, оно поднималось все выше и выше, щедро рассылая всем и всюду свои золотые лучи.

Но даже такая картина не радовала Черкеза. Он без особого желания пил чай. Потом, облокотившись на подушку, задумался.

Аннабагт было еще тяжелее. Она и не дотронулась до чая. Сидела, будто мертвая. «Где Дурды? Куда он ушел? Что с ним? Хорошо еще, если он заночевал у кого-нибудь в своем ауле... А если провел ночь под дождем?.. Заболеет...» Эти мысли не давали ей покоя. Аннабагт хотелось заговорить с мужем о Дурды, но, боясь грубых слов Черкеза, она молчала.

Может быть, от чая, а может быть, от каких-то пришедших ему в голову добрых мыслей Черкез начал понемногу успокаиваться. Теперь он уже начал жалеть, что так погорячился.

— Что будем делать, Аннабагт? — обратился он к жене.— Этот негодник и ночевать не явился...

Аннабагт тяжело вздохнула, пригладила волосы.

— Не знаю, отец... У женщины ум короток. Ты уж сам решай. Одно надо сделать обязательно: женить его. Иначе в доме покоя не будет.

Черкез приподнялся:

— Эх, Аннабагт, у кого ничего нет, тому остается только могила.

Аннабагт поняла, что вчерашний гнев с Черкеза сошел. Обрадованно улыбаясь, она сказала:

— Что ты, отец, не гневи бога. У нас нет богатства, это верно, но бог, спасибо ему, дал нам детей. Сын подрос, растет и дочь. Вот она какой становится красавицей. Мы живем среди людей. И у других есть сыновья да дочери. Надо поискать равных себе для обоюдного сватовства. Ну конечно, Аджаб еще очень молода, да и это не беда. Дети растут быстро. Не успеешь оглянуться, она уже станет невестой.

Черкез покачал головой:

— Это так... но она совсем еще крошка. Что о ней вести разговор?

— Не падай духом, отец. Можно найти семью, где взрослая дочь, а сын еще подросток.

— Не знаю я такой семьи.

— Надо людей порасспросить. А пока узнать бы, где Дурды. Сначала надо поговорить с его дружком Гельдымурадом. Может, он знает.

— Тогда я позову Эсена и посоветуюсь с ним.

Черкез, высунув голову из кибитки, крикнул:

— Эсен! А Эсен!

Эсен в это время был во дворе.

— Слышу, слышу, Черкез! — сразу же отозвался он.

— Есть ли у тебя время зайти к нам?

— Иду!

Вскоре, раздвинув полосатую занавесь на двери, в кибитку вошел Эсен и поздоровался с хозяевами. И гость и хозяева старались быть приветливыми, но после вчерашней истории в их отношениях чувствовался еще холодок. Черкез не послушался советов Эсена, не выказал к нему уважения, а теперь вот опять зовет...

— Эсен, этот негодник до сих пор не вернулся.

— Так оно и должно было быть,— недовольным тоном ответил Эсен.

— Я виноват, что не послушался тебя, Эсен. Но только один бог не ошибается, один он не оступается...

— Ты верно говоришь. А для людей есть такая пословица: «Семь раз отмерь — один раз отрежь». Мелкие ссоры между мужем и женой, между отцом и сыном дело обычное. И если каждый раз принимать их всерьез, тогда и жизни не будет.

— Эсен, теперь мне каяться поздно.— Черкез, помолчав, спросил соседа: — Нельзя ли послать Гельдымурада, чтобы он разыскал Дурды и сказал, чтобы тот шел домой?

А Эсену больше всего хотелось вразумить соседа, чтобы он не придирался к сыну. И, не отступая от своего, Эсен продолжал недовольным тоном:

— Гельдымурад и найдет его и домой приведет. Но можно ли поверить в то, что ты не повторишь вчерашнего?

Черкез виновато опустил голову:

— Конечно, не всегда можно сдержаться, когда на тебя нахлынет гнев. Злоба подчиняет человека своей воле, и тогда не помнишь, что говоришь. А потом спохватишься, да поздно. Ну, что было, то прошло. Пошли Гельдымурада за Дурды. Не буду я больше ссориться с ним.

Эсен был доволен, что добился своего. Широким жестом он расправил усы, не спеша разгладил бороду, потом еще,

концы усов закрутил кверху и только тогда уверенно произнес:

— Да, конечно, пошлем Гельдымурада. Но еще один тебе мой совет: жени ты поскорее своего сына.

— Только что мы со старухой толковали об этом. Всему помехой наша бедность. Единственная надежда на Аджаб. Но она еще мала.

Между Черкезом и Эсеном повторился тот же разговор, что и с Аннабагт.

— Бог даст, найдется выход,— заключил Эсен.

— Вчера я разговаривала с Дюрнабад, женой Ходжанепеса,— решилась вставить свое слово Аннабагт.— Она сказала, что в ауле, где живет ее родня, есть подходящая невеста, и в этой же семье есть еще подросток. Та семья, может, и согласится на обоюдное сватовство, если, говорит, найдутся хорошие люди.

— Жена Ходжанепеса из Геревекила. Из племени гагшалбюкри. У кого же там сын и дочь на выданье?..— старался вспомнить Эсен.

— Может, речь идет о дочери Аннанияза? — спросил Черкез.

— Угадал, она самая! — замахала Аннабагт руками.

Черкез нахмурился:

— А не смешан ли их род с кулами? [1]

— И об этом мы говорили с Дюрнабад, она говорит, что нет.

— А какова она собой, эта девушка?

— Говорит, и характером и лицом хороша. Скромная да работящая.

Поговорили, посудили Черкез с Эсеном и решили послать сватов в Геревекил. Только об одном никто из них не подумал, а что, если девушка будет не по душе парню?

4

Темная ночь. Хоть глаза выколи. Небо окутано густым туманом, заслонившим луну и звезды. Непрестанно моросит дождь. Дурды шагает, не разбирая дороги. Занятый своими мыслями, он и не заметил, как аул остался далеко позади него. Порывистый ветер дует ему в спину. Капли дождя сливаются и струйками проникают под одежду. Полы мокрого чекменя хлещут по его ногам, мешая идти

[1] Кулы — рабы.

быстрее. Ветер то усиливается, то стихает. Шапка превращается в холодную примочку. Размокшие кудри прямыми, липкими прядями прилипают к лицу. Усы тоже обвисли и мотаются, будто мокрые мышиные хвосты. Когда он вышел из дому, дорога была только скользкой, а теперь грязь по колено. Идти все труднее. Дурды душит злоба. Сначала он шел по дороге, потом он свернул на тропинку, а тропинка привела его в непроходимую грязь. Теперь мокрый ветер хлещет в лицо. Дурды останавливается, оглядывается по сторонам. Вокруг только темнота. Кроме шума ветра, ничего не слышно — ни человеческих голосов, ни лая собак. Дурды не может определить, куда он зашел. Стоять на одном месте нельзя. Замерзнешь. Он выжимает шапку и шагает дальше. Вдруг он наталкивается на большую кучку кем-то собранного джарганака. Значит, где-то неподалеку люди. Но в какую сторону пойти? А если он и придет в чужой аул, как его встретят? Кому он нужен? Постояв и подумав, он решает остановиться и укрыться до рассвета под кучей джарганака. Из-под низу он вытаскивает кусты, что посуше. Можно бы и костер развести, погреться и посушить одежду, да спичек нет. Дурды залезает под джарганак, но заснуть не может. Мокрая одежда прилипает к телу, и он дрожит от холода. Вот когда он начинает жалеть, что обидел отца и ушел из дому. «В конце концов,— думает он,— в чем они передо мной провинились? Были бы они богатыми, ничего бы для меня не пожалели. А если бы я был смелым парнем, так похитил бы девушку. Пусть потом родители да аульные яшули [1] разбираются!... Но я и на это неспособен. Ничего не делаю. Даже по хозяйству ни отцу, ни матери не помогаю. И прав отец, что меня ругает...»

Дождь перестал. Туман начал рассеиваться. Близился рассвет. Дурды поднялся, огляделся еще раз. Оказывается, он лежал чуть в стороне от проезжей дороги. Вот показался и первый путник. Когда тот подошел ближе, Дурды крикнул:

— Эй, друг, нет ли у тебя огня?

Прохожий вытащил из кармана спички. Дурды, схватив охапку колючек, подбежал к нему. Он даже забыл поздороваться с незнакомцем, поскорее зажег колючки и побежал обратно. От костра сразу стало тепло. Дурды принялся сушить одежду. Согревшись, Дурды стал подумывать о том, что хорошо было бы сейчас напиться горячего чаю и

[1] Яшули — почтенный, уважаемый человек, старик.

чего-нибудь поесть. Возвратиться домой?.. Но самолюбие мешало ему решиться на это.

Дурды надел чекмень и направился на север, в аул, который виднелся в стороне. Свежий утренний воздух возбуждал аппетит. Голод заставил его ускорить шаги.

Дурды приблизился к довольно большому, шумному аулу. Стада верблюдов, коров и быков направлялись в луга на выпас.

«Видно, и они провели ночь не из приятных»,— думал Дурды, глядя на медленно бредущего хмурого черного быка.

Дурды решил войти в ближайшую аккуратно сбитую кибитку на окраине аула, возле которой он заметил кобылу, быстроходного коня и серого ишака. За кибиткой дикорастущие растения образовывали своеобразный дворик. Там были сложены кучи сухих трав. Над ними склонились головы верблюдов. Легко было заметить, что здесь живут не бедные люди.

Дурды вошел в кибитку, поздоровался. Хозяева ответили на его приветствие. Он машинально приблизился к горящему очагу, который был рядом с дверью, и оглядел просторную кибитку. Она состояла из шести крыльев. Справа стоял большой сундук. На сундуке горка матрацев и свернутых одеял. Вся кибитка опоясана коврами, над ними висят ковровые мешочки для вещей. Земляной пол тоже застлан коврами и узорчатыми кошмами. Перед сундуком сидит дородная женщина с чуть опущенным яшмаком. Она моет пиалы и чайники. Видно, в доме только что позавтракали. Посреди кибитки напротив огня, поджав под себя ноги, сидит немолодой мужчина в каракулевой шубе.

Хозяйка заварила свежий чай и подала Дурды, пододвинула к нему скатерть с хлебом. Не привыкший к такому богатству, Дурды оробел. От волнения задрожали руки.

Хозяйка, заметив его смущение, сказала ему с улыбкой:

— Будьте как дома. Наверно, устали в дороге.

Успокоившись, Дурды принялся за еду. И только тогда хозяин дома спросил, откуда он идет и чем занимается.

— Я одинокий, холостой парень, ищу работу.

Как раз при этих словах в кибитку вошел сын хозяина и тут же спросил:

— Хочешь пасти верблюдов?

Разламывая мягкий душистый хлеб, Дурды ответил:

— Мне все равно.

Хозяину дома Дурды понравился. Он видел, что такому парню можно доверить не только верблюдов, а и многое другое. Но для важности он спросил:

— Ты пас раньше верблюдов?

Дурды ответил не сразу:

— Эй, яшули, что только не приходится делать холостому парню!..

Дурды даже не спросил, сколько собирается платить ему хозяин.

Неожиданно в кибитку вошел Гельдымурад, и дело кончилось тем, что через два часа Дурды был уже дома.

5

В аул Геревекил к Аннаниязу пришли сваты — Эсен и почтенного вида седобородый Ходжанепес. Ходжанепеса здесь знали. Он и раньше являлся в этот аул сватом. Гостей встретили приветливо. Слух об их приезде намного опередил сватов, поэтому Эсена и Ходжанепеса принимали не только хозяева дома, но все соседи и близкие. По заведенному обычаю сначала начались расспросы о здоровье гостей и хозяев. Всем было понятно, что неспроста приехали уважаемые яшули в дом, где есть невеста.

Окончилось чаепитие, иссякли обычные вопросы, и тогда один из старейших рода гагшалбюкри мираб Халлы спросил гостей, с чем они пожаловали.

— Почтенный Ходжанепес, мы занимаем вас пустыми разговорами, а такой человек, как ты, не от безделья разъезжает. Мы готовы слушать тебя.

Тогда Ходжанепес начал свою речь:

— Да, Халлы-мираб, мы к вам прибыли сватами. У нас есть жених. Мы ищем для него невесту и хотели бы породниться с вами.

Яшули поднес свои руки с длинными пальцами к подбородку, но, не нащупав волос, такие они у него были редкие, он все же сделал вид, что поглаживает бороду. Выслушав слова Ходжанепеса, Халлы-мираб с важностью произнес:

— Хорошие у вас намерения, Ходжанепес. Кто ищет, тот обязательно найдет.

— Да. Эта надежда привела нас к вам. Я не мудрец, но когда что задумаю совершить, то не возвращаюсь домой ни с чем.

— А кто ваш жених?

— Может, ты знаешь Черкеза?

— Я даже знаю его отца Евшана.

— Так вот, внук Евшана, сын Черкеза, Дурды, и есть наш жених. И хотим мы посвататься обоюдно.

— Ах, вы хотите совершить обоюдное сватовство?

— Да. Наша невеста еще очень молода, но дети у нас хорошие, мы ими довольны. Знаем мы и дочь Аннанияза. Если я не ошибаюсь, по-моему, сын его сверстник нашей невесты.

Яшули утвердительно покачал головой.

— Почтенный Ходжанепес, нам не у кого расспрашивать о ваших детях, но если ты сам одобряешь это сватовство, мы согласны.

— Если бы я не одобрял это сватовство, так не приехал бы к вам.

Мираб Халлы, совсем убежденный в том, что они делают доброе дело, ответил:

— Твое решение — мое решение, Ходжанепес. Можешь назначать день свадьбы.

А так уж было заведено, что решению мираба Халлы никто из односельчан воспротивиться не мог.

Женщина, сидевшая в углу и молчавшая до сих пор, прикусив свой яшмак, прошептала:

— Зачем же так спешить? Надо было бы порасспросить о женихе у кого-нибудь еще.— Это была мать невесты.

Своенравный мираб не любил, когда ему противоречили. Он зло посмотрел на женщину.

— Бибисолтан, если мое решение вам не нравится, зачем вы тогда звали меня? Сваты еще здесь, решайте сами.— Он хотел встать и уйти, но женщина низко опустила голову. Наступило молчание. Успокоившись, мираб продолжал: — Итак, Ходжанепес, с нашей стороны возражений нет, приезжайте в любое время.

— Спасибо, Халлы-мираб. Только такие умные речи я и ждал от тебя. У женщин всегда свое на уме. Если Бибисолтан хочет разузнать о женихе еще что-нибудь, пусть поспрашивает людей. Но мы за своих детей спокойны. Ни за одного из них нам краснеть не придется. Это я, Ходжанепес, говорю вам, Бибисолтан. А там воля ваша.

Обычно любое сватовство тянется подолгу. Если обе стороны согласны, то начинаются споры о калыме, о том, сколько голов скота должны выделить родители невесты.

А это обоюдное сватовство закончилось быстро. Уговорились, что гостей будут принимать обе стороны, подарки родственникам и другие мелкие расходы каждая сторона должна сделать сама. Первую свадьбу справляет Черкез, он первым женит сына.

6

Настал день, когда празднично одетые мужчины и женщины аула Теджене на лошадях и верблюдах выехали за невестой.

Свадебные приготовления взволновали Дурды. Последние ночи он даже не мог заснуть. Наконец-то сбывается его мечта — у него будет свой дом, своя семья, он сам станет хозяином. Такой день, как сегодня, бывает в жизни один. Но что там за невеста? Дурды так и не удалось увидеть ее. Умна она или глупа? Красива ли? Может быть, на нее и смотреть-то не захочешь? Правда, ничего дурного о ней не слышно. Главное — жена должна быть разумной.

Сегодня и мать, и отец, и все, кто едет за невестой, веселы. Мужчины гарцуют на лошадях, женщины плавно раскачиваются на высоких горбах верблюдов. В доме девушки принимают гостей, подают им чай.

А невеста в это время сидит в кибитке соседей, как пойманная в клетку птица. «Меня отдают в чужую семью,— думает она.— Жениха своего я никогда не видела. Не урод ли он? Вдруг слепой или плешивый? А сколько ему лет? Может быть, он годится в товарищи моему отцу? Какая же я несчастная. И все из-за обоюдного сватовства. Была бы счастливой, вышла бы за кого хочу... Правда, мать и отец любят меня, они мне плохого не сделают».

Мужчины стали собираться в обратный путь. Девушку с головой укрыли старым халатом, и несколько человек вынесли ее во двор сидящей на паласе. Три женщины со стороны невесты сели рядом с ней на палас и не сходили с него до тех пор, пока не получили выкуп. После этого девушку посадили на верблюда. Верблюд поднялся и сделал первые шаги к неведомой судьбе девушки.

Мужчины, возглавляющие свадебную процессию, первыми въехали в аул жениха. Они подъехали к кибитке Черкеза, где Дурды ожидал свою гелин. После помолвки, как и полагается по обычаю, жених и невеста, никогда не видевшие друг друга, встретились в темной кибитке.

7

Вскоре после свадьбы Дурды его сестру Аджаб отвезли в семью, с которой договорились об обоюдном сватовстве. Перед отъездом Аннабагт внушала Аджаб, что теперь она уже не маленькая, довольно ей забавляться детскими играми, что она должна держаться степенно и во всем угождать родителям своего будущего мужа.

Встретили ее приветливо. Закрытая покрывалом, как взрослая женщина, она уселась в угол, прижавшись к стенке... Те, кто видели ее, не могли удержаться от похвал:

— Ой, держите ее подальше от дурного глаза, такая красавица!

Жениху Аджаб Агали было всего лишь пятнадцать лет. Аульные мальчишки поддразнивали его.

— Ну, дружок, покажи нам свою невесту! — приставали одни.

Другие отрывали от его рубашки завязки и, убегая, кричали:

— Пусть тебе невеста новые пришьет!

А кто-то снял с его головы шапку, повесил ее на стенку кибитки, сказав:

— Твоя невеста, если сумеет, наденет ее на тебя опять.

Агали не давали ни минуты покоя. Совсем еще неопытный в жизни юнец не знал, как ему в таком случае себя вести. Он отмахивался от надоедливых товарищей и чуть ли не плача повторял:

— Отвяжитесь вы от меня!

Но мальчишки продолжали его дразнить. Их это забавляло.

— Эй, Агали, смотри не заплачь!

— Тебе плакать нельзя! Ты теперь жених.

— Куда ему справиться с невестой!

— Зови свою маму на помощь!

Агали, расхрабрившись, подбежал к невесте и хотел сбросить покрывало с ее лица, но Аджаб крепко вцепилась в него обеими руками. Агали обнял невесту за шею. Началась борьба, но Агали так и не одержал победы. Со стороны было смешно наблюдать за их возней. Старшие подшучивали:

— Ну какой же ты кавалер!

— Молодец, Аннанияз, знал, когда женить своего сына!

— Где же Бибисолтан-эдже? Пусть она придет на помощь своему сыну!

Агали, собрав последние силенки, опять напал на Аджаб со своими объятиями. Но и Аджаб не дремала. В адрес Агали посыпался новый град насмешек. Он готов был сквозь землю провалиться. Но ему даже не дали убежать. В какой-то момент он по привычке чуть не закричал: «Мама!» Но, вспомнив, что он жених, Агали прикусил язык.

А Аджаб было и того хуже. Ей хотелось скрыться отсюда, вернуться к детским играм с подружками. Когда Агали обнимал ее за шею, ей было стыдно перед всеми. Вот почему еще она так крепко держалась за покрывало, скрывающее ее лицо, залитое горькими девичьими слезами.

Так как жених и невеста были еще малы и несамостоятельны, Аджаб вернули в родительский дом. Это было в обычае — отпускать невесту погостить у родных.

Что же касается Дурды, то он был на седьмом небе. Он не мог налюбоваться на свою красавицу гелин. Она сидела в глубине темной кибитки, набросив на голову красный шелковый халат. Товарищи Дурды повторяли те же обрядовые шутки, что проделывали с Агли мальчишки: снимали с жениха шапку, отрывали завязки от его рубашки, желая проверить, расторопна ли и услужлива его невеста.

Дурды, не двигаясь с места, степенно поглаживая усы, как это делают взрослые мужчины, обращался к Абадап:

— Гелин, они хотят испытать нас. Ты не беспокой меня, сделай сама, что полагается в таких случаях.

Понимая шутки товарищей мужа, Абадан выполняла его просьбу: надевала ему на голову шапку, и не как попало, а именно так, как он носит,— набок.

Дурды продолжал:

— Абадан, нитки не так уж дороги, не поленись, пришей завязки к моей рубашке.

Абадан берет иголку с ниткой и, приоткрыв половину лица, пришивает завязки.

Дурды знает, что его друзья теперь потребуют, чтобы он показал им лицо невесты. И, опережая их, осторожно отодвигает покрывало с лица невесты.

— Ну, смотрите, какая она у меня красавица! Достойна она Дурды? — гордо спрашивает он.

Абадан смущается, но, будто они заранее сговорились, сидит спокойно и ждет, пока кто-нибудь не скажет: «Молодец! Желаем вам счастья и долгой жизни».

Те, кто привезли Аджаб, предложили Абадан поехать погостить к родителям.

Невесты обоюдного сватовства двух бедных семей два года пробыли у своих родителей. Каждая семья по мере возможности справляла дочери приданое. Сваты привозили невестам подарки — одежду и украшения.

Аджаб подросла, и Агали превратился в рослого парня. Сваты, договорившись между собой, вернули невест женихам.

8

Прошел год, у Абадан и Дурды родилась дочь. Ребенок был красивым, и поэтому девочке дали имя Нязикджемал. В маленькой кибитке Черкеза стало тесно, но поставить новую у него не хватало средств.

Для молодых построили нечто вроде шалаша и выделили кое-что из хозяйства. Их жилье было похоже на голубятник. В землю вбиты четыре палки, верхние концы соединены и покрыты старыми, дырявыми, почерневшими от копоти и времени кошмами. Как гласит народная пословица: «Жилья с локоток и житья с ноготок». В этом укрытии нельзя было спастись ни от дождя, ни от ветра. Здесь и одному-то было трудно повернуться. Если выпрямишься во весь рост, то упрешься головой в кошму. «Дом только для хозяина»,— говорили соседи. И верно, если придет гость, его и посадить некуда.

Но хоть и беден шалаш, а все для Дурды и Абадан удобнее, чем жить вместе с родителями. Как бы там ни было, а здесь они сами себе хозяева. Часами они могут болтать о чем угодно, без конца любоваться своим дитем.

9

Аджаб, вспоминая первые дни своего замужества, заливается хохотом. Теперь-то она в ауле из красавиц красавица. Да и не только красотой славится Аджаб, она и мастерица на все руки, со всеми обходительна, приветлива. А самое главное — Аджаб и Агали крепко полюбили друг друга.

Через два года после свадьбы у них родился сын, но мальчик прожил всего три дня. Молодые сильно пережи-

вали смерть своего первенца, но вся их жизнь была впереди. «Будут и еще дети»,— думали они.

А что ожидает каждого из людей в будущем, никому не известно.

Однажды Агали собрался в город за покупками. Перед отъездом у него разболелась голова, но он не стал говорить об этом Аджаб, и, думая, что в дороге все пройдет, отправился в путь. Но он ошибся. Головная боль все усиливалась, начался жар, ему стало казаться, будто он выдыхает огонь. Проехав часть пути, Агали повернул лошадь назад. И времени-то прошло совсем немного с тех пор, как он выехал из дому. По солнцу видно.

Дети, игравшие на улице, при виде возвращающегося Агали закричали:

— О, как Агали быстро съездил в город! Посмотрим, какие гостинцы он везет нам с базара.

Аджаб, услышав эти крики, не поверила своим ушам:

— Что такое? Да он еще и отъехать-то далеко не успел... Не мог он так быстро обернуться. Может, дети обознались?..

Почувствовав неладное, Аджаб выбежала во двор и действительно увидела возвращающегося Агали. Он нетвердо сидел на лошади, голова его свешивалась на грудь. Когда он пытался ее выпрямить, она падала набок. Лицо его почернело, глаза смотрели тускло. Аджаб испугалась при виде мужа.

— Что с тобой? Что случилось? Почему ты такой? — беспокойно спрашивала она.

Губы Агали шевелились, но ничего вразумительного сказать он не мог. Движением руки он дал понять, что не в силах слезть с лошади. Он не смог даже снять ног со стремени. Аджаб в страшном волнении обняла его. Подошла Бибисолтан и сразу же запричитала:

— Ягненочек ты мой, да что же это с тобой такое? Ты ведь только что был здоров. Что с тобой приключилось?..

Мать и гелин, подхватив его с обеих сторон, отвели в кибитку и уложили в постель.

Агали метался, тяжело дышал и стонал все громче и громче. Аджаб, стесняясь свекрови, не снимала яшмак, она беззвучно плакала, гладя руки Агали. Бибисолтан ревела навзрыд и причитала:

— Сыночек мой, что с тобой? Утром еще твое лицо было радостное, веселое!.. Откуда и какая болезнь к тебе пришла? Или в тебя нечистая сила вселилась?..

Мать и невестка ждали, что он раскроет им причину

своей болезни, но Агали, останавливаясь после каждого слова, лишь с трудом выговорил:

— Мне еще утром стало плохо... Голова болела... Я думал, что пройдет... Помню только то, что с полпути вернулся обратно, а как доехал до дому, помню плохо. Во рту у меня все пересохло, а голова вот-вот лопнет...

— Если болит голова, выпей чаю, пропотеешь, все пройдет, родной мой!

— Мама, у меня не только голова болит. А еще и жар. Все тело ломит, будто по нем молотком бьют.

— Может быть, ты чего-нибудь хочешь съесть?

— Нет, мама, ничего не хочу.

— Сейчас я тебе сварю лагман.

— Не надо, мама, я ничего не хочу. Тяжело мне...

— Сейчас Аджаб заварит тебе чай, сделай хоть два глоточка, сынок. А я пока схожу к ишану, попрошу у него святые молитвы для больных. Бог даст, быстро поправишься, сынок.

Агали безразлично покачал головой:

— Поможет ли...

Бибисолтан вынула из большого свертка белый платок, завязала в уголок полтинник и побежала к ишану. Тот, только что совершив умывание для намаза, сидел, поглаживая бороду.

— Здравствуйте, ишан-ага,— приветствовала его Бибисолтан.

Ишан встретил ее приветливо:

— Здравствуй, Бибисолтан! Заходи, садись.

Бибисолтан присела у порога и тут же сказала, зачем она явилась к нему:

— Ишан-ага, я очень тороплюсь. Пожалуйста, скорее напишите мне святые молитвы от болезни.

— Кто же у вас заболел, Бибисолтан?

— Мой сын Агали. Он так мучается, так мучается, что смотреть на него — сердце разрывается.

— Бибисолтан, не надо так убиваться,— начал успокаивать ее ишан.— Я сейчас напишу тебе святые предписания, с ними твой сын в тот же миг встанет. Перед святыми никакие болезни не могут устоять.

— Дай бог, чтобы сбылись ваши слова, ишан-ага! В ваших руках большая сила, вы мне и раньше помогали.

— Бог и на этот раз сжалится над нами. Все будет хорошо.

Ишан взял камышовую ручку и чернила, надел очки, положил ногу на ногу, разостлал на колене бумагу, низко

склонился над ней и начал писать. Лицо его сосредоточенно сморщилось, он кряхтел от усердия.

Бибисолтан решила, что ишан старается для нее изо всех сил. «Может быть, он даже призывает на помощь всех своих предков или борется с нечистой силой»,— думала она, глядя на ишана.

Но, скорее всего, ишан делал вид, будто его писанина требует большого напряжения, иначе Бибисолтан может не поверить в магическую силу его бумажек.

Закончив писать, ишан разорвал бумагу на три части. Одну он свернул треугольником и сверху что-то начертил. Свернул треугольником и вторую, но на ней ничего не написал. Третью свернул вчетверо. На каждую плюнул по три раза и отдал их женщине.

— Вот, Бибисолтан! Этот треугольник с надписью на обороте привяжи на тюбетейку Агали; бумажку, что сложена вчетверо, размочи в воде и дай сыну выпить; а третью отдай невестке, пусть она носит ее при себе.

— Ишан-ага, но она здорова,— забеспокоилась Бибисолтан.

— Я знаю, что она здорова. Это надо сделать, чтобы болезнь не перешла к ней.

— Спасибо, ишан-ага, дай вам бог здоровья за такую помощь.— Она протянула ишану белый платок и вышла из кибитки.

Агали не в силах был проглотить то месиво, что подала ему мать. Он совсем ослаб.

— Ой, внутри горит у меня все!.. Дайте мне только воды...

Но Бибисолтан продолжала уговаривать его выпить «лекарство» ишана.

— Сынок мой, ишан-ага так трудился, написал для тебя добрую молитву. Выпей, сынок.

Поддерживаемый Аджаб, Агали приподнялся и с большим трудом проглотил грязную воду.

Болезнь Агали напугала всех родственников. Все они собрались в юрте Аннанияза, не ели, не пили, и у всех был вид не намного лучше, чем у больного.

С каждым часом Агали становилось все хуже. Он горел, как в огне, перестал потеть, у него начался бред:

— Смотрите, сколько щенят!.. А что это за красный кобель? Не привез ли его ишан-ага с базара?.. Ой, он весь мокрый... Ха-ха-ха!..

Окружающие с испугом переглядывались. Кто-то сказал:

— Он, видно, помешался.

— В него, наверное, вселилась какая-то нечистая сила,— заявила одна из женщин.

— Надо привести колдуна Порры, пусть он произнесет заклинание,— предложил третий.

Посоветовавшись, решили послать за колдуном младшего брата Агали Аннамереда.

Бумажки, написанные ишаном, не помогли Агали. Всю ночь Агали метался в жару и бредил. На второй день, когда поднялось солнце, Аннамеред привел с собой колдуна Порры.

Колдун велел привести дутариста. Пришел дутарист, заиграл на дутаре, тогда колдун, до того смирно сидевший в стороне с отрешенным видом, вскочил и, обратившись к двери, начал взывать:

— Белые мои шайтаны! Идите ко мне!.. Идите ко мне, черные мои шайтаны!.. Вождь сорокатысячной армии, коричневый шайтан мой, приди! Явитесь все войска!..— Он с визгом начал бегать по кибитке и бить камчой по чем попало. Его крики и визг сменялись причитаниями: — Уйди, нечистая сила, отсюда, уйди! Ты слабее меня, уходи отсюда скорее! Давай его, мой белый шайтан! Черный мой шайтан, не упускай его.— Вытаращенные глаза колдуна налились кровью, он брызгал слюной.

Его камча опускалась и на спины сидящих. Вдруг он подбежал к постели больного, ударил по ней и закричал:

— Уйди, я говорю тебе, отсюда!..

Удар пришелся и по больному, тот не выдержал и взмолился:

— Он меня убьет! Уберите его отсюда!

— Видите, больной очнулся!.. Вон отсюда, враг, убирайся!..

Все, как одурелые, неотрывно следили за колдуном. Никто не посмел прервать его, и жалобный призыв Агали остался безответным.

Наконец колдун отбросил в сторону камчу и успокоился.

— Шайтан побежден мною. Теперь больной поправится. Бог даст, все будет хорошо.— При этом он принял из рук Бибисолтан мешочек с вознаграждением за свои труды и удалился.

Но и это колдовское представление не помогло Агали. Тяжелая болезнь измотала его окончательно. Лицо его почернело, открытые глаза смотрели ничего не видящим

взглядом. Он уже никого не узнавал, не отвечал на вопросы.

Аджаб показалось, что у Агали начали холодеть ноги. До сих пор, стесняясь родителей мужа, она не расставалась с яшмаком и не могла говорить, а теперь даже сама не заметила, как выбросила яшмак, схватила Агали за руки и со слезами на глазах зашептала:

— Слышишь, Агали? Ведь ты же уходишь!

Близкая смерть, заполнившая бедную кибитку тяжким горем, превратила глаза Аджаб в горный ручей. Мать, как раненая птица, распласталась у ног Агали.

— Ой, родное мое дитя! Любимый ты мой! — терзалась она.

Отец Агали Аннанияз молчал, сдерживая рыдания, а по его лицу текли слезы.

Тяжело видеть, как умирает близкий человек. Агали больше не метался, его иссохшие губы зашевелились. Может быть, он хотел что-то сказать, но он даже не смог проглотить капли воды, что подали ему.

Мутным взором Агали обвел все вокруг, будто прося позволения у близких покинуть их и уйти туда, откуда нет возврата.

Как это было ни трудно, но Аннанияз нашел в себе силы и промолвил с болью:

— Мы довольны тобой, родной, не мучай себя.

В ответ послышался прощальный вздох Агали.

10

И осталась Аджаб одна. Без любимого. Много дней и ночей она проплакала. Но что делать, если уж такова ее доля. Остается только смириться. Потянулись долгие, тоскливые дни. Каждый час, каждый день, каждая неделя стали казаться ей вдвое дольше. Так прошло полгода.

Согласно законам религии и обычаю вдова умершего становится женой его брата. Но у Аннанияза теперь оставался только восьмилетний Аннамеред. Он не годился в мужья Аджаб. А допускать, чтобы женщина, считавшаяся членом их семьи, уходила в чужой дом, Аннанияз не хотел. Против этого восставали его честь и совесть. Старики решили отдать Аджаб в жены Мереду, сыну старшего брата Аннанияза — Нурнияза.

У сорокалетнего, рябоватого, с большой черной бородой Мереда была одна жена, два сына и дочь. Семья большая.

Аджаб не минуло еще и восемнадцати. Женатый, отец троих детей, Меред ей не пара. Но у бедной, беззащитной гелин нет сил идти против бездушных людей, которые к тому же прикрывались законами адата.

Аджаб испугалась, услышав, чьей женой должна она стать. Конечно, она не могла на всю жизнь оставаться одной. Всякое она передумала за эти полгода. Но ей никогда не приходила мысль о том, что ее могут заставить пойти в жены к Мереду. О ее согласии никто не спрашивал. Это никого не интересовало. На нее накинут уздечку и отведут к Мереду. Бесправная Аджаб станет еще одной жертвой адата. Разве может слабая и бесправная женщина разорвать приготовленные для нее цепи? Стать женой Мереда для Аджаб было равносильно смерти. А кому же хочется умирать? Даже при последнем вздохе человек цепляется за жизнь. Так и Аджаб стала искать выход.

Через людей она дала знать своим родным, как хотят ею распорядиться. Слово в слово она просила им передать: «Дорогие мои родители! Осталась я одинокой. И так моя доля тяжкая, а тут еще, не спрашивая моего согласия, хотят меня отдать в жены человеку, который годится мне только в отцы. Лучше мне умереть, чем стать женой этого человека. Кто помимо вас может спасти меня? Сейчас еще не поздно это сделать. Помогите своей дочери, несчастной сироте. Уберегите меня от беды».

Черкез и Аннабагт, услышав о том, какое несчастье грозит их дочери, загоревали. Какой отец и какая мать захотят, чтобы их дитя живым бросили в ад? «Надо ее забрать оттуда»,— решили они. Но если заберут Аджаб, тогда у них могут взять Абадан. Такое возможно при обоюдном сватовстве. Все может кончиться большим скандалом, а может быть, и дракой. Аджаб надо выручать, но каким путем? Если просто приехать за ней, то родители ее умершего мужа могут воспротивиться. Надо выдумать причину, по которой удобно вызволить Аджаб из дома Аннанияза, хотя бы ненадолго.

Наконец они придумали послать к Аннаниязу Сахы с вестью о том, что якобы Аннабагт тяжело заболела и боится умереть, не попрощавшись с дочерью. Так должен был говорить Сахы...

Как только Аннанияз увидел подъезжающего к ним Сахы, сразу почувствовал что-то неладное.

— Эх, парень, посмотри на свою лошадь, ты чуть не загнал ее насмерть. Что случилось? Все ли у вас живы и здоровы? — спрашивал он.

Сахы передал то, что ему велели родители.

— Да, Аннанияз-ага, я и взаправду торопился. Мать сильно больна и день и ночь знай себе твердит: «Хочу перед смертью увидеться с Аджаб». Только о ней и говорит. Отцу стало жалко ее, и он послал меня к вам. «Проси, говорит, Аннанияза, пусть он отпустит Аджаб. Как только мать немного поправится, сами привезем ее обратно» — вот что сказал отец.

Аннанияз погладил бороду и глубоко вздохнул.

— Я, еще увидев тебя издали, почувствовал, что у вас что-то стряслось.— Он задумался, уставившись в одну точку, продолжая поглаживать бороду.

«Как же быть? — рассуждал он про себя.— На днях мы хотели отдать гелин Мереду. Если мы отпустим ее сейчас домой, дело затянется, и неизвестно, что еще может статься. Вдруг гелин заупрямится и не захочет поехать обратно? Кто знает, что может выкинуть молоденькая гелин... И не отпустить ее, когда мать при смерти, тоже не по-человечески...»

Аннанияз решил посоветоваться с женой.

Бибисолтан разохалась, услышав о том, что Аннабагт собралась умирать.

— Ах, дорогой, плохую ты весть нам привез. Дай бог, чтобы Аннабагт поскорее поправилась!..

А после бесконечных, положенных по такому случаю жалоб и причитаний она сказала мужу:

— Послушай, отец, мы ведь до сих пор не собрались поздравить Аннабагт с внуком. Давай отпустим парня, а через два-три дня соберемся и поедем в Теджене, тогда и Аджаб прихватим. Как ты думаешь? Сразу два дела сделаем: навестим больную и с внуком поздравим...

Говоря так, Бибисолтан смекала, что за эти два дня они успеют отдать Аджаб Мереду. А там уж их не касается, как пойдет дело дальше. Такой выход устраивал и Аннанияза. Но Сахы, услышав такое, распалился вовсю:

— Бибисолтан-дздже, если я уеду без Аджаб, она больше может не увидеть свою мать. А бедная мать, если не взглянет на дочь перед смертью, уйдет на тот свет с открытыми глазами...

Бибисолтан, представив себе такое зрелище, испугалась.

— Что ты, Сахы-джан, о чем ты говоришь? Аннабагт, бог даст, обязательно поправится.

— Мы тоже этого хотим, но на то воля божья. Как бы аместо поздравлений с рождением не получилось другое.

Лучше вам подождать, когда выздоровеет мать, приезжайте.

Ни Аннанияз, ни Бибисолтан не могли придумать, что им сказать в ответ смышленому пареньку. Они понимали, что отпустить Аджаб с братом все равно что выпустить из рук пойманную птицу. Но и не отпустить нельзя, прослывешь злыми людьми. И Аджаб отпустили.

11

После отъезда Аджаб Бибисолтан заскучала по своей невестке. Дом ей казался опустевшим. Она то выйдет во двор и поглядит вдаль, то возвратится в кибитку и расплачется...

Прошла неделя, другая, а Аджаб все не возвращалась.

— Ой, что же делать? Об Аджаб ничего не слышно. Надо как-то разведать, что там в доме Черкеза,— не давала Бибисолтан покою Аннаниязу.

В аул Теджене послали человека разузнать обо всем. Все ли там так, как говорил Сахы? А на обратном пути прихватить невестку.

Человек, посланный Аннаниязом, увидел совсем здоровую Аннабагт. А заговорив с Черкезом об Аджаб, узнал, что ее не собираются отсылать в дом Аннанияза.

На слова посланца, что он приехал за гелин, Черкез с сокрушенным видом ответил:

— Мы ждали этого. Даже сами хотели ее отвезти. Да она не хочет. Вон, посмотрите: сидит и плачет. Я даже не знаю, что теперь и делать. Связать ее по рукам и ногам да кинуть на седло лошади? Но она же мое кровное дитя. Поговорите с ней сами, может, она вас послушается...

Когда заговорили с Аджаб, она отбросила в сторону яшмак и заявила:

— Хоть на куски меня изрежьте, а Мереду меня не видать своей женой. Я и так несчастна, что потеряла любимого. Почему же я еще должна стать рабыней?

Так первый посланец и возвратился ни с чем.

Тогда послали еще одного человека. И он вернулся с пустыми руками. Можно было бы, конечно, послать сразу несколько всадников и силой забрать Аджаб, но это был бы уже скандал. Поэтому Аннанияз пошел за советом к Халлы-мирабу.

Думали они, думали и решили втроем — Халлы-мираб, ишан и Аннанияз — поехать к Черкезу.

А за день до их приезда в Теджене в дом к Черкезу приходили сватать Аджаб...

Если на встречу Аннанияза с Черкезом смотреть со стороны, то она может показаться дружелюбной. Но неприветливы их речи и взгляды.

В честь прибывших Черкез пригласил яшули Ходжанепеса. Разговор долго не клеился. Все время чувствовалась напряженность. Случись в этот момент заговорить кому-нибудь запальчиво, ссоры не миновать.

Аннанияз начал было расспрашивать о здоровье Аннабагт, но взглянул при этом на нее и не утерпел, чтобы не сказать:

— Молодец, Аннабагт, ты, видно, совсем поправилась. Сахы говорил, что ты была при смерти. Мы, правду сказать, сильно тогда забеспокоились. Слава богу, все обошлось, значит...

Когда Аннабагт разговаривала, то всегда казалось, что при этом она улыбается. Уж такое у нее было лицо. И на этот раз было точно так же, хотя она и говорила обиженно:

— Да, нельзя подумать, что вы торопились навестить больную. Не вашими молитвами я излечилась. Да и про внука, сдается мне, вы забыли.

Аннанияз пожалел, что заговорил с Аннабагт неуважительно. Он опустил голову, решив не отвечать.

Ишан с важным видом сидел на почетном месте и пил чай. Видя, что разговор не клеится, он поставил пиалу, погладил по привычке почти голый подбородок и начал свою обычную проповедь:

— Да, проклятый шайтан путает все. Мы это знаем. Он, как вода, просачивающаяся в саман, любыми путями, любой трещиной пробирается к людским делам. Иначе он не может...— Немного помолчав, он продолжал: — Да, до нас дошли слухи, что между любящими друг друга сватами возникло недоразумение. Это, конечно, тоже дело шайтана. Но, как гласит пословица: «Кто хочет построить дворец, тот найдет глину: кто хочет пойти в гости — найдет причину». Мы слышали, что у нас родился внук. Дай бог ему много лет жизни! Вот мы и приехали поздравить вас с внуком да выгнать наглого шайтана, застрявшего у вас. Да воцарится тогда былое согласие.

Черкез тихо ответил:

— Хорошо вы поступили, ишан-ага. Хорошо, что приехали.

Опять наступила тишина. Никто не осмелился начать

разговор о главном. Приезжим нельзя было прямо заявить, что они приехали за Аджаб. Надо высказать это исподволь. Аннанияз надеялся на своих мудрых спутников... Правда, на Халлы-мираба он не очень надеялся.

— Сват Черкез,— заговорил опять ишан.— Слава богу, теперь Аннабагт поправилась. А Бибисолтан сильно скучает по невестке. Пусть теперь Аджаб побудет с ней.

Черкез не знал, что ему отвечать на это, и сказал неопределенно:

— Ай, ишан-ага, конечно, мы привезем к ней Аджаб...

Аннабагт не поняла хитрости мужа, испугалась, как бы Черкез не отдал ее, и поспешила вмешаться:

— Ишан-ага, если говорить правду, то мы не собираемся отпускать к вам Аджаб-джан вскорости.

— Почему же, Аннабагт?

— Она немного нездорова.

— Бог мой, как это плохо! А что с ней?

— У нее болит сердце...

— Ну, это еще ничего. От этого она и у нас поправится. Я дам ей лекарство, она разведет его в воде и выпьет, болезнь как рукой снимет.

— Ишан-ага,— продолжала Аннабагт,— наша дочь так сильно больна, что такие лекарства ей не помогут... Если вы хорошенько посмотрите на нее, то сами сразу поймете.

В таком духе разговор затянулся надолго. Много было сказано слов. Приезжим стало ясно, что уговоры ни к чему не приведут. Добровольно им Аджаб не возвратят.

Аннанияз, до сих пор не вступавший в разговор, поднял голову и сердито спросил:

— Сваты, вы не вправе отказывать нам. Наша невестка должна жить у нас.

— Она сама не желает возвращаться.

— Своих родителей она не посмеет ослушаться. Как вы ей прикажете, так она и поступит.

— Разве родительское сердце позволит бросить дитя в огонь? — всхлипнула Аннабагт.

Тогда встал Халлы-мираб и, показав рукой на жену Черкеза, сказал:

— Что хорошего можно ожидать в том доме, где глава семьи женщина?.. Вот вам последнее наше слово: если вы не вернете нам гелин, мы расторгнем обоюдное сватовство, и вы вернете нам Абадан.

Ходжанепесу не понравились такие слова мираба. Он подался вперед и спокойно, но тоном, не терпящим возражений, заявил:

— Если Аджаб захочет с вами уехать, пусть едет, не захочет, пусть остается здесь. А ваша дочь шагу отсюда не сделает. Она жена своего мужа.

Халлы-мираб больше не мог сдерживать себя.

— Ходжанепес, вы взяли от нас Аджаб хитростью. Мы сами отдали ее вам, теперь сами должны ее взять. Вы не должны нам чинить препятствия. Не драться же нам.

Ишан хотел было раскрыть рот, но Ходжанепес поднял руку, останавливая его:

— Послушай, Халлы-мираб! Вы отдали нам дочь, взамен вы получили нашу дочь. Мы не виноваты, что счастье вам изменило. Бедного Агали мы любили не меньше вашего. Что поделаешь, на все воля божья... Теперь Аджаб свободна. Аннанияз, тебе больно и трудно переносить тяжести, посланные тебе свыше, а мне трудно выдерживать ваши крики и обидные слова. Ваши поступки нельзя оправдать никакими законами. И поэтому мой вам совет — откажитесь от того, что вы задумали.

Слова Ходжанепеса, казалось, подействовали и на Халлы-мираба. Он низко опустил голову, подумал минуту и вдруг начал новую, не менее дерзкую речь:

— Когда вы пришли к нам сватами, особо не торговались и речи ваши были короткими...

— Но, Халлы-мираб, ты же помнишь, и вы тогда не говорили о том, что несчастная женщина должна будет охранять пустую кибитку или идти в могилу вслед за умершим мужем! — строго ответствовал Ходжанепес.

Чтобы дело не дошло до большого скандала, ишан решил вмешаться в разговор:

— Аннанияз, Черкез, Халлы-мираб и сват Ходжанепес! Я наместник и продолжатель дела пророка, я не могу допустить раздора среди близких мне людей. Вас опутал шайтан, не позволяйте грубости по отношению друг к другу. Не обижайте друг друга!.. Земля не рай, здесь всяко бывает, но, что бы вам это ни стоило, надо прийти к согласию. Не подчиняйтесь воле шайтана, не выходите из себя, не горячитесь. Конечно, в семью Аннанияза смерть пришла по воле божьей. Он должен это перенести. Но то, что вы увезли единственную радость его, его невестку, и до сих пор не возвращаете ее обратно, это для него вторая смерть. Разве мало вытерпела от бога и Бибисолтан? Поэтому, мои дорогие, поддержите Аннанияза, этим вы поможете ему перенести свое горе.

Ишану хотел ответить Ходжанепес, но Аннабагт опередила его:

— Ишан-ага, да и ты сам попомни бога. Какая мать согласится отдать молодую за старика, у которого есть жена и дети? Он ей в отцы годится. Вся жизнь моей дочки будет погублена. Как же бог может допускать такую несправедливость? Ишан-ага, побойся ты бога!

— Разве твоя дочь теперь не дочь Аннанияза? — отвечал ей Халлы-мираб.— Разве горе, посланное Аннаниязу богом, не должно быть поделено им с дочерью? Ты, сваха, не говори ишану дерзости.

Ходжанепес воспринял слова Халлы-мираба как обиду.

— Халлы-мираб, было бы хорошо, если бы ты не переходил границ оказанной тебе чести. Молодая женщина лишилась самого для нее дорогого: мужа, которого, ты знаешь, как она любила. Для нее это такое же несчастье. И ее надо утешать в горе. Почему же ей становиться утехой другому? Не будет этого!

Лицо Халлы-мираба передернулось. Он и сам не заметил, как сжал кулаки.

— Ходжанепес, взамен вашей дочери я требую обратно нашу!

— Мы не вольны разрешить этого. Просите у бога.

— Значит, вы не хотите нам ее отдать?

— Женщина не веник! Ее нельзя бросать из угла в угол.

Все разом зашумели. Бранными словами друг друга не обзывали, но с обеих сторон сыпались обвинения в несусветных грехах. Под конец сторона Аннанияза с обидой и угрозами покинула аул Теджене.

12

Те из соседей, кто слышали этот спор, одобряли яшули Ходжанепеса и говорили, что в случае, если гагшалбюкри задумают что-нибудь, они поддержат Черкеза. Аул насторожился.

А тем временем девушки и молодухи готовились к свадьбе. Аджаб опять выдавали замуж... Давно она уже не надевала праздничного наряда, не носила никаких украшений. И все еще горевала об Агали. Лицо ее было печально, и нет-нет да навернутся на ее глаза слезы. То, что ей удалось уехать из дома Аннанияза и спастись от Мереда, было для нее просто чудом. Но радоваться жизни она пока что еще не могла. Происшедший скандал разбередил ее раны. «Ведь они могут напасть на нас и увезти меня

силой. Или начнется бойня. А во всем я одна виновата. Что же теперь мне делать? Может быть, вернуться?..» — такие страшные мысли мучили молодую голову.

Черкез с Аннабагт тоже тревожились.

— Слышишь, отец, они уехали с угрозой, а мы готовимся ко второй свадьбе. Как бы не прибавилось несчастья. Что ты теперь скажешь?

— Аннабагт, я даже не знаю, как быть,— грустно ответил на это Черкез.— Очень жалко отдавать Аджаб в дом Ананияза. А отказать им — значит жить в страхе. Скандалов и драки не миновать. А то, гляди, и убийство может свершиться... Будто черный туман опустился на нас...

На Черкеза жалко было смотреть. «Дорогая моя, чтобы не стать причиной несчастья, поезжай пока в дом Ананияза»,— хотелось ему сказать дочери. Но тут же вспоминал он слова дочери, сказанные ею по приезде: «Будь у меня хоть тысяча жизней, ни одна из них не вернется в дом Ананияза. Если вы хотите погубить меня, отправив к ним обратно, лучше убейте меня своими руками, я глазом не моргну».

За сестру вступился и Дурды: «Аджаб, ты не тревожься, я не отдам тебя на растерзание. Пока я жив, не допущу над тобой насилия». Абадан одобрительно поддакивала мужу.

Мать была благодарна сыну за такие слова. «Вот какой он у меня смелый!» — с гордостью думала она.

Черкез решил пойти посоветоваться с Ходжанепесом.

— Мы не выходим за пределы закона,— успокаивал его Ходжанепес.— И мы не начинаем ссоры. Но если тот, кто жаждет скандала, захочет нас обидеть, мы будем защищаться. Не мучайте себя. Если Аджаб пожелает, выдайте ее замуж.

13

Аджаб выдали замуж за ровесника. Весть об этом тотчас же дошла до Ананияза. Да они и сами думали о таком конце. Сторона Ананияза не могла смириться с тем, что лишилась «дочери», и теперь жаждала мести. Их подзадоривали кое-кто из односельчан.

Ананияз задумал забрать у Черкеза Абадан. По совету яшули сначала решено было послать для переговоров человека.

Человек прибыл в дом Черкеза и изложил требования Аннанияза.

— Если вы не пожелали возвратить свою дочь нам и продали ее, этим самым вы расторгли первоначальный уговор. И я приехал с тем, чтобы забрать нашу Абадан. Эй, Абадан, собирайся! — приказал он в заключение своей речи.

Абадан предвидела такой разговор, и ответ у нее был уже готов:

— Я не отказываюсь от своих родителей и ничего плохого им не желаю. Но своего мужа и своего ребенка я люблю больше всех на свете. К тому же я не вещь, которую без конца можно перевозить из одного дома в другой, а человек и имею свою волю.

Если бы в это время был дома Дурды, он, наверное, объяснился бы с посланцем по-своему. Черкез же продолжал разговор, стараясь никого не затронуть.

Когда пришел Ходжанепес, ему стало обидно за Черкеза.

— Что это за позор! Ты езжай обратно и передай, если вы даже всем аулом придете, Абадан не уйдет от своего мужа!

Посланник уехал.

Люди Халлы-мираба стали готовиться к «походу»: сгоняли лошадей, собирали оружие. Хитрый Халлы-мираб решил не объявлять открытой войны, а напасть ночью и украсть Абадан. Бой же начать только в том случае, если встретят сопротивление.

14

Наступила роковая ночь. Вечер был туманный. К полуночи туман рассеялся. Небо стало прозрачным, как зеркало. Звезды, будто в ожидании чего-то, мерцали особенно ярко. Ветра не было, но всадников пробирал холод. Только цокот копыт нарушал тишину.

Подъехав к аулу Теджене, одна часть всадников быстро окружила кибитку Черкеза, другая — хижину, в которой жили молодые.

— Абадан, быстро выходи! Если не выйдешь, уложу на месте пулей! — послышался чей-то грубый голос.

Дурды вскочил, будто его ударили.

— Эй, бессовестные вы люди! Убирайтесь отсюда!..— отвечала Абадан.

Тогда всадники, мгновенно спешившись, схватили Абадан и поволокли. Из рук у нее вырвали ребенка и отбросили к двери.

Ребенок громко заплакал. Раздался отчаянный вопль Абадан. Сразу же поднялись все соседи. Но все они были безоружны. А с палкой против шашки не пойдешь. Налетчики оказались сильнее.

Не было оружия и у Дурды. Он схватил лопату, но на его плечи посыпались удары. Дурды вцепился в Абадан, которая уже была привязана к седлу.

— Убери руки! — крикнули ему.

Но он не повиновался. Тогда шашкой чуть не отсекли его левую руку. От сильного удара он упал.

Всадники, смешав Дурды с пылью, ускакали в темноту.

15

Жители аула Теджене решили не оставлять безнаказанным такое злодеяние и начали готовиться к походу против гагшалбюкри. Об этом узнали яшули соседних аулов. Они не одобряли их затеи. Несколько старцев пришли к Ходжанепесу и стали уговаривать его прекратить свару:

— Ходжанепес, мы слышали о том, что вы готовитесь выступить с оружием против гагшалбюкри. Мы знаем, как они вас унизили. Но нельзя доводить дело до худшего. На кого вы будете нападать с шашками в руках? У них тоже шашки. Начнется резня. Не становитесь на путь кровопролития. Или хотя бы подождите несколько дней. Мы пойдем к ним. Может быть, они уже раскаиваются в том, что натворили.

Но Ходжанепес не хотел слушать ничьих советов.

— Такое терпеть нельзя! Их надо проучить. Пусть они узнают, что мы не слабее их. Я лучше умру, чем позволю растоптать свою честь!

Тогда яшули поспешили к Халлы-мирабу.

16

Ходжанепес выступил с вооруженным отрядом в пятьдесят всадников.

— Братья! — обратился он к ним перед тем, как тронуться в путь. — Мы сели на коней не ради забавы и не

потому, что у нас нет других дел, а ради мести за причиненную нам обиду. Сегодня мы или отстоим свою честь, или все как один лишимся жизни!.. Знайте, тот, кто струсит и повернет назад, тот не мужчина, от того уйдет жена. Вперед — на защиту нашей чести!

Сторона Халлы-мираба тоже не спала. Но теперь Халлы-мираб раскаивался, что насильно увез мать от ребенка и жену от любимого мужа. Он понимал, что совершил грязный поступок. Да к тому же он опасался пролития крови. Ведь тогда проклятие народа обрушится на голову мираба. И когда к нему явились яшули из соседних аулов, он, выслушав их, сразу же согласился пойти на мировую. Яшули попросили привести к ним Абадан и вместе с ней вышли навстречу отряду Ходжанепеса. Те опешили, не ожидая такого конца.

Халлы-мираб вышел вперед.

— Вот ваша невестка,— сказал он.— Вы успокойтесь. Пусть между родными семьями не будет вражды.

— Надо простить им это зло,— заговорили яшули.— Послушайтесь нашего совета, не поддавайтесь соблазнам шайтана. Возвращайтесь обратно.

— Нет, выпущенная пуля обратно не возвращается! Так говорили наши предки. Мы не хотим ничего дурного никому из племени гагшалбюкри, пусть склонит свою повинную голову один Халлы-мираб. Больше нам ничего не надо.

Ходжанепес не успел еще окончить свою речь, как Халлы-мираб вышел вперед с низко опущенной головой:

— Ходжанепес! Народ не виноват. Виноваты мы с тобой, что не сумели все порешить миром. Не надо напрасно проливать кровь. Если хочешь, вот тебе моя голова, руби ее!.. Но даже кровному врагу прощают, когда он приходит с повинной.

Ходжанепес строго посмотрел на Халлы-мираба, смиренно стоявшего перед ним с опущенной головой, потом протянул ему руку.

1934—1935

Нурмурат Сарыханов
1906–1944

Шукур-бахши

1

Шукуру не давали спокойно пожить дома. Едва он появлялся в своем ауле, обязательно приезжали откуда-нибудь люди, «выпрашивали» его у родственников и увозили с собой «на денек». Он не возвращался месяц, а то и два. Родные ждали, бранили тех, кто увез Шукура, но что толку. Так повторялось много раз. Не удается прославленному бахши наслаждаться домашним покоем. Его судьба — кочевать по аулам, из кибитки в кибитку, с одного празднества на другое. На то он и Шукур-бахши.

Высокий, смуглый, с худощавым выразительным лицом и живыми глазами, едва ли старше тридцати лет,— таков был в ту пору знаменитый бахши. Слава не испортила его. Никто не мог упрекнуть его в заносчивости, свойственной артистам, избалованным успехом. Он отдавался своему искусству со всей страстностью горячей натуры, был неутомим в поисках новых мелодий, любил показать свое мастерство.

Где он появлялся, там тотчас собирался народ. Шукур брал дутар, его сразу охватывало вдохновение. Оно передавалось ему от народа, от юношей, сидевших рядом, от девушек и женщин, что смотрели на него, не сводя глаз, через решетчатый остов кибитки. Руки у него были сильные, пальцы длинные, гибкие; что он хочет, то и делает с дутаром. Захочет Шукур — и у каждого слушателя за-

смеется душа; заиграет воинственный мотив — и душа джигита переносится на поле битвы.

Шукур был, собственно, музыкант — сазандар. Популярность он снискал игрою на дутаре, но прозвище носил «бахши», что значит — певец. За свою жизнь он всего два или три раза пел при людях, и то в ранней юности, почти ребенком. С тех пор и утвердилось за ним имя Шукур-бахши. Оно широко распространилось в народе. Он мог бы и теперь петь, так как обладал голосом. Но он был убежден, что музыкой можно воздействовать на человеческую душу сильнее, чем словами. Не раз он говорил об этом друзьям.

Шукур был полным властителем дутара. Его музыка не была подражанием чужим образцам. Пользуясь опытом старых дутарчи, он постоянно искал новые приемы, а то создавал и собственные мелодии.

Долгой зимней ночью его дутар звенел без устали. Шукур-бахши играл с вечера до той поры, когда над Каракумами начинался день. Завороженные слушатели, казалось, не дышали. Они готовы были слушать сколько угодно. После каждой песни раздавались возгласы:

— Играй еще, Шукур-бахши!

— Живи два раза по пятьдесят, Шукур-бахши!

— Пусть десять лет моей жизни будут твоими, Шукур-бахши!

От этих слов сердце музыканта переполнялось счастьем. Он был не из тех артистов, которые то и дело оглядываются на котел с пловом или, не обнаружив на ковре денег, набросанных в благодарность за игру, рвут струны на дутаре. Его награда состояла в том, что народ наслаждался его игрою; поэтому даже простой крестьянин и пастух имели возможность пригласить его к себе и в своей кибитке слушать волшебный дутар. Те же, кто совсем ничего не имел, кого не было принято приглашать на празднество, кто не был в состоянии устроить пиршество, те, заслышав, что к ним в селение приехал Шукур-бахши, оставляли все дела и бежали туда, где он будет играть.

В пору, о которой мы здесь рассказываем, Шукур-бахши задержался в одном из дальних аулов, в кибитке, по обыкновению битком набитой слушателями. Давно он не был дома. С того дня, как двое всадников, ведя в поводу свободного коня, «выпросили» его у родных и увезли, прошло уже два месяца и одиннадцать дней. «Где он теперь, когда он так нужен дома? Как его найти?» — говорили родные и соседи. Но искать его не пришлось: он сам напра-

вился домой. Он заскучал в гостях и, как говорил впоследствии, почуял что-то недоброе.

Его родичи в ту пору жили на просторной равнине Душака. Родное селение еще издали показалось ему необычно тихим, и эта непривычная тишина усилила недоброе предчувствие. «Приеду, соберу всех от мала до велика, буду играть целую ночь до утра, повеселю себя и народ». С такими мыслями он приближался к дому. Но чем ближе кибитка, тем больше росло его беспокойство. Тоска, появившаяся с утра, разрасталась. Аул выглядел хмуро, что-то переменилось в нем. Неприветливым показалось ему и собственное жилище, стоявшее на краю, возле сухого арыка. Там не было видно никаких признаков жизни. Никто не входил и не выходил из дома. У других кибиток стояли на привязи кони, покрытые белыми кошмами, а около его кибитки не было коня, который служит украшением жилища.

Уже смеркалось. Дочка, по которой он так соскучился, трехлетняя девчурка с русыми косичками, не выбежала ему навстречу. Ее не было дома, она вместе с матерью ушла в соседний аул, к родным. Только невестка Дурсун, жена старшего брата, оказалась дома. Накинув на голову старый халат, она сидела в углу. Ее лицо словно окаменело. Оно не просветлело и при появлении деверя, который отсутствовал так долго и вот явился. Невестка только глубже спряталась в халат, не ответила на приветствие и не взглянула в лицо деверя. «Что случилось?» — подумал Шукур, пристально всматриваясь в ее черты. Глаза ее опухли; видно, женщина много плакала. Она словно обижена на него? Что он мог сделать дурного? Или без него случилось несчастье? В доме горе, и сейчас он обо всем узнает. Опустив руки, бахши постоял немного, потом негромко стал спрашивать.

— Все ли благополучно? Отчего ты печальна? Брат мой, Берды, дома?

Невестка не отвечала. Если бы сейчас она сказала хоть одно слово или чуть двинулась с места, она не сдержалась бы, заплакала. Так и сидела, готовая каждую минуту разрыдаться. Бахши понял ее состояние. Не заставляя отвечать, он снял с плеча дутар и повесил на стену. Дурсун порывисто встала и, не сказав ни слова, вышла.

«Что произошло?» — подумал бахши, оглядывая стены и ничего не понимая. Все вещи на месте. Ничего не переменилось без него, ничего не убавилось, не прибавилось. Только не было кривой шашки, принадлежавшей брату и

обычно висевшей на высоком колышке. Шашки нет, коня у дверей нет, и самого их владельца не видит Шукур-бахши. Что произошло?

Едва невестка очутилась за дверью, как ей навстречу вышла соседка, немолодая женщина Бостан. Увидев плачущую Дурсун, она принялась ее уговаривать.

— Перестань, Дурсун-джан,— говорила она.— Перестань мучить себя. Ведь он не умер, не пропал бесследно. Будет здоровье, выпадет счастье — он в целости вернется к тебе. Поверь, сестра, только бы посчастливилось! Мало ли таких, кто вернулся оттуда?

— Ай, не говори, сестра! Если бы я надеялась, что он вернется, разве плакала бы,— прервала соседку Дурсун.— Не придет он, чувствую, не придет! — Она говорила громко, с расчетом и на уши деверя.— Не прийти ему теперь. Не прийти. За кого родственники заступятся, те вернутся, а он не придет. У него нет таких родственников. Его никто не выручит. Одиноким он жил, одиноким и погибнет. Поэтому и плачу. Горе мое! Ты скажешь, сестра, что у него есть поддержка? Есть такой человек? И есть и нет. Этот человек пальцем не шевельнет, чтобы выручить родного брата. Уж я знаю. Ему довольно своей музыки. Музыка, да разговоры, да похвалы людей — вот что ему нужно. В музыке для него и семья и весь мир. В музыке вся честь его.

— Что ты, Дурсун-джан, зря говоришь? — возразила Бостан.— Зачем клевещешь на бахши? Бахши от брата не откажется, да и не один бахши, народ его поддержит. Сама увидишь, я-то уж знаю. Я все знаю!..

— Ой, милая сестра, что хочешь говори, а его не вернуть оттуда.

— Да вернется он! Все отдадут люди, а его выручат, поверь моему слову: люди выручат. А ты перестань плакать. Какой толк в слезах? Перестань!

— Рада бы не плакать, да горе мое!..— причитала Дурсун.

Она прислонилась к кибитке, потом опустилась на землю, не в силах совладать со своим горем. Слезы полились из глаз пуще прежнего. И мужа жалела она, и в девере старалась пробудить воинственный пыл, заставить его, не мешкая, заступиться за брата. Пусть бахши что-нибудь придумает. Хоть Шукур и не привык ходить в походы, но когда он берет в руки дутар — богатырские песни льются рекою. Мужчина, в чьей душе рождаются такие песни, должен быть отважным, должен найти в себе мужество по-

стоять за родного брата. Думая так, невестка всхлипывала, невнятно причитая.

Бахши слышал ее, слышал от начала до конца весь разговор женщин. Все объяснилось. Брата, поехавшего за горы, взяли в плен. Брат в плену. Несчастье свалилось на их дом нежданно. Бахши не сердился на невестку, которая не сказала ему прямо и просто о случившемся, а высказала все через посторонних да еще хотела обидеть его, Шукура. Он думал о брате, который теперь в неволе и которому он, Шукур-бахши, столь многим в жизни обязан. Он и музыкантом стал благодаря ему.

Воспоминания о брате для бахши были тесно связаны с любимым искусством. Шукур с детства питал страсть к музыке. Когда его сверстники, отыскав палку, мастерили из нее ружье или, оседлав ее, играли в джигитов, Шукур из куска дерева делал дутар, прилаживал к нему шелковые нитки и пробовал играть. Иной раз он выпрашивал настоящий дутар у соседей, портил чужую вещь, ставил в неловкое положение родителей. Мать посылала его в степь за травой или саксаулом,— он и там с утра до вечера только тем и занимался, что мастерил дутары. Больше всего он любил бывать в тех кибитках, где имелся дутар. Хоть играть ему не давали, зато можно было, забившись в уголок, слушать, как играют другие. От родителей мальчику порой доставалось за эту его не в меру разросшуюся страсть. «Видно, не выйдет из тебя толку, сынок»,— сокрушалась мать, а отец добавлял: «Сразу сказывается материнская кровь: сладкие песни любит больше, чем коня». Только старший брат не бранил его. Он купил мальчику дутар, когда Шукуру исполнилось десять лет. Дутар оказался почти непригодным, полуразбитым, но его можно было починить, подклеить, подточить. Все-таки это был настоящий инструмент, определивший всю дальнейшую судьбу Шукура. Именно брату он был обязан этим самым радостным, самым важным подарком в своей жизни. «Да, брат Берды, тебе бахши обязан всем, что было и есть у него в жизни самого радостного. А тебя здесь нет, дорогой брат. Ты в неволе. Что с тобой происходит в эту минуту? О чем ты думаешь? Да и жив ли ты? А если по милости божьей жив, то какие надежды питают тебя?»

Бахши должен был немедля решить, как ему выручать брата. За дверью темнело, а он все стоял на одном месте и думал. Думал о спасении брата. Что надумал он? Ведь от того, как он начнет действовать, будет зависеть судьба Берды, находившегося в плену. В этом невестка не оши-

балась. И она и многие люди ждали, что скажет Шукур-бахши. О том, что он намерен предпринять, легко было бы предположить, если бы он был джигитом-воином, если бы брат в свое время купил ему не дутар, а коня, ружье и с детства приучал бы его к ратному делу.

— Ах, милый бахши! Благополучно ли съездил, приехал? Как твое здоровье, самочувствие?

Это проговорила старушка Кумыш-эдже, появившаяся с клюкой в руках рядом с Шукуром. Она жила неподалеку и доводилась ему родственницей. Она так неожиданно появилась в кибитке, вошла с такой поспешностью, что бахши на мгновение растерялся, не зная, что ответить.

— Вот и слава богу, что подобру-поздорову вернулся,— продолжала старуха, ощупывая клюкой земляной пол.— Слава богу! Как долго тебя не было, сынок! Долго заставил ты нас не спускать глаз с дороги. Вчера людей послали за тобой, двое на север поехали, а один на запад. Может быть, ты встретил их? Ай, бахши-джан, как ждали тебя! Слава богу, приехал!

Последние слова старухи усилили задумчивость Шукур-баши. До ее прихода он не успел принять никакого решения, не успел поразмыслить обо всем как следует.

— Недаром сказано: голова мужчины в заботах о битве,— не умолкла Кумыш-эдже. Она присела, сгорбившись, у очага, приблизила руки к полупогасшим углям и продолжала: — Это не напрасно сказано, бахши-джан. Только мужчины способны бороться. Да-а, восемь дней миновало, как брат твой в неволе! Восемь дней сидим горюем. Что пользы от того, что на месте сидишь, печали волю даешь! А ты не горюй, бахши-джан, тебе печаль не пристала. Ты крепче затяни пояс и начинай действовать смело, уповая на бога. И все за тобой пойдут, бахши-джан. Опояшься крепко-накрепко, а больше и не надо ничего. Бог тебе поможет.

Старуха могла без умолку говорить хоть целую ночь. Она знала все происходящее кругом и обо всем имела свое суждение. Однако самое важное, что ей хотелось принести к бахши раньше других, главный совет ему был уже подан. И она повторила еще раз:

— Кушак туже подтяни и будь готов к выполнению святого долга!

И тут Шукур ответил ей:

— Кушак подтянут как надо и дутар настроен отлично, Кумыш-эдже! Вот мой ответ!

Лицо его в эту минуту просветлело. Он выпрямился,

расправил плечи, огляделся кругом. Глаза его пылали. Он порывисто шагнул к висевшему на стене дутару, привычным жестом снял его с рога и опустился на кошму рядом со старухой.

— Слушай, Кумыш-эдже!

С каким-то небывалым чувством он гневно ударил по деревянному телу дутара, отчего старуха испуганно привстала, затем легко тронул одну струну и прислушался. Порыв, овладевший им, оказался сильным, дутар крепко был взят в руки. Знающий Шукура сразу заметил бы, что с дутаром в руках он намерен встретить завтрашний рассвет. И он заиграл.

2

Один за другим к кибитке Шукура скоро собралась большая часть мужского населения. Шукур играл, не вставая с той минуты, как гневно ударил по дутару, перепугав старую Кумыш-эдже. Она давно ушла, а мужчины прибывали и прибывали. Изредка бахши, поднимая голову, отвечал на приветствия входивших и опять продолжал играть.

Собравшиеся не были праздными любителями сладких речей и музыки. Все они знали о горе семьи, все пришли с желанием помочь бахши в его горе. У кого не было желания любой ценой помочь ему, тот не пришел сегодня слушать музыку.

Сидели в тесном кругу степенные мужи, люди чести и сурового обычая. Сама жизнь приучила их не жалеть о том, чего не удается достичь, и не раскаиваться в том, что совершено. Были тут и седобородые — аксакалы, почитаемые старики и совсем молодые джигиты. Приехал кое-кто из соседних аулов, узнав, что Шукур вернулся домой. Все заняты были судьбою его брата.

Музыка дышала героикой походов, пела о превратностях судьбы воина. И настроение слушателей было необычное.

Нетерпеливо ожидая приезда бахши, друзья его не раз совещались и успели уже договориться между собою, как вернее освободить его брата из темницы хана. Они сидели с ясным планом в голове и готовы были его высказать. Никто не сомневался, что бахши одобрит их решение.

Шукур играл, не поднимая головы. Приходящие садились молча у порога, слушали, но у каждого из них, что

называется, на кончике языка дрожали слова. А бахши раскачивался над дутаром, струны пели звонко, внятно. Иногда мелодия поднималась высоко, звучала напряженно, угрожающе. Порою она затихала, чтобы через мгновение снова разлиться безудержным потоком, заполнить кибитку до решетчатого купола, взбудоражить душу каждому слушателю. На рассвете неожиданно для окружающих бахши запел. Можно было подумать, что вопреки его убеждению музыка не вмещала всех его переживаний. Но песня оказалась простой, спокойной песней о дутаре; слова ее были обращены к неизвестному мастеру, в давние времена смастерившему первый инструмент:

Из дерева дутар певучий мой,
Из дерева, из дерева. Оно
Росло, шумя зеленою листвой;
Теперь ему в дутаре суждено
Продолжить жизнь. Так громче, громче пой,—
Живых деревьев вечною красой
Прекрасен ты, дутар певучий мой.

— Ай, спасибо, бахши-джан! — воскликнул близкий друг Шукура, что целую ночь сидел плечо к плечу с ним. Его звали Чолак-Батыр. Показав на дутар в руках Шукура, он сказал: — Инструмент твой — чудо инструмент! Не простая вещь — чудо! Да-а! А мы, бахши-джан, мы все, кто тут есть, пришли к тебе по делу. Послушай нас!

— Рад послушать! Почет и слово даем старшим,— приветливо откликнулся Шукур. Одушевление, охватившее его, когда он играл, не покидало его и теперь.

Со всех сторон разом послышались голоса джигитов:

— Наше слово короткое!

— Долго обсуждать нечего!

— Неделю обсуждали, хватит!

— Не слово — огонь покажет результат.

— Огонь и шашка!

— Решено так решено!

— Дайте сказать одному!

— Собираемся, как условились, вот и все!

— В поход!

— В поход так в поход!

— Постойте! Не торопитесь! Эй, молодежь! — с трудом останавливал их Чолак-Батыр, обычно предводительствовавший в походах. Он поднял руку с обрубками пальцев и сам заговорил.

— Дорогой бахши,— сказал он, когда стало тише.— Мы подумали обо всем, пока ждали тебя. Жребий брошен!

У нас твердо решено, что надо было решить. Если уцелеют наши головы, твой брат выйдет из ямы. Это должно быть ведомо тебе! — с ударением сказал Чолак-Батыр. Большинство сидящих согласным гулом одобрили его слова. Выждав опять тишину, он закончил: — Подступим к ханской тюрьме врасплох! Там охрана большая, но и мы идем большой силой. Мы действуем внезапно! Любой ценой освободим твоего брата. Ты и сам будешь на коне, с оружием. Мы все предусмотрели. Иного пути нет. Иного пути быть не может. Что скажешь ты?

Он пристально посмотрел на Шукура, который слушал его с улыбкой, как слушают дети. Ничего неожиданного для бахши не содержалось в этих словах.

— Чолак-Батыр! Э, Чолак-Батыр! Надо довести до бахши и другое мнение, которое вчера тоже было поддержано на сходке. Скажи и о том мнении, Чолак-Батыр!

Эти слова принадлежали старику Меред-ага, сидевшему у мешков с пшеницей. Все знали, что у него было на уме. Чолак-Батыр, выступив вчера против мнения Меред-ага, сейчас не хотел о нем упоминать, убежденный, что иной дороги, кроме той, по какой он сам собирается идти, не существует. Батыр что-то пробурчал себе под нос, но Меред-ага не успокоился. Он вынес на суд хозяина дома свое мнение.

— Если у тебя, бахши-джан, не лежит душа к совету Чолак-Батыра, склони свой слух к моему совету. Мое намерение не хуже, поверь мне.

Джигиты вполголоса зароптали, но Меред-ага привстал над мешками с пшеницей, стремясь всех перекричать.

— У нас есть богатство, чтобы освободить Берды-джана и обойтись без крови. Кладем на середину все, что мы имеем! Хан сдастся. О его жадности к деньгам слух идет повсюду. Хан растает при виде богатства.

— Не бывать этому!

— Нас толкают на малодушие!

— Зачем снова класть на середину то, что всеми отвергнуто?

— Только себя обесславим. Скажут: туркмены по малодушию своих людей выкупают.

— Никто не пожалел бы денег, да это не дело. Без денег сумеем обойтись!

— А если ты, Меред-ага, свое накопление собрался отдать, то пожертвуй на призы в состязаниях, когда джигиты вернутся, освободив брата бахши.

Так возражали Меред-ага джигиты. Но каково же мнение бахши? Он пока не сказал, какую сторону принимает.

— Что говорить? Брат в плену...— бахши остановился в раздумье, положив на кошму дутар и взглянул на друзей.— Берды в плену! Первое мое слово: спасибо вам за верность и дружбу. Спасибо за поддержку и за прямоту. В тяжелый час я нашел помощь и поддержку моих друзей. Что мне еще говорить?

— Скажи прямо: какое из двух мнений тебе по сердцу. То или это — вот и все! — горячо потребовал один из джигитов.

— Нет, не так! — перебил его Чолак-Батыр.— Здесь не было двух дорог. Дорога одна. Верная дорога! По ней пойдут люди чести, а ты, бахши, позабудь на время музыку, вешай шашку через плечо и — в добрый час, спасать родного брата.

— Истинно так!

— Правильно!

— Другой дороги не видим! — сразу со всех сторон раздались голоса.

Но Шукур по-прежнему сидит, слегка улыбаясь. Люди ждут его слова, а он будто не торопится отвечать им, словно боится своим ответом не угодить друзьям.

— Быть может, иной выход найдется,— еле слышно сказал он наконец, чем еще больше озадачил гостей.— Обязательно ли садиться на коня, идти в кровопролитный бой? Нет ли другого выхода? Или собрать все богатство наше и отдать алчному иранцу-хану выкуп за моего брата Берды? Нет ли третьей дороги? «Дорогу осилит идущий»,— гласит пословица. Так ведь, Чолак-Батыр?

— Другие пути заказаны, бахши-джан! Как ни ищи, придешь к нашему,— строго сказал Батыр и покрутил ус.— Мы думали-передумали, ожидая тебя. Решение наше зрелое, поколебать его нельзя!

Вновь заговорил Шукур. Он начал выкладывать, что думал.

— Все понятно, Батыр,— подтвердил он.— Но когда мои ровесники и друзья запасались оружием, то я брал в руки дутар. Я с детства благоговел перед учителями музыки, ловил их мелодии, каждое движение их души. Я научился вкладывать свои мысли в музыку. Я играл и добился похвалы народа. Всего себя отдал музыке. Вам известно, что меня благословил на это Кара-Дели Гоклен. Верно ли говорю?

Батыр кивнул. Тогда Шукур спросил, прямо взглянув ему в лицо.

— Сумеет ли дутар сделать то, что делает конь и оружие? Я спрашиваю: сумеет ли или нет?

Батыр молчал, не поняв вопроса. Кто-то другой заметил, что, конечно, бывают такие случаи, когда дутар дороже шашки. Например, на свадьбе. Неясно было, что кроется за словами Шукура, и эта двусмысленность была особенно не по душе Чолак-Батыру. Он то и дело хватался за ус и переводил взгляд с одного лица на другое. Разговор, как казалось ему, становился праздным, недостойным такого собрания. Он сказал, ни на кого не глядя:

— Не свадьба на очереди. Не забывайте об этом, люди! Исполним неотложный долг, тогда можно вспомнить о свадьбе, о музыке. И дутар нам пригодится. Его милей слушать, чем шашку, когда она свистит над ухом. Но сейчас...

— И я говорю о том, что предстоит сейчас,— перебил бахши.— Я говорю о неотложном деле.

— При чем же музыка?

— Слушай, Батыр, предоставьте мне пока действовать самому. С помощью вот этой невзрачной на вид штуки я попытаюсь освободить брата. Не сумею,— тогда воля ваша, ваш черед.

— Что ты замыслил? — воскликнул Батыр.— Дутар — оружие людей, когда они блаженствуют в тени. Это — оружие отдыха, а там, за горами, нет тенистой лужайки для нас. Я отказываюсь понимать тебя, бахши. Раскрой свое намерение, может, и мы поймем что-нибудь.

— Я хочу освободить брата вот этим оружием.— Шукур поднял над головой дутар. Зная наперед, что его замысел встретит отпор, особенно у людей храбрых, испытанных в боях, каким был Чолак-Батыр, и, натолкнувшись сейчас на такое настойчивое сопротивление большей части друзей, бахши и сам стал говорить более решительно: — Кто недоволен тем, что я задумал, подождите изъявлять недовольство. Я попытаюсь!.. Я поеду один, вот с этим дутаром, к самому хану!

— Потом?

— Сыграю ему. Буду играть, как могу, в полную силу, во имя родного брата.

Услышав эти слова, все пришли в движение. Мужчины поднимались с места, хлопали по плечам соседей, что-то доказывали друг другу, говорили громко, кричали. Кибитка была как растревоженный улей. Всяк выражал свое

мнение, как умел. В многоголосом шуме нельзя было разобрать, кто за что стоял. И, казалось, не было человека, который бы не возражал Шукуру-бахши. Наконец шум улегся, стали слышны отдельные голоса, все еще перебивавшие друг друга.

— Куда хватил! К хану!

— Подняться туда одному!

— Голову перед ним склонить?

— Не позволим хану тешиться нашей музыкой!

— Хана выбрали в ценители туркменской музыки! Пусть пропадом пропадает тот хан!

— Он собак натравит, вот и вся музыка.

— Не дадим ему позорить наш саз и нашего сазандара. Что хочешь говори, не дадим!

— Я полагаю, бахши пошутил с нами,— покрывая голоса, сказал Чолак-Батыр.— Правда, ты пошутил, бахши? С дутаром к хану, как к родственнику на свадьбу! Ха-ха! Это, правда, смешно! Вот вышла бы потеха, если бы ты поехал к хану, как сейчас говорил, да сыграл ему две-три песни. Спору нет, песни получились бы на славу. Вот что, ребята: судить больше нечего. С утра готовьтесь выступать!

— Готовы! Мы все готовы!

— Нет, я скажу до конца, если решил сказать! — возвысил голос бахши.— Я не шучу. Я поеду к хану. Слушайте. Поеду не для того, чтобы шею перед ним сгибать. Явлюсь к нему с высоко поднятой головой. Не унижусь ни перед ханом, ни перед кем другим. Каждую минуту буду вас помнить, буду чувствовать вас у себя за спиной. Я сразу скажу о вашем решении, о смелом духе моих друзей. Я мог бы, скажу ему, прибыть с отважными из отважных, мог бы деньги привезти в хурджинах, но не захотел ни того, ни другого, а явился — вот с чем. Я покажу ему на дутар.

— Ого-о!

— Выслушает ли он тебя?

— Ну, ну, потом что?

— И тогда примусь точить его нутро,— продолжал Шукур.— Начну расставлять сети вокруг хана. Лишь бы только он позволил мне говорить языком моего дутара. Обстоятельства подскажут, что делать дальше. Так и решил. Решение мое неизменно, друзья мои,— твердо закончил Шукур.

Среди мужчин воцарилось молчание. Тишину нарушил одинокий голос — заговорил молодой человек, сидевший по

ту сторону порога. Он сказал, что хан просто отнимет у бахши дутар, разобьет его вдребезги и все будет потеряно. Чолак-Батыр, не спеша, отхлебнул чала из деревянной чаши, поданной Дурсун, посмотрел сквозь дымоход на звезды и глубоко вздохнул. Старики сидели, опустив бороды до кошмы. Безмолвствовал и бахши, высказав все, что думал. Наконец от стены поднялся старый Ораз-ага. Он встал на колени, положил руки на плечи рядом сидевших юношей и начал говорить. Его никто не перебивал. Все уважали его за справедливость, за мудрое суждение в делах. Он редко вмешивался в беседу, а когда говорил — его слушали.

— Люди! «Порою хитрость храбрости выше». Это слова Махтумкули. Если поразмыслить над тем, что сказал Шукур-бахши, то станет ясно: бахши собирается воспользоваться советом великого Махтумкули. Мы не робки душой, гордимся отвагой и впредь будем гордиться, и никто из нас не помыслит отступать от заветов предков. А самый отважный из предков наших так говорил в свое время: «Бывает, в отступлении пользы в сто раз больше, чем в натиске». Так Гёр-оглы сказал. Непобедимый Гёр-оглы! Откуда нам ждать успеха? — Передохнув, Ораз-ага взмахнул рукой и закончил с большим воодушевлением: — Да поможет тебе аллах, Шукур-бахши! Поезжай! Скажи ему: я мог бы напасть на тебя с отборными воинами и взять своего брата, но я пренебрег этим, а приехал с дутаром, чтобы сыграть тебе. Хан трепещет за свою жизнь. Пусть он попробует не выслушать тебя. Пусть только руку на тебя поднимет. А на что же мы? Не дрогнет и наша рука! Мы готовы. Мы будем ждать с минуты на минуту... Добрые люди! Бахши уверен в своей силе. Наш долг и мужество теперь в том, чтобы поддержать его. Суждения были разные. Речь мужчин была разумна и смела, как подобает мужчинам. Мы пришли к заключению. Счастливой дороги, бахши!

Так неожиданно завершилась беседа. Большинство осталось противниками такого решения. Чолак-Батыр сидел хмурый. Молодые поглядывали на него из-под шапок, не повернет ли он все дело на свой надежный путь. Но и он был бессилен вступать в спор с непоколебимым бахши и вставшим на его сторону Ораз-ага. За Ораз-ага всегда оставалось последнее слово. Так случилось и теперь. Впервые народ недоволен был своим сазандаром и не скрывал своего недовольства. Но ничего не оставалось делать, кроме как благословить его на удачу. Чолак-Батыр

встал, опустив голову. Встали и другие. Глядя в просвет двери, откуда пробивалась утренняя заря, Батыр сказал с печальной укоризной:

— Ты совершаешь ошибку, бахши-джан. Большую ошибку! Что ж, попытайся; мы желаем тебе добра. А если ничего у тебя не выйдет, тогда наш черед. Люди готовы.

Последние слова он произнес уже за порогом и, не прощаясь ни с кем, повернул за кибитку. Народ поднимался, в кибитке стало тесно, и непонятно было, кто кому и что говорил на прощание. Бахши расслышал у себя за плечами голос, ободривший его:

— Пусть твое мужество приведет к успеху!

Провожая гостей, он, как и раньше, радовался тому, что друзья не забыли его в трудный час, пришли и заявили о готовности выручить пленника. Он принял свое решение и до конца остался непоколебим. Он сознавал рискованность задуманного, испытывал волнение, думал каждую минуту о том, что он скажет хану, что тот ему ответит, и, прежде всего, допустит ли хан к себе его, простого туркменского музыканта, имени которого за горами, может быть, не слышали. Размышляя так, он, однако, не колебался в том, что решил; хотя было бы проще всего довериться испытанным воинам. Они-то наверняка выручили бы брата.

Брат дал ему в руки дутар. Он содействовал славе сазандара. Эта мысль первая пришла в голову Шукур-бахши, когда он узнал о несчастии. Брат и должен быть спасен не иначе, как с помощью дутара.

— Если я сам не освобожу Берды, я не посмею больше называться его братом,— сказал Шукур-бахши, прощаясь с последним гостем.

3

Бахши не бывал в набегах и походах. Пришлось расспрашивать о дороге знающих людей. Они объяснили ему. Дорога будет сто раз кружить, поворачивать туда и сюда, пока не пересечет самую большую гору, вершина которой видна отсюда. Надо ехать по дороге, ущельем. Чем дальше к югу, оно будет все шире и шире, а когда перейдет на равнину, встретится селение. Оттуда полперехода до ханской крепости.

Собираясь к хану, Шукур оделся совсем не по-праздничному. В простом чекмене, в косматой папахе, с дута-

ром через плечо, он сел на добрую старую лошадь, которую давно уже не брали в боевые походы.

Немалая отвага требовалась от того, кто решался ехать в одиночку этим путем. Здесь не часто проезжали всадники, а если ехали, то целыми отрядами, с ружьями наготове, на скакунах, быстрых как ветер. А он поедет один, и оружие его — двухструнный деревянный дутар!

Ранним утром народ провожал бахши. Старые и молодые, юноши, дети и женщины долго стояли на дороге, глядя ему вслед. Не было в толпе только Чолак-Батыра и его самых ревностных сподвижников, которых особенно огорчало то, что откладывается поход. Они убеждены были, что похода не миновать, что без них не обойдутся в таком серьезном деле, но музыканту взбрела в голову сумасбродная мысль, которая наверное заставит его разделить участь брата.

И в кучке людей, устремивших глаза на дорогу, продолжался вчерашний разговор:

— Удача ждет его, или новое несчастье падет на нашу голову?

— Как поступит бахши, прибыв к дому хана?

— Таким способом вряд ли он сумеет добиться своего.

— Один бог знает, как там пойдет дело.

— Бахши едет с уверенностью — быть может, громкую славу привезет народу?

— Общее наше горе — и слава общая. Лишь бы сам воротился целым,— вот чего пожелаем в первую очередь.

Такими речами напутствовали музыканта провожавшие, а он удалялся не оглядываясь. Старая лошадка еще помнила дорогу. Скоро Шукур приблизился к горам, вершины которых освещались в этот час восходящим солнцем. Погруженный в размышления, он не заметил, как темные тени гор обступили его со всех сторон.

Куда ни взглянешь — утесы, пластами сложенные высокие стены, подавляющие своей мощью. Вот она, нестареющая мощь земли, опора неба! Хотя бахши и вырос неподалеку, слышал много рассказов охотников и воинов, не раз вдохновлялся красотой горных ущелий и долин и даже сложил о Копетдаге несколько песен, однако до сих пор ему не приходилось любоваться так близко суровым величием этих ущелий и утесов. Серые, желтые, коричневые скалы то поднимались к небу рядами, то громоздились беспорядочными глыбами. На их уступах росли деревья. Зелень деревьев радовала глаз, напоминая о живом. Непонятно было, как могут жить растения на голом камне,

откуда они берут влагу, как их корни держатся на этих стенах, плотностью не уступающих железу. По преданию, Хезрет-Али шашкой рассек горы, отчего и образовались эти ущелья. Другая легенда гласит, что эти горы преграждали путь влюбленным. Они сидели на камне у подножья горы и проливали слезы. И слезы проточили камень. В этом было не больше правды, чем в легенде о Хезрет-Али, но бахши при воспоминании о влюбленных становилось грустно.

Затерянный в теснинах Копетдага, бахши поднимал взор, оглядывая вершины. Временами необъяснимая тоска сдавливала ему грудь. Проехав еще немного, он решил взобраться на самую высокую гору, чтобы посмотреть оттуда на свою страну. Он привязал к кусту лошадь и, цепляясь за камни, добрался до вершины облюбованной горы. Теперь он стоял высоко над Каракумами. Здесь в полную силу светило солнце. Как-то по-новому легко дышалось. Он увидел родное селение, темные точки кибиток и арыки, протекающие по знакомым полям. Дух захватывало от высоты и от волнения при виде родного, теперь отодвинувшегося так далеко жилья! Вернется ли он когда-нибудь снова в Туркменистан? Будет ли сидеть в переполненной народом кибитке, радуя музыкой сородичей?

Бахши не испытывал раскаяния от того, что решился на эту поездку. Он был уверен в себе, как никогда. Он знаменитый и всеми признанный музыкант; его восторженно встречали во всех подгорных селениях, в Мары, у местных племен — салоров и сарыков. Ему давно хотелось побывать в Хиве и в иных местах, где он не бывал еще. И вот он едет на поединок с ханом. Это будет поединок наподобие сражения воинов, но в предстоящей борьбе он намерен применить свое оружие — дутар. Первые люди родной земли — богатыри — усомнились в превосходстве дутара над шашкой. Они остались там внизу со своим сомнением. Они во многом правы. Эти люди лучше бахши знают нрав хана, но он не дал им убедить себя и теперь стремится за горы, как безумец, уповая на свой дутар. Однако и теперь в душе его нет колебаний. Он стоит на высокой горе, улыбается легкому ветерку, овевающему лицо, а где-то в глубине его сердца зарождается торжественная мелодия, в которой отражена красота родных гор, верность любимому человеку,— песня правды и силы. Хан будет покорен, когда он заиграет эту песню!

Однако пора было спускаться в долину, продолжать путь. Он еще раз кинул взгляд на темные сады внизу, на

стадо, бродившее в долине, и на безбрежную даль Каракумов, распростертую к северу от Копетдага. Горы, горы! Незаметно для себя самого, словно повинуясь внутреннему побуждению, Шукур снял с плеча дутар и заиграл песню Гёр-оглы «Горы древние». Заиграл и запел так громко, что не будь между ним и туркменскими селеньями многочисленных холмов, преграждавших путь его голосу, друзья, оставшиеся на равнине, услышали бы его и пережили бы то же настроение, какое владело им. Он пел:

Туры мои, скорее в бой!
Горные склоны дрожмя дрожат.
Занять проходы, стать стеной,—
Горные склоны дрожмя дрожат.

Когда грохочет град боев,
И топчет маки сталь подков,
И шашки бьют в щиты врагов,—
Горные склоны дрожмя дрожат.

Когда, чтобы степь багрить вином,
Садится Гёр-оглы верхом
И в битву мчится напролом,—
Горные склоны дрожмя дрожат.

В ущелье конь встретил его тихим ржанием. Десятки раз ходивший здесь в своей молодости, он уверенно пошел по каменистой тропе, унося путника все дальше, в глубь Копетдага. «Кто идет, тот и пустыню перейдет...»

4

Сазандар остановился у ворот крепости. Пока что ему сопутствовала удача. Злые люди не попадались на дороге. Встречные спрашивали, куда он держит путь и зачем, он отвечал, и ему указывали, как следовать дальше.

Вот она, ханская крепость. Нет, не так принимают гостей, которых ждут, нетерпеливо поглядывая на дорогу. Бахши даже не успел разглядеть по-настоящему ни городских построек, ни крепости, ни ее высоких стен. Он с трудом добрался сюда, лошадь была так утомлена, что едва переставляла ноги. Но она дотянула до места. Казалось, останься еще сотня шагов,— лошадь не выдержала бы, свалилась.

Схватив лошадь под уздцы, стражники бросились на Шукура с двух сторон и стащили его с седла. Один из них сорвал с плеча музыканта дутар, вытащил его из чехла, посмотрел удивленно на инструмент, затем на

странного путника и швырнул дутар на землю. Диковинная вещь — всадник-туркмен появился здесь с такой безделицей и без ружья! На всякий случай стражники обыскали Шукура, пошарили в складках чекменя, развязали кушак, но, к великому огорчению, ничего, достойного внимания, не нашли. Даже обыкновенного кинжала не было у необычного гостя.

— Откуда? Куда едешь? Что за человек? — спрашивали его.

Шукур посмотрел на дутар, валявшийся под ногами, подумал о том, не повредили ли его слуги хана, когда бросили на землю, нагнулся, поднял инструмент и с достоинством отвечал:

— Приехал я оттуда, из-за гор. Приехал к хану. Проводите меня к нему.

— Ого-о! К самому хану?

Стражники еще раз попытались узнать, кто он такой, но Шукур, не желая с ними разговаривать, потребовал доложить о нем самому хану.

Мамед-Яр-хан был в своих покоях. Там царила мертвая скука. Каждый день одно и то же. Нечем было развлечься, нечем потешить себя. Хан имел красивых жен,— они ему надоели. Он держал в своей свите несколько искусных певцов и музыкантов,— но он уже слушал их тысячу раз; они пели одно и то же и прискучили ему. Знатные гости давно не заезжали. Хан скучал. Он сам не сумел бы сказать, что может его развлечь, прогнать тоску. Требовалось что-то новое, но эти тунеядцы, окружавшие его, нового не умеют придумывать.

И вот вбежал запыхавшийся начальник стражи, упал в ноги хану и, когда ему позволили встать, сказал:

— Хан-ага! У ворот какой-то бродяга просит позволения допустить его к тебе.

Это было неожиданностью. Утомленные глаза хана открылись шире. Он обрадовался, тотчас велел привести приезжего в покои. Однако стражник не уходил. Он намеревался еще что-то сказать. Хан заметил, что тот медлит, нетерпеливо крикнул:

— Что ты молчишь? Веди ко мне приезжего, живо!..

Начальник стражи должен был сказать, что он не дознался, что это за человек. Он туркмен. Приехал один, безоружный. На все вопросы отвечает одно: «Ведите меня к хану!»

Хану показалось удивительным появление одинокого всадника из-за гор. Что могло привести его сюда? Может

быть, он отказался от своего народа и ищет его покровительства? Или он привез золото, хочет выкупить пленных?

— Приехал один? — недоверчиво спросил хан.— Никого поблизости не видно? Никаких донесений от дозорных не поступало? Один и без оружия?

— Да, так. У него старая лошаденка и дутар, больше ничего.

— Дутар? — удивился хан.— Он с дутаром? — В глазах хана вспыхнула искра интереса.— Веди его сюда!

Начальник стражи побежал. Хан нетерпеливо поднялся с места; он и сам, казалось, готов был бежать к воротам. Он толкнул широкую дверь и крикнул кому-то из приближенных, чтобы тот поторопил стражников. Ему не терпелось увидеть гостя.

Входит сазандар. Он приветствует хозяина, тот отвечает ему; оба рассматривают друг друга. Молча садятся. Молчание длится некоторое время, но оно, по-видимому, не тяготит ни того, ни другого. Хан впился глазами в музыканта. Перед ним сидел молодой туркмен, одетый в чекмень из верблюжьей шерсти. На голове высокая черная папаха с крупными завитками, на ногах сапоги, расшитые иранским узором. На одежде заметны следы долгого пути. Гость устал, но у него приятное лицо, и, что более всего поразило хана,— уверенность, спокойствие на лице. В выражении его глаз чувствовалась даже какая-то беспечность. «Кто же он такой? — думал хан.— Обыкновенный музыкант, случайно забредший в эти места, или он ищет покровительства? Дутар... Но дутар может служить для прикрытия каких угодно целей».

«Пусть разглядывает меня, если ему охота,— думал в то же время бахши.— Я не плешив, не слеп, одежда хоть и не богатая, но исправная. Ничего унизительного в этом нет». Он и сам рассматривал хозяина, оценивал роскошь убранства и время от времени смотрел хану прямо в глаза. Множество дорогих вещей, собранных в одном помещении, вызывали удивление бахши, но он не показывал этого.

— Так, гость мой! Милости просим начать приятную беседу,— прерывая затянувшееся молчание, сказал Мамед-Яр. И первый задал вопрос: — Кто вы такой?

— Я музыкант, хан-ага! — отозвался Шукур, не меняя позы и не поворачивая головы.— Таково мое ремесло в моей стране.

— Какое у тебя дело ко мне? — спросил хан.

— Дело небольшое, хан-ага,— также спокойно отвечал туркмен.— Я приехал сыграть тебе две-три песни, какие я знаю. — Он сделал небольшую паузу.— И еще, кроме того, в твоих руках находится мой родной брат. Я хотел бы увезти его отсюда. Вот и все. Других дел у меня нет.

— Родной брат твой?

— Прошло одиннадцать дней, как он попал в плен, и теперь находится у вас...

— Вот каково твое дело? — широко улыбаясь заговорил хан.— Поэтому ты и приехал играть мне песни? Дорого ценишь свои напевы, ха-ха! Теперь я понимаю тебя. За братом явился?!

Хан откровенно смеялся, и у дверей, как эхо, откликался ему начальник стражи.

— Вас так рассмешило мое признание, хан-ага?! — с нескрываемым огорчением сказал бахши.

— Разве нельзя посмеяться,— ответил хан,— когда приходит такой гость, да еще с такими песнями? Разве ты не смеялся бы, будучи на моем месте? Я готов поклясться хоть самим аллахом,— положение довольно смешное.

Как ни неприятны были Шукуру насмешки хана, он сумел совладать с собой. Главное было то, что он добился первого успеха, хан его принял и выслушал. Теперь нужно было позаботиться о дальнейшем. Подтвердив снова, как это ни казалось забавным хану и его стражнику, что он прибыл сюда со своим дутаром лишь для того, чтобы хан послушал его музыку и отдал ему брата, Шукур-бахши добавил, что ту же цель он мог бы осуществить и другими средствами.

— На что еще ты мог рассчитывать, интересно знать? — обратился к нему начальник стражи.

— Друзья предлагали мне иное средство,— откровенно признался бахши,— но я не послушал их совета, а приехал сюда именно так, а не иначе. Это будет надежней, решил я, и сородичи поддержали меня. Дутар безобидней, чем шашка или ружье, стрельбою из которого так славятся мои земляки.

Некоторое время прошло в тяжелом молчании. Наконец хан спросил напрямик: как бахши мог бы воспользоваться для освобождения брата тем, иным средством, о котором он сейчас упомянул. Хотя и без объяснений понятно было, что туркмены собирались сделать. Шукур принужден был повторить еще раз: если бы он пожелал, то сюда пришли бы отборные воины-туркмены, люди на редкость храбрые и хорошо вооруженные. Они попытались бы

силой выручить пленника. Хан наморщил лоб, зачмокал губами. Вид у него был такой, словно он никогда в жизни не способен был на улыбку. И его выхоленная борода Шукуру показалась вдруг полинявшей. У самого подбородка на корнях волос явственно обозначались пятна хны, окрашивавшей бороду. Малоподвижные глаза хана были устремлены на гостя. Взгляд их не сулил ничего хорошего.

«Неужели он не догадывается о том, что я брошу его в темницу, связав так, как связывают баранов перед убоем? — размышлял Мамед-Яр-хан.— Для чего он мне все это рассказывает с таким простодушным видом? Не запугать ли хочет, глупец? Смешная угроза! А сам приехал на худой кляче, со своим жалким дутаром. Нет, гость, ты не вырвешь у меня своего брата. Нет, наивный человек, скорее ты сам останешься рядом с братом. Вот кого подлинно следует проучить! Как он разговаривает с ханом? Словно перед ним не всесильный владыка, а туркменский пастух. Он приехал с угрозой! Странно: как он решился появиться у меня в таком виде?»

— Подтверди еще раз, мой гость: действительно ли ты музыкант или ты пошутил? И правильно ли я понял, будто ты предпочел выручать брата, играя на дутаре, а не иначе? — не повышая голоса, опять обратился хан к гостю.

— Да, так, хан-ага, все в точности так, как вы изволили сейчас сказать,— невозмутимо ответил гость.— Если говорить до конца, я мог бы принести сюда хурджины с выкупом, пригнать верблюдов, нагруженных коврами. Вполне мог бы, но я отказался и от этого.

— Почему же?

— Потому, что самое дорогое для туркмен не ковры, не желтый и белый металл, самое дорогое у нас — музыка. В этом я убедился на опыте. И об этом мы рассуждали с друзьями, когда я собирался ехать. Разумеется, я знал, куда еду, я много раз слышал о том, что почтенный Мамед-Яр-хан сам любит музыку и умеет ценить ее по достоинству.— При последних словах Шукур-бахши быстро взглянул в глаза хану. Это был его второй, заранее рассчитанный удар.

— Откуда это известно тебе? — живо спросил хан.

— Все у нас так говорят, и не только в нашем краю, а и в других местах. Славу скрыть нельзя, если слава налицо.

— Что же еще говорят там, за горами?

— Многое говорят.

— Обо мне?

— Да!

— Что известно обо мне туркменам?

Бахши хотел сказать о справедливости и личной храбрости Мамед-Яра, но это было бы совсем немыслимой ложью, так как туркмены считали Мамед-Яра последним трусом. Бахши поколебался немного, глядя на широкое раскрасневшееся лицо хана и на его топорщившиеся усы. Медлить с ответом было неприлично. Его могли заподозрить в неискренности, и он быстро нашелся:

— Говорят, что вы левша.

Хан громко засмеялся. Сказанное бахши хоть и не существенно было само по себе, но оказалось правдой. И это ничтожное обстоятельство вновь расположило хана к собеседнику.

Не собираясь менять придуманного им способа наказать туркмена за его угрозы и бесцеремонное появление в крепости, он все же немного смягчился и в дальнейшем слова свои неизменно сопровождал улыбкой.

— Выходит, правда и то, что ты приехал так далеко затем, чтобы сыграть мне две-три песни.

— Сущая правда!

— Знаешь ли ты, что человек, за которого ты приехал просить, виновен предо мною?

— Знаю!

— Если так, то знай — виновный всегда дорог тому, перед кем он провинился.

— И это я знаю, хан-ага!

— Хм,— промычал хан.— Ты, видно, смелый человек! Ты приехал отвоевать у меня своего брата дутаром?!

— Поистине так, хан-ага! — воскликнул Шукур и, положив руку на дутар, прибавил: — Мое оружие перед вами — вот мое оружие!

— Нет. Брата тебе не удастся взять! — по-прежнему улыбаясь, отрезал вдруг Мамед-Яр-хан.

— Если так...— растерянно проговорил Шукур.— Если так...— Он не знал, что сказать, и не представлял себе, как дальше развернутся события. Он был во власти хана, сознавал свое бессилие перед властным и коварным человеком.

— У меня есть один музыкант,— ласково заговорил опять Мамед-Яр-хан.— И ты назвал себя музыкантом, не так ли? Тебе придется состязаться с моим музыкантом. Победишь его своей игрой — тогда, делать нечего, бери брата и устраивай в своем доме веселый той. Если же ока-

жешься побежденным, тогда...— он не договорил, что тогда будет с Шукуром, только развел руками и оглянулся на начальника стражи. Тот наклонил голову и хищно оскалил зубы. Шукур-бахши не обратил на это внимания.

— Я согласен, хан-ага! — быстро ответил он. Он не спросил даже, с кем ему придется состязаться в игре.— Я согласен; а если буду побежден, делай со мной что хочешь!

Хан изумился, у него даже мелькнула мысль; не лишился ли Шукур рассудка. На всякий случай хан счел нужным сообщить ему:

— Ты будешь состязаться с Гулам-бахши. Слышал ли ты это имя?

— Имя знакомое, а как играет Гулам-бахши, я не слышал,— ответил Шукур и тотчас сообразил, что поединок будет далеко не легким. Гулам был прославленным музыкантом, за горами не раз упоминалось его имя.

— Вот и все,— заключил хан.— Будь готов к состязанию. Я назначаю его па завтра и сам буду судьею. Люди говорят, что я кое-что смыслю в тонкостях вашего ремесла. Ты сам сказал, что об этом слыхали и у вас за горами. А теперь ты пойдешь отдыхать. Ночь — твоя.

Мамед-Яр велел отвести Шукура в покои для гостей, накормить его и дать постель. Шукур встал, поклонился хану и, когда поднял голову, вновь прочитал на его лице дурные намерения.

5

Шукур не мог рассчитывать на лучшее к себе отношение. Теперь все будет зависеть от него самого. Мастерство Гулам-бахши велико, о нем он слышал еще мальчиком. Победить его, причем перед лицом судьи, явно расположенного к этому прославленному сазандару, представлялось почти несбыточной мечтою. Разве не насмешкой звучали слова хана, когда он сказал: «Победишь Гулама — бери брата и уезжай домой...»?

Его привели в тесную комнату, с разостланной на полу кошмой, на которой едва можно было поместиться одному человеку. Почти у самого потолка светилось оконце, такое маленькое, что в него можно просунуть только кулак. Паутина, застилавшая стены, показывала, что здесь давно не было людей. Здесь и поместился Шукур-бахши со своими невеселыми мыслями и своим дутаром. Слуга при-

нес зеленого чаю, половинку чурека и миску с чечевичным супом. Есть не хотелось. Но Шукур заставил себя выпить чаю и поел немного супа. Он невольно сравнивал себя с конем, у которого перед скачкой дрожат ноги, а сердце от волнения стучит так, словно готово вырваться из грудной клетки. Он мысленно утешал себя. До сих пор ничего страшного не случилось. Если хан верит в своего сазандара, то он, Шукур, верит в самого себя. Ему дают возможность играть, а он ведь и ехал сюда, и еще дома отклонил совет преданных храбрых друзей, мечтая именно об этой возможности: воевать с ханом с помощью дутара. Если бы он боялся встречи с лучшими музыкантами, он не стал бы противоречить Чолак-Батыру, поблагодарил бы от души его и всех джигитов и вместе с ними прибыл бы в крепость иным путем.

«Нет, хан-ага,— мысленно обращался к Мамед-Яру бахши,— ты еще не унизил меня, не запугал. Я искал состязания с такими знаменитым людьми, как Гулам. Я недаром поклялся освободить брата вот этим оружием.— Бахши одним пальцем прикоснулся к дутару и с нежностью посмотрел на него.— Я исполню клятву, а если буду побежден,— без сожаления приму все, что пошлет судьба. Только бы ты сам, Мамед-Яр, сдержал свое слово. Будь честным судьей — и Шукур ни о чем не станет сожалеть. Пусть хоть сейчас приходит Гулам-бахши!» Шукур отодвинул остывший чайник, встал с кошмы и огляделся. Наверху зиял узкий просвет окна, виднелась большая звезда и несколько менее ярких вокруг нее.

Он вспомнил, что его привели сюда, когда еще светило солнце. С тех пор никто не приходил к нему. Комната наполнилась тьмой. Тихо вошел уже знакомый слуга со светильником, в котором неярко горела нефть, поставил его на пол и молча удалился. Царила полная тишина. Бахши походил немного из угла в угол и, ощутив усталость, опустился на кошму. Мягких перин ему не дали, он и не хотел их. Шукур не спал две ночи, поэтому, едва он растянулся на кошме, его одолел крепкий сон.

Проснулся он, когда за окном уже разгорелся дневной свет. Вчерашние мысли тотчас вернулись к нему.

«Ханский бахши, Гулам-бахши»,— твердил он, поднимаясь с кошмы.— «Если за спиной борзой хороший хозяин, она возьмет и волка»,— так говорит пословица. За спиною Гулама — Мамед-Яр-хан, но Шукуру не страшно, так как за спиною Шукура — отважные джигиты, которые никогда не боялись хана. Но сам Гулам — опытнейший

дутарист. Никто из слышавших его игру не упоминал его имени, не присовокупив самой высокой похвалы.

Извне доносились голоса. Крепость пробуждалась. Бахши тихо заиграл на дутаре, чтобы сократить время. Потом отложил дутар и снова стал думать о предстоящем поединке и о том, что ожидает его. Побродив по тесной комнате, он решил выглянуть в окно, приподнялся насколько мог и увидел пустынный простор, расстилавшийся за крепостным валом. Дальше синел Копетдаг. Бахши отыскал глазами ту гору, где он отдыхал в пути и тешил душу богатырской песней Гёр-оглы. По ту сторону гор остались друзья, семья, родной край — все, чем он жил тридцать лет.

Непривычному для него одиночеству, казалось, не было конца. Никто не входил к Шукуру, и он вдруг подумал, не посадили ли его просто-напросто в тюрьму. Вполне могло оказаться, что эта узкая комната предназначалась для пленников, и ему уже не выбраться отсюда. Если так, если он обманут ханом столь грубым образом,— весь план его рушится; он не только не сумеет вырвать из плена своего брата, но и сам едва ли скоро увидит родной дом. Вид и убранство комнаты поддерживали в нем эту мысль.

Чтобы сократить тоскливый досуг, Шукур снова взял дутар и стал подбирать новые мелодии. Они соответствовали его душевному состоянию. Легко складывался новый мотив, то гневный, то печально-взволнованный. Отрывочные фразы новой песни наполнили тесную комнату. «Что это такое? — спрашивал себя бахши.— Это моя смертная тоска. Может быть, впоследствии, если кто услышит, назовут эту песню «Смерть сазандара» или другим именем, обличающим жестокость и коварство всех ханов мира».

— Гость уже проснулся? — приветствуя его, переступил порог молодой человек.

Шукур прекратил игру и посмотрел на вошедшего. Это был юноша лет двадцати, довольно приятного вида. Никаких дурных намерений на лице его нельзя было прочесть.

— Я давно жду вас,— просто и даже весело сказал Шукур в ответ на приветствие.— Я скучаю, а ко мне никто не идет.

— Как ваше самочувствие? — участливо спросил юноша.— Вам известно, что хан выразил желание собрать весь город, как на торжество, на ваше состязание с Гуламом? Гулама еще ночью пригласили к хану, они долго беседовали.

— Он готов, он пришел? — запальчиво спросил Шукур, взявшись за гриф своего инструмента.

— Он скоро будет,— сообщил юноша и, оглядев с ног до головы Шукура, счел нужным предупредить его.— Гулам придет сегодня в самой лучшей готовности. Будьте готовы и вы.

— Видно, большая сила этот Гулам-бахши,— заметил в раздумье Шукур.— Все о нем так говорят.

— Он очень силен! У нас здесь никто не решился бы состязаться с ним. Бахши на сто верст обходят нашу крепость, боясь осрамиться,— рассказывал юноша.— Но вы из другой страны, вы, может быть, так же искусны в музыке.

— Я не ханский бахши!

Шукур засмеялся. Молодой человек еще раз дружелюбно посоветовал ему не забывать о силе противника, затем сказал, что пора идти. Они направились к бахши, который уже напился чаю и подкрепился едой. Выходя из крепости вместе с юношей, Шукур обронил вполголоса:

— Попытаюсь!

6

Теплый осенний день сиял над миром. Природа радовала взоры. Небо было безоблачным, густой исцеляющий зной струился от солнца. Людям казалось, что вернулось лето. Возле хауза с чистой водой, в тени огромной чинары, раскинувшей свои ветви над широким крепостным двором, собрался народ. Рядом с водоемом высился глинобитный помост, устланный коврами. Ковры лежали не в один, а в пять и в десять рядов. Среди них бахши сразу заметил ковры туркменской расцветки. С любопытством разглядывая окружающее, он все чаще задерживал взгляд на коврах, привезенных с его родины. Ему казалось, что они излучают тепло. От них не хотелось отрывать взгляда.

Для Шукура не нашлось места на туркменских коврах. Его посадили на бледный коврик, несколько поодаль от нарядного помоста, где сидели, развалясь, богачи из личной свиты хана. Многие курили, не вынимая изо рта чубуков. Дым вился узорами и расплывался клубами. Они курили «шелковый табак» и вели неторопливую беседу. Порою кто-нибудь указывал концом трубки на туркменского музыканта, и все обменивались взглядами и улыбками. Противник его пока не появлялся, но народ прибывал, и

все осматривали Шукура как диковинного зверя. Каждый давал ему оценку. Наконец с помоста раздались голоса:

— Смотрите!

— Бахши!

— Гулам-бахши!

Гулам ехал на пышно разряженном сером муле, свесив ноги на одну сторону расшитого седла, небрежно держа оправленный в серебро, с кистями на верхушке грифа прославленный дутар. Мул был длинноухий, чистый, словно его мыли каждый день. Один слуга вел мула в поводу, двое шли по бокам, готовые к услугам ханского бахши. Навстречу встали поклонники, приветствуя Гулама и громко воздавая ему хвалы. Шукур слегка вздрогнул от этих криков. Он был одинок на шумном сборище, и эти любители музыки давали ему почувствовать его одиночество. Ни один не встал с места, когда он подошел, никто не открыл рта для приветствия. Его только рассматривали с назойливым насмешливым любопытством. Вся обстановка действовала на него удручающе. Стараясь успокоиться, Шукур взял в руки пиалу, налил в нее чаю, перелил его дважды из пиалы в чайник и обратно и не спеша стал пить. «Интересно, какой ответ дал бы я храброму Чолак-Батыру, предложи тот свой план сейчас, вот в эту минуту»,— подумал Шукур-бахши и улыбнулся. Между тем Гулам уже приблизился и искоса взглянул на него. Ханский бахши сделал вид, что его и без того приятное настроение еще более поднялось. Он добродушно осклабился. Ему помогли сойти на землю.

Пятидесятилетний румяный Гулам-бахши выглядел молодцом. Он был излишне толстоват: мясистый подбородок его свисал подобно слоновьему хоботу, а па затылке у Гулама можно было точить бритву. С трудом вмещался он в добротный синий чекмень. Борода красиво подстрижена и, по обычаю знатных представителей его страны, окрашена хною. На среднем пальце правой руки блистало кольцо, которое, наверное, переливалось еще ярче, когда он играл на дутаре. Он приблизился, протянул руку туркменскому бахши и сказал обычные слова приветствия. Шукур встал, подал руку и с достоинством ответил на приветствие.

— Как ваше имя?

— Меня зовут Шукур.

— Шукур, говорите? Шукур? — переспросил ханский бахши, потирая ладонью лоб.— Я как будто слышал ваше

имя. Из Аркача? Очень хорошо! Наш хан так любит музыку!

— Прослышав о его любви к музыке, я и приехал сюда,— сказал Шукур.— К счастливому племени тянутся музыканты, а к несчастному — враги.— Он нарочно громко сказал эту пословицу, чтобы хан, шествовавший к своему месту, услышал его слова.

Ханский бахши вспомнил о своем желании побывать когда-нибудь у туркмен. Шукур одобрил его намерение, добавив, что в его стране музыканта уважают не менее, чем в любой другой стране. Они разговаривали стоя. Шукур недоумевал, почему противник его не садится на ковер, и сам из учтивости не решался сесть раньше его. Но вот принесли перину, обшитую голубым шелком, и постелили на ковер. Гулам-бахши подогнул колени и глубоко вдавил свое грузное тело в мягкую перину; затем, подобрав ее края, указал туркмену место рядом на коврике.

— Я что-то не припомню, кто у вас славится теперь игрою, — продолжал он с прежним деланным добродушием.— Кто там у вас ныне самый знаменитый?

— Мы не слишком разборчивы,— лукаво ответил Шукур.— У нас просто делается: кто взял в руки дутар, тот и музыкант.

— Ты прав, гость-бахши, ты прав на редкость! — Гулам захохотал п, оглянувшись на высокий помост, громко прибавил: — Бывают страны, где каждого, кто берет в руки этот инструмент, называют великим музыкантом, где спящих под открытым небом босяков зовут ханами, а трусов именуют батырами.

Важные гости выпустили изо рта чубуки, чтоб посмеяться. Один из них что-то еще прибавил к словам Гулама; все хохотали, колыхая тяжелые животы.

— Трудно вам возразить,— с видимым смирением сказал Шукур. Но он не собирался оставаться в долгу у этого избалованного слуги хана.— Возразить, кажется, и нечего. Только, если говорить правду, я встречал множество трусов, которые при слове «поход», как один, берутся за оружие, садятся на коней, идут в бой и бьются до полной победы над врагом. Я готов поклясться аллахом, эти трусы живут именно в той стране, о которой мы с вами беседуем, бахши-ага.

Шукур тоже говорил полным голосом. Смех среди придворных прекратился. Они прислушивались к смелой речи приезжего и оглядывались на хана. Хан брезгливо морщился, то подымал, то опускал седые усы и не сводил глаз

с музыкантов. Пора прекратить пустые разговоры. Пора указать туркмену его место. Хан поднял голову. Полулежа на ковре, опершись на локоть, он обратился к бахши и к народу. Он сказал: «Можно начинать»,— объявил условия.

— Сазандары будут играть вместе. Один поведет мелодию, какую он сам выберет, другой должен идти следом, не нарушая ритма и не отставая ни на один удар от ведущего. Право выбирать мелодию и задавать тон предоставляется сперва одному, затем другому, по очереди. Кто победит?! — воскликнул хан, и широкое лицо его дернулось насмешливой улыбкой.— Кого из двух признаем лучшим, тот получит награду. Туркмен по имени Шукур, если он возьмет верх над нашим бахши, получит родного брата, моего пленника, что сейчас лежит в темнице, связанный по рукам и ногам. Запомните все: такова награда этому дутаристу, если он возьмет первенство.— Хан привстал и громко крикнул: — Гулам-бахши получит самую красивую туркменскую девушку-невесту, на выбор. Я возьму ее любой ценой для Гулам-бахши, где бы она ни находилась. Наше слово — слово!

— Тогда пора посылать за невестой для почтенного Гулам-бахши! — угодливо пошутил один из свиты.

— Слушай, Шукур-туркмен,— обратился хан к бахши.— Я не хочу, чтобы на нашу справедливость ложилась тень, чтобы там, за горами, болтали о нашем пристрастии к своим сазандарам. Поэтому выбери сам из присутствующих здесь людей пятерых судей. Я посчитаюсь с их мнением. Я даже готов отдать им право последнего решения! Эй, Шукур! Сам назначай судей.

— Хан-ага, выслушайте меня,— спокойно попросил Шукур.— Во имя справедливости, о которой я был счастлив услышать, да будет мне позволено призвать в помощь себе всех, кто будет сейчас слушать музыку. Пусть судит народ. В народе всегда найдутся понимающие и справедливые. Народ поможет тебе в твоем мудром решении.

— И я того же мнения,— вмешался Гулам-бахши,— народ оценит, как оценивал всегда, а мой хан, как всегда, будет на высоте справедливости.

— Ну, что ж, начинайте. Первым пойдет Гулам-бахши. Слушай, народ, и оценивай дела по достоинству!

Хан опустился на ковер и приготовился слушать.

Не объявив, что будет играть, Гулам ударил по струнам. Для начала он выбрал вещь, которую исполнял в со-

вершенстве. То была песня «Колыханье граната». Руки толстяка оказались столь ловкими, что нельзя было уловить движения пальцев,— как они касаются струн, как съезжают по серебряному грифу и поднимаются снова вверх, каким образом, в быстром ритме, когда нужно, бахши тычет пальцами в деревяшку дутара. Он играл с высоко поднятой головой, слегка покачивая ею, словно подражая колебанью дерева, о котором пел дутар. Возвышаясь над противником, уверенный в себе, Гулам-бахши мог бы привести в смятение любого, даже равного ему по силе музыканта. Не говоря о безукоризненном мастерстве, приемы, какими он пользовался, были порою необычайно хитры и изысканны.

Он мог подавить соперника уже одним своим видом. Однако туркмен вовсе не оробел перед этим надменным ханским слугою. То, что Гулам обладал блестящим даром, это стало ясно Шукуру с первой минуты его игры. Шукур следил за его пальцами, погружался вместе с ним в волны музыки и легко поддерживал и украшал мелодию своими красками. «Колыханье граната» он сам знал едва ли не от рождения. Туркмены считают эту песню своей и убеждены, что она зародилась у племени сарыков. Она была сыграна обоими музыкантами превосходно. Гулам почувствовал, что соперник не только не отстает, а скорее, наоборот, «гонит» его, предлагает, как говорят бахши, «парить выше белого сада». Возымев намерение опозорить туркменский дутар, Гулам старался изо всех сил, пробовал самые замысловатые приемы, грозно раскачивал головой, кряхтел, а порой издавал громкие восклицания. Шукуру нелегко было гнаться за ним. Хотя он и старался переиграть Гулама, стеснить его в темпе, иногда будто нечаянно бросить новую краску на мелодию,— это давалось ему не легко, постоянным напряжением.

Они сыграли три, пять, сыграли без отдыха десять песен. Сердца многочисленных слушателей были раскалены. Оба играли превосходно. Мастерство Гулама не решило спора. Он сам как-то очень размяк и вспотел больше, чем его молодой соперник. Он вытер лицо большим, как скатерть, шелковым платком, глубоко вздохнул и откинулся на перину.

Среди присутствующих немало было таких, которые с первых звуков приготовились выкрикнуть слова одобрения и благодарности Гуламу. Так было заведено. Но он кончил играть, и никто не произнес ни звука. Люди шептались меж собой. Сотни глаз были устремлены на турк-

менского бахши. На него смотрели все. Гулам не ожидал такого исхода. Не поднимая головы, он долго с усердием вытирал вспотевший лоб. Унизительно было сознавать, что невзрачный, никому не известный туркмен не уступал ему в мастерстве.

— Теперь ты начинай, сазандар. Гулам-бахши последует за тобою,— сказал Шукуру хан. Хан не скрывал своего разочарования и недоумения. Он добавил, обращаясь к своему бахши, не глядя ему в лицо: — Покажи свою силу, Гулам-бахши. Не раз слышал я, что туркменские мелодии ты знаешь лучше их самих.

Перебирая струны дутара, Шукур размышлял о том, что слава Гулама была не напрасной. Хан не ошибся в выборе бахши. Легкость и красоту его исполнения следовало оценить по достоинству. Шукур тихонько сказал ему об этом и стал думать, чем же и как превзойти его. Переиграть его быстротою смены и разнообразием знакомых мелодий нечего было и пытаться. Мотивов Гулам знал множество, живостью пальцев едва ли уступал Шукуру,— и если бы Шукур переиграл его в отдельных песнях, далеко не каждый со стороны заметил бы это. При равной игре слушатели отдадут предпочтение своему сазандару. Требовалось найти новую мелодию, может быть, тут же сложить ее или же попытаться использовать прием, какой Гуламу-бахши оказался бы не по силам. Иначе брата не выручить. Подергивая струны, Шукур низко опустил голову над дутаром, точно слушая какие-то одному ему доступные звуки. Гулам-бахши продолжал стирать с лица пот и время от времени посматривал на противника. Ему не нравилось раздумье туркмена. Он понял, что тот к чему-то готовится, и стал торопить его.

— Ты готов? — спросил он нетерпеливо.— Хан ждет! Все почтенные люди ждут!..

— Готов! Догоняй!

И опять раздалась песня о гранатовом дереве. Гулам понял повторение по-своему. Туркмену было трудно угнаться за ним, когда он с таким неотразимым блеском и легкостью гнал вперед и вперед эту чудесную мелодию. Теперь туркмен хотел испытать его в тяжкой погоне за собою. Туркмен ошибся. Аллах свидетель, он сам едва успевает убежать от Гулама-бахши. Они сыграли «Колыханье граната» неподражаемо. Шукур, не задерживаясь, подал новый мотив, повел его сложным путем,— но противник не хотел уступать и не уступил ему ни в одном ударе. Самые головоломные вариации они выводили лад в

лад, и казалось немыслимым делом оставить Гулама-бахши позади. Чего же дальше ждать от такого состязания? Шукур, пользуясь небольшой паузой, еще раз побренчал для себя, как бы настраивал дутар, и вдруг лицо его както прояснилось. Радостный, уверенный в себе, он громко сказал Гуламу:

— Теперь играй! Последняя мелодия! — и ударил по струнам.

— О святой Али! — прошептал ханский бахши и погнался за Шукуром.

То, что тот играл сейчас, оказалось совершенно непохожим на все слышанное Гуламом за всю его долгую жизнь. Никто раньше не слышал и не мог слышать этой дивной мелодии. Не из далекой памяти взял ее Шукур-бахши. Он сам слушал ее впервые. Она родилась на высокой горе, когда он стоял там, глядя на свой родной край, ее звуки сладостно терзали его душу сегодня утром в тесной комнате, она слагалась окончательно сейчас. Она была в его сердце, в его голове и, как молния, срываясь со струн дутара, летела к завороженным слушателям. Шукур не думал сейчас ни о чем, кроме этой новой, всплывающей из самых потайных глубин его существа мелодии. Он играл так, как мог играть только он один, отдаваясь во власть запылавшего в нем чувства. Гулам-бахши пытался вторить; некоторое время он поспевал за причудливым полетом новой мелодии. Но Шукур приводил его к самым неожиданным поворотам, провалам и подъемам, и Гулам-бахши невольно вдруг испытал нечто вроде робости. И вот перед ним точно бескрайный ковер стелет по широкой степи соперник,— и как бы совсем нечаянно, в тот момент, когда мелодия подходила к концу, Шукур, подняв руку над дутаром, стал кружить ею в воздухе, а дутар продолжал звенеть мягкими звуками, и мелодия таким образом сама подходила к завершению. Это был его знаменитый прием — игра одной левой рукой, только на грифе.

Ханский бахши сидел точно ребенок, выпавший из люльки. Он силился понять: откуда исходят звуки? Даже он, Гулам-бахши, не мог повторить этого приема. Хотелось так же покрутить рукой над дутаром, как это делает туркмен, но Гулам знал, что из этого ничего не выйдет. Разве только насмешишь слушателей. Он прикусил губу, взглянул на всех округленными, как у испуганного теленка, глазами и еле слышно произнес:

— Ах, у этого бахши, видно, много разных причуд и тайн!

Гулам уронил на грудь окрашенное краской стыда лицо. Под хана точно огонь подложили. Он вскочил с места, сверкая взглядом. Все видели, как пылает в нем гнев на придворного музыканта, покрывшего хана позором. Гулам не поднимал головы и не видел устремленных на него взглядов. Он не пошевельнулся бы теперь, даже если бы его стали громко бранить или бить палками перед всем народом. Чего ему хотелось сейчас — это исчезнуть, скрыться от людей, в чьих глазах он так низко пал. Он с радостью провалился бы сквозь землю, если бы мог. Многочисленная толпа, обступившая его, придворные, близкие и друзья, вскружившие Гуламу голову чрезмерными похвалами,— все они и даже сам Мамед-Яр-хан теперь презирали его. Один лишь человек взглянул ему в лицо с братским сочувствием. Это был его соперник, туркмен Шукур-бахши.

Выбрав время, когда загудевшая толпа приумолкла, Шукур снова, теперь уже один, начал играть ту же мелодию. То бурно и страстно, то почти совсем затихнув, нежно пел дутар. Лицо Шукура было серьезно и, казалось, выражало недовольство происшедшим. Но он играл с прежним подъемом. Из толпы раздавались голоса:

— Молодец, бахши!

— Спасибо, бахши!

— Спасибо, Шукур-бахши!

И хан принужден был слушать. Он сидел, нахмурившись, безмолвно внимая туркменской мелодии. Взглянув на слушателей, он остановил взгляд на молодой женщине, которая, отделившись от толпы, стояла, прижав к груди руки. Из глаз ее текли обильные слезы. Хан знал эту женщину. Лет семь назад она была привезена из-за гор еще совсем молоденькой девушкой. Ее отдали замуж, с тех пор она жила в крепости.

— Она, видно, потеряла голову,— мрачно сказал хан,— что не сидится ей на месте. Слезы распустила!

— Я не могу быть спокойной, хан-ага,— взволнованно заговорила женщина.— Слезы льются, когда слышишь такие песни. Это песни моей страны. Я как будто сразу увидела мать и отца, и подруг своих, и наш аул!.. О, как я несчастна.

— Заткните рот безумной рабыне,— крикнул хан и отвернулся.

Потом все смолкло. Шукур отложил дутар. Народ ждал, что скажет хан, и хан понимал, что все ждут его слова. Напряженная тишина продолжалась несколько минут.

— Гулам!

Впервые за все время, сколько он знал его, Мамед-Яр не прибавил к имени Гулама обязательное — «бахши».

— Гулам, с этого дня ты мне не нужен. Уходи и никогда больше не показывайся в моих владениях. Ты обесчестил меня! Ты покрыл позором наше искусство! А тебе, гость-бахши,— обратился он к Шукуру,— тебе найдется место в моих покоях. Ты ни в чем не будешь знать нужды. Слышишь?

Шукур-бахши встал. Обратившись к хану, он учтиво отказался от предложенной ему чести. Ему захотелось как можно скорей увидеть брата и с ним вместе уехать на родину. Поблагодарив за лестное предложение, он еще раз твердо выразил свое решение, затем сказал, к удивлению всех присутствующих:

— Хан-ага, вы напрасно разгневались на своего бахши. Гулам-бахши, как мне показалось, очень искусный и опытный музыкант. Он может быть ханским бахши.

— Неправда! — перебил его хан. Он набрал в грудь воздуха и еще громче, чтобы все слышали, закричал: — Забирай брата своего! Отдаю! Забирай и эту бабу, что заревела от твоих песен. А теперь сыграй еще раз мелодию, какую не осилил мой хваленый Гулам.

— Спор наш закончен, хан-ага,— сказал Шукур.— Я готов играть до той поры, пока меня будут слушать. Но мне неприлично играть в одиночку в присутствии такого славного сазандара. Мы должны играть вместе, дружно! Музыка любит лад!

— Как хочешь! — сказал хан, устало махнув рукой.

Оба бахши играли с полудня до поздней ночи. У них уже не было желания осрамить друг друга. Оба старались лишь доставить удовольствие народу, который их слушал. То и дело раздавались восклицания: «Спасибо, бахши!», «Прекрасно, бахши!», «Молодцы!».

— Это хан поссорил нас,— улучив подходящий момент, тихо сказал Шукур.— Ты не сердись на меня. Я приехал сюда за своим родным братом.

— Что же сердиться,— так же тихо ответил Гулам и неуверенно улыбнулся.

Наутро Шукур вместе со своим старшим братом Берды выехал из крепости, взяв направление на высокую гору.

1939

Ата
Каушутов
1903–1953

Туркменские кони

1

Я шел по Ашхабаду, уж не помню теперь, куда и зачем, в глубокой задумчивости. Вдруг за спиной у меня послышался частый топот конских копыт, и мимо меня проскакал колхозник на гнедом великолепном ахалтекинском коне. Я видел, как прохожие — и старые и малые — замерли на месте и взволнованными, восторженными глазами провожали быстро удалявшегося коня. И меня бросило в трепет, как будто мне было не сорок восемь, а всего двадцать лет и я впервые увидел красавицу.

— Ну и конь! — сказал кто-то из прохожих, покачивая головой, а лицо его так и светилось радостью.

Я пошел дальше и слышал, как встречные прохожие только и говорили, что об этом промчавшемся мимо коне. Чем он их взволновал? Чем он взволновал меня? Своей красотой? Своим упругим, стремительным бегом?

И я подумал: «Надо бы написать о коне. Ведь ахалтекинский конь — гордость нашего народа».

И сейчас же вспомнил про Ниязмурада — большого любителя и знатока туркменских коней.

«Вот он-то хоть и неграмотный старик, а больше чем кто-нибудь может помочь мне написать, может многое рассказать о породистых конях — как их воспитывают, как тренируют... Только не опоздал ли я? Ведь ему уже девя-

носто семь лет, все силы угасли, угасла и память. А все-таки надо с ним повидаться...»

На другой же день утром я сел в поезд, доехал до села Безмеин, где когда-то родился и вырос, и пошел прямо к Ниязмураду.

Была весна. Зеленели сады, и на лужайках цвели красные маки. В селе было тихо и совершенно безлюдно.

Я подошел к дому Ниязмурада, заглянул в раскрытую дверь и не нашел ни души. Пошел в сад, обогнул дом и увидел в тени, возле самой стены, Ниязмурада.

Облокотясь на подушку, он лежал на белой кошме и задумчиво смотрел на уже отцветающую айву, на голубое небо над ней и то ли вспоминал свою молодость, то ли прощался с этим прекрасным миром, который он уже должен был покинуть.

Но вот он услышал мои шаги, повернулся ко мне и как-то равнодушно посмотрел на меня.

«Не узнает...» — подумал я и громко сказал:

— Здравствуй, Ниязмурад-ага!

— Здравствуй! — сказал он, живо привстал и протянул мне, по древнему обычаю, обе руки. Он крепко сжал мои руки и назвал меня именем моего деда. Он был когда-то в большой дружбе с моим дедом, считал меня как бы заместителем своего покойного друга и потому всегда называл меня именем деда. Тут я понял, что ошибся: старик узнал меня.

— Ты что ж, один? — спросил я.

— Да ведь весна, все в поле, а внуки и правнуки в школе сейчас... Садись, и спасибо, что не забываешь меня!

Он был все таким же большим и грузным стариком, с большой головой, с большими руками, когда-то очень сильными, и с еще живыми, умными глазами. В детстве он казался мне великаном. Он был такого роста, что, когда возвращался, бывало, с поля на своей небольшой лошадке, ноги его волочились по земле. Нас, мальчишек, тогда это очень забавляло.

Я сел рядом с ним на кошму и стал расспрашивать его о здоровье.

— Да живу пока, ни на что не жалуюсь,— ответил он.— Только вот старость пришла. Ну, да как говорит пословица: «Не умрешь, так состаришься». Но в толстую иголку пока сам вдеваю нитку, не зову на помощь. И работаю понемногу, не сижу все время вот так.

Я постепенно перевел разговор на коней. Ниязмурад живо и ласково посмотрел на меня и сказал:

— И ты любишь коней?.. Ну, да ведь туркмен не может не любить коней. И сколько я их видел на своем веку! И каких красавцев! Вот послушай, я тебе расскажу...

2

— Мне было тогда двадцать два года... Сам знаешь, в наших местах, у подножия Копетдага, всегда не хватало хлеба. Земли-то у нас много было, а вода чуть бежала с гор ручейками. Нечем было поливать пшеницу. Вот и приходилось каждый год ездить за зерном то в Мары, то в Теджен, то в Хиву.

А бедность была такая, что иной, у кого была большая семья, бывало, добудет где-нибудь чувал пшеницы или куль джугары и уж от радости рвет шапку, кричит во все горло: «О, теперь мы весь год будем сыты!»

А какая там сытость, когда жена печет ему хлеб из лебеды, мяты, шпината, а муки подсыпает только для духа, чтоб хлебом пахло. Были, конечно, и богатые люди, те ни в чем не нуждались.

А бедняки ездили в Мары, в Теджен или в Хиву так: скажем, есть у тебя баран или жена твоя соткала хороший ковер, и ты хочешь обменять на ячмень, на пшеницу. А как одному ехать в Мары, когда по дорогам шныряют шайки иранцев? Тогда было «время вражды», как говорил народ. Иранские ханы посылали к нам в Туркмению конных головорезов, и те грабили проезжий народ, ловили крестьян, связывали им руки и ноги и уводили в плен.

Оттого-то народ и жил тогда в крепостях и если выходил в поле на работу, то всегда с оружием и не в одиночку, а по десять — пятнадцать человек. Пастухи пасли овец в песках, в Каракумах, тоже с оружием и тоже не в одиночку, всегда близко держались друг к другу.

Ну вот, надо тебе поехать в Мары, ты и прислушиваешься, о чем говорит народ. Слышишь, в такой-то крепости собираются ехать на аргыш [1] двое-трое, да в другой — двое-трое, да в третьей. Все сговариваются ехать вместе, навьючивают верблюдов, берут с собой кто ружье, кто кинжал, кто ржавую саблю и едут, оглядываясь по сторонам.

Раз собралось нас десять человек из разных крепостей, навьючили кто чем двадцать семь верблюдов, взяли еще

[1] Аргыш — обмен сельскохозяйственных продуктов на разные товары.

трех ослов, чтоб не брести всю дорогу пешком, а отдыхать на ослах по очереди, и поехали.

До Мары хорошо доехали. Время было осеннее, прохладное. Поменяли мы свои товары на зерно, едем домой. Устанут верблюды, мы их развьючим, пустим пастись, а сами питаемся чем попало. Ночью костры не разжигали, и днем тоже боялись разводить большие костры, как бы шайки какого-нибудь иранского хана дым не увидели. А оружия у нас было всего два нарезных ружья, один шомпольный пистолет и пять сабель. Вот и все.

Нашим караванбаши[1] был плотный старик с белой бородой. С ним ехал из его же крепости один паренек, самый младший из нас, на сером красавце коне, настоящем ахалтекинце. Остальной народ из разных аулов, все молодежь. Самому старшему было не больше тридцати пяти лет.

Караванбаши вел нас с большой осторожностью. У колодцев мы никогда не останавливались на ночлег или на отдых. Колодцы эти хорошо знали иранцы и там-то всегда и подстерегали проезжих. Поэтому мы быстро набирали воды и шли дальше, а если нам не нужна была вода, обходили колодцы стороной.

Вот раз вечером, в сумерки, остановились мы в овраге, развьючили верблюдов, пустили их на бархапы. Они проголодались, накинулись на всякие колючки — янтак, сингреп, кабарчик, черетен, а ослы не отходили далеко, поблизости вынюхивали траву помягче. А как стемнело, они сами подошли к нашему кошу. Ослы, когда попадают в пустыню, становятся самыми трусливыми животными. До того боятся волков, что так и жмутся к людям, к кошу. Страх-то и научил их хитрости.

Сначала они стояли вокруг нас, смотрели, как мы грызем черствые корки хлеба, все ждали, не перепадет ли им кусок хлеба или горсть ячменя. А как мы завернулись в шубы и легли спать, так они отошли к верблюдам — воровать у них сено. А те, знаешь, как,— никогда не подпустят к своему сену. У кого сильные челюсти, так тот схватит осла за холку и отбросит вон куда в сторону. Но ослы хитрые, живо разнюхают, у кого челюсти послабее, и сразу же растащат сено.

Так и тут. Сунулись они к одному, к другому, наконец нашли верблюда послабее и стали отнимать у него сено. Как раз это был мой верблюд. Я вел двух верблюдов: од-

[1] Караванбаши — глава каравана, старший.

ного своего лохматого нера — он-то не подпустил бы к себе ослов,— а другой был арвана[1] моего соседа. Когда я уезжал, сосед пришел ко мне и сказал:

— Ты, Ниязмурад, говорят, идешь на аргыш. Возьми и моего верблюда с кожей и всякой всячиной, поменяй на зерно. Самому-то мне некогда, я в долгу у тебя не останусь.

Я взял, конечно. Вот у него-то, у этого арвана, и начали ослы растаскивать сено. Шум поднялся. И нам уж не спится. Вылезли мы из-под шуб, глядим на ослов, шутим, смеемся.

А наш караванбаши унимает нас:

— Да тише вы! Ночью-то голоса далеко слышны. Нашли время! Надо богу молиться, чтоб как-нибудь добраться до крепости. Ведь там дети нас ждут, есть хотят...

Он богомольный был. Все молился и после каждой молитвы шептал заклинание: «Господи, сохрани нас от мук тирана и вражеского клинка», торжественно произносил «аминь» и поглаживал свою длинную белую бороду.

Старик зашептал свою молитву, а мы завернулись опять в шубы и заснули.

Незадолго перед рассветом с востока подул сильный ветер. Кустарники на барханах — саксаул, кандым — засвистели, замотались, зашелестел песок, так и начал хлестать. Луна уже спустилась к самой земле, и ее сразу же заволокло мутной, темной мглой. Верблюды повернулись задом к ветру, легли и засопели, прочищая ноздри от пыли.

На рассвете караванбаши разбудил нас:

— Ну, ребята, вставайте скорее! Теперь уж недолго нам мучиться. Один раз остановимся, отдохнем, а там уж дома будем отдыхать.

Мы быстро навьючили верблюдов и поехали. Солнце взошло. А ветер все хлестал, бил песком. Пыль стояла до самого неба. Солнце чуть маячило в мутной бурой мгле.

Кое-как взобрались мы на вершину большого песчаного холма, вдруг, прямо как из-под земли, выскочили навстречу нам семьдесят всадников — иранцы, все вооруженные. Они разделились на две части и стали нас окружать. А нам и спрятаться некуда. Стоим на самой вершине. Что делать? В бой с ними вступать? Так они нас всех перебьют, а головы отрежут и отвезут своему хану в подарок. Такой уж тогда был обычай.

Мы уж согласны были лежать на родной земле обез-

[1] Нер и арвана — породы верблюдов.

главленными трупами. Это все-таки лучше, чем попасть в плен, в рабство к чужеземцам! Мы схватились кто за ружья, кто за сабли, и караванбаши грустно посмотрел на нас и сказал:

— Не надо! Ни к чему это... Тут на торчке они все равно перестреляют нас, как ворон. Видно, нас бог наказал.

Потом посмотрел на паренька на сером коне. А тот растерялся, бедняга, хлопает глазами, сдерживает коня, и вроде как хочется ему ускакать, да стыдно бросить товарищей. А конь рвется, роет копытами землю.

Караванбаши сердито закричал на него:

— А ты, Дурды, чего стоишь? Или тебе не жалко коня и ты хочешь своими руками отдать его этой шайке? Дай ему кнута, спасай его голову, да и свою тоже!

И вот только раз свистнул кнут, конь рванулся вперед, вытянулся и полетел, как сокол, как будто и земли не касался копытами. А парень выровнял поводья, согнулся. Халат вздулся на нем пузырем.

Иранцы с двух сторон с криком кинулись ему наперерез, нахлестывая плетями коней. Они всего-то были от нас в двухстах шагах. И легко могли бы перехватить, но не серого коня. Он пролетел между ними, как камень, пущенный из пращи. Иранцы гнались, гнались за ним, потом спрыгнули на землю, воткнули в песок рогатки, поставили на них ружья, длинные, как шест, и выстрелили несколько раз. Но пока они возились с ружьями, Дурды был уже далеко-далеко. Сначала он казался черным колышком в бурой мутной пыли, потом превратился в точку и совсем пропал из глаз.

Караванбаши вздохнул и сказал:

— Ну, славу богу! Серый спас мальчишку.

И мы все радовались, потому что Дурды был единственным сыном одной рано овдовевшей женщины, и даже о себе думать перестали.

— Э, пусть будет, что будет! Что случится с головой, глаза увидят!

Иранцы повернули к нам. Впереди ехал начальник ханских слуг Али-бек — здоровенный мужик, сухощавый, с большим носом и лохматыми усами. Лицо желтое, злое, сразу видно, что любит терьяк[1]. И ручищи!.. Ну, настоящий палач!

Подъезжает он к нам и зло нахлестывает по морде

[1] Терьяк — опиум.

своего коня. Уж очень ему досадно было, что не удалось поймать Серого. И слышим, кто-то из иранцев говорит:

— Вот это был конь!.. Как он проскочил между нами!

— Да разве это конь? Это птица! — сказал другой.

Али-бек заворочал своими красными глазами и закричал:

— Молчать, поганые! — И начал бить кнутом по головам тех, кто хвалил Серого, а потом опять своего коня. Тот, бедняга, так и взвился на дыбы и, как бешеный, закрутился под ним. А Али-бек все ярился, кричал:

— Умру с открытыми глазами, если не поймаю этого коня!

— Да, так и дадут тебе хлеба с маслом! Разевай рот шире! Зад твой никогда не коснется такого коня,— проворчал караванбаши.

Али-бек приказал связать нас. Иранцы закрутили нам руки за спины, связали веревкой, взяли наших верблюдов, ослов и погнали нас на чужбину. Мы шли и посматривали по сторонам. Я думал: «Авось Дурды уже доскакал до первой крепости, сказал про нас, и, наверно, сотня лучших всадников уже скачет к нам на выручку. Иранцы и до границы не успеют нас довести, как их уже вдавят лицом в землю».

Да и не я один, все так думали, все надеялись на это. А надежда-то плохая была. Мары остался далеко позади, а в той стороне, куда ускакал Дурды, крепость была на расстоянии двух переходов с ночевкой. Если даже Серый и выдержит, не упадет по дороге, и то он будет в крепости только в полночь. Да и Дурды-то свалится от усталости. А без него всадники не найдут дороги. И пока Дурды отдохнет, накормит Серого и выедет со всадниками в погоню за нами, иранцы уже дома будут есть жирный ханский плов, покручивать усы и хвастаться:

— Эх, и воевали же мы! Так рубили головы саблями!.. Солнце померкло от пыли из-под копыт наших коней!..

Они всегда хвастаются. И тут, хотя они и захватили в плен всего девять караванщиков без всякого боя, а все-таки будут врать и хану, и женам своим.

Мы, все девять человек, со связанными руками, шли позади наших нагруженных верблюдов. Я тихонько высказал свои думы караванбаши.

— Да, это ты правильно говоришь,— сказал он.— Трудно рассчитывать на помощь, но говорят: «Без надежды один сатана». Это сатане уж не на что надеяться. А мы, люди, никого не трогали, никому не сделали зла и

не должны терять надежды. Бог может каждую минуту совершить чудо и выручить нас.

Но чуда не совершилось. Старик зря молился богу. Иранцы гнали нас весь день и всю ночь, и на рассвете мы перешли границу.

Как я и думал, Дурды доскакал до первой крепости, рассказал обо всем. Сейчас же сотня сильных людей села на коней, прискакала к холму, где нас поймала шайка Али-бека. Они по следам переехали границу, подъехали ночью к крепости, но иранцы были уже дома. Что с ними сделаешь? Вот и пришлось повернуть назад. Об этом дошел до нас слух дня через два, и я поклялся:

— Умру, а рано или поздно буду перебрасывать, как арбуз, с руки на руку голову Али-бека!

Ниязмурад большими узловатыми руками снял с очага медный чайник, насыпал зеленого чаю в два небольших белых чайника с голубыми цветочками, заварил и один поставил передо мной рядом с пиалой, а из другого стал наливать себе в пиалу.

— Ну, а что же дальше было? — нетерпеливо спросил я.

— А ты пей чай!.. Торопиться нам некуда. Чай хороший! Ты вот с детства пьешь чай, а я знаешь когда узнал вкус чая? В старину-то его пили одни богачи, а бедняки воду из ручья, и то не досыта. Раз ехали мы с одним сердаром[1], остановились у колодца на отдых. Он вскипятил воду, заварил чай и мне дал чашку чаю. Вот тут-то я и попробовал впервые, что это за штука. А мне тогда было уже тридцать лет.

3

— Ну вот, привели нас в большую крепость недалеко от границы, загнали через скотный двор хана в другой двор с высокими стенами и глинобитными навесами. Это была, должно быть, когда-то ханская конюшня, а теперь в ней держали пленных туркмен. Когда мы вошли, одни пленные сидели, другие бродили от скуки взад-вперед. Все в цепях и с тяжелыми колодками на ногах.

Иранские ханы только и делали тогда, что посылали к нам в Туркмению свои разбойничьи шайки. Те хватали людей, уводили в плен. Хан расспрашивал, что за люди. Если это были богатые люди, то и цена им была богатая —

[1] Сердар — военачальник.

сто, сто пятьдесят туманов, а цена бедняка не заходила выше трех туманов.

Были тогда у нас особые люди, посредники между этими ханами и нашим народом, и они действовали не во вред нам, а на пользу — старались, как бы помочь пленникам. Хан говорил таким людям:

— Такой-то ваш человек сидит в такой-то крепости в плену у меня. Хотите выкупить — платите столько-то и приезжайте, берите его.

Ну, тот извещал об этом родных пленного, те приезжали к хану и выкупали. Таким образом все иранские ханы добывали большие деньги. Кроме того, они собирали еще большие подати со своих подданных и часть оставляли себе, а часть отвозили шаху.

Если родственникам нечем было выкупить пленника, они старались захватить в плен иранца и обменять его на своего человека. А если и это не удавалось сделать, то бедный пленник годами томился во дворе хана, как забытая скотина, и погибал от голода и болезней. Цена на пленника падала иногда до полбатмана кукурузы.

Ханы занимались больше грабежами, чем земледелием. Работы для пленников не было никакой. И вот эти несчастные, истощенные, больные, которых уже никто не мог выкупить, собирались днем на солнышке и давили вшей, а вечером грелись возле печей, в которых днем пекли хлеб, рассказывали друг другу о своих горестях, попусту мечтали о побеге и тут же засыпали, скорчившись и накрывшись лохмотьями.

Вот и нас привели в этот двор. Верблюдов и ослов наших загнали на скотный двор. Заковали нас в цепи, а колодки — не хватило их, что ли, у хана — не надели нам на ноги. Пришел высокий иранец с рыжей бородой и с такими глазищами!.. Так и сверлит ими, насквозь тебя видит. Я думал, это сам хан. А это оказался главный начальник над пленными. С ним пришел его писарь и еще какие-то люди.

Стал он расспрашивать, кто мы такие, из какой крепости, кто наши родные, богатые или бедные. Расспрашивал ласково и старался чисто говорить по-туркменски, только не выходило у него это. Ну, мы, конечно, чтоб выкуп за нас был поменьше, говорим:

— Все мы из самых бедных бедняков.

А рыжий не верит:

— Как из бедняков? Вот вы трое из такой-то крепости. А я знаю, в этой крепости ремесленный народ,— кузнецы,

оружейники, медники,— богато живут. Вы не морочьте мне голову!

А я сказал ему, что я не только бедняк, но еще и сумасшедший, и заворочал глазами.

Рыжий отшатнулся и уставился на меня.

— Сумасшедший!.. Эх, эх!

И ушел. А мы пошли к пленным под навес, легли на грязную солому и от усталости сразу уснули. Вечером принесли нам в глиняных чашках, из каких собак кормят, немного вареного гороху, чечевицы и дали по чашке на четверых. Вот так и кормили, чтобы только не померли с голоду.

Пленных держали в двух дворах. Сам хан каждый день обходил эти дворы и осматривал нас, как хозяин доходную скотину.

Наутро пришел он к нам вместе с рыжебородым. Звали его Хасанали-бек. Небольшого роста, с черной подстриженной бородой, лет сорока шести. У него было четыре жены. С виду вежливый, а слуг ругал, как последний человек, самыми погаными словами. И богатый ведь был, а до того скупой, что за какой-нибудь кран [1] запарывал людей до смерти. Это нам слуги его рассказывали.

Вот он пришел, а я только что проснулся, поправляю на ногах цепи. Хан потер ладонью бороду и спросил рыжего:

— Кто же из них сумасшедший?

— А вот этот.

И рыжий показал на меня. А спросонья-то глаза у меня были опухшие, красные.

— А ведь и правда сумасшедший! — сказал хан.— Вон какие глаза-то... Надо его стравить с нашим сумасшедшим. Посмотрим, кто кого одолеет. Потеха будет!

«Ах ты свинья! — думаю.— Стравливаешь сумасшедших, чтоб они перегрызли друг другу горло! И это потеха твоя?»

С тех пор так все и звали меня Сумасшедшим.

Скоро нашего караванбаши выкупили родные, выкупили и других наших товарищей. Из девяти человек осталось нас двое — я да еще один бедный парень лет двадцати. У нас на выкуп не было никакой надежды. Братья мои были моложе меня и не могли заплатить за меня даже полтумана, а родные моего товарища были еще беднее. Так мы и остались с ним в ханском дворе.

---

[1] Кран — мелкая иранская монета.

А во двор то пригонят сто, двести пленников, теснота, негде лечь, а то все опустеет, только двое-трое бродят, звенят уныло цепями.

Вот раз узнали мы от ханских слуг, что Хасанали-бек собирается к Наср-Эддину-шаху и, чтоб похвастаться перед ним, будто бы он самый храбрый из всех ханов, хочет отвезти ему в подарок один вьюк золота и серебра, одну большую туркменскую голову и самого быстрого туркменского коня. А у геоктепинцев был тогда такой конь Дордепель, знаменитый конь, славился на всю Туркмению. Вот Хасанали-бек и обещал тому, кто поймает и приведет ему этого коня, дать много золота, много скота и сделать его начальником над всеми своими слугами.

Тот самый усач Али-бек, который взял нас в плен, сказал хану:

— Хан-ага, лучше меня никто этого не сделает. Если не силой, то хитростью добуду коня и приведу его к тебе.

И он будто бы уехал добывать Дордепеля. А меня такая тоска взяла.

«Эх, думаю, да неужели же наш Дордепель достанется этим палачам — Али-беку и хану? Да как бы и моя-то голова не досталась им. Я сам большой, и голова у меня большая. Вот и отрубят ее! А может быть, это только слухи одни...»

Но слухи оправдались. Али-бек и в самом деле уехал ловить Дордепеля, а на другой день в самую жару, в полдень, вывели нас всех со двора. Нас было человек двести. Выстроили в ряд. И вот идет хан со своими слугами, высматривает — у кого самая большая голова. Жара была, а меня в озноб кинуло. Но хан прошел мимо меня и выбрал голову одного здоровенного туркмена. Сказал что-то слугам, должно быть то, что надо будет отрубить голову вот этому человеку и положить в хурджин, когда Али-бек приведет Дордепеля, и ушел. А нас опять загнали во двор.

Мы собрались вокруг этой «большой головы», как собираются, по нашему обычаю, только вокруг того, кто сделал большое дело или проявил неслыханную храбрость. Голова у него, и правда, была, как котел, здоровенная! Другой такой я никогда не видал. И сам он был настоящий богатырь. Лицо смуглое, круглое, усы и борода подстрижены. На лбу длинный шрам от сабли, и на правой щеке большое родимое пятно. Его так и звали потому — Менгли [1]. От шрама он казался сердитым и неустрашимо

[1] Менгли — с родинкой.

храбрым. А глаза у него были бараньи — кроткие, и он сначала показался мне вроде как придурковатым.

Мы волнуемся, говорим ему:

— Спасайся как-нибудь! Ведь завтра же тебе отрубят голову.

А он спокойно грызет себе черствую корку хлеба, как будто и не об его голове идет разговор.

— А чего спешить и зря волноваться? Есть пословица: «Подбрось яблоко, пока-то оно упадет на землю, о боже!» Все переменится. Пока коня не приведут, голову не отрежут. А там, дома, у нас на родине, нет такого коня, чтоб можно было подойти к нему, отвязать от кола и привести сюда. Там тысячи соколов машут крыльями и не подпустят к себе ворону. А если приведут коня, тогда и подумаем, как спасти мою голову. «Общими усилиями и плешивую девку замуж отдадим».

Он говорил тихо, лениво, а голос у него был такой же грубый, как и он сам. Он сказал это, вытащил из-за пазухи корку хлеба и стал жевать.

— Вот вы говорите: «Спасайся!» А как я могу спастись? Вы можете мне это сказать? С цепями и колодкой разве я перелезу через стену? Да если бы и перелез... Ну, я спасусь; так кому-нибудь из вас отрубят голову.

Мы призадумались: что делать? Проговорили до вечера и легли спать под навесом. Я лежал как раз посредине, возле столба. Светила полная луна. Дул холодный ветер с гор. И от холода, а главное, от дум, не спалось мне как-то. Я привстал, сижу, смотрю на луну. Вдруг кто-то звякнул рядом цепью и положил мне руку на плечо. Смотрю, это Менгли.

— Что, Сумасшедший, не спится?

— Да, Менгли-ага, думы сон отгоняют.

— И мне что-то не спится,— сказал он и сел рядом со мной.

Долго мы сидели с ним, и он рассказал мне про свою жизнь. Ему тогда был сорок один год. В молодости он батрачил у одного ахуна, научился у него немного читать и писать, побывал с ним в Мекке, Медине. Потом ахун помер, и Менгли нанялся в пастухи к богатому человеку. Ну, а пастухи в старину были и воинами. Менгли не раз приходилось сражаться с шайками иранских и хивинских ханов, защищать стада. Вот от этих-то битв у него и остался шрам от сабли.

Иранцы не раз уводили его в плен, но хозяин его и не думал выкупать, выкупали его собственные ноги. Он бе-

жал из плена, бежал раз из тюрьмы хивинского хана. По бедности до тридцати пяти лет не мог жениться. Потом женился на дочери бедного пастуха. У него было два маленьких сына и недавно родилась еще дочка. А тут хозяин послал его на мельницу смолоть два верблюжьих вьюка пшеницы. Только он выехал из песков Каракумов, наскочили на него разбойники Хасанали-бека, связали и увели в плен.

Я слушал его, и у меня сердце горело.

«Эх, бедняга, думаю, а теперь тебе голову отрубят, и останутся твои дети сиротами».

А он спокойно сказал:

— Ну, давай спать! Ложись и ни о чем не думай! Завтра подумаем.

И побрел к себе короткими шагами так ловко, так тихо, что ни разу не брякнула ни цепь, ни колодка.

4

— Не скучно тебе слушать? — спросил вдруг Ниязмурад.— Старики — болтливый народ...

Я испугался, что он закапризничает и перестанет рассказывать, и даже вскрикнул:

— Нет, нет! Как же может быть скучно, когда это жизнь моего народа? Я не знал, не слышал об этом и, если бы не ты мне рассказывал, никогда бы не поверил, что все это было. Это очень интересно!

— А интересно, так слушай про нашего знаменитого коня Дордепеля!.. За два года до того, как я попал в плен, весна у нас была дождливая. Трава выросла зеленая, высокая, выше колена, особенно у подножия Копетдага. Богачи наши — баи — всегда пасли скот в Каракумах, подальше от Ирана, а тут решили они перегнать скот на обильные пастбища к подножию Копетдага.

Узнал об этом народ и обрадовался:

— И мы туда же погоним свой скот! И у нас теперь будут и масло, и пенка, и каймак!

Выехали из крепости на летовку со скотом, с кибитками, с палатками. Отцу с матерью некого было пасти, не было у нас скота, и они остались в крепости. А меня попросили соседи помочь им перегнать скот, и я ушел с ними на летовку. Там, в степи, в низине, покрытой густой травой, были колодцы, не такие глубокие, как в Каракумах — в двадцать, тридцать сажен и с горькой водой, а

поменьше, глубиной в одну-две сажени и с хорошей пресной водой. Это возле Бахардена. Вокруг этих колодцев поставили рядами кто кибитку, кто палатку, получился целый аул. А вокруг аула с четырех сторон торчали высокие песчаные холмы.

На всякий случай, чтобы иранцы не застали врасплох, на холмах вырыли рвы-окопы, обсадили их, чтоб не видно было, кандымом, черкезом, саксаулом и стали жить.

Об этом пронюхали шпионы шаха Наср-Эддина и сказали ему:

— В таком-то месте на летовку выехали туркмены, безоружные. Если их сейчас окружить, то можно считать, что мы завладели всем Аркачем[1] и всеми его богатствами.

Наср-Эддин сейчас же собрал много конников, начальником назначил Джапаркули-хана и сказал ему:

— Если ты завладеешь всем Аркачем, зальешь его кровью туркмен, сделаю тебя ханом всего Аркача. Что хочешь с ним, то и делай!

И всем ханам Хорасана написал приказ, чтоб они со своими войсками присоединились к Джапаркули-хану и помогли ему бить и резать туркмен.

И вот Джапаркули-хан, волоча с собой пушки, с барабанным боем двинулся на нас. К нему примкнули еще ханы мелких крепостей.

Мы этого ничего не знали. Только проснулись раз на рассвете, глядим — иранцы туча тучей, весь сброд Наср-Эддина окружает нас со всех сторон. Все выскочили из кибиток, из палаток. Крик поднялся. Что делать? Как обороняться? Сразу две сотни стрелков со своими хырлы[2] побежали во все стороны — на холмы, в окопы. Сотня лучших конников вскочила на простых рабочих лошадей. Остальные хватали что попало — кто нож, кто саблю. Женщины привязывали к шестам ножницы, какими стригли овец, делали пики. А старики, старухи, ребятишки кинулись с лопатами укреплять окопы. Вот и собралось у нас такое войско.

И, как назло, не было среди нас ни одного сердара, ни одного богатыря, который умел бы командовать войском. Что ж, сами стали командовать. Нашлись и трусы среди нас. Особенно один человек. Он учился когда-то в Бухаре, и его прозвали за это Мулла Кути.

---

[1] Аркач — земли у подножия Копетдага.

[2] Хырлы — старинное туркменское ружье с треногой.

Он боялся иранцев, не любил выезжать из крепости. А тут один бай уговорил его:

— Поедем на летовку! Все едут. Ты знаешь молитвы и пригодишься там и живым и мертвым. Заработаешь бурдюк масла, поешь пенок и каймака.

Он и соблазнился. А тут, как увидел иранцев, поднял вой, начал ругать этого бая:

— Пусть сгинет твоя пенка и каймак и все твои живые и мертвые!

А потом свою жену и сыновей:

— Это все вы: поедем да поедем! Вот вам и пенка и каймак!

Он так кричал, как будто на него одного напали иранцы. Старший сын его не выдержал и крикнул:

— Отец, да разве твоя душа слаще других? Будем защищаться!

— Чем?.. Твоя мать, что ли, защитит нас ножницами?

Народ собрался посреди коша, кто с ружьем, кто с ножом, кто с саблей, стали совещаться. Один из белобородых стариков сказал:

— Мы сами не справимся с иранцами. Их вон ведь сколько! Надо послать гонца в крепость. Если один конь не доскачет, перехватят иранцы, другого пошлем, а там и третьего. А если, как говорится, три раза будет пусто, ничего не поделаешь, придется самим биться до конца. Там, где войска шаха, нет колодцев, поэтому они будут стараться как можно скорее разбить нас, начнут атаку за атакой, это-то и погубит их. Но вот беда — у нас мало свинца и пороху. Больше трех дней не продержимся. Надо послать гонца на хорошем коне.

У одного геоктепинца был конь Дордепель. Ему только что исполнилось четыре года, а про таких коней говорит народ: «Для коня после четырех лет нет таких переходов, которые он не мог бы преодолеть». Стали думать: кого послать на этом коне, кто может прорубить саблей дорогу коню и себе в кольце иранцев?

Молодежь закричала:

— Я! Я поеду!..

А хозяин Дордепеля сказал:

— Конь мой, и пусть на нем скачет мой младший сын. Если конь не погибнет, то и сын мой жив останется.

И он повязал на шею своему младшему четырнадцатилетнему сыну красный платок. А у мальчишки так и загорелись глаза. Он надвинул на лоб папаху, заткнул за кушак полы чекменя из верблюжьей шерсти и вскочил

на Дордепеля. Отец его взял коня под уздцы, подвел к краю окопа. Дордепель поднял голову, оглянулся, посмотрел на нас большими, как два яблока, глазами, заржал, вроде как прощался с нами, и полетел вперед, в низину.

Иранцы все время наблюдали за нами с холмов, увидели Дордепеля и со всех сторон поскакали к нему наперерез. И откуда только ум такой взялся у этого Дордепеля? Он все понимал, как человек. Так ловко увертывался от иранцев, как будто играл с ними. То в одну сторону кинется, то в другую.

А хозяин коня от волнения рвет в руках шапку и то присядет, то вскочит. Еще бы! И сын любимый, и конь любимый! Заволнуешься.

И вдруг Дордепель нашел лазейку, рванулся вперед и, как сокол, пролетел между толпами конных иранцев и пропал из глаз, как сквозь землю провалился. Те, должно быть, рты поразинули и глазам своим не поверили. Но вот он далеко-далеко выскочил на холм с такой силой, что видно было, как у мальчишки на шее затрепетал красный платок, и опять скрылся из глаз.

— Ну, теперь уж никто его не догонит и никакая пуля его не возьмет! — легко вздохнув, сказал хозяин Дордепеля, сразу повеселел и надел рваную папаху на голову.

Он, видишь ли, для того и повязал сыну платок на шею, чтоб знать, насколько вынослив конь. Если платок затрепетал — значит, конь не растерял еще силы.

Ну, иранцы, конечно, повернули назад и затрусили мелкой рысцой.

Да, в те времена люди смело вверяли свою судьбу коню! Конь был верным другом и спасителем. Поэтому-то народ и говорил:

«Встань поутру, повидай своего отца, а потом своего скакуна!» Конь считался дороже жены и матери.

Ускакал Дордепель, и у всех у нас, у старых и у малых, зародилась надежда: ну, теперь наши головы спасены, хоть они и лежат под мечом палача! Даже Мулла Кути и тот повеселел, перестал выть, а до этого все не верил, ворчал:

— Да разве он прорвется сквозь эту гущу войск?

— Зембирек выстрелил!.. Не поднимайтесь! Бегите скорее вниз! — крикнул один из пожилых людей.

Кто куда кинулись с холма вниз, но снаряд зембирека, самого дальнобойного иранского оружия, не долетел до нас, упал на бархан и только пыль поднял.

Старики собрались в низине и стали совещаться, как

лучше организовать оборону. Ведь надо было продержаться по крайней мере три дня. Не шутка!

Один сказал:

— В старину говорили: «В драке не совещаются». А если враг ворвался в нашу страну, надо бить его, кто чем может. Ведь мы не первый раз видим перед собой эти полчища шахских войск, не раз бились с ними, знаем их повадки. Они не очень-то храбры, а мы за свои земли, за родину, за семьи не пожалеем свои головы и, как и раньше бывало, разобьем войска шаха. Как стемнеет, пойдем в атаку и не дадим нечистым спокойно спать.

Другой сказал:

— А дотемна иранцы, конечно, наведут на нас все свои пушки, зембиреки, ружья и поднимут большой шум. Они всегда так делают. Но у нас не заячьи сердца, не испугаемся, не бросимся бежать кто куда.

На этом совещании выбрали начальников конницы, стрелков, пеших. А самый старый старик поднял руку и благословил народ на битву:

— Пусть ваши сабли будут острыми, пули меткими! Юноша, проливший кровь за родину, ни о чем не должен сожалеть. Бейте врага, который напал на нас! В этом нет никакого греха.

После полудня Джапаркули-хан и в самом деле повернул на нас все пушки, все ружья и открыл такую пальбу! Тут я в первый раз в жизни услышал рев пушки... Но это бесполезный был шум. Снаряды с визгом летели на нас, их хорошо было видно, но они не долетали до коша. Иранцы с перерывами дали несколько залпов, а наши стрелки, прячась за барханы, обстреляли их наводчиков. Тем дело и кончилось.

Вечером стемнело, и вокруг аула во всем стане иранцев запылали костры, и видно было, как возле них ходили темные фигуры. Доносился шум, крик, разговоры.

И я тут вспомнил, как, бывало, в детстве соберемся мы в кибитке, заспорим, поднимем крик, а старшие говорят нам: «Да что вы шумите, как иранское войско!»

И верно, шум шел по всему их лагерю. А у нас тихо было, даже кони не ржали и собаки не лаяли, как будто все ушли с летовки и крепко заснули. Но никто не спал, кроме малых ребят, все готовились к бою.

Около песчаного мыса у окопов сидело человек двести. Широкие суконные штаны они засучили до колен, рукава рубах закатали выше локтя, за кушаки заткнули длинные ножи и, накинув на себя чекмени, с обнаженными

саблями в руках внимательно присматривались и прислушивались: что делает враг?

А войско шаха, как всегда, для устрашения противника дало залп из всех пушек и ружей. Вспыхнул порох, осветил всю местность. И шум в лагере иранцев стал затихать, и скоро все стихло. Костры погасли. Показалась луна. Молодым уже не терпелось, и они стали торопить начальника:

— Сердар-ага, пора уж!

А начальник, седобородый старик, посмотрел на луну и спокойно сказал:

— Да, в пустыне, когда поднимается луна, волки нападают на стадо овец. Идите и режьте врагов, как волки овец! Хоть одного убьете — и то хорошо.

И вот пешие, около двухсот человек, разом скинули с себя чекмени, обувь, бросили ножны от сабель, чтоб не мешали, и босиком так тихо пошли в бой, что иранцы и не услышали ничего, пока их не начали рубить.

А старики — человек шесть — и самые молодые, вроде меня, остались пока на месте сторожить, а если понадобится, броситься на подмогу пешим.

Сидим, прислушиваемся, дрожим от нетерпения и тревоги и вдруг слышим — в самом центре иранского лагеря, где у них развевалось знамя, поднялся шум и кто-то выстрелил несколько раз. Пошла, должно быть, драка. Старики теребят бороды, то вскочат, то сядут. А больше всех волновался начальник пеших — всю землю около себя руками разрыл.

Но вот шум понемногу затих, стали возвращаться наши, и кто коня привел, кто мула, кто пленного, кто шемхал[1] притащил — никто не пришел с пустыми руками.

— Все вернулись? — спросил старик начальник.

Все вернулись, кое-кто тяжело был ранен, но на это тогда не обращали внимания. Без крови боя не бывает. В лагере иранцев скоро опять все стихло.

Конники наши сделали еще вылазку и тоже привели пленных. Пленные поникли от страха и все твердили:

— Мы бедные люди. Что прикажет хан, то и делаем. Если бы не пошли воевать, он повесил бы нас.

Только один усач задиристый попался. Начальником он, что ли, был, не знаю. Но он все грозил нам:

— Войско шахиншаха непобедимо. Джапаркули-хан привел шестьдесят тысяч человек. Он вам покажет! Он

[1] Шемхал — шомпольное ружье с треногой.

сожжет ваши кибитки и как ударит из всех пушек, так разверзнется земля и ваши беременные жены скинут.

Один из наших ударил его прикладом и сказал:

— А ты не пугай нас! Войска твоего шахиншаха мы не раз уже видели.

Наутро мальчишки окружили этого пленного и начали показывать ему руками: теперь тебе наш начальник отрежет твою усатую голову, наденет на пику и пошлет твоему хану. Так этот грозный храбрец заплакал, заревел, как баба. А ребятишки долго потешались, дразнили его.

Джапаркули-хан, видимо, обозлился, решил идти напролом и уничтожить наш кош. После полудня он разделил свое войско на две части и двинулся на нас с двух сторон. Наши стрелки тоже разделились на две части и залегли за барханами встречать врага. Лежали по двое: один заряжал ружья, а другой стрелял. Женщины в чугунных казанах плавили свинец и делали пули. А ребятишки подносили стрелкам порох, пули.

Притаились стрелки и близко подпустили иранцев. А те прут на нас всем скопищем, впереди на конях, на мулах, а позади пешие. И все что-то кричат во все горло. И только они подошли к барханам, как прямо у них под носом затрещали выстрелы, и все дымом заволокло. Наши сразу же убили их командиров, которые ехали впереди. Кони и мулы шарахнулись назад, на пехоту. Началась у них кутерьма, свалка. А стрелки наши бьют и бьют.

Лошади и мулы иранцев мечутся без седоков с распущенными уздечками. Иранцы уже и стрелять перестали, только гоняются за конями и мулами, чтоб поскорей поймать да удрать.

Но тут выскочила наша конница. А наши туркменские кони, даже самые плохие, всегда бросали в дрожь иранцев. От них не убежишь, не ускачешь. Они летели как пули. Сабли сверкали, то опускались, то поднимались. Началась резня, страшно вспомнить. А стрелки все стреляют, помогают конникам.

Туркменские кони догнали и смяли иранских. Много иранцев полегло на поле боя, а остальные отошли на старое место. Джапаркули-хан совсем разъярился, собрал войско, опять погнал на нас и опять ничего не мог с нами сделать, потому что у нас было очень выгодное положение. Мы прятались за барханами, а они шли по степи напролом.

Так и прошел этот день. Наступила ночь.

Иранцы не умеют ночью воевать, а нам что день, что ночь — все равно. Ночью-то для нас даже лучше. И наши

опять сделали вылазку, не дали иранцам спать и вернулись с добычей и с пленными.

А на рассвете смотрим — далеко за лагерем иранцев показались три человека и над ними знамя, не то красное, не то черное, издали-то не разберешь. Ну, сразу весь наш народ высыпал на барханы. Видим, знамя-то вроде как не вражеское, а наше, красное. Тогда у нас были красные знамена. У каждого храброго начальника конного отряда было небольшое шелковое знамя, а большое только у выборного хана. К концу древка была прибита вырезанная из жести рука с пятью пальцами.

— Да ведь это знамя Кара-батыра! — крикнул кто-то.

Кара ли батыра, нет ли, но только нам ясно стало, что гонец наш доскакал до крепости и вот к нам пришли на выручку. Правда, Мулла Кути не поверил:

— Не может быть, чтоб Дордепель так быстро доскакал до крепости. И птица не успела бы долететь.

А хозяин Дордепеля только усмехнулся и не стал с ним спорить.

Взошло солнце, и показалось еще одно знамя. И под этим знаменем ехало около двух тысяч всадников. Вот вдруг блеснули на солнце их кривые сабли, и всадники стремительно понеслись прямо на иранцев. Те не успели повернуть пушки и установить ружья на треногах, как сабли уже опустились на их головы. Всадники много порубили иранцев и так же стремительно повернули назад, отскакали чуть дальше, чем на выстрел, спешились и опять подняли знамя.

— Это Дяли-батыр! — закричал наш народ.— Это его хватка!

Я уже много до этого слышал про Дяли-батыра. Он всегда вот так же быстро наскакивал на врага и так же быстро отходил. И у него в отряде были такие кони, что иранцы даже и не пытались их догонять. А теперь я сам увидел это своими глазами.

Тут показалось знамя Овез-батыра. Овез-батыр ехал впереди своего отряда, въехал на бархан, посмотрел на иранцев и спустился с отрядом в низину.

Наконец показалось большое знамя с кистями. Это прискакали Мурад-сердар и Чопан-батыр. Они привели с собой четыре тысячи всадников, встали против иранцев и воткнули знамя в вершину высокого бархана.

Джапаркули-хан, как увидел, что съезжаются наши отряды один за другим, приказал трубачам трубить сбор и стал готовиться к бою.

А двое наших всадников воспользовались тем, что все вражеское войско стянулось в одно место, и поскакали к Мурад-сердару узнать, о чем он совещается с батырами, и договориться действовать сообща — они с фронта, а мы с тыла.

Еще до полудня началось наступление. Всадники Дяли-батыра и еще двух батыров со знаменами двинулись на запад мимо песчаного мыса, врезавшегося с пастбища, на левый фланг и полумесяцем охватили тыл противника. Отряд Овез-батыра остановился прямо против мыса. К нему присоединились всадники из нашего аула. Это был правый фланг.

А Мурад-сердар и Чопан-батыр должны были ударить прямо в лоб, в центр вражеского войска.

Джапаркули-хан, видно, растерялся. Захлопали его пушки, зембиреки, ружья, да все без толку. А в это время Дяли-батыр с отрядом выскочил оттуда, откуда его и не ждали, налетел на иранцев, и пушки их замолчали.

Потом с правого и с левого фланга и Мурад-сердар с Чопан-батыром ринулись в атаку, и начался рукопашный бой. Крик, вой поднялся, залязгали сабли, искры от них полетели. Мулы лягаются, ревут. И все закрутилось! Такая пыль поднялась, как будто смерч налетел! Изредка слышались пушечные выстрелы.

Эта страшная битва длилась около трех часов. Наконец Джапаркули-хан бросил свою палатку и пустился наутек, а за ним и все его войско. Знамя шахиншаха с золотым львом наши изрубили в куски и затоптали конями.

Джапаркули-хан далеко ускакал и уж радовался, должно быть, что спас свою жизнь, но наши туркменские кони резвее, выносливей были, и наши копники перерезали ему путь. Пришлось тому вернуться назад к своему отступавшему войску. Наши окружили их со всех сторон, рубили, рубили, а когда стемнело, Джапаркули-хану все-таки удалось как-то вырваться и ускакать в Иран.

Он погубил свое войско и, говорят, так боялся гнева шаха Наср-Эддина, что до самой смерти не показывался ему на глаза, все прятался где-то.

Войны без крови не бывает. Конечно, и наших храбрецов погибло немало, но за нашего одного убитого Джапаркули-хан заплатил сотней убитых. Это я правду тебе говорю, сам видел своими глазами. Да сколько их в плен еще попало! И не сочтешь!

Вот как воевали в старину. И если мы побеждали, так только потому, что у нас были прославленные текинские

кони. Они-то и выручали. На клячу посади хоть самого большого батыра, что он сделает? Сразу изрубят его. А на текинском коне он как ветер. Налетит, ударит — и поди поймай его! Вся сила в коне. Ну, и народ наш, конечно, был искусным наездником, умел ездить, умел рубить саблей. Ружья-то тогда шомпольные были, когда-то его зарядишь, а саблей махнул — и нет головы.

Не будь у нас хороших коней, да не будь наши люди такими наездниками, Джапаркули-хан сразу бы разгромил весь наш кош, детишек порубил бы, а нас и скот наш угнал бы в Иран. Да не вышло у него. Выручил нас Дордепель, и с тех пор он прославился на всю Туркмению.

А через два года после этой резни попал я в плен, и Али-бек задумал поймать Дордепеля и уехал к нам в Туркмению.

Только давай выпьем по чашке чаю, а потом уж буду досказывать.

Ниязмурад налил чаю и, сдвинув брови и вытянув губы, стал шумно пить.

5

— Ну вот, уехал Али-бек, а мы сидим во дворе, ждем, что дальше будет. Менгли дня три почему-то не подходил ко мне, не разговаривал. На четвертый день в полдень сидел я возле забора в тени; смотрю, Менгли, лениво передвигая ноги в цепях и в колодке, идет ко мне из-под навеса. И мне показалось, что он улыбается. Хотя у него такое было лицо, что и не разберешь — то ли он радуется, то ли горюет.

Подошел, сел рядом со мной.

— Сидишь, Сумасшедший?

— А что же мне делать,— говорю,— как не сидеть?

— А я знаю, что делать,— сказал он, вытянул ноги и уставился па колодку и цепи.— Помнишь, я говорил: «Подбрось яблоко, пока-то оно упадет, о боже!» Все изменится! И верно. Али-бек там и остался.

— Где там?

— Фу-ты!.. Посмотри ты на него!.. Куда уехал, там и остался. Как ни хитри, ни воруй, а когда-нибудь да попадешься. Вот и Али-бек сидит сейчас, вроде нас, в крепости и любуется на колодку и цепи. Кто ездил с ним, все вернулись, один он попался.

Менгли засмеялся.

— Я еще не знаю, как это он попался. Говорят, Хасанали-бек подозревает двоих. Один был проводником Алибека и оказался будто бы изменником. А другой — старший солдат хана. Они будто бы оба ненавидели Али-бека и подстроили это дело. Хан хочет повесить их нынче вечером. Ну, теперь-то моя голова еще подержится на плечах.

И он опять засмеялся.

— А с конем-то как? — спрашиваю я.— Не поймали они Дордепеля?

— Фу-ты!.. Послушай, что он говорит!.. Да разве отдадут им в руки такого коня? Он дома крутится себе вокруг своего кола и ест траву. Потому-то я и не беспокоюсь за свою голову.

Потом он посмотрел вокруг, не подслушивает ли кто, и тихо сказал:

— Бежать нам надо. Нас с тобой некому выкупать, нет у нас ни храбрецов с острой саблей, ни богатых родственников с большими деньгами. Сами о себе должны позаботиться. Пока мы еще не обессилели от голода и не настали еще холода, надо бежать, иначе этот двор станет нашим кладбищем. Подохнем мы тут с голоду.

Я обрадовался и подумал: «Значит, он нашел способ бежать без всякого риска». Но это было не так.

Менгли опять посмотрел вокруг и зашептал:

— Только никому ни слова об этом! Самый лучший твой друг может узнать об этом только тогда, когда мы уже выйдем за ворота крепости. Видишь, сколько во дворе народу? Поди разбери, кто тут пленный, а кто шпион хана. Чтоб убежать, нам придется убить одного караульного, двоих связать. Мы перелезем сначала в скотный двор, оттуда мимо глинобитных домиков проберемся осторожно к воротам крепости. Привратник — свой человек, но мы вроде как насильно заставим его открыть нам ворота, а потом свяжем.

Этот план, как оказалось потом, придумал не сам Менгли, хотя и была у него голова с котел, а старик привратник, хороший человек. Менгли-то мне ничего об этом не сказал, я уже потом догадался.

А привратник этот был вот какой человек. Когда-то в молодости, когда у него были кое-какие деньжонки, он купил осла, нагрузил на него хурджин с кишмишом, орехами, горохом, зеркальцами, гребенками, иголками, всякой мелочью и ездил по Туркмении из крепости в крепость и выменивал на шерсть, на кожу, на разные товары, возвращался в Иран и продавал на базаре.

Таких мелких иранских торговцев в старину много бродило по Туркмении, и туркмены не обижали их, даже в гости к себе приглашали. Вот тогда-то Менгли и познакомился с этим привратником. Он не раз ночевал у отца Менгли. А потом пришла старость, и ему уже не по силам было путешествовать, и он стал ходить к Хасанали-беку, дарить ему подарки и просить взять его на службу. Ходил, ходил, наконец хан взял его в привратники. Он както зашел к нам во двор, увидел среди пленных Менгли, узнал, что хан хочет послать его голову шаху Наср-Эддину, и задумался: как бы это его спасти? И придумал.

У ворот нашего двора каждую ночь караулили двое солдат — один одну ночь, другой другую. И один был худой, тощий и какой-то болезненный. Он всю ночь не спал, все тянул песню. А другой, красномордый, плотный, с рыжей бородой, крашенной хной,— плохой был служака. Сядет у ворот, обнимет ружье, опустит голову, и не слышно его, то ли спит, то ли думу думает.

Вон Менгли мне и говорит:

— Надо завтра бежать. Тощий сегодня караулит, а рыжий завтра будет. У рыжего-то стреляй под самым ухом из пушки шаха, он все равно не проснется. А потом он караулит не с одним ружьем, а еще и с саблей. Нам оружие пригодится, а то у меня всего один нож, а у тебя нет ничего.

Я посмотрел на свои ноги в цепях, на ноги Менгли в цепях и в колодке и сказал ему:

— Да как же мы с таким грузом перелезем через такие высокие стены?

Менгли засмеялся:

— Э, завтра увидим... Только держи язык за зубами! Завтра, как стемнеет, жди меня вот тут в углу.

Он встал и опять, лениво волоча колодку, пошел под навес.

Вечером Хасанали-бек повесил двоих, ездивших вместе с Али-беком ловить Дордепеля, и сказал:

— Пусть Али-бек до самой смерти сидит в плену! Я его выкупать не стану. А если вернется как-нибудь сам, я повешу его, как этих негодяев.

Уж очень досадно ему было, что не удалось поймать Дордепеля.

Всю эту ночь и весь следующий день я только и думал о побеге. И то радовался, что наконец-то вырвусь на волю, а то страх нападал: как я вырвусь в цепях-то? И с нетерпением ждал вечера.

Стало темнеть. Все пленные улеглись по своим местам. Я тоже лег. Когда заснули все, я встал, прошел в угол двора, жду Менгли. А темно, ничего не видно. Вдруг зашуршал песок, смотрю — возле меня Менгли, и на ногах у него ни цепей, ни колодок. Шепчет: «Садись скорей, вытягивай ноги!»

Я подхватил цепи, чтоб не гремели, сел. А Менгли зашарил рукой по цепи, потом низко наклонился, посмотрел и крякнул:

— Эх, ну что ты будешь делать? Цепь-то на тебе от коня или мула, а у меня ключ от цепей для пленных.

У меня сердце так и заныло.

«Ну, думаю, все пропало! Теперь он один убежит, а я так и сдохну в этом дворе».

А он не убежал, нет! Склонил свою голову, думает.

— Разве обвязать ее кушаками, чтоб не гремела, положить на камень и разбить? Да нет, нельзя, всех разбудишь.

И вдруг вытащил из кармана нож и начал ковырять замок. Замок щелкнул и открылся. Я снял цепи, вскочил и от радости ног под собой не чую. И уж непривычно както без цепи-то.

Менгли подкрался на цыпочках к воротам, посмотрел и отошел. Опять подошел и посмотрел, опять отошел и зашептал:

— И что этому рыжему ослу не спится нынче? Сидит, ковыряет ружьем землю.

На меня опять страх напал. Мне уж казалось, что вотвот и рассветать начнет; но до рассвета далеко еще было.

Менгли постоял немного, заглянул в щель ворот и махнул рукой:

— Заснул, храпит, как свинья! Подождем немного, пусть разоспится покрепче.

Вдруг звякнула цепь, кто-то проснулся под навесом. Мы сразу прижались к забору. Это пленный вышел по своим надобностям, постоял немного и опять ушел под навес.

Менгли засучил рукава, затянул потуже кушак, заткнул за него полы чекменя и нож, скинул старые чоки[1] и побежал к воротам. С разбега прыгнул и, как кошка, залез на забор, сел верхом и стал высматривать, куда лучше слезть. За забором был низкий сарай. Он сполз на него, слез по столбу на скотный двор. Мулы, овцы испу-

[1] Чокои — летняя обувь из сыромятной кожи.

гались, подняли шум. Менгли спрятался между ханских быков. Но рыжий ничего не слышал, крепко спал.

А я стою перед забором и так разволновался — не могу залезть. И тут я вспомнил, как, бывало, вечером в крепости соберутся парни лет двадцати — двадцати пяти, поставят на самую высокую стену папаху и по очереди разбегутся и без помощи рук прыгают на стену и сбивают ногой папаху. Раньше я считал это пустой забавой, а тут, как Менгли перемахнул через стену, я понял — нет, это не пустая забава, нужное дело.

Я подошел к воротам, смотрю в щель — Менгли стоит уже над рыжим, а рыжий обнял винтовку, храпит. Менгли воткнул в него нож, он всхрапнул раз, и все стихло. Менгли вытащил у него из кармана ключи от двух ворот, снял с него саблю, прицепил к своему кушаку, ружье — на спину, отпер замок, чуть приоткрыл тяжелые дубовые ворота, чтоб только мне пролезть и чтоб скрипу не было, и сказал:

— Может быть, у тебя тут друг какой остается? Скажи ему, пусть бежит с нами. Там на скотном дворе кони есть, хоть и плохие, да мы ускачем.

Я побежал под навес, растолкал того парня, с которым мы все время вместе сидели, сказал ему. Он чуть не ошалел от радости. Вскочил — и к воротам. Менгли снял с него цепь, потом зашел под навес, разбудил своего соседа старика:

— До свиданья, ага, будь здоров! Мы уходим. Если хотите, и вы все можете уйти. Ворота открыты. Вот тебе ключ от цепей. Буди народ!

И рассказал ему, куда надо бежать и что в хлеву много лошадей, на всех хватит.

Он надел свои чокои, и мы втроем пошли на скотный двор, выбрали трех коней, какие получше, вывели на улицу и поскакали к воротам крепости.

Старик привратник спал в какой-то конуре у самых ворот. Менгли слез с лошади, постучал в дверь.

— Куламали-ага!

— Ха, это ты, Менгли? — послышался глухой голос, и из конуры, как из дыры какой, согнувшись вдвое, вылез высокий седобородый старик и неторопливо, степенно поздоровался с Менгли.

— Ну, сделано дело?

— Да, рыжего пришлось зарезать.

— Ну и хорошо! — спокойно сказал старик.— Он был большим мерзавцем! Сколько народу от него погибло на виселице. Это наушник хана!

Потом он вернулся в свою конуру и вынес хурджин с хлебом и сыром.

— Возьми, Менгли! Пригодится в дороге.

Открыл ворота и пошел впереди нас. Он быстро ходил. На расстоянии голоса от крепости стояла у арыка мельница. Мы остановились около нее, поблагодарили Куламали-ага за то, что он спас нас, сказали, что никогда этого не забудем и когда-нибудь отблагодарим не одними словами. И мы с Менгли слезли с коней, схватили его за руки и стали вязать, а он кричит и вырывается.

Парень, которого мы взяли с собой, не знал, что так надо было сделать, чтоб хан наутро не повесил Куламали, и закричал на нас:

— Да разве так делают туркмены! Это же подло!..

Чуть не испортил все дело.

— Молчи, если ничего не понимаешь! — сказал Менгли.— Вяжем — значит, надо.

Мы связали Куламали, заткнули ему рот платком, но не очень туго, втолкнули в мельницу, а там в углу спал мельник. Менгли разбудил его пинком и закричал:

— Вставай, свинья!

Тот вскочил, дрожит от страха.

— Вяжи ему руки! — приказал мне Менгли, а сам вытащил из-за кушака нож, вытаращил глаза, схватил за шиворот старика привратника и закричал грубым голосом:

— Я отрежу голову этой сторожевой собаке хана! Вынь у него изо рта платок. Пусть он кричит теперь, сколько хочет!

И такое страшное, такое зверское лицо стало у Менгли, что я подумал, что он в самом деле озверел и хочет отрезать старику голову. Он ведь всегда мне каким-то придурковатым казался. Я схватил его за руку, уговариваю:

— Брось! Что ты делаешь? Ведь это большой грех отрезать голову человеку.

Куламали уже без платка во рту повалился в ноги Менгли и стал умолять пощадить его, старика. А Менгли размахивал ножом и кричал:

— Пощадить!.. Твой хан взял голову моего отца, а я взамен возьму твою голову и голову хана и положу вам обоим на животы жернова!

— Да брось, не трогай ты его! — умолял и я Менгли.

Он чуть улыбнулся и сказал:

— Ну, ладно, ради тебя пощажу эту сторожевую собаку. Но их надо запереть.

Мы вышли, заперли мельницу и поскакали на север, домой.

Хозяевами этой мельницы, оказывается, были два брата. Одного мы связали и заперли вместе с Куламали, а другой, старший брат, был близким человеком хану. Вот Куламали, чтоб хан не повесил его за то, что он помог нам бежать, и научил Менгли сделать так. Мельник видел своими глазами, как Менгли хотел отрезать голову старику, и у него уж не могло быть никаких подозрений.

Мы благополучно доехали — я до своей крепости, а Менгли с парнем до своих крепостей, и скоро я услышал, что вслед за нами в ту же ночь все пленные бежали от хана и тоже благополучно добрались к себе домой. А когда я узнал, как попался вор Али-бек, так я даже рот разинул.

— А как он попался? — нетерпеливо спросил я Ниязмурада.

— А вот слушай, если не надоело!

6

— В те времена мало кто пахал и сеял в одиночку. Сам знаешь, воды было мало, и почти вся она текла на поля ханов и баев. А если у кого из крестьян и был свой пай воды, так не было у него ни лошади, ни бороны, ни плуга. Приходилось объединяться, пахать и сеять сообща. Да одному-то, я уж говорил, опасно было выезжать в поле, сразу в плен уведут.

В тот год хозяин Дордепеля объединился с двенадцатью крестьянами, такими же небогатыми, как и он сам. Посеяли они пшеницу, ячмень. Надо было поливать. Хозяин Дордепеля боялся оставлять коня дома, брал его всегда с собой в поле.

Али-бек в это время перешел границу и как-то пронюхал об этом — стал караулить.

Как-то раз выехали крестьяне на поливку. Коней своих спутали, и Дордепеля тоже, взяли лопаты, пустили воду, работают. А неподалеку были овраги, размытые потоками. Из этих-то оврагов вдруг и выскочило десятка два конных иранцев во главе с Али-беком, подскакали к Дордепелю. Али-бек, разбойник, живо распутал Дордепеля и вскочил на него. Дружки окружили Али-бека и поскакали все в сторону гор.

Ну, крестьяне: «Ах, ох! Из-под носа увели!..» А что поделаешь, когда на всех четыре ружья да десяток сабель

и кони-то остались все рабочие? Разве догонишь? Один парень вскочил на лошадь и поскакал в крепость, да без толку. Пока он доскачет, Али-бек на Дордепеле будет уже в Иране.

Хозяин Дордепеля, бледный, смотрел вслед коню и молчал, только борода у него тряслась. И вдруг бросился бежать за конем. Крестьяне за ним с ружьями, саблями. Иранцы оглянулись и, должно быть, обрадовались: «Бежит, дурак! Хочет в плен попасть вместе с конем!» И придержали коней, почти шагом едут.

А ты знаешь, как у нас в праздники на скачках: соберутся люди, весь аул, выведут лошадей, отмерят расстояние, какое они должны пробежать, и пустят их. Кони только добегут до конца, кто-нибудь махнет шапкой, крикнет: «Дошли до места! Назад!» Кони сейчас же поворачиваются и, как пули, обгоняя друг друга, летят назад, к народу, обегут вокруг и остановятся. Дордепель всех коней побеждал на скачках. Никто за ним не мог угнаться.

Вот хозяин-то бежал, бежал, свернул в сторону на бархан и закричал:

— Эй, дошли до места! Назад!

И замахал шапкой.

Дордепель, как услышал это, увидел шапку, мотнул головой, повернулся и полетел, как птица, на голос хозяина. Али-бек, разбойник, вцепился в луку седла, ни жив ни мертв. И товарищи его растерялись, не знают, что делать. Стоят на месте.

А Дордепель думал, что он на скачках, подскакал к крестьянам, дал один круг и остановился. Один парень схватил его под уздцы. Али-бек вытаращил глаза, натопорщил усищи, побелел, как не раз уже стиранная тряпка. Кто-то ударил его прикладом ружья по затылку. Он свалился с коня, и его связали.

А хозяин Дордепеля обнял своего красавца и заплакал от радости.

Иранцы сунулись было выручать Али-бека, но их обстреляли из ружей, да еще вдали показались какие-то всадники. Иранцы испугались и ускакали.

Узнал я об этом, как вернулся из плена, и захотелось мне посмотреть на Али-бека. Поехал я в Геок-Тепе к хозяину Дордепеля. Он хорошо меня встретил, расспросил, кто я, откуда родом, из какого племени, усадил меня в кибитке, поставил передо мной хлеб, сливки, кислое молоко. По тем временам это было самое лучшее угощение. Сей-

час-то приедешь, сначала напоят тебя зеленым чаем, потом супом, пловом накормят. А вы, молодежь, и без вина не обходитесь. А тогда все это было только у ханов и беков.

Угостил он меня и говорит:

— Ну, пойдем, покажу тебе своего пленника.

Возле кибитки была у него небольшая мазанка. Он раньше хранил в ней седла, сбрую, лопаты, всякую всячину, а теперь в ней, распушив свои усищи, сидел в цепях Али-бек.

— Вот просится на волю,— сказал мне хозяин.— Говорит, что он бедный солдат и хан насильно послал его за Дордепелем, пригрозил повесить, если не поймает.

— Это он-то бедный солдат!..— закричал я.— Да это отъявленный плут, командует у хана солдатами и только и делает, что грабит по дорогам и уводит в плен туркмен. Это большой негодяй! Ну,— спрашиваю,— узнаешь меня, Али-бек? Помнишь, как я сидел под навесом у твоего хана? А теперь ты сам сидишь, как дикая кошка в капкане. Разве хан послал тебя? Ты сам вызвался, хотел получить награду. Вот и получил!

А он опустил голову и ни слова не сказал.

Я уехал домой и после слышал, что жена и родные Али-бека уговорили хозяина Дордепеля обменять Али-бека на пленного туркмена-геоктепинца. Тот отпустил злодея, но взял с него клятву, что он никогда больше не будет грабить туркмен.

У нас в колхозе в конюшне стоит потомок Дордепеля. Я тебе покажу потом.

Я после плена тоже обзавелся конем и оружием, купил сироту-жеребенка и вырастил хорошего коня. Иначе нельзя было. То и дело то ночью, то днем в крепости кричали глашатаи:

— Эй, на такую-то крепость напали иранцы! У них столько-то всадников! Скорей на помощь!

А не иранцы, так хивинцы. И уж тут нам никто не приказывал, сами знали, что делать, хватали оружие, садились на коней и скакали на помощь в соседнюю крепость. Таков уж был обычай наших дедов и прадедов. И если чей-нибудь конь оставался на приколе,— значит, хозяин его или только что помер, или помирает. Другой причины не могло быть.

И я участвовал в большом сражении в Карры-Кала, когда разгромили мы войско иранского шаха, потом в Янкале, в Мары, Анау, всего не вспомнишь теперь.

Тяжело тогда жилось, и если бы не вступились за нас русские, не знаю, что и было бы.

Раз, после сильного боя с солдатами хивинского хана, ехал я домой вместе с Овез-батыром. Заехали мы к нему, и уже стемнело. Он и говорит мне:

— Теперь поздно тебе ехать. Переночуй у меня, а завтра поедешь.

Я остался. Сели мы на ковер. Перед Овез-батыром жена поставила медный чайник с хорошим чаем. Он налил мне пиалу и сказал:

— Эх, Сумасшедший!.. (Эта кличка так и приросла ко мне после плена.) Тяжелое наше положение. Не знаешь, что и делать. То ли воевать, то ли хлеб сеять. Не дают нам жить иранцы и хивинцы. Да и бухарцы еще лезут. Не можем мы вытянуть ноги и спать спокойно. Что это за жизнь? Ведь с нас, как говорится, уж и попона сползла. Нужда тело пронзила и до костей дошла. У кого-то надо защиты искать.

«У кого же? — думаю.— Уж не хочет ли он, чтоб мы стали подданными иранского шаха или хивинского хана? Да туркмены скорее смерть предпочтут. Они только и знали, что отбивались от иранских ханов и шахов, а хивинский хан — настоящий тиран».

Я сказал это Овез-батыру. Он выпил чай и одобрительно посмотрел на меня.

— Это ты верно говоришь. Туркмены никогда не покорятся ни иранскому шаху, ни хивинскому хану. Но нам нужна сильная опора, иначе жизни не будет народу. И есть такая опора — это русские люди.

— Русские? — удивился я.

— Да, это сильный народ и хороший, хлебосольный. Ханмамет Аталык и Оразмамет-хан давно уже думают об этом. И в Мары многие старейшины одобряют эту мысль. И я одобряю. Но наш хан три раза разбил войска иранского шаха и нос задрал, думает, теперь ему уж некого бояться. И сам хочет быть ханом над всеми туркменами. А признают ли его все туркмены своим ханом, еще неизвестно. Да если б ему и удалось объединить весь наш народ, разве он устоит против врагов со старым оружием? Даже если с Ираном и Хивой мы и справились бы, то за ними лежит еще ядовитый дракон. Он схватил и сжал в своей лапе всю Индию и теперь тянет шею в нашу сторону и облизывается. Слышал про англичан? Вот они-то и есть этот самый дракон. Недавно к Керимберды-ишану приезжал гость, будто бы святой из Мекки, и будто бы он чудеса творит и может одним взглядом окинуть все четыре угла света. Все старики во главе с нашим

хапом ходили на поклон к этому «святому пиру»[1]. И я ходил.

Когда мы вышли от него, Ханмамет Аталык — он умный человек — сказал:

— Овез, а глаза-то у этого гостя, как у плута и вора. Я думаю, это не святой, не ишан, а просто английский шпион.

Так оно и оказалось. Наш хан-ага уже не может отличить голубя от ястреба. Вот, чтоб англичане не зажали нас в свою лапу, и надо бы нам примкнуть к русским. У них сила большая.

— А ты говорил об этом с Чопан-батыром, с Дяли-батыром и Кара-батыром? Как они думают?

— Намекнул раз Чопан-батыру, он сердито посмотрел на меня и ничего не сказал. Заговорил об этом с Дяли-батыром, он сразу перебил меня. «Э, Овез, занимайся ты своим делом! Разве мы можем вдвоем решить такое дело? Ты же знаешь, у каждого туркмена своя голова, поди втолкуй всем-то!» Ну, а с Кара-батыром и говорить нечего. Ты скажешь, а ему не понравится, он и думать не станет, сразу зарубит.

Скоро мы легли спать. Наутро я уехал домой и после узнал, что есть какая-то связь с русскими не только у Овез-батыра, но и у других сердаров. Слышал и то, что будто бы Ханмамет Аталык раза два ездил в Оренбург. Ну, а потом сам знаешь, чем это дело кончилось. Как примкнули к русским, так и стали спать спокойно.

Ну, пойдем, покажу тебе наших колхозных коней.

Ниязмурад встал, надел халат, подпоясался длинным белым кушаком, надвинул на лоб старинную туркменскую шапку и всунул свои большие ноги в калоши.

7

Ниязмурад хотя и опирался по-стариковски на палку, но шел бодро. Он повел меня не по улице, а ближней дорогой через колхозный виноградный сад — по узкой тропинке. Он впереди, я за ним, как полагается по туркменскому обычаю.

Он шел и рассказывал, то размахивая, то ударяя палкой о землю.

— И сколько я видел на своем веку знаменитых туркменских коней! Глянешь, бывало, на какого-нибудь

[1] Пир — высшее духовное лицо.

красавца, так дрожь тебя и прохватит. Жизнь бы отдал за такого коня! Был у нас Кара-Куш. Так тот однажды сокола обогнал! Верно говорю. Я сам это видел.

— Да как же он мог обогнать? Как он мог состязаться с птицей? — удивился я.

— А вот слушай! У одного человека был сокол. Он не кормил его день, два. Потом пришел на скачки, отдал сокола сыну, который стоял на том месте, откуда кони должны были бежать, а сам встал там, куда кони должны были прибежать. Как это теперь по-вашему-то называется?

— У финиша? — сказал я.

— Ну да, у финиша. И вот пустили одного Кара-Куша. Только он вытянулся, выбросил ноги, хозяин сокола сейчас же замахал рукой и стал звать сокола, как звал его всегда на кормежку. Сокол ринулся вперед вместе с Кара-Кушем. Конь не понял сначала, с кем же он состязается, замотал головой, смотрит по сторонам. А народ кричит во все горло. Кара-Куш увидел, что над головой у него машет крыльями сокол, хочет его обогнать, прижал уши, рванулся вперед и обогнал сокола, оставил его за собой на расстоянии — ну, как бы тебе сказать,— ну, как бросить вот эту палку.

Мы подошли к колхозному саду с пышной зеленью, за которой виднелось большое красивое строение. Ниязмурад ткнул палкой в воздух и сказал:

— Ну, вот и наши конюшни! В старину таких не было ни у ханов, ни у беков. Да и дома-то их были не лучше наших конюшен. Я каждый день сюда хожу посмотреть, порадовать свое сердце. Не схожу, так и заснуть уж не могу, вроде как главного дела не сделал. Ну и следить ведь надо за народом, показать, как надо ухаживать за конями. А кони у нас породистые, потомки наших славных древних коней, каких вывели наши деды и прадеды. Да и ругаю же я своего сына Нурака. Ведь он теперь заведует коневодческой фермой. Сидит в конторе, шелестит бумажками, а то уедет на целый день в Ашхабад. Долблю, долблю, ему: «Брось ты эти бумажки! Твое место возле коней, в конюшне!» А он смеется. Ну что с ним будешь делать? Вот если бы мой младший сын Чары заведовал фермой, так его за уши не оттащил бы от коней-то! В меня пошел, любит коней, но другим делом занят.

Когда мы вошли в конюшню, там хлопотали четыре подростка. Они поздоровались с нами и опять принялись за свое дело. Я посмотрел на длинный ряд стойл, на чисто подметенный коридор, на лоснящиеся спины, на точе-

ные морды коней, повернувшихся к нам, на их большие умные глаза, на нервно раздувающиеся ноздри, вдохнул в себя этот своеобразный острый запах конюшни и заволновался, заговорила во мне моя туркменская кровь. Повеселели, ожили глаза у Ниязмурада.

В первом крайнем стойле стояла красивая матка с только что родившимся белоногим жеребенком. Увидев нас, она занервничала, насторожилась, подняла голову и запрядала ушами.

— Видишь белоногого? — сказал Ниязмурад.— Красавец! Его старшего брата, тоже белоногого, наши колхозники послали в подарок маршалу Ворошилову. Не хуже того, на котором он раньше ездил. Я видел того на картинке. Хороший конь, но не лучше нашего. Я еще мальчишкой был, когда по всей Туркмении славился Акбилек[1]. Так вот, должно быть, эта матка и ее сыновья от него пошли. А вот смотри — рядом с ней потомок Кара-Куша, а этот вот — потомок Дордепеля. Дордепеля давно уже нет, а кровь его, огонь его еще горит в его потомках.

Ниязмурад повел меня дальше, показал палкой на двухгодовалого коня и вдруг поджал губы и наморщил лоб.

— Вот этот... как же его зовут-то? Теперь такие названия дают коням, что и не запомнишь, а вспомнишь, так не выговоришь. Так старший брат этого коня участвовал в пробеге Ашхабад — Москва. Я тогда, во время этого пробега, и днем покоя не знал, и ночью спал как на горячих углях, все думал: «А ну как осрамятся наши кони?» Ведь до Москвы-то почти пять тысяч километров. Это не шутка! Машина и та не выдержит, сломается. А кони выдержали. И с конем, говорю тебе, ничто не может сравниться. И главное-то чудо не в том, что они до Кремля дошли и домой вернулись, а в том, что они наши, колхозные, а не ханские. Все самое лучшее нам отдали, крестьянам.

Когда мы подошли к последнему стойлу, Ниязмурад заглянул в него, вдруг нахмурился, повернул голову в сторону коридора и сердито закричал:

— Эй, сын мой! А ну, поди, поди-ка сюда!

На крик сейчас же прибежал один из подростков. Старик ткнул палкой в кучу навоза.

— Это что же такое? Разве можно таким коням стоять в навозе? Так-то вы за ними смотрите?

— Ниязмурад-ага,— хлопая глазами, начал оправды-

[1] Ак — белые, билек — бабки.

ваться парень.— Это он сейчас только... Видишь, еще пар идет. А мы убирали.

И бросился в угол за метлой и совком. Старик смягчился и уже спокойно сказал:

— Все время смотреть надо... У тебя вон и совок и метла есть. А мы в старину из-под таких коней руками собирали навоз в подол рубахи... Ведь вот говорил я председателю колхоза: «Давай я буду смотреть, ухаживать за конями». А он все смеется: «Нет, Ниязмурад-ага, то, что ты можешь сейчас отдыхать в прохладной тени, для нас дороже всего. Ведь за это мы и боролись». Что с ним поделаешь? Он думает, что я совсем уж состарился.

Мы обошли все стойла, вышли из конюшни и сели в тени на ящик. Перед нами на приколе крутился превосходный конь, покрытый попоной из старой кошмы.

— Фу-ты! Ну и нарядили коня! — опять рассердился Ниязмурад.— Ты посмотри только! Ведь это конь всего нашего народа, колхозный конь, а его нарядили, как, бывало, я своего коня наряжал. Да я-то нищий был, а сейчас почему же? Неужто у вас не нашлось ничего получше для такого коня?—сердито крикнул он подростку, который стоял в воротах конюшни и улыбался.— Ведь это все равно что взять жену-красавицу и нарядить ее в лохмотья.

— Ниязмурад-ага,— сказал подросток,— у нас все есть — и новая попона, и новая сбруя. Когда выезжаем на нем, все новое надеваем, а дома-то и в старой сойдет. Экономить надо!

Ниязмурад покачал головой.

— Это все равно как в старину говорил сын одного богача: «О, у меня есть такие чарыки. Новые!.. На них и шерсть еще не вытерлась».— «А где же они?» — «Дома». Так и проходил он всю жизнь в рвани, а новые чарыки дома сгнили. Так и тут. Все чего-то жалеют!.. А ведь это наш лучший конь Улькер, наша надежда. Он родился и вырос в нашем колхозе. И еще ни один конь не мог его обогнать. А коней-то на скачки приводят чуть не со всей Туркмении, и из Мары, и из Ташауза, и даже из Казахстана. Казахи от нас взяли ахалтекинцев и тоже разводят теперь хороших коней. Говорят, в Геок-Тепе появился молодой конь Саяван, чуть ли не лучше Улькера. Не знаю, не видел. Да вот скоро скачки будут, посмотрим, чей конь лучше. А вы поили коней-то? — вдруг круто повернулся Ниязмурад к подростку, все еще стоявшему в воротах конюшни.

— А как же, поили и еще будем поить.

— А где же конюха-то?

— В поле поехали. Им сейчас тут нечего делать. Мы и одни справимся.

— Э! — только крякнул Ниязмурад и махнул рукой. Через четверть часа мы пошли домой. Возле колхозного сада я простился с Ниязмурадом и зашагал на железнодорожную станцию, чтобы с вечерним поездом добраться до Ашхабада.

Вечер был тихий и теплый. Я шел среди полей по пыльной дороге и радовался, как тот счастливец, который пошел искать своего осла и нашел целое царство. Я ехал сюда, чтоб расспросить Ниязмурада про текинских коней, а он рассказал мне целую эпопею не только про коней, но и про суровую жизнь моего мужественного народа во времена, к счастью, давно уже минувшие.

Только теперь я понял, что такое конь для туркмена и почему так вдруг закипает во мне кровь, когда вижу перед собой скачущего красавца коня, быстрого, как сокол. Конь — это жизнь, история моего народа. Как же не закипеть крови?

8

В день Первого мая после дождя на рассвете дул мягкий влажный ветер. Под голубым весенним небом по всему Ашхабаду трепетали красные флаги, гремела музыка, и празднично одетый народ с цветами и песнями сплошным потоком шел на демонстрацию.

А после демонстрации весь народ повалил за город к ипподрому, на скачки. Когда я пришел туда, там уже шумело взволнованное море людей, переливавшееся на солнце всеми цветами радуги. Легковые, грузовые машины протяжно ревели и с трудом пробирались сквозь густую массу народа.

Никакой футбол не может сравниться со скачками. Я видел в Москве на стадионе во время футбольного состязания огромное скопище народу, но не видел в толпе почтенных стариков. Все больше молодежь. А в Ашхабад на скачки со всей округи собираются и старые и малые. Это наш народный праздник. Как же усидеть дома?

Впервые я попал на скачки до революции, когда мне было тринадцать лет. И тогда, как и теперь, была весна, но между той и этой весной лежит уже гигантская пропасть. Тогда вокруг ипподрома был пустырь, поросший колючкой. В колючках ютились и выли ночами шакалы.

Ипподром был обнесен высокой глинобитной стеной, показавшейся мне тогда какой-то унылой и убогой. Вокруг стены стояли толпы утомленных, бедно одетых людей. По улицам в бурых тучах пыли в фаэтонах ехали к ипподрому баи в красных халатах и белых папахах. Я смотрел на них с изумлением, как на иностранцев, как на людей из другого, чуждого мне мира.

А теперь от пустыря с колючками и следа не осталось. С одной стороны высятся огромные корпуса фабрик и заводов, с другой — учебного комбината и со всех сторон — многоэтажные дома. Стена ипподрома, казавшаяся мне раньше такой высокой, теперь словно в землю вросла и кажется совсем уже низкой по сравнению с обступившими ее со всех сторон новыми зданиями.

Кипит, волнуется пестрый, празднично одетый народ, и не видно ни ослов, ни верблюдов и ни одной унылой фигуры. Подъезжают колхозники в грузовых, легковых машинах, некоторые из дальних аулов. По улицам Ашхабада вместо былых фаэтонов движутся к ипподрому одна за другой «Победы» и «Москвичи», и все гудят, все настойчиво требуют дороги.

Вот и из моего родного аула приехали три грузовика и две легковые машины. Из легковой с трудом вылез Ниязмурад, оперся на палку и посмотрел кругом на дома, на фабрики, на волнующееся море людей.

Я подошел к нему и поздоровался.

— И ты здесь,— ласково сказал он и улыбнулся.

И опять посмотрел вокруг.

— А Ашхабад-то и не узнаешь. Я всего три года тут не был и сейчас вроде как в чужой город попал. Ведь вон что настроили!

Мы пошли на ипподром под навес, где уже плотно друг к другу сидели зрители. Ниязмурада хотели посадить на почетное место в первом ряду, но он махнул рукой:

— Нет, эти места не для нас. Чего тут тесниться? Наше место там, на широком поле.

И он ткнул палкой вдаль, где на открытом месте стояли кони — участники скачек, тренеры и их палатки. С разрешения администратора мы прошли туда. Там уже стояло и сидело много стариков. Некоторые из них были чуть моложе Ниязмурада, и мне странно было слышать, как Ниязмурад, обращаясь к ним, называл их «ребята». Старик поговорил с ними, и мы подошли к палатке тренера колхоза имени Сталина, вокруг которой толпилось

много детей и взрослых. За палаткой лежали мешки с ячменем для коней. На зеленой полянке, в двух шагах от палатки, сидели два седобородых старика. Один широкоплечий, плотный и, видимо, сильный старик, лет семидесяти, а другой сухой, тонкий, с длинной бородой, лет шестидесяти пяти. Тут же на приколе стоял красавец Улькер. На нем была новая сбруя.

Ниязмурад внимательно осмотрел его и остался доволен:

— Ну вот, так и надо украшать коня! А то нарядят в старую попону!.. На осла и то приятней смотреть.

Потом он посмотрел на другого коня, крутившегося вокруг кола возле другой палатки. Брови его вдруг вскинулись вверх, глаза расширились. Он ткнул в сторону коня палкой и спросил:

— Эй, ребята, а это что за конь?

Худой длиннобородый старик, сидевший на лужайке, встал, посмотрел на коня и сказал:

— Это Саяван из колхоза «Свободный Туркменистан» Геоктепинского района. Хороший конь! Правда?

Другой, плотный старик, нервно затеребил свою бороду.

— Вот он-то, Ниязмурад-ага, и будет нынче состязаться с нашим Улькером. Как думаешь, обгонит он Улькера?

Ниязмурад ничего не сказал, как бы с полным равнодушием отвернулся от Саявана и ткнул палкой в другую сторону:

— А это чей конь?

— Колхоза Ворошилова.

— А тот?

— Колхоза «Коммунизм» Каахкинского района.

— А вон тот что за конь?

— Тот издалека пришел. Из Казахстана.

Ниязмурад долго и внимательно осматривал красивых, нетерпеливо топтавшихся коней марыйского, ташаузского колхозов и разных конных заводов. Потом подошел к Саявану — сопернику Улькера, долго молча смотрел на него и так же молча вернулся к палатке.

— Хороший ведь конь? Правда? — спросил худой старик.

Ниязмурад сел на мешки с ячменем и как-то нехотя ответил:

— Ничего... Может потягаться с Улькером. Ну, да посмотрим еще...

Напускным равнодушием он, видимо, хотел скрыть свое волнение, свою тревогу за Улькера, за честь своего колхоза.

А шумная толпа зрителей все росла, увеличивалась. Все места давно уже были заняты, а у входа теснилась, напирала огромная толпа. И даже в домах вокруг ипподрома все балконы и окна были забиты народом.

Заиграла музыка. Кони занервничали, запрядали ушами, затанцевали вокруг своих кольев. Один, закусив удила, взвился на дыбы. Другой, вытянув шею, тревожно заржал. Третий в такт музыке забил ногами о землю.

Заволновался и народ. Один из стариков вдруг запахнул на груди халат.

— Что, холодно? — спросил другой.— И мне кажется, вроде легко я оделся. В эту пору никогда так холодно не бывало. Время косить, а холод.

А холода-то и не было. Солнце хорошо пригревало. А зябко им показалось от их нетерпеливого волнения.

Судьи скачек взошли на трибуну. Волнение усилилось. Перед трибуной выстроились одни молодые кони, которые должны были пробежать только тысячу метров. На одних сидели наездники в жокейских костюмах, на других — попросту в туркменских рубахах и тюбетейках.

Красный сигнальный флажок мелькнул в воздухе, как струя пламени, и кони рванулись вперед. Весь народ, да и я сам, невольно подались вперед, как бы увлеченные этим стремительным порывом коней. В глазах зарябило от множества быстрых конских ног. Закачались крупы, согнутые фигуры наездников.

Кони вытянулись и как бы летели, плыли по воздуху.

Зрители кричали и волновались, каждый по-своему. Один то снимет, то наденет папаху, другой то вскочит, то сядет. А вот какой-то толстяк мечется возле стены в мелком кустарнике, машет шапкой и вопит во все горло:

— Давай, давай!..

Лицо красное, глаза навыкате,— видимо, и не замечает того, что делает.

Ниязмурад спокойно сидел на мешке с ячменем и смотрел вдаль на коней. А волнение двух стариков на лужайке дошло уже до высшего предела. Один из них, не в силах смотреть на скачущих коней, отвернулся и нервно ковыряет землю щепкой. А другой глаз не сводит с коней, вдруг вскочит, порывисто пройдется взад-вперед и сядет.

— Ну, как наш? — нетерпеливо спрашивает его тот, что ковыряет щепкой землю.

— Впереди нашего еще два коня...

— Э, так бы и говорил — два коня!.. А прошли северный поворот?

— Прошли.
— Как наш?
— Да все так же.
— Э, все так же! Тебя только послушай!..

Старик с раздражением бросает щепку, вскакивает, но сейчас же садится и спрашивает:

— Прошли южный поворот?

Как раз в это время кони, рассыпавшись по широкому ипподрому, как стая ласточек, прошли южный поворот, и некоторые наездники стали подгонять коней плетками.

— Повернули! — кричит второй старик.
— Как наш?
— Ничего, старается...
— Подгоняет наш плеткой?
— Нет еще...— отвечает второй и вдруг кричит во все горло: — Наш обогнал одного, нагоняет первого!.. Гляди, гляди, уже сравнялись дога-баг!.. [1]

Первый старик вскакивает, впивается глазами в скачущих к трибуне коней и тоже кричит:

— Возьмет, возьмет мой гнедой!..

И смеется, как ребенок. Этот старик — тренер гнедого коня, и потому-то он так волнуется.

Гнедой взял первый приз. Его провели перед трибуной под бурные аплодисменты и радостный крик огромной толпы зрителей и привязали к колу возле палатки. Сейчас же вокруг него собралась толпа знатоков и любителей коней. Ниязмурад ласково посматривал на гнедого и улыбался.

Председатель колхоза Махтум Каибов должен бы быть на трибуне среди почетных гостей, но он так взволнован, что не может усидеть на месте и все время крутится то среди колхозных коней, то среди колхозников возле палатки.

Пустили вторую группу коней, потом третью, четвертую. Волнение зрителей росло с каждым заездом все больше и больше. Время шло. Изредка наплывали облака и шел недолгий мелкий дождь, но народ не замечал ни дождя, ни того, что солнце уже клонилось к горизонту.

Шесть коней уже отскакались, и пять коней получили первый приз, а шестой — второй приз. Ниязмурад все время держался спокойно, и только когда шестой конь осрамился, взял второй приз, сердце не выдержало, и он возмутился.

— Э, не умеете вы ухаживать за конями! — сказал он

[1] Дога-баг — серебряное украшение на шее коня.

треперу и колхозникам.— Такой конь получил второй приз!.. Вижу, не будет никакого толку, если я сам не займусь этим делом.

Ни тренер, ни колхозники ничего не сказали, только посмотрели друг на друга и улыбнулись.

Начинался самый интересный, самый напряженный момент скачек. В последнем туре должны были состязаться на самый большой приз взрослые, самые лучшие туркменские кони, и среди них прославленный колхозный конь Улькер, который уже не раз не только в Ашхабаде, но и в Ташкенте на состязаниях коней всей Средней Азии брал первые призы.

Вот он, геоктепинский Саяван, и много других превосходных коней выстроилось перед трибуной. В воздухе мелькнул красный флажок. Кони ринулись вперед как пули. Наездники припали к шеям коней.

Эти кони должны были пробежать не полкруга и не круг, как молодые кони, а два полных круга. Вот они пробежали круг и мчатся мимо зрителей. Зрители неистово кричат и машут шапками. Это волнует коней. Они напрягают все силы, стараясь обогнать друг друга.

Впереди всех шел Улькер, за ним Саяван, остальные кони уже отставали от них. Весь народ с трепетом смотрел на двух красавцев — Улькера и Саявана. У всех были такие напряженные лица, как будто люди силились поднять гору.

Я закурил папиросу, чтоб умерить волнение, и вдруг Ниязмурад величественным жестом, но как бы машинально, не отрывая глаз от Улькера и Саявана, вытянул у меня изо рта папиросу, сунул себе в рот и жадно затянулся. Я знал, что он давно уже бросил курить, и это меня рассмешило.

А Ниязмурад, с глазами, устремленными вдаль, вдруг весь передернулся, бросил папиросу, вскочил, и у него вырвалось как бы из глубины души:

— Ах, какая досада!..

Я сначала не понял, что случилось, но посмотрел на коней и с изумлением увидел, что Саяван скачет впереди всех, а Улькер почему-то хромает, и уже все его обгоняют. Дикий рев, как ураган, пролетел по толпе зрителей. А тренер Улькера сорвал с себя шапку, с силой бросил на землю и жалко заморгал глазами.

— Что случилось? — вцепился я в плечо Ниязмурада.

— Э, ничего!.. Оступился...— сказал он и плотно сжал губы.

Саяван геоктепинцев получил первый приз, а Улькер пришел к палатке, хромая на одну ногу.

Колхозники-безмеинцы, старые и малые, окружили его и молча смотрели с сожалением, досадой и грустью. Один Ниязмурад стоял в стороне, опираясь на палку. Это молчание угнетало, давило. Ниязмурад не выдержал и сказал:

— Чего это вы опустили головы? Как на похоронах... Конь-то жив, не умер. И он еще покажет себя. На нынешнем празднике шесть ваших коней взяли призы, и вы радовались, бросали вверх шапки. А теперь носы повесили. Кому это надо?

— Ниязмурад,— сказал один из колхозников,— да ведь досадно же, всегда брал призы...

— Знаю, что брал... Поскачешь и обгонишь, а может, и нет. Всяко бывает!

— Это его сглазили,— сказал старый колхозник.— Иначе он не споткнулся бы на ровном месте.

Ниязмурад усмехнулся.

— Никто его не сглазил. Надо лучше за конями ухаживать. Вот и все! И как бы там ни было, а наш Улькер проиграл. И в этом надо сознаться. И не век же ему брать призы! Надо радоваться, что на смену ему растут новые хорошие кони вроде Саявана.

Народ уже разошелся с ипподрома, а безмеинцы все еще теснились вокруг Улькера и то сожалели о неудаче, то бранили тренера, то высказывали надежду, что Улькер еще покажет Саявану. Наконец председатель колхоза Махтум Каибов, который все время молча сидел и курил, встал и сказал:

— Ну, довольно этих разговоров! Ниязмурад-ага верно говорит. Надо лучше ухаживать за конями. В этом все дело. Поехали домой!

Все встали и пошли к машинам. У палатки остались одни конюхи и кони.

Я посадил Ниязмурада в легковую машину и обеими руками крепко пожал его руку, не подозревая, что это мое прощание с простодушным, честным стариком будет последним.

Ниязмурад ушел из жизни. Хорошо, что я записал то, что могло бы уйти вместе с ним безвозвратно,— его рассказ о конях, о жизни нашего народа, о времени, давно отшумевшем. Все, что связано с народом, всегда драгоценно.

1948

Курбандурды Курбансахатов
р. 1919

Приглашение

Камень лежит в пыли у развилки дорог. На его пористой, исхлестанной дождями и ветрами поверхности видны рубцы — следы былой надписи. Время стерло ее. Но люди помнят, что там было написано. Память человека крепче, чем память камня.

1

Шах подошел к окну и долго стоял в молчании, опершись на резную решетку и ощущая ладонями прохладу металла.

Ему видны были чистые дорожки сада, бело-розовые, в цветении, деревья и горы вдали — с резко изломанными вершинами, еще покрытыми снегом.

За окном буйствовала весна. Ее пьянящие запахи долетали до правителя, но впервые за много лет не волновали его.

Прежде его белый шатер с зеленым флагом уже давно стоял бы где-нибудь в горном ущелье или средь бирюзовых нив, и подданные шаха наперебой расхваливали бы его твердую руку и верный глаз. Но сегодня иные заботы одолевали повелителя. Он не выходил из своей резиденции и принимал только главного визиря и гонцов, разосланных по всей стране. Лишь один вопрос задавал он

каждому, кто не умел льстивыми обещаниями скрыть правду. Шах был страшен во гневе.

В саду гомонили птицы, жужжали пчелы. Раньше эти звуки радовали шаха, теперь только раздражали. Он отвернулся от окна, медленно подошел к трону, тяжело опустился, поерзал, устраиваясь поудобнее. Откинулся назад, прикрыл глаза. Что делать? Что же делать? Как заставить эти ничтожества беспрекословно подчиняться воле шаха? Пришло время смут и неповиновений. Только жестокость, только кровь может снова вернуть порядок.

Позолоченный посох с крупным жемчугом в рукояти ударил об пол. Гулким эхом прокатился звук по пустой комнате. Сразу же неслышно распахнулись двери, и в проеме замер главный визирь. Шах сделал знак рукой. Не разгибаясь, тот прошелестел халатом, приближаясь к владыке.

— Сколько скота прислали из Дуруна?

Визирь поднял на шаха заплывшие глаза, в которых прятались лесть и трусость:

— Десять тысяч, мой шах.

Взгляд у шаха стал еще пронзительнее. Он словно бы проникал сквозь череп и читал мысли. Визирю стало не по себе.

Шах молчал, не отводя от него взгляда. Наконец спросил негромко, но с угрозой:

— А где остальные двадцать тысяч?

Визирь знал, что прятать глаза нельзя. Но кто мог выдержать такой поединок?

— Неизвестно, мой шах.

Посох ударил в пол, возвещая о том, что повелитель гневается.

Визирь вскинул на него глаза, готовый умереть, если прикажут.

— Послать туда тысячу всадников! Огнем и мечом, только огнем и мечом мы будем карать непослушных!

У визиря отлегло от сердца. На этот раз гнев пал не на него.

— Сколько верблюдов с пшеницей пришло из Мерва?

— Триста, мой шах.

— Почему не тысяча, как мы повелевали?

— Прошлой весной в Мургабе не было воды.

И снова эхом прокатился по комнате стук посоха.

Визирь внутренне содрогнулся, запоздало поняв, что не следовало защищать и оправдывать мургабских туркмен.

Но шаху было не до него. Одна-единственная мысль владела им сейчас. Он уже видел, как пылают кибитки, как трещат, взметая к небу искры, высохшие на солнце строения. И он снова спросил с жутковатой дрожью в голосе:

— А сколько получено ковров?

Визирь не решился ответить сразу. Как вслух назвать ничтожную цифру?

Шах побагровел.

— Разве я не тебя спрашиваю?

— Всего... десять,— прошептал визирь, но слова его в тишине прозвучали как гром.

Шах вскочил, но не ударил, не пнул своего визиря. Он стремительно, так, что визирь ощутил на разгоряченном лице дуновение ветерка, прошел мимо и остановился у окна. Тень его, обрамленная затейливым рисунком оконной решетки, легла возле трона, и визирь с испугом смотрел на нее: даже тень шаха не должна лежать у ног подчиненных.

Успокоившись, повелитель вернулся на свое место.

— Что должны прислать из Машата?

— Баранов и шерсть, мой шах.

— Ну?

— Шерсть доставлена полностью,— обрадованно доложил визирь.

— Но ты сказал: и баранов...

Нет, не удалось умилостивить шаха.

— Передали, что решили подкормить ягнят, чтобы пригнать осенью жирными.

Кривая усмешка промелькнула на лице шаха.

— Они решили... Но почему решают они? До осени еще далеко — сейчас только весна. Они решили... Позор! В государстве нет порядка! Но я им покажу!

Визирь снова переломился в поклоне, выражая свое полное согласие и повиновение.

— Какие вести из Атрека?

О аллах, когда кончится эта мука? Скорей бы покинуть это страшное помещение! Подвернись тогда кто-нибудь под руку визирю!..

— Мы ждем оттуда лошадей.— Голос шаха суров.— Много лошадей — это большое войско. А мы должны заботиться о мощи государства.

Считая, что сказал достаточно, шах выжидательно посмотрел на визиря. Он встретил восторженный взгляд и самодовольно подумал: «Наша мудрость безгранична,—

всего несколько слов, а с каким упоением восприняты они!»

Если бы он был чуть проницательнее, то заметил бы в глубине этих преданных глаз смятение.

— Мой повелитель, нужна ваша железная рука, чтобы заставить гокленов подчиниться.

Шах вскинул брови.

— Что, и там тоже?

— Они ответили, что не дадут ни лошадей, ни ослов.— Визирь говорил быстро, стараясь пройти через самое тяжкое.— Они издевались над нашим векилем, обрезали ему усы и бороду, посадили задом наперед на старого, облезлого ишака и проводили смехом и непристойными криками.

Шея повелителя наливалась кровью, вены вздулись, глаза стали страшными.

— Кто? Кто мутит их? Говори, или я...

Было самое время направить гнев шаха в сторону от собственной судьбы.

— Поэт Фраги [1], мой шах.

Шах был поражен.

— Как?! Поэты пошли против повелителей? Кто он такой, этот Фраги?

— Так называет себя Махтумкули, мой шах.

Вот оно что!.. Этот выкормыш старого моллы Давлетмамеда опять сеет смуту в народе. Паршивый писака возомнил себя умнее своего правителя.

— Настрочил что-нибудь новое?

Визирь потупил взгляд.

— Мой повелитель, язык не поворачивается передать вам его слова.

Снова злая усмешка исказила лицо шаха.

— Блеяние овцы не может принести нам вреда. Говори.

— Это скорее вой шакала,— подобострастно улыбнулся визирь.

— Все равно. Я готов слушать.

Визирь ударил в ладоши.

Сигнала ждали. Дверь распахнулась бесшумно, и вошел писарь. Его острая бороденка, казалось, готова была проткнуть бумагу, которую он внес.

---

[1] Фраги — разлученный.

Изобразив на лице гадливость, визирь принял бумагу, кивком головы отпустил писаря и, когда дверь закрылась за ним, сказал:

— Я не решаюсь омрачить ваш слух чтением этих презренных стихов.

Шах протянул руку:

— Хорошо, я сам.

Он читал долго. И не потому, что стихотворение было очень длинным,— остановив взгляд на строчках, шах думал.

Скомканный лист бумаги полетел на пол. Визирь не осмелился поднять.

Тишину прервал ставший вдруг спокойным голос шаха:

— Он пишет, что нашего престола не останется и в помине, что мы умрем, обуянные гордыней.

Шах посмотрел в окно. Стало слышно, как жужжат пчелы в саду.

— Что говорят про него?

Визирь понял, что требуется.

— Верные люди говорят, что Махтумкули призывает все туркменские племена объединиться.

Шах повернулся к нему:

— Против кого?

— После того, что произошло, это совершенно ясно, мой повелитель.

Шах согласно кивнул головой.

— Да, это опасный человек. Если двинуть туда наше войско...

— Туркмены могут взбунтоваться,— осторожно вставил визирь.— У них очень неспокойно. Вспыхнет война, и, если она затянется, государство окажется в тяжелом положении.

Шах знал, что это так, и промолчал.

— К тому же я получил донесение, что Махтумкули недавно переплыл на ту сторону Бахры-Хазара и в Астрахани вел какие-то переговоры с русскими.

Шах подскочил к визирю и вцепился костлявыми пальцами в полы халата. Близко, очень близко увидел визирь бешеные, безжалостные глаза повелителя. И жутко стало ему.

Но пальцы разжались.

— Почему не доложил сразу?

— Только что стало известно, мой шах,— выдохнул визирь.

Кажется, и на этот раз пронесло.

— Что будем делать?

Ответ давно был готов у визиря:

— Надо захватить поэта.

И опять глаза повелителя впились в его лицо.

— Как это сделать?

Теперь все страхи остались позади. Визирь в меру распрямился и сказал почти уверенно:

— От хорошего охотника никакая добыча не уйдет. Мы пошлем к Махтумкули надежного человека, и он вручит ему приглашение. Приглашение к вам, мой повелитель. Вот такое.

Рука шаха жадно схватила листок. Витиеватые строчки извещали любимого поэта туркмен, что его величество шах ждет Махтумкули в своем дворце, ждет как дорогого гостя, и что, если поэт пожелает, он может навсегда остаться здесь, чтобы в спокойной обстановке, вдали от житейской суеты, слагать свои прекрасные стихи.

— Согласится? — сощурился шах.

Визирь осмелился снисходительно улыбнуться.

— Я недаром говорил об охотнике. Надо подобрать такого, который не упустит дичь.

— Кого предлагаешь?

Визирь помедлил, предвкушая впечатление, которое произведет.

— Шатырбека.

Шах откинулся на спинку трона и тихо засмеялся.

2

Было еще темно, когда северо-западные ворота столицы неслышно приоткрылись и выпустили шестнадцать всадников. Ночь поглотила их.

Шатырбеку не впервые было пускаться в рискованное путешествие. Его видели в Дамаске и Хиве, на перевалах Гиндукуша и на караванных тропах Деште-Кевира. Он говорил на многих языках и выдавал себя то за перса, то за туркмена, то за узбека или араба. Никто не знал, чем он занимается, на какие средства живет. А деньги у него водились. Исчезнув на несколько месяцев, а то и на год, Шатырбек вдруг вновь появлялся на шумном столичном базаре, и тогда любители погулять на чужой счет твердо знали: начинается веселая жизнь. Денег Шатырбек не жалел и ночи напролет проводил в душных мейханах,

щедро угощая случайных знакомых и вдвое переплачивая за вино и кебаб, если они приходились по вкусу.

Поговаривали, что Шатырбек выполняет особые поручения самого Надир-шаха, что он не раздумывая может всадить в человека нож или выкрасть секретный документ. Но точно никто ничего не знал, так как сам Шатырбек умел держать язык за зубами. Даже вино не делало его болтливым.

После того, как был убит бывший шах, для Шатырбека наступили мрачные дни. Про него словно забыли, новых поручений он не получал, а деньги, как известно, даром не дает никто, тем более шахская казна. И сразу запропастились куда-то многочисленные друзья. И любовницы всегда оказывались занятыми и не могли уделить ему времени.

Только кое-кто из мейханщиков, лелеявших надежду когда-нибудь получить с него втройне, еще жаловали Шатырбека своим вниманием. И он, сидя за пиалой вина на потрепанном ковре, обещал им:

— Подождите, еще взойдет моя звезда. Без таких, как я, ни один правитель не засиживался на троне. Сами позовут.

И он не ошибся.

Знакомый мейханщик угощал его пити с горохом и виноградным вином, когда на улице послышался топот коней, звон металла и в мейхану, расталкивая любопытных, вошел есаул шаха. Поморщившись от смрада, которым была наполнена комната, он разглядел Шатырбека, подошел к нему и, наклонившись, зашептал:

— Мой бек, мы сбились с ног, разыскивая вас.

— А что такое? — спросил Шатырбек, еще не подозревая, что Хумай — птица его счастья — снова возвратилась к нему.

Есаул оглянулся и еще тише сказал:

— Вас зовет главный визирь шаха.

Шатырбек преобразился. Только что в мейхане сидел старый, уставший человек, а теперь все увидели бравого, готового на любое, самое отчаянное дело вояку. Орлиным цепким взглядом обвел он присутствующих, легко, но в то же время важно, с достоинством поднялся и, кивнув изумленному мейханщику, вышел впереди есаула.

Встреча Шатырбека с главным визирем состоялась в одной из тайных комнат дворца. Гость был встречен с почестями. Красное вино, сладости, фрукты — все говорило о том, что в его услугах нуждаются. «Не продешевить

бы»,— подумал Шатырбек. Не спеша выпил он налитое ему вино, бросил в рот горсть сахаристого кишмиша, стал словно нехотя жевать.

Визирь хотел было налить ему еще, но Шатырбек жестом остановил его.

— Вино превосходно,— улыбнулся он,— но ведь не для того вы меня позвали, чтобы только угощать вином. Я человек дела. Вы тоже. Так давайте и перейдем к делу. А уж потом, когда обо всем договоримся, можно будет допить это чудесное вино.

Визирь давно знал Шатырбека и не стал церемониться.

— К делу так к делу,— согласился он.— Поручение таково. Надо съездить в Атрек и передать письмо.

Шатырбек тоже хорошо знал визиря и не удивился, что именно ему дают такое пустячное поручение. Он молча взял письмо и прочел. Ему приходилось бывать в тех краях, и теперь бек начал понимать, в чем дело. Махтумкули не такой человек, чтобы бежать сломя голову по первому зову шаха.

Визирь словно прочитал его мысли.

— Если поэт согласится ехать, то от вас больше ничего не потребуется,— пояснил он.— А если откажется... Ну, тогда придется помочь ему. Свяжете и привезете во дворец. Но чтоб было тихо. Понятно?

Как было не понять? Только удастся ли дело? Легче пробраться в спальню хивинского хана или поджечь дворец турецкого султана, чем выкрасть поэта, который постоянно находится среди людей. Один неосторожный шаг — и Шатырбеку уже не придется ухаживать за своей роскошной бородой. Гоклены — народ горячий. Не только с бородой — с головой можно расстаться.

Было о чем подумать.

Молчали оба. Визирь вспоминал свой утренний разговор с шахом. «Богат ли он, этот Шатырбек? — спросил повелитель.— Говорят, ему щедро платили...»

Это был коварный вопрос. Расплачиваться с тайным посланником будет главный визирь, и шах наверняка знал, что далеко не вся сумма попадет Шатырбеку. А шах очень хотел, чтобы его поручение было выполнено хорошо.

«Конечно,— с видимым равнодушием согласился визирь,— Шатырбек редко бывал не у дел. Но теперь он не так молод и проворен, в будущем ему вряд ли удастся пополнить свое состояние».

Шах пожевал губами, сказал:

«Я думаю, что, кроме суммы, о которой мы договорились, Шатырбеку можно подарить и ту луноликую, которую купили в Ширазе».

Визирь вздрогнул, и шах заметил это.

«Если, конечно, он сделает все, как надо,— продолжал шах.— Что ты на это скажешь?»

«Воля шаха — закон,— голос визиря дрогнул,— но я полагал, что моя преданность вам, мои скромные заслуги позволяют мне надеяться...»

Он не решился договорить.

Шах усмехнулся недобро.

«Конечно, мой верный слуга, конечно. Ты достоин, чтобы этот цветок принадлежал тебе. Только... Ведь он цветет на моей земле, и я вправе первым насладиться его благоуханьем...»

Визирь скрипнул зубами, вспомнив эти слова.

Шатырбек встревоженно глянул на него.

— Я готов сделать все, что в моих силах, дабы выполнить это поручение,— поспешно произнес он.— Я готов умереть за моего шаха.

— Мы не сомневались в этом.— Визирь усмехнулся, подражая шаху.— Только я вижу, как изменился, как постарел бек. В те времена, когда под видом дервишей пришли мы с тобой в Хиву, а потом, подкупив ханскую стражу...

— Э, зачем вспоминать? — перебил его Шатырбек.— Не сосчитать, сколько раз луна появлялась на небе с той ночи. А время серебрит бороду. У тебя ведь она тоже была бы белой, не будь такого верного средства, как хна.

— Все мы во власти аллаха. Никому не суждено оставаться вечно молодым. А ведь только в молодости человек способен делать такие дела, о которых в старости и думать не может.

Шатырбек нахмурился.

— Я сказал, что сделаю все. Я доставлю сюда этого поэта. Только в молодости это обошлось бы дешевле.

— Да, да,— засуетился визирь,— нам следует договориться о вознаграждении. Вообще-то, Шатырбек, ты преувеличиваешь опасность предстоящей поездки. Конь у тебя будет добрый, дорога не очень дальняя... К тому же Махтумкули, я уверен, примет приглашение самого падишаха.

— А если не примет? Мы оба знаем туркмен.

Визирь согласно кивнул, прикрыв на секунду глаза. Не спеша наклонился, с трудом подтянул к себе обитую железом шкатулку. Любовно вытер крышку рукавом халата. И только после этого достал ключ на ременном плетеном шнурке и открыл шкатулку. Ему хотелось проследить за взглядом Шатырбека, насладиться впечатлением, которое вызовет у гостя золото, но сам он не смог отвести глаз от тускло сверкающих желтых кружочков. Наконец визирь заставил себя захлопнуть шкатулку. Он увидел искаженное жадностью лицо Шатырбека, его сверкающие глаза и понял, что своего добился.

— Все это будет твоим, когда вернешься с поэтом,— сказал визирь и щелкнул замком.— Хочешь, можешь даже забрать ключ. На, бери.

Плетеный шнурок заплясал в дрожащей руке Шатырбека.

Визирь положил ему на колено руку и доверительно сказал:

— И еще одна приятная новость: я выпросил для тебя у шаха самого лучшего коня, того самого, на котором он недавно проезжал по городу. Гнедой, с белыми передними ногами,— видел, конечно?

Шатырбек поймал руку, которую визирь снял было с его колена, и пожал нежно и преданно.

...И вот теперь гнедой легко мчался по пыльной дороге, и все пятнадцать сарбазов скакали далеко позади, остервенело стегая своих скакунов.

«Они рождены для того, чтобы глотать пыль из-под копыт моего коня,— злорадно думал Шатырбек.— А мне аллах дал крылья».

Он спешил. И не только потому, что ему не терпелось получить заветную шкатулку,— впереди стояла крепость Сервиль, в которой Шатырбеку уже довелось побывать когда-то. Мейхана там не уступала лучшим столичным, а старая Рейхан-ханум, если еще жива, сумеет выбрать ему подходящую девушку. Денег, которые дал ему на дорогу визирь, вполне хватит, чтобы вдоволь повеселиться.

Но у самых ворот крепости Шатырбек передумал. «Нет,— решил он,— сначала дело, потом все остальное. У меня еще будет время для вина и девушек. А сейчас короткий отдых — и в путь».

Старый повар мейханы Гулам сразу узнал Шатырбека.

— О, какой гость! — радостно улыбаясь, воскликнул он.— Вы совсем забыли дорогу к нам, бек. Разве я плохо

готовлю? Или постели у нас не такие мягкие, как в столице?

Шатырбек соскочил с коня, бросил поводья подоспевшему сарбазу.

— Здравствуй, Гулам, здравствуй! Зря ты так говоришь. Видишь, нашел дорогу,— значит, не забыл. А что касается жареной курицы, которую только ты можешь сделать удивительно вкусной, то я к твоим услугам.

— Проходи, проходи, дорогой Шатырбек.— Старый Гулам распахнул перед ним дверь в мейхану.— Садись отдыхай, сейчас ты получишь все, что желаешь. Я только скажу, чтобы приготовили постель.

— Не волнуйся, Гулам, постель не потребуется. Мы только подкрепимся. Позаботься лучше, чтобы хорошенько накормили коней. И сарбазов тоже, конечно.

Гулам, шаркая подошвами, вышел, а Шатырбек устало растянулся на ковре. Да, в молодости такие поездки давались куда легче. Закрыв глаза, он стал вспоминать, как однажды скакал день и ночь по дороге в Дамаск, чтобы успеть вовремя убрать одного не угодного шаху человека. В нескольких часах езды от города конь, выбившись из сил, упал, и Шатырбек весь день плелся под знойными лучами солнца. Он увидел далеко впереди караван, стал махать руками, кричать...

— Что с вами? — услышал Шатырбек.

Он открыл глаза. Гулам склонился над ним.

— Вы так стонали, бек, что я испугался,— сказал он, улыбаясь.— Пока вы спали, я приготовил курицу — так, как вы любите. Вставайте, я полью вам на руки. Умойтесь с дороги и поешьте.

Пока Шатырбек жадно ел, Гулам молча смотрел на него, пытаясь догадаться, какие недобрые дела погнали этого коварного человека в путь. В том, что Шатырбек способен лишь на недоброе, старый повар не сомневался. Но вот куда и зачем едет он?..

Наконец Шатырбек, сытно рыгнув, отодвинул от себя тарелку. Теперь можно было задать вопрос.

— Э-э, Гулам,— сказал Шатырбек, усмехаясь,— послушай моего совета: никогда не старайся знать больше того, что тебе требуется. И тогда ты спокойно проживешь еще два раза по столько, сколько прожил. Чужие тайны никому не приносили добра. Уж я-то знаю, поверь мне. А сейчас сходи и скажи, чтобы сарбазы седлали коней. Да пусть поторопятся, мы и так задержались!

Когда Шатырбек тяжело поднялся в седло, Гулам вспомнил:

— Что же вы, бек, не заглянули к своему старому другу Рейхан-ханум? Она спрашивала о вас.

Губы Шатырбека тронула скабрезная улыбка.

— Передай ей наш привет. Скажи: почтим ее на обратном пути.

— А скоро обратно? — спросил Гулам.

Шатырбек кольнул его взглядом, молча натянул поводья и стегнул коня. Гнедой взвился на дыбы и с места перешел в галоп. Комья сухой земли полетели в лицо старому повару. Пока он смахивал пыль, все шестнадцать всадников скрылись.

— Кто это, отец? — услышал он голос дочери.

Оглянувшись, Гулам увидел испуганные глаза, дрожащие губы. Ему стало жаль дочь. Он нежно обнял ее за плечи и повел к дому.

— Его зовут Шатырбек,— сказал он.— На всякий случай запомни это имя, Хамидэ. Если услышишь его, знай — кому-то грозит беда. Не приведи аллах, чтобы он встал на нашем пути, дочка.

— Он обидел тебя, отец?

— Ну что ты, зачем ему нужен какой-то повар? Шатырбек имеет дело с большими людьми. Не волнуйся. Просто он очень спешит.

— Куда? — Хамидэ заглянула в слезящиеся глаза отца.

Гулам закашлялся, пыль, поднятая конями сарбазов, попала ему в горло. Вытер ладонью усы и бороду, сказал задумчиво:

— Ты же знаешь, что отсюда идут только две дороги: по одной он приехал, другая ведет к туркменам.

— А что ему нужно у туркмен?

Старик погладил дочь по черным блестящим волосам.

— Не знаю, что именно, но с добром он еще никогда никуда не ездил. Боюсь, не причинил бы он вреда комунибудь из моих друзей.

У Хамидэ удивленно взлетели брови.

— Разве у тебя есть друзья среди туркмен?

Гулам помолчал, потом, решившись, сказал:

— Сходи позови Джавата. Я хочу поговорить с вами.

В своей комнате Гулам тяжело опустился на кошму, устало прикрыл глаза, ожидая, пока придут дети.

Нужно было бы давно рассказать им все о себе. Впереди у них длинная жизнь, всякое доведется испытать,

а всегда ли они смогут отличить истинного друга в толпе обманщиков, вымогателей, подлецов, которыми кишит земля?

Джават и Хамидэ молча сели рядом, выжидательно глядя на отца.

— Я уже стар, а вам еще жить да жить,— сказал Гулам, любуясь детьми.— И когда призовет меня аллах, я хотел бы твердо знать, что вы проживете свою жизнь честно.

Джават сделал протестующий жест. Отец понял его и улыбнулся.

— Нет, я еще, слава аллаху, чувствую себя хорошо, это я так, к слову. Просто сегодня мне вдруг захотелось вспомнить свою юность, и я подумал: наверное, и детям будет интересно узнать, как я жил, что испытал...

— Ну конечно, отец! — сверкнула глазами Хамидэ.— Расскажи.

А Джават только поерзал, усаживаясь поудобнее.

— Когда мне было столько лет, сколько тебе, сынок, я жил в Истихане. Вы же знаете, что с детства я рос сиротой и мне, прямо скажу, приходилось туго. Я жил в старом, заброшенном сарае и, чтобы не умереть с голоду, выполнял любую работу. Однажды меня взяли помощником каменщика на строительство дома. Этот каменщик был уже не молод, и, хотя его мастерству мог позавидовать любой строитель, жил он бедно, едва ли лучше, чем я. И была у него единственная дочь. Сказать, что она была красавицей, значит ничего не сказать. Ее отец привязался ко мне, я часто бывал у них дома и подружился с Фирюзе. Мы полюбили друг друга.

— Ты рассказываешь о нашей маме, отец?— спросила Хамидэ.

— Ну конечно, о ком же еще? — Гулам улыбнулся, заметив, как потеплел взгляд дочери.— И она и я были уверены, что старый каменщик даст свое согласие и мы вместе будем бороться с превратностями судьбы. Ведь, в конце концов, и бедность не так страшна, если рядом любимый человек. Любовь дает человеку силы, а сильный может горы своротить.— Гулам вздохнул.— Так мы думали, но судьба готовила нам иное. Уж слишком красивой была моя Фирюзе. А это для бедной девушки не достоинство, а несчастье. Приглянулась она одному визирю, который в жестокости и распутстве не уступал самому шаху. Целая свора старух состояла у него на службе. Они бродили по селениям, и, если отыскивали красавицу, визирь

щедро вознаграждал их. И уж этой девушке не миновать гарема. Не удавалось купить ее за деньги — визирь посылал своих молодчиков, и они силой приводили к нему избранницу. А потом, когда девушка надоедала визирю, ее попросту выбрасывали на улицу. Он и сейчас жив, этот негодяй, только он теперь не простой, а главный визирь у шаха... Да, так вот однажды весенним вечером пришел я к старому мастеру и застал Фирюзе в слезах. Не понимая, что произошло, я бросился к ней, поднял ее, заглянул в глаза... О, мне никогда не забыть этих глаз, дети мои! Столько было в них отчаяния, мольбы, что я потерял дар речи. Наконец я спросил: «Что случилось, любимая?» — «Все пропало, Гулам,— сквозь слезы ответила она.— Только что приходила какая-то старуха, сначала разглядывала меня, словно лошадь на базаре, а потом сказала...» Рыдания мешали Фирюзе говорить. Кое-как мне удалось узнать, что эта старуха пришла сказать, что визирь удостоил девушку вниманием и изъявил желание взять ее в жены. Мою Фирюзе — в жены визирю! Я до сих пор не понимаю, почему я не умер тогда, как мое сердце смогло вынести такую весть... Наверное, вид у меня был совсем убитый, и это придало Фирюзе сил. Она крепко взяла меня за руки и сказала: «У нас один выход, Гулам-джан. Надо бежать. Куда угодно, с тобой я не боюсь ничего. Бежим!» Я все еще не мог прийти в себя и, как эхо, повторял за ней: «Бежим, бежим...» Но это легко сказать — бежим. А куда бежать? Визирь всесилен, от него не скроешься. Да и далеко ли уйдешь пешком? Коня-то у нас не было... Но Фирюзе уже взяла себя в руки и быстро нашла выход: «Пойди к соседям, скажи, что надо срочно съездить по важному делу, они дадут коня». Я пошел, хотя не был уверен в этом. Соседи жили зажиточно, добром делились неохотно. Но, видно, сам аллах помогал нам в этот день. Сосед вывел коня и предупредил: «Смотрите не загоните». Если б он знал, для чего нам нужен его гнедой!.. Старый мастер работал далеко от дома и не пришел ночевать. Мы не могли ждать его. Да и чем бы он помог нам?.. Утро застало нас далеко от родного города. Вскоре встретилось на нашем пути селение. Не раздумывая, мы обратились к первому встречному. И снова удача сопутствовала нам: это был молла Давлетмамед, человек душевный и чуткий. Он приютил нас у себя.

— А как же визирь? — спросила Хамидэ.

— Визирь?.. Страшный гнев охватил его. Он приказал хоть под землей найти беглецов и доставить к нему. Попа-

дись мы тогда в его руки, несдобровать бы нам... Но туркменские друзья не выдали нас. Когда через неделю гонцы визиря напали на наш след и приехали на Атрек, молла Давлетмамед сказал им: «Мы не знаем никаких беглецов. У нас есть гости, а гость для туркмена — самый дорогой человек. Уезжайте, если не хотите поссориться с нами». Они и уехали. А молла Давлетмамед, да продлит аллах дни его, поговорил с соседями, и они сообща устроили той. Так мы с Фирюзе стали мужем и женой. И ты, Джават, и ты, Хамидэ родились на туркменской земле.

— И мама там умерла? — тихо спросила Хамидэ.

Лицо Гулама помрачнело.

— Да, там,— глухо сказал он.

С улицы донесся конский топот, и девушка, вздрогнув, испуганно посмотрела в окно. Каждый подумал о тех шестнадцати всадниках, которые скакали сейчас на взмыленных конях неизвестно куда.

3

По аулу неторопливо шел старый чабан. Время от времени он кричал протяжно:

— Эй, выгоняйте скот!

И люди открывали загоны.

Занималось утро. Еще нежаркое солнце поднималось за цветущими садами, на какое-то мгновение отразилось в спокойной воде Атрека, и река засверкала золотом и серебром. Девушки с медными кувшинами, пришедшие на берег за водой, застыли, изумленные утренней красотой родной земли, а потом засмеялись звонко и радостно, защебетали, словно птицы.

На глиняном откосе парень остановил коня и залюбовался девушками. Конь под ним нетерпеливо бил копытом, звенел удилами, косил большим черным глазом на хозяина: хотел пить, а его не пускали к близкой реке.

Девушки заметили парня, стыдливо прикрыли платками лица, отвернулись. Тогда он ослабил поводья и ударил в мягкие бока лошади голыми пятками. Потом долго, пока конь, войдя в воду, пил, парень все оглядывался на девушек и улыбался.

— Эй, Клычли! — крикнул ему проезжавший мимо сверстник.— Смотри не ослепни!

Клычли не обиделся. Пусть себе смеется. Ведь самому ему хорошо и весело в это утро.

Но вдруг улыбка сошла с его лица.

Вверх по тропинке поднималась девушка с полным кувшином. И была она такой печальной, что у Клычли сжалось сердце. Значит, предчувствие не обмануло его вчера. О, почему он не всемогущий волшебник? Он вырвал бы Менгли из чужих жадных рук и вернул ее тому, кому она должна принадлежать по праву... Но вот она уже скрылась за ближней кибиткой, а он по-прежнему беспомощно смотрит ей вслед. Да и что может сделать он, безусый мальчишка, если даже сам молла Давлетмамед бессилен что-либо изменить...

А Махтумкули?

Клычли называет его братом, любит его, страдает за него, как родной брат. Они не братья по крови. И Клычли знает об этом. Но какое зто имеет значение, если нет для него на свете человека дороже, чем Махтумкули.

Отец Клычли погиб лет десять назад, когда шахские нукеры огнем и мечом обрушились на аулы приатрекской долины. Мать его угнали, и с тех пор он ничего не слышал о ней. Восьмилетнего мальчугапа приютил молла Давлетмамед, давний друг его отца.

Так Клычли вошел в семью старого поэта. Он был сыт, когда были сыты все, голодал, когда всем приходилось туго. Молла Давлетмамед обучил его грамоте. Почерк у мальчика оказался таким красивым, что сын Давлетмамеда Махтумкули стал давать ему переписывать свои стихи. О, какие это стихи! Клычли охватывал восторг, когда оп читал только что созданные позтом строки. Конечно, молла Давлетмамед тоже написал много хороших стихов, но Махтумкули превзошел отца. Может быть, зто только так кажется юноше. Потому что он еще слишком молод и Махтумкули молод, а стихи старика полны спокойной мудрости, и она не находит такого горячего отклика в юном сердце, как страстные, полные внутреннего огня слова Фраги...

Ко всем братьям питал Клычли нежные чувства, но Махтумкули был самым близким. Все в нем нравилось юноше: и сердечность, и меняющееся выражение глаз — то добрых, то гневных, то мечтательных, то грустных — и даже его одежда, хотя Махтумкули одевался так же, как и все бедняки в ауле.

Однажды в порыве чувств Клычли сказал ему:

— Я хочу быть таким, как ты, брат. Я буду таким!

Махтумкули улыбнулся, и в глазах его затеплилась нежность. Он привлек к себе юношу и сказал мягко:

— Старайся всегда быть самим собой, мой друг.

Клычли долго думал потом над этими словами и решил, что быть самим собой для него — это любить Махтумкули, во всем помогать ему, учиться у поэта.

В семье моллы Давлетмамеда дружили с книгой. Пристрастился к чтению и Клычли. Прочитал он книги, написанные самим Давлетмамедом,— его заветы «Вагзы-Азат», известные всему Ирану и Турану, стихи, переводы с арабского и персидского языков. Да, Клычли гордился своим вторым отцом. Но Махтумкули... Какое это счастье, что он стал его братом!

Еще до поездки в Хиву многие стихи Махтумкули были известны туркменам в долинах Атрека и Гургена, на побережье Бахры-Хазара. Но когда Фраги, окончив медресе, вернулся из Хивы и положил перед отцом написанные за годы учебы стихи, старый поэт прочитал их, обнял сына и сказал с дрожью в голосе:

— Я счастлив, сынок. Теперь мне можно и умереть спокойно. То, чего не смог сделать я, сделаешь ты. Мне нечему больше учить тебя, и я скажу лишь одно: верно служи своему народу, сынок, всегда будь с ним — и в радости и в беде.

Молла Давлетмамед не ошибся. Стихи Махтумкули словно бы обрели крылья. Их передавали из рук в руки, из уст в уста, их пели бахши, а влюбленные шептали их в ночной тиши.

Клычли готов был не спать ночами, переписывая эти стихи. И сколько бы раз он ни писал одну и ту же строчку, она продолжала волновать его, вызывая рой новых мыслей и чувств. «Хвала аллаху,— не уставал повторять юноша,— за то, что он свел меня с таким человеком».

В отличие от других поэтов, Махтумкули не воспевал шахов и беков, не описывал с восторгом их дворцы, не прославлял святых пери,— его стихи были близки и понятны, каждый простой дайханин находил в них то, что волновало его самого.

И что особенно было дорого Клычли в Махтумкули — это то, что, став известным поэтом, он остался простым человеком, не забросил свое ремесло, доставшееся ему в наследство от деда и прадеда. В искусных руках Махтумкули бесформенный металл превращался в дорогое украшение, и многие девушки Атрека носили на своей груди гуляка, сделанные в кузнице поэта. Но не было среди них той, кого

Махтумкули мог бы назвать своей невестой. По крайней мере, так думал старый поэт. Но на этот раз он ошибся. Умея читать мысли и чувства чужих людей, молла Давлетмамед не разгадал сердечную тайну сына.

И когда случайно попалось в руки стихотворение сына, раскрывшее наконец ему глаза, Давлетмамед глубоко вздохнул: «Неужели я так постарел, что не смог раньше понять душу сына?»

Он сидел в кибитке Махтумкули один, и листок, исписанный размашистой вязью, дрожал в его руке.

— «Нежная Менгли»,— прошептал старик и покачал головой.— Так вот, значит, кто завладел твоим сердцем, сынок...

Он знал Менгли с самого детства. Девочка росла смышленой, трудолюбивой. Она делала любую работу, которая была ей по силам: чесала шерсть, пряла пряжу, а к десяти годам научилась ткать ковры.

И в мектебе она поражала Давлетмамеда своими способностями.

— Тебе надо было родиться мальчиком,— ласково говорил ей молла,— и тогда ты стала бы таким же знаменитым ученым, как Ибн-Сина. Я даже не успеваю задавать тебе уроков.

Менгли краснела и смущенно опускала глаза. Конечно, она очень бы хотела учиться в медресе, но ведь она девочка и ее удел не наука, а дом, хозяйство. Так заведено.

И все ж в мектебе она училась очень старательно, прочитала не только молитвенник, но много других книг, в их числе стихотворные сборники.

Как-то Давлетмамед услышал ляле и сказал Махтумкули:

— Послушай, это что-то новое. Клянусь, я никогда не слышал этих слов. Не знаешь, кто сочинил их?

Махтумкули пожал плечами: откуда ему знать! Он прислушался и узнал голос Менгли. Песня действительно была хороша — в ней звучали и нежность, и тоска по любимому, и желание заглянуть в свой завтрашний день. А у него непонятно отчего тревожно сжалось сердце.

А молла Давлетмамед подумал тогда: а не сама ли Менгли сочинила это ляле?..

— «Нежная Менгли»,— повторил старик и осторожно положил листок на место.— Ну что ж, это совсем не плохо... совсем не плохо...

Он не стал откладывать разговора с Махтумкули.

— Ты ничего не скрываешь от меня, сынок? — спросил он, заглядывая сыну в глаза.

Махтумкули понял и вспыхнул. Затрепетали его густые ресницы. Он опустил голову и сказал, стараясь быть спокойным:

— Просто я считал, что еще не пришло время, отец. И потом...

Давлетмамед ждал, и Махтумкули вынужден был докончить фразу:

— Мне кажется, что о любви можно говорить только стихами. Я написал их. Сейчас принесу.

Отец обнял его, привлек к себе, чувствуя, как сильны его плечи и руки, и радуясь за сына.

— Не надо, сынок, в другой раз, скажи только: это Менгли?

— Да,— прошептал Махтумкули.

Менгли... Сначала она была босоногой девчонкой с тонкими косичками, и он не обращал на нее никакого внимания, не выделял из десятка других соседских детей. Но несколько лет назад, когда он с другом Човдуром приехал на каникулы из Хивы, их пригласил в гости брат Менгли Бекмурад. Увидев ее, Махтумкули удивленно воскликнул:

— Посмотрите, что делает время! Менгли расцвела, пока мы изучали науки, превратилась в настоящую невесту.— Увидев в ее руке книгу, спросил насмешливо: — Ты что, еще ходишь в мектеб?

Менгли не стеснялась Махтумкули и Човдура, потому что они были друзьями и ровесниками ее брата, и ответила, может быть, более дерзко, чем следовало:

— Мужчины считают, что только им подвластны науки. И, наверное, поэтому пишут вот такие книги, которые не хочется читать.

Махтумкули удивленно и, пожалуй, впервые внимательно посмотрел на нее. Ого, Менгли и впрямь стала взрослой!

Он взял книгу, полистал ее. Спросил:

— Чем же не понравилась?

И потому, что вопрос был задан серьезно и Махтумкули смотрел на нее как-то по-особому, Менгли на секунду смутилась.

— Я и сама не знаю,— сказала она, опустив взгляд, и Махтумкули показалось, что солнце зашло за тучу.

«У нее прекрасные, как весеннее небо, глаза,— подумал он.— В них можно смотреть бесконечно».

— Вот видишь,— вмешался в разговор Бекмурад,— выходит, ты неправа. Мужчина сумел бы объяснить, почему это нравится, а это — нет.

Слова брата словно подстегнули ее. Снова стала она прежней Менгли.

— Почему же? — насмешливо ответила она.— Просто я не хотела говорить, боясь, что вы все равно не поймете. Но если хотите, слушайте. В этой книге нет ничего, кроме загробного мира, как будто для людей самое главное — конец света. Нам надо еще разобраться в том, что происходит вокруг нас, а уже потом раздумывать об аде и рае.

— Аллах создал и тот и этот мир,— сказал Човдур,— и человек вправе...

— Подожди,— остановила его Менгли.— Если так, ответь мне: почему одни всю жизнь гнут спину, а другие только и знают, что набивают брюхо? Почему мы с мамой ткем ковры, а нежатся на них другие? Почему у меня и моих подруг только по одному платью, а дочери бека меняют их чуть ли не каждый день? Что я, хуже их, глупее или не умею работать? Ну, скажи!

Човдур и Махтумкули молчали, застигнутые врасплох такими вопросами. Бекмурад хотел было остановить Менгли, но она отмахнулась от него и продолжала:

— Вот вы ученые люди, скажите, почему так устроен мир? Вчера люди Ханали взяли у Гулялек последнего жеребенка, а отца Акджамал нукеры забрали за то, что он вовремя не заплатил подати. А если ему нечем платить? — Менгли вдруг устыдилась своей горячности и уже тише добавила: — Вот о чем я хочу читать в книгах.

«А ведь она права,— думал Махтумкули, возвращаясь поздно вечером домой.— Ученые, поэты должны помочь людям лучше устроить свою жизнь».

Он вспоминал глубокие глаза девушки и улыбался в темноте.

Так родилась его любовь к Менгли.

Два года учебы в медресе не погасили этой любви. И когда поэт вернулся в родной аул и снова увидел Менгли, его ужаснула мысль о том, что он мог так долго жить вдали от любимой.

Они случайно встретились на берегу Атрека. Менгли вспыхнула и вся потянулась к нему. Но тут же опомнилась и смущенно потупилась.

— Ты вернулся? — сказала она еле слышно.

Махтумкули шагнул к ней и протянул свернутые в трубку листки:

— На, прочитай. Это я написал для тебя, Менгли.

Она спрятала листки под платок и, не поднимая головы, быстро пошла к аулу.

И потом было много стихов о любви, переписанных начисто старательным Клычли. Они делали вышитую букчу — матерчатую сумку Менгли — все тяжелее и тяжелее. Каждый раз, засыпая, девушка нащупывала в темноте узор букчи, нежно гладила его, и содержимое отвечало ей слабым шуршанием. Ей незачем было доставать листки — каждое слово Махтумкули билось в ее сердце. Они были молоды и не умели беречь свое счастье.

Ранним утром, принарядившись, Давлетмамед пошел к родителям Менгли. Они сразу поняли, что неспроста молла явился в такую рань. А он вел беседу не спеша, издалека подходя к самому главному. Он говорил о добром соседстве, о давней дружбе двух семейств, напомнил, что Бекмурада и Махтумкули водой не разольешь. Пора было бы и сказать то, ради чего он пришел, да все не решался Давлетмамед, все медлил.

Он не сомневался в ответе, и все-таки у него отлегло от сердца, когда Аннакурбан на его предложение породниться сказал:

— Что же может быть лучше, Давлетмамед?

Но рано было радоваться. За этими словами последовали другие:

— Только... Видишь, какое дело...

Давлетмамед нахмурился.

— Я слушаю тебя, сосед, говори.

— Ханали прислал сватов.

Ханали... Вот оно что! Если есть чем поживиться, богатые всегда тут как тут.

— Он что же, себе в жены хочет взять твою Менгли? — Горечь и обида прозвучали в голосе Давлетмамеда.

Хозяин опустил голову,— ранний гость задел больное место.

— Хочет женить своего сына, Мамед-хана,— тихо сказал он.

У кого много золота, тот все может. Совсем недавно Мамед-хан привел в свой дом молодую жену. И вот опять... Конечно, такая хозяйка, такая мастерица, как Менгли, будет ценным приобретением.

— Ну, и как ты решил, сосед? — Давлетмамед спросил почти спокойно.

— Ты не думай обо мне плохо, Давлетмамед,— вздохнул хозяин.— Сам знаешь, как иметь дело с ханами. Но я

им ничего определенного не обещал. Подождем, посмотрим, что будет дальше. Может быть, аллах смилуется над нами и все обойдется по-хорошему.

Давлетмамед тяжело поднялся.

— Не ожидал я,— сказал он, глядя изучающе, словно видел впервые соседа.— Бедняк хочет породниться с ханом. Только я не помню случая, чтобы после этого человек до конца дней своих ел мед с мягким чуреком. Смотри, и Менгли работницей сделают, и тебя, того и гляди, к рукам приберут. Прощай.

Аннакурбан остановил его:

— Не обижай меня, Давлетмамед. Я же не отказываю тебе. Еще раз говорю: рад отдать Менгли твоему Махтумкули, приходите, столкуемся.

Старые глаза Давлетмамеда радостно сверкнули.

— Вот это определенный ответ,— сказал он, пожимая руки Аннакурбана.— Спасибо. Пойду обрадую сына.

Он нашел Махтумкули в кузнице.

— Посмотри, отец, по-моему, получилось неплохо.— Сын протянул ему только что законченную гуляка.

Во взгляде Махтумкули Давлетмамед прочитал немой вопрос, понял, о чем он, но тоже сделал вид, что думает лишь о гуляка.

— Ну-ка, ну-ка! — сказал он, усаживаясь на кошме и принимая украшение из рук сына.

Старик сам был искусным мастером, но работа Махтумкули отличалась каким-то особым изяществом, тем неуловимым своеобразием, которое всегда выдает настоящего художника. Давлетмамед не мог скрыть восхищения.

— Э-э, ты говоришь «неплохо»! — воскликнул он.— Да это же замечательно! Я еще не встречал такого узора. И размер выбран удачно. Этой гуляка может гордиться любая девушка.— Он вдруг внимательно посмотрел на сына.— А кому это предназначено? Кто-нибудь заказал?

Махтумкули смущенно опустил глаза.

— Нет, отец. Просто захотелось сделать от души, без обычной спешки... Тебе в самом деле нравится? — торопливо спросил он, боясь новых расспросов.

Отец понял его и усмехнулся в усы.

— Да, конечно,— сказал он, возвращая украшение.— Зачем бы я стал хвалить?

Наступило молчание. Давлетмамед вдруг почувствовал, что теперь, после разговора о гуляка, почему-то неловко переходить к самому главному. «Надо было сразу ска-

зать»,— подумал он, но поймал нетерпеливый взгляд сына и перестал сомневаться.

— Я только что был у Аннакурбана,— сказал он.

Махтумкули ждал этих слов, но все-таки вздрогнул и как-то весь подался к отцу. И только теперь он увидел его улыбку, сияющие глаза и все понял.

— Он согласен?

Отец не мог больше испытывать терпение сына.

— Согласен, согласен! Скоро мы устроим такой той, что о нем будут вспоминать долгие годы. Пусть все знают, что такое свадьба поэта! — Давлетмамед поднялся.— Пойду скажу нашим. Они тоже будут рады.

Все пело в душе Махтумкули. Менгли будет его! Менгли... Он мог бесконечно повторять это имя, каждый раз находя в нем особую прелесть.

«Менгли... Что райские розы рядом с тобой! Туби зачахнет от зависти, глядя на тебя, Менгли. Стоит взглянуть на тебя — и становлюсь Рустамом, Менгли, а если хоть час не увижу тебя — пропаду от тоски, и только ты одна будешь виною смерти невинного. Но если и мертвого приласкаешь ты — оживу и вновь почувствую себя в Шекеристане, в твоей отчизне, сердце мое, Менгли...

О Менгли! Скоро ты будешь навеки со своим возлюбленным, с рабом красоты твоей!..»

Он прикрыл глаза, стараясь представить себе недалекий теперь уже той. И сразу зазвенели дутары, заплакали туйдуки, призывно застучали бубны. И полилась песня — одна из тех, что сочинил он в честь любимой. А вот уже, нарастая, словно лавина в горах, приближается топот коней. Эгей, кто самый ловкий, самый быстрый сегодня? Выходи, кто не боится спорить с ветром! «Тиу! Тиу!» — поют стрелы. Они летят туда, где между рогами архара привязано яйцо. «Тиу!» Мимо. А ну-ка, дайте мне. «Тиу-клак!» Вот как надо стрелять! Песня все звучит над степью, над рекой — славит красавицу Менгли... Слушают гости, приехавшие со всего Атрека, с Гургена, с Сумбара. Гости...

Махтумкули вдруг открыл глаза. Было тихо, так тихо, что он услышал стук своего сердца. Оно стучало гулко и тревожно. В чем дело? Что прервало его мечты? Ах, да, гости... Они приедут из дальних селений, много гостей. И надо будет готовить угощение, резать баранов. Для этого надо иметь такое богатство, как у Ханали. А где оно, это богатство? Нет его. Так какой же это той без обильного угощения, без дорогих призов для лучших наездников, стрелков, пальванов?

О, эта бедность! Мы только бредим тучными отарами, резвыми скакунами. Бедняк не гость на пиру, его оттеснят к двери те, что побогаче. Ведь когда нищий сидит на коне, все видят под ним осла, а под богачом и осел кажется конем. Проклятая бедность! Богач, посмеиваясь, пройдет мимо твоей беды, но скорее плюнет в твою суму, чем протянет руку помощи.

Махтумкули сжал пальцами подбородок, густые, колючие волосы защекотали ладони. Мысли метались, ища выхода. Он знал, что пришло время взять бумагу и перо. Только это может облегчить душу. «Твой, оборванец, ум вражьи затрут умы. Пешкою сгинешь ты перед ферзем, бедняк». Надо скорей записать эти строки, потому что уже рождаются новые и рвутся на волю, на белый простор еще неисписанного листа...

Частые, торопливые шаги за дверью вернули его к действительности. Он поднял голову и увидел сияющую Зюбейде, сестру. Она дружила с Менгли и, узнав от отца новость, бросилась искать Махтумкули.

— Ты уже знаешь?

Столько искренней, неподдельной радости было в ее звонком голосе, что Махтумкули, улыбаясь, поднялся ей навстречу.

— Знаю, Зюбейде, знаю, сестренка. И ты рада?

Она взяла его за руку, на секунду прислонилась лбом к плечу.

— Гельнедже хочет сшить два халата в подарок. А я еще не решила — что...

Махтумкули протянул ей гуляка, которым недавно любовался отец:

— Может быть, тебе захочется подарить вот это?

Она взяла украшение, и черные глаза ее вспыхнули.

— Вот это да! — Голос девушки дрогнул, замер от восхищения.

Махтумкули положил ей руку на плечо.

— Бери, сестренка. Бери.

Не успела Зюбейде уйти, как приехали гонцы из далекого, с низовьев реки, аула — звать Махтумкули на той.

«Ни один той по всему Атреку не обходится без меня,— с горечью подумал поэт.— А смогу ли я свой той сделать достойным этого уважения?..»

С тех пор прошло два дня. И вот вчера Клычли случайно услышал, как бранился в кибитке Аннакурбана Шамухаммед-ишан.

— Ты не понимаешь, что делаешь! — визгливо выкрикивал он.— Ханали — самый знатный человек на всем Атреке, а ты осмеливаешься отказать ему! Подумай, кому ты хочешь отдать свою дочь,— какому-то нищему поэту! А у Мамед-хана она будет жить как шахиня! Подумай, Аннакурбан. И помни — Ханали не простит оскорбления!

Спустя полчаса Аннакурбан пришел к Давлетмамеду. Разговор у них был недолгий. Клычли видел, как Аннакурбан, сгорбившись, шел к своей кибитке, и недоброе предчувствие насторожило юношу. И вот теперь здесь, на берегу реки, глаза Менгли рассказали ему все. Пришла беда. Молла Давлетмамед не смог отвратить ее. А Махтумкули? Теперь вся надежда на него.

Клычли дернул поводья, повернул коня и, подгоняя его голыми пятками, поскакал к аулу.

Вскоре он уже ехал вдоль Атрека, любуясь весенней яркой зеленью прибрежных деревьев.

Клычли хорошо знал эти места. Здесь, над обрывом, любил гулять Махтумкули. Он часто уходил сюда один, долго сидел под чинарой, думая о чем-то, или мечтая, или складывая свои стихи. Однажды поздним вечером, когда полная луна залила все вокруг серебряным светом, Клычли увидел брата, стоящего над кручей. Его высокая, статная фигура четко выделялась на фоне бледного неба. Вдруг рядом с ним появилась другая, поменьше. И Клычли с мальчишеской внезапной обидой подумал, что если Махтумкули возьмет себе в жены Менгли, то у него совсем не останется времени для младшего брата. Но теперь эта обида была забыта. Менгли уйдет в дом Мамед-хана, яшмак закроет ей рот, и Махтумкули никогда не услышит от нее нежных слов...

Клычли стегнул коня, и тот сразу перешел на рысь. Подвешенная к поясу сабля больно ударила его по ноге, и Клычли передвинул ее поудобнее. В другое время он, конечно, не взял бы саблю и лук со стрелами, но сейчас в степи рыскали разбойники, могли напасть среди бела дня. И еще жила в нем тайная надежда, что Махтумкули придется сражаться с Мамед-ханом и его людьми. Вот тогда Клычли покажет, на что он способен...

Вдали показалось облако пыли, Клычли снова ударил коня. Сердце учащенно забилось. Если это разбойники, то живыми они его не возьмут...

Но это были не разбойники, хотя дело, ради которого они проскакали столько верст, мало чем отличалось от разбоя.

4

Сарбазы Шатырбека подгоняли усталых коней, предчувствуя близкий отдых. Вот уже видны кибитки аула. Еще немного — и всадники спрыгнут на твердую землю, расседлают коней и, кто знает, может быть, за много дней впервые поедят свежей баранины.

Шатырбек круто осадил гнедого.

— Стойте! — крикнул он и, когда сарбазы остановились, зловеще сказал: — Еще раз повторяю: если кто-нибудь из вас решится ослушаться и будет вмешиваться в мои дела, клянусь аллахом, тому не придется больше ходить по земле. Поняли вы, грязные скоты?

Сарбазы угрюмо молчали. Шатырбек обвел их колючим взглядом, повернул коня и поскакал к аулу. Сарбазы потянулись за ним.

— Эй, как тебя, стой! — крикнул Шатырбек, увидев всадника, видимо возвращавшегося с охоты. Позади седла был привязан крупный горный баран.

Всадник остановился, настороженно поджидая незнакомца.

— Скажи, где кибитка поэта Махтумкули или его отца моллы Давлетмамеда?

Всадник помедлил с ответом, внимательно разглядывая Шатырбека и сарбазов. Потом сказал:

— Поехали, я покажу.

У одной из кибиток он остановился, крикнул:

— Эй, Мамедсапа!

Из кибитки вышел человек, очень похожий на Махтумкули, только немного старше. Лицо его было испещрено глубокими морщинами, взгляд спокойный и уверенный.

— Вот люди спрашивают Махтумкули. Дома он?

Мамедсапа покачал головой:

— Нет, брат уехал. А что привело этих людей сюда, Човдур?

— Не знаю, спроси у них,— ответил Човдур, отвязывая барана.— Но раз у вас гости, вот возьми, приготовь обед.

Тяжелая туша упала на землю.

Мамедсапа поглядел вслед Човдуру.

Хороший он парень, недаром дружит с Махтумкули. Правда, они совсем разные. Махтумкули тянется к наукам, перечитал уйму книг, а Човдур больше любит джигитовку,

стрельбу из лука, шумные игры. И в поле он работает с большой охотой, удивляя всех выносливостью и силой. Кое-как окончив медресе, Човдур вернулся к труду дайханина и не помышлял больше о науках, сожалея о потерянном за годы учебы времени. Зато не было в ауле более удачливого охотника. И всегда он делился добычей с друзьями.

Уже отъехав, Човдур оглянулся и крикнул:

— Не забудь — сегодня едем в поле!

Мамедсапа согласно кивнул.

Он пригласил Шатырбека в кибитку для почетных гостей, а сарбазам предложил разместиться на кошмах под навесом, возле мастерской. Крикнув жене, чтобы она и Зюбейде подали гостям чай, принесли воды, разделали тушу барана и поставили казан на огонь, Мамедсапа пошел к отцу.

Давлетмамед сидел в своей кибитке с толстой книгой на коленях. Перелистывая ее, молла задерживал взгляд то на одной, то на другой странице, шептал что-то, шевеля тонкими губами.

— А, Мамедсапа! — рассеянно сказал он, увидев сына.— Проходи, садись.— И помолчав немного: — Заболел мой друг Овезберды, и я обещал найти для него лекарство. Вот, советуюсь с Ибн-Синой.

Он снова углубился в чтение.

Мамедсапа думал о нежданных гостях. Что привело их сюда? Добрую ли весть привезли? Похоже, что этот человек, назвавший себя Шатырбеком,— приближенный самого шаха. Но что ему нужно? Скорее бы освободился отец, уж он-то разберется...

А молла все шептал, шелестя потрепанными страницами. Но вот он, кажется, нашел то, что нужно.

— Ага, вот! — Давлетмамед даже поерзал от удовольствия.— Я же говорил, что нет врача мудрее великого Ибн-Сины! Вот посмотришь, сынок, Овезберды начнет пить это лекарство, и через два дня ты увидишь его совершенно здоровым. Погоди-ка, я перепишу.

Он стал быстро писать на листке, удовлетворенно хмыкая и кивая головой.

— Мамедсапа,— сказал он наконец,— седлай коня, поеду, обрадую старого друга.

— Коня оседлать не трудно, отец, только...

Давлетмамед удивленно вскинул седые брови:

— Ну, что же ты замолчал?

— Приехали гости, отец. Странные гости.

— Странные, говоришь? Ну-ну, рассказывай!

Мамедсапа рассказал о приезде Шатырбека.

Старик задумался.

— Нет, не помню такого среди близких людей шаха. Впрочем, там могли пригреть и нового... Ну, да все равно. Гости есть гости. Накормите их, дайте отдохнуть. А когда вернусь от Овезберды, вот тогда и потолкуем. Раз этот бек не захотел тебе сказать о цели своего приезда, значит, он слишком мнит о себе. Но ведь и мы люди гордые. Седлай коня, Мамедсапа. Друг в беде, а я буду болтать с каким-то беком! Седлай, седлай, я спешу.

Молла Давлетмамед вернулся только на исходе дня. Он был доволен собой. Овезберды, узнав, что нужное лекарство найдено, воспрянул духом, а уже одно это поможет ему побороть болезнь.

Совершая вечерний намаз, молла привычно, не испытывая никаких чувств, шептал с детства знакомые слова. А мысли его все чаще возвращались к незваным гостям. Ведут они себя скромно. Шатырбек терпеливо ждет, пока молла примет его. Значит ли это, что приезжие не замышляют ничего плохого? Давлетмамед слишком хорошо знал повадки людей шаха, чтобы им верить. Да и не за что шаху жаловать непокорного поэта, особенно после того, что произошло со сборщиком подати...

Шатырбек полулежал на подушках, когда ему сказали, что молла Давлетмамед просит его в свою кибитку.

Гость встрепенулся. Он уже терял терпение, постоянная, натренированная выдержка стала изменять ему, он боялся сорваться и в гневе наделать глупостей. Что, в конце концов, мнит о себе этот ничтожный молла? К нему приехал бек, посланец самого шаха, а он заставляет его ждать, вместо того чтобы броситься навстречу и осыпать почестями... Проклятые туркмены! Они и прежде не отличались покорностью, а теперь... Ну да ничего, придет время, Шатырбек отомстит за оскорбление. А пока надо хитрить, делать вид, что счастлив видеть мудрого человека, поэта, чья слава быстрее ветра летит по туркменской степи.

Шатырбек стряхнул пыль с дорогого халата, расчесал бороду. В дверях он столкнулся с сарбазом, которого приметил уже давно: темный шрам пересекал его левую щеку, делал лицо свирепым даже тогда, когда сарбаз прикидывался послушным. А Шатырбек даже в самых отчаянных переделках старался оберегать лицо, считая, что в его деле броские приметы ни к чему.

— Что ты здесь крутишься? — неприязненно спросил Шатырбек.

Сарбаз согнулся в поклоне.

— Прошу простить меня, бек. Я только хотел спросить, не нужно ли вам чего...

Шатырбек внимательно посмотрел на него.

— Нужно,— сказал он резко.— Во-первых, нужно, чтобы твоя отвратительная рожа реже попадалась на глаза, а во-вторых, возьми этот хурджун и неси за мной.

Сарбаз взвалил на плечо хурджун и покорно засеменил за беком. Тот шел не спеша, высоко подняв голову, но сарбаз приметил в его повадке что-то новое и не сразу сообразил, что бек, пожалуй, трусит. И не ошибся. Шатырбека в самом деле пугал предстоящий разговор с отцом Махтумкули. Поверит ли он в искренность шаха, даст ли согласие отпустить сына в далекий путь? А если нет? Если строптивый старик крикнет соседей и те разоружат сарбазов, а его, Шатырбека, посадят задом наперед на полудохлого ишака и пошлют туда, откуда пришел? Да еще бороду остригут... Тогда прощай обещанная визирем шкатулка с золотом.

Шатырбек приподнял полог кибитки Давлетмамеда и с несвойственной ему робостью спросил:

— Можно к вам, молла-ага?

— Проходите,— услышал он из глубины кибитки, сделал знак сарбазу обождать за дверью и перешагнул порог.

Приглядевшись, он увидел хозяина, сидевшего на потертом паласе, и поспешил поздороваться. Старик равнодушно подал ему руку.

— Рад приветствовать вас, достопочтенный молла,— улыбаясь щербатым ртом, сказал Шатырбек.— Я много слышал о вашей учености. Ваши стихи и стихи вашего не менее прославленного сына...

Давлетмамед наконец разглядел гостя. Так вот это кто!

— Прошу принять скромный подарок,— продолжал между тем Шатырбек.

Он хлопнул в ладоши, и сарбаз, согнувшись, внес хурджун, осторожно опустил его на палас и тут же вышел. Чутье подсказало Шатырбеку, что сарбаз стоит за дверью. Он шагнул к выходу и, не поднимая полога, сказал зловещим шепотом:

— Иди и посмотри коней.

И сразу же снаружи раздались торопливые удаляющиеся шаги.

— Садитесь, бек,— усмехнулся Давлетмамед.— Я вижу, ваши сарбазы страдают излишним любопытством.

Бек скрипнул зубами, но тут же расплылся в улыбке.

— Что поделаешь,— ответил он,— они привыкли, чтобы их держали в руках, а у меня мягкий характер.

Крепкие, сучковатые пальцы хозяина неторопливо перебирали простенькие четки.

— А ведь я помню вас, бек.

Это было сказано тихо, почти бесстрастно, но Шатырбека словно громом поразило. Он молчал, вглядываясь в спокойное лицо Давлетмамеда.

— Нет, вы вряд ли обратили тогда на меня внимание. Это теперь я вам зачем-то понадобился, а тогда другие заботы вас занимали.

— Я вас не понимаю,— сглотнув слюну, прошептал бек.— Вы, верно, ошибаетесь.

Дело, так хорошо продуманное и организованное, начинало рушиться. Что мог знать о нем этот проклятый старик?

— Да нет, не ошибаюсь.— Пальцы моллы все так же неторопливо перебирали костяшки четок.— Я вез сына в Хиву, в медресе, а вы шли туда под видом дервиша. Я бы не обратил на оборванца внимания, но с вами был человек, которого я хорошо знал. Мне пришлось выручать одну девушку. Спасая свою честь, она бежала от него с любимым, бросив дом, старика отца. Они вынуждены были скрываться в чужих краях, потому что этот человек из прихоти захотел пополнить ею свой гарем. Но ваш спутник не успокоился. Когда казалось, что все невзгоды и волнения позади, его люди подкараулили ее и убили. А к тому времени она была матерью двух детей. Так что я не мог ошибиться, бек.

Давлетмамед умолк.

Молчание становилось тягостным, и Шатырбек не выдержал:

— Аллах свидетель, я не помню, с кем мне доводилось тогда идти, молла-ага. Это был случайный попутчик. А дервишем я стал... Мне очень нужно было в Хиву... по личному делу, поверьте.

Снова усмешка тронула тонкие губы Давлетмамеда.

— Это меня не касается,— сказал он.— Ну, а что привело вас сюда? Тоже личное дело?

Шатырбек оживился:

— О нет, молла-ага! Я удостоен чести передать вашему сыну, прославленному поэту Махтумкули, приглашение

самого шаха. Вот,— он торопливо достал из-под халата лист, завернутый в кусок голубого шелка, и протянул его Давлетмамеду.— А эти подарки шах поручил мне передать вам в знак особого расположения.

Из хурджуна легко выпали на палас два расшитых золотом халата.

— Вам и вашему сыну,— торопливо пояснил гость.

Давлетмамед опустил голову, прикрыл глаза. И непонятно было, то ли он благодарит за подарки, то ли внезапно задремал... Только что прочитанное приглашение, снова свернувшись в трубку, лежало на коленях. Лишь сухие, темные пальцы, перебрасывающие по шнурку гладкие костяшки, свидетельствовали о том, что старик не дремлет.

«Дорогой поэт,— говорилось в письме шаха,— я с нетерпением жду твоего приезда. Кое в чем наши взгляды расходятся, но ты поживешь рядом со мной и поймешь, почему я поступаю так, а не иначе, и одобришь мои действия. Поверь, мною руководит не только тщеславие,— не скрою, приятно иметь среди приближенных столь известного человека,— я пекусь прежде всего о благоденствии народа и готов следовать твоим разумным советам, Махтумкули. Двери моего дворца, как и двери моей казны, открыты для тебя».

«Что за странную игру затеял шах? — думал Давлетмамед.— Хочет подкупом, обещаниями сладкой жизни привлечь на свою сторону Махтумкули? Или это хитрая ловушка? Стихи сына, которые могли попасть в руки шаха, никак не располагали его к поэту. И уж, конечно, правителю доложили о случае со сборщиками подати...»

5

В этом году гоклены должны были сдать в пользу шаха не только баранов, ячмень, пшеницу, шерсть, как было всегда, но еще и по одному коню с каждого хозяйства. Вот это и вызвало недовольство в народе. Сдать коня! А где взять его, если в иных хозяйствах и осла нет? Бедняк только во сне видит коня, а ему говорят: «Отдай шаху!»

А сборщики знать ничего не знают. Не желаешь привести коня — получай плетку! И тут уже не щадили никого — ни стариков, ни малых детей. Случалось, забивали до смерти.

Аксакалы, среди которых был и молла Давлетмамед, пошли к наместнику шаха среди гокленов — Ханали-хапу. Самый старый среди них, Селим-Махтум, опершись на суковатую палку, стал говорить:

— Ты знатный человек, Ханали, тебя уважает сам шах. Если ты заступишься, весь народ будет тебе благодарен.

— Что вы хотите? — нетерпеливо спросил Ханали.

— Мы просим, чтобы тем, у кого нет лошади, позволяли сдать взамен что-нибудь другое — пшеницу, или шерсть, или овец. А если так нельзя, то пусть дадут отсрочку до будущей весны — к тому времени люди, может быть, сумеют приобрести коня.

Ханали вскипел. Еле сдерживая гнев, заговорил, брызгая слюной:

— Да вы что? У вас седые бороды, а не понимаете, что шаху приходится защищать вас от всяких врагов. Войско же без коней что может сделать? Не дадите — сами же будете страдать: враги придут и отберут у вас последнее, а ваших детей угонят и продадут, как скот. Скажите всем: пусть не противятся сборщикам. А не то плохо будет.

Аксакалы ушли ни с чем.

— Э, да разве такой человек, как Ханали, может понять нашу беду? — гневно сказал молла Давлетмамед.— Видно, нам самим надо решать, как быть.

Сборщики свирепствовали в аулах. Плетки их стали бурыми от крови. Они врывались в аул, и начинался грабеж. Именем шаха сборщики отбирали все, что могли. Тяжело груженные мулы увозили последнее добро дайхан. Стон и плач стояли над Атреком.

Дошла очередь и до аула, где жил молла Давлетмамед.

Ранним утром векил во главе отряда сборщиков подъехал к крайней кибитке. Собаки встретили их злобным лаем. И сразу же где-то заголосила женщина.

На шум, накинув халат, вышел Давлетмамед. Рядом с ним молча встал Махтумкули. Они смотрели на мулов, выстроенных в ряд, на вооруженных саблями и луками сборщиков, на их главаря, который гарцевал на своем лоснящемся от сытости коне.

— Неужели мы будем молчать, отец? — голос Махтумкули дрогнул.

К ним, тяжело волоча больные ноги, подошел Селим-Махтум. Он услышал слова поэта и спросил:

— Так что ты ответишь сыну, Давлетмамед?

Молла от волнения покусывал губы и молчал.

— И ты молчишь,— скорбно вздохнул Селим-Махтум.— А я вот что скажу. Когда Ханали стал ханом над гокленами, мы вздохнули свободно: все-таки свой человек. А он оказался хуже степного волка. Тот довольствуется овцами, а этот совсем ненасытен. Верно говорят, что при виде золота и святой становится алчным. Ханали не защищает нас, а наживается на наших бедах. Слышали? Говорят, он собирается завести себе гарем, как шах.

Подошли еще несколько человек. Все были возбуждены. Зрелище открытого грабежа заставляло сжимать кулаки.

— Люди! — взволнованно сказал Човдур.— Сколько же можно терпеть? Сборщики грабят нас, потеряв всякую совесть.— Он повернулся к Давлетмамеду: — Мы пришли к вам, молла-ага. Пришли за советом. Скажите: что делать?

Все замолчали, ожидая ответа. Только Селим-Махтум словно подтолкнул Давлетмамеда:

— Ну, что ты скажешь теперь, друг?

Молла Давлетмамед выпрямился, внимательно вглядеся в лица обступивших его людей. Они ждали, они верили ему, еще никогда не дававшему им дурного совета. Никогда...

— Ты знаешь пословицу, Овезберды,— негромко сказал молла.— «Когда верблюд состарится, он следует за своим верблюжонком». Пусть Махтумкули скажет вам, что надо делать.

Одобрительный гул прошел над толпой.

Тонкое лицо поэта напряглось. Он всегда был среди людей, и они жадно ловили каждое его слово. И сейчас...

Отец отступил на шаг, и Махтумкули остался один в центре небольшого круга. Черные сверкающие глаза со всех сторон с надеждой смотрели на него. Он прочел в этих глазах решимость и понял, чего ждут от него односельчане.

— Друзья! — Голос его дрогнул.— Я только что закончил стихотворение. Послушайте, может быть, оно даст вам ответ.

Он стал читать, сначала негромко, потом, зажигаясь, во весь голос. Все, что наболело в сердце Махтумкули, выплеснулось в гневные, звонкие строки. Поэт обращался к шаху, называя его убийцей и грабителем.

Эти слова потонули в одобрительном гуле голосов.

— Эти стихи надо самому шаху послать! — крикнул кто-то.— Пусть почитает!

— Я пошлю,— твердо сказал Махтумкули и отыскал взглядом отца. Тот одобрительно кивнул.

Толпа поредела. Махтумкули увидел, что люди спешат за Човдуром — туда, где суетились встревоженные сборщики. Човдур шагал широко, подняв голову, и полы халата развевались на ветру, придавая ему вид вольной степной птицы. «Нет, мы не рабы»,— с волнением подумал поэт, внезапно с небывалой остротой почувствовав себя частицей своего народа, чей образ слился в его воображении с этим смелым и гордым парнем, его другом.

Махтумкули поспешил на помощь Човдуру.

Еще издали он увидел векила верхом на коне и двух сборщиков, державших за руки старика. Поэт знал его. Это был семидесятилетний Карры-ага. Сыновья его погибли во время набега разбойников, жена умерла, и теперь он жил совсем один в своей ветхой кибитке. На лице старика пролег багровый след — видимо, векил ударил его нагайкой.

— Оставьте старика,— сказал, подходя, Човдур.

Векил, еще не почувствовавший приближения грозы, презрительно глянул на него.

— Не суйся не в свое дело, щенок,— сквозь зубы процедил он.— Подожди, дойдет и до тебя очередь.

— Оставьте старика,— повторил Човдур, и рука его легла на рукоятку сабли.

Векил вскипел. Натянув поводья, он поднял коня на дыбы и хотел было смять наглеца, как вдруг нарастающий конский топот заставил его оглянуться. С обнаженными саблями скакали друзья Човдура, молодые джигиты, среди которых был и Клычли.

Векил стеганул жеребца и помчался в сторону гор. Сборщики, подгоняемые неистовым лаем собак, кинулись кто куда.

— Не дайте уйти векилу! — крикнул Човдур.

Он вскочил на первого попавшегося коня и поскакал вдогонку. Несколько джигитов, разворачиваясь в цепь, помчались вслед за ним. Под копытами клубилась пыль. Ветер подхватывал ее и нес над землей к Атреку.

Векил был слишком тяжел, чтобы уйти от погони. Он понял это быстро и, как затравленный волк, стал метаться по степи. Джигиты настигали его. Векил оглянулся и увидел совсем близко лошадиную морду, с которой падали клочья желтой пены, а над ней взметнувшуюся, напряг-

шуюся для страшного удара руку с саблей. Векил вобрал голову в плечи и, теряя сознание, вдруг услышал:

— Не убивай его, Човдур!

Сбоку скакал Махтумкули.

Конь под векилом споткнулся и, ломая себе хребет, грохнулся на сухую, прогретую весенним солнцем землю.

Векил чудом остался жив. Джигиты пригнали его в аул. Он, обезумев от страха, бормотал несвязное и озирался, ища поддержки, сочувствия, но не встречал их.

— Что будем делать с ним? — сверкая глазами, в которых медленно остывала недавняя смертельная жестокость, спросил Човдур.

Все повернулись к Махтумкули. Он легко спрыгнул с чужого, тут же забытого им коня, мельком глянул на ползающего по земле векила. На какое-то мгновение им овладела жалость. Но стоило ему обвести взглядом собравшихся, увидеть трясущегося Карры-ага, как на смену этому непрочному чувству пришло иное — решимость. И, видимо, что-то изменилось в лице поэта, потому что векил вдруг завыл и пополз к нему, хватая руками сапоги.

— Поэт,— забормотал он, захлебываясь,— я пришел сюда не по своей воле... приказ шаха... У меня дети... пожалейте... Жена умирает... Они останутся сиротами... Молю о доброте... ради аллаха... Буду молиться до конца дней...

Брезгливая складка легла у тонких губ поэта.

— Вы вспомнили аллаха только сейчас,— жестко сказал он,— почему же вы забыли о нем, когда шли грабить этих бедных людей?

Векил не вытирал слез, и они, смешавшись с пылью, оставили на его опухшем лице грязные следы.

— Шах... он приказал... Пожалейте...

— Народ ненавидит вас. И шаха.— Поэт обвел взглядом окружавших их людей, спросил: — Что будем делать с этим?

И сразу словно масла плеснули в огонь:

— Смерть!

— Привязать к коню!

— Отрезать уши собачьему сыну!

— Смерть убийце!

Махтумкули оттолкнул векила ногой.

— Слышишь? Ты не заслужил ничего другого.

Дикий вопль вырвался из глотки векила.

— Стой! — приказал Махтумкули.

Векил подполз к кибитке и, уткнувшись головой в войлок, затих.

Люди молча смотрели на него.

Махтумкули сказал:

— Мы не будем пачкать руки его кровью. Не в нем дело. Убьем одного — пришлют другого, да еще отомстят. Мы не раз испытывали на себе гнев шаха. Пусть векил убирается отсюда. Но только с одним условием — чтобы отвез шаху стихи, которые я написал. Согласны?

Вокруг одобрительно зашумели. А отец шепнул ему:

— Ты правильно рассудил, сынок.

Ободренный Махтумкули продолжал:

— Поручим нашим молодым джигитам проводить векила в дорогу. Клычли, возьмись-ка за это.

Клычли и несколько его сверстников с гиканьем кинулись поднимать векила. Они засунули ему за пазуху листок со стихами, усадили на старого ишака. Кто-то успел отрезать усы и бороду, а Клычли провел ладонью по днищу закопченного казана и на прощанье мазнул ею по лицу векила. Ишака ударили веревкой, и он затрусил по пыльной дороге из аула.

Посмеиваясь, люди расходились по своим кибиткам. Их ждали повседневные заботы. Те, кого успели обобрать сборщики подати, ловили разбредшихся мулов и разбирали свое добро.

У Давлетмамеда собрались аксакалы. Позвали и Махтумкули с Човдуром.

Селим-Махтум долго кашлял, схватившись за грудь, на шее у него от натуги взбухли вены. Наконец он заговорил хрипло:

— Векила отпустили — это хорошо. На наших руках нет крови. Но шах все равно не простит нам того, что произошло.

— Это так,— согласился Давлетмамед.

Старики закивали.

— Значит, надо быть наготове,— продолжал Селим-Махтум и повернулся в сторону Махтумкули и Човдура: — А это уже ваше дело, молодежь. Что скажете?

Човдур толкнул локтем поэта. Махтумкули сказал:

— Яшули, джигиты готовы защищать родной аул. Только...

— Ну-ну, говори! — подбодрил его Селим-Махтум.

— Силы у нас неравны. Если шах пришлет своих сарбазов, нам придется туго.

— Не надо бояться,— горячо возразил Човдур.— Пусть только сунутся! Моя сабля не подведет!

— Одна твоя? — усмехнулся Махтумкули.

— Почему одна? А другие джигиты? Да если надо будет, я за неделю соберу три тысячи всадников. Всех гокленов подниму!

— Какие вы все горячие! — покачал головой Селим-Махтум.— Слушай, Давлетмамед, разве мы в эти годы тоже такие были?

Молла улыбнулся.

— Были, друг, были. Молодая кровь, а не спокойный разум, руководила нами. С годами мы научились думать головой, а не сердцем.

— Да, годы! — вздохнул Селим-Махтум.— Ну, а ты что замолчал, Махтумкули?

Поэт не спешил с ответом. Его давно мучали мысли о будущей встрече с сарбазами шаха. Он был убежден, что встреча эта состоится, все дело только в сроках. И тогда...

— Одним нам не выстоять против войска шаха,— сказал он тихо.— Придется сниматься и уходить. А куда уйдешь? Вдали от родных мест лучше не будет.

— Так что ты предлагаешь? — спросил нетерпеливый Човдур.

— Если мы хотим жить на своей земле, не вставая на колени перед шахом, надо просить помощи у иомудов,— решился Махтумкули высказать заветное.

Старики заволновались.

— Э, что-то ты не по той тропе пошел,— сказал сердито Селим-Махтум.— Гоклен никогда не будет просить помощи у иомуда.

— А почему? — как можно мягче возразил Махтумкули.— Разве все мы не туркмены? Я больше скажу — надо послать гонцов к язырам, к алили, посоветоваться с их стариками. Только когда все туркмены объединятся, никакой враг не будет нам страшен. Надо нам жить одной дружной семьей.

— Надо искать помощи в Афганистане,— упрямо стоял на своем Селим-Махтум,— а не кланяться иомудам.

— Завести дружбу с афганцами тоже нужно,— согласился Махтумкули.— Но прежде всего необходимо добиться объединения туркменских племен. В этом наша сила.

Селим-Махтум насупился, засопел сердито.

Неприлично спорить со стариками, и Давлетмамед сказал:

— Ладно сынок, мы тут посоветуемся, а вы идите с Човдуром, отдыхайте.

Друзья вышли из кибитки.

Поселок жил своей обычной жизнью. Дымили тамдыры, в пыли играли оборванные ребятишки, женщины шли с кувшинами к Атреку, с окраины доносился стук молотка по наковальне.

— Знаешь, Човдур,— сказал вдруг Махтумкули,— я собираюсь съездить в Аджархан.

— К урусам? — изумился Човдур.

— Да, к ним. Мне кажется, что в будущем туркмены и русские станут большими друзьями.

— Отцу известно о твоем намерении?

Махтумкули помолчал, потом сказал негромко:

— Ты же знаешь, что я ничего не скрываю от него.

— Но если Ханали...— начал было Човдур, но Махтумкули положил ему руку на плечо.

— А вот это уже зависит от того, как ты умеешь молчать,— сказал он и посмотрел в глаза друга.

6

«Нет,— решил молла Давлетмамед,— шах не мог от души пригласить Махтумкули в гости. Тут что-то кроется. Надо быть осторожным».

— Разве вы не рады? — угодливо улыбаясь, спросил Шатырбек.— Вашему знаменитому сыну оказана такая честь. Я уверен, что он с радостью посетит дворец шаха, где его ждут с распростертыми объятиями. Вы, конечно, пошлете его?

— Мой сын уже достаточно взрослый человек и сам может решать, ехать ему в гости или нет,— не очень вежливо ответил молла.

— Но вы как отец...— заюлил Шатырбек.— Он будет советоваться с вами и...

— Я скажу ему: «Подумай, сынок, смеем ли мы, ничтожные, отнимать время у самого шаха?»

Кустистые брови Шатырбека удивленно поднялись.

— Но ведь шах его приглашает, молла. Птица Хумай садится на вашу кибитку, не спугните ее.

Давлетмамед улыбнулся.

— Никому еще не доводилось взглянуть на листья туби, бек. Все в руках аллаха.

— Верно, верно говорите, молла,— подхватил Шатырбек.— Воля аллаха в этом почетном приглашении.

«И чего он так старается? — с неприязнью подумал Давлетмамед.— Видно, ему пообещали немало золота. Только за что?»

— Ладно,— примирительно сказал он.— Приедет Махтумкули, поговорим и решим. А пока отдыхайте. Все ли у вас есть, что нужно? Не требуется ли чего?

Шатырбек понял, что пора уходить.

— Благодарю вас, молла, нам ничего не требуется.

— А если вам надо куда-то ехать,— словно бы между прочим сказал Давлетмамед,— то оставьте приглашение, я передам его сыну.

Шатырбек испугался.

— Нет, нет,— торопливо ответил он,— шах приказал мне вручить приглашение в руки самому Махтумкули. А воля шаха для меня священна. Я буду ждать, сколько бы ни потребовалось.

— Дело ваше,— согласился хозяин,— я не могу давать советы посланцу шаха. Ждите. Постель, чай и чурек мы всегда найдем для гостей.

— Благодарю вас, молла.— Шатырбек поклонился и направился к двери.

— Да, бек,— позвал его Давлетмамед,— возьмите свои подарки. Я их не заслужил.

Шатырбек растерялся.

— Но... ваш сын... его стихи...— забормотал он.

— Ну если Махтумкули примет — его дело. А я не могу. Не обижайтесь, бек.

Шатырбек впихнул халаты в хурджун, подхватил его и стремительно вышел, едва сдерживая гнев.

Какая-то тень мелькнула и скрылась за стогом сена, припасенного для лошадей. Не владея собой, Шатырбек выхватил кривую, сверкнувшую на солнце саблю и бросился к загону. Большой белый пес резко остановился и зарычал, оскалив клыки. Шатырбек отступил, вложил саблю в ножны. Он вдруг с облегчением подумал, что расправа с меченым сарбазом была бы совсем некстати. И без того этот презренный, возомнивший о себе старик относится к нему с подозрением. Ну, ничего, погодите, вы еще вспомните Шатырбека!..

Ночью он плохо спал: то забывался тяжелым сном, то лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к шорохам и думая о своей странной судьбе, так и не обеспечившей ему на старости лет спокойную жизнь. Может быть, те-

перь наконец все переменится? Скорей бы вернулся проклятый поэт. Тогда... Но что будет тогда? Бек похолодел от мысли, что Махтумкули наотрез откажется ехать во дворец. Ведь силой его не увезешь. Говорят, именно в этом ауле чуть не убили векила... А вернуться ни с чем — значит павлечь на себя немилость шаха, снова унижаться перед мейханщиками, выпрашивать у них парочку кебаба. Да и дадут ли теперь? Эти пройдохи всегда узнают новости первыми. Нет, он выполнит приказ шаха, даже если ему придется сражаться с самими дэвами. И хитрости еще хватит у Шатырбека: не таких обводил вокруг пальца.

На рассвете он вышел из кибитки, накинув на плечи халат. С Атрека потянуло прохладой. Шатырбек поежился, осмотрелся.

Аул просыпался. Кое-где уже поднимались к небу столбики синеватого дымка, мелькали красные кетени женщин, готовящих пищу.

Вдруг Шатырбек увидел приближающегося всадника, и сердце его учащенно забилось. Неужели он? Неужели аллах смилостивился и прекратил зто томительное ожидание?

Всадник подъехал уже так близко, что можно было хорошо разглядеть его. Шатырбек понял, что ошибся. Он знал, что Махтумкули высок, строен, красив. А этот был хилым, болезненным на вид. И если бы не шелковый халат, новенький тельпек да желтые кожаные сапоги, приехавшего можно было бы принять за дервиша измученного бродячей жизнью. Но когда всадник оказался в пяти шагах, бек увидел его лицо и подумал, что такое, пожалуй, и в толпе оборванцев-дервишей сразу же отличишь — столько было во взгляде надменности и презрения к окружающим.

«Уж не Мамед ли зто, сын Ханали? — подумал Шатырбек с радостным чувством.— И как я мог забыть о хане? Надо было сразу послать за ним».

Мамед соскочил с коня удивительно легко, и бек сразу же заметил зто, подумав, что парень еще сможет пригодиться, не такой уж он хилый.

— Простите,— сказал Мамед, улыбаясь,— вы, наверное, и есть уважаемый Шатырбек? Меня зовут Мамед, я сын Ханали-хана. Мы вчера весь день ждали, что вы удостоите пас своим посещением, а с утра отец послал меня пригласить...

— Привяжите коня и заходите,— сухо сказал Шатыр-

бек, знавший, что суровость и даже грубость куда сильнее действует на таких людей, чем вежливость и радушие.

Они сели на кошму. Шатырбек кинул Мамеду подушку, подсунул себе под локоть такую же, устраиваясь поудобнее.

— Насчет чая я распоряжусь позже,— сказал Шатырбек.— А пока поговорим. У меня очень важное дело.

— Я слушаю вас, уважаемый бек.— Мамед даже подался к нему, боясь пропустить хоть слово.

Около кибитки раздались чьи-то шаги. Шатырбек нахмурился, прислушиваясь. Шаги удалялись.

— У меня очень важное дело,— повторил бек и замолчал, испытующе глядя в лицо Мамеда.

— Не откажитесь съездить к нам,— поспешно сказал молодой хан, отводя глаза.— У нас никто не помешает разговору. И кроме того, отец так будет рад...

Шатырбек вспомнил сарбаза со шрамом на щеке и согласился.

До родника Чинарли, где стояли кибитки хана, и в самом деле было недалеко. Миновав небольшое ущелье, всадники выехали на равнину. Залитая утренним солнцем, она была так красива, что даже равнодушный к природе Шатырбек придержал коня. Перед ним тянулись бело-розовые цветущие сады, аккуратные ряды виноградников, а за ними расстилался ярко-зеленый ковер вешних, еще не выжженных солнцем трав. Поблескивала, отражая голубизну неба, вода в арыках. В стороне виднелись кибитки, загоны для скота.

— Это ваши владения? — спросил Шатырбек.

— Пока вы наш гость, они и ваши, мой бек,— поклонился Мамед.

«Есть же удачливые люди»,— с внезапной злобной завистью подумал Шатырбек и ударил каблуками коня. Мамед поскакал следом.

Взяв себя в руки, Шатырбек спросил:

— Много у вас работает дайхан?

Мамед замялся:

— Я не знаю... Этим занимается отец. Он говорит: «Пока я еще здоров, отдыхай, сынок. Придет время — хозяйство ляжет на твои плечи».

— И рабы есть у вас?

— Как у всех. Недавно отец купил одного русского. Есть у него такая вещь, ящик со струнами. Называется «гус-ли». Ох, и играет! Смех!

— Раб должен работать, а не играть,— наставительно сказал Шатырбек.

— Конечно,— сразу же согласился Мамед,— лошадь подковать, землю пахать, из дерева мастерить.

— Не убежит?

— Не-ет. Днем за ним смотрят, а к ночи на цепь сажают. Вот тогда он и играет на этой... «гус-ли».

— Раб есть раб,— презрительно сказал Шатырбек и сплюнул.

Помолчав, спросил:

— Разбойники наведываются сюда?

— В прошлом году угнали коней. Чуть не лишились целого табуна. Но отец послал вдогонку джигитов, пообещал хорошо наградить, если отобьют коней.

— Отбили?

— Конечно.

— И сколько же отец заплатил им?

Мамед засмеялся.

— А все они были должны нам, отец учел их труды.

Шатырбек тоже засмеялся, подумав, что не такой уж простак этот Мамед, каким кажется сначала.

Ханали с нетерпением ждал таинственного гостя. Оттолкнув слуг, с несвойственной прытью подскочил он к коню, взял его под уздцы.

— Добро пожаловать, бек! — Приторная лесть сама лилась из него.— Добро пожаловать, дорогой гость! Вы осчастливили нас. Этот день все мы будем вспоминать как... как самый счастливый день в нашей жизни. Наш дом всегда...

Шатырбек соскочил с коня, протянул хозяину свои еще крепкие руки и с горделивым чувством превосходства ощутил в своих ладонях пухлые, безвольные пальцы Ханали.

— Я рад навестить вас, хан,— важно сказал он.— Мне много приходилось слышать о вас, о вашем богатстве.

Хан засуетился еще больше, заплывшие жиром глаза его боязливо забегали.

— О, мой бек,— он повел гостя в дом,— люди часто из зависти очень преувеличивают. То, что у нас здесь, в глуши, считается богатством, в большом городе назовут бедностью. Каждая мера зерна, каждая гроздь винограда достается с таким трудом!

Усы Шатырбека дрогнули, но он погасил усмешку.

— У вас надежная крепость,— сказал он, оглядывая земляные валы и рвы вокруг строений.— Если шах соизволит сдержать свое слово и подарит мне крепость, я не желал бы иной, чем... такая.

Ханали понял, почему запнулся гость, и, чувствуя, как холодеет в груди, сказал с запинкой:

— Великий шах всегда добр к своим верным слугам. Он никогда не оттолкнет обидой того, кто...

Шатырбек нагнулся к хану, мягко, почти нежно, обнял его и сказал понимающе:

— Конечно, вы очень нужный шаху человек, вас не обойдет милость повелителя.

У Ханали отлегло от сердца.

Осматривая крепость, они очутились у домика, сложенного из серого камня. Ханали толкнул дверь, с поклоном пригласил гостя внутрь. Шатырбек был поражен. Иомудские ковры, шелковые подушки, сверкающая позолотой посуда в углу — все было необычайно чистым, свежим, словно люди заходили сюда только для того, чтобы поддерживать чистоту и порядок.

— Я держу эту комнату специально на тот случай, если великий шах когда-нибудь, будучи в наших краях, осчастливит нас своим посещением.

— Шах не сомневается в вашей верности.

Эти слова Шатырбек сказал таким уверенным, лениво-небрежным тоном, что Ханали уже не осмелился вести гостя дальше: доверенный человек шаха мог отдыхать в комнате, отведенной самому шаху.

— Что же мы стоим! — воскликнул он.— Проходите, бек, садитесь. Да отзовется каждый ваш шаг добром в этом доме!

Шатырбек скинул сапоги, прошел на середину комнаты и уселся, подмяв под бок шелковые подушки.

— Из-под сапог Шатырбека,— самодовольно сказал гость,— для одних летит пыль, для других — золото.

— Спасибо, бек,— на всякий случай сказал Ханали, поклонившись.

За обильным угощением разговор шел попроще. От выпитого вина бек подобрел, лениво жевал джейранину, поглядывая на разговорчивого хозяина, поддакивал. Сам говорил мало, думая, видимо, о своем.

И вдруг насторожился, услышав слова хана:

— ...из столицы. Он передал, что приедете вы, и приказал помочь вам.

Шатырбек странно посмотрел на него, на секунду перестав жевать.

— Вам известно, зачем я здесь? — тихо спросил он.

Ханали вскинул, словно обороняясь, свои пухлые ладони.

— Что вы, что вы! Мне только приказано оказать вам посильную помощь. Только это. Я не знаю...

— Я скажу, что делать,— прервал его гость.

Ханали потянулся к нему, весь превратившись в слух и внимание.

Но Шатырбек не спешил говорить, обдумывая, стоит ли посвящать хозяина в детали. Наконец решил, что стоит: ведь не пойдет же он против воли самого шаха, а гоклены и их поэт не водят дружбы с ханом, это он знал точно.

С жадным вниманием выслушав его, Ханали поскреб грязными ногтями редкую бороду, задумался. Потом сказал, осмелев от доверия гостя:

— Значит, решили ждать... Не советовал бы.

Шатырбек, державший в руке пиалу с вином, удивленно вскинул брови.

— Уверен — ждать бесполезно,— продолжал хан.— Уж если отец, эта старая лиса, не дал прямого согласия, то Махтумкули наверняка откажется.

— Ехать во дворец?!

— Э, бек, плохо вы знаете этих людей. Что для них милость шаха? Им бы только скакать по степи да стрелять из лука в джейранов. Работать не любят, приказам не подчиняются. Слышали, как они обошлись с векилом и сборщиками подати? Так чего же от них ждать?

Шатырбек сделал большой глоток, отставил недопитую пиалу шерапа, сказал уверенно:

— Нет, каким бы гордым ни был этот Махтумкули, он не устоит перед соблазном побывать гостем у самого шаха. И потом...

Он внезапно замолчал, вспомнив о своем давнем правиле не посвящать посторонних в тайны. Хан подождал, не закончит ли гость мысль, понял, что не дождется, и сказал:

— Махтумкули устоит.

— Ладно,— вдруг согласился Шатырбек,— пусть так. И что же думает обо всем этом хан?

Ханали наполнил пиалы, пододвинул к гостю поднос с пловом.

— Надо радоваться, что поэта не оказалось в ауле, иначе вы давно бы уже ехали назад, проклиная свою судьбу...

— Ты не знаешь Шатырбека,— грубо оборвал его гость.— Еще не было случая...

Но Ханали продолжал говорить, словно бы и не слыша его слов:

— ...потому что Махтумкули не захочет ехать в столицу и, пока его окружают друзья — гоклены, вам не на что рассчитывать. А шах, я уверен, с радостью увидел бы его скорее мертвым, чем живым.

«О, как он его ненавидит!» — подумал бек и сказал:

— Я рад, что вы так ревностно хотите выполнить волю шаха. Только мне приказано доставить его живым.

— Все равно. Если он вернется в аул, вам его не взять. А по какой дороге он будет возвращаться, это известно. Встретить его в безлюдном ущелье и...— Ханали сделал жест, словно затягивал аркан на шее.

Кровь ударила в голову беку. И как это он, опытный в таких делах человек, доверился бумажке, пусть даже подписанной шахом? Неужели с годами он стал таким, что предпочитает лежание на ковре всему остальному? Нет, хан прав, надо действовать, надо идти навстречу судьбе, а не ждать, пока она вынесет свой приговор.

Шатырбек с неприязнью посмотрел на хозяина. Пусть он не думает, что бек придает большое значение его словам.

— Что же, я подумаю,— лениво потянулся гость.— Вы немного преувеличиваете, хан. Просто, видимо, насолил вам поэт, вот вы и... Спасибо за угощенье, мне пора.

— Куда же вы, бек? — всполошился Ханали.

Он вдруг подумал, что действительно вел себя неосторожно и бек, посланец шаха, невесть что подумает о нем. А ведь достаточно одного его слова...

— Отдыхайте, дорогой гость! Все здесь ваше.

Бек поднялся, отряхнул крошки с колен.

— В народе говорят: «Не задерживай врага, чтобы он не узнал твоей тайны; не задерживай друга, ибо он может опоздать туда, куда стремится». Прощайте, хан, рад был познакомиться.

Глядя из-под руки вслед удаляющимся клубам пыли, Ханали с тревогой думал о том, чем же окончится для него эта встреча...

7

Заскучавшие от безделья сарбазы спали под навесом, укрывшись кто чем.

Шатырбек отыскал взглядом того, со шрамом, облегченно вздохнул: сарбаз спал на спине, открыв рот, и муха ползла по губе, вздрагивая крыльями от дыхания.

Вдруг сарбаз сдавленно вскрикнул и сел, открыв мутные глаза. Муха лениво полетела над спящими.

Бек усмехнулся.

— Что-то приснилось? Говорят, что трус и во сне видит только страшное.

Сарбаз вскочил, вытянулся перед ним. Шрам на щеке потемнел.

— Я только что видел вас,— хрипло сказал сарбаз, тупо взглянув на бека.

— И что? — усмешка еще не сошла с лица Шатырбека.— Неужели я такой страшный?

— Э, пустяки, сон...— Сарбаз потупился.

— Нет, уж продолжай, раз начал,— нахмурился бек.— Как я тебе приснился?

Сарбаз помолчал, наконец собрался с духом.

— Я видел не вас, извините,— я видел ваши ноги. Они раскачивались на такой вот высоте от земли. А я стоял рядом на коленях, со связанными за спиной руками.

Шатырбек вздрогнул: он боялся разгадывать сны.

— Выходит, меня повесили? — Он не сумел скрыть волнение.

— Да, но...— Сарбаз решил посмотреть ему в глаза.— Но ведь сон всегда надо понимать наоборот.

— Ты хочешь сказать, что это тебя повесят? — зло сказал бек и стегнул плеткой по голенищу пыльного сапога.— Наверное, так и будет. Но это потом. А сейчас поднимай людей, едем на охоту. А молле Давлетмамеду я сам скажу об этом.

Пока ехали степной, еле приметной дорогой, Шатырбек, испытывая непонятное беспокойство, все думал о сне. Кто знает, почему приходят во сне всякие видения? Не аллах ли открывает человеку завесу над его завтрашним днем? И как надо толковать сны?

Говорить с Меченым беку не хотелось, но он все-таки не выдержал, подозвал его к себе.

Вдвоем они ехали несколько впереди отряда, и сарбазы не могли слышать их разговора.

— Я хочу предупредить тебя,— сказал Шатырбек,— чтобы ты не болтал языком где попало. Расскажешь об этом дурацком сне — пойдут ненужные разговоры, кривотолки, а я не хочу этого.

— Понял вас, бек.— Сарбаз склонился к нечесаной гриве коня.

Помолчали.

— Я могу ехать к нашим? — спросил сарбаз.

— Подожди. Это, конечно, глупость, но... ты расскажи все по порядку, как там было, во сне...

В неверных глазах сарбаза на миг блеснуло злорадство.

— Вы, как всегда, правду сказали, бек: глупый сон. Он был какой-то обрывочный, неясный... То мы ворвались во дворец шаха, перебили стражу... Потом я увидел узкий коридор с окнами под самым потолком. Мы повернули вправо и очутились в маленькой комнате, украшенной коврами. Вы сказали нам, что здесь будто бы главный визирь устраивает тайные встречи. Там в углу стояла шкатулка. Вы бросились к ней с криком: «Это принадлежит только мне одному!» Ну, тут началась свалка. Я не знал, что в этой шкатулке, но тоже ввязался в драку. А потом... Потом я увидел раскачивающиеся ноги.

— Ладно, поезжай к сарбазам,— хмуро сказал Шатырбек.— И помни, что я сказал.

Сарбаз придержал коня, отстал.

Все то же неотступное чувство тревоги владело беком. И может же присниться такое! Ворваться во дворец шаха, перебить стражу, затеять драку возле этой шкатулки с золотом...

Вдруг Шатырбек похолодел от внезапной страшной догадки. А откуда сарбазу знать об этом узком коридоре, о тайной комнате, о шкатулке? Он запустил руку под халат, дрожащей рукой нащупал ключ на витом ремешке. Неужели и он бывал там, этот Меченый?

Шатырбек оглянулся. Сарбазы не спеша ехали поодаль, переговаривались, смеялись чему-то. Меченый ничем не выделялся среди них. Убить его? А если он в самом деле бывал в той комнате, если ему предлагали золото и сейчас он где-то под халатом тоже носит ключ от шкатулки?.. Коварен шах!

Шатырбек снова оглянулся. Меченый ехал молча чуть в стороне, видимо высматривая добычу. Вот он что-то крикнул, и сарбазы с гиканьем, образуя широкий полукруг, бросились к холмам. Там мелькнули коричневые

спины джейранов. Животные стремительно уходили от погони. Но охотники были опытны. Они гнали стадо к реке, отрезая ему дорогу в степь. Над обрывом джейраны заметались, бросились врассыпную. И тут их стали настигать стрелы. Большинству удалось прорваться в степь, но три джейрана остались лежать на земле, судорожно дергая тонкими ногами. И в свой смертный час они словно бы продолжали бежать от врага.

Сарбазы радовались удаче. Вместе со всеми суетился возле убитых джейранов Меченый.

«Нет, убивать его не следует,— решил Шатырбек.— Надо приглядеться к нему, разгадать его помыслы. Вреда он мне не принесет. По крайней мере сейчас. А там видно будет».

В небольшом ущелье, где из-под земли пробивался родник, Шатырбек разрешил сделать привал. Но коней приказал не расседлывать и выслал вперед дозорных.

Сарбазы разожгли костер, стали жарить джейранов в горячей золе.

Шатырбек прилег на молодой траве в тени раскидистой чинары. Прежде чем уснуть, напомнил:

— Кто бы ни появился, сразу же будите. И чтоб были наготове. Всем языки повырываю, если хоть когонибудь упустите.

Он захрапел. Сарбазы тихо переговаривались в стороне, ожидая, когда поспеет джейранина.

А время шло. Неумолимо приближалась минута встречи непрошеных гостей с Махтумкули.

И вот она наступила.

— Едут, бек! — Сарбаз осторожно тряс бека за плечо.

Шатырбек открыл глаза и сразу же вскочил.

— Где?

Вдали, на вершине зеленеющего холма, виднелись три всадника.

Скулы Шатырбека напряглись.

— По коням! — сказал он, чувствуя, как предательски дрогнул голос.— Слушайте все. Ваше дело — быть ко всему готовыми. Действовать только по моему приказу. Кто ослушается...— Шатырбек обвел сарбазов тяжелым взглядом,— тому придется плохо. Очень плохо. Вы знаете, чью волю я выполняю. Вперед!

Они поскакали к холмам.

Махтумкули спешил. Весть, которую привез Клычли, взволновала, встревожила его. Хорошо, если все это только догадки Клычли, а если и в самом деле Менгли отдают Мамед-хану? О, разве сможет он вынести такое! Без любимой померкнет солнце, почернеют травы, остановится сердце! Нет жизни без тебя, судьба моя, Менгли!

Менгли... Менгли... Менгли... И смеялось, и плакало, и ласкало, и разрывало душу имя это — Менгли.

Тонконогий, пятнистый конь нес поэта навстречу судьбе. Клычли и Дурды-бахши скакали, чуть поотстав. Вдруг Клычли стегнул коня и поравнялся с Махтумкули.

— Смотри!

Поэт увидел впереди группу всадников, натянул поводья.

— Что это? — спросил подъехавший Дурды.

— Похоже, сарбазы,— ответил Махтумкули.

— Да, это не бандиты,— согласился Дурды.— Видишь, впереди скачет явно какой-то хан или бай.

— Может, лучше повернем коней да удерем от них? — осторожно предложил Клычли.

Он хотел одного — чтобы Махтумкули был в безопасности, но боялся, как бы его не заподозрили в трусости.

— Нет, теперь уже поздно,— спокойно ответил Махтумкули.— Не уйти — догонят, если захотят. Поехали потихоньку навстречу. Будь что будет!..

Шатырбек, сразу догадавшись, кто из троих Махтумкули, соскочил с коня и поспешил ему навстречу.

— Я рад приветствовать вас, поэт! — воскликнул он, протягивая обе руки.— Мне доводилось столько слышать о прославленном поэте, что моей мечтой стало хоть раз взглянуть на вас, дорогой Махтумкули.

Заметив недоуменный взгляд поэта, он поспешил представиться. Махтумкули сидел в седле, и спешившемуся беку приходилось смотреть на него снизу вверх. В другом случае он бы не потерпел такого неуважения к себе, но тут приходилось мириться.

— Ваша громкая слава, поэт, пошла далеко от берегов Атрека. Люди восхищаются вашими стихами. Да что люди — сам шах захотел познакомиться с вами, видеть вас гостем во дворце. Вот, собственноручная подпись...

Шатырбек протянул приглашение.

Махтумкули взял его, не спеша прочитал, задумался.

Шатырбек настороженно разглядывал поэта... Тонкий овал лица, четкие брови, умные, проницательные глаза, аккуратно подстриженная бородка. И одет хорошо — новый халат, чистая, с вышивкой рубашка. А вот оружия нет, только нож у пояса. Это хорошо. Шатырбек перевел взгляд на спутников поэта: у Дурды-бахши тоже, кроме дутара, ничего нет — один лишь Клычли имел и саблю, и лук со стрелами. Это успокоило Шатырбека,— с одним вооруженным мальчишкой уж как-нибудь справятся сарбазы, если дело дойдет до драки. Но лучше бы не дошло.

Улыбка не сходила с лица Шатырбека.

— Шах поручил мне проводить вас во дворец,— сказал он, тяготясь затянувшимся молчанием.— Он выделил самых смелых, самых верных своих сарбазов, чтобы охранять вас в пути.

Махтумкули усмехнулся:

— Охранять? Разве я арестован?

Шатырбек приложил руки к груди, словно ужаснувшись этой кощунственной мысли.

— Что вы, поэт! Вы меня не так поняли. Речь идет о вашей безопасности. Вы же знаете, что в степи неспокойно.

— Ладно,— сказал Махтумкули.— Едем в аул, там обо всем договоримся.

Шатырбек отступил на шаг.

— Но, Махтумкули, мы и так потеряли много времени, ожидая вас.

— А что, шаху так не терпится обнять непокорного поэта?

Это была уже неприкрытая издевка.

Шатырбек молча, сдерживая гнев, сел на своего коня.

— Ты осмелился говорить так о шахе, который оказал тебе честь,— наконец проговорил он.— Ты можешь стать главным поэтом при дворце, у тебя будет все — золото, свой гарем, слуги, а ты...

— Простите, бек, но меня ждут неотложные дела,— хмуро сказал Махтумкули, вспомнив о Менгли.— Если хотите, будьте гостем у нас.

Он тронул коня. Набежавший ветер вырвал из его рук листок и понес в степь.

Шатырбек понял, что поэт не принял и уже не примет приглашения. Теперь не нужно было больше притворяться, льстить, унижаться.

— Стой! — наливаясь кровью, крикнул бек.— Ты

оскорбил меня, ты оскорбил самого шаха! И ты поплатишься за это, жалкий писака! Взять его!

Сарбазы выхватили свои кривые сабли, загалдели, подбадривая один другого, сгрудились вокруг поэта и его спутников.

То, что произошло в следующее мгновение, Махтумкули даже не успел как следует разглядеть. Он только увидел, как один из сарбазов охнул и, показав в страшной усмешке крупные желтые зубы, рухнул под ноги коней.

И тут же раздался отчаянный крик Клычли:

— Бегите, брат! Спасайтесь!

Зазвенела сталь, заржали поднятые на дыбы и столкнувшиеся грудью кони.

Недаром Човдур учил Клычли мастерству сабельного боя,— юноша ловким ударом обезоружил наседавшего на него сарбаза, развернул коня и полоснул клинком по плечу второго всадника, который заехал сбоку.

— Клычли! — забыв обо всем, крикнул Махтумкули.— Остановись! Они убьют тебя!

Он рванулся к юноше, но сарбазы с двух сторон крепко держали его, заламывая руки. Тогда Махтумкули повернул разгневанное лицо к Шатырбеку:

— Эй, бек, прикажи сарбазам оставить его в покое! Я поеду с вами.

Шатырбек выдержал его пронзительный, ненавидящий взгляд и усмехнулся.

— Ты в любом случае поедешь с нами. Откажешься — силой заставим. А этого щенка следовало бы проучить. Ну да ладно... Стойте! — крикнул он сарбазам.— Оставьте его! А ты, волчонок, бросай саблю и лук, если хочешь жить...

— Брось, Клычли,— сказал Махтумкули.— Ты же видишь, их слишком много.

Клычли, от которого отступились разгоряченные сарбазы, затравленно огляделся, бросил на землю оружие и вдруг упал лицом на гриву коня. Плечи его затряслись.

Махтумкули, почувствовав, что руки сарбазов отпустили его, подъехал к названому брату, положил ладонь на его крепкую и такую вдруг беспомощную спину, сказал нежно:

— Не надо, Клычли. Ты поступил как настоящий мужчина, и оставайся им до конца.

Клычли поднял к нему мокрое лицо, глянул затуманенными глазами:

— Они навсегда увезут тебя, брат. В неволю!

— Ничего, от судьбы не уйдешь. Крепись. Еще не известно, чем все кончится.

К ним подъехал Дурды-бахши.

— Ты молодец, Клычли,— сказал он, пожимая юноше руку.— Подожди, я еще буду петь песни о твоей храбрости. А сейчас Махтумкули прав, надо подчиниться силе.

Тем временем сарбазы перевязали раненых, и Шатырбек скомандовал:

— Вперед! Да побыстрей!

Окруженные сарбазами, пленники ехали молча, думая о своей печальной участи.

Понуро сидел в седле Махтумкули.

Менгли... С каждым шагом коня он становился все дальше и дальше от нее. Надолго ли их разлука? Может быть, навсегда?

Глухо стучат копыта по сухой земле. И уходит, уходит в прошлое Менгли. Теперь она где-то там, по ту сторону вдруг вставшего на их пути водораздела. Судьба развела их дороги. И все-таки Менгли всегда будет с ним — в сердце, в его стихах, в его памяти...

Менгли!..

Молчит огромная, без края, степь. Молчат горы. Молчит далекое небо,— как странно, оно одно и для Менгли, и для этих угрюмых сарбазов, и для шаха...

Только копыта вразнобой: тук-тук-тук...

Оглядываясь, исподлобья рассматривает сарбазов Клычли. Эх, сюда бы Човдура! Вместе они раскидали бы этих вонючих псов, освободили бы Махтумкули, ускакали бы к берегам родного Атрека. Надежный, верный друг Човдур.

Года три назад в эту же пору объезжали они вдвоем посевы пшеницы. Кони шли не спеша. Друзья разговаривали о том о сем, не ведая, что их подстерегают за ближайшим холмом бандиты. С гиканьем выскочили они навстречу, окружили. Човдур выхватил саблю, в мгновение оттеснил Клычли к степе обрыва, прикрыл собой. Разбойников было семеро. Трое из них, рассчитывая на легкую добычу, кинулись на Човдура. Их копья готовы были пригвоздить его к земле.

— Бросай саблю, слезай с коня! — приказал один, видимо главарь.

— Лови! — крикнул Човдур и точным и сильным ударом выбил копье из его рук.

Второй стремительный взмах — и главарь бандитов, за-

жав ладонью рану на плече, повернул коня. А Човдур, используя замешательство среди разбойников, с воинственными криками стал наседать на них. Он так здорово орудовал саблей, что разбойники не выдержали натиска и бросились наутек.

— Эге-ге! — закричал им вдогонку Човдур.— В следующий раз пусть приходит кто-нибудь посильней да похрабрей! Пусть спросят Човдура! Вот тогда я покажу, что такое настоящая драка!

Бандиты долго еще слышали его басовитый, раскатистый хохот.

С тех пор и пополз по степи, по горным ущельям слух о том, что среди гокленов появился невиданный пальван, который мог потягаться в силе и мужестве с самим Рустамом.

А через год какой-то дервиш рассказывал самому Човдуру, как этот самый пальван будто бы сражался с семиголовым драконом и победил его.

— Как же зовут знаменитого пальвана? — пряча улыбку в усы, спросил Човдур.

— Имя его,— понизив голос до шепота и оглянувшись, сказал дервиш,— Човдур-хан.

Човдур рассмеялся.

— Уж так и хан?

Дервиш в испуге замахал на него руками:

— Что ты, что ты! Не смейся, не говори так! Сказывают, он не прощает обид.

— А где же он живет?

— Да где-то в ваших краях. Не довелось встречать?

Човдур похлопал дервиша по плечу, едва покрытому ветхой одеждой.

— Ну, где нам! Ты же говоришь, он хан. А мы простые люди. Только не верю я тебе. Уж если есть такие пальваны, то никак не среди ханов, это я точно знаю.

Да, знай Човдур о том, что его друзья в беде, догнал бы, выручил. Только откуда ему знать? Хитрее лисицы, коварнее волка оказался этот бек...

Молчал и Дурды-бахши. Он был один, роднее всех на свете были ему звонкий дутар да резвый конь, возивший его из аула в аул. Всюду любили его песни, готовы были слушать ночи напролет. И он пел не уставая, от зари до зари, изредка только смахивал пот со лба да отхлебывал чай из пиалы.

— Ты рожден быть птицей,— сказал ему как-то Махтумкули.

— А ты? — улыбнулся в ответ Дурды.

— Я? — Печаль мелькнула в глазах поэта.— Я — Фраги.

И сейчас, глянув на скорбное лицо Махтумкули, Дурды с болью подумал о том, что вот сбылось пророчество поэта. Судьба разлучила его с любимой, с друзьями, с родиной.

9

К вечеру молла Давлетмамед почувствовал себя плохо. Ныло в затылке, время от времени сердце словно бы обливали горячей водой.

Накинув на плечи теплый халат, он сел к огню, раскрыл толстую книгу Ибн-Сины, стал листать, отыскивая подходящий совет знаменитого врачевателя, но глаза быстро устали, и он отложил книгу, прилег.

Заглянула Зюбейде, спросила тихо:

— Ты не спишь, отец?

— Нет, дочка, я только прилег ненадолго.

— Тебе ничего не нужно?

— Нет, я полежу и встану. Скажи, вернулись бек и сарбазы?

— Я не видела их.

Давлетмамед вздохнул:

— Куда же они запропастились?..

Зюбейде молча ждала у двери.

— Ладно, иди, дочка... Хотя нет, подожди. Скажи, Мамедсапа уже дома?

— Они с Човдуром уехали в поле, должны скоро вернуться.

— Хорошо. Как вернется, пусть придет ко мне. Иди, Зюбейде.

Он снова остался один. Тревога заползла в душу. Мысли путались. «Где он, этот загадочный бек? Что задумал? А может, решил подкараулить Махтумкули в степи? Да нет, у него же приглашение самого шаха, пойдет ли он на такое? Приглашение... Это на бумаге. А устно шах мог приказать... мог приказать... Он все может, коварный властелин Ирана и Турана. Что же они задумали? Ох, не вовремя уехал Махтумкули! И этот бек... и Менгли... и боль в голове... А может быть, все уже вернулись и я ничего не знаю?»

Давлетмамед с трудом сел, прислушался. Обычные зву-

ки вечернего аула долетали в кибитку. Поблизости верблюд позванивал колокольцем. Где-то заржал конь, простучали копыта. Чьи-то голоса доносились глухо и невнятно. Засмеялась Зюбейде.

Жизнь идет своим чередом.

И если вдруг не станет сейчас старого моллы, она не остановится, пойдет дальше — к лучшему. Что бы ни случилось — обязательно к лучшему. Он верил в это.

Давлетмамед вздохнул, поправил фитиль в каганце. Тени заметались по стенам кибитки.

За стеной раздался конский топот, голоса. Давлетмамед узнал — вернулся Мамедсапа.

Он зашел вместе с Човдуром.

— Ты звал, отец?

— Да, заходите, садитесь. Как там, в поле? Хороша ли пшеница?

— Хороша,— скупо ответил Мамедсапа. Он знал, что другое беспокоит сейчас отца.

— Где-то запропастились наши гости,— сказал Давлетмамед.— Не встречали их?

— Нет, не встречали,— сказал Мамедсапа и глянул на Човдура.

Тот спросил тревожно:

— А что, они не сказали, куда поехали? Может, совсем убрались?

Давлетмамед покачал головой.

— Сказали, что на охоту. Но чует мое сердце, тут что-то другое.

У Човдура гневно сошлись брови на переносице.

— Если они затеяли что-нибудь дурное против Махтумкули...

— Боюсь, что они перехватили его в степи,— перебил его молла.

Човдур сжал свои огромные кулаки. И вдруг схватился за голову:

— Вах, это же я привел их к вашему дому! Горе мне!

— Успокойся, сынок,— мягко сказал Давлетмамед.— Нет твоей вины в том, что злые люди пришли сюда.

Но Човдур уже вскочил на ноги.

— Все равно,— голос его зазвенел напряженно и страстно,— все равно я разыщу негодяев и выручу Махтумкули, если он попал в их руки! Ты едешь со мной, Мамедсапа?

Мамедсапа тоже встал, вопросительно посмотрел на отца.

— Конечно, поезжай, сынок,— сказал Давлетмамед.— Пусть сопутствует вам удача!

Вскоре он услышал, как в тишине ночи раздался гулкий стук копыт. Он вдруг оборвался невдалеке. Потом снова с удвоенной силой пророкотал по аулу и постепенно замер. Давлетмамед понял, что сын и Човдур взяли с собой еще кого-то из надежных парней.

— Не оставь их, великий аллах,— прошептал старик,— помоги в трудную минуту, отведи от них вражью саблю или стрелу!

Неслышно вошла Зюбейде, поставила перед отцом чайник чая, чистую пиалу, развернула платок со свежим, еще теплым, пахнущим дымком тамдыра чуреком и также тихо ушла: чувствовала — беспокоить отца сейчас нельзя.

А он, поглощенный своими мыслями, своею болью, наверное, и не заметил ее.

Большую, долгую жизнь прожил молла Давлетмамед, многое испытал, о многом передумал, и книги его принесли ему известность, и выросли дети. Но был ли он счастлив? В чем-то своем, личном — в детях, которых любит и которые отвечают ему любовью, в творчестве, в наслаждениях, дарованных природой,— в этом — да. Но всегда его мучало другое, более важное, чем даже благополучие семьи,— жизнь народа. Он видел свой народ талантливым, храбрым, трудолюбивым и радовался этому. Но видел еще и грязь, и невежество, и кровь, пролитую невинно, и нищету, и попрание человеческого достоинства,— видел, принимал близко к сердцу, но ничего не мог сделать, чтобы помочь народу. И это угнетало, не позволяло даже в самые лучшие минуты сказать себе: «Я счастлив!» Потому что знал: радость временна, а страдание... Придет время — и все изменится к лучшему. Только вот когда?

Затих аул. Даже собаки угомонились. Погас каганец, но старик не обратил на это внимания. Он слушал.

Где-то далеко, наверное на берегу Атрека, родилась песня. Печальная, протяжная. Пела девушка. Давлетмамед узнал ее голос, и сердце его дрогнуло: Менгли.

Как жесток мир! Судьба отняла у сына любимую, а сейчас повела его самого неведомым путем. Куда?..

Неужели навсегда ушел любимый,
милая подружка?
Неужели не вернутся счастья дни,
милая подружка?

Бедная Менгли! Ведь ты могла быть счастливой. А теперь...

Иль любить и быть любимой —
грех на этом свете?

Грех... Что же это такое? Обмануть доверчивого — грех? Разлучить влюбленных — грех? Лишить человека родины — грех? Быть богатым, когда вокруг нищета,— грех?

О аллах! Сжалься над рыдающей
Менгли!
Любимого к возлюбленной верни!

В дни радости люди часто забывают о нем. Но придет горе — и человек вздымает руки к небу: «Помоги, о великий аллах!»

Он один может все. Ему подвластны земля и небо, вода и огонь, все силы природы и жизнь людей.

Молла Давлетмамед содрогнулся, вдруг с небывалой силой почувствовав могущество всевышнего,— словно бы заглянул за тайный занавес.

Услышит ли аллах слабый голос тоскующей Менгли? Если весь мир в его руках — услышит. Но захочет ли помочь — этого Давлетмамед не ведал. Сколько раз, отчаявшись, он сам обращал взор к небу, молил о помощи — и не получал ее. Почему? Чем прогневил он аллаха? Молла не знал за собой грехов, и все же...

Неужели навсегда ушел любимый,
милая подружка?
Неужели не вернутся счастья дни,
милая подружка?

Сколько любви и сколько горя в голосе Менгли! Как вырвать ее из когтей немилостивой судьбы?

Если Махтумкули благополучно вернется, пусть поступит так, как подскажет ему сердце. У него теперь один путь — посадить Менгли на коня и умчаться в степь, в горы, туда, где никто не сможет помешать им любить друг друга. Если это и грех, Давлетмамед все равно не будет осуждать сына. Разлучать влюбленных — это действительно грех!

Затихла песня. Давлетмамед услышал, как топчутся кони за стеной, как шумят деревья на ветру, и шорохи, и шепоты, какие бывают только ночью.

Чья-то рука откинула полог на двери. В просветлевшем проеме старик увидел Зюбейде. Она стояла молча, прислушиваясь.

— Я не сплю, дочка, входи.

Зюбейде бросилась к нему, прижалась, как бывало в детстве, когда ее обижал кто-нибудь. Отец провел ладонью по ее мокрой щеке.

— Ты плачешь?

— Отец! — Слезы сдавили ей горло.— Ты слышал? Она пела... Неужели ничего нельзя изменить, отец?

Он помолчал, подумав вдруг, что его самые мрачные предположения, наверное, все-таки сбылись — сарбазы бека схватили Махтумкули и сейчас везут его на юг, как пленника. Он сам не верил в это даже тогда, когда говорил со старшим сыном и Човдуром. Но теперь, кажется, не остается сомнений.

В темноте блестели устремленные на него большие глаза Зюбейде. Он погладил ее по голове и сказал еле слышно:

— Над нами аллах. Все в его власти, дочка.

Утро наступило такое же светлое, тихое, как и вчера. Но оно не радовало Давлетмамеда.

Только что прискакали на взмыленных конях Мамедсапа, Човдур и другие джигиты. По хмурым, измученным, грязным от пота и пыли лицам молла сразу понял, что не с доброй вестью вернулись они.

— Мы доехали до того аула, где Махтумкули был на тое,— сказал, тяжело дыша, Мамедсапа.— Он уехал оттуда вчера утром. С ним были Клычли и Дурды-бахши. Мы обшарили всю степь, все ущелья на их пути и не нашли никого. Один чабан сказал, что видел у Каркалы много всадников — они скакали в Иран. Но узнали об этом слишком поздно, отец, мы уже не могли догнать их.

Давлетмамед закрыл лицо руками. Кровь застучала в висках. Тупая, давящая тяжесть снова возникла в затылке.

— О, какое несчастье! — проговорил старик, раскачиваясь из стороны в сторону.— За что, великий аллах, ты караешь рабов своих?

И сразу же заголосили, запричитали Зюбейде и другие женщины, слышавшие через стену разговор.

Их плач заставил Давлетмамеда взять себя в руки.

— Замолчите! — раздраженно сказал он, полуобернувшись.— Глупые женщины, вы воете так, словно кто-то умер. Но Махтумкули жив!

За стеной стало тихо, только изредка доносились сдерживаемые всхлипы.

— Что будем делать, молла-ага? — прервал молчание Човдур.— Я чувствую вину за все случившееся и готов искупить ее.

Давлетмамед ласково посмотрел па Човдура.

— Ты напрасно казнишь себя, сынок. Я уже говорил: не ты, а судьба привела этих людей в наш дом.

— Все равно,— горячо возразил Човдур,— я подниму всех наших джигитов, мы ворвемся во дворец шаха и выручим Махтумкули и его друзей.

Давлетмамед вздохнул.

— Э, Човдур, разве вам под силу тягаться с сарбазами шаха? У него не счесть войск, есть и пушки, а у вас одна лишь молодость, горячие головы. Нет, это не годится. Надо подумать. Мамедсапа, сходи, сынок, к моему другу Селим-Махтуму, пригласи его, если он здоров, к нам.

Но Мамедсапа не успел даже подняться. Послышались шаркающие шаги, старческий кашель, и на пороге встал сам Селим-Махтум. Красными, слезящимися глазами он обвел присутствующих, поздоровался. Мамедсапа кинулся к нему, помог войти, осторожно усадил рядом с отцом.

— Слышал я, слышал о вашей беде, Давлетмамед,— сказал гость.— Но ты знай — это и наша беда. И наша вина. Как это мы не раскусили вовремя проклятого бека! Вай-бай! Теперь я вспоминаю: в каждом шаге его, в каждом взгляде, в каждом слове виден был подлый человек. А мы поверили его сладким речам. Позор на наши седые головы!

Он обвел всех взглядом, и каждый опустил голову.

Селим-Махтум отхлебнул чаю из пиалы, подставленной ему, чмокнул губами, вытер ладонью усы и бороду. Спросил:

— Ну, что надумали?

— Пока ничего путного,— ответил Давлетмамед.— Вот Човдур предлагает поднять джигитов идти па дворец шаха. Но ведь нам не совладать с сарбазами. Мы сами из года в год укрепляли войско шаха, последнее отбирали сборщики налога, лишь бы обеспечить его лихими конями, острыми саблями, громоподобными пушками. Где уж теперь идти против такой силы!

Селим-Махтум слушал его и кивал головой.

— Ты прав, друг,— сказал он, но закашлялся и долго не мог продолжать, наконец вытер платком глаза, усы и бороду, усмехнулся.— Вот разве только если я выйду против сарбазов да начну кашлять, они подумают, что у туркмен есть пушки...— И сразу стал серьезным: — Ору-

жием нельзя шутить, Човдур. Все мы любим Махтумкули и готовы защитить его. Но если мы поднимем оружие, и ему и себе нанесем только вред.

— Так что же нам теперь, сидеть сложа руки? — не выдержал Човдур.

Селим-Махтум укоризненно покачал головой.

— Не во всяком деле хороша горячность, сынок. Если вы захотите силой освободить Махтумкули, то и сами погибнете, и его шах в зиндан упрячет, а то и на виселицу пошлет. А сидеть сложа руки я не предлагаю. Просто есть еще способ выручить нашего поэта. Говорят, умное слово и змею заставит выползти из норы. Думаю, что и шаха можно убедить.

— Шах хуже змеи,— зло сказал Човдур.

— Может быть,— согласился Селим-Махтум.— Но попытаться надо. Как думаешь, Давлетмамед?

Молла согласно кивнул:

— Согласен с тобой, друг. Надо ехать к шаху, поговорить. Кого пошлем? Может быть, следует мне самому поехать?

Селим-Махтум положил руку на его колено.

— Нет, друг, ты отец, тебе нельзя. Человек должен говорить с шахом не от себя, а от имени всех гокленов, даже всех туркмен.

Он сказал это так торжественно, что все замолчали, думая о поэте, чья слава уже при жизни поднялась на небывалую высоту.

— Так, может быть, ты? — прервал молчание Давлетмамед, обращаясь к старому другу.

— Если народ доверит, я готов,— с достоинством ответил Селим-Махтум.— Слава аллаху, в седле я еще крепко сижу.

— Вот и хорошо! — обрадовался Давлетмамед.— А с тобой Човдур поедет и еще кто-нибудь из джигитов. Согласен, Човдур?

— Я-то согласен,— хмуро сказал тот.— Только не верю я в это дело. Ничего не добьемся, а себя опозорим.

— Вот если не добьемся,— недовольный упрямством Човдура, Селим-Махтум даже повысил голос, чего с ним никогда не бывало,— вот тогда и поступим так, как ты предлагаешь. А пока слушай старших.— И повернулся к Давлетмамеду: — Я думаю, надо созвать аксакалов, посоветоваться и собираться в путь.

Давлетмамед поднял глаза кверху, сказал горячо:

— Помоги нам, аллах!

День был на исходе. С запада, с моря, наползли тяжелые, низкие тучи. В воздухе запахло дождем. И затихла, притаилась, ожидая его, степь. Земля была еще сухая, прокаленная за день солнцем, почти белая. Она казалась странной, неестественной под этим мрачным, дымным небом.

Усталые кони шли шагом. Сарбазы с опаской поглядывали вверх — близкий ливень не сулил ничего хорошего. Один Шатырбек, довольный, гарцевал на своем свежем, словно бы и не проделавшем со всеми многокилометрового перехода, скакуне. «Хорош конь,— думал бек.— Вернусь, получу заветную шкатулку — будет и у меня своя конюшня. Таких вот коней заведу, пусть недруги лопнут от зависти!»

С одного из холмов открылись вдали сады Сервиля, и Шатырбек совсем воспрянул духом — теперь-то уж нечего опасаться погони.

— А ну, взбодрите коней! — крикнул он.— Еще немного — и отдых!

Он глянул на пленников, встретил тяжелый взгляд поэта, придержал коня, и когда Махтумкули поравнялся с ним, сказал миролюбиво:

— Э, не надо хмуриться, дорогой поэт. Недаром говорят: что ни делается — все к лучшему. Поверьте, судьба уготовила вам завидную долю. Вы не поняли этого, и мне пришлось немного помочь вам. В ваших же интересах.

Махтумкули молчал, глядя вперед. Ему не хотелось говорить с этим коварным человеком. Да и что он мог ему сказать? Бек не настолько глуп, чтобы всерьез надеяться на расположение пленников. Просто сейчас, вблизи от крепости, он в хорошем расположении духа, поэтому и говорит так. Ведь утром он был иным.

— Вот приедем в Сервиль,— продолжал добродушно Шатырбек,— угощу вас так, что пальчики оближете. Есть там у меня знакомый повар. Ох, и мастер же! Особенно хорошо птицу умеет приготовить. Фазаны у него — просто объедение. Попробуете,— сами оцените.

Ехавший рядом с Махтумкули Клычли не выдержал:

— Мы весь день ничего не ели, а ты еще издеваешься над нами! Будь моя воля...

Шатырбек насупил брови, сказал негромко, сквозь зубы:

— Заткнись, щенок. Иначе твой язык сожрут сервильские собаки.

— Ты сам паршивая собака! — теряя власть над собой, крикнул Клычли.

Махтумкули тронул его за руку:

— Перестань, Клычли. Ты все равно ничего не докажешь.

Шатырбек зло хлестнул коня и ускакал вперед.

— Еще неизвестно, что будет с нами,— сказал Дурдыбахши,— а ты уже сам лезешь в петлю.

— Я не могу видеть этого... этого...

От волнения Клычли не мог найти подходящего слова.

— Потерпи, Клычли,— сказал Махтумкули.— Иначе ты повредишь нам всем. Ты же не один. Почему же из-за твоей невоздержанности должен страдать Дурды?

Клычли сразу сник. Он подумал о том, что бек может отомстить не ему, а Махтумкули, и дрожь прошла по всему его телу.

— Прости меня, брат,— мрачно сказал он.

Обгоняя сарбазов, Шатырбек позвал того, со шрамом.

— В Сервиле мы остановимся передохнуть,— сказал он, не глядя на сарбаза.— А ты сменишь лошадь и поскачешь в столицу. Передашь главному визирю мое письмо.

И сразу же впился глазами в лицо Меченого.

Но сарбаз был спокоен, смотрел почти равнодушно, и бек позавидовал его выдержке.

— Слушаюсь, мой бек.

Меченый отстал, помешкал и вновь поравнялся с беком.

— Не осудите за смелость,— сказал он, поклонившись.— Но, может быть, лучше вам не задерживаться в Сервиле?

Вот он и выдал себя. Бек ликовал.

— Не вмешивайся не в свое дело! — грубо оборвал он сарбаза.— Я уже предупреждал тебя однажды — помни!

— Тогда пошлите во дворец кого-нибудь другого,— сарбаз посмотрел прямо в глаза Шатырбека.

Тот выдержал его взгляд не моргнув и сказал презрительно:

— Пошел вон! Я знаю что делаю.

Он ни с кем не хотел делить славу и деньги, Махтумкули был его добычей. Его одного.

Дождь хлынул, когда они уже были в крепости.

Сарбазы поспешно, втягивая головы в плечи и сутулясь, заводили коней под навес.

Шатырбек ушел в мейхану.

Только пленники продолжали сидеть в седлах посреди двора. Халаты и тельпеки их быстро намокли, вода стекала на угрюмые лица, но все трое оставались неподвижными.

В дверях мейханы встал Шатырбек.

— Эй,— крикнул он,— долго вы будете мокнуть под дождем? Слезайте, заводите лошадей под навес да идите в мейхану!

Пленники не двинулись с места.

Это не понравилось Шатырбеку. Он покрутил пальцем ус, усмехнулся. Подозвав трех сарбазов, распорядился:

— Отведите этих в сарай. Заприте и поставьте охрану.

И скрылся в мейхане.

— Видал? — спросил он повара Гулама, который приник к окну.— Они еще будут ломаться!

Сарбазы втолкнули пленников в сарай, закрыли дверь на засов.

Один из них остался под небольшим деревянным навесом у двери. Поеживаясь, он с завистью смотрел на окна мейханы, за которыми видны были блаженствующие сарбазы. Вот дверь мейханы распахнулась, на пороге, дожевывая что-то, замер сарбаз со шрамом на щеке, в нерешительности посмотрел на серое небо, сыплющее дождем, и зашагал к конюшне. Навстречу ему конюх уже выводил свежую лошадь.

Меченый вскочил в седло, спросил конюха:

— Как, спокойный?

— Жеребец послушный.— Конюх ласково потрепал коня по лоснящейся шее.— Не беспокойтесь, довезет как надо.

Меченый оглянулся на окна мейханы, скользнул взглядом по двери сарая, по часовому, сутулящемуся под навесом, скрипнул зубами и погнал коня к крепостным воротам. Из-под копыт полетели комья грязи.

Вскоре дождь смыл следы на размокшей земле.

Старый Гулам провел Шатырбека в отдельную комнату, устланную дорогими коврами.

— Располагайтесь, отдыхайте, мой бек,— сказал он, кланяясь.— Надеюсь, вы не поедете в такую погоду, заночуете у нас?

Шатырбек, развязывая платок на поясе, сказал грубо:

— Опять ты, старик, суешь нос не в свое дело.— Платок, а за ним халат полетели в угол.— Готовь угощенье, а остальное я сам буду решать.

— Но если вы решите...

Бек оборвал его:

— О моем решении ты узнаешь в свое время, Гулам. Приготовь фазанов, которых подбили по дороге мои сарбазы, и принеси кувшин багдадского вина. И еще скажи Рейхан-ханум, что я хотел бы навестить ее.

Гулам поклонился, намереваясь уйти, но гость остановил его:

— Постой. Ты видел этих туркмен, которых заперли в сарае? Знаешь их?

Он смотрел на повара пристально и жестко.

— Нет, мой бек, мне не знакомы эти люди.

— Но, говорят, ты жил среди туркмен. Верно?

— Верно. Но это было очень давно. Мальчишки с тех пор стали мужчинами, а джигиты стариками.

— Ладно, иди,— сказал бек.

Гулам осторожно прикрыл за собой дверь, сделал несколько шагов по коридору и остановился, привалившись плечом к стене.

Сердце стучало гулко, неровно. Где только нашел он силы вынести этот разговор?..

Бек захватил Махтумкули и везет куда-то, может быть на муки, на смерть...

Сын Давлетмамеда, ставшего для Гулама братом, в беде, а он должен сгибаться перед его мучителем, угождать ему, выполнять его желания...

Надо что-то делать. Но что?

Гулам медленно побрел по коридору на кухню.

О, как слабы, как непослушны ноги! В сущности, он совсем не стар, даже моложе Шатырбека! А вот поди же — тот скачет на лихом коне по степи, а он едва ходит. Что сделаешь, судьба не баловала его, рано наградила болезнями. Стоит собраться тучам, как начинают ныть суставы. Колени во время ходьбы постреливают, словно сырые ветки в костре.

К нему подошла Хамидэ.

— Что с тобой, отец? — Она заглянула ему в глаза.— Ты нездоров?

Он отстранил ее. Сказал:

— Иди найди Джавата. И ждите меня дома, я скоро приду.

Хамидэ спросила тревожно:

— Тебя опять обидел этот человек?

Гулам вдруг выпрямился.

— Да,— сказал он.— Очень. И не только меня. Иди, дочка.

В мейхане было дымно и шумно. Сарбазы, скинув мок-

рую одежду, лежали на кошмах, курили кальян, пили дешевое вино, громко разговаривали.

Из дальнего угла вдруг донесся пьяный выкрик:

— Продажные твари!

Сарбазы не понимали по-туркменски, оглядывались, смеялись.

— Ненавижу!

Гулам хорошо знал этого человека. Его звали Кочмурад. Когда-то он был красивым, гордым, сильным, не каждый решался выйти с ним в круг на соревнованиях пальванов. Но сейчас он выглядел жалко: худой, обросший, с лихорадочно горящими глазами, забился в угол и оттуда смотрел на сарбазов. Наверное, кто-то из них поднес ему вина,— пьянел он быстро и вот теперь выкрикивал обидные, но непонятные для сарбазов слова.

Гулам подошел к нему.

— Успокойся, Кочмурад, перестань. Они мои гости.

Кочмурад поднял к нему дрожащие руки. По лицу его текли пьяные слезы.

— Это они,— всхлипывая, сказал пальван,— они во всем виноваты. Шакалы! Хуже шакалов!

— Перестань,— строже сказал Гулам.

Он боялся, что кто-нибудь из сарбазов все же знает туркменский.

Кочмурад покорно лег на кошму, затих.

Пока в казане жарились фазаны, Гулам думал. Как несправедливо устроен мир! Вот Кочмурад. Чем он виноват перед людьми и аллахом? А наказан так жестоко!

...Все началось два года назад.

Перед рассветом, когда сон так крепок, на аул напала шайка головорезов. Это были люди одного из иранских беков, промышлявшие в туркменских селеньях. Их вел сам бек, человек отчаянный и жестокий. Они ночью перевалили через горы и молча, без единого крика, бросились на спящих. Через несколько минут одни туркмены были убиты, другие связаны. Женщины, старики и дети дрожали, с ужасом поглядывая на обнаженные сабли аламанов. Бек увел своих людей только тогда, когда все мало-мальски ценные вещи были погружены на лошадей. Угнали бандиты и захваченный скот.

И только когда затих вдали топот, над аулом вспыхнули крики, плач, стоны, причитания.

Кочмурад лежал в своей кибитке, связанный, с грязной тряпкой во рту. Когда его развязали, он сплюнул и сказал:

— Клянусь, я отомщу им!

Все мужчины аула пошли с ним.

Беку и его молодчикам удалось бежать. Зато их родственники, жены, дети были захвачены мстителями.

Их подгоняли плетками. Спотыкаясь, прикрывая руками головы, они почти бежали, чувствуя на затылках жаркое дыхание лошадей. Кто не выдерживал и падал, тот уже не вставал никогда.

На дороге им повстречались два всадника. Один из них, стройный, с тонким, живым лицом, поставил коня на пути пленников, поднял руку. Они остановились, не зная, что сулит им эта неожиданная встреча.

К всаднику, задержавшему движение, подскочил на коне разгоряченный Кочмурад.

— А ну, прочь с дороги! — крикнул он, хватаясь за саблю.

Незнакомец спокойно посмотрел на него, усмехнулся.

— А ты горяч, друг.

И тут Кочмурад узнал его. Рука разжалась, сабля со звоном легла в ножны.

— Прости...— хмуро сказал он.— Мы встречались на тое у Бяшима.

— Помню,— улыбнулся Махтумкули.— Ты тогда поборол всех наших пальванов, только перед Човдуром не устоял.

Он посмотрел на спутника.

— Салам,— тоже улыбаясь, сказал Човдур.— Если хочешь, можем снова померяться силами. Приезжай на курбан-байрам.

— Спасибо,— по-прежнему хмуро ответил Кочмурад.— А сейчас дайте дорогу, мы спешим.

— Подожди,— сказал Махтумкули.— Еще успеете. Скажи, кто эти несчастные?

Не глядя на него, Кочмурад кратко рассказал о набеге.

На скулах Махтумкули заиграли желваки.

— Слушай,— сказал он,— я знал твоего отца, его звали Арслан-стеснительный. Он работал у Ханали. Всю жизнь не расставался с кетменем. Не обидел даже воробья. А что с ним сделали аламаны?

— Не надо вспоминать об этом,— еще более помрачнев, прервал поэта Кочмурад.

— Я бы не вспомнил, если бы не увидел вот это,— Махтумкули кивнул на сгрудившихся, дрожащих от страха женщин, детей, стариков.— Аламаны хотели угнать

скот Ханали-хана, а твой отец пострадал только потому, что подвернулся им под горячую руку. Почему же ты, его сын, поступаешь как те аламаны?

— Разве месть — позор?— сверкнул глазами Кочмурад.

— А кому ты мстишь, подумал? — вопросом на вопрос ответил Махтумкули.— Посмотри. Разве перед тобой бек? Разве вот эта несчастная женщина с залитым кровью лицом похожа на воина?

— Они родичи головорезов, и этого достаточно,— зло сказал Кочмурад.

— Нет! — крикнул, словно ударил его, поэт.— Народы не могут враждовать, враждуют правители. Это им на руку, что мы ненавидим друг друга. А мы должны ненавидеть тех, кто сеет раздор между племенами, и народами, на них обращать свой гнев.

Он замолчал, тяжело дыша. Потом, остывая, тронул Кочмурада за плечо:

— Ты сделаешь доброе дело, если отпустишь их, Кочмурад. Так сказал бы твой отец.

Кочмурад смотрел в землю, раздумывал. Стало так тихо, что Махтумкули услышал, как стучат зубы у женщины с разбитым лицом.

Наконец Кочмурад поднял голову, оглядел пленных, потом перевел взгляд на своих джигитов. На их лицах он прочел неловкость и ожидание и догадался, какого решения ждут они. Тогда он яростно стегнул коня и поскакал в степь, даже не попрощавшись с Махтумкули и Човдуром. Участники набега потянулись за ним.

Пленники, еще не понявшие, что произошло, остались стоять, затравленно озираясь.

— Вы свободны,— по-персидски сказал им Махтумкули.— Возвращайтесь домой. И скажите там, что туркмены не воюют с беззащитными. И еще скажите тем, кто ходит в набеги с вашим беком: пусть подумают, чем это может кончиться. Нам нечего делить. У каждого в своем доме много забот. Идите.

И он повернул коня.

Весть об этой встрече быстро разлетелась по аулам и крепостям. Дошла она и до Гулама, и он порадовался за сына своего спасителя.

А совсем недавно, когда в Сервиле появился неимоверно опустившийся Кочмурад, Гулам узнал продолжение истории.

Однажды в аул пришли сборщики подати. Векилом у них был тот самый бек. Кочмурад узнал его, выбрал мо-

мент и ударил кинжалом в живот. Потом еще раз, еще... Бек упал с коня на землю, а Кочмурад все бил и бил его мокрым от крови кинжалом, пока сарбазы не скрутили парня.

Через несколько минут запылали кибитки. Треск охваченных огнем жилищ, вой женщин, плач детей, стоны раненых — это Кочмурад запомнил навсегда. Он видел, как двое сарбазов бросили в огонь его годовалого сына, как поволокли куда-то потерявшую сознание жену. Вместе с другими уцелевшими односельчанами Кочмурада погнали на юг. Он знал: его ждет мучительная смерть. Ночью, на привале, он разорвал веревки, вскочил на первого попавшегося коня и умчался. Сарбазы растерялись, упустили момент и уже не смогли его догнать.

Он оказался на чужой земле, никому не нужный, без денег. В какой-то крепости он продал коня и впервые напился и накурился терьяка в мейхане. А потом пошло...

В Сервиль он пришел, едва волоча ноги, оборванный, с красными глазами. Гулам накормил его, и Кочмурад застрял здесь, подрабатывая чем придется.

Когда ему перепадала пиала вина, он возбуждался, в глазах появлялся лихорадочный блеск, и злобные, отрывистые, порой несвязные слова срывались с его дрожащих, посиневших губ. И только Гулам мог легко успокоить Кочмурада. Проспавшись, он плакал и просил прощения.

— Ты не перс,— сказал он как-то Гуламу,— ты хороший добрый человек, я люблю тебя, как брата.

— А разве перс не может быть хорошим человеком? — с обидой спрашивал Гулам.

Кочмурад хватал его за руку, преданно смотрел в глаза.

— Я глуп, я ничтожен,— бормотал он.— Махтумкули прав — все бедные люди одинаковы... и персы, и иомуды, и гоклены, и урусы... А беки — паршивые свиньи, ханам надо рубить головы... шаху... Я глуп, прости меня, Гулам.

И слезы текли по его впалым щекам.

Вот и сейчас он лежал, поджав ноги, на кошме в углу, и всхлипывал, и бормотал что-то, забываясь в тяжелом, не приносящем облегчения сне.

Гулам прошел на кухню. Вскоре оттуда послышалось звонкое шипение масла в казане, потянуло запахом жареной дичи.

— Эге,— сказал один из сарбазов, раздувая ноздри,— кажется, повар готовит что-то вкусное. Фазана, пожалуй...

— Заткнись! — грубо оборвал его другой.— Это не для

нас. У бека, слава аллаху, хороший аппетит. А нам хватит и жидкой похлебки.

Шатырбек действительно не жаловался на аппетит. Отхлебывая из пиалы душистый, только что заваренный чай, он с нетерпением ждал, когда Гулам принесет по-особому приготовленного фазана.

Подушки под локтем и спиной были мягкие, их нежный шелк располагал к неге и спокойным размышлениям. И Шатырбек, совсем недавно готовый без устали скакать верхом еще хоть целую ночь, стал подумывать о том, что в конце концов теперь он не на туркменской земле, а в надежной крепости, где достаточно найдется верных шаху людей, готовых отбить врага. Да и вряд ли преследователи, если они едут вслед, решатся напасть на Сервиль.

А когда Гулам внес миску с жареным фазаном, от которого исходил такой вкусный запах, Шатырбек решил: «Остаюсь».

— Вина! — распорядился он.— Да смотри, чтобы только багдадское. И... как здоровье Рейхан-ханум?

У Гулама отлегло от сердца. Он постарался изобразить на лице скабрезную улыбку.

— Она будет счастлива встретиться с вами, бек, и удовлетворить все ваши желания. У нее найдется...

— Иди,— сказал Шатырбек.— Ты стал слишком болтливым.

Гулам поклонился и попятился к двери. Сейчас нельзя было перечить беку, тем более раздражать его.

— Постой! Если сами сарбазы не догадались, дай поесть тому, который охраняет этих... туркменов. Кстати, накорми их тоже.

Гулам снова молча поклонился.

Прежде чем отнести еду пленникам, он поднялся по скрипучей деревянной лестнице в свою комнату. Джават и Хамидэ с беспокойством ждали его.

— Что случилось, отец? — бросилась к нему Хамидэ.

Гулам обнял ее за плечи, посмотрел на сына. В его глазах он прочел ожидание.

— Дети,— торжественно сказал Гулам,— настал наш черед.

11

— Сюда, пожалуйста! Осторожней, лестницу давно не ремонтировали, хозяин совсем не имеет дохода в последнее время...

Фитиль в плошке, которую держал Гулам, сильно коптил. Огромные тени метались по стене и по деревянным прогнившим ступеням.

Шатырбек был уже заметно пьян, но старался держаться прямо.

Наконец они поднялись наверх. У двери, за которой слышны были звуки рубаба и печальная песня, Гулам почтительно остановился.

— Здесь, мой бек.

Шатырбек приосанился, расправил усы и бороду.

— Ладно, иди. Да смотри, чтобы не звать тебя долго, если понадобишься.

Гулам поклонился, и плошка задрожала в его ладони, зашипел фитиль.

— Я буду прислушиваться, мой бек, я далеко не уйду.

На лестнице он вздрогнул и остановился, когда в комнате Рейхан-ханум неожиданно, словно певице зажали рот, оборвалась на полуслове песня, только протяжный звук струны еще дрожал в воздухе, постепенно затихая.

Гулам презрительно усмехнулся и стал спускаться вниз.

Он позвал сына на кухню.

— Вот этот кувшин с вином, кебаб и чурек — все отдашь сарбазу. И займи его разговором немного. Пошли.

Зажженную плошку он не смог пронести под дождем через двор. Пришлось снова возвращаться на кухню, где горел огонь.

Скрипнула дверь сарая. Тусклый свет плошки выхватил из темноты лица трех пленников, сидящих рядом на соломе.

— Салам алейкум! — Гулам вглядывался в эти лица, чувствуя, как часто стучит в груди сердце.— Я здешний повар, бек приказал накормить вас, и я...

Он оглянулся на дверь. Сарбаз громко засмеялся,— наверное, Джават рассказывал ему что-то смешное.

Гулам подошел к пленникам совсем близко, зашептал:

— Я ваш друг, я знал твоего отца, Махтумкули, я Гулам, ты был еще мальчиком, когда Давлетмамед приютил меня и жену...

Махтумкули молчал.

Чадящий фитиль освещал напряженные лица всех четверых. Шесть жадно горящих глаз вглядывались в лицо повара.

— Отец рассказывал мне,— прервал молчание Махтумкули.

— У меня нет времени,— еле слышно шептал Гулам,— мне нужно идти. Верьте мне. Готовьтесь. Мы поможем вам.

Сарбаз у дверей ладонью хлопнул его по спине.

— Ты молодец, повар! Спасибо! Когда я захочу еще вина, то кину камнем в дверь.— Знай — это сигнал.

Со скрипом закрылась дверь сарая. Лязгнул запор.

Рейхан-ханум жеманно рассмеялась и прикрыла легким платком лицо.

— Ну что вы, бек! В моем возрасте...

Шатырбек пододвинулся к ней, тронул пальцами ее мягкое плечо.

— Э, Рейхан-ханум, я ведь тоже повидал на своем веку женщин и понимаю в них толк! Поверьте мне, вы еще...

— Перестаньте, бек! — Она игриво приложила веер к его губам.

Створки веера источали легкий дурманящий запах, и бек вдруг с внезапной тоской подумал, что в общем-то он никогда не знал настоящих женщин — из тех, что блистают в шахских и султанских дворцах, что приходят потом в сладких снах.

— Откуда это у вас?

Рейхан-ханум развернула веер, спрятала за ним лицо так, что только глаза с привычным лукавством смотрели на гостя.

— Так, подарок...

И переменила разговор:

— Видимо, бек, вам крепко повезло, если вы решили навестить меня...

Шатырбек пьяно улыбнулся.

— Мне всегда везет, ханум.

— Ой, не хвалитесь, бек!

— А что, разве нет? — Шатырбек покачнулся, схватился рукой за низенький столик, чуть не свалил его.— Я родился под счастливой звездой! Если б вы знали, в каких переделках мне приходилось бывать, то...

Рейхан-ханум сложила веер, постучала им по пухлой ладони. Досада мелькнула в ее подведенных глазах.

— Бек хочет отдыхать?

Шатырбек приосанился:

— Что вы, ханум, я еще...

Но Рейхан-ханум была уже прежней радушной и немного лукавой хозяйкой.

— Мы всегда рады сделать вам приятное, бек.— Она наклонилась к нему и перешла на интимный шепот: —

Совсем недавно у меня появился цветок, который вам наверняка захочется сорвать... Конечно, это не дешево, но ведь бек, кажется, богат...

Шатырбек блеснул глазами, тронул пальцами колючие усы.

— Я знал, что Рейхан-ханум...

Но она уже ударила в ладоши.

Бесшумно отодвинулся тяжелый запавес на глухой стене, в проеме потайной двери встала женщина в чадре.

— Проводи бека в голубую комнату,— сказала Рейхан-ханум и улыбнулась гостю.— Желаю счастливых минут, мой бек.

Фитиль в плошке, оставленной Гуламом, горел, потрескивая, и дрожащим светом освещал лица узников.

— Я всегда верил в силу дружбы,— сказал Махтумкули.— Сколько бы ни враждовали шахи, султаны, ханы, простые люди не будут чувствовать ненависть друг к другу, на каком бы языке они ни говорили.

— Но ведь враждуют даже туркмены разных племен,— возразил Дурды-бахши.

Махтумкули посмотрел на него, потом перевел взгляд на желтое пламя светильника.

— Не народ в этом виноват, Дурды. Я верю — придет время, и все племена станут жить одной дружной семьей,— сказал он задумчиво.

В глазах его метались отблески пламени, и казалось, что видит он недоступное другим.

Дурды и Клычли взволнованно смотрели на поэта.

Наконец Махтумкули оторвал взгляд от пламени, улыбнулся тепло и чуть виновато сказал:

— Что же мы сидим и молчим, друзья? Спой что-нибудь, Дурды-джан.

Бахши взял свой дутар, засучил правый рукав халата, задумался.

— Из «Гёр-оглы»,— подсказал поэт.

Дурды помедлил еще, сосредоточиваясь, потом особым округлым движением взмахнул рукой и ударил по струнам...

У нее глаза как у газели — пугливые, трепетные, готовые отозваться теплом на ласку и слезами на боль.

Ей противен Шатырбек, пьяный, пахнущий лошадиным пóтом и грязным бельем, смотрящий на нее масленым, похотливым взглядом.

Но Рейхан-ханум приказала...

— Слышите? Поют,— говорит Шукуфе.

Шатырбек прислушался. Туркменская песня... Это, несомненно, поет тот, с дутаром.

Он усмехнулся недобро:

— Пусть поют. Завтра они запоют по-другому.

И потянулся к Шукуфе.

Она поспешно подвинула к нему пиалу.

— Пейте, бек. Багдадское вино.

Его рука повисла в воздухе, потом опустилась. Он взял полную пиалу и, расплескивая содержимое, выпил до дна.

— Пусть поют,— повторил он заплетающимся языком.— Иди ко мне...

Гулам поднялся к себе посмотреть, как собираются в дальнюю дорогу дети. Хамидэ укладывала в хурджун самое необходимое — одежду, тунчу, миски, лепешки, завернутые в скатерть.

— Терьяк уже подействовал,— шепотом сказал Гулам,— стражник спит. Поспешите.

— Я готов,— ответил Джават.

— И я,— выпрямилась Хамидэ.

Гулам улыбнулся ей.

— Хорошо, жди. А мы с Джаватом приготовим коней. Дождь, кажется, перестает.

Они тихо спустились в темный двор. Прислушиваясь к песне, доносящейся из сарая, они подошли к конюшне. Лошади, почуяв людей, забеспокоились.

Гулам давно не седлал коней, и они провозились в конюшне слишком долго.

Сарбаз спал сидя, прислонившись спиной к двери сарая. Обнаженная сабля лежала у вытянутых ног.

— Придется его оттащить в сторону,— прошептал Гулам.

— Не проснется? — в голосе Джавата прозвучала тревога.

— Другого выхода нет,— ответил отец.— Но ты не бойся, я не пожалел терьяка.

Они в нерешительности остановились над храпящим охранником. Он пробормотал что-то несвязное, повернулся и стал валиться на бок. Джават подхватил его под руки, Гулам взялся за ноги. Сарбаз не проснулся.

Звякнул засов.

— Выходите,— чуть слышно сказал Гулам.— Кони готовы.

Шукуфе лежала, закрыв глаза.

«Дурак,— злясь на собственное бессилие, думал Шатырбек,— я слишком много пил». Кружилась голова. Шатырбек никак не мог остановить медленное вращение стен. И Шукуфе все уплывала и уплывала от него...

Он положил руку ей на грудь. Шукуфе вздрогнула, напряглась, но не открыла глаз.

В это время оборвалась песня. Шатырбек с трудом поднялся, шатаясь подошел к окну, толкнул раму. Холодные брызги охладили лицо.

Внизу, во дворе, было тихо.

— Эй, Гулам! — крикнул Шатырбек.

И сразу же отозвался повар:

— Я слушаю вас, бек.

Что-то необычное послышалось Шатырбеку в его голосе,— может быть, излишняя угодливость.

— Почему перестал петь этот... как его?

— Туркмены устали, мой бек, и хотят отдыхать,— донеслось из темноты.

Почему он все это знает?

Шатырбек вглядывался в ночь.

— Принеси мне вина и что-нибудь закусить.

Он продрог и закрыл окно.

— Сейчас мы выпьем с тобой,— сказал он девушке.

Она открыла глаза и села.

Со двора снова донеслись звуки дутара.

— Я буду петь,— сказал Дурды, ударяя по струнам дутара.— Пусть он думает, что все мы еще тут. А вы тем временем...

— Нет,— твердо сказал Махтумкули,— мы поедем все вместе.

— Не надо спорить, друг,— мягко возразил Дурды.— Иначе мы не сумеем отсюда вырваться.

В сарай заглянул Гулам.

— Скорей! — взволнованно прошептал он, косясь на спящего сарбаза.— Через минуту будет поздно!

Дурды-бахши запел.

Махтумкули понял, что уговаривать его бесполезно.

— Твой конь ждет тебя,— сказал он.— Не мешкай, догоняй нас.

Мокрая земля скрадывала звук копыт.

Они вывели лошадей.

— Мы с Дурды догоним вас,— сказал Гулам, пожимая поэту руку. И подошел к детям.— Береги сестру, Джават.

Махтумкули окликнул его:

— Едем вместе!

Гулам покачал головой.

— Шатырбек ждет меня. Если я не приду сейчас... Ну, счастливо!

Он подождал, пока затих топот лошадей вдали, и медленно побрел на кухню.

В ночи гремел голос Дурды-бахши. Наверное, бахши никогда не пел так громко и так самозабвенно.

Гулам поставил на поднос кувшин с вином, две миски с пловом, положил несколько гранат, ломтики сушеной дыни и собрался уже подняться в голубую комнату Рейхан-ханум, как вдруг услышал скрип ступенек под грузным телом. У него похолодело в груди, задрожали руки. Звякнула миска, ударившаяся о кувшин.

Шатырбек распахнул дверь.

— Ты заставляешь ждать, повар!

Гулам молча посмотрел па поднос, уставленный яствами. Наконец нашел в себе силы сказать:

— Вы напрасно волнуетесь, бек. Я уже иду.

Шатырбек вошел в кухню, зачем-то глянул в казан с пловом.

— Сарбазы спят?

— Отдыхают,— поспешно подтвердил Гулам.— Можно нести вам угощение?

И снова более обычного был слащав его голос. Он сам понял это.

Шатырбек внимательно, уже совсем трезво, посмотрел в глаза.

— А туркмены?

Гулам взглянул на темное окно. Со двора неслась песня Дурды-бахши.

— Пусть спят,— сказал Шатырбек.

Гулам поспешно поставил поднос.

— Я сейчас скажу им.

Но Шатырбек остановил его:

— Я сам.

Ноги отказали Гуламу, и он прислонился к стене, чувствуя, что сейчас упадет. В открытую дверь он видел, как Шатырбек шел через двор к сараю.

— Эй, Гулам, посвети мне!

Руки не слушались. Фитиль утонул в масле, и Гулам долго доставал его щепкой.

А песня все звучала в ночи.

— Долго я буду ждать?

Шатырбек снова стоял в дверях.

— Я сейчас... сейчас,— прошептал Гулам, дрожащей рукой поднося зажженную в очаге щепку к фитилю.

Дурды-бахши все пел.

— Ладно,— сказал Шатырбек, зевая,— пошли наверх.

Но прежде чем подняться по скрипучей лестнице, он растолкал одного из сарбазов и приказал охранять конюшню.

12

Дождь перестал, но небо было закрыто плотными тучами, и всадники с трудом различали дорогу.

Они скакали уже несколько часов. Лошади тяжело дышали, спотыкались все чаще и чаще.

— Надо остановиться,— сказал Махтумкули.— Теперь мы на исконной земле туркмен.

У развилки дорог, под чинарой, возле которой лежал большой камень, они устроили небольшой лагерь. Костра не разжигали, поели всухомятку.

— Вы наломайте веток и ложитесь,— сказал Махтумкули своим молодым спутникам,— я все равно не смогу уснуть.

Он сидел на разостланном ковровом хурджуне и вглядывался в темноту. Иногда в разрывах туч появлялась луна, и он видел уже невдалеке горы — там была его родина.

Махтумкули думал о ней с нежностью. Там, в зеленых долинах, вольно раскинувшихся между рыжими голыми хребтами, он родился, там познал радость поэзии, там полюбил...

Менгли... Завтра он снова увидит ее, заглянет ей в глаза...

«Что ты сейчас делаешь, Менгли? Спишь и видишь волшебные сны?

Или тоже сидишь в темноте и прислушиваешься к ночным шорохам? Думаешь ли ты обо мне, моя Менгли?..»

Ночь плыла над степью, над уснувшими аулами, над одинокой чинарой, под которой расположились усталые путники. Клычли чмокал губами во сне. Хамидэ лежала свернувшись клубком и дышала тихо-тихо. Джават похрапывал, приоткрыв рот.

Махтумкули встал и сделал несколько шагов, разминая затекшие ноги.

Почему до сих пор нет Гулама и Дурды?

Он подошел к лошадям, потрепал гнедую по шее. Кобыла потянулась к нему доверчиво, дохнула в лицо теплом.

У Гулама был кров, обеспеченное место в мейхане, взрослые дети. Старость не пугала его, потому что не в одиночестве встречал он ее. И все же он отказался от своего нынешнего благополучия ради того, чтобы спасти друзей. И рисковал он не только собственным благополучием. Если Шатырбек узнал о бегстве и схватил его...

Лошадь тянулась к Махтумкули, в темноте поблескивали ее большие влажные глаза.

Дружба... Нет ничего ценнее на свете!

А он? Верен ли он жестким законам дружбы?..

Махтумкули достал томик Фирдоуси, с которым никогда не расставался, присел у камня и, почти не различая слов, написал на первой странице две строчки. Потом вырвал листок, положил на камень и прикрыл другим, поменьше.

Гнедая покорно пошла за ним, мягко ступая по влажной земле.

Уже в седле он оглянулся, но ничего не различил в темноте.

Шатырбек сел и огляделся.

За окном занимался серый рассвет.

Шукуфе в углу расчесывала свои густые черные волосы, смотрела на него пугливо. Шатырбек вспомнил вчерашнее, молча встал, нацепил саблю, накинул халат и вышел. Сарбаз возле сарая лежал на сене и громко храпел. Дверь была раскрыта. У Шатырбека оборвалось сердце.

В сарае, прижав к груди дутар, спал Дурды-бахши. Махтумкули и Клычли не было.

Вне себя от ярости, Шатырбек ударом ноги поднял сарбаза.

— Паршивый шакал! — заорал он.— Где туркмены?

Сарбаз часто моргал, еще не понимая, что случилось.

Шатырбек бросился к конюшне. При виде его сарбаз вскочил, вытянулся.

Четырех лошадей не хватало, две стояли оседланные. Шатырбек все понял.

— Гулам! — Голос его сорвался на хрип.

В дверях мейханы встал бледный повар.

— Я слушаю вас, мой...

Шатырбек подскочил к нему, схватил за бороду, дернул с силой. Гулам упал со стоном. Бек выхватил кривую, тускло блеснувшую саблю.

— Где Махтумкули?

Гулам с мольбой смотрел на него.

— Говори!

Из мейханы выбежал Кочмурад, метнулся к ним.

Шатырбек, крякнув, полоснул его саблей. Обливаясь кровью, судорожно заводя назад голову, Кочмурад повалился на землю.

Разъяренный бек схватил свободной рукой Гулама за грудь, приподнял, багровея.

— Ты будешь говорить?

Гулам не мог отвести глаз от мертвого Кочмурада. Выбежавшие на шум сарбазы замерли. И вдруг в наступившей тишине раздался властный голос:

— Оставьте его!

К ним на взмыленной лошади подскакал Махтумкули.

Клычли проснулся первым. Небо на востоке порозовело. Легкий туман стлался над землей.

Юноша встал, потянулся.

Джават и Хамидэ еще спали. Три лошади лениво объедали кусты селина. Три... Клычли оглянулся. Не было одной лошади, не было Махтумкули. И тут Клычки увидел белый листок на камне. Схватил его дрожащей рукой. «Шах-намэ» — было выведено на нем крупными буквами. А наискось, размашисто — две строчки, написанные каламом:

Друг просит помощи — грешно тебе скупиться.
Случись беда — отплатит он сторицей.

— Он вернулся! — не помня себя, закричал Клычли.

Юноша упал на землю и стал в исступлении колотить ее кулаками. Джават и Хамидэ склонились над ним, не понимая, в чем дело. А Клычли твердил одно:

— Он вернулся. Он вернулся!

Потом, успокоившись, Клычли сказал:

— Я не уеду отсюда, пока не выбью на камне эти две строчки. Пусть каждый, кто проедет здесь через десять, через сто лет, прочтет их и задумается.

У развилки пыльных дорог лежит камень. Когда-то над ним росла чинара, но молния сожгла ее. И камень, исхлестанный дождями и ветром, выглядит совсем одиноким. На его неровной поверхности видны следы надписи. Время стерло ее. Но люди помнят слова, выбитые много лет назад. Память человека крепче, чем память камня.

1959

Нариман Джумаев

р. 1925

Тихая невестка

Неожиданное решение

«Подумать только — наша Сельби согласилась выйти за Джемшида! И что она нашла в этом парне? Да я бы лучше умерла в девках, чем стать невесткой Марал и Шамурада!»

Миве-эдже снова вспомнилла выражение лица старой Сарыгуль, которая приходила сватать Сельби.

Старуха и вела-то себя не как сваха. Ясно было, что она не сомневается в отказе и пришла только из приличия, чтобы не обидеть соседку. Сваха совсем не хвалила семью, которая ее послала, она осуждала Марал и Шамурада. Да и кто их не осуждает?.. Вот уж удивится старая, когда придет в воскресенье за ответом!

Миве-эдже присела у печки и открыла дверцу. Слабый, чуть тлеющий огонек вдруг вспыхнул ярким пламенем — хлопнула дверь. Это Сельби пришла с работы. Миве-эдже обернулась.

— Ты что это сегодня рано, доченька? — Миве-эдже с надеждой взглянула на девушку: может, передумала?

— Театр приехал, мама, спектакль будет.

Голос у дочери звонкий, радостный. Нет, не передумала. Миве-эдже глубоко вздохнула и стала с ожесточением дуть в печку. Оттуда вырвался едкий, смешанный с золой дым, но огонь не разгорался. Миве-эдже в ярости схватила стоящую неподалеку бутыль с керосином и, вытащив пробку, несколько раз плеснула в печь. Не помогло и это. Женщина медленно поднялась.

— Если хочешь надеть новые туфли, они в желтом чемодане,— не оборачиваясь к дочери, усталым голосом сказала она. «Нарядись уж последний раз. Больше тебе не придется смотреть спектакли»,— это хотела сказать Миве-эдже. Сельби поняла, промолчала.

Присев у печки, девушка слегка подула в нее. Сразу весело загудел огонь. Сельби закрыла дверцу, поставила подогреть кумган с водой и задумалась. Мать стояла у сундука, лицом к стене. Обе молчали, и каждая понимала, о чем думает другая.

«Всю жизнь себе испортишь, несчастная! — слышалось Сельби в молчании матери.— Не ужиться тебе с ними!»

«Мама! Я люблю Джемшида! И я все обдумала, все решила».

Эти слова Сельби сказала матери вчера, больше их незачем повторять.

Да, Сельби все решила. Решила давно, еще полгода назад, там, на хлопковом поле. «Я все равно не отстану от тебя, Сельби»,— сказал тогда Джемшид.

Она улыбнулась и молча продолжала работать. Когда, закончив свой ряд, Сельби повернула обратно, Джемшид все еще торчал на середине.

Снова поравнявшись с парнем, Сельби искоса глянула на его руки, стараясь понять, в чем дело. Оказывается, Джемшид не умел собирать хлопок. Словно мальчик, ловящий кузнечика, он хватал руками сразу две коробочки и с силой выдергивал из них хлопок — кусты долго еще раскачивались, как от сильного ветра.

— Очень спешишь, Джемшид,— не поднимая глаз, вполголоса сказала Сельби,— не дергай так сильно.

Джемшид улыбнулся и весело взглянул на нее из-под густых бровей.

— Хорошо, не буду.

С этого дня Сельби уже не переставала думать о Джемшиде, она поняла, что будет женой этого рослого, застенчивого парня. А познакомились-то они давно, еще прошлой весной.

Узорчатое ярмо

Шамурад-ага жил далеко от кишлака, на самом берегу Амударьи. Высокий, весь в трещинах дувал, окружавший двор Шамурада, вырос, казалось, прямо из высохшего

арыка. В трещинах дувала буйно рос камыш и сорная трава.

«Шамурад-нелюдимый» — звали в кишлаке колхозного чабана Шамурада-ага. «А ведь какой был молодец,— часто говорили старики,— саблей владел, как никто из нас!» И аксакалы с удовольствием вспоминали лихие схватки с басмачами, в которых некогда отличался Шамурад. Но когда разговор заходил о его дальнейшей жизни, сверстникам Шамурада-аги ничего не оставалось, как только пожимать плечами и сокрушенно качать головами.

Да... Когда люди увидели, что Шамурад обмазывает глиной старый, брошенный кем-то дом в тугае[1], у самой реки, они сначала глазам отказывались верить. «Хочу пожить в стороне, шум надоел»,— ответил чабан односельчанам, пытавшимся дознаться о причинах столь странного его поведения.

Шли годы, и кишлак разросся, выстроили много хороших домов, а Шамурад-ага, как тридцать лет назад, жил на отшибе. Ни с кем не дружил, в кино не показывался, радио слушать не желал. Но работал старый чабан на совесть, во всяком случае, получше многих из тех, что гордо расхаживают по кишлаку с галстуком на шее.

Поговаривали, что в нелюдимости Шамурада-аги виновата его жена.

Марал-эдже была женщиной старого уклада. «Служить отцу своих детей» — это она считала святым призванием жены. За долгие годы супружеской жизни Марал-эдже ни разу не ослушалась мужа. Стоило Шамураду-аге взглянуть на жену, как она сразу понимала, чего хочет ее повелитель, и тотчас же выполняла его молчаливое приказание. Она жила по старым законам.

И вот в этом доме должен был скоро появиться новый член семьи — невестка Сельби.

Как-то Джемшид пахал у себя на огородах. Сельби, вместе с другими колхозницами косившая невдалеке камыш, сразу приметила высокого парня и, подойдя поближе, с интересом стала смотреть, как он работает. Не потому, что никогда не видела, как пашут сохой,— соха, правда, давно исчезла с колхозных полей, но на приусадебных участках колхозники пользовались ею,— Сельби удивило, как легко управлялся Джемшид с этим орудием.

Парень, казалось, совсем не нажимал на рукоятку, он лишь придерживал соху одной рукой, а железные нако-

[1] Тугай — прибрежные заросли.

печники зубьев сами глубоко вонзались в землю. Соху тянули два рослых быка, под их темной, лоснящейся от пота кожей перекатывались мускулы.

«Словно древний батыр!» — с невольным восхищением подумала Сельби, разглядывая Джемшида.

И еще одна вещь заинтересовала девушку — ярмо у быков было не простое, а украшенное затейливой резьбой.

«Красивое...— подумала Сельби.— Только быкам, наверное, все равно, красивое оно или нет,— ярмо все равно ярмо».

Из-за камышей послышался девичий смех. Сельби вздрогнула: «Что это я! Стою, рот разинула. Уйдут ведь!»

Она стала продираться сквозь камыш к подругам. Вдруг что-то мягкое ударило ее по ногам, и тотчас острая боль обожгла лодыжку. Сельби вскрикнула и упала на колени. Лохматая черная собака метнулась в кусты.

Услышав крик Сельби, парень всей грудью палег на соху. Быки стали.

Сельби хотела было подняться, но боль в ноге заставила ее вновь опуститься на землю. Девушка застонала. Подбежал Джемшид, испуганный, растерянный, и склонился над ней.

— Сними платок,— сквозь зубы сказала ему Сельби,— перевязать надо...

Непослушными пальцами парень развязал платок у нее под подбородком и стал перевязывать рану.

Джемшид весь дрожал. Ни разу в жизни он не прикасался к женщине, и вдруг ослепительно белеющие округлые колени, прикосновение горячих рук, тепло девичьего дыхания. У него закружилась голова.

Чувствуя, что краснеет, Джемшид отвернулся. Но Сельби уже заметила, как горят у него уши, и тоже покраснела.

— Я... отнесу тебя к нам! — неуверенно сказал Джемшид.

Сельби не ответила. Широко раскрытыми глазами смотрела она на парня и молчала.

Джемшид вдруг тряхнул головой, словно жеребенок, впервые почувствовавший на себе узду, подхватил девушку на руки и по распаханному полю бегом бросился к дому.

Он смотрел не в лицо Сельби, а куда-то вверх, в небо.

Положив девушку в тени старого развесистого тута, Джемшид громко крикнул:

— Мама!

Из дома не спеша вышла Марал-эдже.

Джемшид показал ей на Сельби, лежавшую под деревом, и побежал к калитке.

— Я за доктором! — крикнул он.

Марал-эдже проводила сына невозмутимым взглядом, поплотнее прикрыла дверь дома и подошла к Сельби.

— Что с тобой? — спросила она, поправляя яшмак.— Собака укусила?

— Собака,— робко ответила Сельби и села, прислонившись спиной к дереву: ей было неловко лежать в присутствии этой женщины.

— Сейчас принесу тебе чала [1],— сказала Марал-эдже и пошла в кибитку.

С удовольствием выпив холодного чала, Сельби стала осматривать двор. Оказывается, он совсем не такой большой, как кажется с улицы... Чистый...

Скоро вернулся Джемшид со старым фельдшером. Старичок направился к Сельби, а Джемшид зашел в кибитку и через минуту показался с ружьем в руках.

— Бойнак! — громко позвал он собаку.— Бойнак!

Откуда-то выскочил пес, тот самый, черный с белым пятном на шее, и стал тереться о сапоги Джемшида. Он взял собаку за ошейник, отвел ее в угол двора и привязал. Бойнак весело помахивал коротким хвостом, доверчиво глядя на хозяина.

Джемшид отошел немножко и стал заряжать ружье.

— Не надо! — крикнула Сельби.— Не надо!

Он молча взглянул на девушку, отвернулся.

Прогремел выстрел.

— Что, бросаться стала? — спросил фельдшер, подойдя к Джемшиду.

— Да,— не поднимая головы, коротко ответил тот,— бросилась на человека.

После этого случая Сельби несколько месяцев не встречала Джемшида, но не могла забыть его, большого, сильного, похожего на древнего батыра.

«И ничего в нем нет чудного,— часто думала Сельби.— Очень даже хороший парень». И каждый раз почему-то вспоминала, какое у него тогда было смущенное лицо.

Как-то ранним утром Сельби шла по дороге, подгоняя ослика. Он был чуть виден из-под огромного вьюка тутовых веток. Ослик вдруг испугался чего-то, метнулся в сторону. Вьюк свалился на землю. Сельби остановилась, беспомощно оглядываясь по сторонам,— одной ей поднять

[1] Чал — верблюжье молоко.

такой груз было не под силу. «Неужели развязывать и навьючивать снова?» — с тоской подумала девушка и в этот момент услыхала сзади быстрые шаги. Она обернулась. Джемшид! Сердце у Сельби замерло.

Джемшид подошел к ней и, не здороваясь коротко сказал:

— Держи ишака, сейчас подниму.

— Здравствуй, Джемшид.

— Что? — недоуменно пробормотал парень и вдруг покраснел.— Здравствуй. Как себя чувствуешь?

Вид у него был совершенно растерянный, и это придало девушке смелость.

— Меня зовут Сельби,— улыбаясь, сказала она,— давай познакомимся.

— А разве мы не знакомы? — удивился Джемшид.

Теперь покраснела девушка.

— Мы, конечно, знакомы, но просто я думала... ты же не знаешь моего имени... может быть, забыл...

— Я не забываю имена,— ответил Джемшид и, легко подняв вьюк, взвалил на ишака.

Не добавив ни слова и не попрощавшись, он быстро зашагал по дороге.

Через несколько дней Сельби увидела Джемшида на общем собрании. Он сидел далеко, но не отрывал от нее взгляда. Сельби кивнула парню. Джемшид радостно улыбнулся в ответ и уставился на сцену. Немного погодя девушка снова посмотрела в его сторону. На тот раз он не опустил глаза. Весь вечер она чувствовала на себе взгляд этого странного, не похожего на других парня и то и дело невольно оглядывалась на него.

«Я с ума сошла,— спохватилась наконец девушка.— Что люди подумают!» — и решительно отвернулась.

Но долго ли можно скрывать сердечную тайну? Парень теперь часто бывал в кишлаке, и очень скоро все поняли, что Джемшид и Сельби неравнодушны друг к другу. Хотя никто, конечно, не мог предположить, что они не только не заводили речи о любви, но вообще ни разу не поговорили толком.

Джанмурад удивляется

Джанмурад, младший сын Шамурада-аги, шел из школы. Подходя к дому, он услышал крик ишаков. Мальчик перестал бросать камешками в ворон и прислушался. «У нас гости»,— сразу решил он.

Во дворе паслось несколько ишаков со спутанными ногами. Мать суетилась у тамдыра, на правой руке у нее была большая стеганая варежка — ее надевают, сажая в тамдыр лепешки.

— Поди сюда! — крикнула она сыну, отведя ото рта яшмак.

Джанмурад повесил портфель на сучок и подошел к матери.

— У нас гости,— негромко сказала Марал-эдже,— пойди в кибитку, помоги отцу.

— Хорошо, мама.

— Подожди. Захвати-ка чуреки. Заверни только их в салфетку.

Джанмурад вошел в кибитку, вежливо поздоровался. Гостей было трое. Этих почтенных седобородых стариков Джанмурад и раньше иногда видел в доме. На костре, разложенном посреди кибитки, стоял большой кумган, вода в нем еще не закипела. «Гости пришли недавно»,— сообразил Джанмурад.

Мальчик знал, что эти люди приехали неспроста,— отец приглашает их, когда надо обсудить что-нибудь важное. Знал он также, что отец его не прогонит. Шамурад-ага считал недостойным советоваться с женой, это верно, а сыновья, что ж, подрастут, мужчинами станут...

Вода закипела. Джанмурад ловко подхватил кумган и снял с огня. Гости занялись чаепитием.

После нескольких пиал один из стариков, Мятчик-ага, откашлялся и заговорил:

— Да, Шамурад, не так все получилось, как мы ожидали.

Шамурад-ага понимающе улыбнулся:

— Ничего, Мятчик. Тут главное не уступить. Она на своем стоит, и вы ни шагу назад.

— Э, Шамурад...— Мятчик-ага снял мохнатый тельпек, вытер пот со лба, снова водрузил шапку на голову и сказал со вздохом: — Нет, Шамурад, чувствую, не выйдет наше дело. Эта женщина ничего знать не хочет. Не продам, говорит, свою дочь. И все тут.

— Что? — Шамурад-ага в изумлении поставил пиалу на кошму.— Так и сказала?!

— Это еще не все. Ты послушай дальше.

Шамурад-ага снова взял в руки пиалу.

— Я, говорит, если хотите знать, никогда не согласилась бы отдать свою дочь в эту семью, но что делать — дети полюбили друг друга, не мне им мешать. А о калы-

ме, говорит, и не заикайтесь... Такого от нее наслушались... Нет, с этой женщиной нам не столковаться!..

Шамурад-ага нахмурился, его темное, прокаленное каракумским солнцем лицо еще больше потемнело,— так темнеет в кибитке, когда солнце скрывается за тучей.

В этот вечер гости не засиживались, едва начало смеркаться, они быстро собрались и уехали.

«Чудной какой-то отец,— размышлял Джанмурад после ухода стариков.— Радовался бы, что калым не платить, а он обижается. Ведь так и деньги и скот у него останутся. А за калым, если узнают, судить будут».

Вечером мальчик услышал, как вернувшийся с работы Джемшид разговаривал во дворе с отцом.

— Тут что-то нечисто,— сердито говорил Шамурад-ага.— Хорошую вещь никто не отдаст даром. А если у вещи нет цены, у нее не будет и хозяина... Нет, сынок, не годится нам брать невестку без калыма.

— Эх, отец, не знаешь ты этой семьи...— со вздохом ответил Джемшид.

Дальше Джанмурад не слышал, его позвала мать.

За невестой

К свадьбе готовились уже несколько дней. Во дворе Шамурада-аги было шумно и беспокойно: блеяли бараны, приготовленные в награду борцам, ржали лошади, на которых должны будут ехать за невестой, недовольно кричала белая верблюдица, предназначенная нести свадебный паланкин.

И в такое время Джанмураду приходится сидеть над уроками! «Домашняя работа»,— написал он.— «Примеры тел цилиндрической формы». Мальчик потрогал левой рукой лоб и задумался: «Какие у нас дома есть тела цилиндрической формы?» Он окинул взглядом комнату, взглянул зачем-то на потолок, почесал макушку. Ничего подходящего в комнате не нашлось. Может, во дворе что-нибудь?

— Называется живем...— сказал он, безнадежно махнув рукой,— ни одного предмета цилиндрической формы!

— Чего ты там бормочешь? — сердито окликнула его Марал-эдже из кибитки.— Говорила, не сиди допоздна над книгой! Учиться тоже надо в меру, переучишься, никакой лекарь не поможет!

— Нашел! — вдруг закричал Джанмурад, указывая на голову матери.— Нашел!

— О, господи! — вздохнула мать.— Да что ж ты такое нашел?

— Цилиндр нашел! Твой борук — самый настоящий цилиндр, ты небось и не знаешь!

И Джанмурад, довольный, побежал записывать «приметы цилиндров».

«Не забыть ему в шапку талисман положить,— озабоченно глядя вслед сыну, подумала Марал-эдже.— Как бы не свихнулся ребенок».

Она осторожно заглянула в комнату. Мальчик сидел, склонившись над тетрадью. Мать постояла, поглядела на него и пошла в кибитку.

Невесело было в эти дни Марал-эдже, совсем не такое настроение должно быть у женщины перед свадьбой ее первенца. «Берешь девушку, смотри на мать»,— говорит пословица. Марал-эдже хорошо знала мать своей будущей невестки, а потому ничего путного не ожидала от брака. «Не будет нас уважать девушка из такого дома»,— не раз говорила она мужу. Однако Шамурад-ага был спокоен на этот счет: у настоящего мужчины любая девушка станет прекрасной женой. «Не чабана стадо пасет, а чабан стадо,— любил говорить он.— У хорошего пастуха и паршивая овца выправится, а нерадивый и доброе стадо загубит». Таково было твердое убеждение Шамурада-аги — будущего свекра Сельби.

Поехали за невестой.

В ауле все давно привозили невест на машине, но Шамурад-ага раздобыл где-то белую верблюдицу и соорудил на ней старинный свадебный паланкин.

У матери невесты, Миве-эдже, хлопотавшей над тушей только что зарезанного барана, глаза на лоб полезли, когда она увидела верблюдицу и колыхавшийся на ее спине паланкин.

— Да что же это такое?! — громко сказала она, чтобы все слышали.— Моя дочь человек, а не мешок с мукой, чтоб ее на верблюда грузить!

Она уже готова была в пух и в прах разнести своих новых родичей, но люди кругом улыбались, настроение у всех было праздничное, и Миве-эдже решила не портить свадьбу. «Хочешь переплыть Амударью, плыви по течению»,— вспомнила она слова мужа.

— Не расстраивайся, доченька,— прошептала она на ухо Сельби.— Стоит ли сердиться на причуды стариков.

Та невесело улыбнулась и кивнула головой.

Наспех отведав плова и выпив чаю, приехавшие за не-

вестой вынесли ее и опустили на палас, расстеленный посреди двора.

Тотчас же, как положено по обычаю, родственники невесты бросились к паласу, им надлежало получить выкуп — «право паласа». Обычно в этом месте обряда возникал спор между сторонами, родственниками невесты и гельнаджи, но сейчас ничего подобного не произошло. Поскольку Шамурад-ага брал невестку без калыма, он решил отыграться «на паласных», и родственники невесты были буквально осыпаны шуршащим дождем десяток. Они растерянно оглядывались, не зная, как теперь поступить. Выручил продавец из сельпо, балагур и весельчак:

— Молодец, Шамурад-ага! — весело крикнул он.— За эти деньги не только «право паласа», а и все конфеты с базы выкупить можно. Будет теперь праздник ребятишкам!

И, видя, что невесту уже понесли на паласе к паланкину, шутливо добавил:

— А не застраховать ли нам девушку?! На таком транспорте ездить рискованно, споткнется, чего доброго, верблюд, и плати Шамурад-ага кун[1] родителям невесты!..

— Помолчал бы! — грубо оборвал его один из гельнаджи.— На свадьбе ведь! Не соображаешь, чего несешь!

«Так я и знала, что будут смеяться,— в отчаянии думала Сельби, потея под толстым халатом.— Легко говорить «не обращай внимания», а вот попробуй не обращай». Она с трудом устроилась в тесном паланкине. Он дрогнул, накренился и стал медленно раскачиваться. Поехали.

Сердце у Сельби замирало, как в прошлом году, когда она впервые села в самолет. Но это был не страх, а какое-то другое чувство — неуверенность, растерянность перед неведомым... «Невеста»,— говорили все кругом. Она, Сельби, невеста!..

«Я знаю,— думала девушка, покачиваясь на спине верблюдицы,— заставят развязать кушак, снимать сапоги, наденут борук на голову. Ну и пусть, можно потерпеть немножко... кончится свадьба, и жизнь пойдет своим чередом. Будто я сейчас играю роль невесты в старинной пьесе. Даже интересно...»

Но Сельби явно переоценила свои артистические способности и очень скоро поняла это. Вокруг смеялись люди, ярко светило весеннее солнце, а она сидела, задыхаясь, в темноте, и нельзя было ни посмеяться, ни слова сказать,

---

[1] К у н — штраф, выкуп за кровь.

ни выглянуть из паланкина. И верблюдица, как назло, шагает еле-еле!..

Вдруг кругом зашумели сильнее, паланкин наклонился — верблюдицу поставили на колени. Сердце девушки забилось, как у пойманного кролика, мелко и часто: тук-тук-тук. Сильные руки подхватили Сельби и поставили на землю.

Она двигалась в душной темноте, с накинутым на голову теплым халатом. Кто-то держал ее за рукав. «Ведут, как слепую!» — с горечью подумала Сельби и закусила губу.

«Перешагивай!» — сказали рядом.

Сельби вспомнила, что дверь в кибитку низкая, и нагнувшись, переступила порог. Кто-то охнул, и женский голос прошептал злобно: «Говорила я, быть беде!» Сельби вздрогнула: «Ой, я же перешагнула порог левой ногой!» Настроение у нее окончательно испортилось. Теперь ей предстояло неподвижно сидеть в углу кибитки и слушать веселый свадебный гомон, приглушенный толстым халатом, закрывавшим ей голову.

Крепкий узел

Той удался на славу: пели бахши, борцы честно боролись за призы, гости строго оценивали искусство поваров, приготовивших плов. Сельби немножко повеселела. «Не надо падать духом,— уговаривала она себя.— Ведь совсем немного осталось потерпеть».

Но предстояли еще немалые испытания. Вскоре Сельби опять попала впросак: неприлично быстро ответила на вопрос, согласна ли выйти за Джемшида. Ее тотчас же осудили. «Ишь как замуж торопится»,— услышала она злорадный шепот.

Когда совершалось обручение, Шамурад-ага внимательно следил за муллой. Этот безбородый мужчина в модном коверкотовом костюме не внушал доверия — разве что по-арабски читал бойко, словно настоящий мулла. Но обряд выполнил как положено.

Сельби во время обручения заинтересовало совсем другое: кто-то неустанно щелкал ножницами над ее головой. Она знала, что это делается для того, чтобы уберечь их с Джемшидом от дурного глаза, и тихонько засмеялась: «Мы с Джемшидом! Как это удивительно!»

Мулла замолк, щелканье ножниц тотчас прекратилось.

Тетка Сельби взяла руку невесты и вложила ее в руку Джемшида. Рука была жесткая, но теплая, ласковая. Сельби очень хотелось пожать ее, но девушка знала, что этого делать нельзя. Тетка что-то бормотала над головой. Сельби разобрала только отдельные слова: «...носить... есть» и, наконец, «...достигнуть желаемого».

И вдруг перед ее лицом замаячил огромный коричневый сапог. Она вздрогнула и подняла глаза. Девушка знала, что должна снять этот сапог с ноги своего будущего мужа. Она схватила сапог обеими руками и стала тянуть на себя. Сапог не снимался. Сельби испуганно взглянула на Джемшида, но он отвел глаза.

«Песку насыпал!» — ужаснулась Сельби. Она готова была заплакать от обиды и смущения, но в этот момент погасла лампа. И сразу же оба сапога оказались в руках у Сельби, она ощутила быстрое прикосновение жестких пальцев Джемшида. Значит, Джемшид притворяется так же, как и она, играет роль строгого мужа: и песок насыпал в сапоги, и не посмотрел на нее ни разу — все должны чувствовать, что он настоящий мужчина. Сельби улыбнулась в темноте.

Зажгли лампу. Теперь Сельби предстояло развязывать кушак. Твердый, как камень, узел не поддавался. «Придумают же такие мучения! — злилась Сельби, вцепившись зубами в жесткий узел.— А еще поют: «Жизнь готов отдать, чтоб хоть раз увидеть любимую!»

И вдруг кушак ослаб. Мальчик лет тринадцати, похожий лицом на Джемшида, выскочил из-за его спины. «Разрезал,— обрадовалась Сельби.— Это мой деверь!»

Джемшид, зажав в кулаке неразвязанный узел и размахивая кушаком, как того требовал обычай, стал делать вид, что выгоняет гостей.

Когда все вышли, Джемшид подошел к двери, закрыл ее на крючок. Даже при слабом свете лампы было видно, как у него горят уши. Все так же не глядя на Сельби, он направился к столу, задул лампу. Стало темно. Джемшид подошел к невесте и несмело взял ее за руки. «Тук-тук-тук!» В руке у Сельби словно стучало сердце мужа, оно билось гулкими, частыми ударами.

Вдруг он схватил Сельби и поднял. «Тук-тук-тук!» — бешено колотилось его сердце.

Шум во дворе затих, «подслушиватели» ушли.

Обуздание

Вопреки обычаю подшучивать над молодоженами, над Джемшидом смеяться остерегались. Этот парень не станет отшучиваться, а просто схватит тебя в охапку и так швырнет на землю, что не сразу поднимешься.

На следующее утро после свадьбы Джемшид встал до рассвета, взял в сарае узду и пошел в тугаи, туда, где начинаются пески. Его ждали отец и какой-то старик с небольшой седой бородой. Джемшид его раньше не видел. Рядом пощипывал траву широкогрудый стреноженный конь.

— Вот этот,— кивнул Шамурад-ага.

— Ты только поосторожней, сынок,— озабоченно сказал незнакомый старик,— он норовистый.

Джемшид подошел к скакуну, погладил лоснящуюся шею и, в одно мгновение набросив узду, передал ее отцу.

Шамурад-ага держал лошадь под уздцы, а сын быстро наполнил песком большой мешок. Конь вздрогнул от неожиданности, когда на него взвалили груз, но Джемшид спокойно взял из рук отца уздечку и повел коня за собой.

— Да... — одобрительно произнес старик.

Поводив коня, Джемшид сел на него верхом. Скакун был спокоен.

— А нашим не поддавался,— ласково глядя на Джемшида, сказал старик и покрутил головой.

— И конь, и женщина, и собака чувствуют настоящего мужчину,— назидательно сказал Шамурад-ага , с довольным видом поглаживая свою черную блестящую бороду.

В полдень собрались женщины и девушки — предстоял обряд надевания борука и «обуздания жены».

Женщины в годах и старухи стояли по одну сторону от новобрачной, девушки и молодухи — по другую. Сразу же между ними началась потасовка, как положено по обычаю.

Сельби не раз видела такую борьбу, и смотреть на все это было очень весело, но сейчас она поняла, что это весело только со стороны, когда надевать борук предстоит не тебе.

Женщины сражались очень забавно и все хохотали, а в глазах у Сельби стояли слезы, и все кругом расплыва-

лось в тумане. Молодая женщина, казалось, уже чувствовала на своих губах прикосновение яшмака, который надолго прикроет ей рот.

И вот какая-то толстуха, прорвавшись через заслон девушек, сорвала с головы Сельби девичью тюбетейку. Ей надели борук. Позвали молодого мужа. Он подошел к Сельби и надел на нее узду, ту самую узду, с помощью которой утром усмирял коня.

Сельби сидела, закрыв глаза, ей хотелось только одного — провалиться сквозь землю.

Джемшид почувствовал это — сдернул с головы жены узду и, не глядя ни на кого, быстро вышел во двор.

Лицо Шамурада-аги на минуту приняло жесткое выражение, брови нахмурились, недобрым взглядом проводил он сына. Но тут же заставил себя погасить злые огоньки в глазах и, погладив бритую голову, улыбнулся гостям.

Поздравление

— Тетя,— позвал Сельби детский голосок. В дверях стоял мальчик, тот самый, брат Джемшида.— Это вам, тетя. Почтальон принес.

Сельби взяла у него из рук телеграмму.

«Поздравляю дорогую Сельби. Гюльджан».

Сельби вспыхнула: «Поздравляет! Понимает ведь, что раз я вышла за Джемшида, значит, надела яшмак. Уж не могла промолчать!»

— Тетя, я вас тоже поздравляю с праздником!

Сельби недоумевающе взглянула на мальчика. «Какой праздник?»

— Что вы так смотрите, тетя? Сегодня же праздник — Восьмое марта!

— Ой, совсем забыла! Спасибо! — Сельби облегченно вздохнула. «У меня здесь есть друг»,— радостно подумала она, снова вспомнив вовремя погасшую лампу и разрезанный кушак.— Как тебя зовут, милый?

— Джанмурад.

— Спасибо тебе за все, Джанмурад.

И Сельби ласково улыбнулась своему новому родственнику.

«Поняла, что это я тогда все устроил!» — обрадовался Джанмурад и, весело кивнув Сельби, побежал на улицу.

Возвращенный подарок

Не любит Шамурад-ага сидеть в кишлаке, приедет на неделю, а дня через два, глядишь, уже собирается обратно... Так и теперь. Сразу же после свадьбы сына Шамурад-ага уехал в Каракумы к стадам. Тихо стало в доме.

Все эти дни молодая сидела в своем углу и вышивала. В поле она больше не выходила. Ее не беспокоили, только несколько раз показывали гостям из дальних кишлаков. Сельби уже привыкла к мужу, и, если бы не злилась свекровь, ей жилось бы совсем неплохо. Молодая женщина понимала, конечно, что свекровь не должна с ней много разговаривать — так положено по обычаю, но не взглянуть ни разу, делать вид, будто невестки и нет в доме, такого обычая не существует, это Сельби знала твердо.

Да, не с добрым сердцем приняла Марал-эдже свою первую невестку, а тут еще эта история со свадебными подарками...

Как известно, сватам не удалось уговорить Миве-эдже взять калым, и тогда они стали уговаривать ее принять хотя бы подарки от сватов. На это Миве-эдже согласилась, но, в свою очередь, выговорила условие, что дочь возьмет в дом мужа свои личные вещи. Конечно, никому и в голову не могло прийти, что именно Миве-эдже подразумевает под этими словами.

Когда же перед домом Шамурада-аги остановилась трехтонка и с нее сгрузили стол, стулья, кровать, радиоприемник и прочие вещи, все поняли, что Миве-эдже перехитрила сватов.

Но все бы ничего, если бы среди «вещей невесты» не оказался дорогой ковер, который Марал-эдже послала Сельби под видом подарка, тотчас распустив слух, что этот дорогой ковер — часть калыма. Теперь Миве-эдже возвращала сватье подарок.

Увидев свой ковер, Марал-эдже чуть не лопнула от злости. У нее даже язык отнялся, несколько дней она не выходила из своей комнаты, прикидываясь больной.

Ухаживал за матерью Джапмурад, Сельби не осмеливалась показываться ей на глаза.

Через некоторое время молодожены перебрались из кибитки в дом. В доме Шамурада-аги было семь комнат, а жили только в двух: в одной хозяин с женой, в другой —

Джанмурад. В пяти остальных хранили кое-какие вещи, разводили шелковичных червей, зимой держали телят.

Сельби с воодушевлением принялась за побелку одной из комнат, но на душе у нее по-прежнему скребли кошки. «Что скажет свекровь?» — думала она, расставляя в чистой, сразу повеселевшей комнате кровать, стол, стулья. «Я все улажу, ты не волнуйся»,— сказал Сельби муж. Он так расхрабрился, что даже принес в комнату радиоприемник и установил антенну. Джемшид был уверен, что в конце концов мать примирится с этими новшествами.

Старинные песни

И правда, Марал-дже не сказала ни слова, она даже не заглянула в комнату невестки. Мать Джемшида, казалось, не замечала никаких перемен в своем доме. Лишь увидев на крыше антенну, оттянула в сторону яшмак и с остервенением плюнула.

Невестку она не допускала к хозяйству, и Сельби, которая никуда из дома не выходила, очень скучала. Только по вечерам ей было хорошо, когда возвращался Джемшид и они вместе с Джанмурадом устраивались у радиоприемника. Особенно любили они слушать старинные песни.

В часы, когда передавали песни, Марал-дже обычно сидела в кибитке за прялкой и слушала, слушала... Старинные мелодии, слышавшиеся из дома, словно уносили ее в далекий мир прошлого. Женщина забывала тогда и неудачную женитьбу сына, и немилую невестку с ее безобразными столом и кроватью и вся погружалась в сладостные воспоминания...

Вот она, пятнадцатилетняя Марал, дочь всесильного ишана, сидит с подружками у бассейна и слушает бахши. Поодаль расположились ее братья и тоже наслаждаются пением. Этот бахши — один из лучших певцов Лебаба[1]. Он молод, строен, глаза его горят, но у него нет песен о любви, он поет о мужестве, о храбрости, о заветах отцов и дедов.

Садясь на коня, молодой бахши всегда вешал на одно плечо дутар, на другое — одиннадцатизарядную

---

[1] Лебаб — бассейн Амударьи.

винтовку и, придерживая коня, бросал взгляд в сторону девушек.

И вдруг однажды почитатели бахши с изумлением услышали песню, которой доселе у него не было:

Истерзала меня любовь,
Вот начало начал, клянусь.
Ранит насмерть черная бровь,
Одержимым я стал, клянусь.

С этого дня бахши словно подменили, он стал петь только о любви.

Но песни о любви недолго раздавались под шатром. Дутар был разбит красноармейской пулей, а бахши и семье ишана пришлось уйти в пески. Переходя от колодца к колодцу, беглецы отбивались от красноармейцев, преследовавших их по пятам. И вот красноармейцы окружили их. Два дня шла ожесточенная перестрелка, а на третий день Марал стала невольной свидетельницей поединка. Оба противника — бахши и высокий юноша в красном халате и белом тельпеке — были умелыми рубаками, но бахши сначала не повезло: его конь споткнулся, и, воспользовавшись этим, красноармеец ударил противника саблей. «Трус! — крикнул молодой бахши, падая с коня.— Так ли сражались наши деды?!»

Марал видела: юноша в белом тельпеке покраснел и оглянулся: не слышал ли кто эти слова? В ту же секунду бахши вскочил на ноги и, держась за седло, рубанул саблей красноармейца. Юноша упал. Бахши вскочил на коня и уже поднял плетку, чтобы хлестнуть его, но в это время Марал выскочила из своего укрытия. Бахши улыбнулся девушке, сверкнув белыми зубами, и, наклонившись с седла, взял ее за руку. Невдалеке заржал конь. «Сейчас!» — крикнул кому-то бахши, отпустил руку девушки и, ударив коня плеткой, скрылся между барханами. Марал долго смотрела ему вслед.

— Воды! — раздался стон.

Марал обернулась. Парень в красном халате, приподнявшись на локте, глядел ей прямо в лицо.

Марал отшатнулась.

— Не бойся,— тихо проговорил раненый.

Выстрелов уже не было слышно. Марал присела около раненого и поднесла кумган с водой к его рту. Напившись, юноша благодарно посмотрел на Марал и пожал ей руку. Раненого этого звали Шамурад.

Давно это было. Давно забыла Марал и бассейн в доме отца, и красивого бахши, и его песни. И только теперь,

вновь услыхав песни, которые исполнял когда-то бахши, вспомнила далекую молодость.

Радио замолкало, а Марал-эдже долго еще не могла прийти в себя, видения прошлого обступали ее... Сонными, затуманенными глазами глядела она вокруг... В камышах завывали шакалы, казалось, это плачут дети...

Потом на веранде звякали ведра. Марал-эдже бросала веретено в угол и ложилась на постель. Но едва она закрывала глаза, как перед ней возникала все та же антенна, а в ушах слышался нахальный смех невестки. И сразу вспоминалась смертельная обида, нанесенная сватьей Миве-эдже.

Ее бесценный ковер сбросили с машины прямо на дорогу, а она стояла рядом и только чихала от пыли. Два года ткала Марал-эдже этот ковер, и люди не могли налюбоваться его узорами!

Старуха вздыхала и переворачивалась на другой бок. Но тут в боку что-то начинало колоть, словно в него упиралась острая антенна радиоприемника.

«Завтра же сдеру с крыши эту палку и разобью их дьявольский ящик!» — в который раз решала Марал-эдже и, представив себе разбитый на куски лакированный ящик радиоприемника, постепенно успокаивалась.

А назавтра снова сидела в кибитке, крутила веретено и ждала волшебных звуков, возвращавших ее в дни молодости.

Слушать старинные песни стало потребностью Марал-эдже. Когда в радиоприемнике перегорела лампа и он три дня не работал, старуха не находила себе места, хотя ни за что не призналась бы себе, что с нетерпением ждет, когда снова зазвучат песни...

В один из таких тоскливых вечеров старая женщина лежала в своей кибитке и смотрела вверх. В дымовое отверстие был виден кусочек неба и красные крупные звезды.

Огонь потух, стало совсем темно. Только иногда, когда в кибитку задувал ветер, в золе, словно подмигивая Марал-эдже, вспыхивал яркий уголек.

Это читала Сельби.

Марал-эдже вышла во двор и притворила за собой дверь. Подошла к веранде...

Довольно, сердце! Разомкни свой круг:
Я стражду в нем, как жалкий пленник в яме.
Жестокое, избавь меня от мук,
Не дай мне, сердце, изойти слезами.

— Подожди! — прервал ее голос Джемшида.— На террасе ходит кто-то,— может, шакал забрался?

Марал-эдже торопливо схватила ведро и загремела им.

— Это мама,— сказала Сельби.

Марал-эдже еще раз звякнула ведром и поставила его на пол.

— Подумать только,— проворчала она себе под нос,— каждый, кому не лень, читает Махтумкули! А как, бывало, подруги упрашивали ее почитать стихи — ведь, кроме нее, никто в округе не умел читать. Правда, книгу у них потом отобрали, потому что Марал решилась спросить у брата, можно ли им, девушкам, читать это стихотворение, то самое, что сейчас прочитала Сельби. Брат рассердился и сказал, что Махтумкули вероотступник, он принижает религию, учит, что любовь сильнее всего на свете, сильнее веры, сильнее рая и ада. Так может сказать только человек, попавший в лапы шайтана! Любить весь мир? Значит, я должен любить паршивого водоноса, разбойников, гяуров?! И книга исчезла. Девушки не должны читать крамольные писания вероотступника! А теперь каждый подросток читает Махтумкули! Ну, времена настали!..

Зная, что мать любит музыку, Джемшид не раз звал ее послушать старинные песни, но Марал-эдже сердито прогоняла сына. У нее не хватало духу подойти к проклятому ящику, полному колдовских звуков.

Не одобряла, ох, не одобряла Марал-эдже этих новшеств: радиоприемник, кровать, стол, зачем они нужны порядочному человеку?

Джемшид, правда, тоже не был уверен, что все эти вещи необходимы в доме, но раз Сельби хочет...

Обида

Приехал отец. Сельби сразу поняла, что Шамурад-ага в хорошем настроении,— из своей комнаты она слышала, как свекор громко шутит с Джемшидом.

Шамурад-ага снял в дверях сапоги, прошел на кошму и удобно расположился на ней, подложив под локти подушки. Жена тотчас принесла чайник. Шамурад-ага придвинул его к себе и занялся чаепитием.

Марал-эдже сидела у порога, дрожащими пальцами поправляя яшмак, в глазах у нее стояли слезы. Джемшид умоляюще посмотрел на мать. Шамурад-ага перехватил этот взгляд и повернулся к жене. Марал-эдже наклонила голову, шмыгнула носом и вышла.

— Обиделась она,— виноватым голосом объяснил Джемшид. Он помолчал немного и сказал, махнув рукой: — Ковер вернула Миве-эдже, тот, что послали вместо калыма. И сказала, что сваты могут, мол, не беспокоиться — она и без калыма не заберет обратно дочь.

Шамурад-ага осторожно поставил на скатерть дымящуюся пиалу и снял тельпек. В наступившей тишине явственно слышалось кваканье лягушек в арыке...

— Зря мама так переживает...— сказал Джемшид.— На каждую мелочь обращать внимание...— Голос его звучал неуверенно, он сам не верил тому, что говорил.

Шамурад-ага надел тельпек. «Разозлился, но не хочет подать виду»,— про себя отметил Джемшид.

Он боялся отцовского гнева, хорошо зная, что, если Шамурада-агу рассердить, он может, ни слова не говоря, собраться, уехать в пески и несколько месяцев не показываться дома. А это бывало очень тяжко для всех. Маралэдже ни с кем не разговаривала, никуда не выходила, и в доме стояла гнетущая тишина, словно семья была в трауре.

Шамурад-ага поднялся и снял со стены висевшую на ковре саблю. Эта старая сабля досталась ему от отца, а тот, в свою очередь, получил ее от деда.

Сабля была неприкосновенна для всех, кроме хозяина. В свои нечастые наезды домой Шамурад-ага иногда снимал ее, стирал пыль, смазывал и снова вешал на место. Старый чабан любил свою саблю, гордился ею. «В наше время мужчины сражались, глядя в лицо врага,— любил говорить Шамурад-ага.— А теперь... Стыдно сказать, стреляют в спину, прячутся за стены... Разве такой должна быть настоящая война?!»

Итак, Шамурад-ага стоял у стены с саблей в руках. Не спеша провел пальцем по лезвию, искоса глянул на сына...

«Неужели Сельби вытерла с нее пыль?!» — с ужасом подумал Джемшид.

— Это я, отец...— нетвердо произнес он, отводя в сторону взгляд.— Я вытер.

— Что? — Голос Шамурада-аги звучал почти зловеще.— Ты? Что ж, скоро и не то будешь на себя наговаривать! Тряпка! Грязная стелька в башмаке у жены! Врать начал! Забыл, что слова мужчины должны быть чисты, как песок в Каракумах, и тверды, как сталь?!

Джемшид молчал, до крови закусив губу.

Было тихо, только издалека доносился плаксивый вой

шакалов. Скрипнула дверь, и комната наполнилась вкусным запахом — это Джанмурад принес огромную, доверху наполненную пловом миску. Шамурад-ага замолчал и положил саблю на кошму.

Взяв таз и кувшин с водой, мальчик подошел к отцу, полил на руки ему, потом старшему брату. Марал-эдже села в стороне со своей отдельной миской.

Отец оправил дастархан[1] на ковре и огляделся, ища чего-то.

— Дай-ка вон ту бумагу, сынок.— Шамурад-ага показал Джанмураду на газету, которая лежала на сундуке.

Мальчик быстро встал, взял газету и замялся.

— Это сегодняшняя, папа... Еще не читали.

Шамурад-ага недоуменно посмотрела на сына, потом на жену.

Марал-эдже вскочила, метнула гневный взгляд на Джанмурада и, схватив газету, расстелила перед мужем.

Джемшид приподнялся, хотел было что-то сказать, но сдержался. На лбу у него выступил пот.

— Да что это, в самом деле?! Отца готовы сожрать из-за паршивой бумаги! На, развлекайся! — И старик швырнул газету прямо в лицо Джемшиду.

Тот пробормотал что-то и сунул злополучную газету под мышку.

С торжественной медлительностью, словно ничего не случилось, Шамурад-ага засучил рукава, произнес «бисмилла!»[2] и протянул руку к плову. Сыновья тоже принялись за еду. Однако насладиться вкусной едой им не удалось. Взяв три-четыре щепотки плова, Шамурад-ага решительно вытер пальцы о край скатерти. Джанмурад и Джемшид вынуждены были последовать его примеру. Глава дома произнес молитву и совершил салават[3]. Сыновья сделали то же самое.

— Полей-ка!

Джанмурад полил отцу на руки.

— Готовь хурджун! — коротко бросил Шамурад-ага. Он вышел во двор и стал отвязывать коня.

...Джемшид долго стоял, прислонившись к воротам. Топот копыт удалялся, словно растворяясь в глухом шуме реки... «Вскочить бы сейчас на коня,— с тоской думал

---

[1] Дастархан — скатерть.

[2] Бисмилла — начальные слова молитвы.

[3] Салават — особое ритуальное движение, которое производится в конце молитвы.

Джемшид.— Или пойти к рыбакам, посидеть с ними у костра!.. Только не оставаться дома!..»

Джемшид шевельнулся, газета зашуршала у него под мышкой. Он толкнул тяжелую калитку, вошел во двор.

Когда он поднялся к себе, Сельби ужинала. Джемшид бросил жене в подол скомканный газетный лист.

— Довольна? Не могла спрятать куда-нибудь?

Сельби удивленно взглянула на Джемшида и развернула газету. «Наши лучшие шелководы» — крупными буквами было напечатано на первой странице. И пять портретов. В середине, между фотографиями двух мужчин,— Сельби.

— А я не видела эту газету...— растерянно произнесла Сельби.— Откуда у них моя фотография? Я не давала... Может быть, в сельсовете взяли или у мамы...

— Не давала! Бесстыдница! Хоть бы отца постеснялась!

Джемшид выхватил газету, оттолкнул жену и выбежал на крыльцо.

Сельби замерла.

Громко хлопнула дверь за мужем, а Сельби все стояла, не в состоянии осмыслить того, что произошло. Она даже не чувствовала обиды, просто ничего не понимала.

Джемшид в это время сидел на сваленных во дворе бревнах и думал о том, что случилось.

Какой у Сельби ясный взгляд! В нем не было ни испуга, ни возмущения, только вопрос: «За что?!»

«За что я обидел Сельби? — про себя повторил Джемшид.— В чем она виновата? Ни в чем. И отец не виноват, и мама... Что же тогда происходит, почему не ладится у нас жизнь?»

До рассвета просидел Джемшид во дворе. Сельби тоже не спала, всю ночь пролежала без сна, не отрывая взгляда от двери. «Неужели он такой же, как отец? Неужели я в нем ошиблась? А может быть, он просто не любит меня?» — этот вопрос мучил молодую женщину, не давая сомкнуть глаз.

Не спалось в эту ночь и Марал-эдже. Старуха беспокойно ворочалась с боку на бок, проклиная Сельби. Столько надежд возлагала она на женитьбу сына, но невестка не принесла в дом счастья.

С работы Джемшид вернулся поздно. Постоял минутку во дворе, прислушался. В кибитке вздыхала и кашляла Марал-эдже. «Не спит мать»,— подумал Джемшид.

Сельби только что заснула и не слышала, как хлопну-

ла дверь. Когда она открыла глаза, муж снимал сапоги. Сельби тихонько повернулась к стене. Джемшид постелил себе на полу у сундука, лег и, глубоко вздохнув, укрылся одеялом.

За окном тоскливо выли шакалы, жалобно попискивала какая-то птица.

По дыханию Джемшида Сельби догадывалась, что он не спит, ей даже казалось, что она ощущает на затылке горячее дыхание мужа.

Разные чувства владели Сельби: обида, гнев, недоумение, но, пожалуй, самым сильным было желание, чтобы вопреки всему муж оказался сейчас рядом, взял ее за руки... «Иди ко мне! Не могу я так больше. Иди, Джемшид, я не сержусь»,— эти слова рвались у нее с языка, хотя она, вероятно, ни за что не призналась бы себе в этом.

— Сельби,— послышался тихий голос Джемшида.— Сельби...— Теплая, ласковая рука погладила ее волосы.

Письмо

«Здравствуй, дорогая Гюльджан! Получила твое письмо. Ты права, что недоумеваешь,— я по-прежнему осуждаю Кенгуль, надевшую яшмак, и тем не менее тоже его надела. Милая Гюльджан! Между мной и Кенгуль есть разница, и очень существенная: я вышла замуж за любимого.

Мне сейчас трудно, очень трудно, Гюльджан, но я не навечно закрыла рот яшмаком. Мое унижение кончится. Мы будем счастливы: я и Джемшид.

Приезжай, и все поймешь сама.

Твоя Сельби».

Гюльджан

Вот уже пять дней в доме Шамурада-аги мертвая тишина. Джемшид уехал к каналу, на новые земли, Джанмурад скоро неделя как в лагере, хозяин дома Шамурад-ага в песках со стадами. Во всем доме только Марал-эдже и невестка, нелюбимая невестка Сельби. Они не разговаривают по-прежнему. Раньше хоть Джанмурад служил связующим звеном, теперь Сельби должна догадываться, чего хочет от нее свекровь.

Сама того не замечая, Марал-эдже частенько любуется ловкой, спорой работой невестки. «Старается,— думает она,— хочет понравиться свекрови, мужу угодить. Да, бездельницей такую не назовешь, трудится не покладая рук, и лицо у нее светлеет за работой — с лентяями такого не бывает...»

Но в том-то и дело, что Марал-эдже не нравилось, когда у Сельби светлело лицо. Чем лучше у невестки было настроение, тем мрачнее становилось на душе у свекрови. Стоило Марал-эдже увидеть, что Сельби, опустив яшмак, с нежностью разглядывает ковер, как она еще выше поднимала свой яшмак и, нарочито громыхая ведрами, спускалась по ступенькам во двор.

Веселые огоньки в глазах Сельби сразу тускнели, но она старательно делала вид, что не замечает этих демонстраций.

«Ишь бесстыдница! — негодовала Марал-эдже.— Словно и не видит меня, гордячка!»

И старуха еще сильнее начинала громыхать ведрами.

За работой Сельби никогда не скучала, и день проходил незаметно, а вот ночью было плохо. Трепетали на стене неяркие блики керосиновой лампы, мрачно, словно вороненая сталь, блестели черные закопченные бревна потолка... Воздух в комнате тяжелый и липкий... Тяжко...

Сельби старалась побольше читать, чтобы отвлечься от нерадостных мыслей.

Был один из таких грустных, одиноких вечеров. Сельби постелила себе и уже хотела было ложиться, как вдруг лампа замигала и потухла. «Керосину надо налить,— подумала она, но, вспомнив, что бидон с керосином в кибитке у свекрови, отказалась от этой мысли.— Лучше засну поскорей».

Сон не приходил. Сельби казалось, что она заперта в сундуке — темно, душно. Вверху под крышей послышался какой-то непонятный шорох. Сельби вздрогнула. «Трусиха!» — выругала она себя.

Заснуть так и не удалось. Сельби вышла на веранду, села и, прикрыв подолом босые ноги, стала смотреть вверх. Где-то в бездонной глубине неба, разрезая его пополам, плыли зеленые звездочки — бортовые огни самолета... Потом они пропали...

Сколько звезд! «Счастливы, должно быть, люди, которые умеют читать в книге небес,— подумала Сельби.— А может быть, и вовсе несчастливы. Они ведь слишком от-

четливо видят, как безбрежен простор небес и как бесконечно мал человек... И жизнь человеческая всего лишь мгновение в бесконечной жизни вселенной. Нет, уж лучше не уметь читать в книге небес...»

Днем стояла жара, казалось, вся вселенная — внутренность огромного раскаленного тамдыра... Сейчас прохладно... И небо остыло, отдыхает... Изредка перемигиваются звезды, луна, только что поднявшись из-за реки, улыбается земле приветливо и чуть-чуть лениво.

«Нет, все-таки хорошо знать, что происходит в небесах,— вздохнув, решила Сельби.— Пусть трусы завидуют величию вселенной и думают о краткости человеческой жизни, а я не буду. Боящийся смерти умирает сто раз в день... Не буду я об этом думать!»

Снова проплыли по небу два зеленых огонька. «Полететь бы на самолете еще разок! Взглянуть оттуда на наш колхоз, покружить над Ашхабадом, над Москвой!..» И Сельби предалась мечтам.

Она так и заснула, сидя на веранде. Приснилось, что она летит на самолете, а внизу под крылом расстилаются зеленые поля. Вдруг мотор заглох, самолет стал камнем падать вниз. Грохот... Сельби закричала во сне, открыла глаза и увидела свекровь с ведрами в руках. Было уже светло.

Гюльджан, подруга Сельби, приехала к вечеру. Пока Марал-эдже открывала ей калитку, Сельби успела сбегать к себе, сбросить борук и яшмак, запрятать их под одеялами.

...Теперь Гюльджан каждый день приходила в дом Шамурада-аги, и не просто приходила, а, к ужасу Марал-эдже, приезжала на велосипеде. Едва до слуха Марал-эдже доносилось шуршание велосипедных шин, ее начинало трясти, как в лихорадке.

Высокая красивая девушка в широкополой соломенной шляпе, приветливо улыбаясь, спокойно проходила мимо нее, а старая женщина даже забывала поплевать себе на грудь, чтобы отогнать злых духов.

В трудном положении оказалась Марал-эдже, Гюльджан была гостья и к тому же пользовалась всеобщим уважением: «доктор Гюльджан» — звали ее в кишлаке. И родители у нее уважаемые люди. Отец девушки Довлат-мерген был Героем Советского Союза — это высокое звание присвоено ему посмертно. Обидеть Гюльджан, запретив ей навещать невестку, не было никакой возможности.

Однажды «доктор Гюльджан» принесла большой журнал с иллюстрациями и, усадив подле себя на веранде Сельби и Джанмурада, недавно вернувшегося из лагеря, стала рассказывать им о подготовке полетов в космос. Гюльджан нарочно говорила громко, она хорошо знала, что Марал-эдже тоже слушает, хотя, проходя мимо, каждый раз плюет себе на грудь и бормочет: «Спаси аллах!»

Гюльджан говорила о спутнике, об атомной электростанции, о сложнейших операциях, которые научились делать советские врачи, и каждый раз, словно невзначай, заводила разговор об отношениях между людьми, об истинном уважении друг к другу.

Гюльджан пришла и в тот день, когда из степи вернулся Джемшид. Мать успела уже рассказать ему о «бессовестном докторе» и о том, в каком она оказалась затруднительном положении.

Девушка поднялась на веранду и приветливо поздоровалась с Джемшидом. Он покраснел, от смущения чуть не захлебнувшись чаем,— не умел он разговаривать с молодыми женщинами.

А Гюльджан как ни в чем не бывало опустилась неподалеку на ковер и весело поглядела на Джемшида. «Угостить ее чаем? — в мучительной растерянности думал Джемшид.— Надо бы, конечно, но прилично ли мне пить чай с посторонней девушкой?»

— Чаю хочешь? — решился он наконец заговорить.

— Нашел, о чем спрашивать! Кто же откажется от чая в такую жару? — Гюльджан с улыбкой посмотрела ему прямо в лицо.

Джемшид подал девушке чай и сейчас же ушел в комнату.

Да, деды не так пользовались саблей...

Уж два дня из Каракумов непрерывно дул суховей. Раскаленный воздух, насыщенный невидимой песчаной пылью, сжигал листву. Небо висело низко, серое, словно запыленное зеркало, и солнце на нем казалось раздавленной огненной лепешкой.

Собаки, злые, разморенные жарой, не отходили от арыков. Даже воробьи потеряли обычную подвижность и попрыгивали лениво, широко открыв клювы.

Днем не работали, в поле выходили по утрам и к вечеру, когда жара немножко спадала. Спать можно было только завернувшись в мокрую простыню. Пуховые по-

душки, словно впитывающие в себя жару, в эти дни с отвращением отбрасывались.

«Каково-то сейчас отцу в Каракумах?» — не раз думал Джемшид.

И вот однажды под утро приехал отец — усталый, но оживленный, в хорошем расположении духа.

— Ну, как с жарой справляетесь? — весело спросил он, снимая чекмень и бросая его на руки сыну. И, не дожидаясь ответа, сказал: — Повезло нам, что река пришла, туго было бы сейчас в песках.

Рекой он называл Каракумский канал.

Шамурад-ага прилег на кошме, подложив под руки подушки. Потом снял тельпек, встряхнул его, посмотрел на Джемшида и снова надел на голову.

— Тебя, видно, совсем разморило! — сердито бросил он сыну.— Не замечаешь даже, что у отца новый тельпек...

— Поздравляю с новым тельпеком! — поспешил исправить оплошность Джемшид и, взяв из рук матери чайник и пиалу, почтительно поставил их перед отцом.

— Да, сынок, ты, видно, поглупел от жары,— уже более мягко продолжал Шамурад-ага.— Посмотри только — видел ты когда-нибудь такой мех? Не видел и не мог видеть. Завитки-то, а? И на голове его будто нет — легкий как пух!

Шамурад-ага привстал, снял тельпек и положил его перед собой так, чтобы можно было любоваться обновой, не меняя положения. Потом снова опустился на кошму и, поглядывая на тельпек, спросил:

— Для чего нужна человеку одежда? — И ответил сам себе: — Для красоты, а также для защиты от жары и от холода.

Все поняли, что отец в добром расположении духа, потому что философствовал он только в хорошем настроении.

— А какая, скажите, пожалуйста, польза,— продолжал Шамурад-ага,— от таких брюк, как у нашего зоотехника? Или китель шелковый — кому он нужен?! Ни от жары, ни от холода, одна видимость! Китель надо шить из чистой шерсти, тогда это вещь, единственная стóящая вещь из всей этой новой одежды. Да где вам понять! Чтобы убедиться в правоте моих слов, надо на коне пересечь Каракумы! И не раз! Одежда мужчины должна быть одеждой мужчины!..

И Шамурад-ага, сокрушенно покачав головой, разломил чурек.

— Отец,— поднял голову Джемшид,— если одежда нужна, чтобы защищать человека от жары и холода, зачем же нужно надевать борук и яшмак?

Шамурад-ага не спеша разжевал кусок чурека, проглотил его и взглянул на сына.

— Совсем ты чудной стал, как я посмотрю. Где ж это видано, чтобы человек носил борук и яшмак? Это женщины носят. И тоже не для красоты, не одежда красит женщину. Вот,— Шамурад-ага взял чурек и показал сыну,— лучшее украшение хорошей хозяйки. Хорошая хозяйка из ячменя вкусный хлеб выпечет, а плохая — пшеничный испортит. Потому и тает во рту этот чурек, что его пекла твоя мать...

— Сегодня чуреки пекла наша невестка.

Марал-эдже сказала это очень тихо. Сам того не подозревая, Шамурад-ага смертельно обидел жену — еще ни разу в жизни не слыхала она такой похвалы своей стряпне.

— Сельби новый ковер только что закончила. Хочешь посмотреть? — предложил отцу Джемшид, решив использовать его доброе расположение духа.

— Что ж, посмотрим.

Джемшид вскочил, собираясь принести ковер, но Шамурад-ага легко поднялся с кошмы.

— Не надо снимать ковер, туда сходить можно.

Шамурад-ага знал, что ковер висит в комнате Сельби,— первый ковер невестка обязательно повесит на стену для украшения своего нового дома.

Много ковров перевидал Шамурад-ага в своей жизни, удивить его было нелегко, но перед ковром Сельби старый чабан остановился изумленный.

Это был какой-то особенный ковер, его нельзя было отнести ни к текинским, ни к ямудским, ни к эрсаринским. Что-то очень знакомое напоминал этот ковер, но что именно, Шамурад-ага никак не мог вспомнить.

А! Старый чабан вдруг улыбнулся, сверкнув молодыми белыми зубами. Луг! Весенний луг ранним утром, когда распустились первые цветы и только что взошло солнце. В цветах сверкают капельки росы, в каждом тюльпане маленькая яркая радуга, ее можно увидеть, если лечь в траву...

Шамурад-ага сообразил, что стоит в дверях, преграждая путь другим, и посторонился.

Солнце осветило ковер. Маленькие радуги исчезли. Сейчас казалось, что чистая прозрачная вода неслышно

льется по цветам и разноцветные узоры тихо переливаются под ней.

— Да,— проговорил Шамурад-ага,— неплохо...

— Лю...бовь...— протянул Джанмурад и вдруг выпалил: — Любовь победит!

— Ты что? — обернулся к нему отец.— Чего бормочешь?!

— Да вон написано: «Любовь победит».

— Где написано? — озираясь по сторонам, раздраженно спросил Шамурад-ага.

— Да вон, отец! На ковре!

Джанмурад взял палочку и, подойдя к ковру, стал водить по нему.

— Видишь, написано: «Любовь победит».

— Правда, написано,— растерянно прошептал Джемшид.

Теперь и все видели. Из узоров ковра слагались буквы. Различить их можно было не сразу, но мальчик давно заметил букву «о», когда Сельби еще только принялась за работу.

— Разве на ковре пишут? — тихо, почти шепотом спросил Шамурад-ага.

Никто не ответил.

— Никогда не слышал, чтобы люди писали на ковре. Ни одна порядочная женщина не станет писать писем на ковре,— отчетливо выговаривая каждое слово, произнес Шамурад-ага. Голос его становился все громче.— И такое случилось в моем доме! Позор!

Шамурад-ага бросил гневный взгляд на Сельби.

— Добро бы написала что-нибудь путное! А то «любовь»! Уважающая себя женщина не станет говорить о любви. Это слово развратной дуры!

У Сельби, сидевшей в углу, потемнело в глазах, ковер вдруг закачался перед ней, стал почему-то полосатым...

Шамурад-ага сдернул ковер со стены, бросил на пол и быстрыми шагами вышел из комнаты. Через минуту он вернулся с саблей в руке.

Сельби содрогнулась: «Неужели разрубит!» Сабля свистнула в воздухе, но, лишь скользнув по блестящей поверхности ковра, отлетела в сторону. Шамурад-ага хотел поднять ее, зацепился ногой за ковер и упал. Тельпек свалился у него с головы.

Грозный свекор с его ястребиным взором и величественной осанкой показался сейчас Сельби мальчишкой, раз-

махивающим деревянной саблей. И нерушимые законы этого дома вдруг потеряли для нее всякую силу.

— Не так пользовались саблей наши деды и прадеды,— негромко произнесла она, взглянув на свекра.

Рука Шамурада-аги застыла в воздухе. Он обернулся, словно ища чего-то, и вдруг увидел глаза жены. Никогда раньше не видел он у нее такого взгляда.

И Шамурад-ага вдруг понял, что она слышала тогда в Каракумах слова, сказанные его раненым соперником. Слышала! «Позор тебе, Шамурад!» Старый чабан скрипнул зубами. Ударить лежачего, рубить саблей ковер, слушать упреки от невестки!

Глаза Шамурада-аги налились кровью. Он медленно огляделся, прислонил саблю к стене и, вынув из ножен кинжал, направился к ковру.

— Нельзя, отец! — раздался твердый голос Джемшида. Сын крепко схватил его за руку. Шамурад онемел, надсадный хрип вырвался у него из горла.

— Успокойся, отец,— сказал Джемшид, не отпуская его руки.

Шамурад-ага, изловчившись, отшвырнул от себя сына и метнулся к нему с кинжалом в руке.

— Лучше умри, чем быть женой своей жены! — крикнул он.

Сельби с диким воплем бросилась между ними.

Удар пришелся в плечо. Сельби показалось, что к ней прикоснулись раскаленным железом. Она вскрикнула и упала на ковер.

— Сельби!

Джемшид рухнул на колени. Поднимая жену, он почувствовал, что ее платье на спине насквозь пропиталось кровью.

Сборы

— Куда ты столько наложила! — прикрикнул на жену Шамурад-ага.— Что, там совсем не кормят? Вынимай половину лепешек, а вместо них положи рубашку и портянки.

Марал-эдже дрожащими руками достала из мешка узелок с продуктами, вытащила часть лепешек, завязала и снова сунула в мешок.

Веки у нее были красные, лицо опухло от слез, яшмак беспомощно свесился, словно парус в безветрие.

— Ну чего ты? — пробормотал Шамурад-ага.— С сыном ведь остаешься. А Джанмурад не ребенок, я в его годы отары пас.

По щекам у Марал-эдже потекли слезы.

— Опять за свое! Да перестанешь ты когда-нибудь! — Шамурад-ага сердито взглянул на жену и, отбросив в сторону подушки, уселся на кошме, скрестив ноги.

— Оплакиваешь, как покойника, а того не соображаешь, что больше пяти лет не дадут...

Марал-эдже заплакала в голос, упала лицом на мешок.

— Тьфу! — Шамурад-ага ругнулся и вышел из комнаты. Взяв в сарае лопату, он на минуту вернулся в дом, обернул кошмой саблю и направился за огороды. Пришел он через полчаса.

— Если спросят, где сабля, ты ничего не знаешь. Поняла? Я не хочу, чтобы сабля, доставшаяся мне от дедов и прадедов, попала в чужие руки.

Марал-эдже молча шмыгнула носом.

«Хоть бы уж забирали поскорее!» — мучился Шамурад-ага, сидя на пороге дома и ежеминутно поглядывая на калитку.

Наконец калитка скрипнула. Старик подкрутил усы, надвинул тельпек на лоб и принял независимо-спокойный вид.

Во двор быстро вошел Джанмурад, запыхавшийся, красный.

— Ну?

Вместо ответа мальчик схватил кружку и зачерпнул воды.

— Не смей! — крикнул отец.— Кто это пьет холодную воду потный?!

Джанмурад с огорчением поставил кружку и улыбнулся.

— Пап, они у Гюльджан...

— А...

— У Гюльджан, у докторши.

Шамурад-ага откашлялся.

— Гюльджан сказала, что через месяц заживет. Сама будет лечить.

От мокрой майки Джанмурада шел пар, мальчик снова взялся за кружку.

Отец сердито покрутил головой и, схватив тельпек, небрежно сунул его под себя, словно это был кусок старой кошмы.

«Вот это да! — удивился Джанмурад.— То мухе не дает сесть на новый тельпек, а то...»

— Это... как его... Кто еще там у докторши был?

— Никого больше не было. Ее мать только.

— А это... Милиции там не видел?

— Милиция? — недоуменно спросил мальчик.— Откуда же она у нас? Милиция в районе...

— Завари-ка чайку! — перебил его Шамурад-ага и поднялся. Увидел на полу свой новый тельпек, бережно поднял, отряхнул.

— Если спросят про саблю, ты никакой сабли не видел. Понял?

— Понял...— неуверенно протянул Джанмурад.— А почему?

— А потому! Спрашивает тот, кто хочет взять. Ничего не смыслишь, бестолковый! Сообразительный парень сам бы должен спрятать, а ты «почему»!

Джанмурад только теперь догадался, о чем беспокоится отец.

— Пап, ты зря боишься. Сельби просила докторшу, чтоб она никому не говорила. Докторша обещала, ты не бойся.

— Ничего я не боюсь, глупый! Иди чай заваривай.

Шамурад-ага все еще говорил строго, но мальчик заметил, что глаза его потеплели.

Гюльджан отдала подруге с мужем одну из своих двух комнат.

— Нам с мамой и одной хватит,— сказала она Сельби.— Живите здесь, домой вам никак нельзя.

Пришлось согласиться. Возвращаться к родителям действительно невозможно, а переселиться к теще Джемшид отказался наотрез: «Какой мужчина станет жить в доме жены?!» Довод был неопровержимый.

Прошло две недели. Сельби начала поправляться, но рука у нее все еще болела. Джемшиду приходилось теперь самому стелить постель себе и жене. Каждый вечер он закрывал на крючок дверь, старательно занавешивал окна и, нахмурившись, подходил к сложенной в углу постели. Потом брал ее в охапку, бросал на ковер и, что-то бормоча себе под нос, начинал стелить. Но вслух роптать не смел, видимо, чувствовал себя виноватым.

— Знаешь что,— сказала как-то подруге Гюльджан,—

сняла бы ты яшмак. Теперь самое время сбросить эту тряпку. Не надевай, и все.

Поколебавшись немного, Сельби стала иногда снимать яшмак. Джемшид стерпел, промолчал, хотя Сельби не раз ловила на себе его косые взгляды.

— Дома можешь хоть голой ходить,— с сердцем сказал он как-то, увидев ее без яшмака.— А на людях нечего срамиться!

Сельби вздохнула и заговорила о будущем ребенке — в последнее время это стало испытанным средством вернуть Джемшиду хорошее расположение духа.

— Назовем его Мурадом...— мечтательно сказал Джемшид, растянувшись на постели и задумчиво глядя в окно.

— Ну... Мурадов очень много,— недовольно протянула Сельби.

— А как? Попробуй найди имя лучше Мурада.

— Тахир.

— Еще чего! — Джемшид нахмурился. Имя Тахир он считал неподходящим для мужчины.

«Лижутся, как кошки!» — с презрением сказал он, послушав по радио передачу «Тахир и Зухра».

Сдержанный, даже суровый, Джемшид до сих пор ни разу еще не поцеловал жену. Сельби сперва обижалась и даже начала сомневаться в его любви, но потом поняла, что просто он так воспитан, ее Джемшид. Муж, правда, никогда не целовал Сельби, но сколько ласки было в его ладони, когда он гладил ее волосы! А то схватит на руки, прижмет к груди и шепчет: «Хочешь, я донесу тебя до Каракумов?» Руки и грудь у него были твердые, весь он дышал силой, но Сельби почему-то мгновенно охватывала странная слабость, сердце замирало, начинала кружиться голова. В такие минуты глаза Джемшида теряли свою обычную мягкость, в них появлялись быстрые, стремительные огоньки... Сердце начинало гулко стучать у самого уха Сельби. «Господи, у него сейчас лопнет сердце!..» — думала она и словно падала в пустоту.

Для чего живет человек

Плохо сейчас в одиноком доме среди камышей. Душная тишина кругом. Серые стены дувала, казалось, сдавили двор со всех сторон, и воздух здесь какой-то особенный, густой, тяжелый...

Даже жирный, откормленный баран, вроде бы мало

приспособленный к тонким эмоциям, и тот не выдержал — заблеял грустно, жалобно...

Марал-эдже в странном состоянии, не то чтобы нездорова, но как-то ей не по себе: кажется, что кровь течет медленно, с трудом проталкиваясь в жилах, а сердце словно стискивает чья-то мягкая, но сильная рука.

За свои пятьдесят лет Марал-эдже всякое видела, отведала и горького и сладкого, болела не раз, но так, как теперь, никогда еще себя не чувствовала. Все время у нее такое ощущение, словно она должна вспомнить что-то очень важное и это ей никак не удается...

Наконец Марал-эдже поняла, что это. «Внук!» Вся боль, тоска, тяжелое томление последних дней вылились в одно это слово, светлое, радостное слово — «внук»!

Сын ее первенца Джемшида, черноглазый мальчуган с теплым ласковым тельцем! Он не будет жить в этом доме, не будет в короткой рубашонке бегать по этому двору.

Иногда со стороны кажется, что человек живет только сегодняшним днем, прожил день — и ладно. Но это не так, почти у каждого в глубине души теплится светлая надежда, мечта о большой радости...

А вот у Марал-эдже нет теперь этого радостного ожидания, нет надежды...

По вечерам, склонившись за уроками, Джанмурад ловил на себе взгляд матери. Усевшись в углу, подолгу с тоской глядела она на своего младшего: «Скоро и этот уйдет...» Мальчику становилось не по себе, он забирал книгу и устраивался в другой комнате, а мать долго еще сидела в своем углу, устремив взгляд на огонь. Потрескивал фитиль в лампе, собираясь погаснуть, но Марал-эдже ничего не замечала, погруженная в воспоминания. Какие чудесные они были маленькими, Джемшид и Джанмурад, и как она была тогда счастлива...

Марал-эдже все чаще задумывалась над словами Гюльджан о равенстве мужчины и женщины. «Зачем нужно, чтобы один человек унижал другого? — говорила девушка.— Ведь если человек мучает другого, ему и самому нет счастья. Одну только жизнь мы живем, к чему же придумывать себе лишние мучения?»

Слова эти жили в сознании Марал-эдже, словно оводы кружились они вокруг нее, не давая покоя.

Девушка говорила еще, что, если судить по шариату, она, Гюльджан, страшная грешница — одевается по-новому... А ведь она вылечила многих людей, облегчает их страдания, и совесть ее чиста. Да, что-то тут не так...

«Греховные» мысли все сильнее овладевали Марал-эдже. Со страхом замечала она, что все с большим и большим удовольствием украдкой от сынишки слушает радио.

Однажды Джанмурад включил у себя радио и вышел на веранду, оставив дверь в комнату открытой. Мать сидела на пороге, устало прикрыв глаза, безучастная ко всему на свете, казалось, она дремлет. Но, когда мальчик, вернувшись, осторожно выключил приемник, мать вздрогнула и вопросительно взглянула на него.

«Ага! — обрадовался Джанмурад.— Слушаешь! Теперь понятно, почему ты гонишь меня из этой комнаты, когда передают песни!»

На следующий день, забежав к Сельби, он рассказал о своем открытии. Сельби улыбнулась и посоветовала мальчику поймать какую-нибудь передачу на арабском языке. Джанмурад так и сделал.

Услышав, что радио говорит на священном языке Корана, Марал-эдже перестала бояться этого красивого лакированного ящика и уже спокойно слушала песни, попивая чай в комнате сына.

Стеснительный парень

В сентябре Гюльджан уехала. В сельской больнице она работала во время каникул, а теперь вернулась в Ашхабад кончать институт. Сельби и Джемшид остались с матерью Гюльджан — Огулшат-эдже. Джемшид быстро освоился в этом гостеприимном доме, а к Огулшат-эдже привязался, как к матери. Он не мог надивиться ее веселой приветливости, свободному, ласковому обращению с людьми.

Общительная женщина стала даже ходить в гости к Марал-эдже, и Джанмурад передавал, что матери по душе эти посещения. «Подход имеет к маме!» — многозначительно сказал он старшему брату.

На Новый год Огулшат-эдже собрала гостей. Их оказалось много, все пришли с женами. Первой протянула руку Джемшиду молодая учительница Хурма. Джемшид, никогда в жизни не пожимавший руку чужой женщине, удивленно посмотрел на нее.

— Ты чего? — произнес он в полной растерянности.

Хурма покраснела.

— Ничего! Хотела поздороваться с тобой, а теперь не хочу! — ответила она.

Все засмеялись.

Дальше дело пошло лучше. С женой монтера Махтума Джемшид поздоровался уже более непринужденно, даже справился о здоровье ее и детей. Но тут возникло новое, непредвиденное осложнение.

— А где Сельби? — спросила одна из женщин, оглядывая собравшихся.

— Она сейчас выйдет.

— Сельби, иди сюда! — крикнула Огулшат-эдже, приоткрыв дверь в другую комнату.

Никто не отозвался. Хозяйка пошла за Сельби, но минут через пять вернулась одна. Лицо у нее было смущенное.

— Ты бы поговорил с женой, Джемшид...

Сельби лежала на кошме, обвязав голову полотенцем.

— Ты что? — обеспокоенно спросил муж.

— Голова болит.

— Голова?.. Эх, некстати... А может быть, все-таки выйдешь? — помявшись, спросил он.— Там все собрались...

Сельби промолчала.

Вечер начинался невесело. Даже Махтум не шутил, как обычно, а скромно сидел в углу, усиленно дымя папиросой.

Джемшиду не хотелось ни есть, ни пить, он не смел поднять глаза на гостей. «Подумают ведь, что это я не выпускаю жену к людям. Презирать будут,— с горечью подумал он.— Только Огулшат-эдже знает, что я не виноват». Он с надеждой взглянул в лицо хозяйки.

— Ничего, Джемшид! — ободряюще кивнула ему Огулшат-эдже.— Голова у жены пройдет, все будет в порядке.

Но Джемшиду было нестерпимо сидеть среди гостей, и он только искал предлог, чтобы уйти.

— Извините,— пробормотал он наконец, так ничего и не придумав,— я пойду.

— Стеснительный парень,— усмехнувшись, сказал тракторист Сахат, как только за Джемшидом закрылась дверь.— Не привык еще, видно, к людям...

Сельби лежала в той же позе. «Хорошая женщина Огулшат-эдже»,— с благодарностью подумал Джемшид, увидев около постели жены тарелку с пловом и чайник. Сельби слабо улыбнулась мужу. Он ответил ей радостной улыбкой и, сняв сапоги, подошел поближе. «А может, и не болит совсем у нее голова? Просто яшмака своего стыдится? Нескладно как-то получается...»

За стеной весело смеялись гости.

Шли дни. Джемшид купил мотоцикл и на работу ездил только на нем. Работал он теперь далеко, на стройке.

Сельби заканчивала ковер. Из дому она никуда не выходила, если приглашали в гости, отказывалась.

Раньше Джемшид не увидел бы в этом ничего особенного, но после новогоднего вечера стал внимательнее. Почти не бывая на воздухе, Сельби все больше бледнела, и это всерьез беспокоило Джемшида. В конце концов он решил поговорить об этом с Огулшат-эдже.

— Господи! — удивилась женщина.— Дело-то проще простого. Неужели ты до сих пор не сообразил, что стыдится она па люди показываться?

— Чего ж ей стыдиться?! Слава богу, не хромая, не кривобокая!

— Не кривобокая! А ты подумал, каково ей перед сверстницами в яшмаке щеголять?!

Джемшид нахмурился, помолчал минутку...

— Что ж, она одна, что ли, яшмак носит?

— Почему ж одна, и другие некоторые носят — старухи!

— А лучше, если будут говорить, что жена Джемшида бегает с голой шеей? — повторяя слова, слышанные когда-то от отца, мрачно спросил Джемшид.— Надоело быть порядочной женщиной?!

— Что?! — Огулшат-эдже изумленно посмотрела на своего жильца.— Порядочной женщиной? — переспросила она, угрожающе наступая на Джемшида.— Значит, я, потвоему, не порядочная, раз без яшмака хожу? Хорошо ты людей оцениваешь — ничего не скажешь! И добро бы старик безграмотный был, а то молодой парень, передовой работник!

Только сейчас Джемшид сообразил, что обидел пожилую, уважаемую женщину. Огулшат-эдже продолжала что-то сердито говорить, но Джемшид, уже ничего не понимая, бессмысленно глядел ей в рот. Потом лицо его скривилось в жалкой мучительной гримасе, он молча повернулся и, у двери еще раз взглянув на Огулшат-эдже, вошел к жене.

«Не побил бы он Сельби!» — встревожилась Огулшат-эдже.

— Давай сюда яшмак и борук! — услышала она голос Джемшида.

Через минуту он выбежал из комнаты и стремительно бросился к печке.

Когда Джемшид, оторвав взгляд от огня, поднял голову и с болезненной улыбкой взглянул на Огулшат-эдже, губы у него дрожали. Огулшат-эдже ободряюще кивнула Джемшиду и, чтобы не смущать его, вышла из комнаты.

Джейхун

В марте, когда стало совсем тепло, Джемшид начал строить дом. Собственный дом на новом участке, который ему дали в колхозе. Друзья помогли ему, и, когда зацвел урюк, строительство было закончено.

— Ну вот, у нас теперь свой дом,— сказал Джемшид, беря за руку жену, задумчиво облокотившуюся о перила веранды.— Есть где справить той в честь рождения сына.

Сельби не ответила, улыбнулась молча. «Почему он так уверен, что будет сын?»

— У нас обязательно должен быть сын! — словно прочитав ее мысли, быстро сказал Джемшид.— Ты уж постарайся, Сельби! — очень серьезно добавил он.

Сельби снова загадочно улыбнулась.

— Смотри, к нам летит, а не слышно.— Сельби указала мужу на сверкающий в небе самолет.

— Быстрее звука летит. Вот и не слышно.

— Полетать бы на таком!..— Сельби вздохнула.— Пронестись над Ашхабадом, над Москвой...

Джемшид махнул рукой.

— Разве туда долетишь?!

— А что особенного?! — отозвалась Сельби.— Пять часов туда, пять — обратно. Вот закончу ковер, получим деньги и обязательно слетаем в Москву.

— А ведь правда! — по-детски обрадовался Джемшид.— Может, получится! Тогда после уборки, ладно? И сына с собой возьмем! Возьмем?

Джемшид вдруг обхватил жену за плечи, заглянул ей в глаза и крепко поцеловал.

— Джемшид! С сыном тебя! Поздравляю! — закричал Махтум, подкатив на велосипеде к строящемуся клубу.

Джемшид стоял на лесах — заканчивали кладку второго этажа.

Услышав крик Махтума, он быстро положил кирпич, ухватился за ветвь тополя, росшего рядом, и, спрыгнув на землю, бросился к своему мотоциклу.

— Эй, ты куда? — крикнул Махтум вслед затарахтевшей машине.— А где подарок за добрую весть?!

— Барашек за мной! — Голос Джемшида потонул в оглушительном треске мотора.

В родильном доме сына ему не показали, пообещали вечером поднести к окну. Вечером! А что делать сейчас? Куда деваться со своим счастьем?!

Джемшид снова вскочил на мотоцикл. Радость не вмещалась в сердце, затопляла его всего, казалось, что все счастливы вокруг и всем не терпится поздравить Джемшида Шамурадова, у которого родился сын. Настоящий сын!

Джемшид был уже далеко за кишлаком. Навстречу по обеим сторонам дороги бежали тополя, а пыльный ветер обволакивал его своим горячим дыханием. Но вот зеленая изгородь тополей вдоль дороги кончилась, и мотоцикл вынес Джемшида в степь. Он едва успел затормозить у самого берега Джейхуна.

Не понимая толком, как он попал сюда, Джемшид стоял на берегу могучей реки со своей безмерной, не умещающейся в груди радостью...

— Салам, Джейхун! — громко крикнул Джемшид.— Джейхун! — радостно повторил он.— Джейхун! Так будут звать моего сына!

«Джейхун! — ликовал Джемшид, подлетая на своем мотоцикле к отцовскому дому.— Нашлось имя моему сыну! И какое имя! Это тебе не Тахир!»

Как только Джемшид поставил мотоцикл во дворе отцовского дома, на дороге заржал конь и над дувалом замелькала папаха старого Шамурада-аги.

— Поди сюда,— подозвал Джемшид младшего брата,— беги скажи отцу, что у него родился внук!

Джемшид не слышал, что говорил братишка отцу, но радостный возглас Шамурада-аги услышали, наверное, и в доме.

— Спасибо, сынок! Велосипед тебе подарю за добрую весть!

Шамурад-ага спешился, снял с седла узорчатый хурджун, неторопливо достал из него узелок.

— Невестке,— сказал он, подавая сверток старшему сыну.— Подарок от свекра.

Джемшид развязал узелок. В нем оказался браслет с двенадцатью рубинами и старинные серебряные украшения. Подарки были очень хороши — Джемшид никогда не видел такой удивительной чеканки,— и самыми красивыми среди них были украшения для борука.

Бердыназар Худайназаров

р. 1927

«Сормово-27»

И этот день начался так, как обычно начинались дни летнего кочевья. Сгрудившиеся ночью овцы звучно жевали влажную траву. Кульберды-ага, мерно шевеля губами и пальцами, совершил утренний намаз, а рядом старый верблюд меланхолично двигал челюстями, пережевывая жвачку.

Союн заварил зеленый душистый чай в двух чайниках, крашенных старинными узорами, прикрыл стареньким чекменем. Поставил жгуче-синие пиалы — теперь в магазинах не встретишь на пиалах такого густого и сочного цвета...

После молитвы отец подошел к очагу в хорошем настроении.

— Вот и лето прикатило,— сказал он, поглаживая окладистую бороду.— Месяцы, годы льются быстрее, чем вода с рук при омовении. А когда я в твои годы чабанил отару Анга-бая, время плелось, как хромая верблюдица.

Закончив в молчании чаепитие, отец и сын обошли, осмотрели стадо. С краю лежала тучная овца с белой полосою на лбу, с тавром на правом ухе, жирный ее курдюк расплылся.

— Если Мурадли принесет радостную весть, тьфу, не сглазить,— сказал Кульберды-ага,— зарежем. Раздобрела!

Союн смутился.

Отец поднял отару.

Мурадли пришел из деревни после обеда, круглое его лицо так и сияло.

— Где мой бушлук?[1] — закричал он Союну.

Тот только что привез с колодца пресную воду и сейчас снимал с верблюда сбрую.

— Посмотри мне в лицо! Ну-ну, такому застенчивому молодая жена не даст покоя: глаза-то ее острее твоих. Подтянись! В следующую пятницу прижмешь к груди красотку. Имей в виду, возьму шитый золотом халат — либо лучшего барана на выбор.

— Ай, получишь, получишь,— пробормотал Союн, вырываясь из его крепких объятий.

Вечером пастухи пировали. Сладкий запах жареного мяса щекотал ноздри. Вода в остроносых тунче[2] булькала, клокотала так задорно, словно посмеивалась над вовсе очумевшим от счастья Союном. Отец и Мурадли беседовали у очага, обнесенного с наветренной стороны связками камыша.

— Кульберды-ага, ведь вы полгода не были в ауле,— заботливо сказал младший чабан Мурадли.— Вот после свадьбы Союна и отдохните. А мне колхоз пришлет парней в помощь. Не беспокойтесь.

— Все-таки, сынок, за отару боязно...— Взгляд старика упал на дутар в чехле.— Э, да ты всерьез готовишься к свадьбе Союна! Ну-ка, прочисть музыкой чабанские уши, забитые песком.

Мурадли не заставил себя упрашивать, подмигнул Союну, пробежал пальцами по струнам, мелодично ему откликнувшимся.

— Да продлится жизнь твоя, блесни искусством,— подбодрил певца Кульберды-ага.

Раскачиваясь, словно заяц перед прыжком из-под куста саксаула, Мурадли завел высоким сильным голосом:

Тебе говорю, Баба Равшан:
Не связывайся со мною.
Рухнешь, потеряв сознанье.
Прославишь мою удаль.
— Угадал бесенок.
Живи тысячелетие!

Эту песенку Мурадли пропел так пронзительно, звонко, что испугался, как бы не сорвать голос, и продолжал потише:

---

[1] Бушлук — дословно: радостная весть, в обыденной речи — подарок за радостное известие.

[2] Тунче — самодельные, клепанные из листового железа котелки.

Между четырнадцатью и пятнадцатью годами
Быстро зреют твои яблоки, девушка:
Исстрадаюсь, но вкушу блаженства:
Сожму яблоки рукою, прилягу рядом.

У Союна от волнения прервалось дыхание. Напряглись на висках жилы: так весною по песку струятся зеленые гоири[1].

Нахальный Мурадли, устало перебирая струны, ухмылялся, ехидно на него посматривал.

— Что-то случилось с казаном,— вдруг насторожился Мурадли,— не заледенел ли?

— Сынок, самой сладкозвучной песней не насытишься,— благодушно напомнил и Кульберды-ага.

Союн с виноватым видом убежал к очагу, к пыхтящей и сопящей в котле душистой жирной баранине. Подавая мясо и чай, он заметил:

— Погода-то портится.

— Не беда! — беспечно воскликнул Мурадли.— У нашего Кульберды-ага грудь широкая, заслонит всю отару.

Отец наградил шутника благосклонной улыбкой.

Однако к полуночи небо почернело, примчавшийся из степи ветер могуче дунул в очаг, взвились искры. Вспотевшие от обильной трапезы пастухи переглянулись: ветер был влажный, с дождевым душком. Кульберды-ага велел осмотреть отару. Овцы лежали, плотно прижавшись к земле, ни одна не поднялась.

— Бог не выдаст, свинья не съест,— бодро сказал Мурадли, засыпая.

Через час ветер усилился, но уснувшие каменным сном в шалаше чабаны не услышали воя песчаной бури, не заметили, как несколько овец убежали в степь, толкаемые ударами ветра.

Утром пастухи пересчитали отару, не хватало двадцати семи овец. Кульберды-ага огорчился; он решил принять вину на себя: старшему не полагалось бы спать. Он велел Союну готовиться к отъезду в деревню, сказал, что сам обойдет становище, чтобы найти ночные следы пропавших овец. «Вернусь, дай бог, до солнцепека, и после чаепития поедем в аул...» И наполнил водою бутыль, обернутую кошмой.

Но ветер успел заутюжить следы, и чабан долго чесал затылок, размышляя: «Что за оказия? Овцы не должны были оторваться от стада. Ветер западный,— значит, они лежали мордами к востоку. Кто их поднял? Почему бегля-

[1] Гоири — растение, весной растущее необычайно быстро.

нок не вернули сторожевые псы?» Солнце поднялось так, что вскочивший на плечи самого высокого человека самый высокий человек не дотянулся бы; одиннадцать часов. Тени сузились. Земля накалилась, дышала жаром.

Конечно, двадцать семь овец не урон многотысячной отаре, но эти двадцать семь голов колхозные. И Кульберды-ага пошел на восток. Если овцы лежали мордами к востоку, следовательно, они и побежали туда. Чабан ругал себя за самоуверенность — самый непростительный порок. Во рту пересохло. Надо было выпить топленого масла две ложки. Не догадался. А ведь это лучшее средство от жажды... Кульберды-ага неутомимо шагал с бугра на бугор, но ветер успел старательно замести все следы колючей метлой. С визгом разбегались суслики. Ящерицы сидели на ветвях кандыма, следя бисерными глазками за движением солнца. Степь была зловеще пуста.

Старик раскаивался, что ушел из коша налегке. Гордыня, однако, не позволила ему вернуться, и он уходил все дальше, все глубже в степь.

Союн и Мурадли не беспокоились до обеда, укладывали пожитки. К вечеру страх охватил их души. Беспечный Мурадли уговаривал и себя и друга: «Ага наткнулся на чью-то отару и остался там переночевать».

На всякий случай разожгли высокий костер и всю ночь подбрасывали в пламя сучья, охапки камыша, но Кульберды-ага к путеводному огню не вышел.

Едва забрезжил рассвет, Союн навьючил на молодого резвого верблюда хурджины с водой и пустился на поиски отца. Мурадли остался с отарой.

Песчаные холмы напоминали море с разбушевавшимися, высоко взметнувшимися и как бы застывшими валами. Знойный воздух переливался, словно расплавленное стекло. Кульберды-ага лежал, уткнувшись лицом в песок и вытянув правую руку,— он будто надеялся дотянуться до воды и зачерпнуть пригоршню. Старый чабан в предсмертный час знал, что здесь нет никакого моря, что это мираж, и все-таки верил, что перед ним море.

Двадцать лет прошло с тех пор.

Глава первая

Далеко-далеко на востоке край неба побагровел, словно раскаленное дно только что слепленного тамдыра. Над огромной отарой широко пронесся властный окрик:

«Р-ррайт-ов-ша-аа!..» И тяжелое стадо тотчас свернуло вправо, подчиняясь сильному голосу Союна.

Он и младшие пастухи Сахат и Хидыр стояли на холме и любовались выкатившимся в степь огненно-золотистым шаром. Утро в Каракумах короткое, но нежное, спокойное. Тот, кто не бывал в Каракумах, никогда не представит себе этого скоротечного великолепия.

Сахат был крепенький, с маленькой бородкой; лицо обгорелое. У Хидыра усы и борода чуть-чуть пробивались, глаза смотрели мечтательно.

Степные жаворонки вылетели на утреннюю прогулку, сделали плавный круг над чабанами: «Джуйн... джуйн... джуйн» — и молниеносно скрылись за холмами.

Проводив задумчивым взглядом вольных странников, Союн сказал себе: «Жаль, что люди не понимают птичьих напевов. Ведь, может быть, жаворонки горько сетуют на какие-то свои беды. Понял — помог бы». И повернулся к молодым чабанам:

— Щедрая степь моя! Кормилица и утешительница.

Сахат носком чокая выковыривал из песка сухой ствол созена[1].

— Поздно спохватился. Это благодатное кочевье выкормило твое богатырское тело, закалило душу. Здесь, у отары, ты нажил счастье, богатство, знатное имя, уважение друзей. И вот решил все бросить.

Союн не ответил, передернул лопатками.

— Ага, приказывать тебе мы не умеем, просим,— сказал Хидыр.— Нигде ты не встретишь такого дивного рассвета. Да только ради этого нельзя расставаться со степью.

После долгого тягостного молчания Союн спросил:

— Так вы о чем это?

Сахат не заставил себя ждать:

— О том, что твоя затея — дело пустое. У каждого из нас свой удел в жизни. Ухватился за ветку, а ветка хрупкая... Мы, чабаны, ценимся у овечьего хвоста. На канале нас засмеют. Вот что хочу сказать.

Хидыр испугался, что старший чабан сейчас стукнет дерзкого Сахата по шее и завяжется рукопашная. Нрав у Союна горячий. Хидыр не забыл, как ему, подпаску, Союн влепил пощечину: не спи днем у отары. А что поделаешь — подростка жара сморила... И Хидыр попросил Сахата:

[1] Созен — кустарник песчаных пустынь.

— Уймись. Будет тебе! На канале всем хватит работы, так говорили. И там учат ремеслу на курсах, в школах. Значит, можно получить специальность. Потому откажись от колких слов.

— Нет, зачем же,— примирительно сказал Союн.— Пусть говорит. Всегда надо идти в открытую.— Он вытащил цветной, старенький, пропитавшийся потом платок, связанный из длиннокудрой осенней шерсти молодого барашка, вытер влажный лоб, затылок. Посмотрел на горстку золы, мелкие угли у корней сосена, усмехнулся.— Помнишь, Хидыр?

— Еще бы не помнить! — засмеялся парень, радуясь, что гроза миновала.— Я сжег коробок спичек, а костер все-таки не занялся. Вы, дядюшка, стояли, вот как сейчас, и зло следили за моими неловкими хлопотами. Однако мы в тот день остались без чая. А теперь...

— Теперь ты одной спичкой на сильном ветру разжигаешь костер,— многозначительно заметил Союн.

Сахат вдруг с безнадежным видом махнул рукой и ушел к отаре.

Проводив его снисходительной улыбкой, Хидыр сказал:

— А помните, дядюшка, как ночью хлынул весенний дождь и по песку кто-то расстелил пестрый ковер. Цветы были красные, белые, синие, даже черные. Такого изобилия цветов я раньше никогда не видел. А только май начался, и земля пожелтела, как лицо больного малярией. Вот каковы наши Каракумы.

— Это ты толкуешь о канале? — догадался Союн, садясь на песок, поджимая под себя ноги.

— А хотя бы и о канале.

— Знаешь, недавно в кош приходил агитатор из райкома. Атакулиев, кажется. После вечернего чая раскрыл толстенную книгу и начал читать, читать, тараторить. Хоть бы одно словцо понять. Улавливаю только «Ленин». У чабанов глаза слипаются. Я креплюсь, но и у меня, как у курильщика опия, голова идет кругом. Вдруг проснулся — ба, полночь. Атакулиев читает доклад о канале. Агитирует. «Друг, не хватит ли?» Обиделся. Обиделся, но утром попросил шкуру каракуля на воротник жене.

— И вы подарили? — заинтересовался Хидыр.

— Конечно, я обещал подарить, но сказал, что необходимо письменное предписание второго секретаря райкома Кидырова. Лицо агитатора побелело, словно выстиранная тряпка. С жалкой улыбкой отшутился: «Хотел тебя проверить...» Это ме-ня-аа проверить!

— А Ленин действительно мечтал о Каракумском канале,— сказал Хидыр.

— Не знаю, парень, не знаю... Знаю, что Ленин избавил моего отца и твоего отца от рабской покорности баям. Освободил мою мать и твою мать от угнетения женами бая. Это знаю.

Запустив указательный палец правой руки в густо-черную бороду, Союн замолчал. А если он замолчал — жди, не торопи, не мешай. Не так-то легко заставить Союна разговориться. Да и в самом деле, пусть думает, взвешивает, прикидывает, что к чему. В конце-то концов, человеку полезно размышлять. Самые замечательные решения приходят в тишине раздумий.

Солнечное пламя бушевало у колодца Ярaджикум. По городскому календарю 1954 года стояла весна, но здесь жаркое лето уже испепеляло травы.

Отара отдыхала в котловине. Лежавший у края полусонный пес при кашле овцы навострял уши.

После неизменного чабанского черного супа — карачорба — пастухи лакомились зеленым чаем. Поставив в ногах закопченные чайники, блаженно потели в тени шалаша, слушали приезжего шофера.

Размахивая руками, щуря маленькие глаза, парень горячился:

— Едут со всех сторон. Из Дагестана. Из Сибири. Парни едут, девушки, целыми артелями. Смех — ни разу не видели верблюда, ишака. Жалуются — жарко. Это весной-то им жарко. А что запоют в июле?!

— Сынок, скажи, а наши-то приезжают? Колхозники? Чабаны? — с солидной неторопливостью спросил Союн.

А у самого замерло сердце. Что ему до дагестанцев, до сибиряков! Нет, Союн их уважает, он рад пришельцам, но ведь речь-то сейчас идет о нем, найдет ли достойное место на канале, не осмеют ли Союна, не выгонят ли обратно в пески?

— Так и прут! — торжественно воскликнул шофер.— Семьями приезжают. И молодые и взрослые. Ну, здоровым, сильным не отказывают. Всех берут в обучение.

Силой, сноровкой Союн был награжден щедро. Не раз выходил на арену бродячих цирков и знал: вышел на середину — нельзя повернуть восвояси. Как говорится: «Сходи на базар, попытай счастья!» Но, может, на стройке от человека требуется не сила, а умение? А Союн — на что он

там?.. И ведь никто не заставляет его брать беду на свою голову. Но кто-то шептал Союну: «Иди, чабан, не бойся, померяйся силой, ну, иди!..»

Вот так: там он просто чабан, обыкновенный чабан, без имени, без славы, а с отарой он Союн-ага, дядя Союн, каким был и его отец, незабвенный Кульберды-ага.

Вздохнув глубоко, словно перед единоборством с ошалевшим от голода волком, Союн сказал шоферу:

— Сынок, мы налили кокчаем свои утробы доверху. Теперь время и тебе напоить досыта машину.

Парень слил нагревшуюся воду из радиатора, наполнил его холодной колодезной, похлопал машину, как оседланного верблюда, по боку и заявил:

— Готово!

Пути к отступлению были отрезаны, но вместо того, чтобы побыстрее впрыгнуть в кузов, Союн пожелал друзьям благополучия, еще раз с грустью окинул взором отару и переспросил Хидыра:

— Значит, какие поручения в ауле?

— Да никаких поручений, привет домашним и тем, кто помнит меня. Не забывай нас, ага.

Нет, Союн никогда не забудет степь, и ползущую с равномерным топотом отару, и сладкую воду колодца Ыраджикум. Куда б ни забросила судьба Союна, он будет слышать шорох селина на пригорках, свист песчаной метели, хруст травы на зубах овец, воинственный лай сторожевых псов.

Жизнь Союна началась у Ыраджинского стойбища, и он искренне верил, что здесь же завершит свой путь. Теперь он уезжает. Почему? Возмечтал о славе? Каракумские чабаны славны на всю республику. Стремится к богатству? Каракумские чабаны богаты. Когда-нибудь друзья-пастухи и родственники в ауле поймут поступок Союна. Хош, до свидания!.. Раскаленная земля обжигала подошвы сквозь тонкие чокаи, Союн переступил с ноги на ногу. И тут в его колено ткнулся мордой Алабай. Вытянувшись, заискивающе виляя хвостом, пес прощался с хозяином, как бы чувствуя, что тот не вернется. «Быстроногий друг! Если чем обидел, прости. Пусть бог наградит тебя силой в схватке с волками». И Союн ловким прыжком взлетел в машину.

По сухой степной тропе грузовик мчался лихо, но у котлована Кульберды-ага заскочил в трясину и застонал, зафырчал, словно раненый зверь. Однако шофер выбрался,

петляя по хрустящим под колесами сучьям черкеза, которыми была вымощена сырая вязкая лощина, и остановил машину у края котлована.

В Каракумах такыры, котлованы, холмы, колодцы носят имена древние и новые. Когда нашли тело погибшего от жажды Кульберды-ага и похоронили его здесь, то появился котлован Кульберды-ага. И шоферы проезжавших мимо машин, чабаны и подпаски, глядя на могилу, говорили: «Да будет пухом тебе земля, где нашел последнее успокоение...»

Шофер остановил машину, не спросив согласия, не взглянув на Союна, и тот был благодарен юноше за молчание. Мерным тяжелым шагом Союн подошел к могиле и прочитал молитву за упокой души отца. Молитва коротка, быстро закончилась, а губы Союна шевелились, будто он разговаривал с отцом. Просил его насытить сердце мужеством? Напоминал о клятве, произнесенной двадцать лет назад над телом приникшего к безводной земле Кульберды-ага?

Как это узнаешь...

Но сегодня Союн бесповоротно отрекся от Ураджинского кочевья.

Глава вторая

Вечерело, когда машина загремела по настилу деревянного моста через канал Бассага-Керки. Здесь кончались пески, здесь начинались поливные плодородные земли.

Всю дорогу Союн, как ни упрашивал шофер, стоял в кузове, облокотившись на крышу кабины. Кабина — душная клетка — пугала его. В последний раз он озирал затуманенными тоской очами Каракумы, и все ему казалось, что он не удаляется, а подъезжает к отаре, тяжелой, с мерно перемещающимися бело-черными волнами. Каракумы пахли горячим песком, овечьим пометом, дымом костров. Лебаб встретил Союна влажным вечерним ветерком и запахом сочного хлопчатника, взлетевшего до пояса хлопковода.

За мостом Союну пришлось то и дело нагибаться, чтобы проскользнуть под ветвями растущих по обеим сторонам дороги тутовников. Шофер резко сигналил, и с середины шоссе отходили к канавам возвращавшиеся с поля женщины и дети. Их платья на спине побелели от солено-

го дневного пота — в Каракумах так белеют солончаки... Однако колхозницы весело шутили, смеялись, словно шли домой с весеннего тоя. На плечах они несли вязанки сучьев. «Нет ли здесь и матери детей наших?» — подумал Союн [1].

Комары слепили глаза, и Союн опустился на дно грузовика.

Неожиданно машина остановилась, шофер сказал: «Садитесь, тетя»,— и в кузов влетела связка тутовых сучьев, упала на ноги Союна. Он вздрогнул, а через борт перекинулась женская нога, красное платье сбилось выше колен, и Союн отвернулся.

Прерывисто дыша, женщина влезла в грузовик, вгляделась и воскликнула:

— Ой, бог мой, да это отец детей наших!

Так встретил Союн свою Герек...

В пути муж и жена не разговаривали: это было бы неприлично...

Едва грузовик остановился под развесистым тутовником, Герек выбросила из кузова дрова, спрыгнула и звонко крикнула:

— Эй, отец приехал!

Смуглый красивый мальчик лет двенадцати, точь-в-точь Союн в отрочестве, и веселая трехлетняя девочка кинулись к машине с огорода, отделенного камышовым плетнем от дома. Сын поклонился с достойным видом, дочка бросилась на шею — ведь отец так редко бывал дома. Последний раз Союн приходил в аул ранней весной.

— Отец, почему у тебя в бороде серебряные нити? А вот у Чары-ага вся борода белая! — щебетала девочка.

— Когда вся побелеет, согнусь, как Чары-ага, стану ходить с палкой,— пошутил Союн.

— С этой?..

Лицо Союна потемнело. Палку из крепчайшего созена, отполированную его мозолистыми руками, он захватил с собою. С того дня, когда этот чабанский посох вручил ему отец, незабвенный Кульберды-ага, колхозной тысячеголовой отарой не полакомились ни степные волки, ни хищные стервятники, и не случалось падежа ягнят, и овцы были тучными, густошерстными, с волочащимися по песку курдюками. Воистину посох был священным. «Посох счастья»,— говорил Союн подпаскам.

[1] В обыденной речи туркмены называют жену «мать детей наших», мужа — «отец детей наших».

Сейчас он ничего не ответил любопытной Джемалке, с виноватой улыбкой переложил созеновую палку из руки в руку.

Герек учуяла — происходит что-то неладное.

— К добру ли, отец? Проведать приехал?

По правому берегу канала с грохотом в клубах удушливой рыжей пыли прошли бульдозеры, машины, на первый взгляд неуклюжие, но могучие. Союн отметил в памяти: три... четыре... пять...

— Отец, это русские машины! — не унималась Джемаль.

— Такие же русские, как и туркменские,— сказал Союн.

Жена не уходила, ждала ответа.

— Отнеси вещи в дом, приготовь чай,— попросил Союн негромко.

Неужели Герек подумала, что мужа выгнали с пастбища, привязав к поясу за спиной колокольчик?

К ужину пришли братья Союна — тракторист Мухамед и гидротехник Баба́.

Они не терпели друг друга, непрерывно ссорились, и соседи удивлялись, как это братцы уживаются в одном доме...

О таких, как Мухамед, старики говорят: «В мире потоп, а ему хоть бы что!» Работал отлично, начальников ни во что не ставил, но не спорил с ними. На собраниях лениво слушал, но сам не выступал никогда. «Встречу мудреца, куплю полкилограмма, а то и килограмм ума,— объяснял Мухамед.— А пока не встретил — молчок». Разумеется, это было чистейшим притворством.

Баба же был общительным, учтивым, дипломом не кичился, а приятелям говорил, что одолеть книжную мудрость легче, чем досыта напоить водою делянку хлопчатника.

После чекдирме с помидорами Союн придвинул к ногам чайник, оперся локтем на подушку, сказал:

— Нужен спутник в дорогу...

Мухамед не понял, усмехнулся:

— Только что в дом ввалился, а уже собираешься в путь?

— Нет, дня два-три отдохну.

Проницательный Баба спросил коротко:

— На канал?

— Да, конечно, на канал,— кивнул Союн.

Братья переглянулись, насупились, а порывистая Герек всплеснула руками:

— Отец, да ты в уме ли?

Союн обжег жену взглядом, строго спросил братьев:

— Почему замолчали?

— Если ты всерьез, то давай условимся, пока соседи не подслушали, что такого разговора не было,— предложил Мухамед.

Баба, отвернувшись, кашлянул:

— Хмм-мм...

Рывком поднявшись, Союн ушел из дому.

Жена не упустила этого благоприятного мгновения:

— Правду говорят: «Седина в бороду, а бес в ребро». Нет, он свихнулся, я сразу догадалась... И лицо чужое, и слова чужие. Нет, вы не соглашайтесь, так и скажите: нам здесь хорошо.

— Да чего уж,— буркнул Мухамед.

— Поеду! — решительно заявил Баба, залившись жгучим румянцем.

В эту минуту вернулся Союн, прошел на свое место старшего, губы его кривились, дышал тяжело. Плеснул зеленого чаю в пиалу.

Неожиданно заголосила притихшая было после обильной еды Джемаль.

— Ух тебя! — гаркнул Союн и велел жене: — Унеси девочку.— И едва за ними захлопнулась дверь, обратился к Мухамеду: — Значит, не желаешь?

— Значит, не желаю.

— А ты, Баба?

— Я-то поеду. Но ты насильно никого не тащи с собою. Тут геройством не возьмешь!

Союн опять вспылил:

— Тебя не спрашивают!

— Спрашивай не спрашивай, а на жену не ори! — невозмутимо сказал Баба.— Конечно, она твоя жена, но не твоя рабыня.

— Вот вы фырчите: пустая затея!..— успокоившись, заговорил Союн.— Об этом же мне твердили Сахат и Хидыр. Сейчас, кажется, расстались со мною сухо. Даже Алабай отвернулся. Сам был уверен: пока дышу, не покину могущественную степь. Но попрощался. Уехал, зажмурившись. Летел сюда на грузовике с думой: умру, а сдержу клятву. Не от своего, от имени всего рода принес я клятву на отцовской могиле. Теперь настал срок выпол-

нять. Клятва — это клятва. Честь мужчины!.. Отец лежал на горячем песке, протянув руки к бушующим волнам пригрезившегося моря. Он ушел из этого мира с открытыми очами, шепча: «Вода». Вот и судите меня, Мухамед и Баба!

Братья не произнесли ни слова, задумались.

А сестра Союна, Айболек, заведующая колхозной библиотекой, в это время уже взяла тяжелый замок, потушила свет, но вдруг на крыльце раздались быстрые шаги и в читальню вошел приземистый юноша с портфелем и фотоаппаратом. Грудь у него колесом, глаза круглые, большие, как дно пиалы.

— Откуда так поздно, Ашир? — приветливо воскликнула Айболек, перекидывая через плечо мелкие длинные косички.

— Только что приехал. Остановился в гостинице Чары-ага, побаловался чайком и к тебе... А завтра в город, на совещание механизаторов.

— У журналистов на уме только трактористы,— обиженно надула губки Айболек, но тут же засмеялась.

— Нет, почему же! — Ашир Мурадов дернул плечом.— Можно и о библиотеке дать фотоочерк па три колонки до подвала.

— Пришел бы пораньше, застал бы репетицию театрального кружка.

— Да я нарочно опоздал, чтобы разошлись!

Девушка смущенно потупилась.

Ночь была светлая и теплая, как парное молоко.

На улицах уже не было прохожих, в домах постепенно гасли огни. Айболек и Мурадов прошли берегом центрального колхозного канала Эне-Яб, разделявшего пополам деревню, поднялись к Бассага-Керкинскому каналу. Колхозники поливали приусадебные сады и огороды. Деревня лежала пышным благоуханным зеленым венком, а за каналом угрюмо желтели песчаные горы, напоминая спящих верблюдов.

— Как поэтичны деревенские вечера! — высокопарно сказал Мурадов.

— Поэзии хоть отбавляй, но в Ашхабаде сейчас, пожалуй, веселее, да? — У Айболек был насмешливый характер.

— И у города и у деревни есть свои красоты.

Парень старался почаще дотрагиваться до руки Айболек, и она вздрагивала, пугливо косилась на него, но ведь

обидного для ее достоинства еще ничего не было, так что приходилось молчать.

Зато когда Мурадов, как бы желая поправить рассыпавшиеся по платью, называемому в деревне «день и ночь», иссиня-черные косички, обнял, рывком притянул ее к себе, Айболек взвизгнула:

— И-йих!..

И так оттолкнула, что Мурадов еле устоял на ногах.

У канала вспыхнули ослепительными пучками света фары грузовиков, и через минуту по дороге проехали, взвихривая еще не остывшую после солнцепека пыль, четыре машины с прицепами, на прицепах дребезжали, скрипели доски.

— В Головное, на стройку,— сказал Мурадов, чтобы хоть как-то вывернуться.

Девушка молчала, тяжело дыша.

— Знаешь, Айболек, через несколько лет,— пылко воскликнул Мурадов, подняв к небу лицо,— сюда к вам в деревню придет большая вода! Тенистые сады опояшут по берегам канал. Девушки станут любоваться своим отражением в светлом лике воды. Быстроходные крылатые катера, курсирующие из Головного в Мары, вздымая высокие валы, подойдут к пристани вашего селения...

— Я домой пойду!

— Айболек, милая! — возопил Мурадов, простирая руки, но девушка уже бежала по тропинке, скрылась за деревьями.

С разочарованным видом Ашир пожал плечами, вытащил серебряный портсигар, закурил.

Наступило утро. Птицы завозились в ветвях старого тутовника, осторожно свистнули, защелкали, защебетали, словно прочищая тугие горлышки, но Айболек проснулась не от их песнопения — от слез.

Плакала она ночью, и глаза опухли, а щеки были липкие, словно смазанные медом, но не сладким, а соленым.

«Кто он? — думала Айболек, вытянувшись под розовым одеялом, закинув руки за голову.— И зачем он приходит ко мне? И почему я радуюсь его приходу? Но это не любовь. Любовь, дурочка, вроде головокружения. Вот когда ты земли под ногами не почуешь, мой джейранчик, тогда, значит, полюбила...»

За открытым окном раздались возбужденные голоса:

— Поставь условие, чтобы мы работали вместе. Понял?

— Понял. Будь спокоен.

— Скажешь, двое специалистов, а старший без специальности, но научится. Вообще, мол, он смекалистый. Понял?

— Чего тут не понять! Ну я пошел.

— Подожди. Поговори о квартире. Там ведь нету отцовского дома. Понял?

— Понял, понял. Пойду.

— Куда торопишься? Нужно обо всем договориться. Какие понадобятся инструменты, что взять из продуктов... Заранее обдумаем, прикинем. После драки кулаками не машут. Понял?

— Ладно, я пошел,— нетерпеливо сказал Баба.

— Подойди сюда, что мы разговариваем через забор, кричим, будто глухие? О сестре не беспокойся, найдем и Айболек работенку. Понял? — еще строже спросил Союн.

Айболек быстро оделась, накинула косынку, выскочила из дому.

На скамейке под развесистым тутовником сидел Союн, лицо его было озабоченным, в руках он вертел прутик. Младший, Баба, топтался у калитки, то и дело поглядывал на автобус, стоявший у Бассага-Керкинского канала.

— Ну, иди, поезжай, пусть благословенной будет твоя дорога! — торжественно сказал Союн и отпустил брата.

На Айболек они не обратили внимания.

«Куда это мы собрались?» — подумала девушка, и мрачные предчувствия сжали ее сердечко.

Глава третья

Кульбердыевы уехали через неделю.

Грузовик наняли в своем же колхозе, ночью уложили пожитки, утварь, посуду. С рассветом соседки, родственницы, любопытные кумушки столпились у двора, бесконечно прощались: «Счастливо съездить, счастливо вернуться», «В добрый путь с открытым лицом», «Дай бог встретиться живыми-здоровыми».

Айболек целовалась с подружками.

Мужчины молча пожимали Союну руку. Они бы унизили его напутствиями, советами.

Из толпы вышла дряхлая старушка, обратилась к заплаканной Герек:

— Ай, хозяйка, в какую сторону держите путь?
Герек не знала, куда показать.

Старуха была настойчива, спросила Союна, зло косившегося на провожатых:

— Сынок, в какую сторону держите путь?

Союн тоже не знал, куда ткнуть пальцем.

— В прежние времена говорили,— продолжала она,— «в среду езжай в любую сторону, в остальные дни бери проводника».

Бог знает, что это значило...

Неблаговоспитанный Мухамед заорал:

— Ай, бабка, на шоссе указатели. И по-туркменски и по-русски. Не заплутаемся.

Старушка обиженно поджала бесцветные губы.

Джемаль дернула мать за юбку:

— Ну, мама, ну поедем же!

И Герек в последний раз бросила сокрушенный взгляд на огромный пудовый замок, хищно впившийся в дверь ее дома.

В этот момент Союн спохватился: где же чабанский посох? И взял прислоненную к стволу тутовника зеркально сиявшую палку. И последний шаг к могиле сделает Союн, опираясь на этот священный посох.

Вещи сложили в тени одноэтажного, наспех сколоченного из щитов домика строительно-монтажной конторы. Шофер пожелал запыленным, усталым путникам всяческого благополучия и резво погнал машину обратно в аул.

Вот бы вернуться...

Угрюмый, огрызавшийся на шутки младших братьев Союн взялся за топор,— он предусмотрительно захватил с собой четыре полена.

Женщины расстелили кошму.

Баба и Мухамед, люди тертые, привыкшие к обхождению, тотчас ушли в контору. Вскоре они вернулись за Союном, позвали к начальнику Розенблату. Союн бросил топор, пошел было, но вдруг замер, долго искал глазами посох. И, лишь подняв посох с кошмы, величественно последовал за расторопными братьями.

Розенблат при появлении Союна вышел из-за стола, с уважением пожал ему руку, пригласил садиться.

На диване, обитом черной клеенкой, развалился юноша с фотоаппаратом и тяжелым портфелем, он не встал и не поздоровался.

Не успел Союн сесть, как в кабинет вошел, шумно

отдуваясь, толстый мужчина с орлиным носом, требовательно осмотрел братьев, спросил старшего:

— Откуда, одногодок?

— Мы люди песков, мы кумли,— с достоинством ответил Союн.

— Специальность?

— Чабан.

— Зачем сюда пришел?

— Чтобы большую воду увести за собою в пески.

Младшие, Баба и Мухамед, стояли навытяжку, как солдаты в строю.

— А... осилишь?

— Это одному богу известно, а я стану бороться до конца.

— Плавать умеешь?

— Как рыба плавает в песках, так чабан умеет плавать в реке,— улыбнулся Союн.

— Значит, научишься! — бесцеремонно заявил толстяк.

— Дай срок. А если я чего-либо не сумею, то сам буду виноват,— заверил его Союн.

— Ладно!..— Толстяк плюхнулся на затрещавший пружинами диван, сложил коротенькие пухлые ручки па животе.— Как вас по паспорту? Кульбердыевы? Значит, Кирилл Давыдович,— сказал он Розенблату,— беру себе братьев Кульбердыевых. Техник — раз, бульдозерист-тракторист — это два, а старший, чабан,— рядовой матрос...

Юноша с фотоаппаратом при упоминании о братьях Кульбердыевых переменился в лице, приосанился.

— Я согласен,— кивнул начальник.

— Значит, договорились. А меня зовут Непес Сарыевич. Са-рые-вич. Я начальник земснаряда.

Младшие привычно взглянули на Союна, будто заранее не столковались с Розенблатом о работе, и Союн, помедлив минутку, наклонил голову в знак согласия.

— Непес Сарыевич, я хотел спросить... Мне нужно для лирического отступления,— сказал юноша.

— Товарищ Мурадов, старший багермейстер Джават Мерван работает великолепно.

— Да я не о нем.

— Товарищ корреспондент, Витя Орловский работает великолепно. И я за него ручаюсь! — с раздражением сказал Непес Сарыевич. Встав, он протянул руку Союну.— Значит, поработаем, саккалдаш! [1]

---

[1] Саккалдаш — одногодок, сверстник.

С младшими он попрощался тоже за руку, уважительно, а на Мурадова и не посмотрел. И быстро ушел, отдуваясь, раскачивая торчащий подушкой живот.

Братья поняли, что им пора уходить.

На крыльце Союна остановил Мурадов, молниеносно выхватив из кармана записную книжку и карандаш.

— Э... дядюшка! Возле какого колодца вы пасли отару? А глубина колодца? Вода пресная или горькая? Мне эти факты нужны для лирического отступления...

Айболек, кипятившая чай на низком костре, оглянулась и в полнейшей растерянности ухватилась рукою за край раскалившегося в пламени котелка, боли она не почувствовала, боль пришла позднее.

«Не здоровается? Ну и пусть, пусть...»

Командир земснаряда Непес Сарыевич Какалиев считал необходимым сперва, как он выражался, «обнюхать человека», а потом уж либо брать, либо не брать его на работу.

Конечно, Джавата Мервана он не обнюхивал — как же, знаменитость! Лучший багермейстер республики, а может, и всей Средней Азии...

Но следом за Джаватом на земснаряде появился лихой парень в рваной грязной фуфайке и новеньких хромовых сапогах гармошкой.

Непес Сарыевич как бы мельком оглядел его.

— Сколько сидел?

— Девять месяцев.

— Кого ограбил?

— Зубного врача. Частника.

— А-аа... Золотишко! Блатной?

— Был. Теперь буду работать.

— Специальность?

— Монтер. Сварщик. Радист.

— Родители?

— Отец погиб на фронте. Мать умерла в Ленинграде — блокада... Где-то замужняя сестра, да зачем я ей!..— Парень безрадостно усмехнулся.

— Вот это правильно, совершенно правильно,— согласился Непес Сарыевич.— Сестре ты не нужен. И вообще никому ты не нужен. Только мне ты нужен. А монтер у меня есть. И сварщик есть. И радист тоже есть.— При этих словах лицо парня вытянулось, посерело.— А нужен мне хороший человек. Вот ты и станешь таким хорошим

человеком. Человеком!..— многозначительно поднял указательный палец Какалиев.— Чело... Лоб... Разум! Разум века. Как зовут?

— Витька Орловский.

— Не Витька, а Виктор. Отчество?

— Не Виктор, а Виталий,— поправил просиявший парень.— Виталий Трофимович Орловский.

— Получите, Виталий Трофимович, сто рублей! — Непес Сарыевич вынул бумажник.— Сходите в баню и в столовку. Ж-жива-аа!..— рявкнул он, скорчив зверскую рожу.

Земснаряд, которому предстояло проплыть, проползти четыреста километров до Мары, сооружение громоздкое, могучее, по первому впечатлению неуклюжее, был похож и на корабль, и на богатырскую металлическую черепаху.

Вечером Непес Сарыевич пригласил братьев Кульбердыевых на борт. Мухамеду и Баба такие агрегаты были не в диковинку, но Союн простодушно восхищался, позабыв, что ему, старшему, крайне необходимо блюсти достоинство.

— «Красное Сормово». Старинный Нижний Новгород. Теперь город Горький. Великий русский писатель Горький...— Непес Сарыевич вытащил клетчатый платок, утерся.

Союн ничего не понял, но строго кашлянул, стукнул посохом по железному, гудевшему под ногами полу.

— Машина, конечно, сильная, но, саккалдаш, ведь она в такыре увязнет. Глина!..

Мухамед прикрыл ладошкой снисходительную улыбку:

— Брат, если машина начнет тонуть, то она взревет, как тысяча дьяволов, и взлетит вверх! Надо закрыть глаза, сказать: «Дай бог уцелеть!»

— О-о! Поскорее б ступни мои коснулись обетованной земли! — воскликнул Союн, пытаясь беспечно рассмеяться, но, увидев, что у всех серьезные лица, построжал.

— Значит, со временем разберешься,— сказал Непес Сарыевич.— Электростанция у нас любому городу впору. Моторы электрические. Пойдем, покажу ваши каюты.

Этим знакомство с земснарядом и закончилось.

Братья Кульбердыевы получили три смежные каюты, и весь вечер, до темноты, Герек и Айболек перетаскивали вещи, устраивались.

Айболек еле ноги передвигала, почернела, словно обуглилась, и вздыхала так глубоко, что на нее оглядывались.

У Герек голова тоже закружилась от неурядиц. Муж всегда говорил наставительно: «Постель делает дом домом». И набросал в кузов машины ватные одеяла, пуховые подушки, ковры, белоснежные спеленатые тугим свертком кошмы — каждому домочадцу по комплекту. А оказалось, что в каютах блестящие никелированные кровати с шишечками и на кроватях тюфяки, одеяла, простыни, подушки.

— Что это за дом без очага? — хныкала Герек, гремя котлами, котелками, жаровнями, сковородками.— Изволька иди в столовую.

А куда девать два чувала первосортной муки для лапши? Положим, каурма в кувшине и в бараньих высушенных желудках пригодится...

Сперва занялись каютой холостяков. Ковры можно повесить над кроватями, чайники и пиалы поставить на тумбочку. Пол в каютах диковинный: и не деревянный и не металлический, из пластмассы. Застелим же его кошмой, станет как-то уютнее.

Герек растерянно всплеснула руками, увидев, что вещей в коридоре перед дверями не убывает:

— Господи, что я буду с ними делать?

— У меня два чемодана,— отрезала Айболек.

— А мука для лапши?

— Зачем мне лапша? В столовке лапша... Баба вас предупреждал: не тащите старье. Не послушали? Вот теперь и расхлебывайте кашу.

— Ай, девушка, да это ж твое приданое! — ужаснулась Герек, с укоризной глядя на Айболек.— Помоги отнести постели в горницу.

— В чью каюту? — уточнила Айболек.

— Предположим, в нашу, в нашу...— Вдруг Герек беспомощно опустилась на тюки и заплакала.— Дня здесь не останусь! Сегодня же ночью вернусь в деревню. На шоссе выйду, с попутным грузовиком доберусь, пешком пойду!.. Так самому и скажу.

Айболек отлично знала нрав золовки и тотчас охладила ее пыл:

— Хочешь, позову! Вон он, на берегу.

У Герек высохли слезы, однако она пригрозила:

— Погоди, выйдешь замуж!

— А я без приданого. Без постелей! — Айболек задорно засмеялась.— Боюсь одного господа бога, да и то не знаю, как от него избавиться... А если бояться и бога и мужа, то лучше на свете не жить!

Так, и со смехом и с рыданиями, Герек и Айболек к полуночи все-таки втиснули пожитки в узенькие каюты. Но теперь их ждало самое трудное: на берегу остались закопченный двухведерный казан, дрова, топоры и лопаты.

— Пусть сам решает,— храбро сказала Герек.

Храбрость оказалась робкой: когда пришел Союн и велел оставить рухлядь на берегу, она простонала:

— Аю, не выбрасывай, пригодится!

Глава четвертая

В приемной главного инженера широколицая блондинка, не шибко молодая, не шибко красивая, но невероятно развязная, щебетала по телефону:

— Карлуша, Карлочка, доброе утро, настроение паршивое, а вот почему, сам догадайся, у-у-у, паршивец...

И на вошедшего Баба она не обратила внимания.

— За такую выходку, паршивец, отомщу, лучше не показывайся на глаза, шучу, конечно, алло, алло, Карлинька, приходи, у-уу, сердитый, муленька, не сердись...

У Баба наконец лопнуло терпение, он подошел к дверям, повернул торчащий в замке ключ. Блондинка выскочила из-за стола, но было уже поздно — Баба поздоровался с Ворониным.

— Что вас привело сюда? — спросил Василий Федорович, с недовольным видом отрываясь от каких-то бумаг.

— Четвертая категория грунта,— сказал Баба. Туркмены-интеллигенты предпочитают короткую, сжатую речь.

У Воронина густые темные брови поползли вверх.

— Видите ли, земснаряд «Сормово-27»...

— Непеса Сарыевича,— уточнил инженер.

— Именно. «Сормово-27» работает на линии канала и все время перегоняет «Сормово-46», сооружающий перемычку. Разрыв-то слишком большой: сто пятьдесят семь процентов плана и сто четыре. У Непеса Сарыевича в наряде грунт четвертой категории.

— Твердый грунт.— Воронин забарабанил пальцами по столу.— Значит, скидка с плана.

— А вы откуда знаете, что там четвертая категория? — спросил без излишних церемоний Баба.

— Вот вы об этом и спросите Непеса Сарыевича.

— Спрашивал. Ответ: «Молодой человек, мягкость и твердость грунтов показывает тахометр».

— А Джават Мерван?

— Говорил. Ответ: «Подчиняюсь капитану». Конечно, я уточнил: «На твердость жалуешься?» — «Никогда и ни на что не жаловался».

— Н-да,— поморщился Воронин.— Но ведь вы, товарищ Кульбердыев, не сможете доказать, что там мягкие грунты.

— Пока не могу, а завтра смогу,— решительно сказал побледневший Баба.

Джават Мерван был неразговорчивым и, прежде чем ответить собеседнику, вытаскивал платок, аккуратно прочищал нос, откашливался. По первому впечатлению он был человеком мирным, тихим, но это только так казалось.

Многие годы он переходил из колхоза в колхоз сухой Кесеаркаджской степи, но нигде не задерживался, в артель не вступал, а работал то плотником, то слесарем по договору.

Завербовавшись на стройку Волго-Дона, Джават угодил рядовым матросом на земснаряд, и это решило его судьбу. Он учился напряженно, страстно, стал мотористом, а через полтора года — сменным багермейстером. И начальникам и приятелям он жалобно говорил: «Сирота, круглый сирота, нигде не учился, никто мне не помогал... Своим горбом!» В газетах появились его фотографии. Заработки солидно возросли.

На Каракумский канал он приехал не безграмотным «круглым сиротой», а дядей Джаватом, уважаемым специалистом. Держался скромно, но достоинство свое оберегал строго. Непеса Сарыевича Джават оценил так: «Идейная личность. Ну, мне от твоего благородства мало пользы. Мне деньги надо зарабатывать».

И через недельку, знойной июньской ночью, Джават Мерван показал Непесу Сарыевичу, кем является на земснаряде старший багермейстер.

Неожиданно корабль, словно грузовик, молниеносно пролетевший зеркально гладкий такыр и врезавшийся в песчаные холмы, заметался из стороны в сторону. Моторы взвыли, сотрясая широкую грудь великана. У берегов забурлили крутые валы. Стрелка тахометра заплясала: 287... 289... 291...

Заспанный Непес Сарыевич прибежал из каюты на капитанский мостик, взглянул на тахометр и положил руку на бешено заколотившееся сердце. Как только стрелка тахометра коснется цифры «300» — взрыв...

Однако Джават держался с завидным самообладанием и ровным голосом отдавал в сигнальную трубку приказы:

— Влево... Средний ход...

Вдруг земснаряд высоко подпрыгнул, будто верблюд, сбросивший с шеи хомут.

— Глушить моторы,— так же хладнокровно сказал Джават.

Через минуту тихий, словно баржа с арбузами, земснаряд надежно покоился на ленивой волне, а Непес Сарыевич полулежал в беспамятстве на палубе, обливаясь жгучим, как ледяная вода, потом.

— Если бы я был таким же малодушным, как вы,— наставительно сказал Джават,— то мы погибли бы. Проклятый грунт!

И, смеясь и плача, Непес Сарыевич потянулся к отважному с объятиями, смачно поцеловал Джавата в холодный нос.

Утром специальным приказом старшему багермейстеру Джавату Мервану была объявлена благодарность с выдачей денежной премии.

Непес Сарыевич накатал рапорт, что земснаряд не снимется с якоря до выдачи наряда на грунт четвертой категории. В суматохе, конечно, ни Розенблат, ни Воронин грунт не исследовали, скрепили на скорую руку подписями рапорт.

Заработки взлетели, как стрелки тахометра в ту проклятую ночь, Непесу Сарыевичу приходилось до десяти тысяч в месяц.

И никто не догадался о злой игре Джавата: он нарочно воткнул главный насос в сухой грунт высокого правого берега, отключив воду, и на моторы, на земснаряд покатилось неукротимым потоком о б р а т н о е д а в л е н и е.

Технику Баба об этой истории рассказал матрос Витя Орловский.

После разговора с Баба Кульбердыевым Непес Сарыевич потерял и покой, и сон, и аппетит.

«Значит, я фальсификатор? — размышлял он, ворочаясь на койке в жаркой каюте.— Джавату что, сухим вылезет из воды. Рапорт мой — ответ мой. Всю жизнь прожил честно, а на старости потерял папаху [1]. Ай-ай-ай!»

[1] П о т е р я т ь п а п а х у — потерять честь мужчины.

Ему казалось, что голова превратилась в пустой глиняный кувшин, а перья пуховой подушки — в острые иглы. Непес Сарыевич с ненавистью смотрел на белый, косо летящий над ним потолок, а из каждого угла каюты раздавалось: «Ж-жжулик, жж-жжу-уу-лик».

Наконец поняв, что не уснуть, он вышел, поднялся на капитанский мостик. Светало. Огромный прожектор с берега вонзил сильный луч, будто раскаленный добела клинок, в мутную воду канала, а расстроенному Непесу Сарыевичу почудилось, что это одноглазая чудовищная змея приподнялась, чтоб броситься на него, сожрать. От Копетдага летел прохладный предутренний ветерок, старик не чувствовал на своем разгоряченном лице его дыхания. Корпус земснаряда мерно сотрясался, Непес Сарыевич не ощущал этой привычной дрожи, думал, что стучит мотором его гудящее сердце.

«А ведь я встретил Джавата дружески. Да есть ли на божьем свете истинные друзья? Может, и Джават невиновен? И такое могло случиться. На одном участке — четвертая, на соседнем — вторая категория!..»

Обманывал, себя обманывал Непес Сарыевич, он и не думал в эти месяца о грунтах. Ему тоже понравились высокие заработки.

Союну долго пришлось припоминать, что же произошло. Сперва он был занят, а потом выдалась свободная минутка, и он вышел на палубу, остановился у борта, задумался, и тотчас, как в былые дни, перед ним протопали, пропылили с равномерным стуком отары, и он увидел Хидыра, Сахата, наслаждавшихся бесконечным чаепитием, а в тени на мокром песке лежал Алабай, чутко прядая ушами...

Пронзительный свист оторвал Союна от счастливых мечтаний, он поднял глаза и оторопел, коленки затряслись. Огромный кол на берегу, к которому был привязан стальной трос, намертво удерживающий земснаряд на плаву, шатался, выползал из земли, и трос то погружался в воду, то взлетал вверх, взрезая воздух скрежетом.

Союн побежал по понтонному мосту, но в этот момент земснаряд, не сдерживаемый тросом, метнулся вправо, волны заклокотали, раскачивая настил, и у Союна закружилась голова, а тут с мягким шорохом «вш-шш» обру-

шился подмытый берег, и матрос рухнул, пополз на четвереньках.

Он обхватил могучими руками кол так, как в бурю держал столб чабанской кибитки из черной кошмы, и бормотал в беспамятстве: «Всевышний, спаси, защити!..» Моторы земснаряда оказались посильнее зимнего песчаного урагана и, как бы вздохнув глубоко, выдернули кол, потянули в воду. От толчка Союн кубарем покатился с берега. Он бы утонул, но — «слава блаженнейшему Мусе пигамберу!» — здесь было мелководье, и, хлебнув мутной грязной жижи, Союн встал.

Вода доходила ему до шеи. Благоразумнее было бы закричать, но гордость мужчины сжала ему уста. Трясущимися от страха руками он прочно вцепился в корни тутовника, словно орел когтями в шерсть ягненка. Коричневый его тельпек плавал рядом. Глыбы мокрой глины падали в канал, пытаясь утопить Союна.

Он не закричал, но на земснаряде тем временем ударили тревогу, Джават и Витя Орловский, грохоча сапогами по настилу понтона, помчались к нему, помогли вскарабкаться на берег. За промокшим, отяжелевшим тельпеком отважно бросился Кульберды. Он с мальчишками за два-три дня научился плавать и теперь помирал от смеха над грязным, дрожащим отцом.

В деревне Кульберды никогда бы не вел себя так нахально, отвернулся бы...

— Саккалдаш, что случилось? — спросил и без того сердитый Непес Сарыевич.

Союн открыл было рот, но вспомнил мудрую пословицу: «Если злишься, укуси себя за нос»,— и промолчал, широко разведя руками. Промокший до костей, продираемый ознобом, он признался, что беспомощен перед коварной рекою, перед какими-то «тросами-мросами». Вот если бы беда приключилась с отарой, то старший чабан Союн Кульбердыев знал бы, что к чему...

— Если какие непорядки, немедленно рапортуй дежурному багермейстеру! Так ведь учили тебя на инструктаже.

— За убытки отвечаю своим рублем,— наконец сказал Союн.

«И с такими-то людьми возможно провести большую воду Амударьи до Мургаба?» — подумал Непес Сарыевич.

— Кому нужны твои рубли, саккалдаш! — засмеялся Витя Орловский.— И убытков не было. Десять минут простоя... Но ты все-таки рапортуй.

Гора свалилась с плеч Союна,— значит, машины целы, значит, земснаряд не получил повреждений.

— Хватит, начинайте работу,— распорядился Непес Сарыевич. И вдруг закричал Союну: — Будь крепок, саккалдаш! Мы еще повоюем!..

Глава пятая

Наступили будни.

Мухамед работал бульдозеристом, укреплял берега канала. На собраниях, по обыкновению, отмалчивался, ругался свирепо с поваром — обеды невкусные. Техник Баба метался между двумя земснарядами, то подписывал, то отказывался подписывать наряды, проводил производственные совещания, недоверчиво поглядывал на Джавата, шушукался тайно о чем-то с Витей Орловским. Баба похудел, не выпускал папироски изо рта.

Кульберды часто рассматривал справку об окончании шестого класса деревенской школы, ежедневно ходил с мальчишками в поселок, где строилась школа-десятилетка. Пока из земли торчал один фундамент... Купался Кульберды от рассвета до сумерек, с короткими перерывами для еды.

Постепенно Союн успокоился, исправно нес вахту. Правда, ему докучали кошмарные сны: чуть ли не каждую ночь он видел хитро усмехающегося Сахата: «Погоди, вернешься в Яраджи!» Открыв глаза, Союн радовался, что это был сон, и упрямо бормотал в усы: «А вот и не вернусь...» Как-то за утренним чаепитием он сказал жене:

— Оказывается, снам нельзя верить. И я теперь их не стараюсь запоминать.

Герек протяжно вздохнула в ответ.

Ей-то жилось скучнее всех. Чистенькая, сиявшая глянцем каюта казалась мышеловкой. На кровати спать неудобно, жарко, Герек стелила кошму на полу, но и тут долго не засыпала: корпус земснаряда мелко сотрясался, словно сито в руках расторопной хозяйки. У Герек разбаливалась голова, тошнота подступала к горлу.

И делать-то нечего день-деньской: в столовке кормили хоть и не очень сладко, но обильно, по субботам приносили чистое, накрахмаленное постельное белье, полотенца, скатерки на столики...

Словом, счастливее всех был Кульберды: школу не строят и, конечно, к осени не достроят, а плавал он теперь и брассом, и кролем, и саженками.

В девичестве Герек называли кобылой. И говорили так сельчане не в посрамление, а в похвалу: норовистая девка, буйная, быстрая. Такая в обиду себя не даст!..

Свадьба Герек и Союна получилась неожиданно зловещей: вырыли ямы для пиршественных котлов, а пришлось варить в них панихидный рис. Из пустыни пришел на торжество согбенный горем Союн, принес весть — отец погиб в песках.

По аулу поползли кривотолки, пересуды, вонзившие кинжал в сердце невесты: «Не принесла девка счастья дому мужа!..»

Но Герек не заплакала, из закушенной губы брызнула кровь.

Честный Союн не нарушил слова, не слушал сплетен и после установленного шариатом срока справил свадьбу, невеселую, но достойную и его, прославленного чабана, и матери его будущих детей.

Чета Кульбердыевых жила не лучше и не хуже других деревенских семей: без драк, но и без нежностей. Собственно, Союн жил в песках, домой приходил, как на побывку. Только начнут муж с женою ссориться — пора возвращаться на пастбище...

Удивительно, что на земснаряде Союн и Герек не охладели, а, наоборот, прильнули друг к другу. Проснется он глухой ночью на непривычной высокой койке, а внизу, на кошме, жена тихо-тихо, еле слышно убаюкивает колыбельной песенкой хныкающую дочку. И Союн чувствует, как светлеет его душа, и долго не может уснуть.

Благослови, всевышний, бессонные материнские ночи!..

Однажды Герек до того устала, лелея раскапризничавшуюся девочку, что не заметила, как забылась. Очнулась она, словно от резкого толчка. Предрассветная синь лениво втекала в окошко. Взяв Джемаль на руки, Союн чужим, странно нежным голосом ласкал ее:

— Цветок мой, умница моя, сладенькая моя...

Вот так с женою он никогда не разговаривал, но Герек не обиделась, а улыбнулась сквозь слезы:

— Отец, ложись, на вахту ведь скоро!

Конечно, она не утерпела, выдала тайну Айболек, та же рассказала брату. Мухамед веско заметил:

— По всем статьям это невозможно. Значит, в голове Союна происходит реакция.

Айболек ничего не поняла, но осталась удовлетворенной таким ответом...

А у Герек душа изболелась за мужа, видела, как он старался скрыть от экипажа земснаряда, что теряется, не умеет работать, чуяла, что страдает его гордость.

Раз Союну велели перекатить на берегу железную бочку с горючим. Бился он, бился, пять потов сошло, а бочка, словно привинченная к песку, не шелохнулась. Подошел ленивой походкой Витя Орловский, отодвинул плечом Союна: «Браток, ну-ка посторонись!», сунул под бочку лом, и бочка запрыгала мячиком.

Герек так бы и метнулась через борт помочь мужу. Но застеснялась...

В субботу была получка: кассирша, пожилая, рыхлая, в белом платочке, расположилась на пустом дощатом ящике в тени тутовника; первым в очереди, разумеется, очутился Мухамед.

Через минуту он ворвался в каюту, где в полутьме изнывали от жары и безделья Герек и Айболек. Посеревшая от пыли сетка туго обтягивала его мускулистое тело, обросшее жестким вьющимся волосом, на голове — мятая-перемятая, купленная не вчера, так позавчера соломенная шляпа. Из карманов кенафовых брюк галифе, из-за голенищ сапог сорок пятого размера торчали перевязанные суровыми нитками пачки денег.

— Трофеи вроде неплохие? — улыбнулась Айболек.

— Я не Джунайт-хан [1], чтобы обирать покоренные народы! — важно провозгласил Мухамед.— И вообще, в дни, когда мы приближаемся к коммунизму, подобные разговоры с политической стороны неуместны!.. А ну, невестушка, эй, сестренка, снимайте сапоги!

Он развалился на койке и вытянул ноги.

— А байско-феодальные пережитки уместны? — рассердилась сестра.

— К подобной проблеме можно относиться по-разному!

Герек и Айболек со смехом и шуточками все-таки стащили грязные сапожищи и убежали мыть руки.

А тем временем Союн сидел на берегу, прикрыв правое колено тельпеком, и напряженно размышлял, причитается ли ему зарплата, не оштрафовали ли его за аварию с тросом? Конечно, можно было прямо спросить кассиршу, но напала робость... В канале волна гнала волну, волна давила волну, и от этой непрестанной ряби так сладко кружилась голова.

[1] Один из главарей басмаческих отрядов.

«Здесь красиво,— думал Союн.— Вон за каналом горы, а на юге Каракумы. Там тоже красиво. Слава создавшему твердь и воды!..»

Он не осмелился сказать, что теперь сам создает воды.

— Союн Кульбердыев! — протяжно позвала кассирша.

Колебаться больше невозможно. Союн встал, с досадой заметил, что как-то противно ослабли ноги. Старость, что ли? Пожалуй, рановато.

А старушка-кассирша с удивленной улыбкой рассматривала подходившего матроса. На нем толстые портянки, чокаи с кисточками, халат без подкладки, широкий, из шерсти сотканный женою кушак, на макушке коричневый тельпек.

— Союн Кульбердыев?

— Я, я Союн Кульбердыев.

— Дети?

— Сын — дети, дочь — дети! — Союн поднял вверх два пальца.

— Правильно. Распишитесь!

Рука, со школьных лет не державшая пера, дрожала, Союн начертил латинские письмена, как его учили в ту далекую пору[1]. Деньги он не пересчитывал, это было бы неприлично по отношению к почтенной женщине, взял обеими руками, приложил пачку к вспотевшему лбу.

— Идем в мою каюту кокчай кушать,— пригласил Союн.

— Спасибо, спасибо! — Кассирша показала на соседний земснаряд, и он понял: нужно туда идти выдавать деньги.

В знак благодарности он еще раз поклонился.

Все Кульбердыевы собрались в его каюте, ждали старшого.

— Начинаем семейный совет! — объявил Мухамед.

— Зачем?

— Рассмотрим финансовое состояние. Деньги, полученные из государственной кассы, сдадим в домашнюю кассу. Определим сообща статьи расхода. Есть возражения? Принимаем. Как говорится, «старший начинает, младший продолжает». Айболек, записывай!..

— На собраниях молчишь, а сейчас, гляди, разболтался! — фыркнула Айболек.

Брат бросил на нее, дерзкую, огненный взгляд.

[1] Сейчас в Туркмении алфавит национальный; написание букв соответствует написанию букв в русском алфавите.

Союн, баюкая на коленях Джемаль, спросил, развеселившись:

— Где касса, кто кассир?

— Чемодан — касса, Айболек — кассирша! — воскликнул Мухамед.

Баба сидел с безучастным видом, словно денежные дела его не касались.

Первым бросил пачки в раскрытый чемодан Мухамед, однако несколько бумажек отделил, бережно припрятал.

— Неделимый фонд.— Он подмигнул сестре.— Обожаю водку!

У Союна получка была крохотная, и младшие из деликатности не назвали сумму своего заработка.

— Завтра же выхожу на работу! — вдруг выпалила Айболек.

Союн нахохлил усы, но посмотрел не на сестру, на жену: «Слава богу, моя еще не решила...»

Глава шестая

До партийного собрания оставалось полчаса, а заметно похудевший за последние дни Непес Сарыевич, не глядя на прохожих, рассеянно отвечая на приветствия, шагал взад-вперед по берегу и то размышлял, как бы ему оправдаться, то вспоминал молодость.

Он родился и вырос в песках Созенли. Огромная корытообразная низменность, окаймленная холмами с юга, переходила к северу в глубокую впадину, куда стекались ливневые воды. Весною, когда безбрежная степь накидывала на себя ярко-зеленый халат, в небе Созенли толпились тучки, день ото дня они сгущались, темнели.

— Дождь! — с надеждой и восторгом восклицали скотоводы.

Протяжно грохотал гром, блеск молнии освещал небо, а густой, падающий со стеклянным шорохом ливень омывал запыленные лица людей. Пенистые ручьи мчались к впадине, и в ней разливалось хоть и недолговечное, но широкое озеро, и когда солнце воздвигало над степью крутую самоцветную радугу, распахивались кибитки из черной кошмы, девушки с ведрами бежали за водою.

Однажды в середине пастбища поставили высокую восьмикрылую кибитку, сказали, что это школа, из города приехала кругленькая, со смолисто-синими косами девушка. Все имущество учительницы Садап состояло из

двух чемоданов с простенькими платьями, бельем, книгами.

А Непес Какалиев был в ту пору тонким, как ремень, смугло-желтым, словно пески, веселым и налетел на маленькую красотку стремительно, как весенний ливень, в считанные недели вскружил ей голову, но и сам влюбился.

О извечный груз воспоминаний!..

Непес Сарыевич почувствовал, как заныло его сердце.

Поженились. Он работал заведующим райземотделом, Садап по-прежнему преподавала в школе. Когда чернявая дочка Айна, у которой белыми были только зубы, залепетала, заговорила, поглупевший от счастья Непес подарил ей алую пионерскую косынку.

— Дочурка моя, это тебе отцовское благословение!

— Да разве она понимает? — смеялась Садап.

— Вырастет — поймет.

Через несколько дней Непеса арестовали.

Садап уволили из школы. Они с Айной уехали, и след их затерялся. Семнадцать лет ссылки не сломили его. ...Теперь у сердца опять лежит партийный билет. Жену и дочь он не нашел... «А ведь я сильнее был бы с тобою, Садап. Сильней и моложе».

Подбежал Витя Орловский. Парень был одет странно: военный, выгоревший от солнцепека китель, брючишки из кенафа, зеленые сандалии, соломенная шляпа, на носу темные защитные очки. Однако он выделялся статью и ловкостью.

— Непес Сарыевич,— взволнованно сказал Орловский,— а мне можно прийти на собрание, а?

— Если партийное собрание открытое, то не только можно, но и должно,— с привычной начальнической строгостью ответил Какалиев, мгновенно пробудившись от воспоминаний.

— Да ведь я...— Юноша опустил голову.

— И не ерунди! — прикрикнул Непес Сарыевич.— Ты строитель канала. Ты советский рабочий!

И сказал себе: «Конечно, я виноват, но корысти во мне не было и никогда не будет».

Джават Мерван на собрание не явился.

— Товарищи, просьба не курить! — умоляюще кричал Воронин, отгоняя смятой газетой клубы ядовито-рыжего табачного дыма.— Кто хочет говорить?

Никто не хотел выступать, но все, пригнувшись, прячась за спины соседей, прилежно курили.

Заключение технической комиссии было прочитано и утверждено. Теперь документально было доказано, что никаких твердых — четвертой категории — грунтов на пути земснаряда «Сормово-27» не встречалось.

Непес Сарыевич чувствовал, что присутствующие пристально смотрят на него, потел, багровел, нещадно палил папироски, но пока упрямо отмалчивался.

— Разрешите,— поднялся Баба.

Мухамед надменно усмехнулся: совершенно напрасно разводят эту говорильню...

— Факт, конечно, товарищи, неприятный, тревожный,— сказал Баба, неторопливо, осмотрительно выбирая слова.— И особенно неприятно, что произошел он в экипаже, возглавляемом старым коммунистом. Шутка ли, двадцать пять лет в партии. Товарищ Непес Какалиев не интересовался грунтами, со спокойной совестью подписывал фальшивые наряды и... и получал высокие премии.

— Не нарушайте принцип материальной заинтересованности! — крикнул кто-то из толпы предусмотрительно измененным тоненьким голоском.

— Ничего я не нарушаю,— сдвинул брови Баба, на впалых щеках заиграли алые пятна.— Получайте премию, но за честную работу.

В комнате зашумели, Воронин постучал карандашом по графину.

— Конечно, все эти пересмотры плана из-за грунтов дело сложное, путаное,— продолжал громче Баба,— но тем более коммунистам-то и надо за ним следить.

— Почему нет Джавата? — крикнули от дверей.

Главный инженер посмотрел на Розенблата, пожал плечами:

— Всех предупреждали, товарищи!

Баба понял эти слова по-своему и резко заметил:

— Багермейстер — это багермейстер, я с него ответственности не снимаю, но сейчас-то, на партийном собрании, хотя и открытом, речь идет о коммунисте Непесе Сарыевиче.

— Верну все деньги! — вдруг прокричал, потрясая кулаками над головою, Какалиев.

Розенблат поморщился:

— Ну-уу, Непес Сарыевич, при чем тут деньги, этим пусть занимается бухгалтерия.

— Прошу слова,— поднялся Егор Матвеевич, командир земснаряда «Сормово-46», и прищурил старчески бесцветные глаза.— Когда я начинал работать, то один сормовский большевик, ныне его уже нет на земле, дал мне наказ: «Егорка, главное — техника и люди». Нет, вру, сказал: «...люди и техника». Непес Сарыевич технику-то изучил досконально, а вот людей своих не знает. И в этом он виноват.

— Джават прибыл с Волго-Дона с отличными рекомендациями. Не в песках его нашел,— безрадостно пошутил Непес Сарыевич, уже раскаиваясь за недавнюю вспышку.

Союн плохо разбирал беглую русскую речь, и сидевший рядом Баба кратко переводил ему выступления. Едва начинали обвинять Непеса Сарыевича — во всяком случае, так получалось по переводу брата,— Союн бросал на командира сочувственные взгляды, хмурился, сердито шерстил себе усы. Наконец он не выдержал.

— Товарищи начальники! — сказал он возбужденно, перекладывая из правой руки в левую пропитавшийся пóтом тельпек и ситцевый платок.— Я не партийный. И я безграмотный. Брат Баба, брат Мухамед грамотные, а Баба коммунист. Но вы пригласили меня на собрание, благодарю за честь... Наш кемендир — хороший кемендир. Он любит работу. Он не обманет. А если желаете, так на небесах аллах, и могу принести клятву!

Мухамед покусывал нижнюю губу, но Баба выступление брата пришлось по сердцу: привстал, с благодарностью поклонился.

А Непес Сарыевич уставился в запорошенные табачным пеплом, затоптанные половицы, он был так растроган заступничеством Союна, что боялся прослезиться.

Но именно слова матроса Кульбердыева изменили ход собрания. Орловский рассвирепел, выскочил на середину комнаты, заслонил спиною начальников и заорал во всю силу легких:

— А кто это такой Джават Мерван? Приехал на Каракумский канал по путевке комсомола? Нет, в погоне за длинным рублем! Алчность и нажива — вот душонка Джавата. Спровоцировал ночную аварию, чтобы сграбастать пятнадцать тысяч премии за пе-ре-вы-пол-не-ние плана,— отчеканил юноша.

Внезапно Витя осекся —в дверях стоял Джават.

— Орловский! — протяжно и зычно, словно на капитанском мостике, простонал багермейстер.— Ты ответишь

за клевету... А это что, что? — Он выхватил из-за пазухи пачку бумаг, как видно, заранее приготовленных.— Почетные грамоты Волго-Дона!..— Джават трижды ударил себя в широкую грудь.— А какие у тебя грамоты, Орловский? Справка из тюрьмы?..

— Негодяй! — рявкнул Непес Сарыевич.

Упорно молчавший все время Мухамед скрипнул зубами и бросился на багермейстера, присутствующие вскочили, заорали, Союн стучал чабанским посохом по полу, а Орловский, закрыв глаза ладонью, убежал из кабинета.

— В подобной обстановке я не могу вести собрание! — промямлил вконец растерявшийся Воронин.

Проведя очередной отпуск в Кисловодске, Ашир Мурадов в начале сентября отбыл в командировку. Машинистка, печатая ему удостоверение, спросила: «Да в какой город-то?» Ашир небрежно отмахнулся: «Пишите — по Каракумскому каналу».

Пятнадцатидневное путешествие он начал с города Мары. Там выходила многотиражная газета строителей. Мурадов надеялся насобирать с ее страниц, выловить из рабкоровских писем интересные факты. И не ошибся, исписал блокнот. Затем Ашир побывал в Захмете и Кизылдже-Баба. Как-то вечером в чайхане он разговорился с соседом, и тот поведал ему грустную историю заблудившегося в песках, погибшего от жажды чабана. Ашир подробно записал его рассказ.

— Основа драматургического произведения! Или киносценарий можно быстренько сварганить,— сказал корреспондент.— Вообразите, сын этого чабана сейчас строитель Каракумского канала!

— Я могу вообразить,— сказал польщенный собеседник.— Значит, пьесы в ашхабадском театре вашего сочинения? Очень приятно познакомиться.

— Ну, не все, некоторые,— скромно заметил Ашир.— Искусство социалистического реализма творит многотысячный коллектив писателей, актеров, музыкантов, художников.

Вечером Мурадов долго стоял на веранде гостиницы. На нем был щеголеватый, с иголочки чесучовый костюм. Только что вымытые, чуть-чуть подвитые щипцами парикмахера черные волосы были зачесаны с заранее обдуманной небрежностью. Выпуклые глаза Ашира напоминали вынутые из кувшина со студеной колодезной водою виноградины.

Он чрезвычайно нравился самому себе.

Ему казалось, что гулявшие перед гостиницей девушки посматривают на него с обожанием. Видимо, узнали?.. Нет ничего удивительного — широкие массы читателей и читательниц знают сотрудников республиканской газеты.

Из Захмета Мурадов проехал в Канаг, отведал шашлыки древней Бухары, а оттуда примчался в поселок Керки.

Сентябрь золотился ясными, но не жаркими днями, напоминал об осени прохладными рассветами. Колхозные поселки опустели: от мала до велика все — и школьники, и женщины, и девушки — собирали нежные хлопья белого золота. Чабаны, закончив стрижку овец, угоняли отары на зимние отгонные пастбища.

«Караваны грузовиков с хлопком спешат к складам»,— написал Ашир в блокноте.

Однако он торопился в колхозную библиотеку, чтобы увидеть милую Айболек, гм, помириться... Да разве они ссорились? Он вспоминал тихую лунную ночь и прогулку по берегу арыка и уверял себя, что все лето мечтал о девушке, стремился к ней.

В читальном зале подростки, налегая грудью на стол, листали старые иллюстрированные журналы, а у книжного шкафа стояла спиною к дверям девушка с длинными косами. Она!.. Ашир на цыпочках подошел, на губах его цвела обворожительная улыбка. Он кашлянул, и библиотекарша обернулась, без удивления взглянула на вошедшего.

— Вы записаться или газеты почитать?

У нее было молодое, но уже потолстевшее, расплывшееся личико и тонюсенькие подбритые брови.

— Простите... Салам! — забормотал Ашир, словно на него опрокинули ведро холодной воды.— Вы заведующая? Если не ошибаюсь, здесь работала Айболек...

— Кульбердыева? Как же, как же. Вся семья уехала на канал. Летом уехали. И дядя Союн уехал, и Айболек.

«Чабан пришел на канал»,— вспомнил Ашир название своего очерка, увы, так и не написанного.

— Ищите земснаряд «Сормово-27».

— Спасибо, спасибо!

А земснаряд «Сормово-27» теперь прилежно трудился у самого села. За лето он проплыл, прополз от головной дамбы до Бассага-Керкинского канала, мелкодонного, про-

рытого еще в 1929 году лопатами. Занесенный илом, с осыпавшимися берегами, этот канал нужно было за зиму углубить, расширить до проектной отметки, дотянуть до древнего Узбоя.

Так что Аширу Мурадову не пришлось трястись на грузовике, глотать пыль, на следующее утро пешочком дошел, наслаждаясь бодрящим холодком. У земснаряда на берегу сидел мальчик со школьным портфелем в руках. Увидев незнакомца, встал, учтиво поздоровался.

— Салам, салам! — Ашир кивнул небрежно.— Куда в такую рань?

— Автобуса жду. Наша школа в Головном,— объяснил мальчик.— В поселке школу еще не достроили.

— Безобразие! — отрывисто сказал Ашир.— Резкая критическая корреспонденция: «Забыли о школах...» Ты чей будешь?

— Союна. Союна Кульбердыева.

— А-аа... семьей приехали? А где отец?

— Спит. В ночной смене работал. А дядя Мухамед и дядя Баба ушли на вахту. И тетя Айболек на работе,— словоохотливо объяснил мальчик.

— Понятно, понятно,— сказал Ашир с таким видом, словно наградил Кульберды ценным подарком.— «Чабан пришел на канал...»

Партийное бюро заседало вечером в кабинете Розенблата.

Предчувствуя, что здесь ему не скажут спасибо, Джават Мерван захватил с собою корреспонденцию Ашира Мурадова в республиканской газете — «Трудовые подвиги». И, не дожидаясь приглашения, звучно, громко прочитал:

— «В этих грандиозных успехах большая заслуга прежде всего старшего багермейстера товарища Джавата Мервана, которого без преувеличения можно назвать душою экипажа земснаряда «Сормово-27». Товарищ Мерван в полном смысле слова выдающийся мастер своего дела, ветеран исторической стройки Волго-Дона».

Затем был извлечен красивый красный, как коровий язык, пригласительный билет на бристольском картоне, с золотым обрезом: Джавата Мервана приглашали на банкет в честь окончания строительства Волго-Дона. Документация была дополнена большой фотографией: быстроходный крылатый катер летел в пенистых волнах, на

корме красовался, выкатив грудь, надменно запрокинув голову, Джават.

— Вредителям таких бумаг не дают, о вредителях так в газетах не пишут! — завел багермейстер на самой высокой ноте.— Надеюсь, что партия защитит беспартийного специалиста от клеветы бывших арестантов.

— Не занимайся демагогией! — в один голос сказали Розенблат и Воронин.

— Какая ж демагогия? Непес сидел, Витька Орловский сидел.

Непесу Сарыевичу будто кипятку плеснули в лицо. Себя он защитить не смог, заступился за Орловского:

— Не Витька, а Виталий Трофимович!..

— Вы объясните, товарищ Мерван, был случай, что большой насос уткнулся в сухой берег? — брезгливым тоном спросил начальник.

— Мало ли что бывает!.. Никто не гарантирован от ошибок.— Джават изворачивался цепко.— И аварии были и будут у самых передовых экипажей. Теперь вода смочила грунты, вот и разберись, твердыми они были в те ночи или мягкими?

Рассуждали, спорили, ругались до полуночи, охрипли, одурели от непрерывного курения и кончили дело тем, что приняли к сведению заявление Непеса Сарыевича и Джавата: незаконно полученные деньги они вернут государственной казне.

Баба остался недоволен:

— Из багермейстеров надо выгнать!

— Вот учись, встань на его место,— посоветовал Воронин. Ему надо было выполнять любой ценой план, и тут он иногда кривил душой.

Глава седьмая

Айболек взяли на работу рядовым матросом, а поручили редактировать стенную газету, заведовать библиотекой. Непес Сарыевич отлежался, отдохнул и отважно нарушил штатное расписание. «Не нужны мне пять матросов,— оправдывался он сам перед собою.— И с тремя управлюсь. А лаборант-почвовед обязательно нужен. И библиотекарь».

Сперва Айболек принялась за газету. Выпускали ее на туркменском и русском языках. Витя Орловский написал заметку «Матрос тоже почетная должность». Передовая статья «Крепить дисциплину» принадлежала перу Непеса

Сарыевича. Механик-дагестанец Яхьяев неожиданно оказался и поэтом и художником, принес шаржи со стихотворными подписями на повариху тетю Пашу и на Союна.

Ашир Мурадов вошел в библиотеку, но на него не обратили внимания. Айболек, похорошевшая, оживленная, полулежала на столе, любуясь рисунком,— дородная тетя Паша держала в могучих, словно у циркового борца, руках поднос, уставленный тарелками. Подпись гласила:

На славу стряпаешь ты,
Милая тетя Паша.
Взрослым — плов и манты,
Детям—манную кашу.

— Замечательно! — хохотала девушка.

— Конечно, я скромен, но и Михалкову так не написать,— шутил ей в лад Яхьяев.

Корреспондент дрыгнул ногою, чтобы поправить острую складку на брюках, сердито кашлянул, но Айболек увлеклась, схватила шарж на Союна. Брат был изображен в чабанском костюме, с неизменным посохом под мышкой. Обеими руками он душил, как змею, извивающийся в песке, обвившийся вокруг его тела трос.

Хай, Кульбердыев Союн
Чабанил когда-то коюн [1].
Укротил капризный трос,
Теперь настоящий матрос.

Айболек так и покатилась от смеха.

— Но вы это не поместите,— осторожно заметил парень, с восхищением глядя на раскрасневшуюся девушку.

— Нет, почему же! Хорошего ж ты мнения обо мне, если считаешь, что пощажу старшего брата.— Айболек теперь говорила серьезно.— Обязательно опубликуем.

— Привет работникам низовой печати! — театрально провозгласил Ашир, решив, что пришел его срок.

Девушка вспыхнула, выпрямилась и встретила его недовольным взглядом, а чуткий Яхьяев смекнул, что ему пора идти на вахту. И, кивнув вошедшему, ушел.

— Айболек!..— слабым, прерывающимся голосом сказал Ашир.— Ты все еще сердишься? Прости. Но в ту волшебную ночь я был опьянен твоей красотою.

— Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Как ваше здоровье? — монотонно, словно вызубренный урок, оттараторила девушка.— В командировку приехали?

[1] Коюн — баран.

— Что мне командировки! — пылко воскликнул Ашир.— Ради тебя приехал. Тебя искал по всей республике!

— «Слова, слова, слова», как сказал Гамлет,— вздохнула Айболек.— Скучно это... Да и работать надо. Заходите вечерком.

— Ах, тебе со мною скучно? А с этим кавказцем весело? Ну, прошу прощения. Желаю успехов в труде, счастья в жизни. Теперь я вижу, каким наивным и легкомысленным был тогда...

У Айболек были ледяные глаза, но когда дверь каюты вахлопнулась, она пригорюнилась: все-таки этот Ашир забавный парень. С таким не соскучишься... И красивый. Нет, девичьи глупости... Смазливенький! А красивый по-настоящему, конечно, Витя Орловский.

Баба намекнул Непесу Сарыевичу, что старший брат мечтает овладеть какой-нибудь специальностью, но сам заговорить об этом с начальником не может. Честь мужчины!

— Так пусть Мухамед и учит его на бульдозериста.

— Вам бы обязать его учиться. Да еще приказом по экипажу,— осторожно подсказал Баба.

— Ладно! В порядке, значит, технической учебы.

И Непес Сарыевич накатал громовый приказ: «Обязать товарища Союна Кульбердыева... Освоение специальности... квалификация... возложить ответственность за обучение на товарища Мухамеда Кульбердыева...»

Баба был тонким знатоком человеческой души: старший брат воспринял распоряжение, скрепленное подписью и печатью, как сигнал командира к атаке. И бережно спрятал бумажку за пазуху. На жену и сына теперь он посматривал так строго, что те не решались ни о чем спрашивать.

Туго пришлось Мухамеду: старший потребовал, чтобы каждую свободную минутку после вахты он уделял занятиям. С неизменной, будто приклеенной под усиками, насмешливой улыбкой взялся за обучение.

Недели через две он сказал Непесу Сарыевичу:

— Вообще-то Союн умный, очень умный. И настойчивый до ужаса... Но безбожно коверкает русские слова: «акимбатер» — это аккумулятор, «лепетке» — лопата, «воздухчистил» — воздухоочиститель.

— Да, таких туркменских слов нету,— глубокомысленно заметил начальник.

Когда начались практические занятия, Мухамед распоясался, допускал по адресу старшего резкие выражения, каких в деревне или на пастбище никогда бы не позволил себе.

Однако Союн смирился, прощал...

Усадив старшего в кабину бульдозера, Мухамед встал перед машиной, широко раскинул руки, как регулировщик на перекрестке, и заорал:

— Прямо на меня! Не забудь сказать: «Биссымулла» — помоги господи.

Бульдозер не двигался.

Как только Мухамед влезал в кабину, старший держался увереннее, спокойно брался за рычаги.

— Не верблюд же, из седла не выбросит. Смелее! — кричал Мухамед.

Машина с оглушительным грохотом и лязгом ползла по песку, лопата опускалась, шаркала, сметала мусор и сучья.

Едва Мухамед выпрыгивал из кабины, на Союна нападала робость, потные руки прилипали к рычагам, в глазах темнело, и молитвы к всевышнему уже не помогали.

Однажды Мухамед до того разозлился, что плюнул и ушел к шоссе, где из толстой, как бараний пузырь, трубы земснаряда стреляла жидкая вонючая грязь, лилась плотным потоком в низинку.

Неожиданно он приосанился, бросил папироску.

Из кабины остановившегося грузовика вылезла статная рослая девушка, поставила чемодан на землю. Мухамед обожал властных, крупных, могучего сложения представительниц женского сословия и тотчас направил шаги к приезжей.

— Здравствуйте!

Девушка испуганно отскочила, словно дикая козочка, услышавшая пронзительный свист.

— Фу, как вы меня напугали!

У нее было широкое смуглое лицо, взгляд — смелый, быстрый.

— Простите, ради бога, простите... Вы на земснаряд? Разрешите познакомиться: бульдозерист Мухамед Кульбердыев.

— Аня. Аня Садапова.— Девушка улыбнулась.— Старший багермейстер. Если вы с «Сормово-27», то я действительно к вам.

— Боже, туркменка — багермейстер. Да еще старший!..— расплылся Мухамед.— Разрешите чемоданчик.

Стиснутый ремнями добротный чемодан был тяжел, словно камнями набит, но Мухамед из щегольства донес его в руке — на плечо не поставил.

В тот вечер Союн сломал-таки рычаг — рывком, а не постепенно, с силой рванул из гнезда, но Мухамед даже не расстроился.

Ашир Мурадов то и дело наведывался на земснаряд, надеясь, что строптивая Айболек покается в гордыне, окликнет его, наградит виновато-нежной улыбкой.

Однако девушка с замкнутым видом пробегала мимо, небрежно кивнув, запиралась в каюте, и Мурадову приходилось довольствоваться чаепитием с Непесом Сарыевичем.

Семья Кульбердыевых упорно не замечала Ашира. Тогда корреспондент провел обходный маневр.

Ранним утром он пришел на земснаряд. Там было непривычно тихо: три часа в сутки между ночной и дневной сменами машины стояли, и это было нужно не для того, чтобы люди отдохнули, а для того, чтобы остыли моторы.

Цепляясь за скобы на корме, на палубу вылез из воды Орловский: он всегда купался на рассвете в студеном канале. Прыгая, стуча зубами, Витя растер полотенцем длинное мускулистое тело.

— Корреспондент республиканской газеты,— представился Ашир.

— Матрос Орловский. Виталий Трофимович!.. Да чего мы на палубе стоим? Пойдемте ко мне в каюту, позавтракаем,— спохватился Витя.

Ашир выразил благосклонное согласие.

— Вы, товарищ корреспондент, мою заметку в стенгазете не читали? — спросил Орловский, вводя почетного гостя в узкую каюту.

Корреспондент заметки не читал, он видел лишь шаржи этого... как его... кавказца.

— А-аа... Так я в камбуз сбегаю, а вы поглядите, я копию на память оставил. Как дневник!.. Первая заметка в жизни, никогда не рабкорил.

Заметка была написана карандашом, но печатными буквами.

«Редактору стенгазеты «Сормовец» Айболек Кульбердыевой.

Я, матрос земснаряда «Сормово-27», Орловский Виталий Трофимович, год рождения 1934, беспартийный, направляю данную заметку в ваше распоряжение.

1. Работа матроса — почетная работа.

2. Матрос полностью отвечает за чистоту и порядок на корабле.

3. Я, Орловский Виталий Трофимович, добросовестно выполняя свои обязанности матроса, получил благодарность начальника конторы товарища Розенблата.

4. Мы не хотим войны, но если империалисты развяжут войну, то мы дадим сокрушительный отпор. Миру — мир!

5. Да здравствует наша социалистическая отчизна!»

Ашир подавил снисходительно-ленивый зевок.

Из столовой Орловский прибежал с тарелками в обеих руках.

— Ну как, нет политических ошибок? — озабоченно спросил он.

Политических ошибок не было: это корреспондент гарантировал солидным тоном.

— Самое главное, чтобы заметка была правильной с политической точки зрения,— сказал Витя, радушно угощая гостя.— Конечно, у меня нет опыта, да и способностей к писанию, но вообще-то я этим интересуюсь.

— А кто это ваш редактор? Айболек? — спросил Ашир, набивая полный рот хрустящим салатом.

— Замечательная девушка, замечательная! — воскликнул Орловский.— И какая умница. Вообще вся семья Кульбердыевых честная, прилежная. Мухамед, правда, заносится, но и это не со зла.

— Некультурные,— промычал Ашир, вплотную занявшись мантами, обильно политыми сметаной.

— Почему же? — Витя обиделся.— Баба техник, человек исключительно принципиальный. Конечно, дядя Союн из чабанов, а чабан, что чабан, каким был сто лет назад, таким и сейчас остался. Но сам добровольно вызвался учиться на бульдо́зериста.

— Когда ж научится? Через год?

— Пусть через два, три года! — сказал Орловский сердито.— Так он же чабан, кумли!

— Нет, я не отрицаю,— смутился Ашир, вспомнив название так и не написанного очерка: «Чабан пришел на канал».

Айболек и Аня сдружились буквально за один день — так водится между девушками — и уже шушукались.

— Счастливая ты какая! — говорила Аня.— Три старших брата — орлы, тетя... А у меня вот никого нету... Одна-одинешенька. Круглая сирота.

— Но ведь были...

— Отца вовсе не помню. Куда-то исчез! Коммунистом был, и видным, на руководящей работе. Так мама рассказывала. Рассказывала и плакала... Мама была задерганная, злая, и то меня бранила за каждую двойку, то целовала, душила объятиями. Я в русской школе училась! В третьем классе. Война шла, сорок третий год. Мама поехала на фронт с делегацией туркменских женщин, подарки повезли солдатам. А я жила в пионерском лагере.— Ане нужно было выговориться перед Айболек и Герек, излить душу.— Мама заехала ко мне попрощаться, какие-то булочки привезла, коврижки. И целовала меня, плакала, а вожатая говорит: «Да что вы? Словно навсегда прощаетесь. В августе вернетесь!..» А в августе мама не приехала, и меня повезли в Ашхабад, на легковой машине. Ой, как я радовалась, дура-дурища!.. Одна в машине, рядом с шофером. Привезли в Верховный Совет, а может, в Центральный Комитет, теперь не помню. Помню, старик угощал меня чаем, сладостями и гладил косички, говорил: «Ты пионерка? А за какое дело борется пионер?» — «За дело Ленина...» — отрапортовала, как на линейке. «Так вот, Аня, твоя мама за дело Ленина...» Тут я все поняла и крикнула: «Вай, мамочка!» И покатилась по коврам.

— А дальше, дальше? — настойчиво спрашивала Айболек, смахивая со щек слезы.

— А дальше ничего не было! — Аня опустила голову.— Сирота!.. Конечно, училась. Детский дом, школа, техникум. А вообще-то уже ничего в жизни не было.— И, проглотив катающийся в горле клубочек, добавила: — Сирота!

Герек смотрела на нее во все глаза. До сих пор она не подозревала, что выпадает на долю ребенка такое безутешное горе.

Вечерком Ашир заглянул в шашлычную, уютно спрятавшуюся в тени крохотного, но уже шумного сада.

Буфетчик открывал бочку пива, и перед стойкой вытянулась очередь. Мужчины с деловым видом топтались, подсчитывали мелочь, вытаскивали из карманов замусоленные бумажки. Над раскаленными, рубиново светящимися углями в очаге жарилось нанизанное на шампуры шашлычное мясо. Смачный дух щекотал ноздри.

Получив кружку с шапкой ноздреватой пены, Ашир пошел искать свободное место.

Сюда собирались любители не только шашлыков и пива, но и досужих бесконечных разговоров, потому все столики были заняты.

Наконец он отыскал стул, подсел к компании увлеченных беседой юношей: они на него не обратили никакого внимания. Ашир надул губы — привык к почету...

— Ты говоришь об экспедиции Шлигеля, а знаешь, что перед самой революцией, в тысяча девятьсот двенадцатом году, здесь побывали... Ну, кто? Американцы, да, да, дружок, американцы. Оказывается, на станции Захмет были, фотографировали, провели топографическую съемку. Но американцы не поверили, что можно большую воду привести в Мургаб.

— И хорошо, что не поверили,— заметил жилистый широкоплечий парень.— А чего они добивались?

— Концессии, ясно чего...— объяснил мужчина в белом новеньком, но уже измазанном мазутом костюме.— Нашим отцам, изнывавшим от безводья, конечно, помогать не собирались.

Мурадов подумал, что удачно бы в один из очерков о Каракумском канале ввернуть эту историю американской экспедиции. А что это за экспедиция Шлигеля? Нужно разузнать.

— Извините, товарищ, но так вы шашлыка не дождетесь,— сказал с улыбкой Мурадову мужчина в белом костюме.— Становитесь в очередь у буфета.

— Полное пренебрежение к общественному питанию! — фыркнул Ашир.— Придется выступить с резкой критической статьей. Разрешите познакомиться, корреспондент республиканской газеты Мурадов.

— Тѐхник Баба Кульбердыев,— сказал мужчина.

Глава восьмая

Джават Мерван уволился с земснаряда по собственному желанию.

И его заменила Аня.

Конечно, она была технически подготовленным багермейстером, но то ли опыта не хватало, то ли дерзости, а выработка снизилась.

— Вспомним еще не раз Джавата,— сказал, ни к кому не обращаясь, будто самому себе, однажды на летучке Воронин.— Жулик был, а работал великолепно!..

Непес Сарыевич не нашелся что ответить, но подумал, что грязными руками чистую воду в пустыню не приведешь.

А ему приходилось день ото дня все труднее. Обжитая, так называемая культурная зона осталась далеко позади. Поселок Головное теперь глубокий тыл строительства. Земснаряды, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы ворвались в безбрежные пески.

— До свидания, Узбой! До свидания, Обручевские степи!

Вперед, к Карамет-ниязу!..

В глухих песках, конечно, работать несподручно: того нет, этого нет, все привези... А ноябрь, как назло, сухой, без дождей, и порывистый сильный ветер гонит в канал песчаные струи, превращает воду в вязкую, жидкую, тягучую грязь. Если нынче встать пораньше, то увидишь на северных склонах холмов серебряные пятна инея. Ударят сухие морозы с песчаными бурями — придется опять требовать четвертую категорию. А после скандала с Джаватом прибегать к этой мере, вай, не хочется...

Казалось бы, слаженный, сработавшийся экипаж «Сормово-27» — каждый знает свои обязанности и каждый честно выполняет свои обязанности. И жить на корабле уютно, удобно. Проголодался — иди в камбуз; тетя Паша готовит обеды жирные, сладкие, сама предлагает добавку. Открыли галантерейный ларек, почти магазин, с разным шурум-бурум, в нем можно и заказать любую вещь — привезут из центрального кооператива. В библиотеке у Айболек книги, журналы, газеты; в каютах — радиорепродукторы. Душ с горячей и холодной водой. Прачечная. Не хочешь платить прачке — сам стирай, пожалуйста.

Словом, не жизнь — рай, но если старший багермейстер выходит на вахту с заплаканным лицом, то не жди перевыполнения плана...

«Поневоле вспомнишь Джавата»,— безрадостно сказал себе Непес Сарыевич.

А случилось вот что. Восьмого ноября на «Сормово-27» состоялся праздничный вечер. Приехал главный инженер Воронин, зачитал приказ по конторе, с благодарностями, премиями, хотя и скудными («вспомнишь Джавата!..»), но все-таки денежными, как говорится, наличным рублем. После киносеанса начались танцы. Витя Орловский пригласил на вальс дородную тетю Пашу, его поступок вызвал всеобщее одобрение.

А Воронин подошел, поклонился Ане Садановой, и она протянула ему руку, ступила в круг, закружилась в плавном, чуть-чуть наивном, чуть-чуть печальном вальсе.

У Герек прервалось дыхание, она всплеснула руками и полетела в каюту, где Союн наслаждался одиночеством и чаепитием.

Нет, конечно, он был на вечере и принял с благодарностью от Воронина премию, приложил ко лбу пакет с деньгами и смотрел кинокартину, но едва загремела танцевальная музыка, удалился. В его летах достойнее полулежать на койке и баловаться душистым чайком.

Из бессвязных выкриков вбежавшей Герек он уловил: «Воронин — женатый! Честь девушки!.. Бесстыдно заголила ноги... На людях прижимаются друг к другу...»

Союн выплеснул чай из пиалы, словно туда угодила навозная муха.

— Немедленно прекратить знакомство! Если Айболек с нею заговорит, в деревню отправлю! И ты чтоб ни слова. Следи за дочерью! — грозно насупился Союн.— Води Джемаль за руку, глаз не спускай.

— Бесстыдно выше колен заголила ноги! — стонала Герек.

Этим же вечером приказано было младшим братьям не приближаться к Ане, словно к зачумленной.

Мухамед лениво усмехнулся и ничего не ответил, но Баба вспыхнул:

— Пустяками занимаешься, брат!

— Пустяками? Это ты называешь пустяками? — завопил Союн.

— Называю. И давай уговоримся, что такого разговора между нами не было.

Конечно, Аня не догадывалась, что собралась гроза, и вышла поутру на вахту в отличном настроении. На палубе встретила Джемаль, приласкала-приголубила — ей нравилась веселая смышленая девочка,— угостила медовой коврижкой. Но едва Аня ступила на мостик, Джемаль догнала ее с залитым слезами лицом.

— Возьми, тетя, свой поганый пряник обратно! — буркнула девочка.

Девятого ноября смена багермейстера Ани Садановой плана не выполнила...

«Н-да, оказывается, и в мерзопакостном Джавате были

свои достоинства»,— уныло рассуждал Непес Сарыевич, валяясь на койке, почесывая отвислый живот.

Ему страсть не хотелось идти к Союну Кульбердыеву, но он понимал, что от объяснений не уйдешь. А если так, то лучше действовать незамедлительно. «Сколотить бы целиком мужской экипаж!» — помечтал Непес Сарыевич, но тут же устыдился: ведь он произнес Восьмого марта по республиканскому радио речь «Женщине-туркменке широкую дорогу на стройку!». И гневно бичевал байско-феодальные пережитки — вреднейшее наследие проклятого прошлого...

Союн вкушал вермишелевый суп с перцем и кислым молоком — катыком.

Поздоровались, осведомились о здравии друг друга.

Случайно пришедшему к обеду гостю обычно говорят: «Чтоб тебя теща полюбила».

Уместное пожелание, ибо тещи крайне редко ценят зятьев, загубивших чистоту и счастье их ангелоподобных и благонравных дочерей...

На этот раз Союн промолчал: гость был старше хозяина и годами и положением.

Трапеза проходила чинно. Союн пробормотал: «Биссымулла», и Герек, дети откликнулись: «Биссымулла». Союн брал со стола ломоть хлеба, и жена, дети брали ломти хлеба. Проворный Кульберды управился с обедом раньше всех, но не шелохнулся, сидел неподвижно. Вот Союн выхлебал две полные чашки вермишелевого густого супа, Герек подала ему полотенце вытереть вспотевшее лицо и руки. Прочитана послеобеденная молитва. Жена придвинула хозяину прикрытые шерстяной салфеткой чайники с уже настоявшимся крепчайшим чаем. Лишь после этого Кульберды и Джемаль выскочили из каюты, за ними неторопливо вышла Герек.

— Я слушаю тебя, начальник,— сказал Союн.

После обильного обеда его клонило в сон, но обычаи гостеприимства — превыше всего.

Внимательно выслушав Непеса Сарыевича, Союн ответил, что у него свои взгляды на жизнь и отказываться от них в зрелом возрасте поздно.

— Не собираюсь получать калым за Айболек. Пусть выйдет за того парня, которого полюбит... Калымные браки теперь кончаются судом, разводом, я это заметил. Но пока я отвечаю за Айболек. И потому не только имею право — обязан, да, да, обязан следить, с кем она водится. Не забывай, начальник, Айболек — сирота.

— Аня тоже сирота, и братьев нету,— напомнил Непес Сарыевич.

Настроение у него испортилось: этого упрямого кумли сразу не переубедишь.

— Тем более, сирота должна вести себя осмотрительно,— возразил Союн.

— А младшие?

— Что младшие? — Глаза хозяина сверкнули злыми огоньками.— Младшие обнаглели, распустились. Отрезанные ломти! Пусть и живут своим разумом. А я погляжу-погляжу да вернусь на пастбище,— пригрозил Союн.

— Никуда ты не вернешься,— зевнул Непес Сарыевич.— Засмеют!.. Ты тоже отрезанный ломоть. Не кумли — матрос. Сдавай-ка скорее экзамен на бульдозериста.

В каюте Ани Садаповой из маленького настольного, похожего на шкатулку, репродуктора лилась приглушенная задорно-дерзкая, как бы покалывающая душу музыка.

— Брамс! — воскликнул Непес Сарыевич, здороваясь, опускаясь на затрещавший стул.— Ну-ка подкрути, люблю погромче!

— Может, чаю принести, Непес Сарыевич? — улыбнулась Аня. Глаза девушки запухли, на щеках алые пятна — ясно, что ревмя ревела весь день.

— Давай, давай, только со своей заваркой!

— И варенье найдется...

Сперва начальник не мог попасть в тон: вымученно шутил, рассказывал глупые анекдоты и сам первым приходил в восторг, хохотал. Но вскоре Непес Сарыевич вспомнил, как пришел на земснаряд Витя Орловский, без паспорта, без копейки, стыдящийся даже не себя — своей тени. И все переменилось: Аня заслушалась, приоткрыв рот, успокоенно перевела дыхание и, пожалуй, похорошела. С воспоминаний об Орловском Непес Сарыевич неизвестно почему перескочил на Ашира Мурадова, заявил: если корреспондент хочет быть настоящим корреспондентом, то пусть перестанет наряжаться в чесучовые костюмы, клянчить у начальников «легковушки».

— Пешочком походи, пыль поглотай, вот тогда будешь принципиальным журналистом! — бушевал Непес Сарыевич.

— Талант еще, наверно, нужен,— мягко улыбнулась Аня.— И разум. Парень-то он ничего... С годами слетит фанфаронство, наигрыш.

— И этот пижон пялит глаза на Айболек! — возмущался начальник.

— Да нет, пустое,— успокоила его Аня.— Чабан есть, юноша, с которым Айболек дружила. Кажется, Хидыр по имени... Вот там серьезное. Конечно, Айболек красавица...— Она помолчала, и это значило: «А я некрасивая».— И Айболек счастливая!..— Видимо, Аня подумала: «А я несчастная».

— Ай, девушки вы, девушки! — завздыхал Непес Сарыевич.— Ну, как говорится, перемелется — мука будет.

— Вот это справедливо.

Все-таки Аню Садапову приободрил этот в сущности ничего не значащий разговор.

Глава девятая

У Союна было скверное настроение: только диктор ашхабадского радио пожелал доброго утра, только почтительная жена принесла чайники, поставила пиалу, в каюту ворвался Витя Орловский, сказал, что нужно разгружать машину с горючим.

Когда управились, Союн почувствовал, что не хочет ни есть, ни пить, в голове гудело, вспотевшая спина чесалась. Он присел на песок. Солнце уже изрядно припекало. Приятно было погреться, подумать.

Минуту спустя к нему подошел Егор Матвеевич, пыхнул из кривой трубки голубым пахучим дымком, поздоровался.

— Как дела, Саша? — И объяснил: — По-вашему — Союн, по-нашему — Саша... Устал?

— Работа непутевая,— ворчливо сказал Союн.— Такие умные машины, а горючее грузим, таскаем вручную.

— Да, здесь недоделка,— согласился Егор Матвеевич. Помолчали.

Хребты Копетдага вырисовывались на северо-востоке резко, отчетливо; солнечные лучи проложили по ним сияющую кайму.

— Дивное зрелище,— сказал Союн.— Видишь, горы, а здесь река, а за рекой пески. Слава мастеру, создавшему все сущее.

— Кто же этот мастер такой удивительный?

— Бог. Всемогущий бог!

— А-аа...— не удивился Егор Матвеевич.— А правда, что без воли господа песчинку с места не сдвинешь?

— Правда.

— А землетрясение в Ашхабаде?

Союн замялся: конечно, бог сурово карает грешников, но ведь в тот страшный день пострадали и праведники.

— А Гитлер? Война? — еще строже спросил Егор Матвеевич.

На войне погиб младший брат Союна, Арслан, знаменитый арслан[1] песков. Наступил на какую-то мину и погиб, наихрабрейший джигит.

— Вот ты, Саша, на своем бульдозере передвинешь песчаные горы, не какие-то песчинки. И тоже с благословения всевышнего?

Союн отвернулся, недовольно хмыкнул.

— Скажи, Саша, а кто желаннее господу богу: Джават Мерван или Аня Саданова? — наседал Егор Матвеевич.

Тут Союн не выдержал, как-то неуклюже взмахнул рукою и отправился в каюту.

— Подожди! — остановил его на сходнях Егор Матвеевич.— Верно, что у вас есть пословица: «Веришь в бога, верь, но не оплошай, осла привяжи покрепче»?

— Слушай, оставь ты меня! — взмолился Союн.

Джават, гм? Конечно, Джават положил на чаши весов деньги и бога. И деньги перевесили. И всевышний не наказал преступника, разрешил уволиться с земснаряда по собственному желанию... Как сказал великий Махтумкули:

Сорок кладовых набил золотом Карун[2].
Уснул в могиле, а золотом не насытился.

Слов нет, Аня Саданова прилежный, знающий дело багермейстер. И честная. Веди себя благопристойно, как подобает девице, да разве Союн оттолкнет сироту? Разрешит и жене, и сестре, и дочке дружить, миловаться.

Айболек, по совместительству выполнявшая обязанности письмоносца, получила почту.

Газеты, журналы, и ашхабадские, и московские, и туркменские, и русские. Три письма Вите Орловскому, и, конечно, все три от Веры Куликовой из города Тулы. Яхьяеву... Союну Кульбердыеву со штампом военной почты. И два письма Айболек Кульбердыевой.

От кого же! У нее заколотилось сердце.

---

[1] Арслан — лев.
[2] Карун — богатый и скупой.

Хидыр писал кратко: с отарой все благополучно, он здоров, старики родители тоже здоровы. «Пока кончаю. Хочется увидеть тебя, поговорить. Жду ответа. Пиши в деревню, мама перешлет мне на пастбище... Но брату Союну пока,— подчеркнуто волнистой чертою,— пока о моих письмах не говори...»

Ашир Мурадов писал на официальном бланке редакции. Правда, печати не было. Айболек вертела письмо и так и сяк — печати не оказалось... Ашир клялся в вечной любви; сейчас он дежурит по номеру, ночь, две полосы уже подписаны в печать, остальные задержались по вине линотиписта. А мысленно Ашир летит к Айболек на крыльях любви.

Она ничего не поняла: что такое «полосы», кто такой «линотипист»? Однако и это послание доставило удовольствие — бережно спрятала в кармашек зеленого джемпера.

И пошла в каюту старшего брата.

Союну писали солдаты-туркмены из артиллерийского полка. Они слышали по московскому радио корреспонденцию Ашира Мурадова «Чабан пришел на канал» и счастливы, что Союн Кульбердыев уже стал бульдозеристом, желают ему здоровья, успехов в труде.

— Позволь,— испугался брат.— Когда это я стал бульдозеристом? Это тот Ашир написал, который вечно торчит в библиотеке? Скажи, чтоб ноги его больше не было на земснаряде, иначе...

— Но ты же экзамен сдал.

— Экзамен — слова! — заорал Союн.— Людям нужны дела. Как можно по радио произносить лживые речи? Непесу Сарыевичу пожалуюсь. А если солдаты уволятся и приедут сюда?

— Значит, надо скорее садиться на бульдозер,— предложила Айболек; конечно, в ауле она не решалась бы давать советы старшему. Союн едва не застонал от обиды. Младшая сестренка, девчонка учит его, прославленного чабана... Слава богу, что жены в каюте нету. Но все-таки это достойный выход. Пусть Союн будет работать сперва плохо и норму не выполнять, и на производственных собраниях его станут срамить — это стерпеть можно... Зато радио не обманет солдат, действительно Союн Кульбердыев не чабан, не кумли, не матрос, а доподлинный бульдозерист.

— Ладно, сам знаю,— проворчал он, пряча глаза.

У Айболек посветлела душа; подпрыгивая, мурлыча

под нос песенку, она помчалась к Непесу Сарыевичу, вручила пачку деловых писем.

— Слушай, товарищ Кульбердыева,— сердито сказал начальник, отодвигая от себя пакеты: надоело.— Ты бы спектакль какой-нибудь поставила, на худой конец концерт. Куплю вам туркменский дутар, гиджак. Скучно ведь!

Айболек согласилась: и верно, на земспаряде скучно. Работают все много, устают, а после вахты забиваются в каюты, как в норы.

— Аню Садапову привлеки в актрисы...

Брови девушки подпрыгнули, поползли вверх.

— Тетю Пашу,— невозмутимо продолжал Непес Сарыевич.

Теперь Айболек не удержалась, фыркнула. Это тетя Паша-то актриса, ну и придумал начальник...

— В гараже, в механических мастерских поищи талантливых девушек.

— С нашими очень трудно разговаривать.

— Понимаю, что трудно,— кивнул Непес Сарыевич.— Вот слушай. Лет тридцать назад мы, комсомольцы, в ауле создали театральный кружок. Ха! Так я злую женщину-сплетницу изображал. Нарядился в материнский борук, рот прикрыл яшмаком...— Он покрутил орлиным носом, хохотнул.

Айболек и поверила и не поверила. Она знала, что Непес Сарыевич правдив, но не могла представить его в женской одежде.

— Так ведь то было тридцать лет назад,— и мечтательно и тоскливо закончил Непес Сарыевич.

— И сейчас не легче,— сказала Айболек, крепясь из последних сил: смех одолевал... Подумать, начальник играл роль женщины.— У нас в ауле есть певунья Гулялек! Залезет на тутовник, листву собирает для шелкопряда и заливается соловьем. А в самодеятельность — ни ногой. Стыдно! Осудят!.. Так я к матери пошла, а ее мать героиня, многодетная. «Абадан-эдже, за что вас государство наградило?» — «За детей, джейранчик, за детей!» — «Так у вашей Гулялек в горлышке соловьиные трели, а вы ее на вечную немоту обрекли...» Обиделась, выгнала.

— Так-таки выгнала? — с любопытством взглянул на раскрасневшуюся Айболек начальник.

— Ну, сначала выгнала и второй раз выгнала, а потом согласилась, разрешила!.. — победоносно воскликнула Айболек.

— Видишь! А тридцать лет назад вовсе не разрешали. Однажды я жену бая представлял, скупую, мерзкую. Так после спектакля сынки нашего бая — его тогда еще не выселили — подкараулили меня, избили до потери сознания. Оказывается, за свою мамашу обиделись, нашли сходство...— Непес Сарыевич говорил вполголоса, задумчиво, как бы не Айболек, а самому себе.— Тридцать лет... И сколько из них пропало попусту. Из жизни вычеркнуты. Самые молодые!

— Как это «вычеркнуты»?

— Тебе этого, девушка, пока не понять,— устало вздохнул начальник.— А может, и поймешь... Умница! Правда, не во всем умница. С Аней вот по-глупому разошлась. Как-нибудь расскажу.

И взял пакеты, распечатал, погрузился в чтение.

Айболек вышла из каюты на цыпочках. Ее сердца коснулась догадка, что она наивна и еще плохо разбирается в жизни.

31 декабря 1954 года

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ

В программе: туркменские, русские, азербайджанские, лезгинские песни и пляски

Художественное чтение

Смешная сценка

Программу ведут

А. Кульбердыева и К. Яхьяев

Начало концерта в 8 часов вечера

Плакат написал разноцветными красками Витя Орловский. Он же выразительно, но чересчур громко прочитал главу из поэмы Твардовского «Василий Теркин»; после каждой строфы Витя неизвестно для чего бил себя в грудь с такой силой, что в коридоре было слышно.

Бурные рукоплескания и восторг зрителей вознаградили Яхьяева: он пел азербайджанские песни, плясал, показывал фокусы.

По заманчивой афише можно было ожидать, что концерт продлится часа два-три. Увы, мастерства и выдумки артистов хватило всего минут на сорок.

Союн был разочарован: исполнили всего одну турк-

менскую песню. Правда, он не отрицал: «Фирюзу» Аня Садапова под аккомпанемент гитары и балалайки спела замечательно!

Сперва Союн пытался обиженно усмехаться, потом вдруг размяк, растроганно улыбнулся в усы и гулко захлопал шершавыми от мозолей ладонями.

Вихрастый Кульберды и Джемаль сидели впереди всех на полу, хотя свободные стулья оставались. По их мнению, это были самые лучшие места. От восхищения дети пронзительно взвизгивали. На следующее утро Кульберды не смог понять, почему у него распухли руки... Простодушная его сестренка, когда исполняли грустные песни, плакала, когда веселые, смеялась.

Смешную сценку Союн смотреть не пожелал: в ней высмеивались деревенские суеверия. И ушел в каюту. Герек, жена неизменно покорная, уступчивая, на этот раз дерзко вскинула подбородок и не тронулась с места. Не станешь же скандалить под Новый год!.. Союн смирился, промолчал.

Минут через десять Герек зашла за ним, позвала на торжественный ужин.

— Ну навеселилась же сегодня, отец! Вот так прокатили божьих старушек-прорицательниц! — сказала жена с беспечным видом, будто ничего не случилось.

Союну хотелось и бушевать, и плеваться, но опять превозмог себя, поплелся, опустив голову, в столовую, где расставляли столы, раскидывали скатерти.

Ашхабад поздравил туркменский народ, всех слушателей с Новым годом в полночь по местному времени, в десять часов по московскому.

Непес Сарыевич, в строгом черном костюме, внушительно солидный, оживленный, поднял бокал шампанского:

— За мир во всем мире, товарищи! За успехи в труде! За счастье!

Грянуло дружное, крепкое «ура», нежно зазвенели хрустальные бокалы.

Мухамед чокался с соседями, но выпил украдкой стопку «столичной»: терпеть не мог этого «колючего пойла» — так он определял вкус шампанского.

В морском кителе, в ярко сверкающих хромовых сапожках, он был ловок, строен. Потянулся через стол с непригубленным бокалом к Ане Садаповой, заглянул в ее глаза, влажные, словно сине-черные виноградинки под дождем, и побледнел, слова не смог вымолвить.

Аня не отвела взгляда, но румянцем вспыхнули щеки, дрогнула нижняя губа. Сейчас Аня была не прежней Аней, не багермейстером, строгим и зачастую горластым. В белой кофточке, с косами, туго завернутыми узлом на затылке, похорошевшая, уверенная в себе, она затмила стеснительную Айболек.

А Союн все видел, все подмечал, но воспользоваться освященной обычаями властью старшего брата уже не мог...

— За большую туркменскую воду, друзья! — вскочил и пылко воскликнул техник Баба.

Этот тост Союн поддержал чистосердечно.

Глава десятая

Скрипуче посвистывающий ветер предвещал песчаную бурю, но вечером у канала было пока что тихо, хотя и студено.

Союн развел высокий костер.

Кустарник с муравьиными гнездами на корнях пылал яростно, стрелял искрами, сине-зеленый дым отдавал горечью. С наслаждением, жадно вдыхал эту горечь Союн — дым пахнул пустыней, кочевьем.

А кругом простирались пески Захмета и Кизылджа-Баба, зловеще безжизненные, такие, какими испокон веков и полагалось быть пескам. Земснаряд, бульдозеры, экскаваторы, скреперы остановились у высоких могучих холмов, похожих скорее на цепочку приземистых гор. Глубина пионерной траншеи канала здесь достигала четырнадцати — семнадцати метров — невиданное в истории мировой гидротехники событие...

На базарах уже поговаривали, что в Лебабе какой-то неугомонный председатель колхоза из Каркали нарезает новые делянки хлопчатника, прокладывает арыки, строит утиную ферму, значит, ждет воды...

Сказали б год назад Союну, что в спекшейся от солнечного жара пустыне появится пруд с утками, повел бы носом, буркнул: «Рехнулись!»

Теперь он перешел из матросов в бульдозеристы и ничему не изумлялся.

На свет костра подошла Аня в полушубке, солдатских сапогах, шапке-ушанке. Сейчас она была похожа на фронтовую медсестру, счастливую уже тем, что выпала минутка отдыха после боя...

Союн поклонился багермейстеру Садаповой, но пе заговорил.

По противоположному берегу прошли, о чем-то оживленно беседуя, Непес Сарыевич и Баба, видимо, прикидывали, как вернее атаковать гряду холмов, преграду, по первому взгляду неодолимую.

Швырнув в огонь охапку сучьев, Союн пошел на земснаряд. Когда через полчаса он выглянул на палубу, то увидел, что льдисто-зеленое небо накрылось темной шалью. Пустыня, потревоженная в неурочный час ударами ветра, взвилась на дыбы, встала, как горячий конь. В луче прожектора пролетали клубки перекати-поля, круглые, как тельпек Союна. Низкие барханы подползали к каналу, словно их подталкивали десятки бульдозеров. В темноте послышался голос Баба:

— Канаву заливает!

— Знаю,— раздраженно ответил тоже невидимый Непес Сарыевич и зычно крикнул: — Товарищ Кульбердыев, закрепи-ка трос понадежнее.

Застигнутая ураганом Аня побежала к передовому бульдозеру. Песчинки, словно стеклянные осколки, резали лицо, слепили. Мухамед, выключив мотор, сидел согнувшись в кабине,— как видно, и машину бросить боязно, и бежать на земснаряд поздно.

— Мухамед! — завопила Аня во всю силу легких, но до парня долетел лишь свистящий шепот.— Понтон-то мы пе сдвинули, сломается.

Если бы ему приказал сдвигать понтон Непес Сарыевич, Мухамед ослушался бы: своя жизнь дороже... Ну треснет понтон, и черт с ним, завтра починим. А вот как самого швырнет порывом ветра в канал — не выплывешь.

— Мухамед! — не приказала, попросила совсем беспомощно Аня.

И он спрыгнул, увяз до колен в песке.

— Сдвинем! И барханы сдвинем! И земснаряд! — крикнул он и, словно орел, расправивший крылья перед полетом, раскинул руки.— Ого-го, Аня-джан!

Он стоял рядом с нею. Стоял, как скала. Стоял, как крепостная башня. Аня дышала быстро, но успокоенно. На такого можно положиться. Такой не обманет, не предаст.

А песчаная буря бесновалась, выла, визжала.

Утром Айболек вышла на палубу, ежась от прохлады. Пустыня в лучах нежаркого, но ослепительно блестящего солнца улыбалась добродушно, прикидывалась кроткой,

словно не она наполовину забила песком канал. Там, где должен был работать на плаву земснаряд, утробно ворчали, рычали экскаваторы, вычерпывая грязь,— за ночь Непес Сарыевич согнал их сюда со всех участков целое стадо.

Потяжелевшая, раздавшаяся Герек развешивала на веревках выстиранное белье. Рядом вертелась Джемаль с куклой, приставала к матери:

— Мам, а мам, сколько солнц в небе?

— Да что с тобой? — удивилась Герек.

— Два солнца,— спокойно объяснила ей девочка.— У нас в ауле жаркое, а здесь холодное. Нисколечко не печет!

К понтону подкатил, взрывая глубокие борозды в песке, увертливый «газик», из него вышли Воронин и Мурадов.

Главный инженер закрылся в каюте с Непесом Сарыевичем, а корреспондент молодецки кинулся на палубу, но Айболек там уже не было — убежала в библиотеку.

«И зачем он приехал? Опять болтать о нежных чувствах? — со злостью думала девушка.— А встретится с братом? Союн же обязательно вспомнит о той радиопередаче, вспылит, и быть скандалу».

Айболек перепугалась, и не за Ашира — за Союна. Неопытному бульдозеристу, на чьем счету и без того несколько поломок машины, скандалить не приходилось.

Глубоко вздохнув, она пошла искать Мурадова, но опоздала: у понтона стоял багровый от гнева, вздыбив усы, Союн, а перед ним, колотя кулаком себя в грудь, надрывался Ашир.

— Дядюшка! Исключительно из уважения! — и убеждал, и умолял он.— А каков политический резонанс? Сразу же пришло письмо из полка от туркменских воинов... Это ж надо ценить! Журналист стремится в будущее. «Чабан пришел на канал...» Кого этим теперь удивишь? Хо!

Айболек шепнула брату:

— Ты же бульдозерист! Согласно приказу начальника.

Час от часу не легче — младшая сестра дает ему советы при посторонних!..

— Ты зачем торопился? — прорычал Союн, надвигаясь на Мурадова.

Бог весть чем бы кончилась эта стычка, но из песков прибежал Кульберды, озябший, посиневший, и плаксиво пожаловался:

— Отец, волк мой капкан утащил!

— Вай, какой охотник! — сделав приятную улыбку, сказал Ашир и мелкими шажками отошел от Союна.

— А вот и охотник,— обиделся мальчик.— Хочешь хлебать чорву из зайца, так пойдем по следу.

Кровь чабана бросилась Союну в голову, опьянила.

— Где был капкан? Веди! — отрывисто приказал он сыну, забыв в этот миг и о корреспонденте и о вахте.

Тропинки перемело песком. Отец и сын шагали с трудом, вспотели. Союн сорвал шапку, распахнул ватник; ноздри его раздувались.

— Да вот,— показал наконец Кульберды на мелкую ямку с полуосыпавшимися краями. Песок кругом был покрыт как бы ссадинами, царапинами. Следы шли на восток, в урочище Адырсов.

Союн широко развел руки, призывая сына к молчанию, и с набожным лицом, словно творил молитвенный обряд, нагнулся.

— За волком прошли человек и собака.

Кульберды бил озноб нетерпения.

— Утренний след! — Отец объяснил, что чьи-то сапоги вдавили в песок утренний иней. Крепко взявшись обеими руками за бороду, он задумался.— Да, тут побывали два волка, конечно, два!

— Отец, почему ты догадался?

— Читай следы, читай! — строго прикрикнул Союн.— Земля не обманет. И один волк тащил на спине овцу. Гляди,— он пригнул вниз сына,— когти врезались глубоко, а вон собака летела птицей, след мелкий.

— Разве волк может унести на хребте овцу?

— Не назывался б волком, если бы был слабосильным! — Союн ткнул пальцем в куст саксаула.— Гляди, овечьи шерстинки. Значит, волк шатался, устал.

— Так побежим! — потребовал мальчик.

— О-оо, неразумный! — простонал отец.— Буря ж, ночная буря перемешала песок, он не слежался, не окаменел... Мелкими шажками скорее догоним! Нет? — вздрогнув, спросил он себя и тотчас ответил: — Да, вижу, вижу: это след Алабая!

— Твоего? — ахнул Кульберды.

Союн хотел сказать «моего», но честно поправился:

— Нашего!

Значит, Союн уехал от стада на канал, а теперь канал привел его обратно в пески, к его же отаре.

Напрягая горло, выпрямившись, отец закричал:

— О-го-го! О-оо!..

И за мутно-серыми барханами откликнулось: «о-оо!» Эхо? Человек?

Кульберды еще ничего не понял, а отец уже побежал, взрывая песок сапогами.

— Хидыр! Сынок! Алабай! — гремел голос Союна.

Раньше Кульберды уважал отца, хоть и побаивался, сейчас боготворил: отец был всевидящим, всезнающим, всемогущим.

За зубчатым хребтом бархана стоял устало улыбающийся пастух с окровавленной волчьей шкурой на плече, а на песке у его ног лежал взвизгивающий от боли пес.

Объятие было крепким, сердечным.

— Сынок! Хидыр!

А пес подползал к Союну, колотя хвостом по песку.

Хидыр улыбался через силу, ему стоять-то было трудно, до того измучился.

— Неужели отару разметала буря? — спросил Союн, прижимая к груди Алабая.

— Овец пять-шесть отбилось.— Хидыр виновато опустил голову.

— Да нет, я не об этом,— успокоил его Союн.— А как же Алабай?

— Мертвой хваткой взял волка! — с восторгом сказал пастух, словно говорил о своем подвиге.— Так и перепилил зубами горло!.. Ну, конечно, и Алабаю досталось: зверь крупный, сильный. А другой волк ушел. А вот и капкан.

— Мой, это мой! — воскликнул Кульберды.

— Значит, твой, бери... Отдохнем, что ли? — Хидыр бросил на песок волчью шкуру, и Алабай, оскалив зубы, ощетинившись, сразу же прыгнул на нее, рыча и от ярости и от боли.

— Хватит, хватит, навоевался,— оттащил его Союн, смеясь.— Дай лучше рану перевяжу! — И вытащил из-под тельпека ситцевый платок.

— Вот не думал, что мы здесь встретимся, дядюшка! — упав ничком, с трудом проговорил Хидыр.

— А чего тут думать? — уже с обычной суровостью заметил Союн, нежа в руках Алабая.— Земснаряд сюда доплыл. «Сормово-27»!

Увидев с палубы шатающегося от усталости Хидыра, с изможденным лицом, в грязном, с пятнами крови полушубке, Айболек вдруг почувствовала, что земснаряд круто накренился, и уцепилась за перила.

Волчью шкуру нес на плече Кульберды: у него было равнодушное, даже сонное лицо, на встречных он посматривал покровительственно: дескать, нам такие дела не в диковинку...

По ступенькам скатился с палубы на понтон Ашир, в его руках уже был зажат блокнот, карандаш так и плясал. Какой материал!.. «По следам волка», три колонки до подвала.

— Прости, друг, как имя-отчество?

Союн плечом отодвинул его, словно шкаф.

— Пойдем, сынок, в каюту. Сейчас вымоемся, душ у нас круглосуточно, и горячая тебе вода, и холодная... А потом почаевничаем. На этот раз можно и шариат нарушить: пропустим по стопочке. Простит всевышний! Хе!

Алабай по-прежнему лежал на его груди в кольце мускулистых рук.

Глава одиннадцатая

Выпавший в январе снег пролежал на кустах саксаула несколько дней, затем и они почернели, словно поменявшие цвет шерсти овцы.

А в газетах печатались снимки кремлевских голубых елей, от макушки до корня засыпанных искрящимся снегом.

И было странно глядеть на них, ибо в Каракумах опять установились сухие дни, и пески дымились поземкой.

Земснаряд Непеса Сарыевича благополучно переполз на новый участок и неожиданно наткнулся на рощицу оджара; длинные, крепчайшие, будто металлические, корни его густо пронзили почву, переплелись. Корни змеями заползали в трубу головного насоса, свивались там клубками, и приходилось останавливать моторы.

Непес Сарыевич приуныл: план трещал, заработки экипажа снизились, и никто не мог подсказать, как же перемолоть эти корневища.

Техник Баба с невозмутимым видом разгуливал по окрестным пескам, посвистывал, хлопал себя прутиком по голенищам, а о чем думал, что в уме прикидывал — неизвестно.

За рощицей лежала крутая впадина, и вот туда-то спускался не раз Баба, ковырял, растирал в пальцах почву: глина или рыхлые песчаники? Однако ни с кем не советовался — самолюбивый...

Однажды он зашел к Непесу Сарыевичу, спросил:

— Каково положение с графиком?

— Отстаем недели на три.

— Плохо.

— Куда хуже,— вздохнул Непес Сарыевич.

— С Ворониным говорили?

— Воронин глаз не кажет,— шепнул начальник.— Когда я перевыполняю план, то он тут как тут... А вот когда катастрофа, главный инженер кочует по соседним участкам.

Баба не колебался, но и не набивал себе цену, он думал и дважды, и трижды проверял свои расчеты. И наконец, облокотясь на стол, приблизив к морщинистому лицу Непеса Сарыевича свое напряженное лицо, с натянувшейся на скулах обветренной кожей, предложил построить временную перемычку, накопить побольше воды, а затем ударить тяжелым потоком по преграде.

— Позволь,— растерялся Непес Сарыевич,— а если вода хлынет в сторону? Прорвет стенки канала? Уйдет в низину?

— Может и так случиться! — Баба выразительно пожал плечами.— Риск!..

— Надо вызвать Воронина...

— Вай! Да вы что, перестраховаться решили?

Непес Сарыевич покраснел: Баба уколол его в самое чувствительное место. Да, начальник старел, мучился одиночеством и все чаще и чаще прятался за циркуляры и предписания конторы. Муторно было, ох, душа ныла, а вот не мог поступать иначе.

— Обсудим на партийной группе,— предложил Баба.— Самое разумное. А вообще-то там грунт жиденький, только корнями держится.

Вечером Баба поделился своим замыслом со старшим братом.

Союн несколько раз подряд сжал рукою бороду, словно выдавливал из нее дождевые капли, подумал, сказал осмотрительно:

— Товарищ Розенблат и Воронин, наверно, не разрешат тебе самовольничать.

— Я тебя не о том спрашиваю,— потемнел лицом Баба.— Смоет или не смоет вода эту дьявольскую гряду?

— Так давай выроем хоть один колодец,— просто, словно раньше об этом раздумывал, предложил Союн.— Если в глубине песок, не глина, значит, смоет.

Баба с минуту сидел неподвижно, полуоткрыв рот, потом захохотал и выбежал из каюты.

— Чабаны говорят: «Сперва бойся огня, но и с водой не шути»,— проводив младшего удивленным взглядом, заметил Союн и наклонил над пиалой чайник.

Пробы грунта оказались благоприятными, партгруппа предложение Баба одобрила, и вот уже три экскаватора и бульдозер Мухамеда круглосуточно возводили перемычку, и вода, набегая на нее, откатывалась, бурлила, скручивалась воронками, хлестала тяжелыми волнами.

Непес Сарыевич расстраивался, стонал:

— У-ух, вот не выстоит, рухнет, и утопим все механизмы! А кто будет отвечать? Начальник Какалиев.

— Коммунисты в ответе всегда и за все,— заверил его Баба хладнокровно, а у самого-то кошки на сердце скребли.— Значит, и я и вы!

Перемычка вздрагивала, по ней пробегали судороги, но все-таки выдержала, и когда вода сровнялась с краями ее и выплеснулась длинными узкими языками, Непес Сарыевич зажмурился, подал сигнал.

С треском опустился на плотину ковш экскаватора, зачерпнул мокрую землю, отбросил широким взмахом далеко на берег.

— Дядя Союн, молись всевышнему,— попросил то ли в шутку, то ли серьезно начальник.

Но на плечах Союна сидела счастливая до головокружения Джемаль, и обращаться за помощью к господу было уже некогда...

На шоссе из кузова грузовика выпрыгнул вездесущий Ашир Мурадов и пустился во весь дух, размахивая фотоаппаратом, крича во все горло:

— Подожди!

Каким-то чудом он пронюхал о выдумке Баба и уже придумал заголовок оперативной корреспонденции: «Вода сама себе прокладывает путь (смелое новаторство техника Баба Кульбердыева)». Первая строчка гласила: «Было это под Карамет-ниязом...»

Ждать корреспондента высокий, крутой, словно половинка радуги, водопад уже не мог, он падал с пушечным гулом, раскачивал громоздкий земснаряд, как колыбель, но все же Ашир успел сделать «замечательный кадр — в Ашхабаде обалдеют».

На Союна напало благодушное настроение, он всему

теперь радовался — и торжеству Баба, и тому, что дочка теребила за уши — поводья скакуна, и тому, что жена на сносях, вот-вот принесет ребенка: слов нет, лучше бы сына, но, если родится дочка, отец не возропщет... И на Ашира он взглянул кротко: «До чего неугомонный парень! Не сердце — стосильный мотор в груди. Такого бы мне года на два в подпаски, вот бы вышколил!..»

Напор тяжелого, будто стального, потока был таким сокрушительным, что песчаная преграда треснула, взлетели грязевые фонтаны, земля заскрипела, как от нестерпимой боли, и уже по стремительному течению поплыли мотки корней оджара, похожие на огромных пауков.

Мурадов бесцеремонно толкался, бегая взад-вперед, непрерывно щелкал «лейкой» да еще успевал хвастаться:

— Материальчик, сегодня же в Москву на центральное радио!

Строители подхватили Баба на руки и вскинули так высоко, что Джемаль взвизгнула: ой-ой-ой... Но тотчас же осмелела и потребовала, чтобы ее тоже качали, ну хоть бы отец разок подбросил. Наконец Баба вырвался из рук друзей, побежал к уже наполовину залитой впадине.

Путь земснаряду «Сормово-27» был открыт.

Вода летела в пустыню Яраджи, к придавленной камнем могиле его отца.

Джемаль проснулась задолго до рассвета, окно было темное, лишь кое-где забрызганное отсветом прожектора, но диктор ашхабадского радио уже пожелал людям по-туркменски: «Доброе утро».

Отец и мать крепко спали, и девочка, не одеваясь, в рубашке, босиком выскользнула в коридор. Забежала в необходимое место, потом, шлепая ногами по резиновому коврику, кинулась к каюте тети Айболек, поцарапалась в дверь. Тихо... Тетя не отозвалась, спала, значит. Рядом каюта дяди Баба. Джемаль и туда торкнулась: ни ответа ни привета. Обиженно надув губы, она отправилась в самый конец коридора, стукнула в дверь Мухамеда, и — чудо, настоящее чудо! — дверь распахнулась бесшумно.

Дядя стоял в брюках, но в нижней рубашке; лицо у него было растерянное, недоумевающее, словно он себе не верил, своим глазам, своему сердцу.

— Что тебе, Джемаль-джан? — спросил дядя серьезным тоном.

— Отец спит. Мама спит. Айболек спит. Дядя Баба спит. Кульберды спит,— уныло сказала девочка.— Мне скучно.

— Так и тебе надо спать, рано. Темно же! — сказал Мухамед.

В этот момент Джемаль заметила, что на кровати кто-то спит, плотно натянув ватное одеяло на голову.

— Эй-вэй! — закричала она.— Дядя? Кто это у тебя? В каюту вселили?

— Друг, ну, друг один заночевал, не буди его, Джемаль-джан, пусть поспит, будь умницей...

И Мухамед схватил ее за плечи, чтобы прогнать из каюты, но противная девчонка ловко вывернулась, дернула одеяло.

— Ты встал, пусть и гость встает, э-э!..

Она тянула одеяло, а спящий цепко держался за него, не отпускал, прятался.

Джемаль пришла в восторг от такой забавной игры, прыгнула на койку, оседлала лежавшего. Тело у гостя было не твердое, не мускулистое, как у дяди Мухамеда, а мягкое, нежное.

Сперва Мухамед закрыл глаза, потом с безнадежным видом махнул рукою.

— Ничего не поделаешь, Аня... Видишь сама! — вздохнул он, но не сердито.

И одеяло откинулось; смущенная, покрасневшая до черноты Аня притянула к себе тоненькое, похолодевшее тельце Джемаль, обняла.

— Иди, иди, погрейся, тростиночка, дочка моя!

— Теперь она твоя тетя. Тетя Аня,— объяснил Мухамед каким-то чужим голосом.

Джемаль-джан была по-детски мудра и уже не удивлялась, что каждый день приносит ей все новые и новые откровения.

— Как тетя Айболек?

— Ну, немножко иначе. А впрочем, какая разница?— улыбнулся Мухамед, и опять девочка подметила, что дядин голос звучал мягче, ласковее, чем обычно.

— Две тети, теперь две тети! — захлопала в ладошки Джемаль, приникая к горячей, так и обжигающей жаром Ане.

— Две, две...

Аня лежала на спине с усталой улыбкой, глядеть при свете на мужа было ей еще трудно.

Диктор ашхабадского радио сказал, теперь уже по-русски: «Доброе утро!»

Глава двенадцатая

Через четыре дня после столь внезапной и таинственной женитьбы Мухамеда в семье Кульбердыевых появился горластый крепкий мальчик. Секретарь сельсовета в Карамет-ниязе выдал справку с приложением печати: «...Союн Каналберды Союнович Кульбердыев».

Каналберды! — надо же додуматься.

Решили отметить оба торжества одновременно.

Хидыр пригнал из Ираджи трех упитанных овечек: двух из личного стада Союна, третью — от себя, свадебным подарком.

Ямы для котлов вырыл Мухамед, овец забили и освежевали Союн и Хидыр. Баба помчался в Карамет-нияз за бутылками с живительной влагой — привез ящик. Витя Орловский и Яхьяев собирали сучья. «Европейский» обед варила тетя Паша, плов — Союн.

Общее руководство тоем возложили на Непеса Сарыевича.

В суматохе Кульберды совсем отбился от рук и схватил по арифметике двойку.

Джемаль-джан пользовалась особым благорасположением тети Ани и дяди Мухамеда и не вылезала из их каюты, теперь уже двухместной.

Гостей собралось уйма, при взгляде на иных соседей по ниру Союн с трудом припоминал, где же они познакомились.

Первый тост провозгласил Союн: это его право отца, старшего брата.

Наполнив пиалу красным лимонадом — в назидание молодым он решил на этот раз придерживаться шариата,— он зычно сказал, путая туркменские и русские слова:

— Извините, что нет оркестра, в ауле я бы, конечно, позаботился... Но и без музыки веселье! Родился человек. Пусть он вырастет здоровым, сильным. Пусть станет трудолюбивым и честным. Остальное само придет. Младшему брату Мухамеду и старшему багермейстеру Ане желаю счастья. Давно хотел женить Мухамеда, еще в ауле...

— На калым денег не хватило! — крикнул шутливо Витя Орловский.

Пиала задрожала в руке Союна, он поставил ее на скатерть.

— Калым,— это слезы, это горе девушки. Бог и правительство не одобряют калыма. Ты допустил большую ошибку,— с укоризной обратился он к Орловскому.

— Да шутка, шутка! — покраснел Витя и заорал: — Горько!

Союн не понял, натянуто улыбнулся:

— Конечно, ваша водка горькая, но мой красный напиток — сладкий.

Гости засмеялись, захлопали в ладоши, раздались крики «ура», певуче зазвенели бокалы.

Союн опустил пятерню в казан с душистым рассыпчатым пловом, похожим на ворох белой сирени, и поднес ко рту — там, где дело касалось плова, он не признавал ложки. Вкуснее! Вкуснее и удобнее.

Конечно, Союн желал, чтобы Мухамед почтительно просил бы у него — старшего, заменившего отца — благословения на брак. Калым что! Калым действительно пережитки... Союн согласился велокодушно простить Ане и тот необдуманный поступок на ноябрьском вечере. Сирота!.. Не было у нее мудрых наставников и попечителей. И в конце концов, если Мухамед счел, что пляска с женатым мужчиной не запятнала ее чистоты, то Союну вмешиваться не приходится. Хотя... хотя, если Джемаль вздумает лет через десять — двенадцать пуститься в пляс, то отец возьмется за ремень. Так-то...

И опять запустил пятерню в казан.

Неожиданно за столом раздался хохот, посыпались приветственные восклицания: в дверях стоял ухмыляющийся Ашир с «лейкой» и портфелем.

— Привет уважаемой компании! Какая информация, боже! «Свадьба знатного механизатора...» «Ребенка нарекли Каналберды». Центральное радио, ашхабадские газеты.

И подсел к Хидыру.

После второго стакана водки у обоих развязались языки.

— Товарищ, я подпасок Союна,— сказал Хидыр.— Понимаете? Знали б вы, как он покинул Ярадни. Но дядя Союн не нарушил сыновней клятвы. Художественный образ. Правдивый и к тому же сложный. Мне его характер известен — учитель!

— Сложный образ...— пробормотал Ашир, стукнув дном пустого стакана о стол.— Интересно, что это значит? — И в упор посмотрел на сидевшего напротив Баба.

— Меня, что ли, спрашиваешь? — удивился тот.

— Никого не спрашиваю,— отрезал захмелевший Ашир.— Был положительный образ. Был отрицательный образ. Теперь появился сложный образ.

— Не знаю, чем вы занимаетесь,— сказал Хидыр.— Вы не из кооператива? Нет? Так слушайте: у нас в книгах одни люди — белые райские птички, другие — сизо-черные воро́ны. Не удивлюсь, если прочту, что дядя Союн приехал на канал по комсомольской путевке. И потом, почему писатели, корреспонденты приезжают в колхоз или на пастбище лишь тогда, когда солнце поднимется на высоту копья?

Ашир откинулся на спинку стула. Значит, чабаны не читают постоянно республиканскую газету, иначе чем же объяснить, что его сосед не знаком с произведениями Ашира Мурадова?

— Упор на положительный материал,— многозначительно заметил он и погрозил технику Баба пальцем.

Союн басовито храпел в каюте, а пир только разгорался, как костер. Орловский притащил в столовую радиолу. Начались танцы.

Цепляясь за перила, Хидыр поднялся на верхнюю палубу. Голова кружилась, береговые огни плясали, как глаза бегущих волков. Студеный воздух вливался в его грудь освежающим нектаром.

Неожиданно он услышал шепот в темном коридоре, позади. Оглянулся: парень и девушка забились в потайной уголок, то ли обнимались, то ли секретничали.

Непристойно было подслушивать, но и пройти незамеченным мимо парочки он не мог.

Заплетающимся языком Ашир мямлил выспренне:

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди!

И девушка засмеялась игриво:

— Болтун ты, болтун! И в кого такой уродился? Ну скажи, скажи, когда же придешь?

Айболек!

Весь хмель вылетел из головы Хидыра, и пальцы слились в могучие кулаки, и гневно распрямилась грудь. И ей-то он поклонялся... Она была путеводной его звездою степными ночами.

— Товарищ корреспондент? На минуточку,— сказал Хидыр голосом, в котором слышался металл.

— Мне и здесь хорошо,— хихикнул Ашир, но все-таки вышел.

Заложив руки за спину, чтобы не поддаться соблазну ударить, чабан спросил:

— Теперь вы поняли, что такое сложный образ?

— Ты что ж, друг, напился? — дерзко остановил его Мурадов.

— И не очень-то я пьян.

— Иди в каюту, проспись. Чисто по-товарищески советую.

— Я тоже говорю по-товарищески! — Чабан сорвал душивший его галстук, смял, швырнул через борт.— Помните, волчья шкура висела на моих плечах? Так вот, наловчился снимать волчьи шкуры!

— Надо знать меру, друг,— со стариковской снисходительностью сказал Ашир.— Все же пили за столом одинаково.

А девушка в коридоре так и влипла в стенку, но не проронила ни слова.

— Помните, в прошлом году мы вместе ехали в поезде? — продолжал Хидыр.— И где-то под Бухарой вы сказали, что женаты, что убежали от жены...

— Вай! — воскликнула Айболек и упала.

Отнес ее на руках в каюту не Ашир — Хидыр.

После затянувшегося пиршества все спали долго, крепко, с чувством честно исполненного долга.

Айболек плакала, уткнувшись в подушку. Плакала беззвучно.

Никто не зашел в каюту, не спросил, что за беда стряслась.

Никто не помешал ей.

Никто ее не искал.

Еще вчера жизнь была преисполненной светлыми мечтаниями. Она с достоинством смотрела на людей, и те относились к ней уважительно. У нее была любимая работа, и Айболек была нужна людям. Теперь жизнь потеряла смысл. Хидыр ее не простит. Если заново не родиться, то нельзя ничего изменить, вернуть себе право на счастье.

Хидыр не был ее любимым. Он был одноклассником, односельчанином. Десять лет они учились вместе, дружили. Хидыр ушел в пески, Айболек уехала на канал.

Она аккуратно отвечала на его письма, но Хидыра она не любила.

Затем появился веселый Ашир Мурадов. И напечатал в республиканской газете фотоочерк о сельской библиотеке с портретом Айболек Кульбердыевой.

Когда Ашир исчезал, то она скучала.

Но и его она не любила.

Она любила весь мир, закаты в песках, интересную книгу, песни девушек на плантации хлопчатника, новые кинокартины, братьев. Значит, и Хидыра любила как-то по-своему.

С Хидыром было надежно, привычно, но когда Ашир принес ей пылкую клятву, воскликнул: «Будь моей женой»,— то Айболек не сказала ни «да», ни «нет», а задохнулась от смеха:

— Вай, посмотрим, какой ты будешь муженек!..

Не Ашир ее обманул, она себя обманула. Надо было сказать либо «да», либо «нет».

«Выхода нет»,— подсказало кровоточащее сердце.

«Не торопись»,— шепнул какой-то внутренний голос.

Но она заторопилась, оделась, вышла из каюты.

Никто ее не задержал, вахтенный матрос кивнул и равнодушно отвернулся: своя.

Испуганным джейраном девушка пошла против ветра. В волнистых складках барханов лежали синие тени, как синий снег. Золотистая кайма на востоке указала, что там взойдет солнце.

Мир был безбрежен, но неутешной Айболек казалось, что он сжимался, давил ее клещами.

За рощей оджаров она вышла к широкой впадине, места были незнакомые, но и здесь стояли посеревшие от ночной сырости палатки, грузовики, на песке валялись бочки с горючим и водою.

Айболек круто повернула вправо...

Пески были прорезаны и старыми, расплывшимися, и свежими, глубокими следами автомашин, овечьими тропами; разноцветные шесты торчали на холмах: здесь проводили геодезическую съемку.

Через полчаса она наткнулась на стадо длинношеих экскаваторов и опять свернула, побежала в степь.

Всюду ее встречала жизнь, но Айболек убегала в пустыню.

Будничный день начался по-обычному.

Мухамед сдвинул бульдозером понтон, Союн копал на берегу яму для причального столба, тянул трос.

Витю Орловского послали в Карамет-нияз за запасными частями. Он подумал-подумал и решительно завернул в столовую, шепнул тете Паше:

— Не осталось ста граммов? На заправочку.

— А трудовая дисциплина?— рассердилась тетя Паша, с шумом сталкивая кастрюли на плите.— Выговор мне за вас получать?

Орловский знал, что повариха вспыльчива, но отходчива, и смотрел на нее умоляющим взглядом невинного ребенка.

— Поклянись, что не добавишь в поселке,— сжалилась тетя Паша.

— Ах нет, вот уж нет, там же моя Надя,— рассыпался в заверениях Витя.— Моя рыжая стражница.

— Ты бы хоть мне ее показал.

— Женюсь, покажу.

И, дожевывая бутербродик с затвердевшей колбасой, Орловский вприпрыжку помчался к грузовику.

Айболек хватились к обеду, спросили Непеса Сарыевича, не посылал ли ее на почту, обошли весь земснаряд, берег — девушка исчезла.

— Уехала с Орловским в Карамет-нияз к портнихе,— предположил кто-то.

Встревоженный Союн заметил, что без его разрешения сестра никуда не отлучается.

Хидыр узнал о случившемся в гараже, где дожидался попутной машины. Чабан побледнел, потуже затянул поясом полушубок и, не сказав никому ни слова, пошел в пески. До Яраджи примерно пятнадцать километров, Хидыр решил, что до сумерек дойдет туда, возьмет коня.

У зарослей высокого саксаула, где на каждую крепкую ветку можно было повесить верблюдицу, лежала груда холодной золы. От всосавшейся в песок лужи мазута еще изрядно попахивало. Видимо, ночевали геологи. И здесь Хидыр заметил узкие следы девичьих сапожков.

— Я во всем виноват, я,— сказал он, почувствовав, как сердце покатилось, пропустило два-три удара, а затем забилось часто-часто.

Он зашагал по следу, а уже темнело, но все-таки Хидыр разглядел вмятину в песке,— значит, Айболек пошатнулась, упала.

Ему хотелось бежать, но он шел шагами широкими, твердыми, дабы сохранить силы на всю ночь поисков.

И когда упала тьма, он нашел ее — раненым джейраном Айболек лежала на тропе.

Она взглянула на Хидыра, и нельзя было догадаться, то ли она сейчас заплачет, то ли засмеется.

— Убирайся! — сказала Айболек с ненавистью.— Ты мне не нужен.

— Ты мне нужна! Вставай, пойдем. Я так виноват перед тобой,— сказал он нежно и твердо.

С ветвей саксаула Хидыр собрал иней, смял в комочек и приложил к воспаленным губам девушки. Душа парня разрывалась от жалости и раскаяния. А ему нелегко было позвать Айболек за собою, навсегда, на всю жизнь, на счастье и на горе — ведь он не слышал от нее ни обещания, ни согласия.

Внезапно девушка закрыла лицо руками и заголосила громко, на всю степь, и он понял, что Айболек очнулась.

Лучи автомобильных фар рассекли темноту, машина мчалась на север, к Лебабу, и Хидыр побежал наперерез.

Теперь он летел с такой быстротой, что догнал бы волка.

Заскрипели тормоза, трехтонка остановилась перед его грудью, ослепив на миг фарами.

— Чего тебе? — закричал шофер.

На борту были написаны три буквы: ККК — Каракумский канал.

— Человеку худо,— сказал Хидыр.— Довези, пожалуйста, помоги.

— Машина государственная, горючее государственное, рейс срочный.— Шофер звучно прищелкнул языком.

— Получи пятьдесят рублей.

— Пятьдесят — не деньги! — Шофер засмеялся.

— Получи сто, двести! — с отчаянием выкрикнул Хидыр, вспрыгнув на подножку.

— Вот это другой разговор! Где твой болящий?

Хидыр вглядывался в шофера: это был Джават Мерван.

Глава тринадцатая

Молодожены еще не ложились, хотя и у Ани и у Мухамеда слипались глаза, а челюсти сводила сладчайшая зевота.

Мешала Джемаль, она окончательно перебралась в их каюту.

Мать вернулась из больницы с маленьким; ничего красивого и, во всяком случае, заслуживающего внимания в

братишке Джемаль не обнаружила. А Союн Союнович орал пронзительнее автомобильного гудка. В каюте пахло чем-то кислым. Словом, семейная жизнь Джемаль надоела. Кроме того, тетя Аня щедро потчевала ее шоколадными конфетами. Это тоже надо ценить!..

Сидя на кровати, вытянув ноги, Джемаль-джан рассматривала в альбоме фотографии, тыкала пальчиком в лица:

— А это кто?

— Наша учительница Мария Васильевна... Моя подруга Катя...— У Ани было умиротворенное настроение, и она вспоминала детские годы в приюте, в школе со светлой грустью.

— А это?

На тусклой любительской фотографии задорно улыбалась курносая девочка в пионерском галстуке; взгляд смелый, губы резко очерченные.

— А это я сама, джанчик,— вздохнула Аня.

Муж взял снимок, приблизил к глазам.

— Подожди, подожди,— медленно сказал Мухамед, отмахиваясь от потянувшейся за фотографией Джемаль.

— Да чего ты?

— Подожди! — вдруг рявкнул Мухамед, и вся кровь отхлынула от его лица, а глаза сузились, стали острыми, как лезвие ножа.— Где же я видел эту девочку?

Аня пожала плечами:

— Во сне видел...

Но муж выскочил тем временем в коридор, нобежал сломя голову, крича:

— Непес Сарыевич! Непес Сарыевич! Бушлук! Ур-ра!

Из кают выглядывали перепуганные соседи, маленький Союн Каналберды проснулся и залился визгливым плачем, а Мухамед метался по палубе, взлетал на капитанский мостик и всех встречных спрашивал:

— Где начальник?

А начальник стоял у понтона, ругался с шоферами, и было заметно, что Непесу Сарыевичу надоело с ними ругаться, и лицо у него было мятое, скучное.

Когда Мухамед с налета сунул ему под нос карточку, то Непес Сарыевич сначала улыбнулся, нет, это он желал улыбнуться, но губы странно запрыгали, а потом он засмеялся — нет, это в горле его что-то хлюпнуло, словно плеснувшая в канале мелкая волна.

— Айна! — простонал Непес Сарыевич, и если б Мухамед не поддержал, он, вероятно, упал бы.

Так семья Кульбердыевых породнилась с Непесом Сарыевичем.

Старики говорили: «Пути господа неисповедимы», а Союн думал чуть-чуть иначе: «Все хорошо, что хорошо кончается».

Он благословил Хидыра и сестру, но велел свадьбу играть в ауле, чтобы не нанести обиды его почтенным родителям.

Он работал на бульдозере день ото дня ловчее, умнее, а в свободные от вахты часы подолгу сидел на верхней палубе, толкая взад-вперед коляску, в которой безмятежно спал Союн Каналберды, изредка бойко насвистывая носом.

И не подозревал отец, каким смешным показался б он чабанам.

А люди «Сормово-27» не усмехались, а молча обходили Союна, чтобы не мешать его размышлениям.

Союн думал, что скоро он приведет детей, и самого младшего тоже, к могиле деда, скажет: «Жилы его ссохлись, кровь его испарилась от безводья!..»

И пожалуй, дети не смогут представить этого, ибо севернее впадины Кульберды-ага уже протянется синяя лента канала, и белые пароходы станут переговариваться там днем гудками, ночью — бортовыми огнями, и пустыня будет не только после весенних ливней, но все лето в счастливом цвету, потому что досыта насладится животворящей водою.

Союн думал о грядущем, говорил младшему сыну: «Тучные поля, пастбища былой пустыни принадлежат тебе, мой малыш. Прими отцовский подарок. Уже сейчас в водах канала я вижу твою судьбу. Чайки прилетели в Каракумы. Это птицы твоего детства, я любуюсь ими впервые на пороге неотвратимой старости...»

Пусть Союн думает — не мешайте.

Раздумья рождают песни, былины, сказания.

И эта маленькая повесть рождена раздумьями о друзьях с земснаряда «Сормово-27».

1963

Ташли Курбанов

р. 1934

Желтый цветок

1

Наступала осень.

О ней напоминали стайки облаков, как бы в нерешительном раздумье собирающихся над поросшими редкой арчой отрогами гор. Ее предвестниками были свежесть утреннего воздуха и частые моросящие дожди. Пора осеннего покоя стояла у околицы горного селения, раскинувшегося в тесном ущелье, где часто гуляли сквозняки.

Но природа не хотела покоя, ее нерастраченные силы упорно, хотя и безнадежно, сопротивлялись неизбежному зимнему оцепенению. Выбросили новые усики виноградные лозы, зазеленели дынные плети, и среди пожухлых листьев появились маленькие приторно сладкие дыньки. Их с удовольствием ели дети, пачкая руки и одежду липким соком.

Жители Чинарли обычно спали под открытым небом, и летние вечера были полны детскими голосами и смехом, на глинобитных топчанах перед домами велись степенные разговоры аксакалов. С наступлением осени жизнь в селении замирала рано. Торопливо загнав скотину, управившись с вечерним чаем и ужином, люди скрывались в домах. И темную тишину вечера нарушал только шелест старых чинар, да речка, протекающая через селение, ворчливо бормотала что-то неразборчивое.

Пшеница и овощи были уже убраны с полей, на корню оставалась только поздняя капуста. Дел у колхозников за-

метно убавилось, свободного времени стало больше, и они могли устроить той, съездить в гости к дальним родственникам.

Нурли-ага не любил осень. С годами все более угнетающе действовали на него промозглая погода, хмурое небо. Сын Довлет выделил ему в своем доме дальнюю комнату, куда не доносился шум голосов, и старик все дни проводил полулежа, наслаждаясь зеленым чаем. Иногда, устав сидеть в одиночестве, он собирал вокруг себя внучат и рассказывал им разные были и небылицы, затевал с ними веселую возню.

Навещали его и односельчане: один приходил за советом, иной просто справиться о здоровье. Старика уважали в селе. Семьдесят лет своей жизни он провел в этих местах: выращивал пшеницу, пас скот, промышлял охотой. Всю свою жизнь он трудился честно и добросовестно. И поэтому люди невольно прислушивались к словам старого Нурли-ага, считались с его мнением, шли к нему со своими сомнениями и радостями.

Посмотреть со стороны — вроде бы совсем беззаботно живет старый яшули. На самом же деле его касались заботы всего села.

Кроме сына Довлета была у Нурли-ага одна дочь. Ее долго ждали... И когда Нурли-ага уже совсем было махнул рукой: «Ай, наверное, больше не будет у нас детей!» — пятидесятилетняя Гульшат-эдже взяла да и подарила мужу белолицую дочку.

Изумленные чинарлинцы суеверно плевали за ворот: «Тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!» И то ли от их доброго отношения, то ли оттого, что родилась здоровенькой, девочка, которую назвали Малике, росла не по дням, а по часам, радуя и родителей и соседей.

Когда ей исполнилось восемь лет, внезапно умерла Гульшат-эдже, оставив девочку на попечение Бахар — жены старшего сына Довлета. На нее же легли и все заботы по хозяйству. Но недаром Гульшат-эдже считалась в селе образцовой хозяйкой, недаром она целых семь лет учила невестку вести хозяйство. Ни свекру с мужем, ни своей маленькой золовке Бахар не дала почувствовать отсутствие матери. Она успевала работать и в колхозе, и на собственном огороде, и по дому. Малике, как это принято, звала ее гельнедже — тетя. Но она была для девочки не просто теткой, а скорее второй матерью, которая нет-нет да и откладывала что-нибудь в сундучок: это на приданое Малике, этого не трогайте.

Время летит быстро, и не успели оглянуться, как Малике подросла. Только вчера, кажется, была босоногой, озорной, непоседливой девчонкой, а сегодня — глядь! — мимо тебя, застенчиво опустив ресницы и скромно отворачиваясь в сторону, идет взрослая девушка.

Такая неожиданная перемена произошла и с Малике. Правда, унаследовав нежную красоту матери-курдянки, она уже в десятилетнем возрасте заметно отличалась от своих сверстниц. Но, став взрослой девушкой, еще больше выделилась среди подруг, как говорится, стала как полная луна среди звезд. Но это сравнение ровным счетом ничего не говорило постороннему человеку. Надо было своими глазами увидеть, чтобы понять, насколько хороша Малике.

Бахар видела это давно. Едва девочка подросла, она старалась поменьше давать ей воли — усаживала за рукоделие, находила посильную работу по хозяйству. Стоило Малике закапризничать, невестка сразу же стыдила ее: «Грош цена в базарный день той девушке, которая ничего не умеет делать! Сейчас для тебя всякая наука в тягость, а вот когда своим домом заживешь, сразу узнаешь цену умению делать любую работу».

Пристыженная Малике усаживалась за вышивание, а Бахар исподтишка улыбалась, глядя, как сердито и в то же время ловко девочка орудует иглой.

Сначала Малике очень скучала по веселой болтовне с подружками, по звонким ляле — девичьим песням, которые они распевали, по шумным играм на берегу реки. Но время шло, и постепенно девочка стала привыкать к дому и... к одиночеству. Уже не нужно было напоминать ей о работе. Едва вернувшись из школы, она сразу же находила себе дело, ее стал тяготить каждый праздно проведенный час.

Однако жизнь сверстниц, их мечты и стремления не могли не коснуться ее хотя бы краем. И Малике, по примеру некоторых своих подружек, после окончания восьми классов решила поехать в районный интернат продолжать учебу.

Против этого немедленно восстала Бахар. Нет, она не хотела зла своей девочке, а просто Бахар очень боялась за свою золовку, и это заставило ее прибегнуть даже к некоторым предостережениям.

— Взрослой становишься, а ума как у цыпленка,— говорила она Малике.— И не стыдно тебе такие непристойные мысли в голове держать? Вон какая вымахала, и те-

перь хочешь скитаться где-то, бросив дом, родных... Разве не знаешь, что там, куда ты собираешься ехать, девушки сразу портятся? Ты себе такой славы желаешь? На старости лет отца перед всем селом опозорить хочешь, дурная? Хороша же благодарность твоя и отцу... и мне! Вон Хидыр Маймун послал свою дочь учиться в Ашхабад. А что из этого вышло? Срамится перед всеми, выставив свои голые, красные, как у журавля, ноги, все порядочные люди плюют ей вслед. Она теперь в родное село и глаз не кажет. Тебя прельщает такое? Нет, не верю. Сто человек скажет, тысяча скажет — не поверю! Моя Малике-джан умница, три раза посмотрит под ноги, прежде чем шагнуть. Пусть едет тот, кому хочется. В жизни всякое бывает — случается и такое, что добровольно с горы в пропасть прыгают...

Малике, как и прежде, послушалась невестку. Она больше не вела разговоров об интернате ни с братом, ни с отцом. А когда директор школы завел речь о продолжении учебы, она, потупившись, твердо сказала, что останется работать в колхозе, так как отец слишком стар. Директор попытался воздействовать на Малике через Бахар и самого Нурли-ага, но те только пожимали плечами: вот девушка, а вон интернат — уговорите и везите. Мы-то при чем здесь? Если желудок позволяет, пусть хоть змеиное мясо ест.

Так и не поехала Малике в интернат. Но она много думала о тех, кто все-таки уехал, и где-то в самой глубине сердце что-то саднило, как маленькая, но докучливая, незаживающая ранка. Девушка часто сидела, безвольно уронив на колени руки и глядя в пустоту невидящими глазами. Это беспокоило Бахар, и она, решив отвлечь золовку от «грешных» мыслей, стала учить ее ремеслу ковроделия.

Целыми днями не разгибалась Малике над гозаком — примитивным ткацким станком. Казалось, она погружалась в работу, как в сон, искала в усталости избавления от тех сомнений, которые никак не хотели оставить ее.

Работа не приносила облегчения. И порой Малике шла к соседям перекинуться несколькими словами. Однако ее тетушка была неусыпным стражем: она немедленно заявлялась следом и, посудачив с соседкой минуту о том о сем, уводила девушку домой.

В конце концов получилось так, что мир Малике замкнулся в тяжелые стены дувала, которым был обнесен двор Довлета. Небо над головой, стены и горы вокруг да землю под ногами — вот и все, что могла видеть девушка.

Иной раз на нее находила такая тоска, что сердце, казалось, стучало не в груди, а в самом горле. Хотелось кричать, разрушить эти стены, сровнять их с землей. Но приступ тоски утихал. Малике, вздохнув, шла к своему станку, и строгие гёли ковра вдруг теряли свою четкость: рядом с яркой краской узора ложился темный оттенок душевного смятения ковровщицы.

А дни шли своей чередой. Они сливались в месяцы, месяцы — в годы. Один год, второй год... Они ничем не отличались друг от друга, и их нельзя было остановить.

Так пришла к Малике ее семнадцатая осень. Косы девушки стали толщиной в руку, от их тяжести болела голова, и бедрам было тесно под узким платьем.

— Если девушке перевалит за семнадцать — добра не жди,— сказала Бахар как-то мужу.—Наша Малике совсем взрослой стала, во сне мечется, бормочет что-то. Надо подумать о ее будущем, а то...

Малике случайно подслушала этот разговор, и ей стало отчего-то неловко. Хотя она и жила затворницей, жизнь мимо нее не проходила. Откровенно брошенный взгляд, от которого кровь заливает щеки, мимоходом сказанное соседкой слово — все это заставляло биться ее сердце сильнее. Она знала, что неизбежен час, когда в жизнь ее, кроме отца и брата, войдет новый, неизвестный ей человек. Это было, пожалуй, любопытно, если думать о себе, как о посторонней. Но представить себя на месте этой посторонней? Нет, этого Малике не могла. Она разодрала бы ногтями лицо тому, кто осмелился приблизиться к ней. Выросший на отшибе цветок — красив, но не благоухает и слишком много на нем шипов.

2

«В древние-древние времена, говорят, был Карачай шире и полноводней, чем ныне. И две байские отары паслись по зеленым берегам его. И ходили за отарами: за одной — мальчик, за другой — девочка. Кто они были, эти пастушата, аллаху одному ведомо, но что они были один несчастнее другого — это я сам знаю. Может, при рождении им дали другие имена, однако забылись они. И мальчика звали просто Караоглан — Черный мальчик, а девочку — Карагыз — Черная девочка. Говорят, за смуглость лиц их прозвали так. А может, за то, что судьба их черной была?

Внимающий — разумеет... Ходил Караоглан с отарой по правому берегу Карачая, а Карагыз — по левому берегу. С утра до самого полудня ходили. А когда солнце становилось горячим, как только что вынутый из тамдыра чурек, спускались пастушата к реке. Поили своих овец и коз, сами пили прохладную горную воду и ложились вздремнуть — каждый на своем берегу Карачая.

Они почти не говорили между собой. О чем им было говорить? Беден был их мир, жалким существование, но они радовались жизни и просто жили, любовались и горами, и небом, и всем, что ниспослал аллах бедняку в утешение за их нелегкую долю.

Росла на правом берегу Карачая ива. У нее были тонкие ветви, но только росли они не вниз, как у всех обычных деревьев, а в стороны и вверх. И вот в один из дней срезал Караоглан ветку ивы и смастерил из нее дудочку, поющую, как струйки воды, и голосистую, словно хохлатый жаворонок.

Не уснула на этот раз Карагыз. Сидела она на берегу, обхватив руками колени, а колени ее были,— не стыдись, девушка, не такие, как у тебя,— колени ее были худые и острые, словно вот эта щепка. Сидела она и слушала, как поет дудочка Караоглана. А потом захотела сама поиграть, и Караоглан перебросил ей дудочку через речку, а сам стал мастерить другую.

Эх, миновать бы то, что неминуемо!.. Сорвался нож Караоглана, закапала, заструилась из раны на руке кровь. И тут Карагыз как ветром подхватило: кинулась она в холодную воду Карачая, в одно мгновение перебралась на другой берег. Сорвала с головы своей черный платок, перевязала им руку мальчика.

На глазах Караоглана слезы навернулись. Не от боли слезы — мужчина, даже мальчик, не плачет от боли! И сказал тогда Караоглан:

— Нет у меня матери, которой было бы тяжело видеть мою боль и которая перевязала бы мою руку своим платком.

— Я перевязала своим платком твою руку,— ответила Карагыз.— У меня тоже нет отца, и мне тяжело видеть твою боль.

И сели они на берегу реки — впервые рядышком сели. И заговорили о горькой доле своей — впервые заговорили о ней...

Аллах знает, что творит: его желаниями горы рушатся, его помыслами две тропки в одну сбегаются.

Не достаток, а нужда роднит людей, и еще сильнее подружились пастушата, когда открыли друг другу сердце свое.

Много ли, мало ли лет прошло с тех пор — никто не считал. Но давно ягнята стали овцами, Караоглан красивым парнем сделался, а Карагыз в цветущую девушку превратилась, и колени ее округлились. Часто сидели они рядышком под ивой, которая сблизила их.

Не дано знать сыну Адама-Ата, на каком повороте тропинки зло обернется добром и добро превратится в черное зло. Слушай, девушка, хотя мудрость сказанного — не мост через пропасть, но она посох, которым ощупывают дорогу на пути к пропасти.

Сидели Караоглан и Карагыз на берегу реки, тихо сидели: прислушивались к тому, что сердца их говорят. А сердца говорили многое, и расцветал между ними цветок, который мы называем любовью. Прекрасный этот цветок, но аромат его слишком силен для слабых голов, он внушает человеку веру в безмерность сил своих, и часто человек бросает посох. Но кто упрекнет его? Тот, кто не любил. А в подземелье не растут цветы...

И вот однажды пошел Караоглан на свидание, к иве. Здесь было их заветное место. Пришел он и видит — о аллах! — бурлит Карачай, ревет диким зверем, барсом ревет, и мчится по ущелью, как взбесившийся конь. Валуны семипудовые катит, сметает все на своем пути.

Растерянность охватила Караоглана. А тут грянул над его головой гром, расколол небо, низверг на землю воды верхние. Смешались они с водами Карачая, вспучились горбом верблюжьим, расплескались на всю вселенную.

Спасаясь от бурлящей воды, взобрался Караоглан на иву. А мысли его — о Карагыз: есть ведь бог на небе, неужто поток захватил ее, когда она через реку перебиралась? Кричать парень стал, чтобы предупредить девушку об опасности, сказать ей, что он жив. Охрип к утру, но только безумный Карачай слышал его призывы. А больше — никто.

Наконец сбросила ночь с лица чадру свою. Посветлело вокруг, даже горы сизыми стали, а только вода — черная по-прежнему. Посмотрел Караоглан по сторонам, вниз глянул. И видит: свесила ива свои ветви в воду. Что такое? Всмотрелся — и захолонуло в груди: растрепались косы, как ветви ивы, в воде полощутся, а за одну из ветвей намертво ухватилась смуглая рука.

Ах, Карагыз, Карагыз!.. Знать, слишком много любви было в твоем сердце, что не побоялась ты бурной реки, через слепую ярость стихии спешила ты к тому, кто осветил твою жизнь самым великим из всех человеческих чувств. Но иссякли силы в неравной борьбе, и просила ты помощи у ивы. А ветви ее слабы, не смогли они удержать тебя, согнулись под твоей тяжестью. Не погасила черная вода любви твоей, но затмила твой светлый мир. Ах, Карагыз, Карагыз...

С того дня и поныне не поднимает головы ива. И другие ивы опустили свои ветви в воду, надеясь найти ту великую любовь, которой не страшны никакие преграды. Иногда с листьев ивы падают прозрачные капли,— ты видела их, девушка? То не брызги волн и не капли росы, то слезы ивы, что плачет над своим бессилием. Опаснее тысячи зол слабая доброта, и потому плачут ивы, склоняясь над бегущей водой. Но сильному — плакать не пристало».

* * *

От дервиша-турка, случайно забредшего как-то в курдское селение, слышала эту легенду Гульшат-эдже. А потом, много лет спустя, рассказала своей дочери. Тогда судьба Карагыз была для Малике только красивой и печальной сказкой. Но теперь эта история вспоминалась девушке все чаще. Она хотела бы любить так же, как Карагыз, в едином порыве выплеснуть все, что переполняет ее до краев. Но как это делается, она не знала. Да и кого было полюбить.

Когда становилось слишком тоскливо, Малике брала узкогорлый кувшин и шла к горам, в укромное местечко, закрытое от любопытных глаз высоким и густым кустарником. Там, пробившись из каменной темницы к свету, весело журчал прозрачный, словно глаз птицы, и холодный до того, что зубы ломило, источник. И еще росла там старая-престарая, седая ива.

Никто не обращал на нее внимания. Чинарлинцы признавали только те деревья, что дали название их селению, которые стояли гордыми стройными рядами вдоль длинной улицы Чинарли. А ива доживала свой век одинокая и бесприютная, с обреченной покорностью подставляя свою склоненную голову и солнцу, и ветрам, и дождям. Стадо ягнят да случайный путник находили здесь кратковременное пристанище. Это место и облюбовала для себя Мали-

ке: за его тихий уют, за нетронутый шелк травы, за грезы, которые навевал ей шелест ивы, шепчущей о судьбе девушки Карагыз.

Наискось, пересекая люцерновое поле, обходя по краю заросли кустарника, Малике спускалась к источнику. Если это было раннее утро, она отставляла в сторону кувшин, закрепляла на затылке косы и умывалась ледяной освежающей водой. А потом мокрыми руками проводила по блеклым, белесым листочкам ивы, которая тянулась и все никак не могла дотянуться до ручья. И девушке казалось, что ива вздрагивает от ее прикосновения, пробуждается, и шелест листвы доносит до нее несмелое утреннее приветствие. Казалось, что и ручей прекращает свою ровную скороговорку и начинает ревниво булькать и пениться. И Малике радостно улыбалась, вдыхая широкий поток аромата, текущий по ущелью с горных склонов. Правду говорят, что даже запах горных трав прибавляет жизни человеку.

Почти всегда вслед за Малике к ручью прилетала пара голубей. Заслышав шелест их крыльев, девушка неподвижно замирала, чтобы не спугнуть робких птиц. Поначалу они недоверчиво посматривали на странное неподвижное существо и обходили подальше, сторонкой, но потом привыкли, стали меньше дичиться.

Смешно переваливаясь, семеня красными лапками, они спешили к ручью, окунали в него клювы и, подняв головки кверху, потряхивали ими, торопясь проглотить воду.

Напившись, птицы, как по команде, устремлялись ввысь. Малике провожала их глазами, жалея, что нет у нее крыльев, чтобы самой подняться в это бездонное синее небо, выше самых высоких гор, почувствовать себя легкой и свободной и улететь в неведомые манящие дали.

За такими мыслями неизменно находила новая волна грусти, оживленное лицо девушки тускнело, на глаза навертывались слезы. Посидев молча несколько минут, она наполняла кувшин водой и шла домой, к своему опостылевшему станку. «Эй, русалка! — громко журчал ей вслед ручей.— Эй, девушка с мокрыми от слез голубыми глазами! Зачем тоскуешь о голубиных крыльях? У тебя самой есть крылья, в сто раз сильнее, орлиные крылья — расправь их, взлети к солнцу!»

Но Малике не понимала голоса ручья, до нее доносилось только невнятное слабеющее бормотание воды.

* * *

День выдался на редкость теплым и ясным. Малике, придя к источнику за водой, не стала торопиться, хотя невестка и велела возвращаться побыстрее. Да, теперь Бахар уже не просила, не уговаривала, как прежде, а по-хозяйски приказывала. Не грубо, не обидно, но все же приказывала. Малике принимала это как должное. Бахар заменила ей мать, вырастила, воспитала. Она имеет право требовать послушания — единственная наставница и советчица.

Девушка уселась на траву, расправила пошире подол платья и расплетала косы. Зажав конец одной из них в зубах, чтобы не мешала, стала расчесывать другую, тихонько напевая какую-то пришедшую в голову мелодию. Густые темно-каштановые волосы посветлели, позолотели под утренним солнцем, не волосы — струйки воды переливались через гребень.

Старинный гребень, сделанный из крепкого тутового дерева, дергал волосы, и Малике потянулась к ручью, чтобы смочить зубья. В этот момент раздался чей-то голос:

— Здравствуй, Малике!

Девушка испуганно вскрикнула, торопливо схватила лежащую рядом тюбетейку и оглянулась, отводя от глаз распущенные косы. Шагах в пяти-шести от нее стоял крепкий смуглолицый парень. И улыбался. Под испуганным взглядом голубых глаз, готовых, как птицы, упорхнуть, улыбка парня погасла.

— Неужто не узнаешь меня, Малике? Или я так сильно изменился?

Взгляд девушки постепенно светлел, тревожно сдвинутые брови разошлись, на губах мелькнула ответная улыбка.

— Арслан?.. Ты — вернулся?

Парень, довольный, что его признали, сделал было шаг вперед. Но Малике, спохватившись, что сидит простоволосая перед чужим мужчиной, отвернулась и прикрыла лицо ладонью.

— Уйди, Арслан!.. Нехорошо так...

Арслан послушно отступил. Но еще долго, пока позволяли заросли, все оглядывался на Малике.

А она, прислушиваясь к бурно заколотившемуся сердцу, подумала вслух:

— Наяву это было или во сне?

И не догадывалась еще, что сон кончился. Наступило пробуждение.

3

Животноводческая ферма находилась в некотором отдалении от села, там, где река, пересекая ущелье, резко сворачивает вправо, а дорога разбегается плавной, похожей на гигантскую подковку развилкой.

Коров на ферме было не так уж много, но трем-четырем дояркам работы хватало. Особенно следили они за купленными в прошлом году красными прибалтийскими телятами. Тем перемена климата и горные травы шли явно на пользу: они с каждым днем прибавляли в весе.

Солнце поднялось уже высоко. Две доярки, хлопотавшие на ферме, выгнали коров на помидорное поле, с которого недавно сняли второй урожай, вычистили стойла и расположились в тени у стены попить чаю.

Одна из доярок, крупная женщина лет тридцати, звучно, со вкусом посасывая леденец, сказала:

— А твой сын молодец, Ширин-эдже. Не остался в городе, как некоторые другие, ученым человеком в Чинарли вернулся.

Ширин-эдже поправила тронутые проседью волосы:

— Хвала аллаху, Хаджат-джан, вернулся.

Ей были приятны слова подруги, и она бросила на Хаджат ласковый взгляд. Та озорно сверкнула глазами:

— Тетя Ширин, спросить хочу... Твой Арслан случайно не нашел себе там, где учился, девушку? Что-то совсем не смотрит он на девушек Чинарли, словно и нет их. Давеча поздоровалась с ним, так еле губы разжал на ответное приветствие, не улыбнулся даже.

Ширин-эдже досадливо махнула рукой, словно отгоняя от лица назойливую муху:

— Не болтай чепухи, глупая! Откуда такое и в голову придет! Да Арслан мой, он и в детстве не слишком болтливым был, а проучившись шесть лет в Ашхабаде, еще больше сдержанности научился. Да и пристало ли парню глазеть на каждую встречную, улыбки всем расточать? А ты старше его, он, должно быть, еще и стесняется тебя.

Хаджат с легким вздохом повела налитыми плечами, опрокинула над пиалой чайник, выливая остатки настоявшегося до терпкой горечи чая.

— Хорошо, если так, тетя Ширин...— И замолчала, глядя на торопливо приближавшуюся Махмал, третью доярку.

Махмал пользовалась в селе вниманием и популярностью. Когда она, рослая, красивая, статная, пышущая здо-

ровьем, позванивая серебряными монистами и потряхивая волнистыми волосами, шла по улице, все мужчины провожали ее восхищенными взглядами. Она любила шутки и могла оживить любую беседу. Не только внешностью, но и силой не обделил ее бог — на тоях, в шутливой борьбе, она запросто валила самых здоровых женщин.

Муж ее, колхозный чабан, являл ей полную противоположность. Даже странным казалось, что они столько времени живут вместе. Это был неприметный, тихий человек, не сказавший резкого слова ни другу своему, ни недругу. Почти все время он проводил с отарой, а когда появлялся в селе, его как-то даже не замечали и при встречах удивлялись: «Бе! Ты ли это, Баба? Жив-здоров?»

Махмал могла бы быть гордостью любого села. Но, к сожалению, она не пользовалась уважением из-за ее любви к сплетням и интригам и взбалмошного, скандального характера. Разве уж человек, доведенный до белого каления, человек, которому в жизни терять нечего, рискнул бы вступить в перебранку с Махмал. А так люди, едва только замечали, что она напрашивается на ссору, втягивали головы в плечи и торопливо уходили прочь от греха подальше. А она, подбоченясь и сверкая глазами, кричала своей очередной противнице: «Что, заткнула я тебе рот? Погоди ты у меня! Пяти дней не пройдет, как свалю твой дом на твою голову!»

И что странно, она нередко приводила в действие свои угрозы. Благодаря ее интригам, развалились две, казалось бы, очень дружные семьи, несколько человек уехали из Чинарли. Люди шарахались от нее, как от змеи. Но были в селе и такие, кто пользовался ее искренним расположением, ее способностями и умением замутить любую воду.

Одним из них был Недир — заведующий колхозной животноводческой фермой. Не очень утруждая себя работой, Махмал постоянно прибегала к его заступничеству в случае необходимости и вела себя на ферме полновластной хозяйкой. Доярки не связывались с ней, терпели молча, знали, что любое слово, истолкованное вкривь и вкось, будет немедленно передано Недиру,— тогда жди проверок, мелочных придирок, нелепых требований заведующего фермой.

Полгода назад в колхоз прислали молоденькую медсестру. Та принялась за дело очень серьезно. И однажды, зайдя на ферму, сделала выговор Махмал за то, что она работает без халата. Махмал фыркнула и демонстративно ушла. Несколько дней она не появлялась на работе, а

вскоре по селу пополз мерзкий слушок, что, мол, городская делит постель с тем-то и с тем-то. Все знали, что слухи эти распускает Махмал, жалели медсестру, уговаривали. Но девушка не снесла позора и уехала, а Махмал с гордым видом победительницы в тот же день заявилась на ферму. И конечно же без халата.

Естественно, ее возбужденный вид и на этот раз ничего доброго не сулил. И поэтому Ширин-эдже и Хаджат сразу поскучнели.

Махмал опустилась на циновку рядом с Хаджат, взяла ее пиалу, залпом выпила, утерла рот тыльной стороной ладони и только тогда перевела дыхание.

— Ничего не слыхала, тетя Ширин?

Женщина насторожилась:

— Нет. А что?

— Не знаю, как долго до тебя вести доходят, а я вот сейчас на позор набрела.

Ширин-эдже хмуро сказала:

— Это меня не касается, девушка. Не вмешивай меня, пожалуйста, в свои дела.

— А это как раз скорее твои дела, чем мои,— ехидно усмехнулась Махмал.— Хитра ты, ой как хитра, тетя Ширин! Наверно, давно уже обо всем знаешь, а то не попивала бы так спокойно чаек. Вот послушайте, что я вам расскажу. Пошла я к помидорному полю, чтобы взять на растопку колючки. И вдруг вижу твоего Арслана! И с кем, ты думаешь? С Малике, лучше б она не родилась, с дочкой Нурли Гагара![1] Ой, родные мои, я обомлела прямо! А эта, бесстыжая, боролась, что ли, с твоим сыном: голова не прикрыта, волосы растрепаны — сущая ведьма. Обычно желтая с лица, а тут раскраснелась вся, и тюбетейка в стороне валяется. Что уж они там делали, не знаю, а только, когда ушел твой сын, я к ней подошла, спрашиваю будто в неведении: «Кто это с тобой тут был, верблюжонок мой желтенький?» Зарделась она еще пуще, что твой помидор, а глаз бесстыжих не опускает и так нахально врет мне: «Никого не было возле меня». Ах ты, думаю, потаскушка несчастная, закружила парню голову. Да и Арслан твой тоже хорош — на что позарился. Шесть лет в Ашхабаде пробыл — с пустыми руками приехал и на эту...

Ширин-эдже с исказившимся лицом вскочила на ноги:

— Типун тебе на язык, подлая! Кого хочешь трогай, меня не трогай! Что тебе сын мой сделал? Приехать не

[1] **Гагар** — ворчун.

успел, а ты уже свое жало ядовитое к нему тянешь? Не трогай сына, если жить хочешь!

Она была так страшна в своем материнском гневе, что Махмал кинулась от нее в сторону на четвереньках, вопя:

— Вай, рехнулась женщина!.. Вай, она убьет меня!..

Очутившись на безопасном расстоянии, она вскочила на ноги, замахала руками:

— Хоть подохни, а я видела их! Твой поганый щенок посмел тронуть девушку — единственную надежду ее бедного отца! Не быть мне женой Баба-чабана, если не ославлю твоего сыночка на весь Чинарли, хоть ты небо на землю опрокинь! Ты, женщина, развратила Малике! Ты опозорила седины уважаемого Нурли-ага! Ух ты, пришлая!..

И она умчалась злая, как фурия, пылая жаждой мести.

Ширин-эдже беспомощно оглянулась по сторонам:

— Господи, что же это такое? Как я теперь людям на глаза покажусь? Эта богом проклятая всю жизнь мою перевернула... Хаджат, доченька, хоть ты скажи что-нибудь...

Растерянная Хаджат только и могла, что пожать плечами.

— Может, обойдется, тетя Ширин...

4

Молодого греет своя кровь. Но когда человеку перевалит за пятьдесят, он уже тянется к стороннему теплу — к печке, солнышку, теплому халату. Видать, поэтому группа пожилых мужчин расположилась на солнце у подветренной стены одного из домов. Еще издали, не спрашивая, можно было по доносившимся возгласам узнать, чем они заняты.

— Эй, зевака, смотри, тебе ловушку подстроили!

— Не выпускай его, ага, не выпускай, уйдет!

— Да строй же, строй скорее!

— Эх, все испортили!

— Двигай, двигай свой камешек!

Это собрались любители игры в дуззим, и для них сейчас все заключалось в пересечениях нанесенных на земле линий. Играли они уже долго, так как линии почти стерлись, были еле-еле заметны. Игроки устали, азарт стал ослабевать, возгласы болельщиков слышались все реже.

Накопец закончилась последняя партия. Курильщики потянулись за папиросами, любители наса постукивали о ладонь маленькими тыковками-табакерками, готовясь

бросить под язык щепоть едкого зелья. Седенький горбатый старичок, водя перед собой концом палки, сказал задумчиво:

— Не знаю, как ты думаешь, Пальван-ага, а только, по-моему, неприлично мужчине быть доктором в селе. Нет. Неприлично. Всякое может случиться...

Тот, кого назвали Пальваном-ага, могучего сложения старик в черном лохматом тельпеке, острым камешком обновлял линии дуззима. Неодобрительно покосившись на горбуна, он прогудел:

— Ты, Меред-ага, словно старшая жена у троеженца — никак от своей подозрительности не избавишься. Знаю, на кого намекаешь, да все это ерунда. Давай-ка лучше бери свои камешки, еще партию сыграем.

— Х-х-хорошо, что Арслан в-вернулся,— заикаясь вступил в разговор третий.— Свой доктор в с-селе — это х-хорошо.

Горбатенький Меред-ага примирительно сказал:

— Так я ничего, Алламурад... я тоже рад, что доктор свой. Но и того забывать не следует, что у нас, у туркмен, есть вещи, приличествующие правилам и обычаям, а есть вещи, которые противоречат нашим понятиям.

— Т-т-ты о чем это, Меред-ага?

Меред-ага уселся поудобнее, вытянул затекшие ноги:

— Я о том говорю, Алламурад, что нет дома без женщин. Ну, жизнь есть жизнь, болеют и мужчины, болеют и женщины. В таких случаях трудность появляется. По правде говоря, я не осмелился бы доверить своих женщин доктору-мужчине. Конечно, от беды аллах милует — может, ничего страшного и не произойдет, а все подозревать будешь, мучиться.

Сидящий в сторонке невысокий человек, поминутно шмыгающий носом, поморгал красными воспаленными веками:

— По-моему, прав Меред-ага. Старый табиб — это еще ничего, но нынешние доктора, которые из города, совсем совести не имеют. Мужчина ты, женщина ли — для них все равно, хов! Ты хоть палец занози — обязательно раздеваться велят, ухо посреди лопаток приставляют. А женщина — она существо неустойчивое: тронь ее за руку — уже тает, как лед в летнюю жару, хе-хе-хе,— и он рассмеялся дробным смешком.

Могучий Пальван-ага сердито сплюнул:

— Тьфу! То-то смотрю я, Рамазан, за тобой женщины целыми табунами бегают!.. Если уж ты так хорошо изу-

чил женские повадки, то почему пять лет во вдовцах ходишь? Почему пе возьмешь одпу из «растаявших» в свой дом?

Сидящие дружным смехом одобрили остроумный ответ.

Новая партия дуззима помогла Мереду-ага избежать поражения в споре, в которое чуть было не вверг его неумелый защитник. Старик бросил под язык щепоть наса, прижмурился от удовольствия и ввел в игру первый камешек.

Игра не успела обостриться, как мимо игроков, подобно внезапной буре, промчалась Махмал. Серебряные мониста ее бренчали так, словно украшения на шее гуля — гнездящегося в развалинах и на месте свалок нечистого духа, который принимает образ молодой нарядной женщины, чтобы, заманив запоздалого путника, высосать из него кровь.

«Кому-то сегодня уготована судьба Хасана и Хусейна»,— подумали люди, провожая глазами Махмал, и снова углубились в игру. Однако Рамазан, поерзав несколько минут от неуемного любопытства, потихоньку отошел от сидящих и, видя, что на него пе обратили внимания, припустился вслед за Махмал.

Сыграли одну партию и заканчивали вторую, когда он вернулся — самодовольный, сияющий, как новый пятак, чаще обычного моргая красными веками. Даже плечи у него расправились — совсем богатырь. И лишь постыдная капелька на кончике носа портила общее впечатление.

Его возвращение, как и уход, осталось незамеченным. Но он, пыжась от распирающих его вестей и желания хоть раз оказаться победителем, бесцеремонно подсел вплотную к игрокам и громко сообщил:

— Да-а, а ведь мы с Мередом-ага будто в воду глядели!

Лохматая папаха Пальвана-ага шевельнулась.

— Что еще такое?

— Да вот все этот табиб Арслан... Пяти дней не прошло, как приехал, а уже успел испортить дочку одного бедняги!

Сидящие, как по команде, повернулись к Рамазану. Пальван-ага повысил голос:

— Не болтай глупостей, Рамазан! Такими вещами не шутят!

— Пусть соль меня покарает, Пальван-ага, если я вру! — горячо забожился тот и уронил с кончика носа

каплю на землю.— Вы сами видели, как Махмал мимо прошла. Она-то мне и сказала...

— Да что она сказала-то? Не тяни! — приступал к Рамазану горбатенький Меред-ага.

Рамазан помедлил, поморгал и ответил с нарочитой неохотой:

— Ай, люди, у меня даже язык не поворачивается повторить такое... Сегодня среди бела дня Арслан валялся в кустах с дочкой Нурли-ага. Видели их...

Слушатели ахнули.

— Кто видел?! — покрывая общий шум, рявкнул Пальван-ага.— Уж не ты ли, Рамазан?

Он навис над Рамазаном, как гранитная глыба, и тот, съежившись, пролепетал:

— Что ты... что ты, Пальван-ага!.. Откуда — я? Я только слышал, хов... Это все она, Махмал. Видела... своими глазами видела!

— Глазами!.. Эх ты! — осуждающе качнул тельпеком Пальван-ага, остывая.— А еще мужчиной называешься...

Рамазан счел за благо смолчать. Притихли и остальные. Все знали, чего стоят слухи, распускаемые Махмал, и в то же время люди как-то невольно думали, что не бывает дыма без огня, что, как бы ни была подла Махмал, она не посмела бы без причины затронуть честь Нурли-ага.

— Ах, черт возьми! — досадливо сказал Алламурад, он даже заикаться перестал.— Дурную весть ты принес, Рамазан! Очень нехорошую весть принес. Однако будем думать, что все это не так.

Пальван-ага, насупившись, угрюмо молчал.

Горбатенький Меред-ага торопливо закивал головой:

— Дай-то бог, дай-то бог, чтобы ты прав оказался, Алламурад. Позор ведь для всего Чинарли...

* * *

Говорят, земля пестра, змее сестра. Не все люди одинаковы, не каждый способен трезво оценить то или иное явление. Нашлись в Чинарли и такие, что поверили. Дурной слух — он как искра, брошенная в тюк ваты: и огня не видно, а припекает и чад дурной идет. По селу пошли суды и пересуды. Каждый строил собственные предположения, каждый ждал, чем все это кончится.

Арслан сразу почувствовал перемену в отношении односельчан. На него посматривали с любопытством, при

встрече односложно здоровались, отводя глаза в сторону. Резко сократилось число пациентов в больнице: за день — один-два посетителя, а чаще — вообще никого.

Молодой врач тяжело переживал случившееся. Ведь сколько планов было, сколько хороших надежд, когда он заканчивал мединститут! «Все дворы обойду,— мечтал он,— здоровье каждого чинарлинца обследую. Все силы приложу, но добьюсь, чтобы в Чинарли больница была не хуже, чем в райцентре. Не одно, три горных села обслуживать будем. А потом соберу молодежь села, санитарные бригады создадим, за чистоту села, за культуру воевать будем. Довольно дедовскую грязь разводить! Все стойла и закутки с улицы уберем, все до одного дома побелим. За один год неузнаваемым село сделаем, иначе грош цена всей моей учебе. А знахарок всяких, вроде Момыш-Тотам и ей подобных, на поле пошлем работать. Не захотят — пусть убираются на все четыре стороны, довольно уж они на своем веку бедных женщин да детишек загубили».

Таковы были намерения. Но действительность спутала все планы. Знать бы, что так дело обернется, за километр обошел бы Малике! Ему, мужчине, нелегко, а каково бедной девушке? Чем она виновата?

Откровенно говоря, в Ашхабаде Арслан если и вспоминал Малике, то никак не выделяя ее из общего числа чинарлинских девушек, хотя она была красивее, заметнее остальных. Встреча у старой ивы произошла совершенно случайно. Но после случившегося он стал чаще думать о ней, и она становилась ближе и дороже ему. Поначалу это, возможно, объяснялось простым человеческим участием, сознанием своей пусть невольной, но все же серьезной вины, которая может привести к тяжелым последствиям. Арслан прекрасно знал Нурли-ага: старик справедлив, как сама совесть, но пуще собственного глаза бережет честь семьи и для защиты ее пойдет на все. Возможно, еще и руку на дочь поднимет. Ах, Малике, Малике, как же это я так неосторожно подвел тебя, милая девушка? Понесла меня нелегкая к этой иве в недобрый час! Что же мне делать, как тебя выручать из беды? Вот так задача! Минуту ведь какую-то постоял рядом — и надо же, чтобы эта треклятая Махмал тут объявилась! Вот уж поистине кошка сметану слизала, а пинки псу достались...

Если бы в этот момент кто-то сказал ему, что его озабоченность судьбой Малике скрывает под собой иное, более глубокое чувство, он, вероятно, не поверил бы и даже

нашел бы добрую дюжину доводов против. Но это было действительно так. Сам того не сознавая, Арслан полюбил. Общая беда положила начало сердечной привязанности.

* * *

Для Малике встреча с Арсланом была тем солнечным лучом, который вдруг врывается в темноту кибитки сквозь дверную щель, и все, что лишь смутно угадывалось в полутьме, принимает ясные, четкие формы. И хотя этот светлый луч сразу же покрыла черная рука сплетни, увиденное уже не могло забыться, не могло принять прежних расплывчатых, неясных очертаний.

Девушку тревожило только безразличие отца. Зная его крутой характер, она была уверена, что по меньшей мере он изобьет ее до полусмерти, не слушая никаких оправданий. Она готовила себя к этому и долго не смыкала глаз, с замирающим сердцем прислушиваясь к шагам в доме.

Отец все не шел. Зато поминутно появлялась Бахар, растерянная, негодующая, не скупящаяся на самые резкие слова. Это было обидно. Малике плакала, уверяла, что все слухи лживы, но Бахар трясла головой и ничего не желала слушать.

— Если долго на молоко смотреть, кровь увидишь,— твердила она, всхлипывая и сморкаясь в подол.— Пусть ты семь раз чиста, но дурной слух для девушки — как оспа: болезнь пройдет — следы останутся.

В конце концов она оставила Малике в покое. А девушка, наплакавшись и истомившись напрасным ожиданием, забылась тяжелым сном. Уснула и невестка.

Не спал в доме лишь Нурли-ага. Позор дочери придавил его, как широкая верблюжья ступня давит на дороге замешкавшегося жука. Опустошенный, обессиленный, старик сидел на кошме и думал. О чем? Он и сам не знал. Мысли клубились, как спутанные ветром грозовые тучи,— рвались, открывая ясную синеву неба, и снова просвет затягивался серой косматой пеленой. Надо было думать о случившемся. Но, едва наткнувшись на него, мысль сразу же убегала в сторону, как лиса, уколовшая нос об иглы дикобраза, кружила около, приближалась и, уколовшись, снова отбегала.

Так прошла ночь. А когда от нее осталось мутное пятно рассвета в оконном переплете, Нурли-ага безвольно и

слепо зашарил руками в стопке сложенных одеял и вытащил старый охотничий нож, верой и правдой служивший не один десяток лет. Теперь ему предстояло выполнить последнюю, самую страшную и горькую службу.

Малике спала, отвернувшись лицом к стене и подложив под голову ладонь вместо подушки.

Старик присел на корточки у изголовья дочери, пристально всматриваясь в ее лицо. Вот она лежит, та самая девчушка со смешными, торчащими в стороны косичками, которая обнимала его за шею и лепетала: «Папа... папочка, а где наша мама?» Та самая девушка, которая целыми днями сидела, согнувшись над станком, и без устали стучала тяжелым гребнем ковровщицы. Стучала, стучала, стучала... И сейчас стучит в голове этот гребень? О боже, что такое? Нет, это пульсирует кровь в висках...

Как это она говорила, когда заболела и ее лечила Мамыш-Тотам? «Папочка,— говорила,— если я умру, ты, пожалуйста, не закапывай меня в землю. Положи где-нибудь в нашем доме... Я никому-никому не буду мешать... а то в земле мне страшно...»

Нурли-ага еле сдержал горестное восклицание. Что хорошего знала в жизни она, эта девочка? Какую ласку видела? Выросла, как желтый цветок на обочине дороги, без материнской ласки, без отцовского участия. Бахар? Что же Бахар... Она кормила, одевала, наставляла, но неродное дитя — оно и есть неродное, не свое, ему — только мысли, а не сердце...

Малике застонала и перевернулась на спину, раскинув руки. Старик вздрогнул, проворно спрятал нож за спину, затаил дыхание. Нет, не проснулась, только задышала тяжело-тяжело, будто на гору взбирается. Спишь? Ну спи, спи. И шею сама подставила... Вон как она бьется, жилка на шее-то, дрожит, трепещет...

Нурли-ага привстал на одно колено, опираясь на руку, в которой держал нож. Склонился над дочерью — и вдруг увидел лицо Гульшат. Конечно же это ее, Гульшат, тонкие, будто нарисованные углем, брови, ее точеный нос, полураскрывшиеся губы — покорные и властные, зовущие губы молодой жены... Господи всемогущий, избавь от наваждения, укрепи дух!

Из-под плотно прижмуренного века Малике блеснула слезинка и покатилась по щеке. А за ней, уже по проторенной дорожке, еще и еще, как бусинки с оборвавшейся нитки. Они падали не на кошму, а на сердце Нурли-ага, и оно замирало и ныло сладкой, облегчающей болью.

— Чиста ты, моя Малике, как снег на горе Херек, и недоступна ничему низменному.

Старик произнес это совсем тихо, но Малике проснулась. Она увидела склонившееся над ней лицо отца, заметила нож, прижатый к груди, и сразу все поняла. Хотела крикнуть, но из перехваченного ужасом горла послышался только слабый хрип. Напрягшись каждой мышцей тела, чувствуя, как разрывается от сдержанного воздуха грудь, она ждала удара. Но не дождалась, с трудом перевернулась на живот, приподнялась, опираясь на ослабшие руки:

— Не виновата я, отец!..

Вот так, такими же полными боли и света глазами, смотрел на него джейран, которому пуля охотника перебила позвоночник. Так же хотел встать — и не мог, и все смотрел, смотрел, как приближается к нему смерть на холодном лезвии ножа...

Нурли-ага отвернулся, встал и торопливо пошел из комнаты, шаркая задниками стоптанных шлепанцев.

* * *

Раздумывая над создавшимся положением, Арслан воспылал лютой ненавистью к Махмал. Это чувство настолько захватило его, что он собрался уже было наломать бока сплетнице. Его с трудом отговорила от опрометчивого поступка мать.

— Что ты, сынок, опомнись! Эту проклятую пальцем тронешь — на всю жизнь беды не оберешься,— говорила она ему не раз.

Арслан, сообразив и сам, что затеял глупость, немного поостыл. Но что-то предпринимать было необходимо, и молодой врач решил посоветоваться с человеком, которого он очень уважал.

Кутли-ага уже давно перевалило за пятьдесят, но он легко нес на своей сутуловатой спине груз прожитых лет. На протяжении пятнадцати лет бессменно руководя колхозом, он прекрасно знал каждую семью, каждого человека в селе. От него трудно было скрыть что-то. Рассказывали о таком случае.

Как-то зимой, на рассвете, к башлыку[1] пришла маленькая тихая старушка Гульджемал и пожаловалась, что минувшей ночью кто-то стащил у нее шесть кур — един-

[1] Башлык — председатель колхоза.

ственное достояние старухи. Кутли-ага молча выслушал огорченную Гульджемал, поскреб подбородок, что-то прикинул в уме и велел кликнуть колхозного сторожа.

— Не посчитай за труд, братишка Джума, сходи к Анна Бурупу и приведи сына его, Кандыма. А заодно и Нуры Сироту прихвати.

Через несколько минут перед башлыком предстали двое здоровенных молодцов, моргающих опухшими спросонья глазами. На их лицах было написано возмущение и оскорбленная невинность.

— Садитесь,— кивнул им Кутли-ага, помолчал, словно раздумывая, закурил не спеша и спокойно осведомился: — Так, значит, как решим? Сами вернете кур хозяйке или мне сходить поискать их?

Ошарашенные парни переглянулись — Кутли-ага был непревзойденным на всю округу следопытом,— раскрыли было рты, чтобы возразить. Но башлык прикрикнул: «А ну, быстро! На одной ноге!» Любители куриного плова пулей выскочили наружу. Трех кур вернули Гульджемал, за остальных, уже съеденных, заплатили. «Наш башлык на три метра под землю видит»,— говорили после этого случая чинарлинцы. Кутли-ага, посмеиваясь в бороду, не возражал, а воровство в селении, и без того не частое, прекратилось вовсе.

Арслан относился к Кутли-ага с особой симпатией не столько за следовательские и другие способности башлыка, сколько за то, что тот занимал в жизни парня особое место. Кутли-ага постоянно интересовался успехами Арслана, когда тот еще учился в районном интернате. Когда парень закончил десятилетку, башлык уговорил Ширин-эдже послать сына в Ашхабад — учиться на врача. Провожая Арслана, сказал: «Думай только об учебе и ни о чем другом не беспокойся. Возвращайся хорошим специалистом. А мать твою мы не оставим, не дадим в обиду».

Слово свое он сдержал. Больше того, не оставлял вниманием и Арслана — время от времени посылал ему деньги, зная, что трудно прожить на одну стипендию. Несколько раз, бывая по делам в Ашхабаде, он навещал парня, степенно — пусть видят студенты, что Арслан уважаемый в Чинарли человек,— как мужчина с мужчиной разговаривал с ним о колхозных делах, сдержанно интересовался его успехами в учебе. Как-то Арслан сказал, что профессор хочет оставить его на кафедре. Кутли-ага поскреб по привычке подбородок, помолчал и согласился: да, ученые, конечно, нужны, чинарлинцам будет прият-

нее, если их земляк станет столичным ученым, чем сельским врачом, тем более что и районная больница не так уж далеко от Чинарли...

Арслан уловил скрытый сарказм слов председателя, покраснел и мысленно поклялся себе счастьем матери, что после окончания мединститута он обязательно вернется в Чинарли. Когда он заявил об этом профессору, тот выразил сожаление, но добавил, что способные врачи нужны и селу, тем более что при желании Арслан всегда сможет продолжить учебу.

Словом, Кутли-ага был для Арслана не только председателем колхоза, не только яшули села, но и чем-то вроде старшего брата или даже отца, которого Арслан помнил весьма смутно. Поэтому в данный момент первым и естественным движением Арслана было желание посоветоваться с Кутли-ага. Сдерживала только мысль: вдруг и Кутли-ага поверил сплетне, с какими глазами он будет оправдываться перед ним? Однако, сколько ни ломай голову, разговора с ним не избежать.

Дом башлыка находился на южной окраине селения. Дождавшись темноты, которая избавляла от неловких встреч с односельчанами, от откровенно любопытных и осуждающих взглядов сельских кумушек, Арслан тронулся в путь. По дороге он размышлял, что скажет башлыку, как отнесется к нему Кутли-ага, поверит ли, что слухи ложны, захочет ли помочь. На секунду мелькнула мысль повернуть обратно. Усилием воли Арслан заставил себя идти дальше и тут же, споткнувшись на ровном месте, чуть не повернул назад, сообразив, что подошел к дому Малике.

Воровато оглядевшись по сторонам, он перевел дыхание — вокруг не было видно ни души. Немного постоял, сопротивляясь внезапно прихлынувшему желанию, но не выдержал, приблизился к дувалу и, приподнявшись на носки, заглянул во двор. Он был пуст, однако все окна дома светились. Арслан переводил взгляд с одного желтого квадрата на другой, пытаясь угадать, что же происходит там, в доме, что делает Малике. На занавеске крайнего окна, как на экране, возник силуэт женской фигуры. Словно застигнутый на месте преступления, парень отпрянул от дувала и торопливо, чуть ли не бегом, пошел прочь.

Кутли-ага, удобно расположившись на ковре, пил чай. Рядом с ним сидела его семнадцатилетняя дочь Тумар и читала какой-то журнал. При появлении Арслана она за-

рделась, вскочила на ноги и, прикрываясь рукавом, выскользнула из комнаты. Проводив ее понимающим взглядом, Кутли-ага вздохнул и ответил на приветствие Арслана:

— Здравствуй, доктор... Проходи, садись.

Сбросив у порога туфли, Арслан прошел по ковру на место Тумар, еще хранившее ее тепло, полистал оставленный девушкой журнал. Из приемника, стоявшего в углу на тумбочке, доносился голос бахши, певшего о маральих глазах и стройном стане любимой. Арслан поморщился, подавляя шевельнувшееся в душе чувство раздражения: как это все хорошо в песнях да в книгах получается! А вот в жизни — все наоборот...

— Тумар-джан, дочка! — крикнул хозяин.— Скажи маме, чтобы еще чайник чая заварила!

— Спасибо, Кутли-ага, пусть не беспокоятся,— отказался Арслан.— Я не хочу ни чая, ничего...

— Ну-ну, нельзя так, парень! — Кутли-ага наполнил свою пиалу, поставил ее перед Арсланом.— Пришел — гостем будешь. И чаю попьем, и покушаем... В жизни, сынок, не все ладно да складно бывает. Пока ума-разума наберешься, не одну шишку на лбу набьешь. Самое главное, чтобы сердце твое и руки чистыми были. Все остальное — мелочь. Ко всем людям с одной меркой не подойдешь, всех в один халат не втиснешь — одному он впору, другому — мал, третьему — велик. Тут уж, парень, ничего не поделаешь, сухое дерево, говорят, не гнется, а сухостоя у нас еще многовато.

— Слухи тут разные, Кутли-ага,— начал Арслан.

— Пустые слухи, сынок, долго не простоят, корни у них гнилые.

— Так-то оно так, Кутли-ага, а все равно неприятно. Откровенно говоря, я даже не знаю, что делать, хоть беги из села.

— Значит, не важно, что трус, лишь бы голова цела была? Это, парень, слабость в тебе говорит. Ясное дело, напраслину терпеть нелегко. Так от нее не бежать надо, а хребет ей ломать! Всем не сладко. Тебе, говоришь, неприятно, а Нурли-ага на старости лет как, по-твоему, приятно слышать такое? Вообще-то надо бы сходить к нему, потолковать. Но это, конечно, не твоя забота... Твое дело, друг мой, работать. Сколько лет без своего врача живем, а чем мы хуже других? Ждали мы тебя, надеялись на тебя, и я больше не желаю слушать никаких «уеду из села». Понял? И нечего нос вешать — еще не такие штуч-

ки тебе жизнь подкинет, она, парень, жизнь,— не лепешка, чтобы ее жевать да облизываться. Ты вот давай собирайся и жми завтра в район, требуй в райздравотделе все необходимое для настоящей больницы. Довольно нам перебиваться одними таблетками от кашля да головной боли. Да и они не всегда у нас есть. Так что давай действуй по-хозяйски, бери медицину в свои руки.

Вошла тетушка Огульгерек. Поздоровавшись с Арсланом, поставила перед ним чайник, присела рядом на корточки.

— Бедненький ты мой, вон как извелся — один нос на лице торчит! А все эта подлая, чтоб у нее язык отсох!.. И Малике утром видела я, за водой она шла. Тоже осунулась вся, похудела, глаз от земли не поднимает. Достается ей, бедняжке, видно, от отца да от невестки. Я сейчас к ним Тумар послала, говорю: подружка, мол, твоя, а ты даже не побеспокоишься узнать, как у нее дела. Сходи, мол, поговори — Малике все легче будет.

Арслану была приятна поддержка тетушки Огульгерек. Но в то же время он испытывал сильное смущение, как напроказивший мальчишка. На помощь ему пришел прозорливый Кутли-ага.

— Иди-ка, мать, занимайся своими делами,— прервал он излияния жены.— У нас тут с Арсланом свой, мужской разговор. А ты лучше с ужином поторопись.

Повздыхав, тетушка Огульгерек ушла. Однако разговор не клеился. Выпив пиалу-две чая, Арслан поблагодарил хозяина и попросил разрешения уйти.

— А как же ужин? — удерживал его хозяин дома.

— Спасибо, я сыт,— соврал Арслан, не евший с самого утра.

— Ну ладно, коли сыт,— согласился Кутли-ага.— Я завтра с секретарем райкома на пастбища поеду. А ты занимайся тем, что я тебе сказал. И не беспокойся, не переживай — все обойдется.

У порога Арслан задержался:

— Просьба к вам, Кутли-ага. Будете с отцом Малике беседовать — скажите, пусть не обижают девушку. Никому не прощу, если ее хоть пальцем тронут! Нет ее вины ни в чем.

— Так-так...— пробормотал, оставшись один, Кутли-ага,— та-ак, значит, верно, на льду пыли не поднимешь, значит, любишь ты ее, парень, в самом деле. Что ж, молодое к молодому тянется, Малике — девушка достойная. А с Нурли я поговорю, нынче же поговорю!..

На улице в лицо Арслану хлестнули ледяные капли дождя. Глухо шумели в вышине верхушки чинар. На них возились, хлопали крыльями, время от времени хрипло и сонно каркали вороны. «Как бы снег не пошел»,— подумал он, поеживаясь от пронизывающего ветра и напрягая зрение, чтобы не налететь в темноте на что-нибудь.

Проходя опять мимо дома Малике, он невольно задержал шаг. Ему показалось, что кто-то стоит под виноградником. Избегая нежелательных встреч, он свернул в сторону. И тут его окликнули:

— Погоди, Арслан!

Это был голос Малике.

Арслан остановился и, после секундного колебания, подошел к девушке.

— Здравствуй, Малике... Что делаешь ночью на улице?

Не отвечая на вопрос, Малике судорожно вздохнула:

— Ой, Арслан, опозорили меня... Что делать стану?

У Арслана задрожало что-то внутри от тоскливой безысходности, прозвучавшей в словах девушки. Он вдруг с предельной ясностью почувствовал себя ответственным и за несчастье, свалившееся на голову Малике, и за ее дальнейшую судьбу. Он понял, что Малике для него дороже всех на свете, что без нее не будет ни жизни, ни счастья. И это наполнило его сознанием своей силы, желанием бороться за счастье — свое и Малике. Он положил руку на плечо девушки.

— Соберись с духом, Малике, потерпи. Я приведу к тебе эту бесстыжую Махмал! Я поставлю ее на колени и при всех заставлю признать клевету и просить у тебя прощенья! Я...

— Мне теперь все равно! — Малике неожиданно прижалась лицом к груди парня и затряслась в беззвучных рыданиях.— Ой, Арслан, забери меня... Уведи куда-нибудь отсюда!

Слова девушки не удивили Арслана. Лишь теплее стало в груди — то ли от слез Малике, то ли от чего другого. Он приподнял ее лицо — и как-то естественно, сами собой встретились их губы.

— Родная моя, единственная Малике! — выдохнул Арслан.— Никто мне не нужен, кроме тебя!.. Подожди немножко, я пришлю к вам свою мать...

Девушка улыбнулась сквозь слезы — слабо и благодарно.

Дождь сыпал вовсю. Но они, прижавшись друг к дру-

гу, стояли и не замечали ни дождя, ни ветра. Нет, не прав был бродяга-турок, утверждая, что любовь ведет к безрассудству. Наоборот, она делает человека сильным, умеющим сдерживать себя ради счастья другого человека. Ибо будь это не так, оскудел бы мир поэтами и героями, тусклой и серой стала бы сама жизнь, так как безрассудство — это не волшебное зрелище красок и чувств, а пустота и бессилие.

5

Сидя в соседней комнате, Тумар внимательно прислушивалась к разговору отца с гостем. И очень неохотно отправилась выполнять поручение матери. У Малике она пробыла совсем немного и убежала, пообещав посидеть подольше в другой раз, хотя подруга, занятая своими мыслями, и не удерживала ее.

Вернулась она как раз в тот момент, когда Арслан собрался уходить. Последние его слова, обращенные к Кутли-ага, заставили девушку до боли прикусить губу — слишком ясно Арслан дал понять, что неравнодушен к Малике.

Отец любил и баловал Тумар. Она ни в чем не знала отказа, даже если была не совсем права в своих требованиях, ей потакали с добродушной, снисходительной улыбкой любящих и понимающих родителей. Не ограниченная в своих прихотях, она чаще других чинарлинских девушек щеголяла в обновах, радостно вспыхивала, замечая любующийся взгляд какого-нибудь парня, вообще любила бывать на людях.

К чести Тумар, это не сделало ее слишком эгоистичной. Она была в самом деле хороша собой и по праву могла претендовать на внимание парней. Единственное, на что она досадовала, это был ее маленький рост, и тут уж ничего не помогало, сколько она ни тянулась, старалась казаться выше и стройнее. Впрочем, в конце концов она убедилась, что рост для девушки не главное, если она пригожа лицом и остра на язычок. Многие парни заглядывались на Тумар, и пожелай она — на другой же день в ее дом пришли бы сваты. Однако она не торопилась замуж. Она уверенно, но терпеливо ждала своего часа, ждала, когда к ней придет настоящее большое чувство. И, встретившись с Арсланом после его приезда в Чинарли, решила, что оно — пришло.

Как ни странно, но Тумар была в числе тех, кто решительно отверг сплетню Махмал. Здесь ею скорее руководил не здравый смысл, не уверенность в порядочности подруги, а недоумение, что Арслан мог выбрать не ее, Тумар, а Малике. «На что она ему? — пожимала полненькими плечами Тумар.— Скучная, желтолицая, как абрикос, вечно занятая своими коврами, могла ли она привлечь внимание такого парня, как Арслан? Конечно, все это выдумки Махмал, которую хлебом не корми, а дай позлословить».

Но слова Арслана доказывали обратное. Тумар была оскорблена. Она считала поведение Арслана предательством по отношению к отцу и к ней. Сколько отец заботился о нем, как о родном сыне, помогал, сделал его человеком, а он оказался неблагодарным. Ну погоди же, парень!

За вспышкой гнева к Тумар пришло отчаяние, и девушка долго плакала, уткнувшись лицом в подушку, чтобы не услышала мать. Утром она встала с опухшими, покрасневшими глазами и сразу же направилась к отцу. Поглядывая на часы, тот допивал чай.

— А, Тумар-джан! — весело приветствовал он дочку.— Как спалось, что во сне видела?

Хмурая Тумар присела на корточки, прикусила губу, сдерживая слезы. Кутли-ага всмотрелся, прищурясь, качнул головой:

— Эге, да мы, кажется, расстроены? Чего у тебя глаза на мокром месте? Что стряслось? Заболела, что ли?

Широкой теплой ладонью он потрогал лоб дочери.

Рвущимся голосом Тумар сказала:

— Папа, я... не поеду в ин...интернат...

— Хе! — удивился Кутли-ага.— Вот это новость так новость. Сама же сказала, что надоело два года без дела болтаться, что дальше учиться хочешь. Или мать возражает?

— Нет, мама... не возражает...

— Так с чего же у тебя намерения изменились?

— Не смогу я там... одна жить... без... вас.

Кутли-ага свел на переносице брови:

— Глупости говоришь, Тумар-джан. Ты уже взрослый человек, пора и к самостоятельности приучаться.

— Нет, папа, нет! — со слезами в голосе воскликнула Тумар.— Не мучай меня!.. Если любишь, не посылай в интернат... не могу я сейчас туда ехать! — И она расплакалась, закрывая лицо руками.

Кутли-ага недоуменно хмыкнул. Наморщил лоб, что-то припоминая, покосился вопросительно на дочь, словно ища ответа на возникшее предположение, но удержался от расспросов, понимая их неуместность, погладил склоненную голову дочери.

— Ну ладно, ладно, Тумар-джан, перестань, успокойся. Никто тебя силой не гонит из дому. Не хочешь ехать — не надо. Иди к маме, попей чайку...

В дверь заглянула Огульгерек-эдже. Узнав, в чем дело, заторопилась:

— Вах, отец, и у меня сердце болело, когда я о разлуке с Тумар-джан думала! Не перечила я вашим желаниям, а только ныло сердце. Она еще совсем ребенок. Где ей одной среди чужих людей жить! Люди, они разные, они и обидеть могут, и...

Встретив сердитый взгляд мужа, Огульгерек-эдже осеклась, пожевала в растерянности губами.

Возле дома засигналила автомашина.

— Это за мной,— сказал Кутли-ага, снимая со стены двустволку. Прихватив набитый разной снедью вещмешок, он добавил: — Вы уж тут сами договаривайтесь, кому ехать, кому оставаться.

6

— Ковры-то куда увозишь?

Зажав под мышками два скатанных в трубки ковра и оставив без внимания вопрос жены, Недир вышел из дому. Нурбиби пошла следом.

— Ковры, спрашиваю, зачем забрал? И без того весь дом переполовинил...

Укладывая ковры в люльку мотоцикла, Недир злобно цыкнул:

— Замолчи! Сказано тебе, не суйся в мои дела!

Нурбиби проворно скрылась в доме и сквозь приподнятый уголок занавески смотрела, как муж заводит мотоцикл, выруливает на дорогу. Когда Недир скрылся из глаз, женщина вздохнула.

Пятнадцать лет Недир был хорошим хозяином и мужем. Нурбиби не могла нахвалиться им. При каждом разговоре с соседками она с удовольствием повторяла: «Ласковый он у меня, покладистый, внимательный. Да не сочтет это господь за кичливость, но лучшего мужа я никому не пожелала бы. Пятак заработает — целым его в дом несет».

Нурбиби хвалилась не без основания. Действительно, дом Недира был самым богатым в Чинарли. Зная любовь мужа к уюту, Нурбиби отдавала дому все свое свободное время. А когда Недира назначили заведующим фермой, она под предлогом различных недугов вообще бросила работать в колхозе и по целым дням с веником и тряпкой в руках сновала по комнатам, наводя чистоту и порядок, которые некому было нарушать. Единственный десятилетний сын матери не мешал.

Став завфермой, Недир решил, что старый, доставшийся ему от отца дом не соответствует ни новому положению хозяина, ни новым вещам, которых все больше стало появляться и в районе и в колхозном магазине. Недиру льстило, когда гости удивлялись его богатой обстановке, он любил роскошь, не зря чинарлинские острословы величали его втихомолку Недир-ханом. Да и услышав это прозвище, он бы не обиделся: а что, не бродягой, а ханом величают люди! Значит, есть за что, признают его превосходство. Чего же обижаться?

Добившись, чтобы ему выделили хороший участок на берегу речки, Недир немедленно заложил фундамент планового четырехкомнатного дома, каких еще не было в Чинарли. Нурбиби радостно встретила эту затею и уже предвкушала, как она будет хозяйничать в новом, большом и просторном доме.

Однако радость ее оказалась недолгой. С началом строительства отношение Недира к жене резко изменилось. Прежде ровный, покладистый, он стал раздражительным и капризным. Все ему было не так, даже самые вкусные блюда, старательно приготовленные Нурбиби, вызывали у него гримасу отвращения. Он брюзжал на непорядок в доме, на то, что Нурбиби ходит неряхой. Но стоило ей приодеться, как начинались упреки в мотовстве, расточительности, в наплевательском отношении к его, Недира, труду.

Нурбиби растерялась, не понимая, в чем дело. За растерянностью пришел страх перед мужем, вызванный ожиданием постоянных упреков. Стоило ему появиться дома, как у бедняжки все валилось из рук. И только когда Недир, наворчавшись, уходил, она облегченно вздыхала и отводила душу, жалуясь самой себе: «Что же происходит в мире, о господи? Неужто сглазили нас? Кто этот проклятый человек, что позавидовал нашему счастью? Чтоб его гром убил!»

Этой осенью дом был подведен под крышу, две комнаты полностью отделаны, и Недир стал перетаскивать в

него лучшие вещи из старого дома. На вопросы сельчан о причинах такой спешки, отделывался маловразумительными ответами: «Ах, гости из района не только весной приезжают», хотя к нему из района не наведывался никто.

О его истинных намерениях никто из чинарлинцев не догадывался. Разве что одна Махмал знала. Но Махмал — свой человек, ей можно было довериться. Нурбиби своим женским чутьем понимала, что новый дом не будет ее домом. С одной стороны, это никак не могло радовать. И в то же время женщина чувствовала какое-то непонятное облегчение при мысли, что сможет жить отдельно от мужа,— слишком уж угнетал ее его изменившийся характер. Вот уже почти три недели он живет один, наведываясь в старый дом от случая к случаю, и в доме тихо, мирно, спокойно.

* * *

Осторожный стук в окно разбудил Недира. Зевая и ворча, он глянул сквозь стекло, толкнул оконные створки. Подобрав подол платья, в окно проворно влезла Махмал, кинулась Недиру на шею, стала жадно целовать. Он с трудом вырвался из ее сильных объятий.

— Ненормальная! Ты что, погибели моей хочешь? Чего ты сюда приперлась? Терпения не хватило до завтрашнего свидания подождать?

— Ладно, не шарахайся, милый,— цинично усмехнулась Махмал,— не за тем пришла, за чем думаешь. Новость есть.

— Могла бы и до утра твоя новость подождать. А то увидит кто-либо, как ты по чужим окнам лазишь, еще за вора примут.

Махмал снова усмехнулась:

— Мне не привыкать брать, что плохо лежит... А дело такое, что и опоздать можно: у Арслана намерения, оказывается, самые серьезные.

— Что значит — серьезные?

— А то, что он собирается сватать Малике.

— Откуда это тебе известно?

— Да уж известно. Тумар, дочка башлыка, рассказала. Встретились случайно, из магазина она шла, разговорились — она мне и выложила все, как Арслан к отцу ее приходил советоваться насчет женитьбы. И ты знаешь,— Махмал хихикнула,— эта дурочка безбожно ревнует Арслана.

Зная пристрастие Махмал к различного рода новостям, Недир не поверил услышанному:

— Это так же достоверно, как и то, что Арслан опозорил Малике?.. Ах ты, болтушка несчастная!.. Ты мне голову не морочь... Я тебе не Арсланчик желторотый...

Захлебываясь мелким смешком, Махмал пролепетала:

— Убей бог... да покарает меня господь... правду говорю... хи-хи-хи...

Недир выпрямился, присел на край кровати, закурил. Так, стало быть, дело запутывается? Парень намерен сорвать желтый цветочек? Ничего, распутаем мы это дело, распутаем! Не зря меня Недиром зовут. Надолго запомнит он меня... И как бы для уточнения задал опять вопрос Махмал:

— Значит, говоришь, дочь башлыка ревнует Арслана к Малике?

— Еще как ревнует,— подтвердила она.— Были бы в глазах ее пули — не жить Малике на свете. Так поносила ее, что облезлая собака рядом с Малике королевой показалась бы.

— Хорошо! — удовлетворенно сказал Недир.— Такие разговорчики сразу приобретают длинные ноги. Наверно, уже до Бахар и Нурли-ага добрались? Ты ведь все на свете первая знаешь — скажи, как относятся они к этому?

— А как им, по-твоему, относиться? Попробуй выдать замуж ославленную девушку? До смерти рады будут любым сватам... А ты, Недир-джан, я смотрю, всерьез взялся за эту Малике?

— Вот дурочка! — засмеялся Недир.— Я тебе сразу сказал, что это — серьезно. И если ты, моя белая верблюдица, выполнишь мое поручение, до самой смерти буду одевать тебя в бархат и медом кормить.

Махмал вывернулась из рук Недира и сухо сказала:

— На кой мне черт сдался твой бархат! А что дура я, так это действительно так — своими же руками свое счастье рушу. Возьмешь ты в дом эту курдянку — на меня и смотреть не захочешь. Так? Или не так, Недир-джан?

— Не забуду, моя верблюдица, никогда не забуду! — успокаивал он женщину.

7

В течение двух месяцев Арслан ревностно занимался больничными делами. Амбулатория была заново оштукатурена и побелена. Пристройку рядом с ней Кутли-ага

тоже передал в ведение Арслана: ее переоборудовали в стационар на три койки. Чинарлинцы посмеивались: раньше шелкопряда тут выхаживали, а теперь будут людей. На столе доктора, застланном белоснежной простыней, ровными рядами выстроились десятки пузырьков, лежали хирургические инструменты; на них посетители поглядывали с опаской и недоверием.

Постепенно жизнь вошла в нормальное русло, разговоры насчет Малике и Арслана прекратились сами собой. Однако Ширин-эдже на просьбы сына покачивала головой: «Не время, не время еще, сынок, сватовство затевать. От сухих веток снова может огонь вспыхнуть, опять пересуды пойдут по селу. Если это для тебя безразлично, обо мне подумай — устала я оправдываться да глаза от людей прятать. Не горит под тобой, подожди немножко. К весне ближе и посватаемся».

Ширин-эдже, сама себе в том не сознаваясь, чуточку кривила душой. Конечно, она совершенно искренне жалела бедняжку Малике, осуждала тех, кто таскал сплетню по селу, как собака клочок овечьей шкуры. И радовалась, когда людям надоело переливать из пустого в порожнее.

Но едва только сын заговорил о сватовстве, в сердце матери шевельнулось ревнивое чувство, появилась какая-то неприязнь к Малике. Ей стало казаться, что не девушка, а сын больше пострадал от сплетни, что именно Малике явилась причиной недоверчивого отношения чинарлинцев к ее Арслану. Сдерживая себя, Ширин-эдже понимала, что все это — нелепые домыслы, и все же ей была неприятна мысль, что завтра сын может привести невесткой в ее дом Малике. Нет, она не собиралась становиться сыну поперек дороги. Она видела, что Арслан захвачен настоящим чувством, и знала, что такое любовь — сама по любви замуж вышла. Малике так Малике, но пусть это будет не сегодня, не завтра, пусть она, Ширин-эдже, привыкнет к мысли, что ей придется внимание сына делить с Малике. Да и весна более благоприятна для свадьбы, нежели зима.

Арслан скрепя сердце согласился с матерью. Его успокаивало еще и то, что разговоры прекратились и девушке ничто не угрожает. Возможно, мать и в самом деле права, что поспешное сватовство может дать новую пищу для кривотолков, скажут: торопится парень грех покрыть. Стоит ли торопливостью приносить новые огорчения Малике? Единственно плохо, что не удастся поговорить с ней. Редкие случайные встречи мимолетны и скованны:

здравствуй, как живешь, до свиданья — вот и все. О том, что произошло темной дождливой ночью,— ни слова, будто ничего и не было. Понятно, девушке неудобно вспоминать об этом, стесняется, но могла бы улучить минутку-две для свидания наедине.

Арслан негодовал па нерешительную Малпке, но и сам зайти в их дом не мог и находил успокоение в работе, которой, в общем-то, хватало.

Как-то под вечер, когда он уже собрался было уходить домой, прибежала взволнованная девушка — младшая сестра Рахманберды.

— Скорее, доктор, идемте к нам! Невестка помирает!

— Что с ней? — всполошился Арслан.

— Два дня уже...— девушка всхлипнула,— два дня рожает — и не может никак. А сегодня после полудня совсем сознание потеряла...

Арслан посмотрел на часы, выругался сквозь зубы, быстро надел халат, прихватил саквояж с инструментами.

— Идем!

Уже по дороге подумал, что в доме, куда он спешит, его вряд ли встретят приветливо. Рахманберды считался исправным колхозником, но был нелюдим и, главное, религиозен. Может быть, сказывалась не столько религиозность, сколько привычка к раз и навсегда заведенному, к традиционному, но так или иначе, а при каждом удобном случае Рахманберды обращался к мулле, не упускал возможности посетить мазар[1]. Он постоянно таскал за собой жену. Попробовал было привлечь к этому и сестру, но та решительно отказалась нюхать, как она заявила, святую пыль, чем ввергла брата в жестокий гнев. Вполне понятно, что ни врачей, ни больниц Рахманберды не признавал, предпочитая при необходимости прибегать к молитве муллы Кульмурада либо, на худой конец, к помощи знахарки Момыш-Тотам, которые были довольно частыми гостями в его доме. Председатель Кутли-ага давно уже косился на этих тунеядцев, да за колхозными делами все как-то руки не доходили взяться всерьез.

Арслану было ясно, что не Рахманберды послал сестренку за помощью, но на всякий случай он спросил:

— Тебя брат в больницу послал?

Девушка отрицательно потрясла головой:

— Никто не посылая, сама прибежала... Я вчера Рах-

[1] Мазар — гробница чем-нибудь отличившегося мусульманина, святое место.

манберды сказала, что тебя надо пригласить, так он меня чуть не убил на месте.

«Пожалуй, и мне достанется»,— подумал Арслан и произнес вслух:

— Давай-ка бегом, девушка, а то как бы не опоздать нам!

Возле дома Рахманберды толпилось много людей, в основном женщины. Они расступились, пропуская Арслана, сочувствие на их лицах уступило место любопытству.

Растерянный Рахманберды, беседовавший с каким-то незнакомым Арслану человеком, при виде врача насупился и заслонил собой дверь:

— Уходи! В этом доме тебе нечего делать!

— Не делайте глупости, Рахманберды-ага! — строго сказал Арслан.— Пропустите меня к больной!

И словно в ответ из дома донесся пронзительный вскрик.

— Ты убийца! — бросил Арслан в лицо Рахманберды и, оттолкнув его в сторону, рванул ручку двери. Дверь не поддалась, она была заперта изнутри. Арслан стал бить в нее ногой, призывая: — Люди, что же вы стоите, помогайте!.. Эй, там, в доме, дверь откройте!

Опомнившись, Рахманберды пошел на Арслана. Его крепкие руки дайханина отшвырнули врача от двери, как щенка.

Неизвестно, чем все это закончилось бы, так как Арслан отступать не собирался, но тут появился Кутли-ага. Мгновенно смекнув, в чем дело, он грозно прикрикнул на Рахманберды:

— Отойди в сторону, слабый умом!

Рахманберды сник и отступил под сердитым взглядом башлыка. А тот, посапывая, подошел к двери и приказал:

— А ну, отпирайте быстро!

За дверью лязгнул крючок. Кутли-ага позвал Арслана:

— Иди, доктор, делай свое дело!

Рахманберды качнулся навстречу:

— Помни, Арслан...— но не договорил и только махнул рукой.

Из приоткрывшейся двери серой ящерицей выскользнула Момыш-Тотам.

Кутли-ага воинственно раздул усы:

— Тебе что было сказано: носа сюда не показывать!

Бормоча: «Свят... свят...», Момыш-Тотам проворно юркнула за угол дома и только оттуда проговорила тонким голоском:

— Пусть вас бог покарает!..

— Пусть покарает,— хмуро усмехнувшись, согласился Кутли-ага.— Худшей кары, чем ты, не придумает — мало ты людей на тот свет отправила своим лечением...

Несколько минут все напряженно прислушивались к происходящему в доме. Замолчала даже роженица, и только чей-нибудь вздох время от времени нарушал тишину. Заложив руки за спину, насупленный Кутли-ага стоял возле двери. От всей души желал он успеха Арслану. Он знал, что при неудаче на него обрушится волна недоверия, подогреваемая разными шептунами, и уж тут он, конечно, не выдержит, сбежит из Чинарли. Долбишь им, долбишь: отправляйте жен в роддом, отправляйте в роддом! — одним ухом слушают, а из другого выпускают. Ведь наверняка позвали врача к женщине, когда та уже умирать начала! Разве справиться тут такому молодому врачу, как Арслан? Ах ты, темнота, сто болячек тебе в печенку, когда же мы избавимся от тебя!

И тут в доме послышался долгожданный плач ребенка. Все облегченно вздохнули. Напряжение спало.

* * *

Сидя в амбулатории, Арслан разбирал новую партию лекарств.

Потянуло сквозняком. Придерживая рукой разлетающиеся сигнатурки, Арслан, не оглядываясь, сказал:

— Входите и закрывайте дверь.

Оглянувшись, он увидел Рахманберды. В сердце кольнуло предчувствие недоброго.

— С женой плохо?!

Но тот смущенно улыбнулся, помялся у порога, покашлял:

— Ай, с женой все в порядке... Я, по правде говоря, братишка, давно собирался к тебе зайти, да все сомневался: не в обиде ли ты на меня за тот раз?

— Нет,— суховато ответил Арслан,— не в обиде.

— Ты не обижайся, братишка! Мы иной раз кое-чего не понимаем... иной раз слушаем лишние разговоры. Хочешь как лучше, а оно порой хуже получается. Человек, он не враг себе, он добро понимает.

— Что ж, я рад за вас, если поняли.— Арслан придвинул к себе коробку с ампулами новокаина.— Очень рад.

— Да-да, конечно, поняли! Теперь, если, не дай бог,

кто из моих заболеет, знаю, к кому обращаться. А за прошлое ты уж не держи обиды...

— Да нет, мне тоже понятно ваше состояние.

— Вот и хорошо! — обрадовался Рахманберды.— А я к тебе, товарищ доктор, по делу пришел. Той в честь сына устраиваю — приходи, пожалуйста. И я прошу, и мать детей моих просит. На все, конечно, воля божья, но и тебе спасибо, братишка, что наша жена и сын живы остались. Ты приходи, пожалуйста, на той, ждать тебя будем.

Арслан низко опустил голову, изо всех сил сдерживая счастливую улыбку. Он имел право торжествовать: раскусить такой твердый орешек, как Рахманберды,— серьезная победа.

— Хорошо,— сказал он,— приду, спасибо.

— И тебе спасибо,— кивнул довольный посетитель.— Ну, пойду я, не стану тебе больше мешать. Мне еще многих обойти надо, всех хочу пригласить, пусть все мою радость видят.

8

Зима уже шла на убыль, когда Арслану пришлось уехать в Ашхабад на полуторамесячные курсы. Вызов пришел неожиданно, времени на сборы оставалось в обрез. Уже садясь в председательский «газик», Арслан спохватился, что его столь долгое отсутствие может встревожить Малике, и попросил мать при случае обязательно сказать девушке, куда он и на сколько уехал. И добавил, что по возвращении будут, не откладывая больше, готовиться к свадьбе. Утирая непрошеную слезинку, Ширин-эдже кивнула: да-да, будут готовиться, будут, только пусть он бережет себя да хоть изредка весточку подать не забывает.

Село — не город, новости в нем распространяются быстро. Чипарлинцы знали, что их врач уехал в Ашхабад, чтобы познакомиться с новыми лекарствами, с новыми методами лечения. Но однажды в клубе перед началом сеанса Тумар сказала:

— Враки это все — курсы, методы. К жене поехал Арслан. У него в Ашхабаде жена с двумя детьми осталась, он решил их сюда перевезти.

Девушки пораженно заахали.

— Ах, какой скрытный парень оказался!

— А мы-то, дурочки, еще удивлялись, что он шесть лет там прожил и один в село вернулся!

— Ширин-эдже, наверное, переживает.

— Добро бы одна Ширин-эдже! А то ведь еще кое-кто с носом остался!

— На кого это ты намекаешь, Сурай? — вскинулась Тумар.

— Да все об этом знают! Говорили, что Малике собирается к Арслану сбежать из родительского дома.

— Собиралась или нет — кто их знает, но что встречались они — это верно.

— Ты, Тумар, неподалеку от Малике живешь — точно все знать должна.

Девушка пожала полненькими плечами и сказала с деланным равнодушием:

— Мне-то что за интерес следить за соседями? Я знаю не больше, чем все остальные. Когда случится при Малике имя Арслана назвать, она сразу как помидор становится, но что она при этом думает, не спрашивала. Одно знаю: никогда Арслан не женится на ней!

Сурай скривила удивленно гримасу:

— Как же он может жениться, если у него уже есть жена?

— Все равно! — упрямо повторила Тумар.— И без этого он не женился бы на ней!

* * *

Шерстяная узорчатая шаль — приятный и дорогой подарок. Когда ее мягкие синие переливы заструились под руками, глаза Бахар радостно вспыхнули, а губы невольно растянулись в улыбке.

— Вах, какая красота! Специально за таким в Ашхабад ездила, да не сумела найти,— кто знает, где что продается в большом городе.

— Знающий всегда найдет,— ответила Махмал и вытащила из узелка второй платок.

Бахар потянулась пощупать тонкую мягкую ткань, поднесла ее к носу, покрутила головой:

— Совсем новый, магазином пахнет!

— А ты думала, я тебе старый принесу?

— Мне?!

— Конечно, тебе,— подтвердила Махмал.— Тебе и... Малике.

Улыбка на лице женщины погасла, она подозрительно посмотрела на гостью:

— За что же нам такое внимание?

— Ай, погоди, девушка, не ищи у яйца ручки,— отмахнулась Махмал.— Сейчас все тебе расскажу. Помнишь, ты как-то обмолвилась, что хотела бы синюю шаль иметь? Я случайно об этом Недиру сказала. Три дня назад районное совещание женщин было, знаешь?

— Слыхала.

— Так вот на этом совещании всем дояркам давали по одному платку. Недир взял для всех своих.

— Погоди, давали-то дояркам, а мы с Малике при чем?

— Вай, какая ты непонятливая! Недир — золотой человек, он обо всех своих работниках заботится. Так мне и объяснил: Довлет, сказал, чабаном работает — значит, самое прямое отношение к ферме имеет, а Бахар, мол, и Малике — его родственницы, вот и отдай им эти платки.

Невразумительное объяснение Махмал было шито белыми нитками. Но Бахар очень уж хотелось иметь такую шаль, и она, сделав вид, что поверила, сказала:

— Спасибо тебе, сестрица Махмал. Сейчас деньги принесу.

— Постой,— удержала ее Махмал,— погоди ты со своими деньгами! Слава богу, Недир ни в чем не нуждается, заплатишь как-нибудь потом.

— Нет уж, девушка, лучше я сейчас заплачу.— Бахар направилась к шифоньеру.— Нуждается он или нет, но я-то в подачках не нуждаюсь. За внимание спасибо ему, но за платки я уплачу, сколько они стоят.

Махмал сморщила нос:

— Что ж, девушка, плати, коль охота есть. Но только не мне! Я сейчас на ферму иду, оброню еще где ненароком. А вот ты встретишь Недира — ему в руки и отдашь сама вместе с благодарностью.

— Пусть будет так,— согласилась Бахар, возвращаясь на свое место.— Правду сказать, не ожидала я от Недира такого.

— Ты что, за человека его не считаешь?

— Да нет,— женщина немного смутилась, все-таки нехорошо дурно говорить о человеке, сделавшем тебе доброе дело.— Ты знаешь, он, говорят, в новом доме один живет. Уж не собирается ли он с женой разводиться? Давеча Нурбиби видела, на развилке с сыном она стояла. И узел лежит, большущий такой узел. Поздоровалась я, куда едет, спрашиваю. Отвечает: к брату. Я возьми да и ляпни: надо, мол, в новый дом переселяться и брата на новоселье приглашать. А она, девушка, как заплачет! Пропади он, говорит, пропадом, этот дом, вместе с хозяи-

ном. Ну, я и прикусила язык. А потом машина попутная проходила — они и уехали.

— Ай, Бахар-джан, ты еще не знаешь всего,— морщась, сказала Махмал.— Избави бог жить с такой женщиной, как Нурбиби.

— Да чем же она плоха! — изумилась Бахар.— Они же с Недиром столько лет душа в душу жили!

— Со стороны все хорошо, а когда поглубже копнешь...— Махмал горестно покачала головой.— Я ее получше твоего знаю, подлая это женщина. Недир только по доброте своей столько лет терпел. Да и то не выдерживал, иной раз, случалось, жаловался мне. Такие слова говорил, что — веришь? — чуть не плакала я, его слушая. А я не такая уж чувствительная, меня пустяками не растрогаешь!

— Смотри-и-и-ка! — Бахар от удивления прикрыла рот кулаком.— Вот как, оказывается, ошибиться можно! В голову бы мне никогда не пришло, что они не ладят между собой. Дом такой построил — прямо дворец... Ай-я-яй, стало быть, не судьба.

— Каждому свое,— лицемерно вздохнула Махмал, с трудом сдерживая предательский смешок.— Если бы эта женщина понимала свое счастье, она жила бы, как жена министра. Недир-то зарабатывает побольше, чем наши с тобой мужья, вместе взятые. Ты не была у них в доме? Куда ни повернись, кругом ковры, хрусталь, бархат.

— Не была,— с сожалением ответила Бахар,— но слышала, что богато живут.

— Эх, девушка, будь это богатство в пятьдесят раз больше, оно ничего не значит, если в доме нет согласия! Разрушила эта женщина семью: сама на голом месте осталась и все богатство моли оставила.

— Неужто она совсем ушла?

— О чем говорить! Конечно, совсем. Недир ведь, дайка подумать, целый месяц уже не живет с ней. А видела бы ты, девушка, как он свой новый дом обставил! Каждая комната — не комната, а картинка!

Бахар пригорюнилась. Ей стало жаль, что такое добро осталось без хозяйского присмотра, так жаль, словно она теряла и свою долю добра. И виноградник у Недира такой богатый возле старого дома! К нему только руки приложить — деньги сами в карман потекут. Вот глупая Нурбиби!.. Теперь Недир новую хозяйку заведет...

— Послушай, девушка, а ведь он еще совсем не стар,— сказала Бахар, словно невесть какое открытие сделала.

— Это Недир-то? — всплеснула руками Махмал.— Да ему только тридцать шестой пошел! Ты в своем уме, такого цветущего мужчину в старики записывать?!

— Да я — ничего,— оправдывалась Бахар,— тридцать шесть для мужчины не возраст... хотя время, девушка, скачет, как вспугнутый заяц по полю. Я сама только вчера порог этого дома переступила, а уже тридцать стукнуло.

Не сумев сдержаться, Махмал сладко зевнула и потянулась, захрустев суставами. Она устала кружить вокруг да около и решила идти напрямую.

— Разговор, девушка, не о нас с тобой. До нас дело дойдет — мы еще с молоденькими потягаемся. А вот Недира жаль: лучшие годы у бедняги пропадают. Жена ему хорошая нужна. Тихая, преданная. И чтобы о доме заботилась. Сама знаешь, дом без хозяйки рушится.

— Ох, не говори, Махмал! Не хочу хвалиться, но, если меня в этом доме не станет, никто себе куска свежего хлеба не сыщет. На мужчин разве можно оставить дом!

— Ну, у тебя еще помощница хорошая есть.

— Это Малике-то помощница?

— Она.

— Говоришь ты, Махмал, сама не ведая о чем...

Женщина не успела докончить свою мысль. В комнату заглянула Малике. Бросив недружелюбный взгляд на Махмал, сказала:

— Гельнедже, у меня желтый шелк кончился. У тебя есть еще?

Махмал приветливо заулыбалась:

— Жива-здорова ли, Малике-джан?

— Спасибо,— не глядя на нее, сухо ответила Малике.

— Ты посмотри-ка, какие подарки нам с тобой поднесли! — Бахар протянула девушке одну из шалей.

Малике машинально взяла, невольно залюбовалась броским расписным узором. Недавно она видела такой платок у Тумар и в глубине души позавидовала подруге — красивый платок, да где его достанешь, такой...

— Очень к лицу тебе этот цвет, Малике-джан,— льстила Махмал.— И новенький совсем, не такой, как у других. А ну, накинь его на себя, накинь, не стесняйся!

— Это Недир и тетя Махмал нам подарки сделали,— вставила некстати Бахар.

Уронив шаль, Малике повернулась к выходу.

— Аю, девушка, Малике, шелк-то, шелк возьми! — крикнула ей вслед Бахар.

Девушка не оглянулась, только зябко повела плечами.

Оставшись одни, женщины недоуменно переглянулись. Бахар поджала губы:

— Не понимаю, что с ней...

— А что тут понимать,— отозвалась Махмал,— заневестилась девушка — вот и весь ответ. Сватов небось каждый день встречаете?

Бахар замялась с ответом. Если говорить правду, то следовало сказать, что сваты перестали заходить к ним после того, как Махмал пустила по селу свою грязную сплетню насчет Малике и Арслана. Но вспоминать такое было неприятно, стыдно было признаться, что к взрослой пригожей девушке не засылают сватов. И поэтому она неопределенно ответила:

— Ай, заходят, конечно, не без этого... Прежде отбоя от них не было, а когда этот непутевый Арслан в селе появился, пореже наведываться стали.

Сообразив, что разговор может повернуться в нежелательную для нее сторону, Махмал быстро перешла в наступление:

— Кстати, девушка, давно собиралась зайти к тебе, поговорить, да все за работой времени не урвешь... Неприятная история получилась с девушкой, чуть ее не загубили... Да и меня приплели, будто это я их оклеветала.

— Бог знает, кто оклеветал,— вздохнула Бахар,— а сколько позора мы натерпелись, что и врагу лютому не пожелаешь.

Махмал оглянулась на дверь, за которой скрылась Малике, понизила голос до громкого свистящего шепота, слышного, вероятно, сквозь две стены:

— Слушай, дорогая, никому этого я не говорила, тебе скажу! Мать Арслана — вот кто слухи распространяет! Не веришь? Сейчас поверишь... Сидим мы как-то: она, я и Хаджат, жена Амана Толстяка. Арслан только-только приехал из Ашхабада. Сидим мы на ферме, пьем чай, судачим о том о сем. И вдруг эта змея, эта пришлая курдянка и говорит: «Дочка, мол, Нурли моему Арслану на шею вешается. Хоть, говорит, и знает, что у Арслана в Ашхабаде жена осталась, а все равно парню прохода не дает». Мы с Хаджат не поверили, за ворот поплевали. Я еще стыдить ее начала: «Неловко, тетушка Ширин, при седых-то волосах позорить напрасно дочь уважаемого человека». Так она на меня же с кулаками полезла! Хаджат соврать не даст, спроси у нее. А я-то Малике с пеленок знаю — скорее умрет, чем сделает дурное. Вот она у вас какой скромницей живет!

— Верно говоришь, Махмал! — Бахар вдруг до боли стало жаль свою золовку.— Верно... Бедняжка и на людях-то редко бывает...

— Вот и я о том же говорю! С чего бы это я о вашей семье плохое говорить стала, что вы мне сделали! Это все курдянка подлая язык распускает, а на других валит.

— При чем тут курдянка? — грустно сказала Бахар, далеко не убежденная в искренности собеседницы: легче опереться на таловую ветку, чем поверить Махмал.

Посидев еще немного, Махмал поднялась. Бахар проводила ее до калитки.

Когда они стояли, обмениваясь последними прощальными словами, мимо них проехал на тонконогом гнедом ахалтекинце Недир. Придержав коня, он учтиво поздоровался. Женщины проводили взглядом ладную, крупную фигуру всадника. Недир легко спрыгнул с седла возле дома Кутли-ага.

Махмал игриво проговорила:

— Слышь, Бахар? Будь у меня такая золовка, как Малике, я бы не упустила этого джигита.

Подстраиваясь под ее тон, Бахар повела бровями:

— Кто наперед знает, Махмал, кому судьба предназначает девушку.

9

Несколько раз Махмал забегала к Бахар, высказав наконец напрямик цель своих посещений. Та долго колебалась, не зная, как поступить. Устами Махмал Недир сулил богатый калым, или, как он говорил, подарок за содействие. Это, естественно, играло определенную роль. Но — не главную. В селе болтали, что Малике, мол, только и ждет возвращения Арслана, чтобы убежать к нему. Это и пугало Бахар. Бог с ним, с Арсланом, пусть будет даже он, но только чтобы все было по-человечески, по правилам. А так ведь опять стыда не оберешься. Не зря ведь говорят, что в доме, где живет взрослая девушка, поселяется черт! И Бахар после долгих сомнений и колебаний решилась.

Когда она заговорила о сватовстве Недира с Нурли-ага, тот не выразил ни одобрения, ни возражения, только сказал: «Ты, невестка, заменила Малике мать, вырастила девушку — тебе и решать, в какую семью она пойдет». А Довлет досадно отмахнулся: «Хоть за плешивого отдавай!» —

«Она — твоя сестра родная»,— настаивала Бахар, помогая мужу наполнять дорожный хурджун.

Ею снова овладели сомнения, и скажи Довлет «нет», она, вероятно, вздохнула бы с облегчением и согласилась. Однако муж лишь фыркал и сопел, уминая мешок, чтобы влезло побольше. Тогда Бахар, рассерженная, что никто из мужчин не хочет помочь ей советом в таком важном вопросе, решила не откладывать дела в долгий ящик и поговорить с Малике.

Разговор произошел за вечерним чаем. Расхворавшийся Нурли-ага лежал в своей комнате. Довлет уехал на выпас. Женщины чаевничали одни.

После первой же фразы невестки девушка возмущенно воскликнула:

— Да он в своем ли уме, твой Недир?! Он мне в отцы годится, а не в мужья!

— Это тебе только кажется, Малике-джан,— мягко возразила Бахар.— До старости ему еще далеко, он многих двадцатипятилетних парней за пояс заткнет.

Малике так разволновалась, что даже опрокинула пиалу с чаем и не заметила, что обожглась кипятком.

— А Нурбиби? Нурбиби куда он денет? Или он мне место второй жены предлагает? Так за это судят сейчас, в тюрьму сажают!

— Тьфу... тьфу... тьфу! — поплевала Бахар.— Не говори глупостей, девушка, не кличь беду! При чем тут вторая жена? Ушла от него Нурбиби, развелся он с ней, один в новом доме живет. Вах, Малике-джап, видела бы ты, какой у него в доме достаток!

— Нет! — решительно ответила девушка.— Нет! Пусть он и думать забудет об этом. И ты меня, пожалуйста, не уговаривай...

— Я не уговариваю! — Голос невестки стал суше: она сочувствовала Малике, слабой, беспомощной, способной плакать и умолять; резкое же противодействие со стороны девушки вызвало у нее неожиданное раздражение и желание поставить на своем.— Я не уговариваю,— повторила она,— а только подумай хорошенько, прежде чем ответить. Можно ловить отражение луны в арыке, но луну не поймаешь, только рукава замочишь... да вдобавок уронишь в воду то, что в руках держала. Ты уже сама достаточно взрослая, чтобы трезво смотреть на вещи, не думай, что я на пути твоему счастью становлюсь. Я и с отцом советовалась, и с братом твоим — никто не возражает...

Малике провела бессонную ночь, путаясь в противоре-

чивых мыслях. Она не испытывала отвращения к Недиру, он скорее был даже симпатичен ей. Когда случалось вспомнить о Нурбиби или встретиться с ней, девушка порой завидовала ее спокойной, как ей казалось, жизни, но она не желала ей зла никогда.

Теперь она взглянула на Недира совершенно иными глазами, и в душе шевельнулась острая неприязнь к этому рослому, удачливому в жизни красавцу, всегда неизменно вежливому, деликатному и... самодовольному. Это был только зародыш неприязни, пока еще не опирающийся ни на что конкретное, кроме сватовства Недира, но Малике впервые ощутила в себе способность возненавидеть человека. Она не чувствовала этого даже к Махмал, когда та распустила сплетню о ней и об Арслане...

Но Арслан... Что же Арслан? Где он, почему молчит? После той ненастной ночи им ни разу не пришлось по-настоящему поговорить, но ведь это уже почти не имело значения. Все было сказано в ту ночь, все решено: Арслан сказал, что пришлет сватов. Она терпеливо ждала, замирая при каждом звуке чужих шагов возле порога дома. Она много думала над скорой переменой в своей жизни, думала так, словно все уже свершилось. Воображение рисовало смутные, но радостные картины, и нередко Малике, перехватив недоуменный взгляд невестки, спохватывалась, что улыбается неизвестно чему. Усилием воли она напускала на себя равнодушие, но улыбка не гасла, оставалась где-то внутри, и от нее мягкая теплота разливалась в груди, чуточку стесняла дыхание.

Она-то ждала, а сваты от Арслана все не шли. Шли дни, недели, месяцы, но не сваты. У нее не поворачивался язык спросить об этом Арслана во время случайных встреч, она спрашивала глазами. Он же говорил торопливые ласковые слова, но о сватовстве не упоминал. И вот — уехал, не попрощался с ней, не сказал, надолго ли. Шесть недель прошло, как уехал, и даже маленькой весточки не прислал. Может, вообще не думает возвращаться?

Предположение было таким горьким и незаслуженно обидным, что Малике заплакала, кусая подушку, чтобы не разрыдаться вслух. Слезы немного облегчили ее состояние, и девушка уже перед рассветом задремала, не подозревая, что грядущий день нанесет ей еще один удар.

Позванивая ведрами и чуть покачиваясь от усталости после бессонной ночи, Малике шла к ручью за водой, когда ей повстречалась Тумар. Они поговорили о том о сем. Тумар обратила внимание на припухшие веки и темные кру-

ги под глазами подруги, заботливо осведомилась, не заболела ли та. Потом, как бы между прочим, заметила:

— Насмешили меня вчера девчонки. В клуб я ходила — фильм новый привезли, итальянский, обязательно сходи посмотреть... Так вот и нахохоталась я перед фильмом. Ты знаешь, почему Арслан задерживается в Ашхабаде?

Малике хотела ответить как можно равнодушнее, но натянутый голос дрогнул:

— Откуда... откуда мне знать? По делам... вероятно, задерживается...

— Я тоже так думала. А девчонки говорят, что у него в Ашхабаде жена и двое детей остались — к ним поехал. Привезет ли их сюда, сам ли оста...

Ведра выскользнули из ослабевших пальцев Малике и, лязгая, покатились по дороге. Лицо девушки побелело до синевы. У Тумар екнуло и сжалось сердце.

— Да ты не переживай, Малике-джан! Ведь я с чужих слов говорю!.. Может, все это — выдумки, болтают ведь всякое... Да конечно же все это неправда!..

Огромным усилием воли Малике взяла себя в руки.

— Какое мне дело, Тумар, правда это или нет. Мало ли на свете людей женится...

Она подняла ведра и пошла к ручью, спотыкаясь на этот раз не от усталости.

Дома Малике делать ничего не могла — все валилось из рук. Она прилегла на свою постель, повернувшись лицом к стене. Встревоженная Бахар сунулась было с расспросами. Но Малике, не поворачиваясь, ровным, лишенным живых интонаций голосом сказала: «Уйди, гельнедже, оставь меня в покое». И испуганная невестка отступила. Несколько раз на протяжении дня она заглядывала в комнату, предложила Малике покушать, но девушка лежала неподвижно и не откликалась.

Опасаясь самого худшего, Бахар запрятала подальше бачок с керосином, убрала все спички. Сон ее был тревожен, она часто просыпалась, всматривалась в темноту: на месте ли золовка. Снова забывалась в полудреме и через полчаса, словно подтолкнутая изнутри, вскидывалась опять, шарила вокруг себя руками и потихоньку ругалась, измученная постоянным напряжением.

А Малике лежала, глядя перед собой невидящими глазами, и ни о чем не думала — пусто было в голове и холодно в груди. Порой перед ней вставали картины: то ива и воркующие горлинки, то крепкие и нежные ладони Арслана на плечах и ровный стук его сердца, то сладкая улы-

бочка Махмал, потом все заслоняла синяя, цветистая шершавая шаль. Малике видела себя словно бы со стороны — чужую, незнакомую девушку. Что ей надо? Что с ней стряслось? Чего она хочет?

Утром она встала и по привычке взялась за домашние дела. Бахар помалкивала до обеда — все присматривалась, применялась. Малике съела несколько ложек шурпы без хлеба, зато выпила целый чайник чая. Каменно неподвижное лицо ее вроде бы немножко оживилось. Воспользовавшись моментом, Бахар погладила ее по спине, ласково осведомилась, что она надумала ответить на предложение Недира, может, все-таки согласна?

Девушка беззвучно пошевелила губами, и Бахар показалось, что она произнесла «Да». «Что ж, может быть, так оно и лучше»,— подумала Бахар, но на душе у нее было невесело и даже почему-то захотелось всплакнуть. Казалось бы, все идет по ее, Бахар, желанию, золовка не перечит, скоро убавится беспокойств и забот, и все же, как это ни странно, ей было бы легче, услышь она отрицательный ответ. Почему? Бахар не пыталась это объяснить. Просто легче — и все. Но ответ не был отрицательным, и его следовало передать Махмал.

На следующий день Махмал сказала, что у Недира все готово для свадебного тоя. Однако он немного опасается вмешательства башлыка — мало ли чего взбредет в голову Кутли-ага — и поэтому считает, что следует немного подождать. Башлык и председатель сельсовета собираются в райцентр на день-два. Вот после их отъезда и надо устроить свадьбу.

Бахар поморщилась: зачем эта таинственность, воруют они, что ли?

— Да ведь как сказать,— не удержалась Махмал,— один думает, что не ворует, а другой иного мнения придерживается. Кутли-ага, хоть он и пожилой, а к старым обычаям не слишком-то уважительно относится — вон как бедняжку Момыш-Тотам осрамил перед всем народом. Да и за дочку Чоли Хромого он же заступился, когда ту хотели выдать замуж против ее воли.

— Из-за дочки Чоли комсомольцы шум подняли,— напомнила Бахар,— это они первые к башлыку пошли.

— Без него все равно ничего бы не добились,— возразила Махмал,— а он так накричал на Хромого, что тот целый месяц боялся нос на улицу высунуть от людских насмешек. Зачем же нам на такие неприятности нарываться? А когда дело будет сделано, пусть шумит Кутли-ага. Да

и шуметь-то он не станет — не захочет срамить Малике и старого Нурли. Поэтому вообще лучше помалкивать о свадьбе, все узнают, когда время придет.

Бахар неохотно согласилась. С одной стороны, ей было очень неприятно, что все делается тайком, крадучись. С другой — она словно бы ждала чьего-то вмешательства, расстроившего бы эту невеселую свадьбу, и была бы рада такому вмешательству. Как бы ей помогла Малике, начав опять протестовать! Вот тогда она все силы отдала бы для того, чтобы свадьба состоялась. Вероятно, отдала бы. А так... Действительно, человеческая натура — странная и противоречивая штука...

10

Арслан добрался до Чинарли на попутной машине. Он сошел на развилке дорог, поблагодарил шофера и зашагал к селению, глубоко дыша волглым весенним воздухом, струящимся с заснеженной вершины горы Херек.

Теплый влажный дух исходил от земли, уже покрывшейся травой, мягкой и нежной на ощупь, как пушок трехдневного цыпленка. Лопались набухшие почки. Деловито журчала вода в арыке. Свежевспаханные поля масляно блестели отвалом борозд. И Арслан подумал, что за свое полуторамесячное отсутствие он успел соскучиться по родным местам сильнее, чем за предыдущие шесть лет учебы. Это наполнило его какой-то непонятной светлой радостью, и он даже стал насвистывать незатейливый мотивчик, неторопливо шагая и поглядывая по сторонам.

У околицы ему повстречалась Тумар. Она направлялась к животноводческой ферме, ведя за собой на веревке теленка. Тот, видно, едва научился ходить и поминутно спотыкался на неуклюжих голенастых ногах, разъезжающихся в стороны.

Девушка шла, глядя мимо Арслана. Можно было подумать, что они совершенно незнакомы. Это показалось странным молодому врачу.

— Как живешь, Тумар? — окликнул он девушку.

Тумар, не ответив, ускорила шаг. Теленок споткнулся, упал на колени. Она сердито потянула за веревку, помогая ему подняться.

— В чем дело, Тумар, или ты еще не проснулась, что даже не отвечаешь на приветствие? — попробовал пошутить Арслан, хотя радужное настроение его уже поблекло и шутить совсем не хотелось.

— Иди своей дорогой! — буркнула Тумар раздраженно.— Не обязана я на твои приветствия отвечать!

Арслан удивился и растерялся. Какая муха укусила эту девчонку? Прежде она всегда радовалась его вниманию, на ее лице он видел постоянную улыбку, и вдруг — как на заклятого врага смотрит. Что-нибудь случилось в селе за время его отсутствия?

— Послушай, Тумар,— сказал он, закрывая девушке дорогу,— что случилось, скажи? Я чем-нибудь обидел тебя?

Шея Тумар медленно краснела. Она рывком повернула к Арслану пунцовое лицо, в глазах ее дрожали злые слезы.

— Пропусти меня, добром прошу! Уйди с дороги!.. Ты, как щенок слепой, ничего вокруг себя не видишь... Малике глаза тебе застилает... Ну и ступай к своей Малике!

— И тебе не стыдно, Тумар! — возмутился юноша.— Почему ты мне такие слова говоришь?

— А тебе — не стыдно? — взорвалась Тумар.— Лучше б ты вообще в Чинарли не возвращался! Лучше бы никогда я тебя не видела!..

— Да в чем дело, скажи наконец толком! — рассердился Арслан.— На хвост я тебе наступил, что ли?

— На сердце ты мне наступил...— всхлипнула девушка, и по щекам ее покатились слезы.— Знаю, что не любишь... что я для тебя... пустое место... А все равно ничего не могу поделать...— Она отвернулась, утирая слезы рукой, и уже тихо, совсем тихо и просительно закончила: — Пропусти меня, пожалуйста... не заставляй еще говорить...

Ошеломленный услышанным, Арслан отступил в сторону, бессвязно бормоча:

— Извини меня... не знал... Что я могу сделать?..

Тумар ушла. А он все стоял, бессмысленно глядя на оставленную теленком лужицу и собираясь с мыслями.

Встреча оставила неприятный осадок в душе. Настроение, с которым Арслан заявился домой, было далеко от той безоблачной приподнятости, что владела им по дороге в Чинарли. Это сразу же заметила Ширин-эдже и засуетилась вокруг сына.

—Что грустный такой, Арслан-джан? Или неприятности какие? Ай, плюнь на них — сойдут, как снег под весенним ветром! Я тебе сейчас лапши с простоквашей сготовлю, это твоя любимая еда, соскучился, наверно, по ней в городе-то? Чаем тебя напою. А ты пока полежи, отдохни. А может, тебе нездоровится? Так это весной часто бывает с молодыми людьми...

— Врач, исцелися сам,— вполголоса произнес Арслан, перевирая смысл услышанного когда-то выражения, принимая его в буквальном звучании.— Исцелися сам...

— Что ты сказал? — не расслышала Ширин-эдже.

— Ничего, мама... Здоров я,— Арслан сел на диван.— Мама, ты сделала, что я тебя просил?

— О чем ты просил, сынок?

— Письма мои показывала Малике?

Ширин-эдже смутилась:

— Да нет... как-то случая не представлялось, сынок...

— М-да...— Арслан встал и зашагал по комнате, нервно потирая ладони.— А я-то надеялся, что она все знает... Что же она теперь подумает? За полтора месяца — ни одного слова! И все опасение наше глупое: как бы люди чего лишнего не заподозрили, болтать бы не стали... М-да... Подвела ты меня, мама. Крепко подвела! Знай я, что так получится, непременно написал бы ей. Черт возьми, как много в нашу жизнь мы сами вводим ненужных осложнений! Таимся, выжидаем, высматриваем, а зачем, кому нужно?

Ширин-эдже помалкивала, чувствуя себя виноватой перед сыном. Надо было заглянуть к Малике хоть для отвода глаз. И собиралась ведь зайти не однажды! Да все цеплялась за малейшую возможность оттянуть это посещение, все находились предлоги. Вот и хлопай теперь глазами, ищи новые оправдания...

— Да ничего с ней не случилось, сынок, с Малике,— решилась наконец заговорить Ширин-эдже.— Любая девушка такого парня, как ты, полтора года ждать будет, не то что полтора месяца.

— Ай, мама, ничего ты не понимаешь! — досадливо отмахнулся сын.— Ну при чем тут, скажи, любая девушка? Ты знаешь, какое у нее положение? А ведь я слово ей дал, обнадежил. Сколько времени прошло с тех пор? Как бы ты себя чувствовала на ее месте?

— Я на ее месте не была! — посуровела Ширин-эдже.— Мое имя не трепали на каждом перекрестке.— Она заметила укоризненный взгляд сына и быстро переменила тему: — Тут еще, знаешь, Арслан-джан, опять болтать начали. Я, конечно, не поверила: мой Арслан, говорю, не стал бы от родной матери такое дело скрывать. А все же от разговоров готова была сквозь землю провалиться, лишь бы не слышать их.

Арслан нахмурился:

— Что еще за новость?

— Да болтают, что у тебя жена с детьми в Ашхабаде есть. Мол, к ним ты и поехал.

Арслан невесело рассмеялся:

—Я вижу, у чинарлинцев других забот нет, как только сочинять обо мне небылицы.

— А может, у тебя там в самом деле девушка есть? — спросила Ширин-эдже с тайной надеждой.

— Нет, мама, никакой девушки! — отрезал Арслан и, немного подумав, добавил: — Были, конечно, знакомые, когда учился. Одно время даже о свадьбе подумывал. Но все это оказалось несерьезным. Была, как говорится, без радости любовь и разлука без печали.

— А сейчас у тебя — серьезно?

— Да, серьезно. Я люблю Малике и никого, кроме нее, не хочу.

— Так ведь она желтая какая-то с лица, сынок! И пасмурная, вроде осенней хмари... Зачем она нам? Или лучших девушек в Чинарли нет?

Арслан круто оборвал свое хождение, остановился перед матерью, положил ей руку на плечо, выждал, пока она поднимет глаза, и твердо сказал:

— Не надо так, мама! Если не хочешь обидеть меня, не говори так о Малике. Ты сама вышла замуж за отца по любви и хорошо знаешь, что это такое, когда человек любит. А я, повторяю, люблю Малике. По-настоящему люблю.

Он шагнул к двери.

— Куда ты, сынок? — кинулась следом Ширин-эдже, готовая согласиться со всем, что бы ни предложил Арслан.

— Пойду посмотрю, что там в амбулатории делается.

— А завтрак как же? А чай?

— Потом поем. Сейчас аппетита нет.

— Ты хоть лепешки кусочек возьми с собой!

— Не хочу, мама, ничего.

Дверь тоненько пропела петлями, щелкнула язычком замка.

Ширин-эдже села на табуретку, уронив между колен испачканные мукой руки. «Господи,— горестно думала она,— что же это происходит на свете: за что я, дура старая, сына своего обидела? За что?»

* * *

Не успел Арслан как следует осмотреться в амбулатории, как зашел Недир. Он был чем-то взволнован, но, как всегда, обстоятельно и вежливо осведомился о жизни, здоровье, делах «уважаемого доктора». Арслану было не до

разговоров, он отвечал односложно и довольно неприветливо. Однако это не смущало Недира.

Кончив расспросы о здоровье, он полюбопытствовал, не привез ли доктор новых лекарств. Нет? Жаль, потому что лекарства были бы весьма кстати: на отгонном пастбище тяжело заболел один из чабанов.

— Почему не доставили его в больницу? — спросил Арслан.

Недир виновато развел руками:

— Нельзя было доставить. Хотели на водовозку посадить — не получилось. Чуть дотронешься, кричит, бедняга, словно его режут тупым ножом. Не понять, то ли аппендицит у него, то ли отравился чем.

— Надо срочно ехать туда! — решил Арслан.

— Рад бы,— развел руками Недир,— да на ферме забот много: телята что-то хворают, ветеринара из района жду.

— Да не о вас речь! — оборвал его парень, досадуя на непонятливость заведующего фермой.— Вам-то зачем ехать? О себе говорю. Где Кутли-ага? Машину надо попросить.

— Кутли-ага с председателем сельсовета еще затемно в район уехали. Сегодня там сессия райисполкома, а завтра, кажется, пленум райкома. Не раньше как через два дня будут дома. А насчет машины вы не беспокойтесь — я сейчас сбегаю в контору и быстренько все организую. Собраться не успеете, как машина будет готова.

— Мне собраться — что кошке чихнуть,— усмехнулся Арслан,— так что поторопитесь.

— В один момент! — заверил его Недир.

Он был доволен. Неожиданное возвращение Арслана в день отъезда башлыка едва не спутало все карты ретивого жениха. К счастью, он вспомнил, что вчера вечером шофер водовозки говорил о заболевшем чабане. Чабан, понятное дело, прихворнул не слишком серьезно, мог бы и сам отлежаться, но болезнь его была очень кстати для Недира. Он быстро смекнул, что таким образом можно спровадить не вовремя вернувшегося Арслана. Пастбище далеко: пока туда, сюда — сутки долой. А там у чабанов задержится, лечить будет, то да се — еще сутки. К этому времени, глядишь, пешка-то в дамки и пройдет, а кое-кто останется при своих интересах, как говорят гадалки.

Недир развил кипучую энергию в поисках машины, но все они, как назло, оказались в разгоне. Арслан нервничал, то и дело ходил из конторы в больницу и обратно;

мысль о заболевшем человеке на время вытеснила все остальные. В простоте душевной он не догадывался, что именно Недир разослал машины по разным пустяковым поручениям — ведь ему надо было выгадать время.

Машина нашлась только после полудня. Сокрушаясь и ахая, сетуя на нерасторопность шоферов, которых совершенно не трогает, что на дальнем коше, может быть, человек помирает, Недир проводил Арслана.

Теперь можно было начинать приготовление к свадебному тою.

11

Итак, сегодня вечером все закончится. Малике придет молодой хозяйкой в новый дом Недира. Махмал уже явилась готовить невесту. А Арслан? Что ж, Арслан, может быть, утешится любовью Тумар, а возможно, ему приглянется другая девушка. Но уж во всяком случае Малике для него потеряна. Так должно быть.

Сегодня и я прощаюсь с родным Чинарли — с его сквозняковыми ветрами и горными пейзажами, с его людьми, и хорошими и дурными. Но прежде чем сделать это, я должен рассказать еще кое о чем...

...Когда начинают дуть влажные и теплые весенние ветры, тают снега на горных вершинах и десятками ручейков стремительно несутся вниз, к ущелью. Иногда ручейки сливаются, и тогда грозно, предупреждающе гудит в горах бурный поток. Люди с тревогой прислушиваются к его зловещему голосу и с такой же тревогой посматривают на небо: если весеннему таянию снегов сопутствуют ливневые дожди, значит, надо ждать селя. Правда, только старики рассказывают, как однажды селевой поток, несший вырванные с корнем деревья и каменные глыбы, слизнул на своем пути селение, будто того и не бывало. Обычно же сели проходили стороной, после них приходилось приводить в порядок лишь поля да арыки. Но слепая стихия таит в себе немало страшных воспоминаний, и весной люди не могут не тревожиться.

В тот вечер, когда Арслан трясся в «газике» на пути к отгонному пастбищу, Недир соображал, кого из чинарлинцев пригласить на свадьбу, а Бахар и Махмал перебирали приданое невесты.

Погода испортилась. Сперва в ущелье ворвался вихрь. Он гнул к земле верхушки деревьев, стряхивая с них вороньи гнезда, и посыпал все вокруг мелкой и едкой черной

пылью. Потом по пыли ударили крупные капли дождя, и вслед за ними мутно-зеленая стена воды хлынула с неба.

Женщины бросили возиться с тряпками и напряженно прислушивались к непогоде, ожидая и страшась услышать далекий гул рождающегося селя. Бахар то и дело поглядывала на окно, озаряемое вспышками зарниц. Махмал нетерпеливо ерзала на месте, злясь на неожиданную помеху и при каждом раскате грома бормоча: «Свят... свят... свят...» Малике, безмолвная и равнодушная, с отсутствующим взглядом, сидела в стороне. Казалось, все происходящее ее совершенно не касается.

Но равнодушие это было обманчивым. Малике мрачно смотрела, как тетка и сваха перебирают ее приданое, и не раз ловила себя на желании вскочить, крикнуть им в лицо что-то резкое, вышвырнуть все эти тряпки за дверь и самой бежать куда глаза глядят, покуда будут держать ноги. Странно, но то, что именно ей предстоит сегодня стать женой Недира, как-то ускользало от ее сознания.

Мимо двери к выходу прошаркал задниками стоптанных шлепанцев старый Нурли-ага. Возвращаясь, он заглянул в комнату, где сидели женщины, и долго стоял, всматриваясь и шевеля седыми кустистыми бровями. Бахар и Махмал вопросительно уставились на него, готовые в любой момент прийти на помощь старику и не понимающие, в чем должна выразиться эта помощь.

Неловкому молчанию положил конец сам Нурли-ага. Качнув бородой в сторону съежившейся Махмал, он спросил у невестки:

— Кто эта женщина? Что она делает в нашем доме в такой час?

Растерявшаяся Бахар стала торопливо объяснять, что это Махмал, сваха, она пережидает непогоду, чтобы отвести невесту в дом жениха...

Тем же тоном, словно Махмал была неодушевленным предметом, старик приказал невестке:

— Пусть она уходит к себе. Добрые люди устраивают свадьбы днем и при ясном небе.— Помолчал, пожевал сухими губами и, уже уходя, оглянулся, держась рукой за дверной стояк.— Пусть делают, как по закону положено: сначала зарегистрируются в сельсовете, а потом уже той справляют.

На Малике Нурли-ага даже не глянул. И она, с трепетно застучавшим сердцем, вдруг поняла, что отец сердит на нее, что он осуждает ее согласие,— и от этого сразу стало легче и светлее на душе, растаял комок, все время

стеснявший дыхание, стал осмысленным взгляд. Девушка потрясла головой, как бы пробуждаясь от сонного оцепенения, глубоко-глубоко вздохнула и, может быть, впервые за все время осознала полностью, что невеста — это она сама, и что это ее должны отвести в чужой дом, и что она... «Нет! — мысленно крикнула она.— Нет! Никогда!»

Оскорбленная Махмал, ругаясь, что Нурли-ага на старости лет совсем спятил, направилась к выходу. Провожая ее, Бахар недоумевающе и беспомощно разводила руками — ей тоже было непонятно внезапное вмешательство свекра. Ведь как будто со всем согласился, все отдал на ее, Бахар, усмотрение — и вот тебе, пожалуйста, новость! Хотя, в общем-то, и его можно понять: нехорошо, что дочь уводят из дому в темноте, по-воровски. Она и сама возражала против этого, да Махмал переубедила.

Не прошло и получаса после ухода гостьи, как в окошко постучали.

— Кого еще нелегкая принесла? — сердито проговорила Бахар, подходя к окну, всмотрелась и обернулась к Малике.— Тумар пришла! Смотри не сболтни ей ничего лишнего! О свадьбе — ни слова!..

Малике молчала, исподлобья глядя на невестку темными сузившимися глазами.

Сбросив в коридоре прозрачную непромокаемую накидку, Тумар вбежала в комнату, подсела к Малике.

— Скучно одной в такую погоду дома сидеть,— объяснила она свой приход Бахар.— Сидишь — как беды какой ждешь. Вот и решила Малике проведать. Ужас что на улице творится! Пока бежала, все ноги промочила. Вот, видите? — Она стащила с одной ноги носок, стала растирать ладонью ступню.

— Попей чаю, согреешься,— хмуро посоветовала Бахар и придвинула девушке остывший чайник Махмал.

Некоторое время разговор шел о погоде и разных незначащих мелочах. Говорили больше Тумар и Бахар, Малике помалкивала. Потом в соседней комнате заплакал и зашелся в кашле ребенок Бахар. Она вскочила, бросила на Малике предупреждающий взгляд и поспешила к сыну. Кое-как успокоив его, прилегла рядом и незаметно уснула.

А тем временем Тумар, наклонившись к подруге, спрашивала шепотом:

— Это правда, да?.. Ты действительно выходишь замуж за этого Недира?!

— Правда,— скупо, одними губами улыбнулась Малике; ее забавляла непонятная горячность подруги.

— Да ты с ума сошла! — всплеснула руками Тумар.— Я как услышала об этом, места себе найти не могла! Сперва подумала, что это чья-то очередная выдумка. А потом все же решила к тебе сходить, узнать, правда или нет. Знаешь, как я переживала?

Тумар не лгала. Еще до сегодняшнего дня она была довольна своими кознями, посмеивалась над одураченной Малике.

Встреча с Арсланом сильно поколебала уверенность Тумар в своей правоте. Неожиданно для себя высказав парню все в лицо, она почувствовала облегчение, словно добилась всего, чего хотела. Это заставило ее призадуматься: в самом ли деле так сильно нравится ей Арслан, что она без него жить не сможет? Ответить на этот вопрос было трудно. Но когда Тумар случайно прослышала, что Недир сватается к Малике и что та дала согласие, она ахнула. Чего-чего, но этого подруге она не желала. И она решила отговорить, во что бы то ни стало отговорить Малике от опрометчивого шага!

Тумар собралась идти к подруге, но тут налетела буря, хлынул ливень. Пережидая его, она сидела как на иголках. В конце концов не выдержала и побежала по дождю. Может, все не так, просто досужая сплетня, которых за последнее время что-то слишком много стало в Чинарли?

— Правда,— подтвердила Малике.— Вон и приданое уже готово. И сваха приходила — в дом мужа вести, да дождь помешал.

— А как же Арслан?!

— Что мне о нем думать... У него своя голова на плечах... своя семья... в Ашхабаде.

Тумар крепко стукнула себя кулаком по лбу:

— Дура я! Дура набитая! Что же я наделала? Это я во всем виновата!

— Ты? — удивилась Малике.— В чем же твоя вина?

— А в том, что это я выдумала про жену Арслана! Нет у него никакой жены! И не было! Я ее придумала!

— Вот как? — По лицу Малике скользнула тень.— Не думала я, что ты...

— Я, я, подлая! — продолжала сокрушаться девушка.— Я придумала!

— Зачем?

— Отбить у тебя Арслана хотела, вот зачем!.. Прости, если сможешь... А когда сегодня утром поговорила с ним, поняла, что никого, кроме тебя, он на всем белом свете не видит!

Малике привстала, впилась ногтями в ладони:

— Арслан — здесь?

— Да. Утром вернулся, а после полудня на дальний кош уехал — там чабан заболел, говорят... Что же делать теперь будем, Малике, милая?

— Не знаю...— Малике опустила голову.— Что делать, как быть...

— Не говори так! — дернула ее за рукав Тумар.— Всю жизнь не прощу себе, если ты за Недира выйдешь!

— Что же ты советуешь? Сегодня не вышло — завтра утром за мной придут.

Подруга взъерошилась:

— Ну и что? Пусть приходят! Повернешь их от порога — вот и весь разговор! Приставать станут — найдем управу: не при феодально-байской власти живем, а при советской. Ишь чего захотели — девушку за старика замуж выдавать!

Малике тихонько засмеялась.

— Тише ты, не кричи так, а то гельнедже, чего доброго, прибежит.

— Пусть бежит! Подумаешь — гельнедже! А у нее что, голова на плечах или казан закопченный? Нет чтобы отговорить, так она сама толкает тебя в пропасть. Гельнедже!..

— Ладно, ладно, она мне все-таки много добра сделала.

Несколько минут они молчали. Малике выпила несколько глотков остывшего чая. Тумар залпом выпила свою пиалу.

— Слушай, девушка, а что, если ты сегодня, сейчас, прямо к Арслану поедешь, а?

Малике подняла на подругу глаза: ей пришло в голову то же самое.

— Сейчас?.. А как это сделать?

— Эх! — Тумар досадливо ударила себя по колену.— Хотела же научиться машину водить! Вот я бы тебя и отвезла...

Малике на секунду представила себе Тумар за рулем колхозного самосвала и невольно улыбнулась.

— Слушай,— Тумар схватила ее за руки,— ты ведь ездишь верхом, да? Я тебе сейчас отцовского иноходца приведу! А?.. Давай собирайся быстрее!

Они проворно собрались. Стараясь не стукнуть, не скрипнуть дверью, выскользнули на улицу.

Дождь уже прекратился. Только ветер по-разбойничьи насвистывал в ущелье да глухо погромыхивало вдали.

Возле дома башлыка Малике остановилась у дувала — ее трясла нервная лихорадочная дрожь. Тумар скрылась в черном провале калитки и вскоре появилась снова, ведя за собой в поводу оседланного коня.

— Садись!.. Давай я помогу...

— Где же я в такой темноте найду Арслана? — засомневалась Малике. Она чувствовала себя настолько неуверенно, что готова была вернуться домой.

Но Тумар решимость не изменила.

— Душакское поле знаешь?

— Где это?

— Ну, к югу от твоей ивы!

— Это где пшеницу сеют?

— Оно самое... Мы же весной туда ездили, к овцам. Не помнишь, что ли? А еще говоришь, что твоя мать курдянка!

— Там агил [1] новый, да? — вспомнила Малике.— И землянки для пастухов.

— Слава богу, дошло,— засмеялась Тумар.— Вот по той дороге, мимо агила, и поедешь. Никуда не сворачивай в сторону, дорога тебя прямо к Арслану приведет.

— А откуда ты знаешь, что он именно там?

— Тьфу ты, беспонятная какая! Я же тебе объясняла: приходил к отцу шофер водовозки, говорил, что чабан заболел. Я спросила, с какого коша. Он и рассказал... Ну, давай садись, пока нас никто не заметил!

С помощью подруги Малике забралась в седло.

Застоявшийся конь прядал ушами, просил повода.

— Подойди сюда, Тумар...

Малике нагнулась с седла и крепко, до боли расцеловала подругу.

— Спасибо тебе за все, сестричка!

— Чего там!..— отозвалась Тумар, подозрительно шмыгнув носом.— Счастливо... счастливого тебе пути, Малике-джан!..

— Спасибо! — еще раз повторила Малике и ударила коня плетью.

Иноходец сразу пошел рысью.

— Счастливо тебе! — крикнула вслед Тумар.

И заплакала, сама не зная отчего.

1963

---

[1] Агил — загон для овец.

Тиркиш Джумагельдиев
р. 1938

Спор

День первый

Схватили меня ночью. Связали, швырнули, как барана, в телегу, помчали на запад. Их было человек пятнадцать, все на добрых конях — о побеге нечего было и думать.

Под утро приехали в какую-то деревню. Меня бросили в овечий загон. Не били, словно надоело им все это до черта. Наверное, решили, что успеется, все равно никуда не денусь.

Меня измолотило в тряской телеге, мучительно саднило ободранное плечо, ныли заломленные за спину, перетянутые веревками руки. И все-таки я заснул. Заснул сразу, как только прикоснулся к земле.

Когда я открыл глаза, солнце уже припекало. Нестерпимо болели руки. Сухой, словно выдубленная шкура, язык распух и не помещался во рту. Я кое-как изловчился, встал на колени. Огляделся — никого. И понял вдруг, что смерть моя рядом. Смерть! А мне только двадцать лет.

Мать говорила, что я родился в то памятное лето, когда налетел «черный ветер» и мы остались без кибитки. А через пять лет случилось другое несчастье — в Мургабе утонул мой отец. Пошел за камышом и не вернулся. Мать до сих пор не верит, что он погиб. Пятнадцать лет прошло, а она все ждет.

Господи, хоть бы глоточек воды! Ага, кто-то открывает ворота. Может, воду несут?

В загон вошел рослый, плечистый человек. За поясом наган, в руке плеть. Нет, этот не поить меня пришел... Господи, если ты и правда есть на небе, дай мне силы ни о чем не просить его!

Человек подошел ближе. В нос ударил запах хорошо выделанной кожи — сапоги на нем были новые. Я судорожно глотнул и, подняв голову, взглянул ему в лицо. Совсем молодой парень, не старше меня, а то и помоложе будет — только-только усы пробились.

Парень подошел ко мне и остановился, широко расставив ноги, уперев руки в бока. И вдруг захохотал, сотрясаясь всем телом. Чего его разбирает?! Но странное дело — хохочет, а глаза грустные...

Вдруг смех прекратился.

— А ну подымайся! — Голос у парня был тонкий, почти мальчишеский.— Ах, мы не можем встать, у нас ножки связаны. Ничего, мы сейчас перережем веревочку. Вставай!

Ноги не слушались меня, затекли и были как деревянные. Я еле-еле поднялся.

— Ну, а почему невеселый? — Парень ткнул меня в живот плеткой.— Слышал, как я веселился? И ты хохочи!

— Воды дай! — прохрипел я.

— Ах, воды! Водички захотел?! Змеиный яд пей, сука!

Я успел увернуться, удар пришелся в грудь.

Парень хохотал, держась за живот и гримасничая. И вдруг замолк, разом выдохнув из себя весь воздух, сжал кулаки и так закусил губу, что на коже под самой губой остались синеватые ямочки.

И опять ударил меня — в живот. Я корчился, хватая ртом воздух. Повалился на землю лицом в грязь, в навоз. Молчал. Сжал зубы и молчал. А он все бил, все пинал меня, хрипя какие-то ругательства. Потом то ли устал, то ли ему сапог стало жалко, но он наконец отошел и бросил глухо:

— Вставай!

Я собрал все силы и снова встал на колени. Даже не застонал. Парень вытер с лица пот, пригнулся, заглянул мне в глаза.

— Ну избил я тебя, а что проку? И убью, не будет мне покоя!

— А зачем тебе меня убивать?

— Зачем?

На парня будто кипятком плеснули. Он сграбастал меня, потряс и с ненавистью швырнул на землю.

— Затем, что ты брата моего убил! Безоружного! Невинного!

Из его груди вдруг вырвались какие-то хриплые, лающие звуки. Не хотел показывать слабость передо мной, врагом, но горе оказалось сильнее.

— Не я убийца, парень!..

— Все вы убийцы! Все красные бандиты — убийцы!

— Неправда! Тебя обманули!

— Заткнись! — Он махнул рукой и отошел. Присел на выступ стены и, уже не сдерживаясь, горько, по-детски заплакал.

Я на коленях подполз к нему.

— Послушай!.. Это вранье! Никто из наших не поднимет руку на безоружного!

Он исподлобья взглянул на меня. Ресницы его были мокры от слез...

— Как тебя зовут, а? — спросил я.

— Сапар.

— А меня Мердан. Братишку моего тоже Сапаром звали. Трех лет помер...

— Ну и что? — Сапар тяжело вздохнул.— Трех или двадцати трех!.. Мало ли молодых помирает! К утру и тебя не будет!

— К утру? А чего ж откладывать? — Я заставил себя усмехнуться.

— Брось притворяться!.. Человеку каждый вздох дорог!

— Это конечно...

Сапар сидел опустив голову, уставившись в землю. Кажется, только сейчас дошло до него, что ему предстоит совершить. Я поглядел вокруг. Вроде никого не видно...

— Сапар! — вполголоса сказал я.

Он поднял голову.

— Тебя обманули! Поверь мне, Сапар!

Он глубоко вздохнул и отвернулся.

— Когда его убили?

— Третий день сегодня...

— Ну вот! А наш отряд уж неделя как за станцию ушел!

— А чего ж ты замешкался?

— Так я!.. Я нарочно отстал! Мать хотел повидать. Мать у меня в деревне!

Он покачал головой.

— Голову ты мне морочишь! Ну ладно, пускай не ты убил. Другой какой-нибудь из ваших бандитов! Вы же неверным служите — они вас учат в братьев стрелять. Весь мир перебаламутили, нечестивцы!

Я усмехнулся.

— Эх, парень, сдается мне... не твои это слова... С чужого голоса поешь!..

Сапар пристально взглянул на меня: вот, мол, человек — ему бы пощады просить, а он учить вздумал!

— Мы не воюем против бедняков, наши враги — баи. Ты что — байский сын?

Он покрутил головой.

— Может, твой брат против красных дрался?

— Нет.

— Чего же им тогда его убивать? Ты подумай! Сам подумай — не повторяй байские россказни! Сердце свое спроси.

— Да не прикидывайся ты святым!

— Послушай, Сапар. Вот стояли неподалеку красные — нападали они на деревню, грабили народ? Ну скажи — здесь никого, кроме нас,— скажи — грабили? Говорили твоему брату: убьем, если с нами не пойдешь?

— Нет.

— Может, непомерными податями облагали? Грозили, что убьют, если не выплатишь?

— Нет.

— А если нет, если не было этого, зачем же им брата твоего убивать? Все это баи делают, это они невинных людей губят! Вот и пораскинь мозгами, кто в твоей беде повинен. Мы с тобой бедняки, Сапар. Если уж мы друг друга не поймем!.. Только не думай, что уговариваю тебя, что я смерти боюсь!

— Не бреши — смерти каждый боится! Сладка человеку жизнь. Даже такая, как наша...

— А знаешь, что мой друг говорил: «Смерти страшиться — жизни не узнать!» Помирать, конечно, неохота. Так ведь и ты не заговоренный, хоть и собрался меня убивать.

— Убивать!..— Сапар горько усмехнулся.— Что я, по своей воле? Мать послала. Если, говорит, кровь Ягмура не будет отомщена, я и в могиле покоя не найду. Третий день плачет... А тут Осман-бай пришел, красные, говорит, брата твоего застрелили! И убийцу, говорит, мы поймали... Вот мать и велела мне идти. Сказала, сама потом придет на труп взглянуть... А я, веришь, три дня как с ними, а хоть

бы оцарапал кого... Иду сюда, а ноги как ватные... Вдруг, думаю, убью невиновного? Сказал, чтоб анаши дали. После нее все нипочем стало, кого хочешь прикончу... А вот сейчас, как стал в себя приходить...

Он покрутил головой и замер, прижавшись лбом к своему колену.

— На брата твоего им плевать, они к крови тебя приучают!

Сапар не ответил. Потом спросил, пристально глядя мне в лицо:

— Слушай! Только скажи по совести, правду скажи, не бойся. Вот если придут ваши, узнают, что я тебя прикончил,— что мне будет?

— Расстреляют.

Он вытаращил глаза.

— Расстреляют?!

— Конечно. Осман-баю красные не поверят.

— Да...— Он откусил кусочек соломинки, которую держал в руках, сплюнул с ожесточением. Я видел, что парень колеблется.

— Уходи ты от них, Сапар! Пойдешь за Осман-баем, тоже невинных губить станешь. А наши — если найдут убийцу — отомстят за твоего брата! Я не хвастаюсь, Сапар! Если повезет мне, если в живых останусь — я этого добьюсь!

Он молча присел на выступ стены.

— А думаешь, придут сюда ваши?

— Придут. Обязательно придут. Ведь наши теперь везде. До самой Кушки! Видел бы ты, сколько наших в Ташкенте!.. А в Москве! Знаешь, какая у нас сила!..

Сапар молча смотрел на меня: верил он или нет, но слова мои поразили его,— это было видно.

— Чего ты так смотришь — не веришь?

Сапар не ответил. Тяжело вздохнул и сказал:

— И когда только кончится эта проклятая война?

— Когда мы победим! Вот запомни, крепко запомни мое слово. Придет время, кончится война, хорошая жизнь наступит, и ты скажешь: «А ведь Мердан говорил мне, что так будет! Тогда в овечьем загоне говорил!»

Сапар с тоской взглянул на меня.

— А если я сейчас возьму и уйду? Не буду тебя убивать?

— Другой убьет. У Осман-бая людей хватает.

— А если я попрошу, чтоб отпустили тебя? Скажу, что не виноват ты?

— Посмеются над тобой, и все. Дураком назовут. Им ведь разницы нет: убивал, не убивал я твоего брата. Им нужно, чтоб ты меня убил!

Сапар мучился, сомнение закралось в его душу.

— Умру я или жить буду, а все выйдет, как я говорю. Красные отомстят за твоего брата. Уходи от Осман-бая, Сапар! Уходи, пока еще не поздно!

Не глядя мне в глаза, Сапар выпрямился, расправил плечи.

— А пока дал бы ты мне воды!..

Парень посмотрел на меня так, словно я сказал что-то совсем несуразное, потом прищурился и взглянул на стоявшее в зените солнце.

— Надо же... Как ножом по глазам!..

Опустил голову, помолчал, подумал...

— Пойду гляну, что там...

Вернулся он с кувшином. Воровато оглянувшись, он быстро сунул кувшин к моему рту.

— Пей! Только быстрее!

Забыв обо всем на свете, я припал к холодной воде.

— Смотри, задохнешься!..

— Не задохнусь...— я с трудом перевел дух.— Наклони малость, не достать!..

Сапар наклонил кувшин, вода потекла по моему подбородку.

— Не проливай! Держи крепче!

Я выпил все до последней капли. Отдышался и лег на землю.

— Спасибо тебе, Сапар!..

Он ничего не ответил, только взглянул на меня и отвернулся, подавив вздох. Я сделал вид, что не замечаю его сочувствия. Повернулся на спину, стал глядеть на небо. Сейчас, когда меня уже не мучила жажда, все вокруг было другим, ярким и свежим... Даже кони, стоявшие по ту сторону глиняной стены, стали вдруг громко отфыркиваться, словно, истомленные зноем, тоже напились студеной воды. В чистом, прозрачном небе кругами ходил коршун. Видя его, собаки заливались сумасшедшим лаем, а ему что, все равно не достанут. Словно подразнивая, кружила птица над жалкими обитателями земли, которым не дано познать простора безмятежной прозрачной высоты...

Вот бы взлететь в небо! Хоть на секундочку, на мгновенье!.. Окинуть взором землю, увидеть друзей, мать!.. Попрощаться... Нет, с матерью я не стал бы прощаться. Я бы весело окликнул свою старушку: «Смотри, мама!

Смотри, куда я забрался! Здесь меня никакая пуля не достанет!..»

— Вы когда решили кончать со мной?

— Торопишься? — Сапар усмехнулся.

— А чего ж тянуть, раз дело решенное?.. Развязал бы мне руки, а...

Сапар со вздохом поднялся.

— Развяжу, только дурить не вздумай! Все равно не уйти! Всадят пулю в затылок!

Превозмогая нестерпимую боль, я расправил затекшие руки.

Сапар молча взглянул на приоткрытые ворота загона. Посидел немного, встал и направился к выходу. Пройдя шагов десять, он вдруг резко повернул назад и, подойдя ко мне, поднял с земли шерстяную веревку.

— Ну, отдохнули руки?

— Отдохнули. Вяжи!

Я заложил руки за спину. Все это походило на игру, только слишком хмурое у него было лицо...

Руки он мне связал всерьез, пожалуй, туже, чем было, два раза перехлестнул запястья. И стянул на совесть.

— Ты все-таки не очень, Сапар!.. Не хворост вяжешь! И плечо у меня, видишь?..

Ворота со скрипом отворились. Мы разом повернули головы. В загон вошла женщина, прикрывая лицо халатом.

— Мать! — в ужасе прошептал Сапар.

Женщина медленно приближалась к нам.

— Несчастный! — сказала она низким, почти мужским голосом.— Почему ты не отправил его в ад?!

— Я, мама...

Сапар суетился возле матери, как напроказивший мальчишка, который никак не может придумать оправдание.

Женщина приоткрыла лицо и в упор взглянула на сына. Тот затих, увяз под ее взглядом, как срубленное в жару деревце. Но мать не собиралась щадить его.

— Может, тебе пули жалко для убийцы? Может, забыл, что брат был тебе вместо отца? Что ни днем ни ночью покоя не знал, тебе добывая кусок хлеба! На его могиле еще земля не высохла, а ты уже забыл!

Голос ее дрогнул, она замолчала.

Сапар хотел что-то сказать, но старая женщина промолвила:

— Уйди с моих глаз долой!

Я взглянул на Сапара. «Ну что мне делать?» — было написано на его виноватом лице.

Женщина тряхнула головой, откидывая на спину халат, и подошла ко мне.

— Он слаб,— сказала она, глядя мне прямо в глаза.— Я сама убью тебя! И пусть земля разверзнется под тобою!

Слезы катились из ее глаз и скрывались в глубоких морщинах. Большие руки, торчавшие из рукавов домотканого платья, мелко дрожали, некрасивые жесткие пальцы то сжимались в кулак, то разжимались. Гнев ее уже остыл, обессиленная, она дрожала, как дрожит человек, упавший в студеную воду.

— Мать! — сказал я.— Я готов принять смерть. Пусть сердце твое успокоится местью!

Она зашаталась, закрыла руками глаза и стала оседать на землю. Сапар подхватил ее.

— Мама, ты что?.. Мама!

Она не отвечала. Лицо ее побелело, на морщинистом лбу выступили капли пота. Потом поднялась. Лицо ее сделалось холодным, мертвым.

— Сын мой,— сказала она Сапару,— убей его. Я не могу. Я не должна осквернять рук, которыми ласкала своих детей. Застрели его, лгуна и убийцу! И не убирай тело — грех этот простится тебе! Пусть мать увидит его мертвым, как я увидела моего Ягмура!..

Не сводя с меня глаз, Сапар потянулся к оружию. Руки не слушались его. Он никак не мог вытащить наган.

— Стой, не стреляй! — Женщина отстранила сына.

Сапар, словно обрадовавшись, тотчас сунул наган за пояс.

— Пусть он скажет...— женщина с трудом произносила слова.— Пусть он скажет мне, за что убил моего мальчика! Мой сын никому не сделал плохого! Ружья отроду в руках не держал! Может, он на сестру твою польстился? Говори, храбрец! Говори! Молчишь? Я знаю, он ни на одну девушку взгляда не бросил, скромней его по всей деревне не сыскать было!..

— Перестань, мама!..

— Не перестану! Они сына моего убили! Невинного! Осман-бай сколько раз к нему приходил. Предупреждал ведь, что убьют красные, если не пойдет он в его отряд. А Ягмур не поверил, за что, говорит, меня убивать, раз я ничего им не сделал!.. А уж как его бай уговаривал! И трусом называл, и по-всякому... Не послушал старшего, на свою беду... А на другой день... убили... Дрова продавать повез. Подстерегли, проклятые!.. Да уж если вы, кровопийцы, без крови дня прожить не можете, при-

кончили бы лучше Осман-бая! Этот и сам такой же: человека убить — раз плюнуть, а Ягмур-джан!.. Он мухи никогда не обидел!..

Женщина приблизила ко мне лицо.

— Говори,— тихо повторила она.— За что ты убил Ягмура?!

Она дернула меня за рукав, отодрав рубаху от засохшей ссадины на плече.

— Говори!

— Мама! Может, Осман-бай врет?

Она обернулась к сыну, смерила его взглядом.

— Может, и врет! Не знаю! Я знаю, что сына у меня нет! И никто мне его не воротит! Кругом убийцы! Кругом кровь!

Словно в подтверждение ее слов, на рукаве моей рубахи все шире расползалось кровавое пятно. Губы матери дрогнули, ненавидящий взгляд смягчился... Она заглянула мне в лицо, взглядом спрашивая, очень ли больно, покачала головой и, присев на корточки, дрожащими, натруженными руками начала расчищать перед собой землю. Отгребла в сторону пыль, смешанную с навозом, набрала горсть чистой земли и, завернув мне рукава халата и рубахи, присыпала кровоточащую ссадину.

— Спасибо, мать,— сказал я.

Она подняла набрякшие от слез веки, посмотрела мне прямо в глаза — она хотела знать, от сердца ли идут мои слова.

— Иди, мать! — сказал я.— Иди, ты и дома услышишь выстрел. Я прошу тебя об одном. Если к тебе придет моя мать, не повторяй ей слов Осман-бая. Все равно ты поверишь ей, а не баю. А скажет она тебе одно: мой сын не мог убить безоружного!

— Откуда ты знаешь, что я ей поверю?

— Матери всегда поймут друг друга!

Она зябко поежилась, словно ей вдруг стало холодно на солнцепеке, плотнее натянула на голову халат.

— Матери-то поймут... Вы вот почему не хотите понять? Мы учим сыновей добру, а они убивают друг друга!

Она зажмурилась, из глаз ее снова полились слезы.

— Думала женить его весной... А мне принесли его тело! Зачем вы стреляете друг в друга? Зачем?

— Мы хотим сделать жизнь лучше!..

— Не вашего ума дело! Только бог вершит судьбы человеческие! Не будет вам прощения, богохульники!

Она поднялась, опираясь руками о колени, говорить она больше не могла. Сейчас старая женщина совсем не была похожа на ту беспощадную мстительницу, какой явилась сюда.

— Бедная твоя мать!.. Тоже небось оплакивает сына!..

— Она не знает, что я здесь.

— Знает. Когда сын в беде, ангел смерти заранее посылает к матери вестников. В тот проклятый день я видела тяжкий сон. Сова хохотала на тундуке моей кибитки... Надо бы ее прогнать, встаю, а ноги как не мои, тело от земли не отрывается... До сих пор ее крик в ушах...

— Ладно, мама, пойдем! — Сапар потянул женщину за рукав.

— Постой, сынок...— Она повернулась ко мне, окинула долгим взглядом, вздохнула.— Ладно, пусть бог его судит! Может, он и правда невиновен... Пойдем!

Они ушли. Я остался один. Я ждал Сапара. Сильнее, чем голод и жажда, мучили меня одиночество и неизвестность. Сапар не возвращался.

Под вечер солдат принес воду и ломоть хлеба. Он взвел курок винтовки, развязал мне руки и, пока я ел, все время держал меня под прицелом. Я жевал хлеб и думал, что же будет. Чего они ждут?..

Когда начало темнеть, привели второго арестанта. Туркмена. Офицера. Гимнастерка его выцвела, побелела на солнце. Только на месте ремня и там, где были погоны, сохранился яркий зеленый цвет. Он был без фуражки. Волосы, черные до синевы, прядями падали на лоб. Руки связаны за спиной, как у меня.

Офицер подошел ближе, остановился и окинул меня безразличным, скучающим взглядом. Потом сладко зевнул. Вид у него был такой, что вроде все ему нипочем, но я сразу приметил и бледность, и опухшие красноватые веки — ночь он провел без сна. Побоев, правда, не заметно.

Офицер опустился на землю и лег, повернувшись ко мне спиной. Потом сел, потянулся, словно богатырь, которому ничего не стоит одним движением порвать веревку на руках, и, стараясь найти удобное положение, лег на бок.

— Спать запрещается! — выкрикнул рыжий солдат, тот, что привел его.

— Не лай, собака!..— приподнимаясь, пробормотал офицер и выругался по-туркменски.

— Разговаривать запрещается! — снова крикнул солдат.

Офицер засмеялся, наслаждаясь тем, что русский его не понимает.

Солдат подошел ближе, угрожающе щелкнул затвором.

— Сказано, молчать!

— А ты еще повтори! — Офицер громко расхохотался.

Вдруг со стороны станции послышалась медленная, печальная музыка. И солдат, и офицер замолчали.

— Надо же!..— пробормотал солдат, снимая фуражку и крестясь.— Такую красу загубили! Анчихристы!

Он помолчал, прислушиваясь к траурной мелодии, и вздохнул сокрушенно:

— Вот судьба человеческая. Отец с матерью, поди, растили-лелеяли, а теперь лежать ей в этом распроклятом песке. О господи! Прими мою душу в родной сторонке.

Он снова перекрестился и надел фуражку.

Музыка постепенно затихала, удаляясь... Офицер покачал головой.

— Эх, Мария, Мария!

В голосе его послышалось что-то похожее на раскаяние. Солдат почувствовал это и промолчал, только сердито покосился на арестованного.

— Ты что, знал ее? — спросил я.

Офицер обернулся, словно теперь заметил, что тут кто-то есть, и через плечо окинул меня цепким, оценивающим взглядом.

— Ты что, из красных?

— Да.

Офицер поморщился.

— Туркмен?

— А ты не видишь?

Он отвернулся, помолчал немножко.

— Моя работа. Я Марию убил.

Он умолк, словно для того, чтобы послушать затихающую вдали музыку. Потом вдруг высоко вскинул голову и неестественно громко засмеялся.

— Интересная штука! Это нежное создание, эта неземная красавица последнюю свою ночь провела со мной! Ха-ха-ха!

И он дерзко взглянул на солдата.

— Смеяться запрещено! — выкрикнул рыжеусый.

Офицер снова захохотал.

— Сказано тебе, запрещено!

Солдат в ярости замахнулся на арестанта прикладом, а тот вроде и не заметил. Я не мог понять,— злит он охранника или смехом хочет заглушить свою боль?

— Чего ты смеешься? — не выдержал я.

Он презрительно повел на меня глазом — тебе-то, мол, что за дело? — и ответил по-русски:

— Если бы я не прикончил ее, дурак полковник до конца дней своих был бы уверен, что жена у него — чистая голубица!

Солдат бросил на него мрачный, неприязненный взгляд и молча отошел в сторону.

Офицер обернулся ко мне. Лицо у него было самодовольное, наглое...

— Ты когда-нибудь обнимал красивую бабу?

— Не-ет...

— Тогда нам с тобой не о чем толковать!..— и он брезгливо поморщился, недовольный, что ему попался такой нестоящий собеседник.

На вид офицер был не намного старше меня, лет на пять, не больше, но парень, конечно, бывалый... И глядит, словно насквозь видит...

— Чешется, черт бы его подрал! Заедят, проклятые! — Офицер пригнул голову, плечом почесал за ухом и проворчал злобно: — Да, попали мы с тобой в переделку. Пожалуй, не выкрутиться. Знаешь, давай так: не будем друг дружке кровь портить. Я белый, ты красный, а судьба у нас теперь одна. Ты мне вот что скажи: красные считают, будто мужчина и женщина равны. Ты в это веришь?

— Верю.

— Ну, а как же это сделать, чтоб они и вправду были равны?

— Сделать, и все.

Он с улыбкой покачал головой.

— Ну, знаешь, большевик из тебя... Веру свою объяснить не можешь.

— Почему не могу? — Я разозлился.— Женщин не притеснять. Не бить. Девушек не продавать.

Он снова усмехнулся.

— Ты в России, конечно, не бывал?

Я покачал головой.

— Ну вот. А мне довелось. В России девушек не продают. Не думай, не большевики запретили, и при царе не продавали! Или лучше возьмем Париж. Слыхал, есть такой город? Столица Франции.

— Слыхал,— с гордостью сказал я.

— Слыхал? — он с интересом взглянул на меня.— Ну слыхать, может, и слыхал, а как там живут, понятия не имеешь. Так вот, мне офицеры рассказывали, которые в Европе побывали, баб там не бьют, не ругают. И думаешь, мир и благолепие? Ни черта! Француженки мужей ни в грош не ставят, что хотят, то и вытворяют! По пяти любовников заводят.

— Чего ж удивительного, Франция — буржуйская страна!

Он усмехнулся.

— А ты знаешь, кто такие буржуи?

— Буржуи? Богачи, вроде наших баев. Тоже небось по пятнадцать жен берут, вот те и заводят любовников!.. У твоего отца сколько жен?

Улыбка сползла с его лица.

— Ты вот что, отца моего не задевай! И кончай со своим большевизмом! Суешь его к месту и не к месту, а сам ни черта не смыслишь!..

Он со злостью отвернулся.

«Не смыслишь!» Ему легко смыслить — в России был! В русской школе небось учился! Если бы я своими глазами повидал Россию, я бы сумел ему ответить!.. Положил бы офицерика на обе лопатки, дядю Николая порадовал бы. Эх, дядя Николай! Увидеть бы тебя хоть одним глазком! Тогда б и смерть не страшна!..

...Мы с матерью сидели в кибитке, когда прибежали соседские мальчишки: «К вам русский идет! Русский!» Я вскочил и бросился к двери. Но у входа в кибитку уже стоял высокий светлоглазый человек в фуражке. Я метнулся в угол, в другой, потом подбежал к матери и спрятался за ее спиной. Мама почему-то была совершенно спокойна.

Человек в фуражке поздоровался с мамой по-туркменски, как-то странно произнося слова. Потом сел на кошму, мама подала чай, и они стали разговаривать. Гость, словно настоящий туркмен, неторопливо переливал чай из чайника в пиалу и обратно.

Почему мама не боится его? Сидит, пьет чай, болтает, будто и не русский пришел в кибитку, а сосед Вели-ага! Неужели она не понимает, что он кяфир, пришел, чтоб утащить меня и отдать прямо ангелу смерти? Ведь так сам Мейдан-ага говорил. Собрал ребят и все про русских объяснил, а он старый человек, он знает! Он даже такую молитву знает, чтоб дождь пошел. Соберет нас и велит мо-

литься, потому что мы — ангельские души, греха на нас нет, аллах быстрее услышит нас.

А русский все сидел, наливал себе одну пиалу за другой, неторопливо пил и так же неторопливо разговаривал с мамой, изредка поглядывая на меня.

Я тоже осторожно рассматривал его: лицо, темное от солнца, лоб под фуражкой белый-белый... Волосы желтые... А глаза голубые, даже синие... Ни у кого я не видел таких глаз, не знал даже, что бывают у людей такие. Хотя, конечно, кяфиры не люди...

Вдруг русский повернулся ко мне: «Ну-ка, иди сюда!» У меня сразу — душа в пятки, я еще сильнее прижался к матери.

Мать, хоть и понимала, что я ни за что на свете не подойду к русскому, из приличия тоже стала уговаривать:

— Подойди, сынок, не дичись!

Где там! Только силой можно было оторвать меня от матери.

Гость усмехнулся и, сунув руку в карман, достал горсть ярких, блестящих леденцов.

— Бери, паренек!

Я сразу разгадал его замысел — как только я протяну руку, он схватит меня и утащит! Я громко, протяжно заревел. Русский улыбнулся, покачал головой, положил конфетки на скатерть и попрощался с матерью. Так я в первый раз увидел дядю Николая.

Много дней потом вспоминал я его белый лоб, удивительные синие глаза и, главное, фуражку: черный лаковый козырек, а над ним какая-то блестящая золотая штука...

...Видно, я долго молчал, погруженный в воспоминания. Офицеру надоела тишина, и он снова заговорил, правда, уже не глядя в мою сторону, так, вроде сам с собой:

— Большевики, между прочим, не такие уж дураки, свой интерес понимают. У них в России женщины равноправные, хочешь — землю рой, хочешь — из винтовки стреляй! А ночью, хоть ты буржуй, хоть ты большевик, все равно баба нужна! Вот и кладут их к себе в постель, равноправных! Баба есть баба. Красный ты или белый, ей дела нет. Согласен?

Я промолчал. Что я ему скажу? О женщинах мне никогда не приходилось разговаривать. Но признаваться в этом не хотелось.

— А Мария красивая была баба? — небрежно спросил я.

— «Баба»! Разве красным разрешается так называть женщину?

Я смутился.

— Ладно! — Офицер снисходительно кивнул. — Не вешай голову! Из чрева матери готовым большевиком не выходят! Или, может, ты считаешь себя готовым?

— Считаю.

Он удивленно вскинул брови, взглянул на меня с нескрываемым любопытством.

— Ого!.. Может, и благословение большевистское получил?

— Конечно.

Усмешка в его взгляде сразу исчезла. Он привстал на колени и спросил коротко, как, наверное, спрашивают на допросах:

— Имя твоего наставника?

— А зачем тебе имя? Руки-то связаны!

Офицер скрипнул зубами, словно только сейчас понял, что руки у него и правда связаны. Однако он продолжал допрос.

— Поручения выполнял?

— Не собираюсь я перед тобой отчитываться!

— Отчитываться! Скажи лучше, сбрехнул! Похвастаться захотелось!

— Я листовки расклеивал!

— Когда? Где?

— В прошлом году. Под Первое мая. А там, между прочим, солдат стоял.

— Как же ты клеил, раз он стоял?

— А он заснул на рассвете. Я дождался.

— Возможно... Дрыхнуть они здоровы!.. Но дело не в этом. Все равно, приклеил пару листовок, это еще не большевик.

— Разговаривать запрещено! — выкрикнул вдруг часовой.

На этот раз офицер не стал ему перечить. Мне показалось, что он даже рад замолчать, сейчас верх был мой. И врет он, что листовки расклеивать просто! Дядя Николай тогда говорил, что расклеивать листовки может только тот, кто понимает в них каждое слово и каждому слову верит. Понять-то я понял, быстро разобрался... А вот расклеивать...

Во-первых, усатый этот никак не хотел спать, ходит и ходит перед дверью. Прислонит к стенке ружье, покурит, опять ходить начинает... Присел у стенки, зевает... Ну, ду-

маю, все, заснет. Вдруг топот, прискакал кто-то... Солдат вскочил, опять туда-сюда ходит. А потом, вижу, другой идет, сменять. Плохо дело! Все-то не переждешь!.. Прижался я в углу за забором, глаза слипаются... Самому впору уснуть.

Но второй солдат вроде посмирней оказался, ходить не стал, сразу у стены примостился... Потом, смотрю, голову уронил. Я поднялся, рукой помахал — заметит или нет? Вроде нет... Неужели спит? Вылез из-за дерева, ноги дрожат, на лбу пот проступил... И никак не могу выпрямиться, словно жернов на шею привешен. Сразу почему-то мысли, что пытать будут, если схватят. Но только я все равно знал: с листовками назад не вернусь, это мне хуже пытки! Дядя Николай и без того не хотел посылать: горяч-то, мол, он горяч, а в последнюю минуту оробеть может...

Листовки я тогда все расклеил. Последнюю часовому на штык насадил, а он знай себе похрапывал...

Дядя Николай даже расцеловал меня. «Теперь наш Мердан получил боевое крещение!..»

— А ты зря думаешь, что листовки любому доверят! Дядя Николай вообще поручений не давал, пока не узнает человека как следует...

— Что еще за дядя Николай?

— Большевик.

— Большевик! Вы все большевики! По профессии кто?

— Инженер. Из Москвы.

— Ссыльный?

— Ссыльный.

— А фамилия его как?

— Не знаю. Дядя Николай, и все.

— Конспирация? Понятно... Тебя как зовут, конспиратор?

— Мердан.

— А меня Якуб... Ну, а чему еще учил тебя дядя Николай? Учил, как перед расстрелом в штаны не накласть?

— Не накладу, не бойся! Я ко всему готов. Правда на нашей стороне.

— Да брось ты лозунги выкрикивать! Я их в России наслушался! Научили недоумка, он и талдычит! Поставят к стенке, помянешь тогда дядю Николая с его лозунгами!

И он с ожесточением сплюнул.

— Ты думаешь, я смерти не видал?

— Смерти? Почему ж... Видал, раз винтовку дали! Да только там другое, то ли ты его, то ли он тебя, а вот как поставят под дулом, а руки за спиной связаны!..

Он скрипнул зубами и со стоном повалился на солому.

На ночь нас загнали в тесную мазанку, пристроенную в углу загона.

В стене под потолком я разглядел дырку. В нее можно было разве что просунуть голову, но зато виден был кусочек неба со звездами. Дверь плотно закрыли. Стало невыносимо душно. От горьковатого запаха навоза кружилась голова. В темноте нудно жужжали комары.

— Засадили в хлев, чтоб ему развалиться, проклятому! — проворчал Якуб.— Скорпионье гнездо какое-то! Что это?.. Вроде солома... Надо лечь, а то так и сдохнешь сидя!..

Послышался шелест соломы, Якуб лег.

Темно, душно, тесно, словно нас живьем бросили в могилу. Там, на воздухе, мне не верилось, что конец близок, что жить осталось только до утра...

Я вскочил.

— Неужели нет выхода из этого ада?

— Выхода! Попробуй долбани стенку головой, авось развалится!..

Интересно, чего этот офицер так спокоен? То кричал, что ночью нас расстреляют, теперь хлопочет, как на ночевку устроиться...

А не подослали его ко мне? Может, шпион? К заключенным иногда подсылают шпионов, дядя Николай говорил... Хотя нет, он ведь сразу признался, что белый, что большевиков ненавидит... Да и выведывать у меня вроде ничего не собираются, им нужно, чтобы Сапар застрелил меня. Тогда все поверят, что я и правда убийца, что красные — враги простых крестьян.

Но если этот белый не шпион, на что же он тогда надеется? Да не надеется он ни на что, просто держаться умеет... Ладно, от меня ты тоже не услышишь стонов!

— Слушай, сосед,— я сам удивился, как спокойно и даже насмешливо звучит мой голос.— Чего ж ты замолчал? Рассказал бы, как с Марией спознался. Все быстрей время пойдет!

Якуб пошевельнулся, зашуршав соломой.

— Что, забрало тебя? А еще большевик!..

Я промолчал.

— Ладно, не злись, дело понятное, мужик есть мужик, белый ли, красный ли...— он опять немножко помолчал.— Про Марию рассказывать — одно удовольствие. Хороша была бабочка, ничего не скажешь! Сама тоненькая, грудь высокая, полная... Складненькая такая, ну прямо альчик со свинчаткой. Волосы густые, темные, как у наших девушек. У нее мать была из этих краев... Умерла рано, Марию ребенком оставила... Отец в Ставрополе живет в своем имении. Вернее, жил, теперь неизвестно... Ты хоть знаешь, где Ставрополь?

— Вроде знаю...

— Знаешь ты, как же! Небось думаешь, в Египте где-нибудь, а он в России, недалеко от Кавказа. Про Кавказ-то слыхал?

— Слыхал...

— Ну ладно, предположим... Значит, увидел я ее первый раз дома, когда к полковнику пришел. Я тогда только из Москвы вернулся... Три недели добирался...

Он помолчал, припоминая что-то.

— Приехал, а большевики отца убили... Пришлось снова за винтовку взяться, хотя войной сыт был по горло... Революцию тоже повидал. Только какая это революция? Хватают винтовки все кому не лень... Голодные, оборванные, «ур-ра!» кричат. Умирают со знаменем в руках. А им не знамен надо, а хлеба!

— Так его ж приходится у богачей отнимать. Он у вас по амбарам запрятан.

— Отнимать! Им это можно — отнимать! Годок-второй друг друга поколошматят, ничего не случится, бабы других солдат народят! Россия велика: на одной стороне солнце всходит, на другой уж день кончается!.. А вот если мы, пяток несчастных туркмен, два дня друг друга убивать станем, на третий день на нашей земле одни собаки выть будут!

— Значит, по-твоему, пусть баи нас голодом морят, жизнь нашу заедают, все мы терпеть должны, раз туркмены?

Офицер усмехнулся.

— Что ж, давай бей... раз лучшего придумать не можешь! Ладно, лень мне с тобой спорить. Лучше я про Марию буду рассказывать... Да... Я сначала на нее и не смотрел, во всяком случае, вид делал, что не смотрю. Все полковнику старался угодить. Сколотил отряд удалых

джигитов, кое-что для него сделали. Доволен был. А теперь вот расстрелять прикажет. Может, даже собственной рукой уничтожит.

...Знаешь, что он мне один раз сказал? «Ваше туркменское бахвальство, заносчивость ваша — пережиток. Не понимаете реальной обстановки, вот и кичитесь храбростью предков!» Я ему говорю, плох, мол, тот народ, который не гордится своими предками. «Гордиться, говорит, надо, мы, русские, тоже гордимся победами предков, но не надо терять чувство реальности. Чем конкретно гордитесь вы?» — «Тем, что наши предки всегда стремились к свободе!» А он посмотрел на меня, глаза прищурил и спрашивает: «А что такое свобода, можешь ты мне объяснить?»

Меня сразу как башкой об дувал. Черт его знает, как это объяснить. А он воспользовался моей заминкой. «Видишь,— говорит,— ты себе отчета не отдаешь в словах! Нет у туркмен силы, чтобы свободу свою хваленую охранять! Теперешний враг не на коленях, не с саблями, а с пушками и с танками нагрянет! Кто вам поможет? Большевики? Не помогут, самим жрать нечего! Англичане и подкинули бы кое-что, да больно далеко до них! Только мы, питомцы великого русского императора, можем вас выручить. Вы должны хранить нам верность и поменьше болтать о свободе!»

— И ты считаешь, он прав?

— А-а, прав, не прав, какая теперь разница! Последнюю ночь прожить бы по-человечески, а тут твари эти проклятые! Чешется все — сил нет. Подожди, вроде стучат...

Я прислушался. Нет, ничего особенного. Вдалеке со свистом пронесся паровоз. Ишак прокричал в степи... Часовой, стоявший у дверей, тянул какую-то грустную бесконечную песню...

— Ничего не слышно. Почудилось...

— Может, и почудилось. А вообще-то больно бы им хорошо ночью от нас избавиться!..

Я не ответил. Пусть думает, что я спокоен, что мне все равно, что меня сейчас интересует только Мария.

— Выходит, ты с ней нарочно? Полковнику решил досадить?

— Ничего я не решил! — с неожиданной горячностью отозвался Якуб.— Если бы она, дрянь этакая, сама на меня не поглядывала, я бы теперь горя не знал! Покоя лишила, проклятая! Как зыркнет своими глазищами, так и сна нет, до утра под одеялом ворочаешься! Но я и виду

не подавал, что томлюсь по ней. Честь его берег! Не веришь?

— Почему ж... Верю.

Он опять помолчал, вздохнул, заговорил тише:

— Один раз сижу у них в гостиной, полковника жду. Вдруг входит. Поздоровалась-то вроде робко, а потом видит, что я красный весь, словно невеста перед сватами, смеется... Я, как обычно, глаза в землю. А ты думаешь, легко это, когда такая баба сама к тебе тянется?! Стою, словно ягненок перед закланием, а она подходит, совсем близко подошла, и садится на диван. А платье на ней, черт бы его побрал, это платье, книзу широкое, сверху узенькое, как голая она в нем! Гляди, мол, молодец, хорошо гляди: есть среди ваших такие красавицы? Ну, я видно, и глянул. Потому что она вдруг нахмурилась, губы поджала...

Я вскочил, на часы смотрю. «Господин полковник,— говорю,— задерживается что-то, пойду встречать!» Смеется. Можешь себе представить, опустила голову и хохочет тихонько. Да, помудровала она надо мной. Страшная это штука — красивая баба!.. Слушай, Мердан, ты не спишь?

— Да нет, не сплю. Говори...

— Говорить о ней я могу до рассвета, а потом опять дотемна!..— Якуб с ожесточением завозился на соломе.— Руки затекли — сил нет... Хоть бы развязали, сволочи!.. Да... Мудровала, мудровала она надо мной, а потом, видно, и сама влюбилась. Бывало, поглядит: и жалко ее, и кровь огнем закипает... Но все равно я не решался...

Вдруг дыру в стене загородило что-то темное.

— Тихо, Якуб! Кто-то есть!..

— Ну все,— негромко произнес он.— За нами.

На секунду в дыру снова стало видно небо. Потом ее опять закрыла голова в папахе. Мы затихли. Слышно было, как на крыше тяжело дышит человек, только что заглядывавший к нам.

— Мердан,— позвали меня тихо,— это я, Сапар. Подойди ближе.

Сапар? Вот это да! Я подобрался к дыре.

— Сапар! Брат! Да как же ты? Разве часовых нет?

— Один ходит...

Сапар затих, прислушиваясь, потом глубоко засунул руку в дыру.

— Подыми руки. Повыше, не достать. Веревки перережу...

Руки мои бессильно упали вдоль тела. Боль была так сильна, что в первое мгновение я даже не почувствовал радости. Только задрожали колени.

— Бери нож,— торопливо прошептал Сапар.— Жди. Может, удастся тебя выручить.

— Я не один, Сапар.

— Не один? — удивленно протянул он.— Ну все равно. Ждите.

Он зашуршал по крыше, и все стало тихо. Прыжка его я не слышал. Я молчал, не зная, что подумать.

— Чего стоишь? — окликнул меня Якуб.— Перережь мне веревки!

Я повиновался. Он помолчал, переводя дух от боли, потом спросил:

— Что это за парень?

Я торопливо рассказал о Сапаре.

— Ясно. По-русски это называется провокацией.

— Думаешь, не придут?

— Придут. Выведут на улицу и расстреляют. Скажут, что пытались бежать.

— Но ведь он дал мне нож!

— Тем более...

Я не знал, что ответить Якубу. Сапара я совсем не знаю, и появление его было для меня неожиданным.

Мы оба молчали. Теперь в каморке казалось еще душней, еще темнее.

— Нет, Якуб, все-таки мы выберемся отсюда!

— Неплохо было бы... Тошновато сидеть в этой мерзкой норе и ждать смерти!..

— А если удастся бежать, куда пойдешь?

Ответа я не услышал. Он только вздохнул и перевернулся, зашелестев соломой.

— Правда, Якуб, красных ты ненавидишь, свои тебя к стенке поставят...

— Черт его знает!..

— Бежал бы куда-нибудь, где полковник не достанет...

— Это куда ж?

— В Иран. Или в Афганистан.

— Не пойдет. Только последняя тварь может бросить родную землю. «Чем в Египте царем, лучше на родине бедняком!»

— А ты согласишься стать бедняком? Расстаться с богатством?

Якуб опять долго не отвечал. Наконец произнес задумчиво и спокойно:

— Бедняком быть не позор... Только кому это нужно?
— Твоей родине.
— Родине! Разве у нас теперь есть родина?
—Ты ж только что говорил о ней!
— А, отстань, ради бога! Вода есть в кувшине? Дай сюда.
Часовой постучал в дверь прикладом: «Прекратить разговоры!»

Часа полтора было тихо. Потом перед дырой замаячил рыжеусый солдат. Неужели пронюхал? Может, и Сапара схватили? Зря Якуб так о нем, видно же — с чистым сердцем пришел. Может, даже мать прислала... Бедная женщина! «Мы хотим сыновьям добра».
— Якуб, как ты считаешь? Если передать власть матерям, станет мир лучше?
— Ни черта! Только мороки прибавится...
— Но почему? Ведь матери хотят нам хорошего!
Якуб усмехнулся.
— Хотят хорошего! Если бы благие помыслы могли исправить мир!.. Разве наши отцы, хватаясь за винтовки, хотели сыновьям плохого? У каждого была благая цель, каждый хотел добра своим детям. Вот я бай. Ты идешь на меня с винтовкой, хочешь отобрать у меня воду, хлеб. А я хватаю винтовку, чтобы не отдавать тебе свой хлеб. У меня свои дети, свои заботы.
— Неправда! Мы ничьих детей не хотим оставлять голодными! Мы хотим, чтоб все были сыты. Чтобы не было так: одни с жиру бесятся, другие с голоду мрут.
Якуб рассмеялся сухим, злобным смешком.
— Чего смеешься?
— Глупости твоей смеюсь. Забили тебе башку красивыми словами. Вот слушай, у моего отца было три жены. У каждой — белая кибитка. У каждой сыновья, дочери. Всего поровну, всего вдоволь. Как сыр в масле катались. И думаешь, они жили в мире? Ни черта! Все перецарапались. Жены с женами, сыновья с сыновьями, девки с девками. Каждому казалось, что другому лучше живется! А ведь от одного отца.
— Если бы и от одной матери...
— Ну уж это не наша с тобой забота! — Якуб сердито засопел.— Я тебе так рассказал, для примера... Никто ничего не изменит: ни отцы, ни матери... Таков уж он, этот проклятый мир!..

— Нет! — убежденно воскликнул я.— Мы все исправим!

— Ну давай, давай! А может, твои друзья все уже исправили, только нам-то с тобой не узнать!..

Я промолчал.

— Ну и духотища.— Якуб подобрался к дыре и, сунув в нее голову, жадно глотнул воздух.— А ночь на дворе... Думаешь, придет твой парень?

— Придет!

— Ну и дурак будет. Влепят пулю в лоб, и дело с концом. Видишь, усатый черт все время под дверью торчит... Дай нож.

— Зачем?

— Стену попробую расковырять. Ничего нет глупее — сидеть и ждать смерти. Я не герой. Не мечтаю умереть с песней на устах. Дай нож.

— Не дам.

— Отниму!

— Попробуй!

Он сокрушенно покачал головой.

— Ну и идиот же ты!

— Не злись, Якуб. Ты все испортишь. Подождем малость — не придут, я сам начну ломать стену. А хочешь, и дверь!

Он молча отполз в темноту. За стеной ничего не было слышно. Только комары звенели. И солдата не видно...

— Вроде уснули все...— сказал я.

— Похоже... А дружком твоим что-то не пахнет!.. Ну как, будем смерти дожидаться?

— А ты боишься ее, Якуб?

— Интересный вопрос! — Он злобно засмеялся.— Думаешь, я не понимаю, с чего ты спрашиваешь? Не беспокойся, придут тебя выручать, в ногах ползать не буду, чтоб и меня прихватили. Не доставлю я тебе такого удовольствия.

— Почему?

— А потому, что тебе надо, чтоб я струсил. Трусливых подчинить легче. Но я не трус, не надейся. В бою мне смерть не страшна. А здесь, в этой вонючей яме... Сдохнуть только потому, что какой-то болван боится расковырять стену!..

Якуб тяжело вздохнул. А ведь он прав, надо попробовать освободиться самим. Вдруг Сапару не удалось выполнить свой план?

— Попробовать, что ли, Якуб?

— Конечно, давай я.
— Нет, я сам.
— Боишься нож отдать? Ну черт с тобой! Колупай сам.
Я начал осторожно отковыривать глину.

Послышался топот. Мы приникли к дыре, в нее уже можно было просунуть плечо. Промчались трое верхом. Две оседланные лошади в поводу... Они! Где-то совсем рядом тяжелое сопение, возня. Ни выстрела, ни вскрика.

— Похоже, они...— с сомнением произнес Якуб.— Кажется, часового связывают.

— Ну вот. А ты говорил!

За дверью звякнул замок, потом приглушенный голос произнес:

— Ломать надо!

Мы кинулись к двери. Она трещала, вокруг рамы сыпались куски сухой глины. И вдруг дверь распахнулась. В проеме стояли Сапар и двое каких-то парней.

— Сапар! Друг! Спасибо!

Перемахнув через ограду, мы бросились к лошадям и безмолвно, словно заранее сговорившись, вскочили в седла.

— Что с часовыми-то сделали? — спросил я, когда загон скрылся из виду.

— Связали. Храпели оба... Ловко все вышло! Боюсь только, не приметил ли меня усатый. Днем-то я два раза приходил... Ну, может, обойдется, может, не разглядел со страху.

Часа через полтора у сухого, заросшего гребенчуком арыка Сапар придержал коня.

— Думаю, здесь... Хорошее место. Ни за что не найдут!

Мы с Якубом соскочили с коней.

— Одних вас придется оставить,— виновато сказал Сапар.— Вот хлеб, вода... Уж вы не держите обиды!

— Что ты, Сапар! И брат родной не сделал бы больше!

Я не знал, что еще сказать. Якубу бы его поблагодарить, ведь так складно говорить умеет!.. Нет, молчит. Слушает, как шелестит осока...

Сапар вскочил в седло, натянул поводья.

— Арык до кладбища тянется. За кладбищем деревня...— Он умолк, прислушиваясь к тишине, потом добавил: — Долго здесь не оставайтесь, ладно?.. День переждите и уходите. Ну, счастливо!..

Я долго глядел им вслед. Когда звук копыт замер вдали, я снял шапку и подставил ночному ветерку влажную голову. Какой простор кругом! Как легко дышится!..

— Ну, Якуб, от смерти мы ушли.

— От смерти не уйдешь...— неопределенно пробормотал он.

Я прошел вниз по арыку, выбрал лужайку, где трава была погуще, улегся на спину и стал смотреть в небо. В изголовье, словно сторожа мой покой, недвижно стояли высокие травинки...

«А хорошо, если бы Якуб ушел...— мелькнуло вдруг у меня в голове.— Беспокойно с ним, непонятно... И все-таки что-то в нем нравится. Смелый человек. Не будь он байский сын, я бы его уговорил идти к нашим. А почему ж все-таки он Марию убил? Ведь она не красная, помещичья дочь...»

Рядом послышался шорох. Я поднял голову.

— Ты где, Мердан?

— Здесь. Поспать хотел.

— Поспишь тут,— Якуб плюхнулся возле меня на траву.— Того и гляди, на скорпиона ляжешь. Одно утешение — кладбище по соседству.

— А выходит, правду говорят, что байские сынки трусоваты.

— Да не цепляйся ты,— Якуб устало махнул рукой,— и без тебя тошно.— Не переставая ворчать, он улегся на спину.— Вам, неучам, большевики наплели, а вы и рады. Рассказал бы я тебе кое-что про байских сынков, да с дураком толковать — ослу проповедь читать. «Байские сыновья»! — Он вдруг рывком поднялся.— А Кутузов, Пушкин, Толстой — они, по-твоему, батраки были? Да ты небось и не слыхал про таких.

— Про Пушкина слышал. Тетя Нина стихи его читала. Она их на память знает.

— Это что же, тоже большевичка?

— Не большевичка, жена большевика. Учительница.

— Учительница, говоришь? — Якуб ехидно рассмеялся.— А говорила тебе эта твоя учительница, что, сколько ни было революций, во главе всегда байские сыновья стояли?

— Выходит, и Ленин байский сын?

Якуб пожал плечами.

— Про Ленина не знаю, книг про него не написано. Думаю, не из бедняков. Не родится большой человек в доме, где день и ночь о куске хлеба думают!..

— А я голову на отсечение дам: байский сын против царя не пойдет!

— Вот и пропадет твоя башка... Среди тех, кто царя сбросил, половина байских сыновей!

— В России, может, и так,— убежденно сказал я,— а у нас байские сыновья первые враги бедняков!

— Где это у нас? Что ты видел, кроме своей деревни?

Мне опять нечего было возразить. Якуб знал и видел больше меня, я не находил слов для спора с ним. Он закрыл глаза и отвернулся.

Я тоже смежил веки. Но сон все не шел, легкий ночной ветерок уже затих, становилось душно... Тело покрылось потом, кожа зудела. Опять заныло плечо...

— Якуб, ты не спишь?

— Нет.

— Ты ведь так и не сказал мне, почему убил Марию.

— Потому что я байский сын. Развратник и кровопийца.

Он наверняка думал, что я начну расспрашивать. Я молчал. Якуб перевернулся на живот, подпер рукой голову.

— Для тебя раз байский сын, значит, убийца... Я и в мыслях не держал убивать ее... На такую красоту руку поднять!.. Выйдет на улицу: две косы, как у наших девушек, платочек на головку набросит... Болтали про нее разное — я ведь при полковнике состоял, всех офицеров знал,— говорили, что за полтора года уже двух любовников сменила. Я, конечно, понимал, что она не птичка с белыми ножками, да и муж у нее старик, а вот верить не хотелось... Было в ней что-то от наших девушек, чистота какая-то... Уж чего-чего, а этого у наших не отнимешь! Вот большевики кричат: «Долой религию!», «Свободу женщине». Ну долой, ну свободу, а дальше что? Чтобы как русские, да? Меня в Москве возили в один дом: мать еще не старая, три дочери красотки — и все шлюхи! Хочешь возразить, а? Да что ты можешь сказать?! Что ты знаешь о женщинах, тем более русских!

Я промолчал. И не потому, что нечего было сказать — тетя Нина-то русская, даже москвичка! Но с Якубом я не хотел, не мог говорить об этой женщине...

...В тот день мама вымыла меня в горячей воде, надела чистую рубашку. Она не сказала, куда мы пойдем, но шли мы к станции, и я сразу почуял недоброе. Я не забыл, как

ласково беседовала она тогда с русским в фуражке, а теперь вот про жену его завела разговор: они, мол, хорошие, ничуть не хуже мусульман, даже говорить по-нашему могут...

Я остановился и заревел. Я слишком хорошо помнил, что говорил о русских Мейдан-ага. Всхлипывая, я твердил маме, что, если я ей не нужен, я лучше в пески уйду, пусть только она не отдает меня русским.

Мама молча прижала мою голову к груди, погладила бритую макушку. Потом сказала: «Они тебя грамоте выучат, сынок! По-русски читать будешь...» Читать по-русски! Этого у нас в деревне никто не умел. Даже главный грамотей, сын муллы Нурпеиса, мог читать только Коран, написанный арабскими буквами.

Я вытер нос, всхлипнул последний раз и взял маму за руку.

Жена дяди Николая была женщина худая и высокая.

Лицо у нее было белое, глаза серые, а волосы темные, почти такие же, как у мамы.

Может, меня подкупили ее темные волосы, может, помогло то, что я ни на минуту не забывал теперь о русской грамоте, но я стерпел, когда русская женщина погладила меня по голове, я даже разрешил ей взять меня за руку. Женщина улыбнулась. Грустно-грустно...

Тетя Нина всегда так улыбалась. Сначала я думал, это от бедности, ведь даже кошмы в доме нет, пол досками застлан, ни сундука, ни ниши с одеялами!..

Много позднее, когда я уже знал, что живут они так не от бедности, просто привычки у русских другие, тетя Нина призналась мне, что очень тоскует по родине. «Так и умру, березки русской не увижу...» — сказала она и отвернулась, чтобы я не увидел ее слез. Она тогда не вставала с постели и очень кашляла. Как только становилось легче, тетя Нина подолгу рассказывала мне о России и о всяких других странах... Писать и читать не она меня учила, а дядя Николай, тетя Нина не разрешала мне сидеть возле нее — боялась, что перейдет болезнь...

Один раз — мне было тогда уже лет тринадцать — тетя Нина послала меня в лавку за сахаром. До лавки я не дошел — откуда-то из-за угла выскочили двое оборванных русских мальчишек и стали отнимать у меня деньги. Я бился до последнего, больше всего на свете боясь, что тетя Нина не поверит мне, решит, что я украл эти деньги.

Когда я с синяком под глазом, шмыгая кровью, предстал перед тетей Ниной и начал рассказывать про мальчишек, она не рассердилась, не стала меня ругать. Она долго расспрашивала про моих обидчиков, сказала, что на станции таких нет — здешних она всех знает,— наверное, от поезда отстали. Тетя Нина даже велела мне привести их — накормить ведь надо ребят,— но тут я впервые в жизни не послушал ее, не пошел искать мальчишек, слишком велика была моя обида...

— Эй, Мердан! Ты слушаешь или нет? Чего вздыхаешь, как корова?

— Так, ничего. Рассказывай.

— ...Весной спрашивает меня, грибы, мол, у вас тут бывают? Показал я ей на степь за станцией, пожалуйста, хоть мешками собирай... Я, говорит, хотела бы прогуляться, набрать грибов. Не будете ли вы любезны сопровождать меня? Почему же, говорю, если полковник не возражает...

Оглядела она меня с ног до головы, плечами пожала — стоит ли, мол, беспокоиться о таких пустяках...

А в седле она... ну до того хороша, рассказать тебе не могу! Не в дамском седле, как в России барыни ездят, а в мужском, как казашки...

Степь в тот день ковром под ногами стлалась. Два дня дожди шли, трава блестящая, свежая, вся в цветах. Только, гляжу, Мария вроде и не видит этого, печальная какая-то. «Вы, говорит, не удивляйтесь, взгрустнулось мне, родной край вспомнила. У нас в лугах весной тоже цветов полно. Только у нас деревья кругом и трава не такая: густая, высокая...» — «Деревья у вас там пожгли, а поля вытоптали!» Я это вроде даже с сочувствием сказал, однако зря: такие, как Мария, не любят, чтобы их жалели. Вздернула голову: «Россия не Туркестан! Слишком она велика, чтоб сжечь ее или вытоптать!» Не тебе, мол, дикарю, Россию оплакивать!..

Сказала, да, видно, спохватилась — знала уже, что и у меня нрав крутой, не терплю, когда гордость задевают,— оглянулась, огрела коня плеткой. «А ну, джигит, догоняй!»

Только комья земли мокрой в лицо полетели... Пока собирался, она уже за версту ускакала. Отпустил я удила, скачу за ней, а сам думаю: «Дурак ты, дурак! С какой бабой в весенней степи про политику рассуждать вздумал!..»

А она видит, что догоняю, смеется... Их, женщин, ведь не поймешь. Смотрит на меня, хохочет, до того хороша — ну прямо съел бы ее всю, вместе с сапожками!

Обнял я ее, а она так и вьется в руках, словно ей щекотно. Ну я не долго думая сорвал ее с седла и — к себе. Обхватила за шею, смеется, тихий такой смех, счастливый... И глаза закрыла...

Якуб замолчал.

Я перевернулся на спину, зашуршав травой.

— Ты, оказывается, еще бодрствуешь? — насмешливо пробормотал Якуб.— Я думал, тебя сморило...

— Нет, слушаю...

— Один раз вызывает меня полковник. Уезжаю, говорит, на два дня, присмотри за домом. Потом уж я узнал, что это Мария его надоумила. Боюсь, мол, офицеры твои как напьются, мимо пройти страшно, глаза, как у голодных волков. Единственный, говорит, порядочный человек — Якуб Салманов. Попроси его, чтоб был поблизости. А тот верит, дурак... Он ей, как ребенок, верил...

Я с вечера расставил часовых вокруг полковничьего дома и к ней. Ужинать пригласила.

Вошел в гостиную, она — навстречу... Платье на ней черное, переливается все, словно звездное небо. Вырез до самых грудей! А сама вся как из ртути: то встанет, то сядет, то руку мне протянет, а рука белая-белая!..

Одним словом, ужинал я у нее до утра, а к еде мы так и не притронулись... А утром, как мне уходить, она вдруг говорит: «Давай, милый, уедем отсюда навсегда, забудем эти проклятые пески...» Можешь себе представить — из-за бабы родину покинуть! Ну ей я так, понятно, не сказал, отшутиться решил: не могу же, говорю, я изменить своему полковнику...

Прикрыла она глаза ресницами, а под глазами-то тени синие. «Не надо, говорит, смеяться, милый, я это очень серьезно. Уедем отсюда! Поедем к отцу, будем жить в имении!» — «Ты думаешь, большевики пощадили ваше имение?!» — «Ну не в имение! За границу! В Европу, в Америку, в Австралию — только прочь из этого ада! Из этих раскаленных песков!» Тут я перестал шутить и сказал ей, что эти раскаленные пески политы кровью моих предков. Что эта земля — моя родина!

Она, видно, поняла, что это мое последнее слово. Глаза погасли, лицо сразу поблекло, постарело даже... «Я, говорит, в тебе обманулась. Ты дикарь! Такой же, как твои собратья, скитающиеся в песках со своими вшивыми овца-

ми! Ну и торчи здесь! Вчера большевики отца твоего убили, завтра с тобой разделаются. И пусть. Так тебе и надо, дикарь!» — «Молчи, Мария!» Она как сверкнет глазами: «Здесь я приказываю! Ты только лакей! Слуга полковника!» Окинула меня презрительным взглядом, отошла к окну, потом оборачивается: «Родину он захотел! Свободу! Зачем вам свобода, своре головорезов?»

Я — за наган. А она хохочет: «Убить хочешь? Болван! Тебя же расстреляют! Лучше чисти сапоги полковнику, он даст тебе твою свободу!» — и плюнула мне в лицо.

Я выстрелил ей прямо в грудь.

Мне не повезло — во дворе полковник уже слезал с коня, вернулся он раньше времени. На меня навалились, схватили, связали руки... В тюрьму отправлять не стали, в ту же ночь, видно, думали в расход пустить... Они нас теперь крепко искать будут. Все пески обшарят.

Он устало зевнул.

— Слушай, Якуб, а может, пойдешь к нашим?

— Чего я там не видал? От одной смерти к другой бегать.

— Никто тебя не тронет!

— Брось! Забыл, что я байский сын? Давай-ка лучше всхрапнем часок-другой.

Я лежал, слушал его храп и пытался понять, как он мог убить Марию и как может спать, рассказав об этом... И как просто он говорил об убийстве. А может, я его зря виню? Может, и сам не стерпел бы таких оскорблений?

Я плохо понимал этого человека, многое в нем было для меня темно, как темное небо над нами...

Наконец я уснул.

День второй

Меня разбудил конский топот. Я вскочил.

— Якуб!

— Не кричи,— прошипел он, толкая меня на землю,— слышу.

Мы ползком пробрались к зарослям.

Всадники проехали совсем близко. Впереди всех на вороном коне гарцевал человек в высокой папахе с винтовкой за плечом. Гордо и самоуверенно покачивался он в седле, крепко натягивая поводья, красавец жеребец норовисто выгибал лоснящуюся шею.

— Этот... впереди, Осман-бай,— сказал Якуб, следя за всадниками неприязненным взглядом.

— Тот самый?

— Тот самый. Рядом, в фуражках, солдаты полковника. А сзади нукеры плетутся... Рыщут, проклятые! Наверняка по нашу душу!

Я внимательно оглядел людей, ехавших позади бая, может, Сапар среди них... Нет, вроде не видно... Да и не разберешь: на всех халаты, черные шапки, за плечами винтовки. Головы опущены, ни один по сторонам не посмотрит. То ли из-за пыли разглядеть не надеются, то ли отстать боятся... А может, просто умаялись? По коням видно было, что хозяева их всю ночь провели в седле — трусят рысцой, понуро опустив морды, жмутся друг к другу.

— Да-а...— озабоченно протянул Якуб.— Не иначе всю ночь по степи шныряли. Нельзя нам здесь оставаться!..

— Значит, надо уходить.

— Куда?

— К нашим,— спокойно ответил я.

Он мрачно взглянул на меня.

— Стронемся с места, тотчас схватят! У них па всех дорогах дозоры выставлены.

— Степью пойдем...

— Все равно. Днем нельзя — опасно.

Я понимал: он не только сам не пойдет к красным, но и меня постарается не пустить.

Мы молча провожали глазами всадников, думая каждый о своем. Наконец пыль на дороге улеглась. Только теперь, избавившись от близкой опасности, мы почувствовали, как нестерпимо палит солнце.

— Воды бы,— с тоской протянул Якуб. Поднял кувшин, перевернул, убедился, что пуст, и разочарованно щелкнул по нему ногтем.— А Осман-бай хорош, собака! Сам небось вызвался ловить! Я эту старую лису знаю. Только и мечтает, как бы выслужиться. Сапоги готов лизать полковнику. Забыл, гад, сколько я ему добра сделал. В прошлом году скулил, скулил: «Помогите! Бандиты угнали баранов!» Специальный отряд я посылал баранов этих отбивать, чтоб они все передохли! Вернул ему отару... Недавно, совсем на днях, опять явился. Люди его, видите ли, слушаться перестали! В отряд не идут. Нужно, говорил, для острастки двух-трех прихлопнуть, а свалить на большевиков. Они, мол, всех вас перебьют, если в мой от-

ряд не пойдете. Только, говорил, надо, чтоб этим солдаты занялись, своим такое нельзя поручить, скандал может выйти.

— И ты пошел на это? — я вдруг задохнулся от догадки.

Якуб равнодушно пожал плечами и спокойно, не спеша ответил:

— Видишь ли, бай, конечно, слишком грубо все это делает. Что с него взять, мужик, степняк. Но вообще он прав, людей надо держать в страхе. Не припугнешь, на шею сядут!

— И вы убили этих людей? — повторил я тупо.

— Положим, убили. Ну и что? В наше время лишь очень недалекие люди могут удивляться подобным вещам. Только не подумай, что я хочу оправдаться. Я просто рассуждаю вслух, пытаюсь понять, чему учит нас жизнь... Ты думаешь, ваши так не поступают?

Я смотрел на Якуба, и мне казалось, что только сейчас, здесь, я впервые увидел его. Какое страшное, нечеловеческое лицо! Да, этот способен на все...

И все-таки я не мог молчать.

— Но ведь вы убили невиновных!

— Откуда тебе-то известно?

— Известно! Один из них — Ягмур, брат Сапара! Да, да, того самого Сапара, который спас тебе жизнь. Вы убили его и свалили убийство на меня. Но вы просчитались! Даже его мать, простая старая женщина, не поверила вам. Никто вам не верит! Никто!

Якуб с безразличным видом продолжал разглядывать кувшин. Я выхватил его и швырнул в траву.

— Ты убил его брата, а он, ничего не подозревая, спасает тебя от смерти! Если бы я знал это раньше!..

Якуб посмотрел в ту сторону, куда я бросил кувшин, и отвернулся.

— Зря беснуешься, Мердан. Время такое. Я и сам иногда заснуть не могу, кошмары мучают... Жизнь сейчас, как эти заросли, куда ни сунься, хорошего не будет. И не лезь, ради бога, со своими попреками, и без тебя тошно. Провалилось бы все в тартарары!..

Он поднялся и перешел на другое место, туда, где трава была погуще.

«Значит, так...— лихорадочно соображал я.— Нужно просидеть здесь до вечера... Может, Сапар придет... Но только не упустить Якуба. Подумать только, я сам, своими руками, разрезал его веревки!»

Мы лежали в трех шагах друг от друга и молчали... Зной становился все гуще, все тяжелей давил, прижимая к земле все живое...

Зашуршала трава. Мы разом сели. Переглянулись. Шуршание приближалось. Якуб бесшумно перевернулся, оперся на руки и, пригнув голову, стал напряженно прислушиваться. Он был сейчас похож на зверя, подстерегающего добычу. Шорох повторился, но не ближе, на том же месте.

— Кажется, овца отбилась...

— Один кто-то...— прошептал Якуб.

— Возможно. Пойдем глянем. Нож достань!

Мы осторожно продирались через кусты. Порыв ветра донес сладковатый запах тления. И вдруг я услышал плач. Тоненький, прерывистый — детский.

— Прочь отсюда! — Якуб крепко схватил меня за плечо.— Не показывайся!

— Да ведь это ребенок! Погоди, я посмотрю.

Плач становился все громче, все безутешней... Я подкрадывался, стараясь не дышать.

— Па-па! Папочка!..

Мальчонка лет десяти сидел на земле и горько плакал, шмыгая носом и поминутно вытирая глаза. Тощее его тельце, прикрытое грязной рубахой, сотрясалось от рыданий.

Прямо перед мальчиком торчали две пары ног.

Вот откуда этот густой нестерпимый запах! Я бросился к мальчику.

Он вскочил и, как затравленный зверек, в ужасе уставился на меня.

— Не бойся! Я не трону тебя!

Мальчик отступил на несколько шагов и замер, не спуская с меня глаз. Я беспомощно улыбнулся. В глазах ребенка мелькнуло удивление — улыбаться действительно было нечему. Пусть! Лишь бы не напугать, лишь бы он не пустился наутек!.. Я снова улыбнулся. Мальчишка не убегал.

Не зная, что делать дальше, я стоял и разглядывал его. Чумазое, в грязных потеках лицо опухло от слез. Тюбетейка съехала на ухо. Драная бязевая рубашонка висит до самых колен. И все: тонкие исцарапанные до крови ноги в цыпках, шерстяные веревочки, которыми подвязаны чепеки, даже шнурок от штанишек, свисающий из-под рубахи,— все густо запорошено пылью.

— Ну,— ласково заговорил я, как говорят с племянником, который дичится, потому что давно не видел дядю.— Не бойся! Иди сюда!

Мальчик шмыгнул носом.

— Это твой отец? — я указал на тело в выцветшем бумажном халате.

Губы мальчика искривились. Он громко всхлипнул, содрогнувшись всем телом, и кивнул.

— А может, это не он? — с надеждой спросил я.

— Он...— Мальчик опять всхлипнул.— И халат его... И шапка... Вот она...

Он подошел к обезглавленному телу и поднял шапку, старую шапчонку с реденькой, вытертой шерстью. В стороне я приметил другую шапку, поновее...

В горле у меня встал комок. Уже не боясь спугнуть ребенка, я подошел к нему и погладил по голове.

— Ну перестань! Перестань! Ты же взрослый парень. Как тебя звать?

— Ширли.

— Не плачь, Ширли, не надо!

Я закрывал собой мальчика, стараясь, чтоб он не смотрел на обезглавленные трупы, а сам лихорадочно соображал. Почему их не похоронили? И где головы? Может, увезли как трофей?..

— А второго... ты знаешь?

— Знаю... Это дядя Гриша. Он с папой работал. На железной... дороге...

— А где вы живете?

— Вон там,— он махнул рукой за кладбище.

— А мать у тебя есть?

Мальчик всхлипнул и жалобно взглянул на меня.

— Нету...

— А брат? Или сестра?

Он покачал головой и снова навзрыд заплакал. Я молча погладил его.

— В деревне ничего не знают? — спросил я, когда он немного успокоился.

— Знают.

— Почему ж не похоронили?

— А сказали, кто похоронит, того тоже застрелят... Боятся...

Что же делать? Я стоял не в силах оторвать глаз от растоптанных рабочих сапог, от кителя, насквозь пропитанного машинным маслом.

— Слушай, Ширли! Надо сбегать на кладбище — там

обычно оставляют лопату. Если есть, принеси. Только смотри, чтоб тебя не увидели!

Он молча кивнул, бросил быстрый взгляд на убитых и спрыгнул в сухой арык.

Я огляделся. Якуба не было видно.

— Якуб. Иди сюда!

— Нашел, что показывать,— брезгливо протянул он, взглянув на трупы.— Мало я их повидал! То-то я слышу, падалью несет... А этот... куда делся?

— Я его за лопатой послал.

— Ты что, сдурел? Хочешь, чтоб опять руки связали?

— А ты хочешь, чтоб мы их бросили? Не похоронив?

Якуб отвернулся, всем видом показывая, что я ему бесконечно надоел. Потом снова поглядел на убитых, недовольно покачивая головой.

— Вот дикари,— проворчал он наконец.— Ну убили, ну и ладно. Головы-то зачем рубить?

— Как зачем? — я усмехнулся.— Запугивать так уж запугивать!

Якуб понял меня. И сказал равнодушно, с какой-то вялой усмешкой:

— Все это нормально... Пока живут на земле люди, будут жить и злоба, и изуверство. Кстати сказать, те, кто это устроил, и понятия не имеют, что это изуверство. Для них все это естественно и неизбежно. И бессмысленно считать таких людей негодяями. Зависть — вот источник всех бед!.. Человек всегда недоволен тем, что имеет! Один не хочет отдать свое, другой стремится отобрать чужое. Причем любой ценой! Вот посмотри на этих... Чего они добивались? Чего хотели?

— Ясно, чего хотели! Избавиться от нищеты. Наесться досыта.

— В том-то и беда: хотели, а силенок нету. Вот и умываются собственной кровью. Только сила может превратить мечту в действительность.

Гнев охватил меня. Я долго молчал. Потом сказал, еле сдерживаясь:

— Когда-то считали, что после аллаха сильней всех белый царь. Муллы день и ночь раскачивались в молитвах, все превозносили его. Мыслимо ли было, что русские рабочие сбросят царя с трона?! Такие, как ты, говорили: это чушь, бредни большевиков. Силенок им не хватит! А теперь?

— Да...— процедил Якуб с ненавистью.— Веселые дела! Каждый...— он с презрением оглядел меня, но все-таки не выговорил слово, готовое сорваться с губ.— Каждый... царя судит!

Невдалеке снова зашелестела трава и появился запыхавшийся от бега Ширли. Пот грязными струйками стекал по его лицу. В руках мальчик держал старую, не раз точенную лопату.

— Давай, Ширли!

Я протянул руку, но мальчик словно не видел меня. Полуоткрыв от ужаса рот, он смотрел куда-то за мою спину.

Я обернулся. Якуб внимательно разглядывал мальчика. Тот медленно пятился назад. И вдруг, бросив лопату, мгновенно исчез в кустарнике. Я метнулся за ним.

— Стой, Ширли! Стой!

Мальчик не оглянулся. Он мчался, раздирая о кусты лицо, задыхаясь...

Я догнал его у самого кладбища. Рубашка на нем была хоть выжимай, сердце бешено колотилось... Он бился у меня в руках, как рыба.

— Ты что, Ширли? Ну скажи, что с тобой?

Мальчик извивался, пытаясь вырваться.

— Пусти! Пусти!

— Ну, перестань же, дурень!

Окрик подействовал. Мальчик затих.

— Я не дурень... Я боюсь!..

— Кого?

— Дяденьку! Который с тобой!

— Да ничего он тебе не сделает!

— Бить будет! Он и отца бил!.. Плеткой... Отпусти меня. Убьет!

Я прижал к груди его мокрую горячую голову.

— Не бойся, братик! Ничего он тебе не сделает. Он сам боится меня... Слушай, Ширли, а может, ты обознался?

— Нет. Я в хлеву сидел, все видел. Я его сразу узнал...

— А он тебя не видал?

— Нет. Я спрятался.

— Ладно, Ширли, пойдем! И посмотри хорошенько, может, это все-таки не он?

— Он, он! Не пойду я...

Мальчик не ошибался, это было ясно. Вот почему Якуб так внимательно разглядывал мертвых. И эти его слова: «Головы-то зачем рубить?» Значит, он приказал убить,

а исполнители перестарались. Но он приказал... А разглагольствования о неизбежной жестокости всего лишь попытка оправдаться... И не передо мной — я ведь ни о чем не догадывался,— перед самим собой; преступник всегда ищет оправдание, даже когда уверен в полной безнаказанности...

Мне так и не удалось уговорить Ширли вернуться: он упирался, останавливался, умоляюще смотрел на меня.

— Хорошо, Ширли. Сиди здесь, в кустах. И следи за дорогой. Увидишь всадников, сразу беги ко мне, а лучше шел бы ты в деревню. Вернешься, когда стемнеет. Воды принесешь!

Он послушно кивнул.

Якуб, обливаясь потом, копал яму. Увидев меня, он разогнулся, плюнул на ладони и сказал:

— Хоть бы ты этого постреленка за водой послал!

— И без воды хорош будешь!

Он в бешенстве отшвырнул лопату.

— Тогда сам и копай.

И бросился на землю в отступившую к кустам тень. Я принялся шарить вокруг.

Воевал я уже три месяца. И мертвых нагляделся, и раненых... Видел и оторванные снарядом ноги, и вывалившиеся из тел внутренности. Но видел в бою, среди грохота, криков, свиста пуль... А здесь тишина и покой...

Я продолжал искать в кустах. Нигде ничего... Уже начал надеяться, что не найду, что их увезли отсюда, вдруг, раздвинув густую траву, увидел то, что искал. Голова... Я отскочил. Трава сомкнулась над моей находкой.

— Якуб! Иди сюда!

— Чего орешь? — раздался ленивый голос.— Режут тебя?

— Иди сюда.

Он не спеша подошел.

— Ну?

— Раздвинь траву. Вон там!

Он вопросительно поглядел на меня. Наклонился. И сразу выпрямился.

— Узнаешь?

Я думал, он будет кричать или снова примется доказывать, что все правильно, что иначе быть и не может, но Якуб молчал. Потом, не глядя на меня, произнес:

— Дурак.

— Хорони!

— Это что же, приказ? — Якуб не двигался с места.

— Приказ! Ты приказал убить. Я приказываю — хоронить.

— А если я не послушаю?

— Тогда...— я выхватил из кармана нож.

— Ах так? — Якуб напрягся, готовясь к прыжку, лицо его перекосилось от бешенства.

Он быстро овладел собой.

— Нож еще может нам пригодиться... Не время сейчас им махать!

— Самое время!

Он отвернулся. Потом вытер со лба пот и сказал устало:

— Слушай, Мердан, давай не ссориться... Хочется тебе похоронить — похороним... Только зря это, влипнуть можем из-за твоей причуды.

Я убрал нож, сбросил халат и молча взял лопату. Мы рыли по очереди.

— Держи,— сказал Якуб, услужливо протягивая мне мой халат, когда возле высохшего арыка появились две свежие могилы.— И пойдем поближе к кладбищу, там хоть тень есть.

Мы улеглись в тени старого карагача. Здесь было чуть-чуть легче, но все равно пекло нестерпимо. Наконец с запада потянуло свежестью. Якуб приподнялся, подставляя лицо легкому ветерку.

— У, проклятый, где ж ты раньше-то был? — Он огляделся, с сомнением покрутил головой.— Не нравится мне эта история... Как бы нас с тобой из-за мальчонки опять веревкой не спутали...

Я не ответил, губы пересохли, говорить было трудно.

— Ну, что молчишь? Мертвяков испугался? Подумаешь, невидаль! Накроют нас здесь, тоже рядышком лежать будем.

— Ну нет! Тебе они и носа не разобьют — палачи у них в цене.

Якуб поморщился.

— Охота тебе лаяться. Да еще в такую жару...— он говорил примирительно, почти просил. Ему очень хотелось, чтоб я забыл, какая между нами пропасть, раз уж связаны мы одной веревочкой.— Никакой я не палач. Я солдат. На плечах — погоны, в руках — винтовка. И дали мне ее не мух отгонять. Я солдат. И ты солдат. И ты убивал, и я убивал. Только ты — белых, я — красных. Спросят, за что, оба дадим один ответ — за родину, за сво-

боду, за справедливость! Кто из нас прав, одному богу известно! А для людей прав тот, кто законы пишет. Взял власть — твоя правда! Ты еще не успел понять, что к чему, а тебя уже нарекли справедливейшим из справедливых, и любое твое слово сразу преисполняется высшей мудростью. Ляпнешь что-нибудь сдуру, а слова твои так растолкуют, что, когда они к тебе вернутся, ты только диву дашься, как же умно сказал. Ты отупеешь, мозги твои зарастут жиром, но ты всерьез будешь верить, что только тебе дано изрекать истину! И когда подхалимы начнут приписывать тебе то, чего ты никогда и не говорил, ты будешь утешаться мыслью, что именно так бы и сказал!.. Вот твоя хваленая справедливость! Ясно?

Закончил он свою речь спокойно, даже насмешливо, словно ему жалко было тратить слова на человека, который и возразить-то путем не может...

— Знаешь, Якуб, как бы складно ты ни говорил, я все равно знаю, ты врешь. На свете есть справедливость! Не твоя, а настоящая справедливость. За нее и погибли эти двое.

— Неохота мне с тобой спорить... Язык во рту как суконный, башка трещит. Но я все-таки хочу, чтобы ты знал: эти двое погибли по собственной глупости! — Он сел, прислонясь спиной к дереву, облизнул пересохшие губы.— Они оба на железной дороге служили: русский — мастером, туркмен — помощником у него... Третьего дня получаем приказ занять станцию, там эшелон красных стоял — взять в плен. Погрузились на бронепоезд и — вперед! Приказ — это на войне закон, а раз закон, значит, справедливый. Война! Даже если ты не захочешь убивать, тебя заставят. Иначе — пуля в затылок. Ну так вот. Верстах в десяти от станции бронепоезд вдруг останавливается. Выскочили на насыпь, смотрим. Вот эти двое,— Якуб указал в сторону могил,— колдуют чего-то на полотне. А путь разобран, саженей на двадцать шпалы повынуты. Вроде чинят... «Кто разобрал?» — «Красные!» Наган ко лбу — одно твердят: красные! Туркмен этот аллахом клянется, можешь себе представить? Начали ремонтировать. Эти тоже как звери работали, я им, сукиным детям, чуть было не поверил. Провозились около часа. Ну, а красных уже, конечно, поминай как звали!.. Стали выяснять. Русский оказался большевиком, а помощник его — просто дурак, красивыми словами приманили. Красные, говорит, хорошую жизнь нам дадут. Вот идиот! Да если тебе обещания нужны, я тебя осыплю ими!

— Будто вы не осыпаете. Только не больно вам верят.

— Ладно, верьте красным, если их слова вам больше по вкусу,— Якуб усмехнулся.— У них своя справедливость, у нас — своя. Эти двое пошли против нас. И погибли. Кстати, мы тогда предложили туркмену поджечь кладбище, вот это самое, обещали отпустить, если сделает...

— А свалили б на красных?

— Разумеется. Согласен, это не очень красиво, но во имя высшей справедливости...— Якуб засмеялся сухим, отрывистым смехом.— К тому же большевикам и правда ничего не стоит сжечь кладбище, ведь только и твердят, что бога нет. А люди поверили бы. Это стадо в любую сторону можно гнать, была бы палка в руках. И представь себе, уперся, болван, и ни в какую: «Убивайте, а кладбище поджигать не стану!»

Я напряженно слушал Якуба. Ничего, кроме раздражения, не было в его словах. Ни сожаления, ни сочувствия.

— Пыжился, бесстрашие хотел изобразить. А умирать ему не хотелось — мальчонка оставался, тот самый, что прибегал. Эх, не напортил бы он нам. Я ему, дураку, говорю: «Русские тебя обманули. Пойми, не по пути нам с русскими! Зря сына осиротишь!» Думал он, думал, а потом говорит: «Лучше такие русские, как Гриша, чем такой туркмен, как ты!» На том наш разговор и кончился. Сына просил привести — проститься, я не велел. И зря, он скорей всего передумал бы, если б мальчонку увидел...

— Да... Твоя справедливость та же, что у царя.

— А что? — Якуб оживился, будто я напомнил ему что-то очень важное, чего он никак не мог вспомнить.— Когда власть была у царя, его и не называли иначе как справедливым. Справедливейший был властелин.

— Чего ж его тогда свергли?

— Властью своей не пользовался. Царя доброта сгубила.

— Доброта? Здорово! Гноил людей в тюрьмах, расстреливал из пулеметов! По-твоему, это доброта?

— А ты видел, как он расстреливал? С чужого голоса поешь.— Якуб насмешливо улыбнулся.— Сказки дяди Николая.

— Не сказки! Царь его самого на пять лет в тюрьму запер! На чужбину выслал!

— Напрасно. Я бы на его месте не стал валандаться. Что толку ссылать? Только заразу большевистскую по всей России распространили. Шум подняли по всей земле.

— И хорошо. И молодцы, что подняли!

Якуб с ненавистью взлянул на меня. И выдавил пересохшими губами:

— Смерти им, подлецам, мало!

— Это тебе. Тебе смерти мало! — Я вскочил не помня себя от ярости.— Сколько людей задушил ты своей кровавой лапой! Ослепнешь от сиротских слез! Палач!

«Я убью его! Вместе нам не жить на земле! Но почему он так спокоен? Не верит, что я решусь?» Я схватил халат, сунул руку в карман.

— Не ищи,— Якуб рассмеялся,— у меня твоему ножу спокойней.

Пот выступил у меня на лбу. Я в ярости отшвырнул халат.

— Украл?

— Можно и так выразиться.— Он смотрел на меня с наглой ухмылкой, подкидывая на ладони нож, нестерпимо блестевший на солнце.— Нож у меня, значит, и сила у меня, и жить мы сейчас будем по моей справедливости. Захочу, прирежу тебя. Между прочим, будь нож в твоих руках, ты меня, возможно, уже прикончил бы!..

— Ничего... Ты не уйдешь от расплаты. Ответишь за невинную кровь! За все ответишь!

— Я тебя не буду убивать,— продолжал Якуб, словно бы и не слыша моих выкриков.— В конце концов ведь только благодаря тебе я спасся от смерти... Добро за добро — закон мужественных. Не так ли?

— Отдай нож!

— Я не самоубийца.

— Ты трус.

— Не думаю.— Якуб облизнул губы, причмокнул, с тоской огляделся по сторонам.— Где же все-таки взять воды? Так ведь и сдохнуть можно...

Я скрипел зубами от бессильной ярости. «Ничего, ничего,— думал я,— тебе, Якуб, все равно деваться некуда. В степи сразу поймают, в деревне Осман-бай со своими людьми... А мне на руку, что Осман-бай остановился в этой деревне, скорее Сапара разыщу. Как стемнеет, двинусь. Сделаю вид, что за водой... Разыщу Сапара и приведу сюда — вот он, убийца твоего брата!»

Ширли появился, едва начало смеркаться. Под мышкой у него торчал чурек, в руках — кувшин с водой. Я сразу припал к воде. Только напившись, я заметил, что мальчик запыхался.

— Ты что? За тобой гнались?

Ширли покачал головой.

— Нет. Меня никто не видел. Просто... Осман-бай в деревню приехал! С нукерами. Они человека какого-то привезли... Расстреливать будут! Посреди деревни.

— Откуда ты знаешь?

— Все говорят,— мальчик умоляюще взглянул на меня.— Дядя, неужели застрелят?

— Могут, Ширли... Они свое дело знают. Ладно, пойдем в деревню. Будь что будет...

Деревня раскинулась в низине, на краю песков, укрытая густыми садами. Сады сливались один с другим, и сейчас, в сумерках, казалось, что над домами и кибитками нависла тяжелая, темная туча.

По улицам разъезжали всадники. Возле одного из самых больших дворов на поросшем верблюжьей колючкой пустыре толпился народ.

Крестьяне сходились на пустырь медленно, не спеша. Из кибиток, расставленных в узких проулках, струился вверх остро пахнущий кизячный дымок. Проехали на ишаках два старика, мальчонка провел верблюдицу... Где-то прокричал осел, отрывисто гавкнула собака... С байского двора потянуло жареным мясом. Я втянул в себя обольстительный запах и проглотил слюну.

— Ты где теперь живешь, Ширли?

— У дяди. Вон его кибитка, рядом с нашей.

Мальчик указал на несколько ветхих черных кибиток, притулившихся с краю деревни, почти у самого кладбища.

— Тебе бы сейчас дома побыть, Ширли...

Мальчик молча поднял на меня глаза.

— Я приду. Обязательно приду! И кувшин принесу, не бойся! Иди, Ширли!

Я проводил мальчика, надвинул шапку на самые глаза и пошел туда, где собирался народ.

Байский двор был обнесен толстой, выше человеческого роста стеной. В глубине меж раскидистыми карагачами красовался большой дом с надстройкой. Хорошо виден был расписной карниз веранды. Во дворе жарили мясо, много мяса, дым огромного очага столбом поднимался к небу.

Остановившись в сторонке, я внимательно разглядывал

всадников Осман-бая. Сапара не было видно. Тревога начала закрадываться мне в душу...

На пустыре уже полно народу. В толпе несколько пожилых женщин, снуют босые, запыленные ребятишки, а больше всего стариков и мужчин в годах — молодые сюда редко ходят.

Люди настороженно молчат. Появится кто-нибудь, поздоровается с теми, кто стоит рядом, и замолкнет, опустив голову... Сразу видно, что пришли сюда не по доброй воле и хорошего никто не ждет.

«Это стадо в любую сторону гнать можно, была бы палка в руках!» — вспомнил я. Похоже на правду. Палка в руках Осман-бая — и десятки людей, сознавая свое бессилие, стоят и ждут, что он скажет...

И все-таки Якуб врет! Будь они заодно с Осман-баем, лица у них сейчас сияли бы довольством, ведь человек, которого бай хочет казнить, шел против его справедливости! Осман-бай рад, что захватил врага, а народ, похоже, не очень...

С громким скрипом растворились большие деревянные ворота, и на пустырь выехал всадник на красивом вороном жеребце. Я сразу узнал Осман-бая. Невысокий, узкоплечий. За поясом шелкового полосатого халата наган. Он окинул взором собравшихся и направил коня в самую гущу толпы.

Осман-бая сопровождал высокий осанистый человек с пышной черной бородой. Я понял, что это Мурад-бай, хозяин красивого дома.

Несколько минут прошло в молчании. И вдруг толпа разом подалась вперед. Нукеры Осман-бая вывели из ворот какого-то юношу. Руки его были связаны за спиной. Он шел, низко опустив голову, ни на кого не глядя. Сапар! Так вот кого хочет расстрелять Осман-бай! Не в силах сдержаться, я обернулся к стоявшему рядом старику.

— Отец, в чем его обвиняют?

Тот неодобрительно покосился на меня.

— Не торопись. Сейчас скажут.

Я начал оглядывать людей, неужели Сапару никто не сочувствует?

Лицо старика, к которому я обратился с вопросом, было сумрачно и непроницаемо. Другой, стоявший шагах в трех от меня, высокий, с белой до пояса бородой, что-то бормотал себе под нос, изредка бросая на Осман-бая быстрые недоверчивые взгляды.

Щуплый востроносый человечек в старом халате, подпоясанном пестренькой веревочкой, то и дело приподнимался на носки и беспокойно вытягивал шею, пытаясь хоть что-то углядеть. Потом, сообразив, видно, что дело это безнадежное, успокоился и опустил голову, уже не пытаясь увидеть ничего, кроме мысков своих загнувшихся от ветхости чокаев.

И еще одно лицо привлекло мое внимание. Низенькая плотная старушка неотрывно глядела на Сапара и, вытирая глаза концом головного платка, шептала, ни к кому не обращаясь:

— Что ж ты, сынок? Неужто не знал, что схватят? Бежать бы тебе!..

Нет, не похоже, что все в этой толпе так уж согласны с Осман-баем... Осман-бай силой заставил народ прийти сюда. Холодным взглядом окидывает он толпу, отыскивая преданные, раболепные физиономии. Их нет. Почти нет. Не радует людей предстоящая казнь.

— Народ! Слушай меня!

Осман-бай выкрикнул эти слова густым, хрипловатым голосом. И откуда он в такой тощей груди?

— Я буду говорить! Вы собрались, чтобы выслушать меня, и я благодарен вам за уважение! — Теперь он говорил тише, не напрягая голос, уверенный, что все будут внимать ему безмолвно.— Особенно я благодарю аксакалов, мне понадобится сегодня их совет. Вы уважаете меня, я уважаю вас. Потому я и просил вас собраться.

Люди молчали. Лишь несколько одобрительных возгласов было ответом Осман-баю. Сапар приподнял голову, исподлобья оглядывая собравшихся. Я пригнулся, прячась за высоким стариком, Сапар не должен меня видеть.

— Люди! — продолжал Осман-бай.— Не похвально у нас с вами получается. Не даем мы отпора врагам. А пока красные не почувствуют настоящую силу, они нас в покое не оставят. Сегодня на рассвете эти злейшие враги рода человеческого опять совершили налет на станцию. Было много жертв. Погиб полковник, любимый слуга белого царя. Конечно, так ему на роду было написано, иначе всевышний не допустил бы его гибели. Он был не хуже мусульманина, этот белый начальник! Если мы не проявим твердости, если допустим, чтоб в стране верховодили богохульники, значит, мы отступили от праведного пути! Это говорю вам я, это же скажут вам святые отцы! И тем, кто помогает поганым безбожникам,— Осман-бай приподнялся на стременах и высоко взмахнул плетью,— тем, кто про-

дает свой народ, свою веру, не место среди правоверных мусульман! Третьего дня один из ваших односельчан опозорил свою деревню. Вместе с поганым кяфиром он повредил железную дорогу...

— Бай-ага,— послышался голос из толпы,— а кто их убил, Хуммета и того, русского? Мы хотим знать.

— У полковника надо было спрашивать. Опоздал, парень.— Мурад-бай засмеялся.

Осман-бай повысил голос:

— Кто бы их ни убил, им нет места на нашем кладбище! Это мой приказ. И если кто ослушается приказа, того ждет судьба этого выродка,— Осман-бай плеткой указал на Сапара.— Люди! Я призвал вас, чтобы спросить: какого наказания заслужил отступник, изменивший своему народу? Повесить его или живым закопать в землю?

Толпа зашевелилась, но голосов не было слышно. Старики переглядывались, храня невозмутимое молчание.

Кажется, баю это не понравилось. Он откашлялся, дернул узду, заставив коня сделать несколько шагов вперед, повернул его вправо, потом влево и закричал, привстав на стременах:

— Говорите, люди! Не бойтесь!

— А в чем его вина? — крикнул кто-то из дальних рядов.

— Вина?! — голос бая прозвучал угрожающе.— Вы спрашиваете, в чем его вина? Он освободил преступника! Устроил побег неверному! Он кяфир и предатель! Вдвое кяфир и предатель — он освободил красного, убийцу своего родного брата!

Толпа угрожающе загудела.

— Не верьте ему! — раздался высокий голос Сапара.— Не верьте!

Осман-бай несколько раз с силой взмахнул плеткой. Сапар смолк.

К толпе обратился Мурад-бай.

— Что ж, соседи,— миролюбиво начал он.— Темнеет уже, чего ж даром время терять. Осман-баю нужно согласие на казнь. Мы, туркмены, с незапамятных времен беспощадны к врагу, так завещали нам предки. Человек, подавший врагу руку помощи,— тоже наш враг. Хуже чем враг!

Мурад-бай замолчал, считая, что сказал достаточно. Люди тоже молчали. Было тихо, лишь издалека доносился истошный собачий лай. Осман-бай недовольно косился в ту сторону, словно собака лаяла на него. Кто-то кашлянул.

Потом где-то возле Осман-бая раздался низкий, глуховатый голос:

— Я вот одного никак в толк не возьму, бай-ага...

Осман-бай повернул коня в сторону говорившего. Мне была видна только приплюснутая с редкой шерстью шапчонка. Я приподнялся на носки, но лица говорившего не увидел, он был мал ростом.

— Мы тут про врагов толкуем... Этот начальник, какого красные убили, как там вы его зовете...

— Да как бы ни звали,— раздраженно отозвался Осман-бай,— говори, что хочешь сказать.

— А я то и хочу сказать, что по-вашему выходит, тот убитый не враг нам был... Вроде друг даже... А люди его до сих пор нас мордуют! Ведь последнюю овцу отымают! А Хуммет, бедняга, или вот этот парень, получается, враги! Их убивать надо... Не пойму. Ум за разум заходит...

В толпе зашумели.

— Да не слушайте вы его! — громко выкрикнул Мурад-бай.— Раз у него такой племянник, как Ахмед, от него ничего путного не дождешься. Тебе, Нумат, только людей в сомнение вводить. Неужели мы станем жалеть кусок хлеба для тех, кто обороняет нас от красного дьявола...

— Тебе-то что! — тотчас отозвался Нумат.— Ты всегда свое богатство сбережешь. А у нас последнюю козу уводят...

В толпе захохотали, и все голоса покрыл громкий насмешливый голос Нумата:

— Я им вместо козы пса своего подсунул. Нагрянули в деревню солдаты того самого, ну которого не выговоришь, учуяли, навозом пахнет, и в хлев. А у меня там Аджар привязан. Крик подняли: зачем собаку в хлеву держишь? А я говорю, баранов вы всех свели, вот я и привязал собаку. Берите, коли нужна. У меня еще одна осталась. Взяли. И псом не побрезговали. Теперь за мной очередь...

— На кой ты им сдался! — выкрикнул какой-то весельчак.— Собака хоть лаять может, за ногу схватит, если что. А тебе и куснуть нечем. Три зуба, да и те от ветра шатаются.

По толпе прокатился смешок. Осман-бай, разгневанный, привстал на стременах.

— Люди! — громко произнес он и умолк, ожидая тишины.— Я собрал вас сюда не для веселья. А ты, Нумат, держал бы язык за зубами. Пожалеешь, да поздно будет!

— Да где их взять, зубы-то?..— Нумат громко рассмеялся.

Осман-бай натянул поводья.

— Ты меня не гневи, бездельник,— прошипел он, тесня Нумата конем.— Я твой поганый язык вырву! — И он отвернулся, показывая, что считает Нумата недостойным дальнейшего разговора.— Люди! Мне не нравится то, что происходит. Вы слушаете недостойные речи и не даете отпора болтунам. Может, потому этот нечестивец и был пойман здесь, возле вашей деревни. И Ахмед-разбойник шатается где-то поблизости, значит, тоже находит у вас прибежище. Я уверен, что кяфир и отступник, который стоит сейчас перед нами, из одной шайки с бандитом. Все это опасно, люди! Очень опасно! Я позвал вас, чтобы вместе решить, как нам бороться с этой нечистью, а вместо разумного совета слушаю пустую болтовню. Это не по обычаю. Скажи, Кадыр-ага, я не прав?

Высокий, представительный старик, стоявший неподалеку от Осман-бая, откашлялся, готовясь ответить. Сразу стало тихо. Видимо, от старика ждали достойного ответа.

И он заговорил медленно, с достоинством, сознавая вес своего слова.

— По-своему, ты, наверное, прав, бай-ага,— старик помедлил, окинув взглядом толпу,— но и с народом считаться надо...

Осман-бай опешил.

— Разве я не считаюсь? Я же позвал вас для совета.

— Я не о том, бай-ага! Мы два дня не можем предать земле тела погибших. Это против обычая!

— Для кяфиров и тех, кто хуже кяфиров, нет наших обычаев. Их поганому праху нет места на нашей земле!

— Мы не понимаем таких слов, бай-ага! Их смысл слишком темен для нас!

— Темен, говоришь? — Осман-бай усмехнулся.— Ну, если темно, отложим разговор до утра,— и добавил с угрозой: — Подумайте, люди. Крепко подумайте. Завтра утром мы соберемся здесь же и вы скажете мне свое слово.

Осман-бай повернул к воротам. Следом за ним во двор провели Сапара. И ворота закрылись.

Я медленно шел по кладбищу, обдумывая происшедшее. Значит, Сапар здесь, во дворе Мурад-бая... Полковник убит... Станцию наши, скорей всего, не захватили, иначе Осман-баю не до казни было бы...

Что же делать, на что решиться? Никогда я не знал таких забот, не решал таких трудных вопросов. Но одно было ясно — Сапара я должен спасти. И теперь же, сегодняшней ночью, завтра будет поздно! Правда, в том, как

вели себя на сходке люди, было что-то дающее надежду, но рассчитывать на них нельзя...

Прихватив спрятанный в камышах кувшин с водой и чурек, я вернулся к Якубу.

Он молча схватил кувшин. Пил, жадно глотая воду, а я рассказывал ему, что видел в деревне. Не мог я поверить, что судьба Сапара его не тронет. Но, когда Якуб, до дна осушив кувшин, привольно раскинулся на траве и принялся за чурек, я, даже не видя его лица, понял, что все это ему совершенно безразлично.

Больше я не сказал ни слова. Якуб тоже молчал. Мы словно сговорились слушать степных чаек. С немолчным криком носились они над нами: одна замолкнет, начинает другая, ни на миг не замолкает их пронзительный, тревожный гомон.

Совсем рядом, возле моих ног, послышался легкий шорох. Еж, а может, и змея... Поохотиться вышли. У каждого свои дела, свои заботы...

— Вот проклятье! — Якуб перевернулся на живот.— Неужто и ночью такая духота будет?

Я промолчал.

— Так что, ты говоришь, с этим, как его?..

— Быстро ты забыл его имя. А он тебе вчера жизнь спас! Нет, Якуб, все-таки вы настоящие бандиты: и ты, и Осман-бай со своей шайкой. Третьего дня одного брата убили. Завтра другого прикончить надумали. Да еще народ обмануть. Чтоб люди сами сказали вам «убей!». Только не дождется этого Осман-бай. Народ видит, кто прав, кто виноват.

Якуб лениво перекатился на спину.

— Не дождется, без разрешения убьет.

— Я вижу, тебе этого очень хочется.

— Да при чем тут хочется, не хочется... Всегда так делают. Помню, еще мальчонкой был, свел у нас какой-то дурень барана. Что для нас баран — капля в море, но отец целое дело раздул. А почему? Да потому, что, если спустить, завтра пять украдут, послезавтра — десять. Так или иначе, вор отыскался. Да и вор-то не вор, просто бродяга... Даже не продал... Сожрал с голодухи...

Ну, отец, как положено, сход собрал, что, мол, с преступником делать будем.

Судили, рядили, все старались, чтоб по справедливости, словно от них и правда что-то зависит. Один предлагает, чтоб отработал он за барана, другой говорит: «Высеки при всем честном народе, чтоб неповадно было». Нашелся и

такой умник, что уговаривал простить: что, мол, тебе проку в этом баране, ты отарам счет потерял... В общем, болтовни много было. Но как только отец сказал свое слово, все как воды в рот набрали. А ведь ни один с ним не согласился — отец-то палец вору решил отрубить! Цыкнул, сразу хвосты поджали!

— Думаешь, и завтра так будет?

— И завтра, и послезавтра, и всегда!..

— А вот не будет! — закричал я.— Не будет! Сапар не бродяга, который скотину со двора уводит! Не допустят люди несправедливости!

— Можешь орать сколько влезет, это ничего не изменит.

— А если большинство скажет: помиловать?

— Что бы они там ни говорили, Осман-бай парня не отпустит. Как ты не понимаешь, это же конец его силе! Бай наплюет на всех и сделает по-своему.

Как Якуб это говорил! Словно сам Осман-бай сидел сейчас передо мной и хвастался силой, заранее уверенный в победе. Но я должен уговорить его. Одному мне не спасти Сапара.

— Ладно, Якуб,— сказал я,— не будем спорить. Сапару мы оба обязаны жизнью. Теперь он в опасности. Нужно что-то придумать. Ты же сам говорил, добро за добро — закон мужественных!

Якуб мечтательно глядел в небо.

— Вот говорят, звезда упала — человек умер... Смотрю, смотрю — ни одна не падает... Что-то больно редко люди умирают...

Я с трудом удержался, чтобы не ударить его.

— Якуб, я хочу понять одно.

— Да?

— Если бы Сапар был красным, ты бы его не пощадил, это понятно.

— Разумеется, не пощадил бы.

— Но ты отлично знаешь, что он никакой не красный. Он простой батрак, он даже примкнул к Осман-баю! Единственная его вина в том, что он освободил нас.

— Ну не нас, а тебя. А ты красный.

— Значит, ты не пойдешь со мной?

— Куда?

— В деревню! Спасать Сапара.

Он помедлил, потом спросил насмешливо:

— Хочешь, чтоб и моя звездочка завтра упала?

— Трус! — коротко сказал я и поднялся с земли.

— Постой...— Якуб зашевелился.— А солдаты полковника в деревне?

— Солдаты не знаю, а полковника твоего уже на свете нет!

— Как нет? — Якуб вскочил.

— Убили утром в перестрелке.

— Убили? Это точно?..— Он одернул на себе гимнастерку, подумал немножко.— Тогда я пошел.

— Куда?

— Пока не знаю. Но здесь мне делать нечего.

— О Сапаре ты, значит, уже забыл?

— Слушай, не морочь мне голову! Выбирайся отсюда, покуда темно, и не лезь не в свое дело... Пойми, Осман-бай все равно сделает так, как захочет. И никто даже пикнуть не посмеет. Не валяй дурака, спасай свою голову.

Я слышал, как шелестела под его ногами трава, потом вдалеке затрещали сучья, и все стихло.

Вскоре в деревне громко забрехали собаки. Значит, Якуб там, пошел прямо к Осман-баю. Для Сапара это еще хуже. Якубу нужно будет обелить себя, и он потребует его смерти. Теперь я не сомневался, этот человек способен на все.

Но, может быть, народ все-таки встанет завтра на защиту Сапара? Плохо только, что никто не знает правды, люди не понимают, почему Сапар освободил меня. Осман-бай сказал, что я убийца, убил Сапарова брата. А они верят...

Пойду по кибиткам. Расскажу все как есть... А если схватят, выдадут меня Осман-баю? Все равно надо рисковать, другого выхода нет!

Когда я подошел к крайнему дому, деревня уже затихла. В кибитках темно, голосов не слышно, очаги еле тлеют.

И только в байском дворе с треском вздымается вверх жаркое пламя тамдыра. Едва огонь слабеет, опускаясь за высокую стену, все вокруг сразу погружается в темноту и густая зелень садов плотной тучей ложится на деревню...

Невдалеке послышался печальный напев.

...В Аркаче, возле высоких зеленых гор, жили когда-то юноша и красавица девушка по имени Айна. Они с детства любили друг друга и жили мечтой о счастье. Но богатая родня Айны воспротивилась, не захотела соединить влюбленных. Черная туча разлуки распростерла над ними мрачные свои крылья.

Тогда, чтобы спасти свою любовь, они решили бежать, уйти за горы, в чужие края.

Задыхаясь, изнемогая, карабкаются влюбленные по горам, они знают, что погоня идет по их следу. А там, у подножия горы, все еще виден Аркач, видно родное селение. Там остались мать и отец, братья и сестры, друзья и подруги. Остались луга, на которых они когда-то резвились, источник, возле которого они впервые открыли друг другу свою любовь, осталось радостное, беззаботное детство... Сейчас, сейчас, едва они минуют последнюю кручу, все скроется из глаз, исчезнет навсегда... Чужой народ, чужая жизнь ждет их за высокими горами...

Тоска стиснула сердце девушки, и из глаз ее полились слезы. А юноша схватил гиджак и, не в силах унять рыданий, заиграл в безысходной тоске: «Аркач остался, моя Айна!..»

И вот сейчас на гиджаке играли эту грустную мелодию...

Мне всегда кажется, что гиджак рассказывает только о печальном. Он просто не умеет веселить. Даже в тех мелодиях, которые на дутаре звучат радостно и задорно, гиджак приглушает радость, заставляет думать: а так ли уж все это весело...

Однажды из Ахала приехал мой дядя. Он хорошо играл на гиджаке, и вечером соседи собрались послушать его.

Дядя играл посреди кибитки, а мама сидела у очага и не мигая смотрела в огонь.

Под конец дядя исполнил «Айну». Из маминых глаз одна за другой катились крупные слезы. Но никто этого не видел. Люди сидели, опустив головы, подавленные и удрученные.

Мама, отвернувшись в сторону, утирала слезы. В отблесках пламени видны были влажные дорожки от слез.

— Сыграй еще раз, Меред-джан!..

И снова протяжный, полный безысходной тоски мотив наполнил кибитку...

Мама плакала потому, что, слушая эту песню, вспоминала свою молодость, свое горе и счастье.

Бабушка овдовела, когда мама была уже взрослой девушкой. В то время мой отец, доводившийся им какой-то дальней родней, частенько наведывался к бабушке. Привозил дрова, запасал воду... Он полюбил мою мать, мать полюбила его.

Бабушка, узнав отца получше, так привязалась к нему, что, забыв о его бедности, только и мечтала видеть его своим зятем. Зато бабушкиным братьям отец пришелся не

по вкусу, и они предупредили бабушку, что не отдадут племянницу нищему.

Тогда бабушка позвала отца и без обиняков сказала ему: «Бери ее и уходите, иначе не видать вам счастья!»

Мама рассказывала мне, что когда они с отцом на рассвете ушли из дому, то, взобравшись на холм, обернулись и в последний раз взглянули на родную деревню. Собака, что бежала за ними от самой кибитки, посмотрела на них, словно прощаясь, и, скуля, тихонько затрусила обратно... «Ноги у меня подкосились, я зарыдала и упала на землю... Сколько лет прошло с тех пор, многое ушло из памяти, а как заиграют «Айну», так все и встает перед глазами...»

Гиджак замолк, весело затренькал дутар. Значит, это надолго, расходиться не думают. Подойти? Может, о завтрашнем речь зайдет? Спросят, откуда взялся, скажу, верблюдица потерялась...

Перед одной из трех стоящих в ряд белых кибиток были широко расстелены кошмы. Мужчины, человек шесть-семь, лежали, облокотясь на подушки, и слушали дутариста.

Из средней кибитки то и дело выходила хозяйка, вынося угощение. Две другие были плотно закрыты, из них доносился то сонный лепет ребенка, то заливистый мужской храп. Поодаль на просторной площадке лежали коровы, лениво пережевывая жвачку. За кибитками темнели загоны для овец, еще дальше свалены были кучи хвороста.

На очаге в котле доваривалось мясо. Я невольно проглотил слюну — за два дня я съел только пару кусков хлеба.

На мое приветствие никто не ответил. Я присел на край кошмы.

Дутарист последний раз ударил по струнам и отложил инструмент. Соблюдая приличия, все немножко помолчали.

— Если полковник убит,— послышался вдруг довольный голос,— Осман-баю туго придется...

— А хоть бы и туго,— тотчас отозвался другой голос, грубый, словно охрипший,— тебе что от этого, легче?

— Сказал тоже, легче! Мурад-бай пуще прежнего прижмет. Сколько Осман-бай полковнику отар отогнал, сколько шкурок каракулевых отвез, а Мурад-бай только в глаза ему заглядывал — не прикажете ли еще чего. И все,

чтоб Осман-бай перед полковником словцо за него замолвил. А теперь на него и управы нет. В прошлом году отары с пастбищ согнал, в этом — воду оттягать хочет. И отнимет, руку даю на отсечение. Это ж не человек — змея, чтоб ему сгнить без погребения!

— Кудахтай теперь,— насмешливо отозвался хрипатый.— Сколько раз я тебе твердил: дать надо, взятка и на небо путь откроет! Собрались бы, плюнули, как говорится, в одну яму, потрясли мошной и пошли бы к самому. С носом бы Мурад-бая оставили. Да разве вас уломаешь!

— Ну и шел бы, раз у тебя денег куры не клюют.

— Шел бы... Да если б у меня овцы порожними не остались...— хриплый голос звучал уже не так уверенно.

— Порожними! Это когда было. В прошлом году у тебя почти все матки по двойне принесли.

— Да что ты ко мне прицепился? — со злостью выкрикнул хрипатый.— Мурад-бай тебя больше всего теснит. Нравится, терпи хоть до самой смерти. Одного полковника убили — другой придет. А как придет, люди ему сразу глаза замажут, не все дураки, как мы с тобой!

— Может, такой придет, что не станет брать...— со вздохом протянул первый.

— Чего это ему не брать? — Хриплый захохотал и шлепнул себя по ляжке.— Может, ты бы не брал на его месте?

— Я? — отозвался человек с тонким голосом.— Я бы не то сделал. Будь я большой начальник, я взял бы обоих этих разбойников, Осман-бая и Мурад-бая, отобрал бы у них все богатство, посадил задом наперед на ишаков и погнал бы в пески!

— Ишь ты! — Хриплый громко рассмеялся.— Вот уж истинно — бодливой корове бог рогов не дает. Расправился бы с ними, глядишь, за нас принялся бы!

— Да уж тебе бы не спустил! И знаешь, за что? За то, что Мурад-баю зад лижешь. В том споре из-за Биюк-Кургана мы вполне могли бы взять верх, если б ты под самый конец хвост не поджал.

— Ты вот что, придержи язык,— мрачно заметил хрипатый.

— А что? — взвизгнул первый.— Что?

— А то!

Оба угрожающе зашевелились, поднимаясь навстречу друг другу.

— Да бросьте вы,— вмешался человек, сидевший бли-

же всех ко мне.— Словно петухи молодые. Лучше музыку послушаем. Ну-ка, Оджар, сыграй, милый, что-нибудь.

Дутарист нерешительно тронул струны.

— Не надо,— крикнул Хриплый и снова обернулся к противнику: — У тебя, Ата, мозги слабоваты. С Мурад-баем чего-то не поделил, так уж и Осман-бая изничтожить готов. А того не соображаешь, что, если красные придут, они тебе не то что верблюда, ни единой овцы не оставят! Будешь тогда бога молить, чтоб Осман-бай вернулся... Не приведи господи дожить...— Ата молчал. Хриплый прокашлялся и заговорил уже спокойно: — Не будь у нас Осман-бая или другого кого с длинной палкой, наши с тобой односельчане все бы вверх дном перевернули. Ведь что с народом творится! Словно кто порчу наслал... На самого Осман-бая хвост поднимают... Ну ничего, этот с ними справится. Вот посмотри, как он завтра всех крикунов разделает! — Хриплый помолчал, ожидая, не будет ли противник возражать, и добавил умиротворенно: — Осман-баю, бедняге, тоже нелегко. Нет чтоб дома на ковре лежать, мотайся по всей округе... Ну ладно, это все понятно, сыграй-ка что-нибудь, Оджар.

Дутарист заиграл нежную страстную мелодию. Люди, разгоряченные спором, только что готовые схватиться в драке, полулежали теперь на подушках, умиротворенные музыкой. Потом они зашевелились... И каждый говорил одно и то же: «Молодец!»

Сейчас будут ужинать. Я встал. Странные люди, даже не спросили, кто я. А просто встать и уйти неловко...

— У нас тут верблюдица ушла, трехлетка...— неуверенно пробормотал я.— Не видел кто? Второй день ищу...

Хриплый усмехнулся.

— Не такое сейчас время, чтоб из-за одного верблюда два дня по степи рыскать. Сидел бы ты лучше дома...

Я молча повернулся и пошел.

— Эй, парень! Поешь с нами,— крикнул мне кто-то вдогонку.

Я не отозвался. Тревожно было у меня на душе. Что, если здесь много таких, как эти? Нет, не может быть... В бедных черных кибитках людям сейчас не до сна. Они ворочаются с боку на бок и думают об одном: какую же справедливость выкажет им завтра Осман-бай?

Мимо проехал старичок на ишаке. Я спросил, где живет Нумат. Старик показал. Вроде это была та самая кибитка на бугре, откуда утром слышался отчаянный собачий брех.

И правда она. Пес и сейчас встретил меня заливистым лаем. В очаге перед кибиткой вспыхнуло пламя, и я разглядел сидевшую у огня женщину. Изнутри донеслись мужские голоса. Люди говорили негромко, я не мог разобрать слов, но мне почему-то показалось, что это хороший разговор, и у меня немножко отлегло от сердца...

Из кибитки один за другим вышли пятеро мужчин. Трое последовали за высоким стариком, один в нерешительности остановился у очага.

Я почтительно поздоровался. Высокий старик ответил на мое приветствие, не останавливаясь, пошел дальше. Я успел узнать его голос, это был Кадыр-ага.

— Отец,— сказал я ему вдогонку,— это кибитка Нумата?

Старик остановился.

— Зачем тебе Нумат? — спросил он, недовольный, что его задержали.

— Да надо бы повидать...

— Ну, если нужно, сиди и жди! Ты тоже, Ахмед,— крикнул он человеку, стоявшему возле очага,— жди нас. И чтоб тебя никто не видел. Понял?

Ахмед быстро догнал старика.

— Кадыр-ага, зря вы идете. Лучше я. Я, может, и много глупостей наделал, но сегодня без меня не обойтись. Чует мое сердце, в беду попадете. Верно говорю. А мне и помереть-то — раз плюнуть!

— Ахмед,— старик говорил доброжелательно, но строго,— ты забыл порядок — младший слушает старшего. Сиди и жди нас.

Я стоял, пытаясь сообразить, что здесь происходит. Куда пошли эти люди? И почему Нумата нет дома... Кадыр-ага и его спутники давно уже скрылись в темноте, не слышно было и шелеста травы под их ногами, а человек возле огня все глядел в ту сторону, куда они ушли. Кадыр-ага назвал его Ахмедом. Ахмед... Ахмед...

«Раз у него такой племянник, как Ахмед...» Это Мурад-бай сказал. А Кадыр-ага велел, чтоб Ахмед никому не показывался... Он вроде сердит на этого парня, не согласен с ним в чем-то... Может, это и есть тот самый Ахмед?

В кибитке заплакал ребенок. Женщина поднялась и ушла. Мы сели на расстеленную перед очагом кошму. Ахмед подбросил в огонь колючку. Она вспыхнула, и пламя, рванувшись вверх, осветило покосившуюся камышовую дверь кибитки. Камыш свисал лохмотьями, как драная рубашка сироты...

Перед кибиткой пустырь. Налево громоздилась куча сухой колючки, справа был привязан ишак. Он беспокойно крутился вокруг кола и, как только кто-нибудь приближался к дому, начинал орать, ища сочувствия. Не похоже, чтобы его сегодня кормили.

Огромный пес лежал поодаль, положив голову на лапы, и беззлобно поглядывал на меня: «Сиди, раз хозяйка разрешила, я лаять не стану...»

Ахмед сидел лицом к очагу, скрестив перед собой ноги. Освещенный пламенем, он был мне хорошо виден. Не решаясь первым нарушить молчание, я внимательно разглядывал парня.

На вид ничего особенного. И одет неплохо, пожалуй, даже с шиком: полушелковый в полоску халат, черные сапоги, черная с крупными завитками шапка, так одеваются на праздник чабаны. А вот лицо какое-то странное. Холодные, чуть навыкате глаза неотрывно смотрят за мою спину, в притаившуюся вокруг костра темноту, тонкие губы плотно сжаты, прямой нос, острый подбородок — все застыло в напряженном ожидании. Чувствуется, что, если лицо это вдруг оживет, если застывшие глаза вспыхнут живым блеском, Ахмеду уже не усидеть, бросится вслед за ушедшими.

Из кибитки снова вышла женщина и молча опустилась на землю у огня. Снизу лицо ее до самого носа было прикрыто яшмаком, платок спущен на глаза, был виден только некрасивый толстый нос. Я не мог разглядеть ее глаза, но по тому, как не отрываясь смотрела она в огонь, чувствовал, что женщина глубоко встревожена.

Что же все это означает?

Женщина поставила перед нами чай и чуреки. Я налил в пиалу чаю, вылил его обратно в чайник, опять налил в пиалу и взглянул на Ахмеда. Тот по-прежнему сидел неподвижно, устремив взгляд в темноту. Я решил заговорить.

— Куда это они так поздно?

Ахмед взглянул на меня, снял с головы шапку, бросил под локоть и заворочался, устраиваясь поудобнее. Наверное, сейчас глаза у него были другие, но я их не видел — огонь в очаге едва теплился, и лицо Ахмеда смутно белело в темноте.

— Да это все Кадыр-ага,— он безнадежно махнул рукой.— Время только зря потратит. А ты сиди и жди как дурак...

Ахмед вскочил, прошелся перед кибиткой, сидеть ему было невмоготу.

— Ты откуда сам? — усаживаясь перед очагом, спросил он меня.— Что-то я тебя вроде не признаю.

— Зато я тебя знаю.

— Знаешь? — удивился Ахмед.

— Слышал про тебя. Сегодня сам Осман-бай помянул твое имя.

Парень довольно хмыкнул.

— Помянул, значит? Ничего, он меня теперь долго поминать будет. До самой смерти не забудет Ахмеда! А ты чего про Нумата спрашивал? Дело какое?

— Да я насчет этого парня... Которого Осман-бай казнить хочет... Сапаром его зовут. Слышал?

— Рассказали... А ты ему кто, брат?

— Нет. Просто он меня из плена освободил.

Ахмед вздрогнул, глянул на меня широко открытыми глазами.

— Тебя? А говорили, вроде двоих...

— Двоих. Только так выпало, что второй — тот, кто его брата убил.

Как только я назвал имя Якуба, Ахмед встрепенулся и пересел ко мне поближе.

— Значит, тот самый полковничий прихвостень?.. Пять дней, дурак, по пескам за мной рыскал. И все без толку. Эх, повидаться бы с ними сегодня ночью... Когда еще такая удача выпадет — все птички в одно гнездышко слетелись!

И Ахмед в досаде шлепнул себя по голенищу сапога.

— С Нуматом-то они знаешь что удумали? После сходки, как стемнело, подскакали, связали его и увезли!

— Что ж, от Осман-бая всего можно ждать. А куда сейчас ваши пошли?

— К баю,— Ахмед усмехнулся,— милосердия байского просить.

— Зря. Без толку это.

— А я про что? — Ахмед хлопнул меня по плечу.— Тут так надо: или терпи, чего б они с тобой ни вытворяли, или самих за глотку бери. Он, старый чудак, думает, потолкует сейчас с Осман-баем и приведет их: и Нумата, и того парня... Да я голову даю на отсечение, бай им даже двери не отворит. Бедняцкому слову ни на земле, ни на небе весу нет!

Ахмед не находил себе места: ложился, вставал, садился... Потом, словно убедившись, что проку от его рас-

суждений все равно не будет, махнул рукой, встряхнул лежавшую на кошме папаху и со вздохом напялил ее на голову.

— Нумат тебе кем доводится?

— Дядя.

— Смелый он человек. При всем народе Осман-баю правду сказал. В глаза. И бай испугался. Потому и схватить велел, что испугался. Дядя твой молодец!

— Молодец? — Ахмед насмешливо фыркнул, снова сорвал с головы шапку и бросил ее на кошму.— Глупец он, а не молодец! Уму-разуму решил бая учить. То-то он, бедняга, не знает, что делает!..

— Бай-то все знает. А вот народ не все знает, не все понимает, поэтому другой раз и верит ему... Вот людям и надо растолковать, что к чему. Все хитрости байские раскрыть.

— Да при чем тут хитрости? — Ахмед пренебрежительно махнул рукой.— Сила у них — это да! Потому и брать их надо силой. Выдюжишь, твой верх будет, а нет, так два выбора: или погибнешь, не согнув перед ними спину, или век будешь хвост поджимать.

— А по-твоему, это не хитрый ход — собрать людей вроде как для совета и заставить их мысли свои высказать?

— А чего ж тут хитрого? Пастухи всегда так делают. Надо баранов отобрать на убой — всю отару в загон. И бай так же: согнал народ в одно место и высматривает, кто поязыкастей! Вот дураки и попадаются.

И он стал укладываться на кошме, уверенный, что убедил меня.

— А я думаю, Нумат вовсе не дурак!

Ахмед снова сел.

— А если не дурак, нечего болтать попусту. Видишь, неправое дело творится, дождись ночки потемней и снеси обидчику голову.

— Нет! Промолчи Нумат, как другие, бай еще вчера расправился бы с Сапаром. А голову снести? Можно, только с кем ты пойдешь на такое дело?

— Мне помощники не нужны,— Ахмед усмехнулся.— Сам как-нибудь управлюсь. С одним уже рассчитался. Третий месяц как в ад отправил.

— А за что? Расскажи!

— За дело,— Ахмед помолчал, неподвижно глядя в огонь.— Я ведь не всегда в песках бродяжил, жил как люди живут... С матерью, с сестренкой... Дровами промыш-

лял... Если с почевкой уйду, саксаула вьюк привезу, если к вечеру возвращаюсь, черкезом верблюда навьючу...

Жил как птица небесная... Где-то, толкуют, племена одно с другим схватились, там кровник кого-то убил, все мимо меня шло... Слава богу, саксаула в песках хватает — не вода, никто со мной свары не затевал. Племенной вражды я тоже не знал, у меня и родных-то, почитай, один Нумат с женой... Чего меня так и забрало-то, ведь единственный брат моей матери. Такой же богач, как я.— Ахмед помолчал, вздохнул невесело.— Деревня моя отсюда не близко, полдня добираться, если верхом... Бай у нас там был богатый, племянник этого самого Осман-бая... Вот ему-то я и снес голову...

Он сестру мою сватать прислал во вторые жены. А я что, дурак, на муки сестренку отдать? «Убирайтесь, говорю, откуда пришли!» Думал, отстанут. А тут как-то вернулся из песков — с почевкой в тот раз уходил,— мать рыдает, волосы на себе рвет... Оказывается, прискакали двое, схватили девчонку — и через седло!..

Сам знаешь, на бая жаловаться некому... Три дня, три ночи на кошме провалялся. Глаз не сомкнул, крошки в рот не взял. Истаял наполовину, на висках седина проступила. Думал, отсижусь в кибитке, а то увижу кого-нибудь из байского рода или даже вещь их какую, взбунтуется во мне кровь, не смирить!..

И знаешь, как навалится на тебя беда, тесно душе, словно ущельем идешь, а по бокам горы высокие. Ни в чем сладости нет: ни в еде, ни в сне, ни в беседе... День и ночь Черкез-бая перед собой вижу, с ним одним разговор веду... А мать все молчит, смотрит, а я от этого ее взгляда зубами скрипеть начинаю... И понял я, что не совладать мне с собой. Не отомщу Черкез-баю — спячу!

Взял я верблюда и ушел из деревни... А на третий день повстречался мне в песках один человек... Выменял я у него коня на своего верблюда... Наган он дал мне в придачу... Отвез я мать к знакомому чабану, а сам ближе к ночи в деревню вернулся.

В полночь пошел к Черкез-баю. Садом прокрался... И увидел его: развалился на топчане, брюхо к самому небу выпятил, храпит, как кабан. А рядом сестра моя, бедняжка, в комочек сжалась, всхлипывает во сне...

Словом, порешил я его... Сестру забрал, отвез к матери, а сам с той поры из седла не вылезаю... Сказать по правде, измаялся я от такой жизни. Словно бы и дня для тебя нет, по ночам живешь, как летучая мышь. Радости

мало. А зато терять нечего. Пусть эти негодяи пальцем тронут Нумата! Сам сдохну, а Осман-баю не жить!

Спорить с Ахмедом мне не хотелось. Человек поведал мне свою жизнь, свою беду. Сказать, ты поступил неправильно, значит обидеть...

Он вздохнул.

— Ахмед! — позвал я его.

— Чего тебе?

— Вот ты убил Черкез-бая, утолил свою ненависть?

— Что ты! Семь поколений поганого его рода истреблю, и то сердце не успокою. Навек они мои враги. Да и Осман-бай меня не помилует, приди я сейчас к нему с повинной. Только я не пойду. Я буду их истреблять. Меньше зла людям сделают!

— Это правильно, только...

— Чего «только»? Ты, может, со мной не заодно? — Ахмед недовольно взглянул на меня.

— Да заодно, заодно. Не кипятись без толку. Подумай лучше: убьешь ты Осман-бая, а как же Нумат с Сапаром?

Ахмед притворно вздохнул.

— Ну что ты будешь делать? С кем ни потолкую, все умней меня! Угораздило же дураком родиться!

— Ты на другое разговор не переводи! — я немножко повысил голос.

На Ахмеда как кипятком плеснули.

— Не ори, слышишь? Я ведь тоже орать умею. И довольно меня учить — сидеть сложа руки да бога благодарить, что на свет пустил, я все равно не буду!

— Да не сидеть — сообща надо действовать. Вот завтра все вместе поднимем головы — Осман-баю и некуда деваться.

— Ха! — Ахмед ехидно ухмыльнулся.— Все. Кому это охота голову за тебя под нож совать? Знаешь, как люди говорят: «На том ишаке моей поклажи нет, хоть и падет, не жалко!»

— А вот и неправда. Нумату Сапар никто. Ни сват, ни брат. Первый раз в глаза видит. А встал за него. Нет, парень, не так уж плохи люди...

— Ну как знаешь... У меня свой порядок: что решил сделать ночью, на утро откладывать не стану. А солнышко встанет, ищи ветра в поле. Пески велики.

— Нет, Ахмед! Тебе не в пески, тебе со мной идти надо.

— Это куда ж?

— К красным.

— К кра-а-сным? — протянул он.— А чего это я у них забыл?

— Во-первых, с людьми будешь...

— С людьми... Значит, слушаться? А вдруг они не велят убивать Осман-бая? Я ж все равно по-своему сделаю. Что мне тогда твои красные скажут?

— Скажут: зря, один в поле не воин.

Ахмед ничего не ответил, только рукой махнул...

Кадыр-ага вернулся ни с чем. Их даже во двор не впустили. Старик был мрачен, он не знал, что сказать, и лишь качал головой и непрерывно поглаживал бороду. Все молчали.

Высокий худощавый парень — один из тех, кто ходил с Кадыром-ага,— опустился на пень, снял свою папаху, напялил ее на колено и сказал, задумчиво поглаживая завитки:

— Мурад-бай-то каков! Отозвал меня в сторонку: «Если, говорит, детишек своих жалеешь, уходи, пока Осман-бай не видел. Нрав у него крутой!» Вы слышали, Кадыр-ага? На испуг брал!..

— Слышал, сынок... Я все слышал,— старик сокрушенно вздохнул.— Взбесились они. Черту преступили.

— Они преступили, и мы преступим.— Ахмед вскочил.

Кадыр-ага с сомнением покачал головой.

— Преступление не ведет к справедливости.

— Эх, Кадыр-ага, хороши ваши рассуждения, да не ко времени. Ночь проходит. Снимите с меня запрет.

И он, не дожидаясь ответа, начал оправлять на себе пояс с кинжалом.

— Трудно мне сейчас тебя отговаривать, слов нет нужных... А все же подумай, сынок. Крепко подумай.

— В таких делах туркмены недолго думают. Сразу за саблю хватаются.

— Правильно, но это когда силы равны. Ты ж один.

— А эти? — Ахмед показал рукой на сидящих у очага людей.— Что они, не мужчины? Ну, кто со мной пойдет?

Сидевший на пне парень неторопливо поднялся.

— Я пойду. Лучше, видно, ничего не придумаешь... Пробовали уговорить, не вышло. Другое придется попробовать.

Парень в островерхой тюбетейке тоже поднялся с места.

— Я знал, что так получится. Кадыру-ага перечить не хотелось... Не говорил я тебе, что без толку идем? — он обернулся к высокому.

Тот кивнул. В очаге вспыхнул саксаул, ярко осветив его лицо: большие глаза, толстые оттопыренные губы. Невозмутимость, с которой он говорил и двигался, могла значить одно — этот человек решился.

— Ну что ж, давайте,— это сказал третий из ходивших с Кадыром-ага — коренастый невысокий человек.— Идти так идти.

Ахмед обернулся ко мне.

— Ну, а ты как? До завтра подождешь?

— Я с вами. Но послушай, что скажу. Мы идем людей вызволять. А оружие?

Ахмед выхватил из кармана наган.

— Вот!

— Один на пятерых?

— Осман-баю одной пули хватит.

— А как же Сапар с Нуматом?

— Слушай, чего ты тянешь? А болтали, красные против баев...

— Не кипятись, Ахмед. Дай хоть я растолкую людям, кто я...

Высокий мужчина раздраженно обернулся к Ахмеду.

— Ну, правда, помолчи. Дай человеку сказать.

— Да какой сейчас разговор? — недовольно проворчал коренастый.— Идти надо.

Ахмед буркнул что-то себе под нос и, пожав плечами, отошел: болтайте, если больше делать нечего!

Я, торопясь и сбиваясь, рассказал им то, что уже было известно Ахмеду.

— Надо же,— изумленно протянул высокий.— Вот как тут не объяснять? Да мне б самому ни в жизнь не догадаться.

— Еще бы!..— презрительно отозвался коренастый.— До долговязого полдня доходит.

— Вот что, ребята,— строго сказал Кадыр-ага.— Сейчас не до пререканий. О деле говорить надо.

— А чего о нем говорить? — разозлился коренастый.— Осман-бай решил их убить. Попытаем счастья, может, выручим!

— Да!..— не отвечая ему, протянул Кадыр-ага и неторопливо погладил бороду.— А ты, выходит, нужный нам человек,— он обернулся ко мне,— растолковать бы все это нашим. Вот что, сынок, ты иди с ними. А соседям я сам все перескажу. Сейчас прямо и пойду по деревне. Иди, сынок. Только уж вы поосмотрительней...

— Хорошо, отец. Не беспокойся. К рассвету мы будем здесь.

— Постой. Возьми хоть нож — все не с пустыми руками...

Мы решили зайти сзади, с той стороны и сад гуще и от ворот дальше. Ахмед злился и ворчал — тоже еще надумали, темноту искать. Я слушал его, нисколько не сомневаясь, что лучше всего было бы вернуться, ведь мы почти безоружны...

У меня нож, у высокого — его звали Вели — старинное ружье, не ружье, а одно название, он и несет-то его на плече как палку... У второго болтается сбоку какая-то штука, гремит, по ногам бьет, словно полено, что подвешивают блудливой корове. Наверно, сабля... Схватили по дороге кто что успел...

Подошли к байскому двору. Ахмед, все время вырывавшийся вперед, остановился, дождался, пока мы подойдем, и строго сказал:

— Отсюда — ни с места. Ждите меня. Я все разузнаю.

Неслышно ступая в темноте, Ахмед нырнул во мрак, как в бездонную реку. И мне подумалось, что показать свою смелость и сноровку ему сейчас едва ли не важнее, чем освободить пленных.

Сад с этой стороны разросся очень густо, здесь было как-то особенно темно. Мрак становился все гуще, все плотнее окутывал нас...

Муллы учат, что всеми нами правит аллах и нет у человека иной судьбы, чем та, что начертана на его лбу всевышним. А если человек выходит из-под его воли? Ведь будь Ахмед послушен аллаху, живи он по-прежнему лишь заботой о пропитании, все было бы правильно — судьба. А он не подчинился судьбе, взял в руки наган, стал мстить... Так несправедливость, допущенная людьми, оказалась сильней воли аллаха. И аллах уже ничего не может изменить...

Вот мы хотим освободить Нумата и Сапара. Если наша попытка не удастся, их убьют. Убьют люди. Если же мы их спасем, то не аллаху, а нам обязаны они будут своей жизнью. Все делают люди. Аллаху просто места нет на нашей грешной земле!

Странный силуэт, появившийся из темноты, отвлек меня от размышлений. Это был Ахмед, согнувшийся под тяжестью ноши.

— Ну, от сторожа избавились.

Ахмед сбросил на землю человека, тот как неживой безмолвно растянулся у его ног. Ахмед облегченно вздохнул, вытер со лба пот.

— Я его малость пристукнул. Связать бы надо и кому-нибудь остаться постеречь. Очухается, не дай бог, крик подымет! — Он обернулся ко мне: — Может, ты останешься?

— Нет, я с вами.

— Тогда ты, Беки,— Ахмед тронул за плечо коренастого.— А Курбан и Вели — с нами.

— Ты что? — запротестовал Беки.— Сам-то небось не остаешься.

— Ну, хватит торговаться,— разозлился Ахмед,— нашли время судить да рядить!

И он пошел впереди, держась в нескольких шагах от нас. Мы долго пробирались по сухому, поросшему кустарником арыку. Наконец Ахмед остановился, дождался нас и сказал строго, как говорят непослушным детям:

— Здесь перелезать будем. Только вот что, раньше времени возню не затевать. Я сам скажу, когда действовать.

Я оглядел стену. Высокая да еще ров вдоль нее прорыт, даже на цыпочках во двор не заглянешь. Что там внутри? Ветки деревьев время от времени озаряются светом, значит, горит очаг. Слышатся отрывистые голоса. Подул ветерок, со двора пахнуло навозом, где-то рядом хлев...

— А ну, пригнись,— Ахмед хлопнул меня по плечу.

Я еще не успел распрямиться, а его кованый сапог уже нетерпеливо ерзал по моему плечу — давай повыше! Вот человек — залез на плечи да еще каблуком наподдает, словно упрямому ишаку...

Ахмед взобрался на стену. Слава богу, тяжел же парень. Но куда он делся? Наверху не видно. Спрыгнул, услышали бы... Вроде все тихо.

Не долго думая, я тоже вскарабкался на стену. За мной влезли Вели и Курбан. Ага, здесь навес. Как раз вровень со стеной. Ахмед дополз уже до самого края. Правильно. Тут, за деревьями, нас никто не увидит. Только бы шум не поднять...

Я подполз к Ахмеду, лег рядом. Внизу никого не видно, но огонь в очаге не погашен. Неподалеку от него большое старое дерево, под ним деревянный топчан, застеленный цветастыми кошмами. Над топчаном на ветке горит

лампа, подушки смяты — здесь только что сидели люди... А, вон в углу лежат двое...

С веранды послышался громкий хохот. Ахмед толкнул меня, потянул за руку.

— Давай поближе, отсюда не видно.

Я вытянул шею, и моему взгляду открылась веранда. Люди. Сидят кучками по четыре человека — значит, возле мисок, ужинают.

Я свесил голову, внимательно оглядел двор.

— Где ж они могут быть, Сапар с Нуматом?

Ахмед отвернулся, сделал вид, что не слышит.

Мы лежали рядком, свесив вниз головы. Со стороны глядеть — точь-в-точь мальчишки ждут веселого зрелища. Ну, кому как, а нам тут веселья не видать. До чего ж глупая затея: выкрасть пленников — не знаем, где они заперты, отбить — ни людей у нас, ни оружия. Дождаться, пока заснут, врасплох напасть — тоже мало надежды. Если Якуб здесь, наверняка он велел Осман-баю часовых выставить. Теперь у них всем, конечно, Якуб заправляет. Завтра на сходке, когда будет решаться судьба Сапара, Осман-бай будет повторять то, что скажет ему Якуб. Нумата он посоветовал взять, это уж точно.

Значит так, Якуб? Ушел от смерти и теперь сидишь среди единомышленников, даешь мудрые советы? Нет мне оправдания! Никогда не прощу себе, что поверил врагу! Ничего, теперь буду умнее.

Больше я не стану спорить с тобой, Якуб, не буду ни слушать, ни опровергать тебя. Нам не о чем больше говорить. Покажись ты сейчас, я выхватил бы у Ахмеда наган.

Какой-то человек спустился с веранды, присел возле очага на корточки, взял чайники, ушел.

— Вот черти,— проворчал Ахмед,— улягутся они когда-нибудь?

— А если б и улеглись. Мы же все равно не знаем, где Нумат с Сапаром.

Ахмед сердито заерзал по крыше.

— Ничего, пусть только спать лягут. Остальное уж как-нибудь...

Прошло уже порядочно времени, вполне можно напиться чаю. А свет на веранде все не гас, голоса не затихали...

Во двор спустились трое. Впереди Осман-бай. Лица отсюда не видно, но я его сразу узнал: сложением он пожиже других, да и держится важно, словно на коне сидит.

Позади Осман-бая я без труда различил Мурад-бая. Он

намного крупнее, осанистей, но перед Осман-баем, как слуга, голову гнет...

А кто ж с ними третий? Якуб? Нет. Якуб не такой...

Лежавшие на топчане, завидев Осман-бая, встали. Ага, это нукеры. Осман-бай присел на край топчана, сказал что-то. Нукеры повернулись, пошли. Сюда идут, к навесу. Может, бай велел им осмотреть все вокруг? Нет, не доходя несколько шагов, они повернули и пошли к маленькому домику в глубине сада. Послышалось щелканье замка, и грубый голос выкрикнул! «А ну подымайся! Выходи!»

Обратно они шли втроем. Правда, третий не шел, его волокли под руки. Ноги тащились по земле, непокрытая голова беспомощно болталась.

Дотащив пленника до Осман-бая, нукеры отпустили его. Он покачнулся, но устоял. Все молчали. Казалось, собравшихся интересует только одно — упадет этот человек или нет. Им надо было, чтобы он упал. А он чувствовал это, он не хотел падать перед ними. Качнулся, словно ища опоры, оперся о собственную коленку, снова покачнулся и снова устоял.

— Ну, Нумат-хан, что скажешь? — с многозначительной усмешкой произнес Осман-бай.

— Ладно...— сквозь зубы процедил Ахмед, ловчее пристраивая наган.— Пусть он его только тронет...

— Спокойней, Ахмед,— зашептал я ему в самое ухо.— Мы пришли не затем, чтобы убить Осман-бая. Нам нужно людей спасти. Мы теперь знаем, где их держат. Возьми себя в руки. Ну не гляди в ту сторону. Прошу тебя, не гляди.

А голос Осман-бая, холодный и жестокий, звучал все громче...

— Я не намерен с тобой до утра валандаться. Не скажешь, где племянник, живьем закопаю в землю.

Я вцепился в руку Ахмеда, сжимавшую наган.

— Отстань,— злобно прошипел он.

— Убери наган,— строго сказал Вели.

Ахмед скрипнул зубами, но наган отодвинул.

Нумат молчал. Он беспомощно приподнял голову, оглядел стоящих перед ним людей и снова уронил ее на грудь.

Люди Осман-бая молчали, но в их молчании не было сочувствия к стоявшему перед ними жалкому, избитому человеку.

И вдруг Нумат повалился на землю.

Осман-бай взглянул на одного из своих людей и нагайкой, которую держал в руке, указал на Нумата. Нукер по-

дошел к пленнику, горделиво оглядел сообщников, кичась своей силой и жестокостью, и, легко подхватив Нумата на руки, сильным движением швырнул его, полуживого, на землю. Нумат судорожно изогнулся и захрипел.

Я даже не успел обернуться, раздался выстрел. Я не разглядел, упал ли кто возле Нумата, люди Осман-бая бросились врассыпную. Мурад-бай вбежал на веранду, остальные скрылись в винограднике. Под навесом заблеяли овцы.

— Ахмед,— крикнул Курбан,— Осман-бай здесь! Сюда побежал — клянусь солью!

Ахмед спрыгнул во двор. «Все! — пронеслось у меня в голове.— Сейчас он бросится к Нумату и пули изрешетят его!»

Я кинулся вслед за Ахмедом. Вели и Курбан тоже прыгнули во двор. Ахмед, успевший уже выстрелить, кричал, потрясая наганом:

— Я здесь, Осман-бай, выходи!

Я схватил Ахмеда, пытаясь удержать его в темноте. Но он отпихнул меня.

— Я не уйду без Нумата. Вставай, дядя, иди к нам. Дядя Нумат!

Нумат не шевелился.

— Ну вставай же, дядя.

Из виноградника выстрелили. Под навесом опять заблеяли овцы... А Ахмед все стоял, все ждал, что Нумат поднимется.

Там, в винограднике, поняли, что Нумату не встать, и ждали, чтоб Ахмед подошел к нему. Но я крепко держал его за халат.

Послышался шорох. Ахмед напрягся, прислушиваясь. Потом взмахнул наганом.

— Слушай меня, Осман-бай.— Он умолк, чтобы убедиться, что слушают. Шорох в винограднике стих.— Если Нумат погибнет, я истреблю весь твой род. Под корень изведу. Выходи, Осман-бай! Выходи, если ты мужчина. Выходи, гроза беззащитных!

Снова поднялась стрельба. Я чуть ли не силой втащил Ахмеда на крышу. Под навесом метались овцы. Скулила растревоженная шумом собака. Кто-то выстрелил в лампу, и все вокруг окутала мгла.

— Уходите, ребята,— негромко сказал Ахмед,— я останусь.

Я тряхнул его за плечо.

— Не дури. Пойдем.

— Отстань!

С наганом в руке Ахмед ползал по краю навеса, высматривал себе цель.

— Хоть бы одного отправить на тот свет,— повторял он.— Хоть одного. Отомстить за Нумата!

В винограднике опять стало тихо. Но голоса послышались где-то совсем рядом... Может, окружают?..

Мы с Вели схватили Ахмеда за руки и потащили по крыше ко рву. Вроде никого не видно... Да разве разглядишь в этой темнотище? Только что беспросветная мгла была нам дороже всего, а теперь провалилась бы она вместе с этими чертовыми деревьями!

— Обходят,— прошептал Вели.— С той стороны обходят.

Мы мигом очутились во рву. Из-за угла раздались выстрелы. Бросились к пустырю. Стреляли с навеса, на котором мы только что лежали. Вдруг Ахмед остановился. Я бегом вернулся к нему.

— Ты что, рехнулся? — прошипел я, хватая его за руку.— Как собак всех перестреляют.

— Ничего...— сквозь зубы процедил он.— Хуже смерти не будет...

Он прицелился в свесившуюся с навеса голову, выстрелил...

— Бежим!

Мы побежали, пригибаясь к земле. Я слышал за собой тяжелое дыхание Ахмеда. Вдруг он опять начал отставать. Я обернулся.

— Ты что?

— Наган подыми...— не двигаясь с места, с трудом выдавил он.— Здесь где-то упал...

Он ранен. Я бросился к Ахмеду.

Вели и Курбан подхватили его под руки. Он кряхтел и мотал головой.

Я никак не мог нащупать наган. Вот он. Слава богу. Я, не целясь, выстрелил назад.

Почему-то вдруг стало тихо. Ни стрельбы, ни собачьего лая. Так тихо, словно деревня затаилась, напуганная ночными выстрелами...

Мы приволокли Ахмеда в заросли. Сначала он бодрился, но последнюю сотню шагов мы почти несли его. Когда я, стаскивая с него тяжелый, пропитанный кровью халат, осторожно приподнял его левую руку, он вдруг выгнулся

и начал фыркать, словно его бросили в ледяную воду. Я задрал ему рубашку и стал осторожно ощупывать спину, грудь... Повыше подмышки, там, где ключица сходится с плечом, темнела маленькая пулевая рана. Я нечаянно тронул ее.

— Полегче...— просипел Ахмед.— Там пуля, наверно...

Похоже, что так. Мы положили на рану платок и крепко перетянули поясом — остановить кровь. Больше мы ничем не могли помочь раненому.

— Да, братцы, не вышло...— сквозь зубы пробормотал Ахмед, когда мы положили его на землю.

— Ты сейчас помолчи,— сказал я как можно спокойной.— Не дергайся. Засни, легче будет...

Ахмед умолк. Я нагнулся к его лицу, глаза были закрыты. Едва ли он заснул так быстро, скорей всего забылся, ослабел от потери крови.

Что делать? Сидеть и смотреть друг на друга? Лекаря бы надо...

— Курбан,— негромко сказал Вели,— ты батрачил в той деревне, за холмом. Не знаешь, есть там лекарь?

— Есть один, только...— Курбан безнадежно махнул рукой.— Не пойдет. В прошлом году на него ночью разбойники напали, так он, бедняга, напугался, даже слег на неделю... Оно, может, и хорошо, что трус, припугнуть, куда хочешь пойдет, да только проку-то с него... Еще без памяти свалится от страха...

— Ребята,— не открывая глаз, слабым голосом позвал Ахмед,— не надо никакого лекаря. В муках родились, в муках помрем, коли смерть придет.

— Не то говоришь, Ахмед,— строго сказал я,— где твое мужество?

— Брось,— простонал раненый.— Мужество мое при мне... А сдохнуть сейчас самое время...

— Ты что-то совсем раскис. Больно, что ль, очень?

— Да не от боли. Очень уж зло берет... Ушел от меня Осман-бай!

— Никуда он теперь не уйдет. Осман-баям конец приходит. А потому помирать нам с тобой не расчет. Сейчас ребята в деревню сходят, отыщут хорошего лекаря, он тебе перевязку устроит. Через два дня опять будешь крепче тутовника.

— Хорошо бы... Ох и перетянули ж вы мне плечо. Насчет лекаря... так надо сделать... У башенки, вон там, возле кладбища, конь у меня в кустах... Ох! Так и рвет, так

и рвет! Пусть Курбан к Халмураду-ага съездит. Это недалеко. Курбан, ты ведь знаешь его дом, второй с краю... Старик сразу примчится, как узнает. Он хоть и не лекарь, а врачевать умеет, человек бывалый.

Курбан стоял, ожидая, не скажет ли Ахмед еще что. Но тот умолк, забылся.

— Иди, Курбан,— сказал Вели.— Только смотри без шума.

Парень ушел.

Мы сидели молча, стараясь не потревожить Ахмеда. Но он снова открыл глаза.

— Уехал?

— Уехал.

— Ну дай бог... Знобко мне что-то...

Я снял халат, укрыл Ахмеда. Его била дрожь.

— А чудно все-таки устроен мир,— тихо, не открывая глаз, заговорил Ахмед,— сегодня над тобой судьба мудрует, завтра другого за ворот ухватит. Вот этот Халмурад-ага... Знаешь, что с ним приключилось? Буря поднялась в песках, пол-отары у него разбежалось. Три дня я с ним овец искал, чуть не у колодца Динли нагнали... Я, конечно, не для Осман-бая старался — овцы-то его, да старика жалко. Бай с него с живого шкуру бы содрал. Чего-то жарко мне. Ты что, халат на меня бросил? Сними, а...

Он был весь в поту, лицо горело.

— Не надо, Ахмед. Это тебе кажется, что жарко. Поспал бы, пока старик придет.

— Нет, сними.

— Ладно, ладно, сниму.

Ахмед замолчал, слышалось только его тяжелое дыхание.

— Ты убрал халат, да? Положи, трясет что-то.

Я снова укрыл его.

— И все я виноват... Чуть было не погубил вас. Надо было дождаться, пока обратно запрут.

Была середина ночи, самое холодное время. Мы накрыли Ахмеда еще одним халатом.

— Может, ослабить повязку?

— Ничего. Потом... Слушай, как тебя зовут? Мердан? Когда-нибудь будет настоящая жизнь, Мердан?

— Конечно, будет. Сами ее сделаем. Собрать бы только всех бедняков в одну силу — горы свернуть можно.

— Что горы, нам бы Осман-бая свернуть. Баи не хуже гор дорогу людям заслоняют. Карман у них тяжелый, а в этом проклятом мире карман — первое дело. Без де-

нег и молитва до аллаха не дойдет... Не светает еще, а? Сейчас он старика привезет. Если бы все люди были, как Халмурад-ага...

— Помолчи, Ахмед, о Халмураде-ага мы с тобой еще потолкуем.

— Найдется, о чем потолковать. Я так... Легче вроде, когда разговариваешь. Да, негодно наш мир устроен. Один шашлыком брюхо набивает, другой с голодухи пухнет. Один в шелка рядится, другой чуть не нагишом ходит. И не хотят друг другу помочь. Ну-ка, вроде скачет кто-то...

Мы прислушались. Топот приближался. Ахмед улыбнулся, не открывая глаз.

— Мелекуш, я его издали узнаю...

Через минуту Курбан был уже возле нас.

— Старик сейчас придет,— сказал он, соскакивая на землю.

— Ну, слава богу.

Я встал.

— Надо в деревню сходить, посмотреть, как там. Дай мне наган, Ахмед, на всякий случай. К рассвету вернусь. А уж если не успею, пусть ребята сами идут в деревню. Ты здесь будешь нас дожидаться.

В дереве было неспокойно. По улицам носились всадники, земля гудела от частых ударов копыт. Издали глухой этот звук был похож на стук гребней в руках множества ковровщиц.

Собаки бесновались. Они с рычанием бросались на кого-то и вдруг захлебывались отчаянным визгом.

Раздался выстрел. Потом второй, на другой улице... После каждого выстрела шум ненадолго затихал, собаки умолкали... Да, в деревне переполох — не иначе как нукеры Осман-бая рыщут, отыскивая нас.

Я шел задами. Против дома Нумата поднялся на бугор, прислушался. Шум перекатился дальше, куда-то ко двору Мурад-бая. Здесь было тихо, только с хриплым лаем металась на цепи собака. Света в кибитке не видно. Неужели и женщину схватили?

Вдруг позади кибитки мелькнула высокая фигура в большой лохматой папахе. Я лег за куст, приготовив наган. Нет, на пукера не похож — старик и без оружия... Но походка уверенная, голову держит высоко. Кадыр-ага!

Я вскочил, бросился к нему.

— Кадыр-ага!

— Кто здесь?

Я вплотную подошел к старику, чтобы при свете луны он мог разглядеть мое лицо.

— Ты? А где остальные? Ахмед где?

— Жив, Кадыр-ага. Все живы.

— Живы? Идем.

Старик повернул. Я пошел за ним. Кадыр-ага не произносил ни слова. Даже шаги его не стали торопливей. Можно было подумать, что все происходящее нисколько не трогает его. Однако через несколько минут я убедился, что старик совсем не так уж спокоен.

— Мальчишки,— не оборачиваясь, проворчал он.— Подняли свою дурацкую возню... Теперь байские нукеры треплют и правого и виноватого. Всю деревню перебаламутили!

Мы миновали овечий загон, потом какой-то пустырь и вошли в густой виноградник. Посреди него был устроен деревянный топчан. Там сидели люди, человек семь-восемь.

— Проходи,— сказал мне Кадыр-ага.— Придется здесь говорить, в собственном доме покоя не найдешь. Садись. Подвинься, Вельназар, пусть парень сядет!

Я со всеми поздоровался за руку, хотя лиц в темноте не различал. Потом сел возле человека, которого Кадыр-ага назвал Вельназаром. Старик хозяин расположился напротив.

— Ну, рассказывай по порядку. Говоришь, все живы?

— Да, только Ахмед ранен в плечо.

Старик покачал головой.

— Так я и знал, что нарвется на пулю. Жаль парня.

Выражая свое сочувствие Ахмеду, все некоторое время молчали, опустив головы. Первым заговорил Кадыр-ага:

— Вот, соседи, это тот самый человек, про которого я вам толковал.

Все оживленно зашевелились. Кадыр-ага спокойно сказал:

— Давай рассказывай свою историю. Только все по порядку. Не торопись.

Я стал рассказывать, стараясь не забыть ничего из того, что случилось в последние сутки. И каждый раз, упоминая о Якубе, я невольно умолкал, соображая, куда он мог деваться. Мне почему-то казалось, что этот человек знает обо мне все. Ему известно даже то, что я сижу сейчас на топчане в винограднике Кадыра-ага, и он может

прислать сюда нукеров. Я невольно вглядывался в темноту.

Кадыр-ага тоже казался обеспокоенным. Он то приподнимался, то начинал покашливать. И хотя он не велел мне торопиться, ясно было, что надо спешить.

— Слышали? — коротко спросил Кадыр-ага, когда я кончил свой рассказ.

— Слышали,— ответили собравшиеся, утвердительно качая головами.

— Значит, Осман-бай решил подпустить туману. Так хочет дело повернуть, чтоб мы сами потребовали для них смерти. Нашими руками думает расправиться с невиновными,— голос Кадыр-ага пресекся от негодования.

— Кадыр-ага, а откуда он, этот парень? — с сомнением спросил один из мужчин.— Ведь мы не знаем его.

— Я не расспрашивал его, кто он, откуда родом, сейчас не время. Я знаю одно — парень пришел вовремя, без него Осман-бай запросто мог бы нас обмануть.

— А если мы скажем, что не согласны? — послышался из темноты чей-то мрачный голос.

— Плевать ему на наше несогласие,— отозвался мой сосед.

Я привстал на колени.

— Осман-бай уверен, что никто и не пикнет,— я говорил горячо и старался убедить этих людей.— Баи ведь как считают: сила за мной, значит, любое мое дело справедливо! А сила на его стороне.

И опять кто-то выкрикнул из темноты:

— У него сила. А у нас, выходит, силы нет?

— Для Осман-бая мы овцы. Стадо овец.

— Я ему, старой лисе, покажу стадо...— выкрикнул мой сосед.

— Не горячись, Вельназар,— вмешался Кадыр-ага, по-прежнему не повышая голос.— Зря кулаками махать, получится, как с Ахмедом. Сообща надо действовать! Если туркмены объединятся, им ни Осман-бай, ни сорок тыщ кзылбашей не страшны!

— Правильно,— подхватил Вельназар.— Не страшен нам Осман-бай с его нукерами!

Неподалеку послышался конский топот.

— Вот, легки на помине,— Кадыр-ага поднялся.— Пойду постараюсь увести их.

Старик ушел. Слышно было, как два всадника с разгона осадили лошадей.

— Это вы, Кадыр-ага? — послышался громкий голос.

— Я. Кто ж еще?

— Почему не спите?

— Рад бы, да разве заснешь — вон вы какой переполох подняли.

— Ладно, отец, идите в кибитку, и чтоб до утра носу никто не высовывал.

Послышался топот копыт.

— Расходиться надо,— сказал Кадыр-ага, подходя к нам.— Как бы чего не пронюхали. А завтра смотрите уши не развешивать! Нам теперь нападать надо. Предупредите кого понадежней, чтоб понимали, что к чему.

Один за другим гости Кадыра-ага исчезли в темноте. А деревня все еще не угомонилась. Где-то опять исходила хриплым лаем собака.

— Давай, парень, ложись прямо здесь,— сказал мне Кадыр-ага.— Рассвет скоро.

— Нельзя, отец. Ждут они меня, Ахмед ждет.

Старик не настаивал.

— Песками иди,— сказал он, когда я попрощался.— Будь осмотрительней.

Я пробрался сквозь виноградники, прошел кладбищем и заспешил к зарослям гребенчука.

Когда я добрался до своих, небо на востоке уже светлело. Ахмед сидел, опустив голову на грудь, рядом вповалку спали наши ночные товарищи.

— Ну и ну,— удивился я,— с ночи весь в жару маялся, а сейчас хоть женить. Здоров же ты, парень!

Ахмед довольно рассмеялся.

— Это все Халмурад-ага. Мертвого на ноги поставит. В деревню к себе звал. Полежишь, говорит, денек-другой. Да разве я улежу сейчас?! Сказал, повязку не трогать, через пять дней сменит.

— Через пять дней твою рану настоящие врачи лечить будут.

— Ишь ты! Выходит, у красных и лекари настоящие есть?

— А как же!

— Ну что ж... Чем черт не шутит... Ладно, давай поближе садись. Что там в деревне?

Я рассказывал, Ахмед слушал меня, мучительно стиснув зубы.

— Надо же!.. И меня с вами не будет...

— Завтра не последняя схватка.

— Это конечно... А может, возьмете с собой? Не болит ведь. Совсем не болит. Халмурад-ага положил травку, словно рукой сняло.

Он и правда выглядел почти здоровым. Только лицо серовато — но это, может, сумерки, солнце-то еще не вставало...

— Слушай, Мердан, а дадут мне красные оружие? Карабин дадут?

— А чего ж. Конечно, дадут.

— Правда? Сохну я по этому карабину. Наган против него — хлопушка, мух отгонять. Я тут видел у одного... Упрашивал, упрашивал, коня в обмен предлагал — ни в какую... Мне б карабин, баев бить.

— Да будет тебе карабин. Будет.

Солнце не спеша выползало из-за дальних барханов. Я разбудил парней.

День третий

На сером утреннем небе солнце вставало, замутненное хмарью. Душный начинался день. Уже с рассвета рубашка липла к телу.

Деревня стояла тусклая, словно припорошенная пылью. И небо какое-то серое, пыльное. Ветерка бы сейчас. Сразу унес бы духоту, стер пыль с земли, продул бы небо.

В загонах, привязанные к кольям, жалобно мычали коровы, уже истомленные зноем. Пестрая собака деловито торопилась куда-то, пока ее не заметили и не привязали. Только сорока, примостившись на голове у пугала, приставленного охранять дыни от нее и ее сестер, беззаботно попрыгивала, нахально глядя по сторонам. Ей и дела нет до жары.

Да и люди как будто забыли о жаре. Снуют по деревне, никто, видно, и чаю толком не напился. Собираются кучками, толкуют о чем-то. Кое-кто уже бредет к площади: понурые головы, мрачные лица.

Через деревню промчались нукеры Осман-бая. Разом забрехали собаки, громче стали людские голоса. Через несколько минут всадники проехали обратно, перед ними трусили на ишаках старики, только что я встретил их за околицей. Значит, Осман-бай всех велел гнать на сходку.

Один из нукеров загородил дорогу женщине, тащившей на вилах к очагу огромную охапку колючки на растопку. Женщина пыталась что-то объяснить, всадник тес-

нил ее конем. Женщина стряхнула с вил колючку, высоко вскинув их. Нукер выхватил вилы, отшвырнул под навес и ускакал. Другой подъехал к старику, который вел корову, выхватил у него из рук веревку и погнал старика перед собой. Корова, колыхая выменем, бежала за ними.

Вдруг возле небогатого дома из-за стога коню под ноги метнулся большой черный пес. Всадник едва удержался в седле, потерял стремя и, выронив веревку, обеими руками ухватился за седло. Выпрямившись, он поправил сбившуюся набок шапку и, не сводя глаз с собаки, сорвал со спины ружье. Пес заливался хриплым, отчаянным лаем. Старик засеменил к нему, крича и размахивая руками.

Прогремел выстрел. Собака взвизгнула, завертелась волчком, потом упала. Визг становился все глуше, глуше и наконец затих, словно ушел в землю.

Народу на улицах все прибывало. Тихие робкие ручейки сливались в единый поток, людская толпа текла к площади неудержимо, как вода, пущенная в сухое русло.

Я поравнялся с Кадыром-ага, старик не спеша подошел ко мне и, неприметно кивнув, зашагал рядом. Вот он поднял голову, оглядел людей своими ясными, не утратившими блеска глазами. Мне показалось, он приглядывается, оценивает, прикидывает, поймут ли его односельчане, дойдут ли до их разума слова, которые жгут сейчас его сердце. Но поймут или не поймут, он решился — увещевать баев он больше не станет. Он скажет свое слово, даже если оно будет его последним словом.

Пустырь перед домом Мурад-бая заполнен народом. Уже яблоку негде упасть, а люди все подходят, подходят... Здороваются и сразу же вступают в разговор, обсуждают ночные события, строят догадки. Да, это не вчерашнее безмолвное стадо.

Громче всех шумит какая-то бабка. То и дело поднося ко рту костлявую, высохшую от немощи руку, она все ругает ночных шалопутов и сетует на аллаха — на старости лет и то не уберег от тревоги.

— Уж натерпелась я страху нынче ночью! Думала, конец света.— Она обращается то к одному, то к другому, призывая односельчан в свидетели своих мучений. И вдруг начинает ругать Нумата: — Ты, Вельназар, Нумата не защищай (значит, это и есть Вельназар, краснолицый, скуластый, ночью-то я не разглядел!). Нумат, он сроду супротивный! Третьего дня козел мой, чтоб ему сдохнуть, рогатому, в кибитку к ним залез, чайник разбил. Ну, раз-

бил, что ж делать, козел — тварь неразумная. Нуматова баба — кричать. Такой шум подняла, будто я сама чайник ихний расколотила, а не этот проклятый, отсохни у него рога! И что, ты думаешь, Нумат? Молчит! Нет чтоб приструнить жену, сидит и слушает.

— А ты не доводи, чтоб на тебя кричали,— мрачно отозвался Вельназар, недовольный тем, что старуха лезет не в свое дело.— Твоя скотина нашкодила — возмести убыток.

— Да ты в своем уме? — всполошилась старуха.— Если мне за него, окаянного, все убытки покрывать, лучше в могилу лечь. На той неделе у Амана бурдюк с простоквашей пропорол, что ж, мне теперь молоком отдавать? Да у меня и коровы нет. Развесят свои бурдюки, а я отвечай.

Вельназар молча отвернулся от старухи. Та еще поворчала немножко и затихла, поджав сухие губы. И сразу стал слышен мужской голос:

— Мне утром Нурберды говорит: об заклад могу биться, что это красные были. У них, говорит, такой закон: попал кто в беду, в лепешку разобьются, а выручат. Может, конечно, и они. Только что-то я сомневаюсь.

Я поглядел на говорившего. Это был пожилой плечистый мужчина в синем халате.

— Вот ты говоришь, красные,— возразил ему степенный старик с реденькой седой бородой.— А я слышал, никакой этот парень не красный, в нукерах ходил у Осман-бая. Сирота, без отца рос. И брата убили, одна мать-старуха.

— Может, и так,— вздохнул мужчина в синем.— Одно скажу, не повезло парню. Однако, я полагаю, дружки его не оставят. Ночь-то была не последняя. Надо вот только не стоять пнями. Может, добром попросить бая, а может, и поругаться стоит.

Ворота распахнулись. Разом умолкнув, все повернулись к ним. Из ворот бок о бок выехали два всадника. Перед ними шел Мурад-бай, знаками приказывая очистить дорогу.

Один из всадников был Осман-бай, гордый и невозмутимый, как вчера. Рядом с ним кто-то молодой, стройный. Якуб!

Как изменила его одежда! Огромная шапка блестит рассыпающимися завитками. Черные сапоги начищены до

блеска, новый, необмятый еще шелковый халат топорщится, переливаясь на солнце.

Словно долгожданный гость, по праву занявший почетное место, восседает он на скакуне, равнодушно поглядывая по сторонам.

Наши глаза встретились. Якуб повел головой, негромко кашлянул. Что-то он хочет сказать. Но что? Советует бросить все и спасать свою шкуру? А может, намекает, чтоб помалкивал. Я пристально посмотрел на него. Якуб усмехнулся и отвел глаза.

Чего это ему так весело? Гордится, что опять на коне, вчерашний смертник со связанными за спиной руками? «Видишь,— говорит его взгляд,— я снова на скакуне, в богатой одежде, а ты как был, так и останешься быдлом. Овцой в этом покорном сером стаде. Так мир устроен, а ты еще спорил, дурак!»

Да, это он хотел сказать мне сейчас. И намекнуть, что судьба моя, как судьбы всех этих людей, заполнивших пустырь перед домом Мурад-бая, в его руках.

Вывели Сапара. Не поднимая головы, он исподлобья оглядывал собравшихся. И вдруг его настороженный взгляд уперся в мое лицо. Я сделал неприметный знак — молчи!

Я думал, что говорить будет сам Осман-бай. Но он сидел молча, презрительно поджав губы.

— Люди! — громко начал Мурад-бай и сразу осекся, словно забыл нужное слово.— Люди! — повторил он гораздо тише.— Вы уже знаете, ночью эти нечестивцы устроили набег. И все потому, что вчера вы не проявили решительности. Вы пожалели красного, а его дружки никого не жалеют. Хорошо, что всевышний встал на нашу защиту, не миновать бы нам в эту ночь великого множества бедствий и жертв. Глядите на него, люди,— он ткнул пальцем в сторону Сапара,— глядите и решайте. Без вашего согласия мы не тронули его, ни единый волос не упал с его головы, но предателю нет пощады. Наш священный закон гласит: убившему неверного — благословение божие!

Мурад-бай замолк, вроде бы переводя дух, а сам повел глазом на Осман-бая, так ли он говорит. Осман-бай, не глядя на него, чуть заметно кивнул головой.

— Люди, цель Осман-бая — благородная цель. Он хочет освободить нашу страну от красных кяфиров, привести нас к счастливой жизни. Поможем Осман-баю, люди! Будем достойны имени мусульманина!

Мурад-бай снял шапку, вынул из нее большой платок и старательно вытер лицо. Люди молчали, ждали, что он еще скажет.

— Вы знаете Осман-бая, люди. Слава аллаху, это всесильный человек. Он мог бы убить этого бунтовщика сразу. Но Осман-бай, да воздаст ему аллах, справедлив. Он уважает наши обычаи, он хочет знать волю народа.

Ни звука.

Якуб повернул голову, ловя мой взгляд. Что ж, я не опустил голову. Народ не спешит с ответом, это уже много. Ведь неделю назад сходка одобрила бы любое решение бая.

Из толпы вышел Кадыр-ага.

— Растолкуй нам, Осман-бай: зачем вы людей беспокоите? Вон ведь нас сколько собралось,— Кадыр-ага широким жестом показал на толпу.— А ведь у каждого свои дела, заботы.

Осман-бай окинул старика презрительным взглядом и, не отвечая ему, заговорил грозно и внушительно:

— Люди, Мурад-бай правильно сказал вам — превыше всего я ценю справедливость. Я должен знать, что у вас на душе, каковы ваши желания. Но помните, люди: несогласные не угодны аллаху! Если мы лишимся согласия, дракон в красном халате, что нагрянул к нам из России, сожжет нас своим огненным дыханием. Красный дракон — посланец Азраила, предвестник светопреставления — вот что говорит нам наш духовный наставник мулла Назар.— И Осман-бай плеткой указал на высокого белобородого человека, одетого, несмотря на жару, в тяжелый ватный халат.

Человек в ватном халате погладил седую бороду и удовлетворенно закивал.

— Истинно, правоверные, истинно...

В толпе послышался ропот. Осман-бай сделал грустное лицо.

— Сегодня ночью я потерял двух верных джигитов. Мстя за своих людей, я мог бы убить нечестивца. Но я жду вашего согласия.— Осман-бай помолчал выжидая. Толпа безмолвствовала.— Вы не все еще знаете, братья. Красные изверги надругались над нашей святыней. На нашем священном кладбище они похоронили проклятых кяфиров.

Толпа негодующе загудела. Я поднял глаза на Якуба. Он отвернулся.

— Истинно, правоверные! — вскричал мулла Назар.— Они совершили это. Они оскорбили нашу веру!

— Поношение! — завопил косоглазый старик с легкой белой бородой.— Мулла сказал правду. Последние времена настанут, если простить такое!

— Так соглашайтесь,— спокойно произнес Осман-бай. Опустив головы, люди молча посматривали на бая.

— Осман-бай,— громко сказал Кадыр-ага,— ты говоришь, этот парень виновен. Ладно. А что плохого сделал Нумат? За какие провинности ты посадил его за решетку? — Лицо Осман-бая застыло, словно подернутое коркой льда, но старик продолжал: — Ты говоришь о справедливости. Но когда Каушут-хан, справедливейший из справедливых, советовался с народом, он так не поступал. Он не бросал в темницу несогласных.

Осман-бай взглянул на Якуба, потом обернулся к толпе и, стараясь сохранить спокойствие, произнес:

— Нумат мой кровник, это всем известно.

— А до этого, что ж, не был он твоим кровником? — громко спросил человек в синем халате.— Просто сказал он тебе вчера не то, что ты хочешь слышать, вот ты с ним и расправился.

Толпа заколыхалась, становясь плотнее, люди тесней придвигались друг к другу.

— Нашел о ком толковать,— презрительно бросил человек в богатой шапке, стоявший возле Осман-бая. Я сразу узнал этот сиплый голос — хозяин вчерашней кибитки.— Что он, что племянничек — одна шайка. Им бы только раздоры чинить. Мало Ахмеду пастухов бунтовать, в деревне решил свару затеять.

— И правда, Кадыр-ага, чего это ты про Нумата речь завел? — проворчал Мурад-бай.— Он к нашему разговору не касается.

— Касается, Мурад-бай, все касается. Так вот, если сейчас, у нас на глазах, Осман-бай не освободит Нумата, нам не о чем с ним говорить.

Осман-бай посмотрел на Якуба. Тот, не глядя на него, плеткой указал на ворота.

— Мы принимаем ваше требование,— с достоинством произнес Осман-бай.— Приведите,— бросил он нукерам.

Толпа оживилась. Одни благодарили Кадыра-ага, другие громко восхваляли бая. Поступок Осман-бая и впрямь мог свидетельствовать о его справедливости.

Якуб окинул взглядом толпу, улыбнулся и внимательно посмотрел на меня. «Надеюсь, ты понимаешь, что это

значит? Пусть потешатся. Когда добиваешься большего, можно уступить в мелочах».

Из ворот выволокли Нумата. Он с трудом переставлял ноги, низко опущенная голова его беспомощно болталась. Он медленно поднял ее, увидел толпу и, как испуганная телка, в ужасе шарахнулся назад.

Второнях Нумата вывели в чем был. Шапку он потерял. Чокаи без обмоток, прямо на босу ногу, завязки волочатся по земле. На лбу синяк, под глазом запеклась кровь.

Он стоял молча, не двигаясь, словно решил дать людям вдоволь наглядеться на себя. И так же молча глядели на него люди. Вдруг Нумат закричал не своим голосом:

— Чего не смеетесь? Смейтесь. Смейтесь, вам говорят!

— Господи! Да он никак тронулся! — в ужасе прошептала старуха, недавно ругавшая его.

Нумат почему-то взглянул на небо и сразу присел, скорчился, словно увидел наверху что-то очень страшное. Лицо у него сморщилось, подбородок затрясся. Он нагнул голову, закрыл глаза и, суча ногами, повалился на землю.

— Смейтесь! Все смейтесь! Чего один Осман-бай смеется?

Нумат сел и зарыдал, прерывая рыдания громкими бессмысленными выкриками.

Никто не ожидал такого исхода. Даже Осман-бай казался растерянным. Он наклонился к стоявшему рядом нукеру и что-то сказал ему. Два молодца тотчас направились к Нумату.

— Не троньте! — раздался отчаянный женский голос.

Жена Нумата с ребенком на руках бросилась к мужу, загородив его своим телом.

Нумат молчал, уставившись в одну точку. Он не узнавал ни жены, ни ребенка.

Женщина не уронила ни слезинки. Обернувшись к Осман-баю, она громко, как заклятие, сказала:

— Если то горе, что ты навлек на меня, не падет на голову твоей дочери, значит, бог не знает справедливости!

Двое парней подняли Нумата с земли. Он упирался, отпихивал их и надрывно кричал:

— Не скажу. Все равно не скажу. Беги, Ахмед.

Вдруг взгляд его упал на жену, она сидела в пыли у его ног, прижимая к груди ребенка. Нумат вскинул голову и закричал державшим его парням:

— Почему Аджара не привели? Где моя собака! Аджар! Аджар!

Парни крепче ухватили его под руки и поволокли к дому.

Толпа оцепенела. Люди еще не поняли толком, что случилось.

Я перехватил Якубов взгляд. На этот раз он отвел глаза.

— Ну, Осман-бай,— спросил Кадыр-ага,— это твоя справедливость?

Лицо старика потемнело, словно опаленное гневом. Морщины глубже прорезали щеки. Он говорил вполголоса, но каждое слово было отчетливо слышно в тишине.

Все смотрели на двух людей: на Кадыра-ага и Осман-бая. Бай опустил голову, хлестнул концом плети по седлу и негромко сказал:

— Такова была воля аллаха.

И бросил сердитый взгляд на муллу. Тот приложил руки к груди и торжественно произнес:

— Воистину, воля аллаха.

Скорбным и вопрошающим взором Кадыр-ага окинул мрачные лица односельчан. Потом повернулся к Осман-баю и, глядя ему прямо в лицо, сказал ровным, полным достоинства голосом.

— Почему ты не оставишь нас в покое, бай-ага?

— А чего ты все один вылезаешь? — выкрикнул Мурад-бай.— Кроме тебя, что, сказать некому?

Кадыр-ага спокойно обернулся к толпе.

— Люди, может, я не то говорю? Тогда я буду молчать.

— Говорить-то говори, Кадыр,— подал голос толстый косоглазый старик.— Только не заговаривайся. Нечего молодых зря мутить.

— Мутить! — огрызнулся Вельназар.— А если бы твоего брата вот так?

— Типун тебе на язык,— старик замахал руками.— Скажет тоже, откуда у меня такой брат?

Со всех сторон послышались выкрики:

— Не мешайте Кадыру говорить!

— Кадыру-ага сказать дайте!

— Хватит над нами бесчинствовать!

— Убирайся отсюда, Осман-бай!

Осман-бай не в силах был скрыть изумление. Взгляд его метался по лицам, выхватывая из толпы крикунов.

— Так,— Осман-бай обернулся к Кадыру-ага и, не тая угрозы, спросил: — Ну, может, что еще скажешь?

— Скажу, если будешь слушать. Отпусти этого бедного парня.

Про Сапара все как-то забыли, и только теперь, после слов Кадыра-ага, все снова обернулись к нему.

— Всему надо знать меру, старик,— не повышая голоса, спокойно сказал Осман-бай,— я готов слушать вас, но не злоупотребляйте моим терпением.

— А ты так бы сразу и сказал,— насмешливо выкрикнул Вельназар,— мы бы время терять не стали.

— И правда,— подхватил Кадыр-ага.— Зачем было людей полошить?

— Не слишком ли ты мудр, старик? — Осман-бай бросил на Кадыра-ага гневный взгляд.— Все-то тебе известно.

Не удостоив бая ответом, Кадыр-ага обернулся к старикам, стоявшим поодаль с посохами в руках:

— Аксакалы, скажите свое слово. Не дайте пролиться невинной крови.

Все смотрели сейчас на стариков, их слово должно было решить дело.

Старцы молчали. Наконец заговорил один, беззубый, он шамкал сухими губами, но каждое слово было слышно, как азан с минарета.

— Кадыр — истинный мусульманин. Его слово верное.

И сразу заголосила толпа:

— Правду сказал отец!

— И наше слово такое!

— Не прольем невинную кровь!

— Слушайте, люди! — разгневанный Осман-бай до крика повысил голос.— Этот парень обесчестил нас. Он опозорил веру. Он спас кяфира. Пусть скажет тот, кто изучил священный закон. Пусть скажет мулла Назар.

— Истинно! — зачастил мулла Назар, то и дело кланяясь народу.— Истинно, правоверные. Юноша этот — великий грешник. Если бы освобожденный им преступник был мусульманин, аллах, может, и облегчил бы свою кару.

— Терпение, мулла, терпение,— Кадыр-ага быстро протиснулся к мулле Назару.— А ну-ка, подойди,— кивнул он мне.

Мулла умолк, в растерянности переводя взгляд с Кадыра-ага на Осман-бая. Якуб отвернулся, презрительно пожав плечами.

— Смотрите, люди! — провозгласил Кадыр-ага.— Вот человек, которого вчера освободили. Разве он не мусульманин?

Все взгляды устремились на меня. Мулла Назар сразу сник, съежился.

— О великий аллах! — услышал я его тяжкий вздох.

Не сводя с меня глаз, к нам медленно приближался Хриплый.

— Стой, парень, стой! Чего-то ваш освобожденный на вчерашнего знакомца смахивает. Того, что верблюдицу искал. А? Может, я ошибаюсь, Ата?

— Точно, он,— подхватил его сосед,— он! Верблюдицу искал.

— Любопытное дельце-то получается,— довольно просипел чернобородый.— Я его вчера сразу на подозрение взял.

Осман-бай повернул ко мне коня.

— Вот что, парень, говори правду, не то живым в землю вобью! Тебя вчера вызволил этот?

— Меня,— ответил я, не глядя на Сапара.

— Одного?

Повернувшись ко мне, Якуб неприметно покачал головой. Осман-бай поспешил загладить ошибку.

— Ну, кто б он там ни был, сюда его не приведешь.

— И приводить не надо,— громко сказал я,— он здесь.

— Заткнись! — выкрикнул Якуб и со злобой взглянул на бая.— Кому это надо, всякого бродягу слушать...

Толпа оживленно зашевелилась, придвигаясь к нам.

— А ты кто такой, парень? — обратился к Якубу Кадыр-ага.

— Не твое дело,— отрезал Якуб.

— Кадыр-ага, я знаю. Я скажу.

— Уберите его! — в бешенстве закричал Якуб.

Двое нукеров бросились ко мне, но Кадыр-ага и откуда-то взявшийся Курбан заслонили меня.

— Не надо, ребята,— негромко произнес Кадыр-ага.— Мы не хотим кровопролития.

Нукеры в растерянности поглядывали на Осман-бая. Бай, в свою очередь, ждал, как будет действовать Якуб. А тот изо всех сил сжимал ногами бока коню, готовый рвануть его с места. Плеть жгла ему пальцы, он то и дело перекладывал ее из одной руки в другую. Как он хотел заставить меня молчать!

— Якуб,— громко сказал я,— вот человек, который спас меня и тебя.— О, каким взглядом ожег меня Якуб! — Вы убили его брата и свалили вину на красных, на меня. Но ни Сапар, ни его мать не поддались обману. Мне поверил Сапар, мне, а не вам. И спас меня. Но, на беду, он выручил и тебя. Тебя ждал расстрел за убийство полковничьей жены. Люди, он убил женщину. Но это еще не все: там, в зарослях, я нашел вчера два трупа. Убийцы

обезглавили их и бросили в заросли. Этих людей убили по его приказу.

— И правильно! — закричал Хриплый.— Молодец, Якуб! — Он восторженно потряс поднятыми вверх кулаками.— Молодец! На кусочки их, злодеев, кромсать!..

— Заткни глотку!

— Убирайся отсюда, кровопийца!

— Дайте человеку сказать!

— Люди,— кричал я, понимая, что мне могут заткнуть рот,— вас обманули. Те двое похоронены не на кладбище. Мы, я и Якуб, закопали их в зарослях. Я заставил его копать могилу своим жертвам.

— Замолчи!— крикнул Осман-бай.

— Зачем же молчать? Вы же хотели знать, что думает народ. Испугались?

— Еще чего,— надсадно захрипел Хриплый.— Всякого бродягу пугаться. Знай меру, парень.

— Эй, не затыкайте ему рот!

— Не нравится слушать, убирайтесь!

— Ладно,— сквозь зубы процедил Осман-бай,— договаривай!

— Договорю. Не спеши, бай-ага. Мой спор с Якубом не кончен. Он верит, что сила — все. Не выходит по-твоему, Якуб. Все в ваших руках: оружие, богатство, закон. А люди вас знать не желают. Нет вашей власти над ними.

Якуб ударил коня. Жеребец рванулся, толпа шарахнулась в стороны. Я не успел ничего сообразить, голову со свистом резанула плеть.

Стоял сплошной гул, испуганно кричали дети. Толпа, отхлынувшая было от Якуба, вновь сомкнулась вокруг него. Два рослых парня схватили под уздцы его коня, не давая двинуться. Якуб, белый как стена, размахивал наганом.

— Не пугай нас оружием, парень! Слышишь?

Кажется, это крикнул Кадыр-ага. И парни кричат что-то и наступают на Якуба. Якуб кусает губы, сует пистолет за пояс.

Женщины подхватили детей, бегут куда-то.

— Убирайся из нашей деревни, кровопийца!

— Забирай своих конников, Осман-бай!

Осман-бай, словно не слыша криков, развернул коня грудью ко мне.

— Его я отпущу. Но тебя живьем вобью в землю!

— Отвечай, ты этого выпустил?

Он дернул узду и резко повернулся к Сапару.

Сапар молча покачал головой.

— Видели? — глаза Осман-бая сверкнули торжеством.— Вам морочат голову!

— Сапар,— я бросился к нему, расталкивая людей,— не бойся, скажи правду. Эти люди за нас.

— Прочь, бродяга! — Осман-бай замахнулся на меня плеткой.— Убрать его! Ну? — Бай снова склонился к Сапару.— Молчишь? Воды в рот набрал, собака?

Осман-бай крест-накрест полоснул Сапара нагайкой по голове. Тот нагнулся было, потом вдруг выпрямился и крикнул ему прямо в лицо:

— Я! Я его отпустил! И буду отпускать! Буду!

Бай молча привстал на стременах. Нагайка засвистела в воздухе.

Я бросился к Осман-баю. Схватил коня за узду. Жеребец затряс головой, пытаясь освободиться. Осман-бай направил его на меня. Я перехватил узду у самых удил и рванул на себя. Нагайка со свистом заходила по моей спине. И вдруг прогремели два выстрела. Я бросил уздечку.

Осман-бай с пистолетом в руке изо всех сил пинал коня, он не мог вырваться из людского водоворота.

Якуба тоже затерло толпой. Двое дюжих парней насмерть вцепились в узду его коня, третий, Курбан, подскочил сбоку и, развернувшись, изо всей силы ударил Якуба под дых. Якуб удержался в седле, только качнулся и сильней натянул поводья.

Осман-бай выстрелил. Мулла Назар, косоглазый старик и еще человек десять бросились к открытым воротам.

Я подбежал к Сапару. Он извивался, пытаясь освободить руки. Я выхватил нож.

Грохот, темнота и боль сразу обрушились на меня. Плеть полоснула за ухом, боль, прожигая мозг, пронзила мой левый глаз. Я упал.

— Дядя, дядя, вставай, убьют!

Кто-то тянул меня за рукав. Это Ширли. Как он здесь очутился?

— Ширли, развяжи ему руки. Беги, Сапар!

Снова выстрелы. Крики, топот. Я с трудом разлепил веки. Перед глазами красноватый туман.

— Убили. Дядя, его убили.

Я бросился к Сапару. Он был мертв.

Я выхватил из-за пояса Ахмедов наган, отыскивая глазами Якуба. Осман-бай, привстав на стременах, хлестал нагайкой парней, пытавшихся стащить его с коня.

Я выстрелил, стараясь не задеть их. Осман-бай упал. Я подбежал, выхватил у парней поводья, вскочил в седло. Породистый конь, учуяв чужого, заржал и взвился на дыбы. Кадыр-ага с непокрытой головой пробирался ко мне:

— Кадыр-ага, кто убил Сапара?

— Якуб.

— Где он?

— Ушел. К кладбищу поскакали. Двое их.

Я с места пустил коня в галоп. Двое всадников во весь опор неслись по дороге к кладбищу. Якуб был впереди. Если успеет доскакать до зарослей, все пропало. Только бы не ушел! Только бы не ушел!

Раздвигая наганом кусты, я продирался в самую гущу. Остановился, прислушался. Тихо. Может, он уже успел снова вскочить на коня и теперь мчится к станции? Ну да, поэтому и Курбан не стреляет. Раздосадованный неудачей, я шел, не прячась. И вдруг сразу два выстрела: ружейный и из нагана. Здесь.

Забыв обо всем на свете, я бросился в самую чащу. Выстрел. Еще выстрел. Похоже, Якуб расстрелял уже все патроны. Но почему Курбан не стреляет? Ранен? Убит?

Локтем прикрывая глаза от колючих веток, я ломился сквозь заросли гребенчука. Споткнулся, упал. Снова вскочил. Послышался шорох. Я замер. Может, зверек? Нет, шорох слишком громкий. То затихает, то слышится снова.

Я метнулся за куст.

Шорох становился все слышнее, все громче. Сейчас Сейчас он появится... Я крепко сжал наган. Сердце не помещалось в груди, рвалось наружу.

Якуб вышел из зарослей. Остановился, тяжело дыша.

Прислушался. В руке он держал нож, нагана у него не было. Значит, патроны кончились. От этой мысли стало легче на душе. Я следил за Якубом, не торопясь обнаружить себя.

Роскошную новую шапку он потерял, волосы его беспорядочно падали на лоб. Пояса не было, и казалось, что халат ему велик. Не выпуская ножа, Якуб тыльной стороной ладони вытер лоб, потом, зажав нож в зубах, скинул халат и отбросил его в сторону. Снова взял нож в руку и настороженно огляделся. Я вышел из засады.

— Ни с места!

Якуб не глядел мне в лицо, он видел только наган, направленный ему в грудь. Смертельная тоска была в его взгляде.

— Бросай нож!

— Не брошу!

— Бросай или я стреляю!

Якуб зарычал от бешенства и, рухнув на колени, по самую рукоятку вогнал нож в землю.

— Стреляй! — крикнул он, глядя на меня снизу вверх.— Стреляй, раз твоя взяла! Наш спор окончен!

— Окончен? Так. И кто прав?

Он медленно поднялся, отряхнул песок с колен.

— Тебе просто повезло. Я допустил оплошность. Нужно было сразу выдать тебя Осман-баю. Ты бы уже валялся на площади рядом со своим дружком. Ладно, молчи. Знаю, о чем ты спросишь: зачем я Сапара застрелил? Да, я мог его спасти. Одно мое слово, и парня отпустили бы, а тебя арестовали. Ты во всем виноват,— Якуб наклонился и выдернул из земли нож.— Ты нечестно играл. Я не велел арестовывать тебя только потому, что мне хотелось решить наш спор. Эти бараны послушно пошли бы за нами. А ты подговорил, запутал их.

— Нет, Якуб, ты просчитался! Дело в том, что мы не бараны. Все было ваше: оружие, деньги, законы. А народ не побоялся вас. Вас выгнали из деревни. Ты проспорил, Якуб!

— Ладно, стреляй!

— Нет, я не буду стрелять. Идем в деревню, пусть тебя судит народ.

— Еще чего! Можешь тащить мой труп, но сам я туда не пойду!

— Кому нужен твой труп? Ты должен ответить народу. Бросай нож! Идем!

— Нет, не дождешься! Лучше сдохнуть, чем держать ответ перед этими тварями!

— Ты должен держать ответ. И будешь!

— Стреляй, стреляй, говорю! Не убьешь, сам тебя прикончу!

Он перехватил нож, пригнулся, готовясь к прыжку...

— Ни с места! — крикнул я.

— Стреляй! — прохрипел Якуб, рванувшись ко мне. И я выстрелил.

Якуб выгнулся, откинул назад голову, потом медленно повернулся и рухнул...

И вот он лежит передо мной на земле, устремив в

небо мертвые глаза. Говорят, если человек умирает с открытыми глазами, значит, не исполнились его желания. Кровь людей, убитых им во исполнение этих желаний, пала на его голову.

Из кустов выскочил Вели с винтовкой в руках. Увидев лежащего на земле Якуба, он остановился и перевел дух. Вели был весь мокрый, шапка съехала на брови, глаза сверкали. Лицо покрыто кровавыми ссадинами.

— У, проклятый...— процедил он, с ненавистью глядя на Якуба.— Такого парня сгубил! И у Курбана рука прострелена.

— Ничего... Больше он уже никого не убьет и не искалечит!..

В деревню мы вернулись все вместе, ведя под руки Ахмеда. Нам уже не надо было таиться от людей.

На пустыре по-прежнему было полно народу. Толпа колыхалась, кружилась, расходилась волнами, словно вода, встретившая неожиданное препятствие. Посреди площади лежал на земле Сапар.

В запертых воротах Мурад-бая приоткрылась дверь. Показался мулла Назар. За ним вышел хозяин дома. Они шли, боязливо посматривая по сторонам. Казалось, что эти люди движутся не по своей воле, что невидимая, но неодолимая сила толкает их к распростертому на земле телу.

К Сапару мулла подойти не посмел, остановился шагах в десяти.

Никто не проронил ни звука. Мулла Назар поднял опухшие веки, украдкой оглядел людей и, не зная как поступить, обернулся к Мурад-баю. Бай неопределенно кашлянул. Видимо, поняв это как разрешение, мулла опустился на колени. Мурад-бай тоже встал на колени. Никто не спешил последовать их примеру. Мулла оглядел стоявших вокруг него людей и беспокойно заерзал. Потом миролюбиво покашлял и снова посмотрел на односельчан. Люди не шевелились. Казалось, они забыли, что подобает делать, когда мулла, начиная молитву, опускается на колени.

Мулла Назар закрыл глаза, поднял руки и раскрыл ладони на уровне своего лица: «Нет бога, кроме аллаха!..» Он снова открыл глаза. Теперь в его взгляде были страх и мольба о пощаде. Люди молча смотрели на него, никто не вставал на колени.

Мулла Назар трижды повторил имя аллаха и начал читать молитву. Тонкий голос его постепенно набирал си-

лу. Но не о Сапаре думал сейчас мулла, не для него выпрашивал у бога кусочек рая, он был озабочен другим: как уломать живых, как заставить их повиноваться?

Размеренно и монотонно повторял мулла Назар один и тот же напев, словно заклиная людей подчиниться, преклонить рядом с ним колени. Именем аллаха хотел он освятить совершенную несправедливость.

Один за другим старики стали опускаться на колени, молитвенно поднимая ладони. Не переставая бормотать и раскачиваться, мулла зорко следил за толпой. «Еще! еще!..» — приказывал, заклинал его взгляд. Еще несколько человек медленно опустились на землю.

Молча отстранив людей, Кадыр-ага подошел к телу Сапара. Поставил возле него покрытые одеялом траурные носилки и, не глядя на муллу, сказал:

— Кладите его сюда, ребята.

Мулла Назар забормотал быстрее. Наспех закончил молитву, провел ладонями по лицу и сказал, подымаясь:

— Что делать! Что делать!.. На все воля аллаха!

Кадыр-ага бросил на него тяжелый взгляд.

— Эх, мулла, до каких пор будешь ты валить на бога бесчинства наших баев?

— Ты не прав, Кадыр-ага! Не прав,— зачастил мулла Назар,— Осман-бай тоже исполнил божью волю.

Кадыр-ага отвернулся.

Подняв тело, мы осторожно положили его на носилки. Мне все казалось, что я могу потревожить Сапара, что лицо его вот-вот исказится от боли. Но черты его были спокойны.

— Люди,— сказал Кадыр-ага,— пока не придут его близкие, я заберу парня к себе. Пусть будет гостем в моем доме...— Голос старика дрогнул.— Согласны, соседи?

— Согласны, Кадыр-ага.

— Тогда поднимайте.

Я поставил на плечо ручку траурных носилок. Другую принял на плечо Кадыр-ага, третью — Вельназар. Ахмед тоже подставил здоровое плечо, хотя самого его поддерживал Вели.

Посреди деревни, там, где улица круто шла вверх, мы остановились сменить Ахмеда.

Я оглянулся. Площадь была пуста. Вся деревня от мала до велика шла за траурными носилками Сапара.

1969

Ходжанепес Меляев

р. 1941

Пламя

Заснул я поздно, а проснулся, когда соседи по номеру еще сладко спали. Освобождаясь от забытья, открыл глаза и вспомнил: «В девять ноль-ноль!» Мгновенно вскочил и, сжимая в кулаке электробритву, пошел в ванную. Холодный душ смыл остатки сна.

Из гостиницы «Ашхабад» вышел бодрым, полным внутреннего сдержанного движения, подобно ахалтекинскому коню перед началом скачек. Ни садиться в такси, ни ждать троллейбуса не хотелось; я весело — и все быстрей да быстрей — зашагал по проспекту Свободы.

Удивительный это проспект! Прямой, он тянется километры, поражая приезжих. Тротуары отделены от проезжей части тщательно подстриженным кустарником и рядами огромных деревьев: солнечный жаркий луч не может пробиться сквозь листья, идешь в зеленом спокойном полусвете, слышишь журчание воды в бетонных арыках...

Строгая вывеска на русском и туркменском языках: «Министерство газовой промышленности СССР. Объединение Туркменгазпром».

— Можно к начальнику?

— Сейчас нельзя, будет пятиминутка. А вы по какому вопросу?

— Окончил в Баку Институт нефти и химии. Направлен к вам на работу.

— К нам! — Девушка улыбнулась.— Садитесь. Сейчас доложу Перману Назаровичу...

Прошуршав нарядным платьем, секретарша скрылась за дверью, обитой черным дерматином.

Я огляделся. На секретарском столе два телефона: белый и красный. Железный ящик у стены раскрыт и похож на передатчик в нашем колхозном радиоузле.

— Войдите...

«Перман Назарович» сидел за письменным столом, к которому приставили еще два столика, отчего получилась буква «Т»; стол был крыт красным сукном. Под потолком горели лампы дневного света, и оттого ярко блестела лысая голова Пермана Назаровича, а склоненное лицо казалось суровым. Вспомнились рассуждения одного краснобая, что не раз объяснял, как можно по волосам разгадать характер человека.

«Запомни,— говорил он,— лысые люди переменчивы и раздражительны, как полудикий, необученный верблюд. А вот у седых сердце обычно мягкое. Надо быть последним неудачником, чтобы не добиться помощи от седого!»

И тут я приободрился: справа от начальника сидел седой человек, внимательно меня рассматривавший. Он показал на стул рядом с собой, приглашая сесть.

— Ну ладно! — оторвался от бумаг начальник.— Отложим пока дела и послушаем молодого человека... И ты, Бегов, как руководитель отдела кадров останься...— Это было сказано человеку в очках и с пышными темными волосами.— К нам приехал новый специалист. Куда бы его определить?..

Перман Назарович раскрыл мой диплом.

— Ого! Закончил институт с отличием!

Все трое улыбнулись.

«Нет, право, начало неплохое,— думалось мне.— Краснобай просто болтал что в голову взбредет...»

— И характеристика у вас хорошая,— продолжал начальник.— Кандидат в члены партии... Где хотели бы работать? Сейчас у нас и на западе, и на востоке, и на севере добывают газ и нефть. И везде нужны люди... А может,— он вдруг задумался,— может... Товарищ Бегов, и вы, Хан Сахатович... Не оставить ли его в объединении? Ведь окончил с отличием...

Кадровик потер лоб:

— Стоит ли спешить? Пусть отведает, как говорится, и горького и сладкого, опыта поднаберется... А то ведь юноша только-только со студенческой скамьи...

Мне не хотелось оставаться в объединении, но я вздрогнул: «Похоже, меня считают желторотым юнцом?!»

Я всерьез разволновался! Бегов явно испортил настроение начальнику...

Перман Назарович нахмурился:

— А мы что же, не были молодыми?

В разговор вмешался Хан Сахатович:

— А у вас, Мергенов, есть семья? Женаты?

— Семейное положение...— Я почувствовал хрипоту и откашлялся.— Только мать... А женат был... Но мы разошлись еще до того, как поступил в институт.

Наступило молчание. Я глядел в пол и не видел лиц: наверное, теперь уже не улыбаются. Пожалуй, спросят, почему разошелся... Ох, только б не спросили! Тяжело отвечать на такие вопросы, да коротко и не расскажешь...

— Наверное, были серьезные причины! — произнес наконец Хан Сахатович.

Да, причины были. Не мог я больше жить с Айной: видеть ее наплевательское отношение к ребенку, мириться с корыстолюбием, которое разъедало мою жену, как ржа.

Мне вспомнилась девушка, с которой учился на одном курсе. И сразу стало легко, исчезли скованность и робость, унялась отвратительная дрожь... Пусть теперь задают любые вопросы! Спасибо, моя Марал! Одна мысль о тебе совершает чудеса. Ты чудо. Мое чудо!

— Мергенов, куда вы сами хотите поехать: на запад или на восток?

— Если возможно, хотелось бы на восток... Родное селение, родительский дом недалеко от Газ-Ачака... На Лебабе.

— О-о! В самое горячее место! — Начальник легко откинулся на спинку кресла.— Решено. Желаю удачи. Когда буду говорить по радио с начальником буровых работ Газ-Ачака, сообщу о вас. А через час приходите в отдел кадров. Всего доброго!

Воздух стал горячее. Но в отличие от Баку здесь не было восточного ветра, что приносит запах нефти. Оттого ашхабадский воздух казался ласковым и ароматным.

Пешеходы и машины на проспекте теперь двигались степеннее: казалось, за полчаса люди сделались старше! Удивленный, стал приглядываться; и правда, теперь не было видно молодых лиц... Началось время работы и занятий.

В газетном киоске купил конверт, а в опустевшем номере гостиницы сел к столу и написал:

«Да будет и у тебя солнечным и благоуханным этот день, моя Марал! Пока все идет, как задумали».

Подробно, как ученик в школьном сочинении, описал разговор в кабинете за черной дверью. И о том, как Хан Сахатович спросил о семейном положении и как на мгновение я растерялся, но подумал о ней, о моей Марал, и сразу пришли спокойствие и уверенность. Словом, написал обо всем, что видел, слышал и думал в эти первые дни возвращения на родную туркменскую землю. Уж так было у нас условлено: ничего не утаивать друг от друга.

«До встречи, верная ученица господина Вернера[1]. Твой нетерпеливый Мерген, изнывающий в ожидании твоего приезда в чистых, как твое сердце, песках Каракумов.

P. S. На какой участок меня пошлют, узнаешь в АУБР — Ачакском управлении буровых работ».

Вечерело, когда приехал в родное село, переступил порог родительского дома. Мама бросила подойник прямо в дверях и как дитя кинулась мне на шею. От нее уютно, по-домашнему пахло молоком. Лицом прильнула к моей груди, и лишь по прерывистому, судорожному дыханию я понял, что мама плачет... Так было всегда: встречала с полными слез глазами, а прощалась спокойно, мужественно; провожая, говорила: «Будь здоров, сынок!» И все... Выпрямилась, утерла слезы тыльной стороной руки, спросила:

— Отучился, сынок? Теперь уже все?

— Да, мама. Теперь станем жить вместе.

Она улыбнулась сквозь слезы. Затем взяла меня за локоть и повела на веранду.

На веранде ополоснула кипятком фарфоровый чайник в пестрых цветах, заварила покрепче чай, поставила на стол.

— Где будешь работать?

— В Газ-Ачаке.

— Ой, как хорошо! Тут, сынок, росли и жили все наши с тобой предки, весь наш род. То-то вижу: все больше да больше машин идет мимо в сторону песков; значит, взялись всерьез...

Внятный шорох послышался за второй, запертой дверью на веранду.

Мама вздрогнула, обернулась, тяжело поднялась, опираясь рукой о колени, застыла.

---

[1] Имеется в виду Вернер Абраам Готлоб (1750—1817) — немецкий геолог и минералог.

Детский голос заговорил за дверью:

— С кем ты разговариваешь, бабушка? Айна заперла меня и ушла. Это приехал папа?

Там, за дверью, говорил мой сынишка...

— Да, родной, приехал папа.

— А я вас вижу!

Невольно взглянул и я на замочную скважину. Схватил чемодан, достал коробку конфет...

— Не надо! — остановила мама.— Ну как ему передашь?! Айна безжалостная, и вторую дверь забила гвоздями изнутри. Несчастный ребенок вынужден хитрить, чтобы на минутку прибежать ко мне.— Мать на минуту умолкла, и крупные слезы покатились по щекам, опаленным каракумским солнцем, изборожденным морщинами.

— Папа привез конфет, детка. Отдам тебе завтра, когда прибежишь ко мне. Хорошо, внучек?

— Хорошо, бабушка! — Помолчал и добавил: — Папа, лучше принеси их ко мне в садик. Только приходи, когда Айна уйдет на работу.

— Ладно, Батырчик.

— А ты больше не уедешь учиться, папа?

— Нет, Батырчик, я уже выучился. Буду работать.

— А где? Айна сказала, что ты будешь рыться в грязном песке: искать газ.

— Да, Батырчик. Только с тела грязь смыть нетрудно...

Сказал и спохватился: зачем? Разве поймет ребенок?.. Мал еще!

— Папа Мерген, я тоже стану искать газ, когда вырасту. Ты видал дядю, что стоит всегда на вышке, во-он там?

— Да.

— Вот и я буду стоять высоко-высоко: прямо под облаком... Мы ездили на машине к вышкам...

— Расти быстрее, Батырчик. Будешь учиться там, где я учился!

— А не обманешь, папа?

— Разве я обманывал тебя, Батырчик?

— Обещал купить велосипед...

— Я бы купил, да все равно Айна выкинет.

— Ну да...

Ребенок тяжело вздохнул за дверью. И точно эхо вздохнул я, вздохнула мама.

— Айна сказала: «Не смей ничего брать у Мергена, а то голову оторву. Я сама куплю». И все обманывает, хоть

в магазине, где работает, все-все продается... Себе покупает, а мне ничего...

— А куда ушла Айна? Вот только что была дома...— спросила мама.

— Не знаю. Велела ложиться спать без нее.

Наутро я побывал в детском садике и долго гулял с Батыром. На сердце было тяжело... Айна старалась воздвигнуть крепостную стену между мной и сыном. Даже поговорить вволю невозможно. Она мстила и мне, и старенькой маме, и сыну. Знала, что причиняет боль.

Возвратясь с тайного свидания в детском саду, переоделся для работы: натянул брезентовые сапоги, нахлобучил соломенную шляпу, обнял маму и с чемоданчиком отправился на станцию Питнек, куда к приходу поезда Ташкент — Кунград подают автобус на Ачак. Едва остановился поезд, как из вагонов хлынул людской поток, на платформе сделалось тесно и шумно: парни и девушки, одни с рюкзаками, другие с чемоданами, бледные, еще не тронутые солнцем юга, спрашивали всех, кого считали здешними жителями:

— Где остановка автобуса на Гунешли?

Гунешли значит «Солнечный». Теперь многие стали так называть Ачак.

Переполненный автобус двинулся, когда уже начало темнеть. К счастью, среди пассажиров нашелся весельчак и болтун: не умолкая рассказывал анекдоты, смешил, и люди от смеха добрели... Наконец автобус неторопливо взобрался на высокий бархан и притормозил, как бы предлагая полюбоваться Гунешли. Нашим глазам предстала темная долина, охваченная грядой барханов, и в ней разрозненные огни.

— О-о! — сказал кто-то.— Темновато в Гунешли...

— Да и пыли, пожалуй, что-то чересчур в Ачаке,— отозвался другой голос.

И, словно хвастаясь, ответил бледнолицым горожанам дочерна загорелый парень:

— Еще увидите, какая будет пылища, если подымется ветер! А это что: курорт!

Нещадно жжет солнце. Стою возле базарчика, где продают овощи, фрукты, виноград, чал из верблюжьего молока; стою и озираюсь. В поселке две длинные улицы меж рядами приземистых домишек; тут же — одноэтаж-

ные общежития, столовая, больница, милиция. Дальше к востоку улицу продолжают вагончики на колесах: в трех из них устроена баня, и сейчас из труб поднимаются к небу три столба дыма: безветрие!

По дороге будто просыпана мука — сугробы пыли. Машины движутся в пыльной туче, иной раз не разберешь, что там, внутри, движется... А машины идут почти беспрерывно, и все вон туда, на полтора километра дальше, в контору управления буровых работ.

За вагончиками три башенных крана неутомимо поворачиваются, наклоняют и вздымают длинные шеи: подают на вторые, третьи этажи кирпич...

Рядом затормозила машина с красным крестом, и туча пыли ринулась на меня, пришлось отскочить. Открылась кабина, выглянул с улыбкой водитель:

— Когда приехал?!

— Здравствуй. Вчера. Ну как, Джума, еще не женился?

— Что мне, свобода надоела? Эх ты! — Он засмеялся, выскочил из кабины, хлопнул по плечу.— Разве забыл слова великого поэта туркмен Махтумкули: «Юность — это алый цветок. Если хочешь, чтоб он увял,— женись!» Вот ты женился, а что получилось?

Кажется, я побледнел и пошатнулся: столько сразу вспомнилось горького... Сказал бы другой, была бы тяжелая обида. Но Джуму я знал по прошлому году, когда приезжал сюда на практику: болтлив, но беззлобен и лишь по легкомыслию и многословию способен ляпнуть обидное.

— Наша больница растет, как ребенок,— продолжал Джума, не замечая, что я нахмурился.— Сегодня нас уже шестеро. Ну а народу понаехало! Вдвое против прошлогоднего. Ты что, насовсем приехал?

— Да.

— Где будешь работать?

— Еще не знаю. Вот собрался в контору за назначением.

— Садись, подвезу!

У конторы остановились.

— Если до вечера не уедешь, заходи. Живу все там же,— сказал Джума, прощаясь.

Узкий коридор прорезал контору насквозь. Слева и справа кабинеты, двери с надписями: «Технологический отдел», «Буровой комитет», «Отдел геодезии», «Отдел геологии»,— здесь я наткнулся на сотрудника, что бежал с

бумагами по коридору, и подумал: «Когда приедет Марал, она будет работать за этой дверью!»

Вот и настежь открытая дверь; в комнатке секретаря очередь: человек десять, все с бумагами. Из кабинета вышла женщина, оставив открытой дверь, и хриплый голос оттуда крикнул:

— Входите все разом!

Люди хлынули в кабинет.

Начальник, поправив очки, взял ручку и спросил паренька, который протянул заявление первым:

— Почему уходишь?

— Отец хочет меня женить, товарищ Кандымов...

— И жене работу подыщем, только возвращайся. Ладно?

— Хорошо.

Едва отошел паренек, протянула бумагу женщина.

— Муж у меня в Наипе. Пошлите и меня туда, хоть в столовую.

— Кто ваш муж?

— Чернов фамилия...

— На какой скважине?

— На тринадцатой.

— Буровик? Это что, Анатолий Чернов? Ясно...

Кандымов подписал и оглядел всех:

— Есть здесь окончившие институт?

— Есть! — отозвался я.

Все обернулись ко мне, рассматривая.

— Чего же молчишь?! Подойди, подойди... С утра жду. Предупредил секретаря, чтоб сразу зашел... Что-то вроде бы знакомое лицо... Был у нас на практике?

— Да. На участке Юбилейном.

— Как зовут?

— Мерген Мергенов.

— Отлично. Сейчас же вылетай, Мерген, в Наип на тринадцатую буровую. Там позавчера мастер попал в больницу с аппендицитом. Пока работает сменный мастер. Обо всем поговорим позже. Заявление готово?

Сижу рядом с летчиком: больше никого нет в нашем вертолете. Впереди и сбоку — стекло...

От земли отрывались осторожно, будто сожалея и не решаясь, минуту висели неподвижно и внезапно резко рванулись вперед. У меня замерло сердце: казалось, ткнемся носом в гребень бархана! Но бархан прошел

внизу. Краем глаза покосился на летчика: право, он выглядел чересчур спокойным!

Странное чувство охватывает сидящего в этой машине: все время видишь землю, чувствуешь ее близость, видишь, как сбоку и впереди бежит по барханам большая тень вертолета, мелькая тенью винта. А барханы сверху похожи на огромное стадо прилегших на отдых верблюдов. Куда-то в сторону уходит вереница столбов, и провода блестят, точно струны.

Вон из бархана торчит труба, а из нее бьет пламя: горит газ. И вокруг пламени песок выглядит черным, закоптелым и опаленным. Гляжу и вспоминаю: человек вернулся из Вьетнама, беседуя с нами, студентами, он положил на стол странно спекшийся кусок белого морского песка, зажег спичку, поднес, и вдруг песок загорелся голубоватым огнем... «Видите? — спросил человек.— Это на береговой песок упала напалмовая бомба и загорелась. Люди потушили пламя, но и потухший в песке напалм ждет случая, чтобы загореться».

Вот так и мы добываем земное пламя для очагов, чтобы согреваться и готовить пищу. Но есть и другие люди, которые хотят сжечь этим пламенем жизнь...

Где-то я прочел, что на одну тонну этилового спирта надо потратить четыре тонны пшеницы, или десять тонн картошки, или четырнадцать тонн сахарной свеклы. А можно вместо всего этого затратить лишь две тонны земного газа.

Ни в одном словаре еще нет слова «ЭНАНТ». Так называют чудесное волокно, что было получено из газа в 1957 году и заменяет и шерсть и шелк.

Летим.

Все вокруг желто. Каракумы дышат жаром как раскаленная плита.

В двенадцатом веке здесь побывал китайский путешественник и после написал, пораженный: «Я видел там невероятный огонь, что горел ночью и днем, вырываясь из земли, и не гас ни в дождь, ни в ветер. В это священное пламя ежегодно бросают двух человек— в жертву богу огня».

Да, был когда-то такой жестокий обряд.

А в конце прошлого века пришли сюда братья Нобели и стали вывозить челекенскую нефть на мировой рынок...

Вертолет внезапно повис, словно беркут над добычей, и резко снизился. Я очнулся и взглянул: мы опустились рядом с буровой вышкой на песчаной площадке. Лопасти

уменьшили обороты, и летчик кивнул мне, разрешая выйти, а едва я сошел, вертолет снова набрал высоту.

Из деревянного домика возле вышки вышел человек лет сорока. Ну конечно, это был прошлогодний знакомый: ежедневно обедали за одним столом в столовке; на круглом его лице под носом издали видна черная родинка, похожая на кишмиш.

Улыбаясь, протянул мне руку, большую, как бычье сердце.

— Аллаяр Широв. С приездом. Все благополучно?

— Спасибо.

— Пойдем-ка в вагончик. Теперь ты будешь отвечать за эту вышку!— Аллаяр Широв, заложив за спину руку, шагал рядом.

Вошли... Я поставил чемодан. Мой спутник налил крепкого чаю. В окошко было видно вышку, работающих людей, доносились шумы: то вроде бы пулеметная очередь, то глухое шипение.

— Меняем долото,— объяснил Аллаяр и взглянул на часы.— Должны закончить до новой вахты. А тогда уйду на участок...

— Уйдете? — Я поднялся.— В таком случае идемте вместе на буровую.

Когда подошли к скважине, начальник участка, напрягаясь и оттого багровея, прокричал мне в самое ухо и показал рукой на краснолицего небритого человека, который держал рычаг тормоза:

— Это Магомед Салихбеков, лучший бурильщик.

И, повернувшись к Магомеду, проорал:

— А это ваш новый мастер. Звать Мергеном. И фамилия Мергенов.

На вышке, на высоте семиэтажного дома, помощник бурильщика, которого для краткости зовут «верховым», одну за другой закреплял трубы в элеваторе. Трехтонный блок отправляет трубу вниз, и, когда ее конец появляется возле бурильщика, тот нажимает на тормоз, а его подручный с помощью ротора прижимает трубы металлическим клином. Трубы свинчивали, затем новая труба опускалась вниз, а блок прихватывал элеватор и поднимался за следующей...

И так будет повторяться, пока трубы не достигнут заданной глубины.

Работа у бурильщика шла нормально, и мы с Аллаяром проверили вязкость раствора вязкомером, а затем я не удержался, понюхал раствор: густой, маслянистый, по-

крытый пузыристой пеной, он пах землей, газом, нефтью...

— Что, как повар, хочешь определить вкус по запаху? — Аллаяр сел в тени цистерны с водой прямо на песок и показал место рядышком. Я присел на корточки.— Подвигайся в тень, поближе. Еще стукнет солнечный удар, попадешь в больницу вместе с Торе-ага. У бедного старика аппендицит...

— Слышал. Но если операция пройдет удачно, через пару недель вернется...

— Операция закончилась удачно, я говорил с Джумой...

Помолчали. Я рассматривал пески возле вышки: вокруг валялись ящики из-под керна, долота, разный иной инструмент, разодранные мешки, в которых были когда-то порошки для раствора.

— Аллаяр Ширович, разве нельзя навести порядок, разложить все это по местам?

— О чем говорить! Конечно, было бы хорошо... Понимаешь, уже два дня разрывают на куски: надо здесь побыть, с других вышек радируют, требуют, зовут. Правду сказать, чуть не спятил.

Помолчал, что-то прочертил прутом на песке.

— А дома был? С матерью разговаривал? — Аллаяр теперь пристально смотрел на меня.— Ты не удивляйся, я ведь тоже из вашего селения. Да, по правде говоря, мы и роду одного. И некуда нам деваться друг от друга, брат!.. Давай условимся: если что-нибудь не заладится, ты потихоньку скажи мне. Мало ли надо для буровой: то и дело требуются, например, дефицитные инструменты... Иной раз их нет и на складе... Да, поди, и сам знаешь по прошлому году...

Ну конечно, я знал, как много всего надо на буровой скважине: вода, цемент, масло, долота, трубы... Да что там вода, чернил не будет для картограммы — и то простой!

— Понимаешь,— продолжал Аллаяр,— к новому работнику начальство зорко приглядывается. Если скажут, что, мол, «парень с мозгами и хваткий», то это, брат, аттестат на двадцать лет. А прослывешь неумехой и зевакой, потом хоть из шкуры вылезай, а мнение не переменят. Разве не правда?

— Вам виднее: опыт многолетний. Постараюсь не подвести.

— Старайся, брат, а мы поможем... Ага, с трубами по-

кончили.— Аллаяр поднялся.— Вон тот парень, «верховой», он цыган, очень толковый человек, точный. Что поручишь, все выполнит в точности, как велишь... Будулай! — окликнул он только что сошедшего с вышки парня.

К нам подошел широкоплечий красавец с густой курчавой гривой волос.

— Вместе с Джуманиязом собери-ка все это добро! — И кивнул на разбросанные долота, ящики, мешки.

— Сейчас. Только забегу напиться.

Вскоре они уже собирали новенькие долота, стирали пыль, смазывали, укладывали на доску.

— Разве здесь долота девать некуда? — спросил я начальника участка.

— Какое там! Вчера на четвертой буровой кончились долота, так пришлось им полтора часа свистеть в кулак...

— В прошлом столетии,— произнес я медленно и внятно,— путешественник Джеймс Кук писал, что на Полинезийских островах жители за один-единственный гвоздик охотно отдавали двух свиней... А здесь валяются не гвозди, а целые долота.

— О-ой! Пару свиней меняли на гвозди?! — воскликнул Джуманияз, изумленно глядя на меня.

— Сам читал.

— Должно быть, там вовсе нет металла! — произнес Будулай.

— Раз мы богаты металлом, это еще не причина смешивать инструмент с каракумским песком. Когда бы покупали инструмент для своего дома, наверное, сумели бы сберечь...

Говорил и слышал, что голос прерывается, а лицо, чувствовал, горит.

— Не сердись, мастер! — откликнулся Будулай.— Сейчас соберем...

Из-за бархана показалась вахтовая машина. Аллаяр отдал мне свой завтрак — колбасу и вареные яйца,— а сам с Магомедом Салихбековым уехал на участок.

Теперь за рычаг тормоза взялся бурильщик Анатолий Чернов, невысокий, широкогрудый, веселый парень. Одному помощнику он велел проверить раствор, двоим поручил собрать раскиданные трубы. Остается пробурить сорок метров; там геологи предсказывают газ: «Должен ударить газовый фонтан!»

Поздним вечером я передал по радио Аллаяру первую свою сводку:

«Глубина — 2210 метров. Нынешняя проходка — 6 метров. Глина — 1,30; 45; 6; 5.

Бурение продолжаем. С вахтой пришлите питьевую воду: кончается. Настроение хорошее...»

К ночи унялся раскаленный суховей, что весь день дышал как из раскрытой печи. Теперь повеяло прохладой, разнесся пряный дух растений пустыни.

Я поднимаюсь на гребень ближайшего бархана.

Наша вышка, точно гирляндами, увешана лампочками, и возле нее светло, хоть иголки собирай. Вижу, как Чернов изредка машет рукой, подзывая кого-то из помощников, а когда тот подходит, что-то говорит в самое ухо... Даже здесь, на бархане, кажется, будто ты сидишь в самолете, который вот-вот разбежится и взлетит: так мощно гудит буровая.

Вдали за барханами видны такие же вышки, подобные разукрашенным огнями рождественским елкам.

Давно ли здесь было пустынно и дико, лишь беркут кружил над песками да свистел беспризорный ветер Каракумов — Черных песков?

На другой день я присутствовал на разнарядке. Внутри вагончика стояли маленький стол и стулья. Познакомился здесь с другими мастерами. В уголке рядом с переходящим Красным знаменем сидел сотрудник комсомольской газеты, присланный из Ашхабада.

И окна и дверь были растворены настежь, но крепкий табачный дым плавал в воздухе.

Мастера жаловались, ругали хозяйственников, кричали: «Да сколько ж, наконец, можно ждать?!» Аллаяр записывал жалобы в толстую тетрадь и кивал.

Наконец гомон утих.

И тогда Аллаяр спросил усатого азербайджанца, что сидел поодаль, поставив меж коленей охотничью двустволку:

— На охоту, что ли, собрался, Алимирза? Скажи и ты что-нибудь...

— Да, выхожу на охоту! — проворчал Алимирза, и полуседые его усы хищно приподнялись.— Боюсь, нынче вместо меня заговорит мое ружьишко...

— Чего же у тебя не хватает? — воскликнул Аллаяр.

— Вчера говорил и позавчера говорил. Если надо повторить, повторю третий раз: нет долот! А те, которыми работаю, сточились, как старушечьи зубы...

— Как? Сегодня отправили тебе новые долота. Аллахом клянусь!

— А, хватит тебе, Аллаяр! Вечно клянешься и вечно лжешь. Где ж эти долота?

Аллаяр покраснел, грохнул кулаком.

— Сам погрузил на машину, что везла цемент на седьмую скважину.

— И цемент и долота сгрузили у нас,— откликнулся мастер с этой буровой.

— Этому шоферу башку мало свернуть. Пусть только попадется! Где надо позарез, туда не довозит, где достаточно, туда валит еще... Вон на тринадцатой валяются прямо в песке. Ты, Алимирза, потом на вахтовой машине съезди и забери на седьмой, а то на тринадцатой, где сподручнее.

— А я без долот и не вернусь, не беспокойся!

Ворча и поругиваясь, разошлись мастера. Алимирзу, журналиста и меня Аллаяр пригласил выпить чаю. Вышли и сели у вагончика на топчан, застеленный кошмой и ковром.

Немолодая смуглянка принесла четыре пиалы и огромный чайник.

— Каракыз! — воскликнул Алимирза.— Принеси-ка чего-нибудь пожевать горяченького, а? Положи зайчатину на минуту в горячее масло — и готово! Тут нет больных желудком.

— Обождите: газ кончается, чуть-чуть теплится,— отозвалась Каракыз и ушла.

— Газ и то кончился некстати,— проворчал Алимирза и прилег.— Вот уж точно: сапожник без сапог.

— Хорошо сказано! А с чем еще у вас затруднения?

— Разве вы собираетесь критиковать нашу контору?

— Нет, зачем же? Но для очерка нужен конфликт.

Журналист смотрел на серые, точно джидовый лист, усы Алимирзы.

— Много зайцев?

Тот невнятно прогудел:

— Хотите... возьму и вас... втроем прямо в пустыне... пожарим на саксауле... Вах, вах!.. Еще не уезжаете?

— Пробуду деньков пять.

— Непременно поедем. Один подержит лампу, другой будет подбирать зайцев... Я еще зря не тратил пуль!

— Охота теперь запрещена: зайчихи-то на сносях,— покачал головой Аллаяр.

— Не волнуйся! Стану бить лишь самцов да яловых самок.

— Да разве ночью узнаешь, где самка, а где самец? — удивился журналист.

— Как не узнать! Животное на сносях поперек себя шире, а самцы тонкие да тощие. Мои глаза еще ни разу не ошибались. Будьте уверены!

Зайчатину запили зеленым чаем. Пили жадно. Затем Каракыз подала на хивинском глиняном подносе курящийся паром плов.

И опять чай.

Журналист пожелал заночевать у меня на буровой... Вскарабкались на КрАЗ[1], у которого колеса в мой рост. КрАЗам все нипочем! Вот уж воистину вездеходы. У бортов сидели тесным рядом рабочие: корзинки с едой кто держал на коленях, кто поставил у ног. Прямо поверх одежды все натянули старые комбинезоны, брюки, замасленные, точно у маслоделов.

Я огляделся: менялась погода. Стирая яркие звезды, черные тучи разбрелись в небе. Растения пустыни, обиженные такой непогодой в июле, тихонько качали головами.

А газовики будто и не замечали ничего, шумно спорили о футбольных командах. Иной раз казалось, вот-вот от слов перейдут к взаимным затрещинам, но взрывался оглушительный смех, и парню, который дошел в запальчивости до гнева, оставалось лишь улыбнуться.

Так, шутя и смеясь, незаметно доехали до буровой.

Было три часа ночи, когда меня разбудил Будулай.

— Мастер, на скважине прихват!

Я сел на койке, моргая спросонья, постепенно приходя в себя. Прихват! Это значит, на глубине двух с четвертью километров грунт зажал сверло. «Прихватил» так, что оно не в силах шевельнуться...

Трясущимися руками натянул брезентовые сапоги на голые ноги и выбежал в кромешную темноту, где и понизу метет песком, и сверху сыплет песок, отчего огни вышек вроде бы скрыты плотной желтой завесой.

На вахте стоял бурильщик Анатолий Чернов, взмокший от пота. Его помощники Будулай и Джуманияз, дизелисты, электрики сновали с места на место в растерян-

[1] КрАЗ — автомобиль Кременчугского автомобильного завода.

ности и волнении. Ревели дизели, оглушительно дышали насосы.

Молча я отобрал рычаг у Анатолия. Бесполезно было б ругать или требовать объяснений: каждое слово пришлось бы орать в самое ухо. Да и он был растерян: беспомощно размазывал по лицу жирную грязь.

— Какая глубина?

— Две тысячи двести двадцать один метр...

«Две тысячи двести двадцать один... Две тысячи двести двадцать один. Ох, осталось всего двадцать метров — и там газ! Проектная глубина, но нечего размышлять. Все смотрят на меня. Будь хладнокровным! И действуй, Мерген, действуй!»

Закусив губу, осторожно повысил давление.

Рев дизелей заставил трястись металлические стойки гигантской вышки. Стальные тросы, толстые, как моя рука, напряглись и заскрипели. Чудилось, что буровая вышка вот-вот оторвется и ракетой ринется в небо...

Но трубы не шелохнулись.

Что же делать? Что теперь делать?

Случайно взгляд упал на трясущийся металлический лист: красными буквами там написано: «Мастер, помни! Ты отвечаешь за всякую аварию и несчастный случай на своем участке».

Конечно, отвечаю! Как же оправдаюсь, что отвечу? Изза чего, по-твоему, образовался прихват? Как проверишь на такой глубине? Может, станешь бранить строение земных пластов, а? А вдруг всему причиной состав раствора? Неспроста буровики называют раствор «кровью буровой скважины». Когда у человека изменяется состав крови, он обессилевает, и необходимо переливание... Так и буровая скважина...

Если причина аварии в плохом растворе, все равно мы виноваты. Должны были проверять!

Тут на глаза попался Джуманияз, и я приказал сейчас же радировать Аллаяру Широву. Со всех ног кинулся он к вагончику. Наверное, я все-таки полуоглох и очумел от шипения и рева механизмов, потому что вдруг отчетливо услышал негромкий голос начальника Ачакского управления Кандымова: «Молодой человек, мы доверяем тебе государственное имущество на миллионы рублей. Постарайся. Желаю успеха...»

«Успеха... Еще и недели не проработал».

Припомнился и разговор с Аллаяром: «На нового работника начальство смотрит во все глаза и ждет. Если

заговорят, что, мол, парень-то не дурак, соображает, то утвердятся на том на ближайшие двадцать лет. А прослывешь неумехой и незнайкой, после хоть из шкуры вылезешь, не переменят оценку».

Что ж, Аллаяр, наверное, прав. Вот только есть у туркмен поговорочка: мол, коли языком косить сено, то спина не заболит!

Мысли путались... Ну как, чем распутать проклятый тугой подземный узел?

Растерянному, подавленному, мне вдруг почудилось, будто захлестнула меня сердитая волна Каспия и я тону... Тону!

Заставил очнуться голос, что прорезался сквозь рев и шипение. Оглянулся — рядом стоит Джуманияз.

— Ну что?

— Широв говорит, что сейчас приедет.

Молчу. Да и что сказать?.. Может, он привезет аварийную бригаду? Должно быть, уже поднял аварийщиков на ноги. Должно быть, позвонил и Кандымову... Как же: начальник обязан быть в курсе... Наверное, тот схватился за голову: «Как я мог доверить буровую желторотому юнцу?»

Теперь казалось, будто и рев дизелей, и змеиное шипение насосов слышу не снаружи: всё у меня в голове. И не металлическое сверло, а несчастную мою голову сдавили земные пласты на глубине две тысячи двести двадцать один метр.

Больше нечего и мечтать, что выполним план по буровой проходке. Придется забыть о премиальных для газовиков, а люди трудятся в беспощадную жару, в адском песке. И все порицания посыплются на мою голову. На любом собрании станут напоминать: «А вот на тринадцатой буровой, где мастер Мергенов, был прихват».

Да, раствор для этого земного пласта не подходил: слишком легок и жидок. Смягчить пласт, освободить сверло могла только вязкая, жирная нефть. И аварийной бригаде придется пустить в трубы, наверное, семь-восемь тонн государственной нефти! Да еще время и труд, которые надо затратить...

И все же затеплилась надежда: а вдруг?! Я приказал Чернову и Будулаю изменить состав реагента: добавить в раствор нефти.

— А ты, Джуманияз, ступай в вагончик! — Я махнул рукой: не был уверен, что расслышит и сразу поймет. Но он понял и бросился со всех ног к вагончику: ведь в любую минуту нам могли передать радиограмму.

Прибежали Будулай и Анатолий: приказ исполнен, нефть добавлена даже с избытком.

Оглядываюсь исподлобья: и дизелисты, и слесари, и окаменевший поодаль журналист смотрят на меня и ждут.

Все! Теперь гляжу только на картограмму. И постепенно начинаю работать руками и ногами.

Стальные колонны вышки, тело ротора затряслись, как в лихорадочном ознобе. Грохот такой, будто прямо на тебя летит реактивный самолет.

Во мне тоже все тряслось и грохотало. Но сейчас я видел лишь показания картограммы.

А вдруг...

Первыми радость ощутили руки, вцепившиеся в рычаг: он вздрогнул! И радость рук проникла в сердце, разлилась по телу. В то же мгновение изменился шум, пропали в нем напряжение и ожесточенность. Оцепеневшие было люди задвигались, зашевелились, бросились к рабочим местам. Осветилась вершина бархана, а рядом затормозил КрАЗ. Широв, огромный, грузный, выскочил из кабины на удивление легко. И сразу понял, сложил рупором ладони, закричал:

— Одолели? Справились?

И даже хлопнул меня по плечу:

— Молодцы, ребята! Здорово!

Оглянулся на старика, что вышел из второй машины, и крикнул:

— Молодой мастер извиняется за беспокойство!

— Ну что ж, неплохо! — весело ответил тот.— Увезем назад масло, которое приволокли во спасение! У меня такой же красивый сын, как ты. Только-только окончил десятилетку и не пожелал сидеть у материнской юбки. Пару дней назад приехал с Урала, заявил: буду с тобой работать! Что ж, пускай попотеет!

Машины повернули назад.

Ветер спал, и сейчас дул слабый, но жаркий суховей.

Всю ночь за стенами вагончика шелестел дождь, и утром песок напоминал исклеванную птицами дынную корку. Словно и не было ночного ненастья: на голубом небесном шелке нет ни пятнышка, ни облачка. Солнце чуть поднялось, еще розовое, полусонное, но уже печет неистово.

Журналист на рассвете с вахтовой машиной уехал на буровую Алимирзы, и я наконец вздохнул с облегчением. Всю ночь он не спал, сначала засыпал вопросами, а по-

сле начал рассказывать о себе: как трудно поступал в Ашхабадский университет, и тут я задремал, а он не заметил и все говорил, говорил под шуршание и всхлипы дождя.

22.00. Смена работает дружно: бурильщик Магомет Салихбеков, как дирижер оркестра, взмахом руки направляет помощников, дает поручения. Вышка ровно, без напряжения гудит и вздыхает насосами. Я обхожу, не вмешиваясь, не мешая. Останавливаюсь возле аппарата, что приготовляет раствор. Маленькая смесительная машина всего на один ковш. Раствора мало, и готовится он медленно. Эту крошку пятнадцать лет тому назад выпустил Чирчикский электрокомбинат.

«А нельзя ли,— думаю,— эту старушку переделать, увеличить нагрузку? Пожалуй, стоит поразмышлять да прикинуть...»

И в это мгновение вдали, в тишине песков, грянул выстрел.

Должно быть, Алимирза собрался все-таки на охоту...

Вспомнилась милая Марал, и словно лучистая звезда раздвинула тучи... Великий Гёр-оглы, герой наших легенд, исцеляется от кровавых ран, когда зажигались звезды...

Когда же ты приедешь сюда, в Каракумы? Ты же знаешь, без тебя брожу точно в пелене тумана. Неужели тебя направили на работу в Копетдаг или Шатлык?! Пусть даже ты была бы не со мной, но где-то рядом, и спокойнее стало б на сердце, легче и проще жить... Рудольф Нойберт, психолог-врач, в знаменитой «Новой книге о супружестве» говорит, что в Германской Демократической Республике законом запрещено надолго разлучать молодоженов, посылать работать или учиться в разные, в далекие города...

Но мы с тобой еще не молодожены! Нет у нас официальной справки из загса, нет даже простого твоего согласия выйти замуж. Лишь одно знаю: ты любишь меня! А это самое-самое важное в жизни...

И да избавит бог от встречи с женщинами, что лживо шепчут: «Люблю!» — и, обнимая, щупают рукой ткань пиджака: достаточно ли дорогая?!

Я неторопливо шел в сторону своего вагончика, когда, сверкнув фарами, из-за бархана вывернулась машина: она направлялась ко мне, и я остановился, ожидая. В кузове машины для перевозки буровых труб, облокотившись на

кабину, стояли трое: Алимирза и Аллаяр Широв с ружьями, а журналист, что ночевал у меня в ночь аварии, держал прожектор.

В кузове рядом с трубами валялись три зайца.

— Поехали с нами, Мерген! — сказал Аллаяр Широв.— Ты чего это, как от беременной жены, день и ночь не отходишь от буровой?

— Уже подходим, Аллаяр, к проектной глубине. Неохота, как говорится, собранное по ложечке выливать чашками.

— Ну и сказал! Да если аллах сулил беду, то хоть танками окружи буровую, все равно не уберегут. Да мы далеко не поедем: так, пошарим вокруг да около...

Я забрался в кузов.

Машина выехала на дорогу, огибающую барханы.

Один из нас высвечивал прожектором травы пустыни и редкие кусты.

Отчего иногда поступаешь вопреки своим мыслям и даже чувству? Поступаешь, а самого грызет раскаяние. Может быть, какой-то буровой срочно требуются трубы, а мы их таскаем по пескам, развлекаясь... Ну а если машина ввалится в не замеченную шофером яму? Разве ктонибудь признается, что поломал машину, забавляясь охотой на зайцев?

Вдобавок сейчас запрещена охота: котятся зайчихи...

— Вон, вон! Видите? — закричал журналист и уменьшил свет прожектора. Мы увидели зверька: глаза его казались красными угольками.

— Не стрелять! — загремел Аллаяр.— Это зайчиха. Беременная.— И приказал шоферу, который притормозил: — Гони дальше!

Минуту спустя мы опять увидели два багровых уголька: это был тощий, как плеть, зайчишка, он метался, ослепленный прожектором, не видя, не понимая...

Алимирза выстрелил, зверек свалился на землю.

За добычей отправили меня... Но, когда я хотел уже схватить подстреленного зайца, тот внезапно отскочил под соседний куст саксаула. Второй раз я сумел лишь вырвать клок шерсти. В глазах потемнело...

Мне что-то кричали из машины, но я слышал лишь похожий на детский, горестный плач зайца.

Наконец прибежал журналист, схватил конвульсивно вздрагивающего зверька и унес.

Пошатываясь, иду к машине. Трава хватает за брезентовые сапоги, листья саксаула касаются лица, и, чудится,

проклинают, винят, жалуются: «Мерген, Мерген, давно ли ты стал убивать беззащитных?!»

И снова я услышал пронзительный детский плач... Вот так же плакал однажды мой Батырчик. Никак не удавалось успокоить младенца, и мама наконец перепеленала ребенка. Тогда мы увидали черного муравья на его нежном тельце...

Аллаяр заметил, что я расстроен.

— Пора возвращаться! — заявил он.— Добычи хватит на всех.

А по дороге говорил рассудительно и спокойно:

— Аллах создал баранов, зайцев, коз, кур на потребу человеку. Эх, братишка, слишком уж ты зеленый!

Я не отвечал Аллаяру. Что бы там ни было, твердо знаю: мой отец не мог убить беззащитного зверя! Нет, отца никогда не видел: он погиб после войны в Белоруссии, когда разминировал фашистский склад боеприпасов.

Машина остановилась у моего вагончика, Аллаяр Широв ее отпустил и поручил Алимирзе зажарить зайцев.

— Э, не волнуйся, начальник! Будет сделано,— усмехнулся тот.

Мы с Аллаяром подошли к вышке.

— Ну как, Магомед? — заорал что было мочи Широв, чтоб перекричать хриплое сипение насоса и гудение дизеля.— Бурпшь?!

— Бурим. Порядок,— откликнулся сменный мастер.

До проектной глубины оставалось всего пятнадцать метров.

— Завтра, пожалуй, достигнешь уровня, Мерген. Ну в крайнем случае послезавтра.

Не спеша отошли от буровой. Шум вышки отдалялся, глох. Теперь мне казалось, что Широв собирается что-то сказать и не решается; взглянет в лицо испытующе и опустит глаза и снова взглянет. А я не люблю играть в прятки... «Может, управляющий дал нагоняй за вчерашний прихват? — подумалось мне.— Но ведь все обошлось, значит, упрекать нет причины... Чего ж он смотрит, словно кот на горячее мясо?»

— Хотите о чем-то спросить?

— Да.

— Слушаю.

Он закурил и постоял молча. Потом пристально взглянул мне в лицо.

— Хочу о семье спросить. Не знаю, может быть, ты прав. Может быть, жена права. Ты, по-моему, забыл об

одном. Молодость резка и брыклива. Бывает, и год и два не могут ужиться, вздорят, ссорятся, подозревают... И пока не притерпелись друг к другу, нет еще настоящей семьи. Не спеши, не прерывай... Сам знаю, как трудно молодому коню привыкнуть к узде, а молодому мужчине, прежде свободному, словно ветер пустыни, притерпеться к женским настырным расспросам: где был, отчего задержался, что так поздно пришел, чего делал? И самый жестокий враг семьи — ревность, ядовитая, точно гюрза, неусыпная, подстерегающая даже в постели... Ревнивые подозрения изведут, лишат сна, аппетита, разучат радоваться жизни и солнцу. И кончается это всегда одним: семья разваливается... Но и после того, как распадется семья, горький дым пожара долго будет отравлять твое дыхание, заволакивать дорогу, скрывать горизонт. Разве не так? Разве ты не вспоминаешь сынишку? Ну ладно, шайтан с твоей женой, но хуже всего от вашего разрыва малому ребенку и старушке матери. Неужели тебе не жаль матери?

Аллаяр умолк, закуривая новую сигарету.

— Откровенно говоря, если б речь шла не о тебе, Мерген, я бы не волновался, я б остался холоден, будто камень, и спокойно спал ночью. А теперь волнуюсь с первого дня твоего приезда. Дело не в том, как вы с женой ссоритесь, даже пусть деретесь. Но зачем портить жизнь ребенку, отравлять последние годы старухе? Иногда я наведываюсь в наше селение. Да пусть сделаюсь глухим, как пень, если хоть раз слышал дурное слово о твоей жене! Она достойно ведет себя, хорошо работает, растит твоего ребенка... Ты не обижайся... Прямо сказать, не следовало рано жениться. А если женился, нельзя бросать молодую жену с ребенком и на пять лет уезжать в Баку. Она ведь тоже не деревянная... Через пять лет ты с отличием закончил институт, молодец! Приехал на работу... Так разве ты не должен вернуться в семью? Пойми: иначе нельзя! Скоро нам придется принимать тебя в члены партии, и я, честно сказать, не знаю, что получится... Ты говорил о своей семье, о разводе, когда подавал заявление в партию?

— Да, рассказал без утайки.

— И тебя все-таки приняли в кандидаты?!

— При чем здесь Айна? Что у меня общего с ней?

— По-моему, у вас с ней общий сын.

— Прошу, Аллаяр Ширович, прекратим разговор. Не надо растравлять старую рану. Пять лет назад государство прекратило этот спор на основании закона. И все!

— Как хочешь, братишка. Только учти: переводить тебя из кандидатов в члены партии будут, наверное, скоро. А ведь сейчас идет обмен партийных документов. И знаешь, зачем меняют документы? Чтобы проверить ряды партии, чтоб освободиться от всех морально неустойчивых. Понимаешь? Я советую тебе, как советовал бы старший брат. Не желаешь прислушаться, считай, что не было и разговора.

Эти слова звучат в ушах ночью и днем в гуле дизеля, в сопении насоса, в тишине моего вагончика. Но разве сам я не знаю, что тяжелее всех сейчас маме и Батырчику! Спасибо Аллаяру: беспокоится, старается примирить, теряет время на уговоры. Но разбитое стекло бесполезно склеивать, а вернуться к Айне я не в состоянии... Когда-нибудь соберусь с духом и расскажу, а пока пусть останется моей тайной, тайной, которую оберегал от посторонних глаз уже больше пяти лет. Да, кроме того, уверен, что не положено мужчине говорить всем встречным о своей боли, показывать раны и язвы. Зачем? Нищий показывает, чтобы вызвать сострадание и получить подаяние... Но мне не надо подачек! Да и вряд ли это покажется интересным другим людям.

Солнце садилось, и облачка над пустыней расцвели: сделались розовыми, красными, багровыми, золотыми. Зной спадал, и пески начали остывать. И право, сейчас здесь был такой свежий, такой чистый воздух, какого не сыщешь больше нигде на земле.

И люди на буровой скважине работали весело, споро-висто, ловко, любо взглянуть.

Мы уже дошли до заданной глубины. Уже побывали на буровой каротажники, скважину укрепили обсадными трубами. Все в порядке! А я три ночи не закрываю глаз. Едва засну, вскидываюсь с криком от несуразных сновидений, выбегаю из вагончика на свежий воздух. Голоса, шум, дыхание вышки быстро успокаивают, а спать все равно не могу! И есть не хочется. И когда бреюсь, из зеркала глядит кто-то непохожий на Мергена: осунувшийся и взъерошенный. В общем, не отхожу от буровой вышки ни днем, ни ночью, словно привязанный.

Вот и сегодня подошел я к Будулаю, что рассматривал выливавшийся обратно раствор.

— Здоро́во! Как настроение?

— Дела идут отлично, и настроение на пять с плюсом. А если еще в нашу смену достанем газ, и вовсе плясать буду!

Будулай погрузил палец в пенный раствор, вынул, понюхал.

— Ну, мастер, пахнет уже по-иному!

Не стерпел и я, понюхал.

— Правда, другой запах.

Он снова и долго принюхивался.

— Чем только не пахнет: и газом, и водой, и нефтью, и землей... Букет запахов!

— Пожалуй, может ударить фонтан. С такой глубины можно ждать чего угодно.

— Да, отец вчера тоже сказал Анатолию... «Будьте,— говорит,— осторожны, ребята».

— А кто... твой отец?

— Разве не знаете?! С пяти лет я в сыновьях у Тореага. Вчера Анатолий, Джуманияз и я ездили в район, навещали его. Велел передать вам привет.

— Как его здоровье?

— Швы сняли. Еще денек-другой и выйдет...

— А как ты попал в сыновья к Торе-ага, Будулай? — спросил я, заинтересованный.

— Очень просто,— засмеялся парень.— Бродил я один-одинешенек на ашхабадском вокзале и потихоньку ревел: в голос-то не решался. Торе-ага дал мне конфету, задержался в городе на сутки, чтоб отыскать моих родственников, да только не нашел. Тогда Торе-ага пошел со мной в милицию и объявил, что забирает меня к себе, а если родные появятся, пусть ищут его в Котур-Тепе по такому вот адресу... С тех пор и оказался я у него в сыновьях... Может, и нарочно меня бросили на вокзале родичи, кто знает? У Торе-ага жена умерла, уже когда мы перебрались сюда, в Газ-Ачак. Детей у него нет, живем вдвоем, и, честное слово, заботится обо мне как о родном сыне. И я за него жизни не пожалею... И в паспорте у меня записано, что я туркмен. А с отцом так: не могу оставить его в одиночестве, хоть и требует, чтоб ехал учиться. Поступил в заочный... В Ашхабадский политехнический...

За разговором не заметили, как к вагончику подъехала машина: в кузове стояли Аллаяр Широв и две девушки. Я сразу узнал Марал, мою Марал!

Прилетела долгожданная жар-птица! Не мог наглядеться на черные ее глаза, розовые, как лепестки, щеки. Сердце металось в груди, точно в клетке птица.

Подбежал к машине, поднял голову, застыл.

Марал протянула руку:

— Здравствуй!

Коснулся нежной ладони и почувствовал: дрожу! Дрожу, как наша вышка, когда работает дизель.

Вторая девушка, смуглая и высокая, тоже протянула руку и назвала себя:

— Наргуль.

Почудилось: из глаз смуглянки брызнули на меня горячие искры, а лицо на мгновение вспыхнуло... Почему-то этот геолог в соломенной шляпе покраснела, здороваясь... Может, мое имя тоже напомнило ей кого-то?

— Наргуль Язова,— громко произнес Аллаяр Широв.— Окончила Ашхабадский политехнический. Давно знакома и дружит с Марал. Обе приехали работать геологами...

Он посмотрел на вышку и спросил:

— А каротажники были?

— Давно! Уже закрепили выход скважины фонтанной арматурой. И вместо раствора даем просто воду...

— Решающие минуты! — Марал испытующе смотрела на меня.— Наверное, сердце дрожит?

— Не без того...

— Аллаяр Ширович,— обернулась к нему Марал,— почему бы не поехать на буровую Алимирзы попозже?.. Вдруг...

Она замолчала, но все поняли. И Аллаяр поспешно согласился:

— Я готов, девушки! Как скажете, так и будет, но, если задержимся, надо известить Алимирзу: это такой человек, что для гостей готов в своей ладони сварить плов!

Все зашли в вагончик, и Аллаяр по радио сообщил Алимирзе, что геологи решили задержаться на тринадцатой буровой часа на два-три. Мы услыхали недовольный голос Алимирзы:

— Неужели так понравились парни с тринадцатой?

Девушки переглянулись, улыбаясь. Аллаяр торопливо закричал в микрофон:

— Не болтай чепухи, Алимирза, геологи слышат и говорят: «Приедем, заставим взять керн!»

— Ой-ой-ой! Пусть пощадят сегодня! Сейчас наверстываем простой из-аа долота. Не пальцем же бурить! Гоним, трудимся до седьмого пота... Объясни геологам!

По требованию геологов надо через каждые пятнадцать — двадцать метров проходки брать пробу грунта — керн. А легко ли его взять: надо остановить бурение, вытащить все трубы, прикрепить вместо долота колонковую или керновую трубку и затем все сооружение снова отправить вниз, на глубину тысячи или двух тысяч метров, взять столбик грунта керновой трубкой и опять все та-

щить наверх. Для такой процедуры надо не меньше шести-семи часов. Не зря буровые мастера морщатся и чешут затылки, когда говорят, что надо взять керн!

Признаться, я почти не слышал разговоров в вагончике: глядел в окошечко на буровую. И увидел: стоявшие у скважины внезапно замахали руками, задвигались, стали кидать вверх каски, шапки. Я обнял разом обеих девушек и заорал:

— Газ! Газ пришел!

И выскочил из вагончика, точно мной выстрелили из пушки!

У скважины меня перехватил Будулай и закружил, восторженно крича:

— Газ, мастер! А у нас газ! Ура!!!

Следом подбежал Аллаяр, и мускулистый красавец цыган подхватил его, крупного, толстого и, точно ребенка, стал подкидывать, все так же возбужденно вопя:

— Газ пошел, начальник! Газ! Ура-а!

Аллаяр Широв одной рукой придерживал шляпу — видно, боялся обронить, а другой лупил Будулая по спине, тщетно взывая:

— Хватит! Довольно! Отпусти, медведище!

Девушки звонко хохотали, глядя на беспорядочное, бестолково-радостное смятение у буровой вышки.

И вспомнилось детство... Радостными вестниками весны прилетали в наш двор две милые ласточки. И мы встречали их ликованием, как родных. Дети поздравляли взрослых с прилетом ласточек!

Вот и теперь Аллаяр привез двух ласточек — двух подруг, Марал и Наргуль. И они принесли нам удачу. Победу! Завершение долгой и трудной работы...

И зря Анатолий Чернов боялся цифры «тринадцать». Чепуха все эти суеверия! Наша буровая номер тринадцать все равно счастливая, самая счастливая!

И будто в подтверждение из земных недр с гулом вырвался наконец на свободу, на солнце и ветер мощный фонтан газа и воды: ведь напоследок мы гнали в скважину только воду. Вода взлетала к небу и сыпалась сияющими брызгами, все кругом наполнилось запахом газа, но никто не пожелал отойти подальше от вышки. Часа через два вода кончится, пойдет чистый газ, и мы сможем его поджечь: голубое пламя засветится, и увидят его даже с отдаленных буровых вышек. Точно осколок солнца упадет в Каракумы!

Одни из нас будут читать книжки, другие станут

писать письма любимым и близким, а после на горящий зев скважины напялим другую трубу, потушим огонь, и газ потечет по трубам в дальние края: быть может, в Москву, быть может, на Украину, а вдруг и дальше — в Польшу, Венгрию, ГДР...

Наутро возле тринадцатой буровой началось что-то вроде праздничного гулянья.

Стояли поодаль на песке два вертолета, пять-шесть машин... Словом, как у нас говорят, взойдет луна — увидит весь мир!

— Заставил ты меня пободрствовать, когда был прихват! Только и успокоился после сообщения Широва, что авария ликвидирована. Ты молодец, не растерялся! Теперь отдыхай день-другой...

Так говорил, шагая рядом, начальник Ачакского управления.

— А после отдыха куда направите?

— Не волнуйся, без работы не оставим! Посоветуемся, подумаем... Может, поручим тебе и новую скважину: как раз завершаем монтаж двух буровых вышек. Завтра или послезавтра поговорим с Аллаяром Шировым.

«Поговорим с Аллаяром Шировым...» Эти слова отчего-то настораживали. Мне казалось, что после ночного разговора о бывшей моей жене Аллаяр изменился: в отношении появились принужденность, вымученная внимательность и лживая заботливость. А когда он терял контроль над собой — кто же способен играть на сцене, лицедействовать двадцать четыре часа подряд,— тогда явно ощущался враждебный холодок. Но отчего враждебный? Неужели из-за того, что я, младший, не принял совета старшего по возрасту как повеление аллаха?! Что за ерунда!

Особенно неприятен показался Аллаяр вчера... Мы с Марал решили пройтись и поднялись на соседний бархан, откуда видны другие вышки. А когда я после прогулки подошел к Аллаяру Широву, меня удивило искаженное, недоброе его лицо. Было видно, что он старался скрыть внезапную злость, но не мог...

Откуда враждебность, почему злость?

«Посоветуемся с Аллаяром Шировым»,— сказал Ата Кандымов. К добру ли будет этот совет? Не окажется ли ядовитым, как укус каракумской изящной змейки гюрзы?

И что означают загадочные пристальные взгляды геолога Наргуль? Может, устал и вокруг мерещатся одни секреты, загадки, тайны, которых нет и не было?! Быть мо-

жет, просто присматривается, надежен ли человек, можно ли доверить ему любимую подругу? Но какое право имеет она оберегать мою Марал от меня? Что-то, кажется, начинаю запутываться, перестаю разбираться в окружающем, все представляется мне зыбким, сомнительным...

На тринадцатую буровую прибыло много гостей.

Гул пламени почти заглушал голос Кандымова:

— Товарищи, соратники, друзья! Мы должны увеличить добычу туркменского газа за эту решающую пятилетку в четыре и три — четыре и семь десятых раза. Вы живые свидетели чуда, больше того, вы сами совершили это чудо, вырвали из недр безжизненных песков припрятанное богатство — газ, что обогреет людские очаги. И совершили все это за семь лет... Поздравляю, дорогие коллеги, с победой!

Все еще не закончен монтаж новой буровой вышки, и нам приходится отдыхать в ожидании. Кандымов дважды в день бранится с бригадиром монтажников, те спешат и все-таки не успевают.

Я побывал в Ачакском управлении буровых работ, попросил у Ата Кандымова квартиру: объяснил, что хочу привезти к себе мать, которой горько и одиноко живется в нашем старом доме: ведь бывшая моя жена не разрешает ей даже общаться с внуком...

— Надо же! Так издеваться над старухой...— покачал головой Кандымов и тут же написал красными чернилами записку: — Отдай коменданту.

В тот же день я получил двухкомнатную квартиру в прохладном деревянном домике. Прежний жилец, уезжая, срывал со стен ковры торопливо и небрежно, местами повредил штукатурку. Возле дома были посажены деревца урюка, немного виноградных лоз, но их давно не поливали, и жаждущая земля растрескалась.

Джуманияз и Будулай охотно помогли мне подмазать штукатурку, побелить стены, мыть полы, полить деревца и виноград. А после Будулай остановился на веранде, лукаво взглянул и воскликнул:

— Эх, одного только не хватает в доме!..

— Чего не хватает?! — вскинулся Джуманияз.— Скажи! Сейчас сбегаю в магазин.

— Этого, брат, не купишь.

— В нашем-то магазине?! — удивился Джуманияз.— Да если хочешь знать, в нашем магазине товаров больше, чем в московском ГУМе.

— Такого товара нигде, брат, не купишь,— настаивал Будулай.

— Что же такое, непродажное?

— Вот если бы одна из девушек-геологов вот здесь, на кухне, стряпала плов с курицей... Тогда б и у домика был другой вид. И у нашего мастера Мергена...

— Ох и болтун же ты, Будулай! — отмахнулся рукой, как от пчелы, Джуманияз.— А я сдуру и уши развесил. Что ж это, думаю, такое, что даже в нашем магазине не купишь... А ты вон о чем!

— Спасибо, ребята! — прервал я.— Хорошо поработали. Теперь давайте помоем руки да немного подкрепимся. По-моему, мы здесь научились стряпать не хуже девушек.

— Верно сказано, мастер!

Быстро темнело, спадала жара. Ребятишки, что весь день шмыгали шумными воробьиными стайками, разошлись по домам.

Из библиотеки я притащил домой груду журналов и книг: хотелось попытаться наконец осуществить задуманное — подобрать состав раствора для засоленных земных пластов и пород, улучшить нашу растворомешалку, маленькую и уже устаревшую машину... Сложил стопкой на столе годовой комплект журнала «Газовая и нефтяная промышленность Средней Азии», приготовил тетрадь и карандаш, чтобы делать выписки, и стал перелистывать, просматривать номер за номером.

Кто-то негромко постучался.

— Войдите! — отозвался, не оглядываясь, уверенный, что пришел кто-нибудь из ребят.

Но ребята входят уверенно, весело, а тут вошли почти бесшумно. Кто же?!

Резко обернулся и растерялся... Так растерялся, что даже не встал, хотя гостя у нас всегда встречают стоя.

— Добрый вечер!

— А... Здравствуйте! Проходите, пожалуйста...

— Что это вы так испугались?

— Нет, что вы! Я не испугался...

Тут я понял, что все еще сижу, и вскочил словно ошпаренный.

У двери стояла в нерешительности геолог Наргуль Язова, высокая, в красном шелковом платье, что переливалось и мерцало при свете лампочки. Почувствовал, что краснею. В первую встречу покраснел от неожиданности, услыхав ее имя. Ну, а сейчас почему?

— Да что же вы стоите? Проходите, садитесь...

— Зашла на огонек: поздравить с квартирой. Мне только что сказали про это ваши помбуры.— Она засмеялась.

— Спасибо на добром слове...

— Не помешаю? Вы что-то читали.

Она осторожно опустилась на стул, взяла какую-то книгу. Отчего-то хотелось, чтоб задержалась хоть немного,— я пододвинул всю стопку библиотечных книг.

— Уж не задумали ль вы писать диссертацию?

— Нет. Кое-что, правда, задумал... Да вот не знаю: получится или не получится.

— Сомневаться нечего: раз задумали, значит, получится. Инженер — творческий человек! Вы инженер... А мы — геологи, похожи, по-моему, на героев Джека Лондона. Только его герои могли в снежную непроглядную бурю отправиться на собачьей упряжке в дальний путь ради наживы, ради золота. Мы тоже иной раз в сумасшедшую песчаную бурю отправляемся в пустыню, но не ради наживы, а на поиски газа, тепла для людских очагов.

И вдруг спохватилась:

— Ой, простите, заговорилась! Поздно. Мне пора: Марал может вернуться, а ключ у меня.

— Разве она ушла? Я б сейчас поставил чайник...

— Нет, чай пить придем вместе с Марал в другой раз. Она поехала в Наип и хотела вернуться к девяти.

Бесшумно открыла дверь и пропала, словно растаяла в темноте.

А я окаменел за столом... Наконец попробовал читать, но обнаружил, что просто бегу глазами по строчкам, не улавливая смысла. Попытался припомнить, о чем думал минуту назад, и тоже не смог. Наконец в голове будто пластинка стала вертеться и твердить одно и то же, одно и то же, как на испорченном патефоне:

«Марал... Наргуль, Наргуль», «Марал... Наргуль, Наргуль».

Тьфу! Что за наваждение?! Неужели прав Широв, утверждая, будто я сам запутался? Сам не понимаю, чего мне нужно? У меня есть Марал. К чему же Наргуль? А если б случайно зашла Марал в это время, что было бы? Потерял бы Марал и остался один...

Перешел на кровать, лег навзничь. Теперь думалось спокойнее.

Нет, у меня есть Марал. Не хочу знать никаких Наргуль.

На реке в этот ранний час была блаженная прохлада, свежесть воистину райская, как выражались наши прокаленные зноем докрасна предки. Под утренним солнцем поверхность воды морщилась серебристой рябью, словно отделились и всплыли разом рыбьи чешуи. Крохотные волны набегали, сталкивались, лизали прибрежный песок, на котором густо росли камыши и травы, высокие и настороженные, будто прислушивающиеся.

Сегодня здесь отдыхают и празднуют газовики и еще строители, воздвигающие подвесной мост через реку. Люди разбрелись по берегу. Там и сям уже поднялись струйками первые дымки костров. Кто-то катался на лодке, кто-то рыбачил, иные играли в мяч, многие загорали на песке у воды.

Торе-ага подвесил на сук тушу барана и свежует; Магомед Салихбеков с Анатолием Черновым колдуют над огромными кастрюлями и котлами; Джуманияз и Будулай убеждают Марал и Наргуль сесть в лодку, обещая веселое и недолгое путешествие.

Вспомнилось, как я впервые приехал в Ачак, как в общежитии парни пили пиво, как Будулай лежал навзничь на кровати, прикрыв от света лицо полотенцем. Нет, не зря тогда назвали Будулая донжуаном Каракумов: что-то он кружится вокруг Марал, точно пчела над цветком.

Ага-га: ничего не добились пареньки! Наргуль и Марал не пожелали садиться в лодку. Умницы геологи! Что ж, остается играть в мяч...

А все-таки удивительное лицо у Будулая: точно собрали красоту лучших парней, как пчелы собирают мед, и наградили молодого цыгана и еще врача Джуму. Что ни говори, а великая это сила — красота, ослепляет она девушек, как свет лампочки ослепляет и манит бабочек.

Но что я! Марал не из легкомысленных. Мало ли было в институте парней еще покрасивей и поумнее Будулая!

Я подошел к Торе-ага.

— Баран-то, оказывается, жирный! — сказал старик, разделывая тушу: требуху выбросил, а легкие, печень, почки бережно положил в миску.— Ну как тебе работается, Мерген? Привык к людям?

— Славные парни.

— Парни как на подбор. И веселые, душевные... Надо же было мне заболеть! Не успел даже потолковать с тобой по душам за чайником чая. Ну да еще потолкуем... А как там мой сын?

— Это вы про Будулая?

— Про кого же еще? Других у меня нету... Я, признаться, баловал парня, мог испортить...

— По работе он молодец, никому спуску не даст. А в остальном не знаю, не приходилось.

— Нехорошо похваляться сыном, а только сердце у него чистое. Никогда не обидит человека, не возьмет чужого. Настоящий мужчина! Всех-то он стремится порадовать и сам всегда бодрый: никто не видал его понурым да мрачным. Если у человека скверно на душе или дело не клеится, надо такого посылать к Будулаю на излечение: трех минут не пройдет, как человек станет улыбаться...

«Ну,— думаю,— скоро старику померещатся ангельские крылья за спиной сына!»

Торе-ага закончил разделку барана, нарезал мясо кусками и подозвал Магомеда:

— Бери, дорогой! И стряпай что пожелаешь...

Отдал мясо, и мы пошли с ним не спеша вдоль реки. Легкий ветер морщил воду, шевелил белую бороду старика. Помолчав, Торе-ага взглянул внимательно на меня:

— Хочу сказать кое-что, да не знаю, как примешь мой совет... Слышал я, будто Аллаяр приглашал тебя домой, брал па охоту... Признаться, я даже испугался... Вот что, Мерген: будь осторожен, сторонись Аллаяра!..

Казалось, белая борода тряслась, когда он говорил.

— Держись от него подальше! Вот и весь совет. Знаю Аллаяра с детства: он зря не сделает и шагу. Я еще не понял, отчего кружится вокруг тебя, но что-то ему надо... Сейчас Аллаяр еще поисправился, только мне не верится, что кривое дерево может распрямиться. Ты-то еще молодой, не погнутый... И должен идти прямым, чистым путем... Интересно, какой выгоды ждет Аллаяр от тебя?

— Откуда ж мне знать?

— Не намекнул ни разу?

— Нет.

— Считает, что еще не время... Прежде всего постарается убедить, что нет в Каракумах человека умнее его, что он самый преданный, самый близкий тебе товарищ и друг. Потихоньку-помаленьку запутает: не вырвешься. А будешь вырываться, так ужалит, что взвоешь волком. И змея, говорят, на ощупь мягкая.

— Как-то Аллаяр сказал, что он мой родственник и от него я никуда не денусь.

— А еще что говорил?

— Еще расспрашивал о семье, советовал снова сойтись с женой, с которой уже пять лет в разводе...

— Погоди! Во-первых, не верю, что он родственник. Без выгоды и для брата не шевельнет пальцем. Кто у тебя дома-то?

— Старушка мать.

— Вот у нее и спроси: точно ли родственник. Да, твоя бывшая жена работает? Дети есть?

— Сынишка у меня. Бывшая жена работает в райцентре в магазине одежды.

— Постой! У нее золотые зубы?

— Да.

— Ну-у... Видал... Показалась мне того, легкомысленной... Если в семье нет доверия, приходится расставаться... Пожалуй, верно, что та женщина с золотыми зубами не пара тебе. Ладно, что было, то прошло. Как говорится, у слепого только один раз можно отнять палку. Теперь станешь осмотрительнее. Но Аллаяра сторонись! Ужалит хуже змеи, всю жизнь будешь вспоминать.

Разговор наш прервал громкий голос Анатолия:

— Люди, каурма готова! Идите есть, пока не остыла-а!

Пока обедали, наступила жара. Казалось, где-то над нами невысоко запылал гигантский костер. Молодежь отправилась путешествовать на лодках.

Мы с Марал тоже забрались в лодку. Я греб, Марал опустила руку за борт, погрузила пальцы в воду и глядела, как от них бегут две водяные морщинки, расходясь врозь... Молчали.

— Почему, Марал, ты меня избегаешь? — спросил я наконец.

— Кто это тебе сказал?

— Я сам себе говорю.

— Ты ошибаешься. Просто очень много работы. Прежде я почему-то думала, что работать проще, чем учиться.

— Ты поздно вчера вернулась домой?

— В половине десятого. А кто тебе сказал?

«Ага! — подумалось.— Наргуль не сказала Марал, что приходила ко мне. А я почему-то предполагал, что подружки ничего не таят друг от друга...»

— Поселок маленький, как петушиная голова. Здесь все знают обо всем...

— Надеюсь, ты никому не поручал присматривать за мной?

— Что за вопрос, Марал! Просто половина моего сердца всегда с тобой.

— И сообщает о всяком моем шаге?!

— Не сообщает, а показывает, точно камера телевидения.

— Почему же ты такой спокойный, словно ничего не произошло?

— А что произошло?!

— Ну, твой телевизор неважно работает. Вызывай мастера из гарантийной мастерской.

— Почему вызывать? Что произошло?!

Взволнованный, я смотрел на Марал, словно впервые увидел. Она улыбалась, затем расхохоталась.

Все еще смеясь, спросила:

— А ты веришь своему сердцу?

— Ну конечно, верю!

— Отчего же волнуешься?

— Ох, Марал, ты вовсе сбила меня с толку!

— Теперь видишь, как легко посеять сомнение. Даже самому себе перестал верить...

— Марал, не издевайся!

— И не думаю.

— Марал, мне дали квартиру и завтра привезу маму.

— Поздравляю. Давно пора!

— Ну а как же мы с тобой? Прежде говорила: вот закончим учение. Ну вот, закончили...

— Давай теперь поработаем немножко...

— Сколько «немножко»: неделю, месяц, полгода?

Марал молчала.

— Сколько же можно ждать, а, Марал?

И снова молчание.

Мы перевезли вещи, мама покрыла узорной кошмой топчан, положила пару подушек:

— Ты устал, Мерген-джан, отдохни, а я заварю чаю покрепче...

Уже давно не отдыхал я с такими удобствами: облокотясь на подушку, набитую овечьей мягкой шерстью. Только отдыха все равно не получилось: вспомнился разговор с бывшей моей женой сегодня, когда приехал за вещами. Оказывается, в понедельник у нее выходной день и она была дома, а Батырчик в детском саду.

Я сказал, что забираю маму к себе.

— А мне какое дело? — ответила со злостью, но я услышал в голосе приглушенную радость.— Мы с твоей матерью чужие люди.

— Ну тогда считай, что ничего не слышала, а я не говорил.

— Давно стал работать?
— С пятнадцатого.
— Бухгалтерию предупредил об алиментах?
— Можешь не волноваться.
— Тех копеек, что присылал от стипендии, не хватало ребенку на трусы и майки.
— Ну, теперь ребенку хватит, если не станешь брать у него взаймы.
— Думаешь, жду подачек от тебя? Тьфу! Живу в сто раз лучше, трачу сколько хочу...
— Рад за тебя, но не завидую...
— А ты не продаешь свою половину дома? Могу купить.
— Продавать не собираюсь. А просто подарю.
— Э, ладно болтать! Наверное, уже и деньги спрятал.
— Дарю его Батыру.
— Что?! И... бесплатно?
— Что с тобой? Кто же дарит за деньги? Да-да, бесплатно! Выдергивай гвозди, которыми забила двери, складывай шелка и золото: теперь места хватит.

Во дворе раздался голос Торе-ага:
— Ну, Мерген, и расхвалили же тебя в газете: до седьмых облаков, выше некуда. На, читай!
— Спасибо, Торе-ага! Заходите, заходите, попьем чайку, побеседуем...

Но старик уже разговорился с мамой, и я развернул газету: одолели любопытство и детское нетерпение! В отделе «Стройки пятилетки» увидел статью «Мерген Мергенов спасает тринадцатую». Это ашхабадский журналист писал о ночном происшествии, когда на буровой получился прихват. Журналист не жалел красок. Получилось, что, если б я не был на вышке, тысячи рублей унесло бы ветром пустыни. Словом, читал и чувствовал, что краснею от стыда: право, не способен так нелепо, так глупо хвастаться. И главное, газету принес Торе-ага, седобородый бурильщик, у которого, конечно, бывали прихваты и вдесятеро тяжелее... Наверное, такие беды, когда приходилось спасать буровую, и посеребрили его бороду, избороздили морщинами лицо, если хоть по одной морщине на аварию посчитать! И окажется, что на его лице записана, как в книге, вся история буровых работ в Туркмении... Вот о ком бы надо писать...

Я понял, что гляжу в газету, уже не читая, когда услышал рядом осторожное покашливание Торе-ага.

— Ох и наврали! — воскликнул я, отбросив газету.

— Говорящие на собрании, пишущие статьи всегда красноречивы; умеют же находить слова! — отозвался старик, прихлебывая крепкий чай.— Что написали, это ладно, но есть другой разговор... Вызвали меня в контору, говорил с Ата Кандымом и Аллаяром Шировым. Закончен монтаж двух новых вышек. Одну дают мне, а вторую какому-то парню, что в этом году окончил ашхабадский институт... Видно, Аллаяр Широв уже обошел Кандыма, что-то наболтал о тебе...

— Ну и пусть! — ответил я, стараясь быть спокойным.— Мне-то что?

— Не горячись, Мерген! Почему они могут делать что вздумается?

— Им в ответе быть, им и назначать. Разве не так?

— Это правильно. Но я видал парня, которого назначили на новую вышку: приехал с почтенным папашей в папахе сур...[1] Вот и скажи, могу ли я поверить в мастера, которого папочка приводит за руку в Управление буровых работ? Может, и экзамены в институте сдавал с папочкиной помощью? А на скважинах, сам знаешь, бывают неисправимые ошибки.

— Что ж, теперь я должен идти и просить места у Аллаяра Широва или Ата Кандымова?

— Нет, не просить, что ты! Просто спроси: почему не доверяете, разве я не справился на тринадцатой буровой? Посмотрим, что они ответят.

Я промолчал, но решил, что никуда не пойду.

Наутро Кандымов прислал за мной свою машину. Когда я приехал, он велел секретарю никого не пускать. В кабинете мы были одни. Кандымов предложил чаю, расспрашивал о матери, о настроении, о здоровье. А затем перешел к главному:

— Нельзя, Мергенов, решать задачи единолично. А тем более, когда идет речь о буровой скважине. Мы тут много думали-гадали, прикидывали и так и сяк... Ты показал себя молодцом, когда справился с аварией. Спасибо за это, дорогой! Но все-таки прихват был... Правда, прихваты случаются и у самых опытных мастеров бурения. Но все же был прихват. И понимаешь, я не могу идти против большинства... Думаю, ты еще поработаешь и, ко-

[1] **Сур** — каракуль с золотистым оттенком.

нечно, станешь и мастером смены, и мастером буровой, и начальником участка, и начальником управления вместо меня... Бывают, правда, люди, которые с пеленок рвутся из кожи вон, чтоб быстрее сделать карьеру, но обычно кончают они худо. Чтоб подняться на крышу, надо поставить лестницу и начинать с первой ступеньки... В общем, Мергенов, мы решили предложить тебе должность бурильщика на скважине номер пятьдесят пять.

— Мне, Ата Кандымович, не нужны высокие посты,— спокойно ответил я.

— Выходит, не возражаешь? И отлично!

В голосе Кандымова звучало облегчение. Он, наверно, думал, что я буду спорить, возмущаться, требовать, жаловаться. Зато теперь, успокоившись, он явно стал тяготиться моим присутствием: посматривал то на стопку документов, что лежала на столе, то на телефон. И правда: кто пересчитает дела и заботы начальника Ачакского управления буровых работ? Да и в приемной сколько людей ждет... Я поднялся.

— Всего доброго, Ата Кандымович!

— До свидания. Желаю удачи.

Было жалко Ата Кандымовича: он уступил, поддался Аллаяру Широву и очень не хотел обидеть, оскорбить меня.

На пятьдесят пятой буровой собрали одну молодежь: от помощников бурильщиков до мастера. На месте будущей скважины лопатами вырыли яму в человеческий рост. Кто-то первым бросил в яму монету «на счастье», кидали и остальные; под конец из ямы слышалось похожее на щебетание птиц позванивание монеток друг о друга. Принесли бутылку шампанского и что было сил швырнули в яму, воскликнув:

— Пускай подземный газ выстрелит отсюда, как это шампанское!

И бутылка выстрелила, а белоснежное вино пролилось бурно, обильно и тут же было выпито песком без следа. Мы обрадовались: нечасто удается вот так сразу вылить шампанское! Бывало, уткнется бутылка носом в песок и лежит, пока не разобьют камнями...

Начались речи. Первым выступил секретарь парторганизации управления Досов. Закончил он так:

— Вам доверена ответственная скважина, поручен поиск: здесь мы попытаемся добыть газ сразу из двух пластов. Сумеете, дадите газ как бы сразу из двух буровых. По такому методу уже работают в Грозном, в Тюмени. Со

временем Ачакское управление целиком перейдет на такой способ бурения, и тогда вместо двадцати скважин понадобится лишь десять, вдвое уменьшатся затраты. А это миллионы сэкономленных рублей! Да сопутствует вам успех!

Выступил и секретарь комитета комсомола Шохрат Бегшиев.

— Рад, ровесники, что нам оказали такое доверие! Бурить разом два пласта и ново и трудно. Но не молодежи бояться трудностей. И если нет трудностей, нет борьбы, то нет и победы! Успеха вам, друзья!

А когда руководители направились к машинам, ко мне подошли Марал и Наргуль.

— Надеюсь, Мерген, ты не сердишься, что не тебя назначили мастером пятьдесят пятой? — спросила Марал, внимательно посмотрев мне в лицо.

Я пожал плечами:

— Вроде бы ты знаешь меня лучше других... Разве я похож па обидчивого, на карьериста?

— Ну знаешь... Человек меняется! — усмехнулась Марал.

— Бывает, наверно, что меняется. Только не я!

Марал остановилась и снова пристально посмотрела мне в лицо.

— Ты что ж, намекаешь? — спросила, бледнея.

— Понятия не имею: на что ж намекать?!

Марал словно бил озноб: она дрожала. Наргуль не выдержала, взяла ее под руку и повела прочь, говоря:

— Да что это с вами, друзья? Наскакиваете друг на друга, будто юные петушки... Полно!

Но Марал вырвала руку, обернулась ко мне, крикнула:

— Ты что?! Ты что?! Хочешь сказать, что я ветреная? Обиделся, а на мне срываешь обиду?! Да? Срывай обиду на жене, которую выгнал из дому...

Мгновенная тьма окутала меня: солнце померкло или ослеп? Не мог идти. Стоял и бормотал неслышно, невнятно:

— Значит, и ты тоже?.. Я темный, я слепой, не разбираюсь в людях... Была жена, которая оказалась ведьмой... Был Аллаяр, оборотень, шакал, притворялся другом... Теперь ты... Ты, моя Марал... Моя звезда, солнышко, которое согревало... Светило... Радовало. Ничего нет... Думал, мед, а оказался яд.

Теперь и меня бил озноб. Болела голова. Брел, шатаясь как пьяный.

Но почему? Почему? Кому я сделал худое? И что стряслось с Марал? Отчего так нагрубила? Не собирался ее обижать. Сказал, что есть люди, которые меняются. Нет, тут что-то другое! На это нельзя было так рассердиться. Что-то другое. С тех пор как она приехала, что-то переменилось. Чувствовал: с каждым днем отдаляется... И почему попрекнула женой? В первые же дни знакомства честно рассказал обо всем. Она пять лет знала и пять лет молчала, а теперь... Так злобно, так гневно упрекнула! Бывало, помню, она прерывала: «Мергенджан, не вспоминай эту недостойную женщину, не вороши прошлое!»

Оказывается, очень это страшно: остаться в полном одиночестве среди беспредельной песчаной пустыни... Ну кому хотя бы рассказать о моей беде, с кем поделиться? Как у нас говорят: «Думал, это святой пророк Хыдыр, а оказывается, это медведь!» Кому расскажешь? Бедной старушке матери? Чем она поможет? Только причиню боль... А кто еще есть у меня? Может, напиться? Нет! Глупо и ни к чему: только потеряешь силу, уверенность, ясность головы и тогда станешь никудышным работником. На радость разным аллаярам: они, мол, давно предсказывали! И своими руками подарить им такую победу? Нет, не дождутся!

Что же делать? Плюнуть на все, оставить эту буровую, эту пыльную пустыню, уехать куда-то за горизонт... А куда?

И от кого удирать?

От бывшей жены Айны? Так она уже пять лет чужой для меня человек. Пусть живет как хочет, какое мне дело?! От Марал? Ну нет: это значит опережать события. Мало ли что может сказать человек в минуту гнева? От Аллаяра Широва? Но как еще может он укусить меня после того, что сделал уже?

Если сам не поддамся, не ослабею, не запью, победа будет моей! Да, да! В чем моя главная сила? Да прежде всего в молодости. В честности. В любви к своей работе. В преданности правде... Только не ослабеть! И эта сила, как горная река, не оставляющая камня на камне в шумном своем течении, сметет все преграды. И потом, есть же здесь чистые сердцем, мудрые люди, вот хотя бы Торе-ага.

Наконец-то нашел! От мысли о Торе-ага стало легче дышать, и даже улыбка шевельнула губы.

В вагончик вошел мастер:

— Что с тобой, Мерген? Вроде бы только что был здоров...

— Ничего страшного, мастер. Начинался приступ мигрени... Сейчас уже легче!

Я поднялся.

— Работать-то сможешь?

— Смогу, мастер! Конечно, смогу...

И мы пошли к вышке.

Я ждал конца смены нетерпеливо, точно влюбленный, которому назначено свидание. Но на этот раз мечтал встретиться не с девушкой, а с милым старым мудрецом, с Торе-ага.

Внезапно по радио нам сообщили, что вахтовая машина поломалась и сменщики идут к нам пешком, пешком по барханам! И нам с работы придется тоже брести, увязая в песках...

Вот так новость! Пешеходы в пустыне...

Смена негодовала. Смена проклинала бесхозяйственного, беспутного, беззаботного начальника Наипа.

— Чтоб он лопнул, этот прокопченный, пыльный бурдюк, Аллаяр Широв! Его б заставить прогуляться по барханам, небось свалился бы на втором холме, пришлось бы тащить волоком...

Что и говорить, лучше пятнадцать километров шагать по твердой и ровной дороге, чем пять километров тащиться, увязая в песке и вздымая пыль, по барханам.

Первые наши сменщики появились, опоздав на полчаса; еще через двадцать минут прибыли наконец остальные, и можно было уходить домой...

— Ну как мы будем работать всю ночь?! — кричали сменщики, обступив мастера.— Мы ж из сил выбились, ноги дрожат...

Что мог ответить Гулдурды?

— Правильно, ребята, безобразие! Поговорим на разнарядке...

— Если повторится, можете нас не ждать, пешком больше не потащимся. Дудки! Не нанимались песок ногами месить.

— Вот будет собрание, пропесочим виновных. До самой смерти не забудут.

— Давайте напишем в «Токмак» [1], пусть проверят да напечатают фельетон.

— А что ж, и напишем!

— Хватит шуметь, парни! Начинайте работу...

---

[1] «Токмак» («Колотушка») — сатирический журнал.

— Что за работа, если на ногах не держусь?!

— Вставай, вставай, не прикидывайся. Мы тоже не на «Жигулях» приехали.

Идти трудно. Песок ухитряется проникать в сапоги... Ноги трет... Бредем по двое, по трое, болтаем о том о сем, а в общем ни о чем.

Уже наступил вечер, жару сменила прохлада, но губы пересыхают, мучает жажда. Страшно подумать: а если бы пришлось вот так брести по солнцепеку!

Наконец взобрались на последний высокий бархан, и вдали заблестели огоньки Наипа. Здесь, на остывающем песке, отдохнули подольше... С детства люблю брать в ладонь песок и крепко сжимать кулак: белый чистый песок водой льется между сжатыми пальцами. Если б снова стать маленьким, сидел бы вот так под луной на белом песке да играл. «Ай-Терек» называлась наша ребячья игра и не приедалась, не надоедала... Расходились по домам, лишь когда за нами приходили родители. Забывали о жажде, о голоде, об усталости. Как легко и весело было тогда!

В поселке у вагончика Аллаяра Широва теснились люди, доносились возбужденные, злые голоса. Я не пошел: лучше и завтра тащиться по пескам на работу, чем видеть этого «родственничка».

Дома принял душ, и теплая, нагревшаяся за день на солнце вода словно смыла с тела не только пыль и пот, но и усталость. Вновь стал бодрым, как бывало по утрам! Но странное дело: вместе с усталостью исчезло и желание поговорить с Торе-ага. «О чем говорить? — подумалось.— Он напомнил нашу пословицу: «У слепого только раз отнимешь палку!» А теперь я должен рассказать, что у меня отняли палку вторично? Стоять и краснеть, точно виноватый школьник... А что может он посоветовать?! Если не умеешь понравиться девушке, если не можешь найти ключ к девичьему сердцу, советы и лекарства бесполезны».

И об Аллаяре Широве уже все сказано. Что он сможет добавить?

Лучше всего тебе, Мерген, успокоиться да постараться побыстрее закончить работу над растворосмесительной машиной...

Уже совсем было сел за стол и раскрыл свои записи и чертежи, но вдруг снова потянуло к доброму старику, так захотелось услышать участливое слово, что решил: была не была, зайду на пару минут к Торе-ага поздороваться да рассказать о первом дне работы на новой скважине.

Старик лежал на топчане, опираясь на мутаки — подушки, перед ним стоял обернутый мохнатым полотенцем чайник. Увидев меня, Торе-ага взял пустую пиалу, налил крепкого душистого чая и протянул мне:

— Приготовил для Будулая, да он отказался, сказал: спешит в кино! Ну что ж: на то и молодость, чтоб спешить. Доживет до моих лет, не захочет никуда бежать, скажет: лучше полежу да выпью чайник чаю, хе-хе... Ну как дела у тебя?

Коротко рассказал я о первом дне на буровой, о поломке вахтовой машины и пешем путешествии в песках. Торе-ага слушал, не спеша прихлебывая чай, а после произнес, понизив голос:

— Знаю, знаю. Шум получился большой. Ты ребятам пока не рассказывай, но, сдается мне, дойдет эта история до управления! Аллаяр слишком распоясался. Мы всего еще даже и не знаем... Теперь сказал, что знать не знал ни о какой поломке вахтовой машины, но, когда мы вышли после разнарядки, кто-то из аварийной бригады заявил: «Своими ушами слышал, как Широв приказал догнать на машине поезд и купить водки в вагоне-ресторане». Ты не слыхал, как это делается? В наших местах поезд всегда сбавляет ход: таково железнодорожное правило. Машина догоняет вагон-ресторан, кто-нибудь из парней перескакивает на подножку поезда, входит в ресторан, закупает водку, ее выносят в тамбур, а на станции Питнек перегружают в машину. И все в порядке! А тут, видно, замешкались или чего-то недосмотрели... Может, и вправду поломали впопыхах... А людям пришлось пешком тащиться на работу и с работы домой. И раньше поговаривали, что Аллаяр гоняет машину к поезду за водкой, да ведь разговоры ветер носит, как известно. Пока за руку не схватил, вором не обзывай. Лукавый он человек, изворотливый, ну да газовики тоже народ серьезный, спуску не дадут.

Торе-ага, в национальном халате, пошел проводить меня и подышать перед сном свежим воздухом: ночи в Каракумах свежие, чистые, звездные.

— Ну а как у тебя ладится с глиномешалкой, которую собрался улучшить, а? Выходит? Или, может, забросил, боишься поговорки, что воображение старит юношу?

— Все эти дни сижу над чертежами, Торе-ага. На днях собираюсь, если позволите, пригласить вас к себе домой, показать чертежи, посоветоваться. Может, скоро и закончу, надо посидеть выходные дни за столом, не разгибаясь.

— Вот и посиди, а нагуляться успеешь и после. Разве

тебя пять лет обучали лишь держаться за рычаг на буровой? Так ведь это и мы умеем, неученые. Зачем же государство пять лет тратило на тебя деньги? Теперь давай доказывай, что умеешь сделать больше и лучше, готов отставить в сторону чайник с заваренным чаем, не поспать, подумать... Эх, очень щедрое у нас государство! Поручили бы мне, я б как поступил? Сравнил бы, например, чем человек с дипломом лучше простого практика здесь, в труде, в Каракумах, а не за столиком в управлении. И чем он занимается: просто ходит на работу, как все? И если нет от него ничего больше, отбирал бы диплом.

Я молча улыбнулся.

— А ты не улыбайся: разговор-то всерьез. Чтоб тебя научить, я затратил много денег: построил институт, построил общежитие, платил профессорам, дал тебе комнату и книги, давал тебе стипендию. А где теперь польза от тебя мне, всему народу? Есть польза — живи и здравствуй, благоденствуй! Нет пользы — верни, молодой человек, диплом. И если не будет от вас пользы, нечестно получится, дорогие сыновья наши!

На минуту старик умолк, задумался.

— Вот подходит тебе срок вступать в партию. Давайка поглядим, что ты совершил в этом году? Может, как лошадь, запряженная для молотьбы, кружишься на одном месте? Если так, то сердись не сердись, а не примем! Люблю тебя, юноша, но увижу ошибки, проступки, щадить не стану, не обессудь. И не воображай, будто я просто сварливый старик... Вот когда ты работал на тринадцатой буровой, там долота были в избытке, а в то же время Алимирза не мог достать хоть одно новое долото. Отчего ты не заявил о своих излишках, не помог товарищу, а? Постой, постой, не перебивай! Слушай старшего... Может, замышлял таким манером опередить Алимирзу? Но ведь буровая скважина досталась Алимирзе не в наследство от папаши. И он и ты работаете на государство. Нельзя смотреть только себе под ноги, дорогой!

— Торе-ага, о нехватке долот у Алимирзы я услышал лишь на разнарядке. Да и то сказали, что их уже отправили Алимирзе, только шофер завез на другую вышку. А про излишки на тринадцатой знал и Аллаяр Широв, даже вместе со мной собирал долота и укладывал.

— Ах, вон как? Постой, постой... Недослышал я, что ли? Или, быть может... наврали мне? Ну ладно, ладно. Ты прав, дорогой. Ступай отдыхать!

И старик крепко пожал мне руку, прощаясь.

Не раз, бывало, говорила мама, что беда не ходит одна, что семь бед-сестер живут на свете, и бродят они друг за дружкой, словно догоняют, но никак не могут поспеть. И нельзя от них закрыться-защититься ни воротами, ни коваными железом дверьми.

Последнее время делалось мне тесно и душно в комнате. Вот и ныне помаялся в доме и вышел наружу. Здесь взглянули на меня бесчисленные звезды: самые яркие звезды, утверждаю, бывáют в тихую ночь в пустыне, где воздух не замутнен ни дымом, ни пылью.

На вершине бархана песок уже остыл, сделался блаженно прохладным. Я лег навзничь и стал смотреть в звездное небо. Млечный Путь разделяет его, точно ярко освещенный проспект Свободы город Ашхабада, с запада на восток...

Когда-то бабушка рассказывала мне, мальчику, о Млечном Пути, который в старой туркменской легенде называют «Путь верблюдицы Акмаи». Как-то паслась Акмая на лугу и потеряла своего любимого, своего беленького верблюжонка. Забеспокоилась, заметалась бедная мать, бегает по всей земле, ищет, зовет, плачет: нет верблюжонка на земле! Несчастная Акмая побежала искать на небо: бегает по небу, зовет, плачет. Переполнилось молоком вымя, а бедняга даже боли не чувствует, бежит дальше и дальше, зовет... Уже не вмещается молоко, но бежит и бежит Акмая... С тех пор и остался в небе путь Акмаи — Млечный Путь!

Я повернулся на бок. В лунном свете пески казались белыми, а барханы — гребнями волн. Если вы бывали в рассветный час на берегу Каспия, так, вероятно, заметили, что первые лучи солнца рассыпаются по волнам, точно серебряные чешуйки. Вот и Каракумы в лунную ночь серебрятся подобно Каспию на рассвете.

Нельзя же пролежать всю ночь на бархане в размышлениях и воспоминаниях! Вдали показался какой-то человек. Он шел, пошатываясь, то быстрее, то медленнее: должно быть, крепко выпил кто-нибудь из газовиков.

Я поднялся и пошел к дому. Но не успел сесть к столу, как заскрипела наружная дверь, послышались тяжелые шаги, в дверь постучали.

— Войдите!

Дверь распахнулась, порог переступил Будулай. Поздоровались. Я подвинул ему стул, и Будулай тяжело сел; вытащил из кармана большой стальной нож, которым

Торе-ага свежевал у реки баранью тушу, положил нож на стол.

— Ты выпил, Будулай? Ведь прежде не пил. Что случилось?

Не сразу он поднял опухшие веки. И молча кивнул: мол, да, выпил.

— Да что, наконец, произошло? Кто тебя обидел, Будулай! И зачем нож?

— К тебе, друг Мерген, очень... очень важное дело.

— С ножом?!

— Нож принес тебе.— И Будулай пододвинул его ко мне рукояткой.— Бери!

Смутное, пугающее подозрение зашевелилось где-то в глубине сердца. По пустякам не кинут тебе нож.

— Мерген! — Будулай схватился за голову.— Самое первое: прошу у тебя прощения.

— Ничего не понимаю! Сначала кладешь передо мной нож, потом просишь прощения. Говори наконец прямо: что случилось?

— Скажу. Ты не обижайся... Мы с Марал любим друг друга.

Дух у меня перехватило, открыл было рот, но забыл, что намеревался сказать.

Молодой цыган взглянул внимательно и беспомощно, почти жалобно. Я сидел, стиснув зубы, ноги под столом тряслись...

Ну что, что можно ответить человеку, который пришел и говорит, что увел твою любимую?

Неожиданно для себя самого я вскочил и схватил Будулая за ворот, чувствуя, что кулаки наливаются свинцом.

— Обожди, сначала прочитай, если не веришь... А после поступай как знаешь...

Кулаки разжались, я взял короткую записку, которую протянул Будулай:

«Здравствуй, Мерген.

Извини меня. У нас с тобой не было ничего, кроме дружбы. Друзьями, если хочешь, мы и останемся. Будулай сказал тебе чистую правду. Будь здоров. Твоя соученица Марал».

Дышать стало трудно, а горло словно засыпали сухим песком: першит, дерет, слюну не проглотишь. И в глазах плавают цветные пятна. Ощутил, что к губам прижалась холодная кружка, сделал несколько глотков, вроде бы немного полегчало.

Будулай поставил кружку па стол.

— Мерген, умоляю еще раз, прости. И не сердись...

Я махнул рукой: уходи!

Минуту спустя хрипло скрипнула, закрываясь, наружная дверь.

И опять настало одиночество. Теперь уже полное: без иллюзий. И опять печаль, опять тревоги... Неужели так и не встретится настоящая любовь? Может, ее просто придумали влюбленные поэты? Зачем же тогда я столько лет мучился? Нет, нет, нет! Не верю, есть настоящая любовь! Чтобы насмерть, навсегда, без колебаний и перемен.

«У нас с тобой не было ничего, кроме дружбы»,— написала Марал. А что же в самом деле у нас было?..

Уже появилась в небе утренняя звезда.

Что теперь делать? Все кончилось...

Нет, кончились лишь надежды и мечтания о Марал. Как бывало в детстве: подарят блестящий крупный орешек, пока расколешь, слюной изойдешь, а расколешь и увидишь — пустой.

Мы, нас несколько человек, толпимся у кабинета начальника Ачакского управления буровых работ Ата Кандымова. В кабинете сегодня заседает партбюро. Мой кандидатский стаж кончился, и сейчас будут решать: достоин ли я, Мерген Мергенов, быть членом партии.

Сидеть и даже стоять не могу: хожу и хожу по комнате и жду, когда позовут. Стрелки часов присохли к месту: право, они не двигаются!

Неожиданно дверь приоткрылась, и кто-то позвал:

— Мергенов!

Сегодня в мягком кресле начальника сидит Досов, секретарь парторганизации; Кандымов рядом на стуле, он курит и смотрит на меня, щурясь: не то от дыма, не то чтоб лучше видеть. Дальше Аллаяр Широв, этот не присматривается, а время от времени взглядывает искоса; подперся кулаком, и щека вздулась, будто за ней припрятан хороший грецкий орех. А как четко видны волоски на родинке, что под носом! Наш комсомольский секретарь Шохрат Багшиев тщательно причесан, на нем серая рубашка с открытым воротом, глядит в одну точку на столе, словно что-то там увидал, и временами хмурится.

Торе-ага снял китель и повесил на спинку стула, задумчиво гладит белую, сегодня подстриженную бороду: кажется, размышляет и старается что-то решить...

Досов прокашлялся и поднялся.

— Сегодня, товарищи, мы первым должны рассмотреть заявление Мергена Мергенова о приеме в члены партии. Он работает бурильщиком на пятьдесят пятой скважине участка Наип. Десять месяцев из кандидатского стажа он был в Баку, учился в Азербайджанском институте нефти и химии, два месяца проработал здесь.

Секретарь прочел заявление, мою автобиографию, огласил рекомендации в партию, которые дали бакинские профессора.

— Теперь очередь за вами, товарищи: высказывайтесь!

Все молчали. А я стоял как вызванный к доске школьник, которому еще не продиктовали задачу.

Наконец не выдержал Ата Кандымов:

— Мы же, товарищи, сами у себя крадем время. Некогда сидеть и молчать...

И тогда заговорил исполняющий обязанности главного геолога управления Шамурадов. Когда его слушаешь, не сразу удается понять, спрашивает он или утверждает.

— Первое время, когда неожиданно заболел Торе Клычев, мы доверились диплому Мергенова и временно назначили мастером тринадцатой буровой. Что же получилось? Не минуло и недели, а буровая едва-едва не вышла из строя. Правда, аварию кое-как предотвратили... Но если б не сумели предотвратить? А почему была авария? Виноват только мастер Мергенов, который пренебрег указаниями геологов, не проследил за составом раствора, за его вязкостью. Можем ли после этого сказать, что Мергенов проявил себя, как должен бы проявить член партии? Нет, товарищи, не можем...

В душной, прокуренной комнате мне, признаться, сделалось холодно. «Эх! — подумалось.— Вот и нашли причину не принять... А я-то, младенец, думал, что это я спас буровую, предотвратил прихват. Разговоров после не было, ты и успокоился, Мерген? А что вышло? Оказывается, разговор просто отложили до поры...»

Заскрипев стулом, поднялся Аллаяр Широв, и странным был медоточивый, вкрадчивый голосок, исходящий из такого громоздкого тела.

— Знаю Мергена Мергенова, уважаемые члены бюро, с первого дня его работы. Честно сказать, сперва я много ждал от него, доверился, как сказал Шамурадов, вместе с Ата Кандымовичем институтскому диплому.

Аллаяр Широв показался мне в эту минуту петухом, что сидит, нахохлившись, на ободе тележного колеса и презрительно оглядывает двор... Увы, мне было не до смеха...

— Но, товарищи, школа требует лишь хорошей памяти, а на практической работе необходимы крепкие руки, ум и, главное, как верно сказал товарищ Шамурадов, понимание большой ответственности. Не прошло и недели, как Мергенов доказал, что этого чувства ответственности у него нет. Поверьте, я больше вас всех огорчен этим...

— Почему? — вдруг спросил Торе-ага.

— Извините, Торе-ага, но попрошу вопросы задавать потом. Итак... Да... Наши руководители поняли, что Мергенов легкомысленно относится к делу, и не доверили ему должность мастера на новой, пятьдесят пятой буровой. Таким образом, Мергенов утратил доверие коллектива, в котором работает... Но это лишь одна сторона, а есть и вторая, о которой еще не говорилось...

Аллаяр вытащил большой носовой платок и не спеша, обстоятельно вытер лицо и шею под ожидающими, настороженными взглядами членов бюро. Утерся, тщательно сложил платок, спрятал в карман, откашлялся и заговорил вновь: теперь в голосе не было меда и вкрадчивости, теперь будто гвозди забивал в доску — звонко, со стуком.

— ...Сторона, о которой еще не говорилось,— повторил Аллаяр Широв.— Пусть Мергенов не обижается, что буду вмешиваться в его личную жизнь: совесть не позволяет мне умолчать... Многие из присутствующих, видимо, не знают, что Мергенов был женат и выгнал жену!

Теперь на меня глядели с любопытством, будто впервые увидели. А мне сделалось жарко: казалось, Широв поставил передо мной таз, полный горящих углей.

— Да, прогнал жену и лишил единственного сына отеческой заботы и воспитания. Разве можем мы закрыть на это глаза?

— А ты, Аллаяр, разве не прогнал жену?! — вновь вмешался Торе-ага.

— У меня была важная причина: моя жена не рожала.

— Наверное, у Мергена тоже были причины.

— И говорим мы сейчас, уважаемый Торе-ага, не обо мне, а о Мергенове. Давайте не отвлекаться от темы: мы решаем судьбу будущего коммуниста!

— Так как же, по-вашему, надо решить эту судьбу? — спросил Досов, пристально глядя в лицо Широву.

— Я сказал все, что знаю о Мергенове. И присоединяюсь к мнению Шамурадова...

— Нет, скажите свое мнение: вы за прием Мергенова в партию?

— Если нужно мое личное мнение, то я просто не

могу голосовать за прием в партию Мергенова после всего, что здесь говорилось...

— Значит, вы против приема, Аллаяр Широв?

— Ну да...

— Хорошо. Садитесь! Кто хочет выступить?

И снова молчание.

«Да что ж это: перечеркнули меня совсем, что ли? — пронеслось в голове.— И Торе-ага, который столько поучал и читал наставления, теперь лишь теребит тюбетейку и молчит, словно в рот чаю набрал... А я-то надеялся на него: сам же рассказывал о подлости Аллаяра... Нет, видно, вправду сказали, что сирота сам себе перегрызает пуповину. Дадут же и мне слово... Но почему Торе-ага забыл о своих же словах, советах?!»

Поднялся самый молодой из присутствующих — Шохрат Багшиев.

— Странное дело,— произнес он спокойно и негромко,— товарищи Шамурадов и Широв почему-то увидели лишь недостатки Мергенова. Конечно, нельзя замалчивать промахи и недостатки, но разве в Мергенове нет достоинств, нет хорошего? Полно, товарищи! Разве зря выдали ему диплом с высшими оценками и зря рекомендовали его в партию крупные бакинские профессора, имена которых мы все знаем? Давайте спокойно разберемся во всем. В чем обвиняют Мергенова? Что на тринадцатой буровой случился прихват... Да, бывают у работающих людей ошибки. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. На ошибках люди учатся. И скажите: есть на свете мастер, который достиг заданной глубины бурения без прихвата? Давайте спросим нашего старейшину Торе-ага... Скажите, Торе-ага, у вас ни разу не бывало прихвата?

— Ай, Шохрат, разве сосчитаешь, сколько их было?! — отозвался Торе-ага.— И сейчас порой получаются...

— Вы слышите? А сегодня здесь только и говорят о прихвате на тринадцатой буровой, уже чуть ли не судить готовы Мергенова. Я бы еще понял, если б так выступил чабан, который незнаком с техникой бурения, но ведь здесь выступали специалисты-газовики. Несерьезно это звучит, товарищи.

— Мы не сплетничали, не шушукались по углам, а сказали о его недостатках прямо в лицо и на заседании бюро,— проворчал Аллаяр Широв.

— Похвально поступили, товарищ Широв.

— И вообще впервые слышу, чтоб защищали человека, допустившего аварию.

— Мне кажется, я не перебивал, когда выступали вы, товарищ Широв.

Досов постучал ручкой по настольному стеклу:

— Не прерывайте выступающего, Широв!

— Мергенов хорошо знает Устав и Программу партии,— продолжал Багшиев,— знает историю революционного движения и по своему мировоззрению, по взглядам и поведению вполне достоин быть в рядах Коммунистической партии СССР. Теперь о так называемой «второй стороне вопроса», о которой будто бы не говорилось... Товарищ Досов прочел нам автобиографию Мергенова, и там написано о его разводе с женой: значит, он ничего не скрывал. Кроме того, развод произошел пять лет назад, оформлен законным порядком, и бакинские профессора, когда давали рекомендации Мергенову, об этом знали. А это люди, известные всей стране и всему миру, люди, воспитавшие тысячи нефтяников и газовиков. И Мергенов — один из их воспитанников. Верю, что дальше товарищ Мергенов будет трудиться еще усерднее, ответственнее, и считаю необходимым принять его в члены КПСС.

Откашлялся и поднялся Торе-ага, сдвинул вышитую тюбетейку, посмотрел на Досова, на Багшиева... Белобородый, в белой рубахе, он выглядел величественно.

— Люди! — произнес старик громко.— Признаться, намеревался я выступать последним, а сперва выслушать вас всех. Но Шохрат сказал здесь так верно, что его слова запали мне в сердце. Мы сегодня принимаем в партию молодого специалиста...

— Пока еще не приняли, яшули,— произнес вдруг Аллаяр Широв.

— Помолчи-ка ты! — гневно крикнул старик, и все удивленно взглянули на него, а у меня даже озноб прошел по спине: я впервые видел разгневанного Торе-ага.

Впрочем, он быстро овладел собой:

— Простите меня, люди, что закричал... Только... Разве у тебя, Аллаяр, возраст или, быть может, партийный стаж больше, чем у меня, и ты прерываешь по праву старшего?

— Но ведь, уважаемый Торе-ага, вы тоже прерывали его! — примирительно улыбнулся Ата Кандымов.— Вот теперь вы и квиты...

— Нет, Ата, не желаю ни сводить с ним счетов, ни быть похожим на этого человека. Вы знаете нашу туркменскую поговорку: «У заики самое важное слово послед-

нее!» Дослушайте меня до конца, и, думаю, вы тоже не захотите быть похожими на него.

— Полно, яшули, зачем вспыхивать, будто спичка, от простого прикосновения? Сейчас не обо мне речь, сейчас обсуждаем вступающего в партию Мергенова,— сказал Аллаяр Широв, и я с удивлением услышал просьбу в его тоне.

— И твое поведение будем обсуждать, не беспокойся! Даже если б мне пришлось взять отпуск и поехать в Москву.

— Право, я не предполагал, что ты так обидишься! Прости, пожалуйста...

Теперь Аллаяр покраснел и вспотел.

— Почему-то я предполагал, что ты исправился. Ладно, о тебе разговор после... Я виноват, люди, что, как видно, ослабел глазами и не разглядел подлинного лица Аллаяра Широва. Но зато глаза не изменили мне, когда смотрел вот на него, на Мергена! Это чистый парень, люди. Здесь толковали о прихвате, о бывшей жене, с которой он расстался давным-давно, и, право же, люди, это смахивает на обдуманный и злобный наговор. Шохрат верно говорил... Ошибся человек, споткнулся, поможем, выведем на дорогу... Он, должно быть, и не предполагал, я издали присматривался к Мергену, спрашивал о нем у ребят, потом стал беседовать. Вот он сам не даст соврать, однажды отругал, и крепко. Но повторяю еще раз: Мерген парень честный и работящий. Сутками напролет не отходил от тринадцатой буровой и дал газ. Это он вывел буровую из тяжелой аварии, вывел сам, без аварийной бригады и без единой копейки государственных затрат. А теперь — прошу, Мерген, простить мне самоуправство — он работает над переделкой растворосмесителя. Когда б я ни вышел на улицу, у него светится окно... Но, как известно, бочку меда портит ложка дегтя, и есть завистливые человечки, презирающие других, готовые одолжить любое количество дегтя, лишь бы испортить другому мед... Моя голова бела, как и моя рубашка. Минет еще десять лет, и я не смогу работать на буровой. Кто же сменит меня? Вот такие парни, как Шохрат, как Мерген... Считаю, что Мергенов будет достойным коммунистом.

— Кто еще хочет сказать о Мергенове? — сказал Досов.— Никто? Тогда голосуем. Кто за то, чтобы принять Мергена Мергенова в ряды КПСС?

Кроме Шамурадова и Аллаяра Широва, все подняли руки.

— Большинство за прием. Таким образом, бюро партийной организации постановляет просить партийное собрание принять Мергена Мергенова в члены КПСС. Поздравляю вас, Мерген Мергенов, от имени бюро!

Неожиданно я охрип и оттого сказал едва слышно:

— Спасибо, товарищи!

В коридоре меня ждала геолог Наргуль.

— Ну что? Приняли? — спросила с участием, с тревогой...

— Приняли!

— Ох, я так рада! — Девушка просияла.— Поздравляю от всего сердца!

— Спасибо... Большое спасибо, Наргуль!

Она глядела так, что я смутился, затем кивнула на прощание и ушла.

В жизни нередко промелькнет что-то вроде бы случайное, незначительное, пустячное, а после начинает расти и расти, точно весенний цветок в пустыне, когда пески пропитаны зимней влагой... И вырастает выше человека и расцветает пышным цветом, и созревает за каких-нибудь тридцать — сорок дней, и откладывает семена на будущее... И тогда с недоумением, в растерянности спрашиваешь себя: да откуда же взялось это цветение и когда же все началось?!

Мне дали отгул за переработанные часы, и я помогал маме по хозяйству: вскапывал и удобрял грядки возле дома. Тут меня и окликнул Джума-доктор:

— Оказывается, ты живой?! Почему же в таком случае забыл о моем доме, дорогой? А?

Я воткнул лопату, поздоровался, предложил крепкого чаю.

— Если ты не помнишь о моем существовании, Мерген, как я могу пить с тобой чай? — засмеялся Джума.— Раньше ты чаще навещал мой дом, а теперь, может, матушка никуда не отпускает, бережет?!

С улыбкой он поглядел на маму, она сидела на топчане возле дома.

— Уж ты придумаешь, доктор! — рассмеялась мама.— Сам-то отчего не приходил?

— Ох! — вздохнул Джума.— Нам не до гостеваний: много работы. Меня могут и ночью поднять, позвать в больницу.

— То-то вижу, что ты оброс щетиной,— улыбнулся я.— Неужели побриться некогда?

— Время бы нашлось, да электрическая бритва испортилась. Вот и хожу еж ежом... Кстати, дорогой, не поскупился бы, дал мне свою бритву! А вечерком я верну... Будь другом!

В общем, забрал электробритву и ушел, даже от стакана чаю отказался: некогда, мол!

Закончив работу, я поставил па стол чайник с заваренным зеленым чаем и положил чертежи растворомешалки...

Утром собрался побриться и вспомнил, что Джума, конечно, подвел: не вернул бритву. Вспомнилась и его колючая щетина: испугался, что сделаюсь таким же, и решил сбегать к нему домой, пока мама стряпает завтрак.

Поднялся на веранду, постучался — не отвечают. Вошел внутрь. Слышу, в комнате гремит оркестр: значит, Джума включил радио и стучаться бессмысленно, все равно не услышит! Открыл дверь и переступил порог со словами:

— Что ж подводишь, Джу...

И чуть не подавился, окаменел.

Я увидел золотое сияние зубов: бывшая моя жена в одном белье, растрепанная, смотрела на дверь. Посреди комнаты стояла на клеенке недопитая бутылка водки, лежали баранина в инее застывшего жира и пряная зелень, а на постели возвышался поросший волосами, точно обезьяна, Аллаяр Широв. Тьфу!

Он что-то крикнул мне вдогонку. Но я не расслышал: сбежал с лестницы и поспешно пошел прочь, отплевываясь и бормоча: «Ага, так вот отчего ты уговаривал вернуться к жене, подлец! Вот отчего плакал, свинья, что Батырчик не видит отца!»

Торопливо иду по главной и единственной улице поселка, перешагивая через разбросанные газовые трубы, и вижу: у моего дома стоит машина Кандымова. Что-то случилось! Вот и шофер заметил меня, высунулся и машет рукой: скорее, скорее! Подбегаю, а он кричит навстречу:

— Побыстрей, Мерген, на вертолет! На пятьдесят пятой опасная авария!..— Крикнул и поехал дальше, не удалось даже расспросить...

На вертолетной площадке ждали готовые подняться три вертолета. В кабине среди одиннадцати пассажиров не увидел ни одного знакомого лица. Но все уже знали про аварию и говорили о происшествии на пятьдесят пятой.

— Кандымов уже там! — услышал я.

— Фонтан, говорят, ударил, когда до заданной глубины осталось метров двадцать...

— Ох, не вспыхнул бы. Теперь одна искра — и пламя до неба!

— А кто на пятьдесят пятой мастером?

— Ай, парнишка вроде верблюжонка...

— Мастер был на буровой, когда ударил фонтан...

— А начальника участка не сыщут и с собаками: с ног сбились.

— Какого это начальника? Аллаяра Широва, что ли?

— Его самого...

— Я слышал, он вчера поехал добывать запасные части...

— С каких это пор начальник участка ездит сам добывать части? Разве снабженцы перевелись?.. Ой, вранье это! Должно быть, охотится на зайцев...

— Давно бы надо в шею такого!

— Только что по радио сказали: Ашхабад выслал аварийщиков на помощь.

— Ашхабад?! Ого-го! Дело, выходит, нешуточное...

— Вышка видна!

Да, пятьдесят пятую уже было видно: вокруг нее метались красные машины пожарников, черные тракторы, белые машины «Скорой помощи», бегали люди... Пилоты посадили вертолеты поодаль и, как только сошли пассажиры, поднялись и улетели. Но и здесь, в отдалении, было трудно дышать, мутило от запаха газа. Фонтан ревет грозно и басовито, будто реактивный самолет на взлете. Разговаривать невозможно: надо орать в ухо, чтоб тебя расслышали.

Я подошел и поздоровался, мне не ответили, лишь Наргуль, что стояла, закусив губу, кивнула в ответ.

Возле вышки дышать и вовсе тяжело: щекотало в горле, першило... Мы зацепили дизели стальными тросами, и мощные тракторы С-100 потащили их прочь, подальше от фонтана. А земля вокруг дрожит и вибрирует...

Внезапно рев фонтана смолк. В недоумении взглянул на вышку: неужели фонтан самопроизвольно заткнулся?! Нет, фонтан даже увеличился, земля все так же вибрировала и дрожала. Это просто на мгновение оглушило, мы перестали воспринимать дикий и пугающий рев газа, словно бы погрузились в безмолвие... Впрочем, через минуту шум возвратился с удвоенной силой.

Уже трактор вытаскивал последний дизель, когда вдруг непроглядная тьма закрыла глаза, а в следующий миг прямо перед нами просияло солнце.

Всю вышку охватило пламя.

Машины и люди отпрянули назад, а пожарные брандспойты со всех сторон ударили в пламя. Как перегоревшая ветошь, стали падать с вершины обгоревшие куски металла: сейчас стальной скелет вышки рисовался черным на мятущемся пламени и был похож на деревянный скелет горящей кибитки.

В этой кутерьме я заметил беспокойно озирающуюся Наргуль. Наши взгляды встретились.

На пожарных машинах кончилась вода, и они стали сосать воду из «Каракумов», как называют у нас двенадцатитонные цистерны с водой. В бушующем газом пламени вода делается паром и потом с высоты почти ста метров вновь льется на нас горячим дождем.

— Прежде всего надо спасти каркас вышки,— распорядился Ата Кандымов.

И снова спасатели пошли в атаку на пламя. В касках, в защитных огнестойких плащах они влезали в накрытые мокрым брезентом тракторы, и те везли людей в пекло, а пожарники неустанно поливали тракторы из брандспойтов. А когда люди спрыгивали с тракторов, водяные струи переносили на них. Спасатели в плащах и касках казались легендарными богатырями, что сражаются с огненным драконом. Но долго выдержать люди не могли, начинали задыхаться, возвращались к тракторам, и те отвозили их подальше, а здесь они падали на песок и жадно дышали, широко раскрыв рты, другие хоть и держались на ногах, но дышали так же тяжело, точно загнанные, запаленные кони. Тем временем в атаку на пламя шли другие... И каждый раз, отступая, спасатели уволакивали добычу: закопченные стальные трубы. И скидывали их за барханом.

И еще одна опасность подстерегала людей возле огнедышащего дракона... Всякий, кто топил печи и жег костры, знает, что такое тяга и зачем нужны в печах поддувала. Каждый не раз видел: возле большого костра сила тяги подхватывает сухие листья, неосторожных кузнечиков, бабочек, мух, и те мгновенно превращаются в искры. У дикой силы огненного фонтана и тяга другая: приблизься опрометчиво, человек, и огненной бабочкой взлетишь на сто метров к небу...

Гляжу на обгоревшие, погнутые трубы и думаю: мы же часами, днями, неделями, месяцами ввинчиваем их сантиметр за сантиметром в земную твердь на глубину двух тысяч метров. А теперь их мгновенно вышвырнула обратно космическая сила фонтана! Трубы вылетали из буровой

скважины, как птицы, что прятались в яме, но всполошились, заслышав охотничьих собак. Дикая мощь стихии!

Кандымов машет рукой, подзывая. Сбежалось, наверно, около тридцати молодых здоровых парней, и голосом еще более хриплым, чем всегда, Ата Кандымов прокричал:

— Надо сменить спасателей, видите: из сил выбились...— И показал на людей, что лежали, тяжело дыша, на песке, подобно рыбе, выброшенной штормом.— Товарищ командир объяснит и будет руководить.

Человек в военной форме отобрал самых крепких из нас. Отобрал и объяснил:

— Станете задыхаться, тут же возвращайтесь, не вздумайте перемогаться! Все время держитесь под струей из брандспойта, не суетитесь, действуйте решительно, быстро, коротко, не лезьте к скважине: воздушная тяга увлечет в огонь, и фонтан выбросит одни угли...

Когда надевал защитный плащ и предохранительные очки, подбежала взволнованная Наргуль, поправила на мне воротник, прокричала в ухо:

— Только не зарывайся, Мерген! Поберегись... Хорошо?

Кивнул ей и тут же пожал в недоумении плечами: почему я должен беречься больше других?

В кабине трактора было как в духовке, когда пекут пироги или тушат мясо; а когда приблизились к пламени и мы выскочили, от жара и запаха газа нос как пробкой заткнуло, пришлось разинуть рот. Жаркий вонючий воздух, казалось, обжигал легкие, но тут меня окатила струя воды, и сделалось легче... Перед глазами все — и стальные трубы, и скелет вышки, и земля — казалось ярко-желтым. Только нацелился перехватить тросом желтую трубу, как в нее ударили сразу две водяные струи: часть тут же стала паром, часть рассыпалась горячими брызгами. Зато удалось перетянуть трубу тросом. Кто-то рядом повторяет мои движения, но разве узнаешь человека в широком огнестойком плаще, в темных очках, в каске? Оборачиваюсь, машу трактору, чтоб утаскивал трубу, и бегу из последних сил прочь от пламени, от газа, от угара... Кажется, вот-вот разорвется, лопнет грудь...

Отбежал и бросился, обессиленный, на песок. И увидел: передо мной с бутылкой минеральной воды «Ашхабад» стоит Наргуль. Через силу сделал первый глоток: в горле першило, не мог прокашляться. И даже не хватило сил сказать .спасибо... Тут с меня стянули плащ, отдали кому-то другому, я сунулся под струю из брандспойта.

— Не застудись! — тревожно прокричала Наргуль.

— Раньше смерти не помру...

Глядела на меня не отрываясь. Я похлопал по карманам: платка не было, забыл дома! Наргуль мгновенно вынула свой носовой платочек и вытерла мне лоб. Я смутился: ведь это видели все! Взял у нее платок и сам отер лицо. Платочек благоухал какими-то весенними цветами, но через минуту сделался грязной тряпкой. Растерянный, показал его Наргуль.

— Ой, пустяки! Вот пустяки! — И вдруг улыбнулась.— Какой ты еще ребенок...

И вдруг от этой улыбки я заволновался. Заволновался и удивился: что за черт?! Неужели и после всего пережитого снова пробуждается любовь?

Возле Кандымова теперь стояли люди из Ашхабада: я узнал начальника объединения Пермана Назаровича, пышноволосого кадровика Бегова... И так живо представился мне первый визит в объединение, прошлые волнения, наивные гадания по волосам...

— Чего смеешься?! — удивилась Наргуль.

Выяснилось, что Наргуль знает обо мне все... Ну что ж, по крайней мере не придется исповедоваться, выворачивать душу наизнанку...

Стемнело, как всегда в пустыне, почти мгновенно. Но огненный фонтан освещает все вокруг, и не только пески, полнеба охвачено заревом, и оттого не видны звезды... К пылающей буровой скважине длинной, нескончаемой вереницей тянутся машины с водой.

Уже в четвертый раз я выскочил из кабины трактора возле огненного смерча. Вроде бы даже немного притерпелся, но все равно не могу долго выдержать кошмарную жару и тошнотворную газовую вонь, начинаю задыхаться... А в этот раз случилось непредвиденное: неожиданно что-то тяжелое и мощное ударило по каске, и я свалился на песок. Не знаю, терял ли сознание, но ощутил себя слабым, беспомощным, как цыпленок. И с ужасом почувствовал, что, подобно магниту, меня влечет вперед неодолимая сила... «Ой, это же тянет скважина!» — подумалось. Из последних сил вцепился пальцами, уперся ногами, и так бы, наверное, и сожрал меня огненный дракон... Но кто-то схватил меня за ноги и потащил назад, а на тело обрушились сразу три водяные струи.

Когда протрезвел от газа, усталости, страха, уже, конечно, в отдалении от пламени, почему-то показалось, будто пол-лица у меня сделалось угольно-черным: обгорело,

что ли? И еще было слышно, что кто-то плачет совсем рядом... Должно быть, это была Наргуль.

Вторично пришел в сознание уже в какой-то палатке, и рядом были человек в белом халате и снова Наргуль.

— Отчего плачешь? — спросил ее. Наргуль не ответила, лишь отвернулась, роняя слезы.

— Доктор, что у меня с лицом?

Я услышал внятные всхлипывания Наргуль, и от предчувствия беды заколотилось сердце. Хотел ощупать лицо, поднял руку, но врач удержал.

— Будь мужчиной, Мергенов! Надо потерпеть... Разбилось стекло защитных очков, поранило глаз. Сейчас отправим в больницу, вертолет уже ждет.

Сдерживая рыдания, Наргуль рассказала:

— Наверное, плохо закрепили трос: он сорвался и ударил тебя по каске, ты упал, а я в ужасе закричала, наверное, на все Каракумы... К тебе бросились люди и вытащили. Я видела, как кто-то тянул тебя за ноги подальше от огня... Кажется, Будулай... Мерген, я люблю тебя! Люблю! Не будь же как деревянный, говори, Мерген-джан!

С трудом взял дрожащую руку девушки.

— Но у меня поранен глаз, Наргуль...

— Ой, какие пустяки говоришь! При чем тут глаз? Я люблю тебя, люблю, Мерген! Забудь все прошлое. Мы всегда будем вдвоем, вместе. Что бы ни случилось в жизни! Хорошо? Всегда вдвоем, Мерген-джан...

Минула неделя... Мы с Наргуль сидим в тени огромного дерева в больничном саду. Только что она сообщила: пожар на буровой пока не потушили...

— Отчего тебе не делают операцию?

— Понимаешь, летом в Ашхабаде слишком жарко. Врачи советуют поехать в Москву или обождать до осени.

— Поедем в Москву вместе, хорошо? Я возьму отпуск...

И Наргуль улыбнулась мне.

Впервые в жизни я видел такую улыбку: нежную, милую, полную трогательного участия... Впрочем, разве можно рассказать об этой улыбке?..

1974

Аллаберды Хаидов

р. 1929

Мой дом — пустыня

1

Петляя меж барханами, неспешно двигался через пустыню грузовик. Только на такырах молодой водитель мог прибавить скорость и тем унять свое нетерпение. А пассажир, почтенный яшули в огромном коричневом тельпеке, напротив, был доволен тем, что путешествие протекает медленно. С пристальным вниманием разглядывал он песчаные холмы, движущиеся навстречу, провожал глазами шустрых зайцев, перебегающих дорогу перед самыми колесами машины, следил за ястребом, терпеливо парящим в небе. Казалось, старик хотел, чтоб все увиденное с фотографической точностью запечатлелось в его памяти.

Так оно и было, именно этого, неосознанно, конечно, добивался Юсуп-ага, потому что вчера вечером его торжественно проводили на пенсию, и он сейчас ехал в пески, чтобы проститься с теми местами, где прошла жизнь.

А проводы и впрямь получились торжественные. Даже цветы ему преподнесли. Юсуп-ага никогда прежде не получал в подарок цветы и сам никому не дарил их — и в голову не пришло бы. Он полагал, что человеку, которого уважаешь, можно подарить халат, нож, добрую чабанскую палку и еще что-нибудь в этом роде. Но цветы... «Я же не ребенок, чтоб ходить и нюхать цветочки»,— ворчал себе в бороду Юсуп-ага. Подаренный букет он украдкой бросил в корыто барану.

Затея с пенсией безмерно его огорчила. Вчера вечером после всяких лестных слов, сказанных председателем Нуретдином,— о выполненном долге, о смелости, о самоотверженности, о каком-то праве на отдых — он встал и спросил: почему выпроваживают на пенсию человека, у которого глаза еще зорки, слух чуток, поступь легка и рассудок в порядке? Все, кто был на собрании, посмеялись, решили — шутит старик. А он и не думал шутить, какие тут шутки...

Грузовик добрался до Центрального пункта. Несколько кибиток, многокомнатный жилой дом, хранилище для кормов, утепленные кошары, где выхаживают слабых овец, и сплетение песчано-пыльных дорог, уходящих к дальним чабанским кошам,— вот что такое Центральный пункт. Главное его украшение — громадное тутовое дерево. Оно горделиво высится, единственное на всю округу. Иссушенная почва, палящий зной, ветер, несущий тучи песка,— все ему нипочем. Вероятно, корни дерева достигли водоносных пластов — даже в самую жаркую пору листва его не утрачивала ярко-зеленого цвета. Средь ветвей тутовника круглый год бойко щебетали воробьи. «Это дерево не только людям, и птицам на радость!» — не раз говаривал Юсуп-ага.

Раньше здесь было большое селение скотоводов. В нем семьдесят три года назад и появился на свет Юсуп, нынешний Юсуп-ага, чабан. Теперь селение переместилось на юг, туда, где кончаются пески и начинается степь. Три колхоза объединились и вот уже несколько лет сеют хлопок. Очень прибыльное дело. Все благословляют Каракумский канал, напоивший плодородные степи, называют его каналом счастья. «Очевидно, хлопок важнее, чем овцы. Народ мудр, если народ так считает, значит так оно и есть»,— думает Юсуп-ага. Однако в глубине души он сохранил убеждение, что овцы людям нужнее всего.

Шофер грузовика — он привез для чабанов муку, чай и сахар — охотно принял приглашение пообедать. Юсуп-ага, отрицательно покачав головой, пошел искать свою лошадь. Та, стреноженная, со вчерашнего дня паслась за домом,— подпрыгивая, щипала траву на полянке. Увидела хозяина — захрипела, зафыркала, приветствуя его. Юсуп-ага мысленно обратился к лошади с такими словами:

«Придется нам с тобой расстаться. Я теперь буду жить в колхозном поселке, там нет лужаек, на которых ты могла бы пастись. А держать тебя на привязи и кормить из

мешка было бы жестоко. Нет, так я с тобой не поступлю, верная моя скотинка. Оставайся тут, на воле».

Вслух он, разумеется, ничего не сказал. Со скотиной переговариваются только в сказках. Либо напившись допьяна. А Юсуп-ага водки или же вина отродясь в рот не брал.

Снял путы, сел на лошадь и направил ее по одной из множества пыльных дорог. Крича и размахивая руками, вдогонку ему бросился мальчишка лет семи. Старик остановил лошадь. Мальчишка, еле переводя дух, выпалил:

— Мама велела спросить: «Далеко ли направляется Юсуп-ага?»

Права мать этого мальчишки, в пустыне нельзя уезжать, никому не сказав куда.

— Передай матери — Юсуп-ага едет к Новрузу. Потом поедет к Салиху.

Мальчишка кивнул и умчался.

В небе появились тучи. Серые, тяжелые — осенние. «Неужто будет дождь? Рановато! — подумал старик.— А, пусть его. В самом деле, что ему дождь, чекмень и тельпек — надежная защита».

Тучи ползли по небу неторопливо, так же неторопливо трусила кобылка Юсупа-ага. В пустыне вообще все делается медленно. Овцы бредут — кажется, еле ноги переставляют, верблюд тоже не спешит. А черепаха? Зато живет как долго! Юсуп-ага истинный сын пустыни. Он тоже все делает не спеша — ест, чай пьет, говорит, шагает за отарой. Тем более теперь не станет он понукать свою лошаденку.

Дорога, которую старик выбрал, привела к колодцу. Возле этого колодца, в окрестностях его, прошла, можно сказать, вся молодость Юсупа. Здесь он чабанить начал. Когда возникли разговоры о том, что царь затеял войну с Германией, он уж год как стал подпаском. Ему тогда минуло четырнадцать. Какое дело четырнадцатилетнему подпаску до чьей-то там войны за тридевять земель? Юсуп твердо был уверен, что его предназначение на земле — пасти овец, и неутомимо перегонял с пастбища на пастбище байскую отару, за что бай кормил его, правда, не сказать, чтоб досыта.

После свержения царя, во время установления новых порядков, он тоже пас овец, теперь с большим усердием, так как из подпаска стал чабаном.

Впервые с представителями новой власти он встретился, когда ему исполнилось тридцать лет. Большевики спе-

циально приехали к нему на кош. Спокойные, обходительные, рассудительные люди, они пробыли с ним целый день, беседовали во время долгих чаепитий и такого порассказали, что он почувствовал себя вновь родившимся на свет. Тридцать лет он жил не так, как должно, и, оказывается, неверно смотрел на мир. Ведь ясно же, что скот, вот эти овцы, должен принадлежать не бездельнику баю, а таким, как он, Юсуп, труженикам. В тот же день он написал заявление о вступлении в колхоз. Вернее, заявление написал один из приехавших, а чабан приложил к бумажке свой измазанный синей краской палец, подтверждая, что все написанное сказано им...

Юсуп-ага спешился и вошел в чабанский домик, стоящий близ колодца. Там никого не было, как и обычно в это время дня. Он прилег на кошму и задремал было, но снаружи послышался треск мотоцикла. Потом кто-то отворил дверь и тут же прикрыл, не желая, видимо, тревожить сон старого человека. Юсуп-ага спросил:

— Новруз, это ты?

— Я. Салам алейкум, Юсуп-ага,— ответил хозяин домика, вновь появляясь на пороге.

Легко, без видимых усилий, старик поднялся с кошмы и вышел вслед за Новрузом.

— Где твои овцы? — спросил он, высматривая в песках отару.

— Появятся минут через пятнадцать.

Новруз запустил движок.

— Как трудно было раньше поить овец,— заметил Юсуп-ага.— А теперь вода сама поднимается с глубины в двадцать саженей. Пей — не хочу!

Прозрачная, студеная вода заполняла поилки.

— Это все техника,— откликнулся Новруз.

Как он и предсказывал, минут через пятнадцать на гребне дальнего бархана появились первые бараны — вожаки. Почуяв воду, они стремглав бросились вниз, к поилкам, за ними, возбужденно блея, следовала отара.

От обеда Юсуп-ага опять отказался, но чтобы не обидеть хозяина, а, напротив, выказать ему свое уважение, снял пробу со всего, что лежало на сачаке, и со знанием дела похвалил овечий сыр, приготовленный Новрузом собственноручно.

Польщенный хозяин стал усиленно предлагать Юсупу-ага дыни, арбузы, даже яблоки, правда, еще незрелые,— все теперь доставляют машины на чабанские коши.

— Да,— согласился Юсуп-ага, но попросил: — Подай-ка лучше то, чего жаждет моя душа.

— Зеленого чаю! — угадал Новруз.

Отставив опорожненные чайники, чабаны заговорили о том, что обоих, пусть не в равной мере, занимало и волновало в эти дни.

— Значит, решили на пенсию выйти, яшули?

— На пенсию меня выпроводили,— сердито ответил Юсуп-ага.— Ну, сам скажи! — воскликнул он с наивной самоуверенностью, которая, впрочем, имела под собой почву.— Кто из вас лучше меня сможет пасти овец? Пустыня — книга. Кто из вас сможет прочесть и понять ее лучше, чем я? Даром — неграмотный.— Не дав собеседнику рта раскрыть, он продолжал, все больше горячась: — Глаза видят, ноги ступают твердо, слух острый, память наперечет. Ну, скажи, чего еще надо этому правлению? «Иди отдыхай»,— говорят. К чему это мне? В прошлую весну я простудился и болел, видно, потому меня и выпроваживают. А что, другие не простуживаются, не болеют?

— Со всяким может случиться,— утешая старика, ответил Новруз.— Я другое слышал, яшули. Ваш сын, городской, крепко поговорил с Нуретдином. Сказал ему, что никто не имеет права заставлять семидесятилетнего старика и в зной, и в стужу бродить за овцами в дикой пустыне. Ну, председатель после этого и...

— Так и назвал — дикая? — перебил Юсуп-ага.

— Я рассказываю, что слышал.

— Разве наша пустыня дикая?

Пожав плечами,—мол, не он же это сказал,— Новруз добавил:

— Сын собирается увезти вас в город.

Юсуп-ага улыбнулся.

— Не поеду. Что мне делать в городе?

— Ну, не скажите, яшули. В городе очень интересно. Неплохо бы пожить там...

— А мне и тут хорошо. Не знаю ничего интереснее этих просторов. Куда ни глянь, края не видать.— В голосе старика появились мечтательные нотки, взор затуманился.— Барханные узоры что твой ковер в богатой юрте. Овцы бредут за травой, ты — за овцами. Залегла отара — ты тоже ложишься рядышком на чистый песок. Считаешь звезды в ясном небе да думаешь свою думку. Глядишь, задремал незаметно... В этих краях, пожалуй, не сыщешь места, где бы мы с тобой не ночевали у костра, а? Теперь колхоз построил вам кирпичный дом. В нем, конечно, теп-

ло, светло, ветер не дует... Да... не дует ветер, не убаюкивает... Звезд тоже не увидите, засыпая и просыпаясь... А я — я буду, как курица, ворошить землю на своем меллеке...[1]

Неведомая доселе тоска сдавила сердце Юсупа-ага, стиснула ему горло, он вынужден был умолкнуть. Новруз украдкой бросил на него встревоженный взгляд.

— Куда вы дальше, яшули?

— Поеду к Салиху. А тебе пора поднимать отару и гнать на выпас. Я тронусь в путь, когда солнце сядет.

Оставшись один, Юсуп-ага постелил кошму на веранде чабанского домика, бросил подушку, заварил себе еще чайничек чаю. Ему хотелось перебрать в памяти события прошлого, но воспоминания, показавшись, словно небо в разрыве осенних туч, исчезали, уступая место безрадостным мыслям о будущем. Юсуп-ага о завтрашнем своем дне думать не хотел, поэтому отправился в путь раньше, чем намеревался.

Повинуясь твердой руке хозяина, лошадь свернула с тропы и затрусила по бездорожью на север. Юсуп-ага ориентировался по приметам, известным ему одному. Движение успокоило его, сняло досаду, а тут еще емшаном пахнуло в лицо — трава эта осенью особенно сильно пахнет. С наслаждением вдыхал он сухой, горьковатый воздух пустыни.

Рыжая дрофа испуганно рванулась прочь почти из-под копыт лошади. Взлетела тяжело и снова села поодаль. В былые годы Юсуп-ага охотился на дроф весной и осенью, немало пострелял их. Теперь он испытал чувство острого сожаления: зачем губил этих птиц? Если в песках, кроме овец и чабанов, никого не останется, людям будет очень скучно.

Солнце село. Зоркие глаза Юсупа-ага отыскали довольно далеко на севере мигающий огонек. Еще один чабанский кош, туда он путь и держит...

Примерно через час он достиг цели. Пахло дымом костра, слышалось блеяние овец, глухое рычание собак. Миг — и собака возникла перед ним. На ее неистовый лай примчалась другая. Они недвусмысленно дали понять, что дальше двигаться не стоит. От костра поспешно поднялся парень и отогнал собак.

— Салам алейкум, Юсуп-ага,— сказал он, узнав приехавшего.

---

[1] Меллек — приусадебный участок.

— Жив-здоров, пальван? Это ведь кош Салиха?

— Ну да, его.— Подпасок помог старику спешиться.— Давайте ваш хурджун, яшули, отнесу в дом.

А старика уже радушно приветствовал чабан Салих...

В полночь проголодавшиеся овцы встали с мест, заблеяли, затоптались. По ночам Салих всегда сам гонял отару на выпас, но теперь ему неудобно было покидать гостя, поэтому он хотел разбудить сына.

— Не надо рушить крепкий молодой сон,— сказал Юсуп-ага.— Сам иди с отарой. Я тоже сейчас уеду.

— Куда это ты поедешь в ночь?

— На Кровавый колодец.

— Зачем? Сейчас там никто отар не пасет.

— А мне отары не нужны. Я прощаюсь с пустыней. Песок тех мест пропитан и моей кровью. Поистине кровавый колодец. Я непременно должен побывать там.

Гость умолк, задумался. Хозяин не смел нарушить молчание.

— Ты ведь тоже был свидетелем тех событий,— снова заговорил Юсуп-ага.— Правда, мальчонкой еще. Помнишь хоть что-нибудь?

— Помню. Та ночь навсегда в память врезалась. Хочешь, я поеду с тобой, яшули?

— Поедем,— поколебавшись, жаль все же будить парнишку, согласился Юсуп-ага.

Пока он взнуздывал лошадь, Салих разбудил сына. Тот долго не мог сообразить, зачем его подняли с постели, потом взял палку и пошел к отаре.

В пути Юсуп-ага с Салихом расстались. Дело в том, что старый чабан терпеть не мог мотоциклов. Вредная машина, считал он, опасная. Где-нибудь в дебрях пустыни продырявится резиновое колесо или бензин кончится, что тогда делать путнику? К тому же шуму от нее и вони.

— Поезжай к колодцу один и подожди меня там,— морщась, сказал он Салиху.— Все равно вперед выскакиваешь. Где уж моей кобыле с твоим гремучим скакуном тягаться...

Салих укатил, смолк треск мотоцикла, без следа развеялась гарь. Снова Юсуп-ага был один среди необозримых просторов. На земле бесконечные ряды барханов, в небе золотые цепи звезд. По звездам найдет он дорогу на Кровавый колодец, где в одну из таких вот ночей была безвинно пролита его кровь.

Юсуп-ага стал по пальцам считать: сколько лет не был он на Кровавом колодце? Выходило — десять. Не слу-

чись этой пенсии, он, может, еще десять лет не попал бы туда. А теперь надо, надо.

За шестьдесят лет пустыня стала ему дорога и нужна, как может быть нужен близкий, родной человек — мать, отец, старший брат...

Зимняя стужа, словно мудрый лекарь, вымораживает из человека гниль и сырость, бодрит его мышцы, проясняет ум. А до чего же сладко дремлется зимой у жаркого сазакового костра! Весна в пустыне — время немыслимой красоты. Травы так обильны, высоки! А цветы!.. Все семь красок мироздания ярко сверкают под лучами обновленного солнца. И, словно гости на той, со всех концов земли слетаются птицы. Осенью тоже. Прямо темно от птиц...

И он должен все это покинуть!..

Опять тоска сжала сердце жесткой рукой. Прочь, прочь!.. Юсуп-ага даже головой тряхнул и заторопил лошадь.

У Кровавого колодца его поджидал Салих. Когда старик спешился, тот сказал, глядя на часы:

— Ты добрался сюда за два часа, яшули.

Юсуп-ага уловил скрытый смысл этих слов, но пренебрег им, так как не считал скорость преимуществом.

— Огня не разводи,— попросил он.— Мне хочется, чтоб вокруг было так же темно, как в ту ночь.

Сняв с гвоздика у двери ключ, Салих отпер дверь чабанского домика и вскипятил чай на газовой плите.

— Где стелить кошму?

— А где мы были в ту ночь?

Салих постоял, подумал, поглядел вокруг и раскатал цветастый войлок шагах в пятидесяти от колодца, близ руин какого-то древнего строения. Юсуп-ага удовлетворенно кивнул — место найдено правильно.

Сели пить чай. Салих все поглядывал на циферблат и наконец сказал:

— Сейчас два часа тридцать минут. Через полчаса время, когда явились они.

— Откуда ты знаешь так точно? — изумился Юсуп-ага.

— Я установил это позже. Петухи кричат трижды за ночь — в двенадцать, в три и в шесть. Бай прискакал, когда петухи пропели второй раз.

Смежив веки, полулежал на кошме Юсуп-ага и вспоминал события сорокатрехлетней давности. Вот такая же ночь была в сентябре 1930 года... Он и двенадцатилетний подпасок Салих спали на кошме у догорающего костра.

Вдруг залаяла собака, донесся конский топот. Кого это несет?

«Бай-ага едет проверять своих баранов»,— высказал догадку Салих.

Дрожь опасения пробрала чабана. Никогда не приезжал хозяин с проверкой среди ночи. И теперь не для проверки явился.

Бай приехал в сопровождении вооруженной свиты. Юсуп принял у него коня, отвел к коновязи. В нарушение всех приличий, бай не произнес приветствия и традиционных вопросов о житье-бытье. Юсупу тоже не дал выполнить ритуал, спросил в лоб: «Ты подал заявление в колхоз?» — «Да».— «Глупая выходка. Зачем тебе колхоз? Что ты будешь там делать? К тому же народ поднял восстание против новых порядков. Пока не кончится вся эта суматоха, овец следует пасти в уединенном месте. Гони отару на запад».

Куда девалась обычная робость чабана! Юсуп ответил решительно: «Я не погоню твою отару на запад. И вообще не буду ее пасти. Вчера еще сказал об этом твоему младшему брату».

Повинуясь байскому взгляду, рослый джигит со свирепым лицом подошел к Юсупу. Тот не успел и сообразить что к чему, как руки его были скручены за спиной.

«Ну-ка, подумай,— ощерясь, сказал свирепый джигит,— ты и впрямь не хочешь пасти овец бая-ага?»

Юсуп промолчал. По правде говоря, он растерялся. Как же так? Отныне у баев не должно быть тысячных отар. У многих уже овец отобрали. А этот не подчиняется комиссии. Но ведь люди комиссии сказали, что вернутся с отрядом и не дадут в обиду бедняков, подавших заявление в колхоз! А у него скручены за спиной руки...

«Оглох?! — Джигит яростно стеганул плеткой воздух перед носом Юсупа.— Будешь ты пасти овец бая-ага или нет? Отвечай!»

«У баев не должно быть овец».

«У баев были, есть и будут овцы!»

«Я не стану их пасти. Я вступлю в колхоз».

Бай мигнул, свирепый джигит поспешил к нему, наклонился почтительно, выслушивая приказание. До ушей Юсупа донеслось:

«В назидание другим отправьте его душу в преисподнюю».

«Чью это душу хочет он отправить в преисподнюю?» — как-то вяло подумал Юсуп, и тут ему велели повернуться

и идти. Не успел он сделать трех шагов, как сзади прозвучал щелчок выстрела, Юсуп ощутил острое жжение в спине и повернулся, чтобы увидеть, что происходит, но в этот миг один край пустыни приподнялся, второй опустился и пустыня перевернулась, накрыв собой чабана...

...Тьма немного сдвинулась в сторону. До сознания Юсупа донесся голос:

«Скоро придет в себя. Теперь ему сам черт не страшен».

Юсуп с трудом размежил веки и увидел рыжеусого человека. Тот был в военной одежде и склонился над ним, выжидательно глядя ему в лицо. Заметив, что Юсуп открыл глаза, сказал: «Товарищ!»

Товарищ!

...Юсуп-ага проснулся потому, что кто-то тронул его за плечо. Салих.

— Отчего ты кричал, яшули?

— Разве я кричал?

— Диким голосом: «Товарищ!» Звал, что ли, кого?

— Мне снился сон. Увидел во всех подробностях события той ночи.

— А-а. Значит, ты звал командира отряда?

— Да. Показалось — он хочет уйти от меня.

— Бая тоже видел?

— Видел.

— А мне ничего не снилось,— сказал Салих, глядя на светлеющее небо.

— Твой мотоцикл не поломался?

— Нет.

— А бензин есть?

— Много еще.

— Тогда поезжай к отаре личного скота, привези одну мою овечку.

— Зачем же в такую даль тащиться, яшули? Мяса мы с тобой и поблизости раздобудем.

— Хочу провести здесь день и еще одну ночь. Может, снова приснится тот сон. Хочу увидеть, как красный командир меня не покинул, остался со мной мой товарищ.

2

В кабинете председателя колхоза сидел Бяшим, младший сын Юсупа-ага. Он старался не выказывать раздражения и досады, но лицо у него было такое кислое, что угадать его настроение не составляло труда.

— Вам, наверное, скучно? — спросил Нуретдин.— Хотите посмотреть наш гранатовый сад? Видели вы когда-нибудь гранатовый сад?

— Нет, не видел.

— О, тогда посмотреть стоит! Это просто чудо. Особенно сейчас. Урожай хорош. Плоды крупные, величиной в кулак, даже в два кулака. Непонятно, как выдерживают их тоненькие веточки.

— Ну, гранаты-то я видел. Я ведь горожанин, а садоводы лучшие свои плоды вывозят на городские рынки. Так что вам не стоит беспокоиться.

— Да, горожанина в вас сразу угадаешь,— согласился Нуретдин.— Только горожане могут себе позволить в будний день носить белые сорочки.— У Бяшима удивленно вздернулись брови.— В городе они сохраняют белизну, а у нас тут пыль,— не без лукавства заключил председатель.— Да... А какова ваша профессия, уважаемый Бяшим?

Младший сын Юсупа показал на окно и, так как собеседник не понял жеста, пояснил:

— Я стекловар. Работаю на стекольном комбинате.

— Хорошая профессия, нужная.

— Да. Стекло, бетон и асфальт делают современные города. Однако когда же появится мой отец?

— Вчера я еще раз велел передать на Центральный пункт, что Юсупа-ага здесь ждут. Просил разыскать его и отправить в село. Но как это сделать, если сам яшули не желает покидать пустыню? А сейчас он прощается с людьми.

— Сколько можно прощаться? Уже неделю целую...

— Если вы очень торопитесь, уважаемый Бяшим, возвращайтесь в Ашхабад. Отец сам к вам приедет. Мы дадим ему провожатого...

— Простите, но я сильно опасаюсь, что говорите вы одно, а сделаете другое. Сначала вы не хотели отпускать отца на пенсию. Теперь прельщаете его домиком и приусадебным участком, чтобы он остался в селе. Знаю, чем это кончится: не пройдет и двух месяцев, как отец снова окажется в песках. И снова будет бедный дряхлый старик, кряхтя и кашляя, бродить за овцами в зной и стужу. Нет уж, довольно. В колхозе он отработал свое сполна. Пусть теперь отдохнет, поживет со мной в городе, пользуясь всеми благами цивилизации.

Эту сердитую тираду председатель Нуретдин оставил без ответа. Сказал только:

— Думаю, что завтра Юсуп-ага появится.

— Я тоже думаю, что рано или поздно он появится. Но пока зря теряю дни. Неделя бессмысленного ожидания. А я привык расписывать свое время по часам и даже по минутам, чтобы ни одна не пропала даром.

— О, вы понимаете толк в жизни!

— Надеюсь. Но сейчас все мои планы нарушены... Знаете, товарищ председатель, я, пожалуй, пойду. Думаю, что развлекать меня беседой не входит в ваши планы. Прошу еще раз передать в пески: пусть отец скорее приезжает.

Подойдя к дому брата, Бяшим совершенно неожиданно для себя увидел отца в окружении весело гомонивших внуков и правнуков. Настроение у него мигом улучшилось. После приветствий и взаимных расспросов он сказал:

— Отец, поедем в город.

Предупрежденный Новрузом, старик схитрил:

— На сколько дней?

— Насовсем. Ты останешься жить со мной. Одна из комнат моей квартиры — твоя.

— Но почему, Бяшим-джан, я непременно должен жить в твоем доме? А если я буду жить в своем? Или здесь, у Берды?

— Не чуди. Была бы жива наша мать, я не стал бы возражать против того, чтоб ты оставался в своем доме. Но один?.. А у Берды и без тебя тесно. Покоя уж точно не будет. И какие здесь удобства? Разве можно сравнить с городским благоустроенным жилищем? Нет, отец, я считаю, что ты в твоем возрасте заслужил и настоящий покой, и настоящий отдых. И поэтому настаиваю — поедем со мною в город.

Юсуп-ага с сомнением покачал головой.

— Помнишь Сапарджана, сына Анна Кейтыка?

— Который пальван, что ли?

— Он самый. Так вот, этот богатырь тоже в городе живет, потому что там и спортзалы, и тренеры гораздо лучше, чем в селе. Самые умные люди, самые лучшие вещи — в городе. Только в городе можно стать настоящим специалистом, настоящим ученым, по-настоящему знаменитым человеком...

В унылом раздумье Юсуп-ага покачал головой, упорно избегая требовательного взгляда Бяшима.

А тот выложил свой главный аргумент:

— Мне казалось, ты почитаешь обычаи. А что гласит наш обычай? Отец не может жить со старшим сыном, когда есть младший!

— Верно, верно...— Юсуп-ага вздохнул.— Недаром говорят: старый верблюд должен покорно плестись за своим верблюжонком...

Жалость кольнула вдруг сердце Бяшима. Он очень хотел, чтобы отец остаток дней своих провел в прекрасном городе Ашхабаде, но вовсе не желал, чтобы тот ехал по принуждению. И потому снова принялся вдохновенно расписывать всяческие городские блага и чудеса: гладкий асфальт городских улиц; бесчисленные фонари и неоновые лампы, от которых ночью светло, как днем; базар, где чего только не продают; горячую воду, обогревающую дома без копоти и дыма; большие зрительные залы, в которых с утра до ночи показывают замечательные фильмы; певцов и музыкантов, прибывающих со всех концов света; врачей, которые мертвого способны воскресить. И добился: в глазах отца вспыхнул огонек любопытства. Старику захотелось поехать в город.

3

До райцентра добрались на грузовике, а там пересели в рейсовый междугородный автобус. Эти огромные, как дом, машины — автобусы — Юсуп-ага видел и раньше, а вот асфальт, покрывающий дорогу,— в первый раз. Накануне сын рассказывал о дорогах, гладких, как зеркало, и совершенно без пыли,— одном из городских чудес. Да, видно, город — это... Но решительно асфальт заслуживает восхищения! На очередной остановке Юсуп-ага вышел из автобуса и взад-вперед походил по дороге. Потом вынул нож и отковырнул кусочек асфальта. Долго нюхал, но так и не определил, что это за штука такая, положил в карман. Можно было бы расспросить сына, но в автобусе, впереди сидел такой же старик, как сам Юсуп, только одетый по-городскому. Не хотелось перед ровесником показать себя полным невеждой.

— Навстречу нам попалось тридцать машин,— прошептал вдруг себе под нос Юсуп-ага.

Сын услышал.

— Ну и что?

— Интересно, куда их столько едет?

— Это большая дорога, отец, она связывает разные города и райцентры.

Юсупу-ага казалось, что какая-нибудь из машин, стремительно мчащихся навстречу, непременно столкнется с их автобусом. Что же тогда будет? Всякий раз, когда

встречный автомобиль со свистом проносился мимо, он невольно сжимался, вбирая голову в плечи.

У самой кабины водителя, лицом к остальным, сидел пассажир, давно привлекший внимание Юсупа-ага. Наверное, гость из какой-нибудь зарубежной страны, решил старик. Совсем молодой парень, почти подросток, невысокий, тонкий, гибкий, он был одет так причудливо, что Юсуп-ага не мог себя заставить отвести любопытный взор. Волосы до плеч, как у девушки, рубашка вся в цветочках, аж в глазах рябит. На шее шелковый платочек, тоже пестро-яркий, пальцы в перстнях, а глаза спрятаны за огромными темными очками. Да, конечно, юноша этот из-за границы, из какой-нибудь далекой и странной земли.

А юноша подавил зевок, нахмурился и произнес на чистейшем туркменском языке:

— Этот автобус ползет, как черепаха!

Юсуп-ага и рот приоткрыл: неужто туркмен? Бай-бов! Не выдержал, легонько толкнул сына.

— Что?

Глазами указал на паренька впереди. Бяшим оглядел того без всякого удивления и снова спросил:

— Что ты, отец?

Опасаясь, что их услышит диковинно разубранный паренек, Юсуп-ага буркнул:

— Так, ничего.

В это время автобус замедлил ход, а потом и вовсе остановился.

— Что случилось?

— Почему остановились?

Водитель не отвечая вылез из кабины и открыл капот.

Один за другим выбрались наружу пассажиры и окружили водителя. Тот копался в моторе как-то неуверенно. Видно было — не знает, где искать неисправность. Зрители его явно раздражали.

Юсупа-ага среди зрителей не было. Он прохаживался по асфальту, с удовольствием разминая онемевшие от долгого сидения ноги. Побледневшее во время езды, лицо его снова обрело свои естественные краски.

Еще один пассажир не заглядывал в мотор через плечо водителя — тот самый одетый по-городскому старик, ровесник. Он тоже ходил по дороге. Вскоре они оказались рядом.

— Вот и обрела душа моя покой,— сказал Юсуп-ага, вызывая ровесника на разговор.

— Что, ноги отсидели? Я тоже.

— Не в ногах дело. Дело в том, что я до этой поры ни разу в такой штуке не ездил.

— Неужто ни разу в машину не садились?

— Нет, на колхозных грузовиках ездил. Много раз. Но наши дороги пролегают через равнины, даже если с них съедешь, ничего не случится. А тут по обе стороны вырыты глубокие ямы. Посмотрите — будто нарочно. Чтоб машины туда падали. А встречные? Мчатся как бешеные. И словно не видят наш автобус, того и гляди столкнутся.

Одетый по-городскому старик весело рассмеялся. Потом сказал:

— Давайте познакомимся. Меня зовут Орун Орунович. Вы можете называть просто Оруном...

Пестро одетый юноша в это время принимал солнечную ванну. Он снял с себя рубашку в цветочках, снял майку и, уперев руки в бедра, подставлял солнцу свой бледный узкий торс. Юсуп-ага не удержался:

— Взгляните-ка на этого вертопраха, Орун. Ну что за выходки?

— Он правильно делает,— ответил новый знакомый и поверг своим ответом Юсупа-ага в изумление.— Сейчас его тело интенсивно впитывает ультрафиолетовые лучи, которые повышают процент гемоглобина в крови.

Ну, а это уж и вовсе невразумительно. Заметив выражение растерянности и недоумения на лице собеседника, Орун Орунович поспешил как можно проще и понятнее рассказать о пользе солнечных лучей для человеческого организма.

Но на этот предмет у Юсупа-ага была своя точка зрения. И никто не мог ее изменить.

— Человек должен защищать себя от солнца,— убежденно изрек он.

Пареньку тем временем прискучило загорать, он подошел к водителю, который уже взмок, копаясь в моторе.

— Ни дать ни взять сорная трава,— пробормотал Юсуп-ага.— Вылезет там, где совсем не нужна. Ну зачем он к нему подошел? Мешать только? Человек и без того замучился. Что за волосы у него? И очки какие-то черные нацепил. Гог-Магог, наверное, так же выглядит.

— Зря вы его браните, ровесник мой. Славный парнишка.

— Отдать бы этого славного парнишку нашему Нуретдину хотя бы месяца на три. Он бы сделал из него человека. Ну скажи, разве эти ручонки способны кетмень удержать? О том, чтобы кетменем работать, я уж не говорю.

— Да, мускулатура у него развита слабо.

Паренек, уже несколько минут наблюдавший за действиями водителя, сказал:

— Ну-ка, разрешите мне,— и, отстранив незадачливого механика, занялся мотором.

— Если старый чабан не знает, то откуда же молодому...— Юсуп-ага махнул рукой и отвернулся в досаде.

Но мотор скоро заработал. Обрадованные пассажиры поспешили занять свои места, и автобус ринулся наверстывать упущенное.

— Через два часа будем на месте,— сказал, обернувшись, Орун Орунович и увидел, что лицо ровесника покрыла испарина, а вены на шее и висках вздулись.— Что с вами? Вам плохо?

— Мутит как-то. Очень быстро едет этот...

Орун Орунович пробрался к кабине водителя и попросил ехать помедленней, так как одному из пассажиров плохо, он, видимо, нездоров.

Шофер, не поворачивая головы, ответил, что он и так на целый час выбился из графика и если еще ехать на малой скорости, то опоздание будет — ой-ой-ой...

— Премии я уже лишился. Хотите, чтобы мне выговор влепили?

А Юсупу-ага казалось, что пришел его последний час.

— Остановите машину,— пролепетал он.

Автобус остановился. Бяшим и Орун Орунович вывели старика. Едва он ступил на твердую землю, как его вырвало. Заметив растерянность в глазах Бяшима, Орун Орунович сказал:

— Не волнуйтесь, все будет в порядке. Состояние вашего отца — естественная реакция на непривычно быструю и длительную езду. Я врач-геронтолог.

Он вернулся в автобус, взял свой чемоданчик, водителю сказал:

— Можете ехать на предельной скорости. Мы остаемся.

Автобус умчался, а Юсуп-ага со своими спутниками продолжил путешествие в такси, водителя попросили ехать со скоростью не больше тридцати километров в час.

В город они прибыли поздно вечером. Начались обещанные сыном чудеса. Ночь, а светло, как днем, и свет какой-то диковинный. Желтый, как пламя костра,— понятно; белый, как звезды,— понятно: голубой, как пламя газовой плиты,— тоже понятно, но зеленый, красный, фиолетовый... Глазам невмоготу. Дома огромные, высокие,

выше самых больших барханов, стоят вдоль улиц впритирку, а сами улицы широкие и гладкие. И, конечно, машины — мчатся и мчатся и тоже слепят фарами. А сколько здесь людей... бай-бов!

Но воспринимал все это Юсуп-ага как-то краем глаза и краем сознания. Ему все еще было плохо...

Утром Бяшим проснулся раньше обычного. Первая мысль — об отце. Подошел к двери его комнаты, прислушался, легонько стукнул. В ответ раздалось покашливание. Бяшим вошел и поздоровался.

— Это ты, сынок? Входи, когда надо, зачем стучишься?

— Так этика требует.

— Кто такой этика?

Подавив невольный смешок, Бяшим ответил:

— Этика не человек, а свод правил — как надо себя вести, как друг с другом обращаться.

— Вот оно что...

— Выспался, отец?

— Ох, какое там...

— Почему? Тебе было плохо? Неудобно здесь?

— Только задремал — на меня хотел наехать огромный черный автобус. И я с криком проснулся. Заснул снова — показалось, что меня на огне жарят. Будто я попал в город, где все из огня — улицы, дома, деревья — и я сам в огненном кольце, печет со всех сторон, а огонь разного цвета. Где уж тут спать... К тому же под окном всю ночь машины гудят, шумят...

— Это потому, что ты впервые попал в город. Привыкнешь — все пройдет. Умывайся, и будем чай пить.

Хорошо, что на свете есть чай. Очень кстати сейчас чайник свежего, горячего зеленого чаю. Юсуп-ага намеревался чаевничать, сидя на кошме, но, увидев аккуратно накрытый стол, отказался от этого намерения. Если все будут сидеть за столом, а ты один усядешься внизу, скрестив ноги, — неприлично же.

За столом он оказался рядом с внучкой. Та немедленно принялась ухаживать за дедом. Вытащила из миски дымящиеся сосиски и положила ему на тарелку. Намазала маслом хлеб, а сверху водрузила кусок брынзы — готов бутерброд. Ко всей этой снеди старик не притронулся.

— Я сейчас буду чай пить, Дженнет-джан,— сказал он и придвинул к себе чайник.

Потягивая ароматный напиток, разговорился с невесткой и внучкой.

Любопытство Дженнет не так-то просто было утолить.

Она хотела сразу выяснить все о пустыне, о жизни в песках, причем не знала многое такое, без чего Юсуп-ага не мыслил существования человека. Например: как выглядит колодец? А как его копают? А кто? А разве овец и ночью пасут? Когда же они спят? А пастухи когда? Ну, и прочее в том же роде.

Опорожнив чайник, Юсуп-ага встал из-за стола.

— Дедушка, почему ты ничего не ел?

— По утрам я только чай пью.

Дженнет округлила глаза. Предвидя новые вопросы, Бяшим счел за лучшее вмешаться.

— Сегодня воскресенье,— сказал он.

— Знаю,— ответил Юсуп-ага.

— Воскресный день следует провести интересно и весело.

— Сначала сходи на работу, сынок, а потом подумаем о развлечениях.

— Но ведь сегодня воскресенье, выходной день.

— Да-да, я и запамятовал, что городские в воскресенье не работают.

— В субботу тоже,— вставила Дженнет.

— Мы с Майсой, с твоей невесткой, все уже обдумали,— заявил Бяшим.— Сегодня поедем в горы.

— А что там, в горах?

— Там? Свежий воздух, родники, скалы...

— Скалы — это интересно. Я не видел, но знаю, что интересно.

— Сегодня я покажу тебе необыкновенную скалу,— пообещала Дженнет.— Большая, как наш дом, даже больше. Отвесная, как стена. И по ней все время вода стекает.

— Все время, дитя мое?

— Да. Мама говорит — скала плачет. Правда, ты так говорила, да, мама?

— Правда, доченька.

Юсуп-ага подумал и сказал:

— Поезжайте в горы без меня, дети мои. Туда, наверное, на машине надо ехать, а у меня от этих машин голова кружится.

— Раз дедушка не хочет, я тоже не поеду.

Горы придется отложить. Бяшим принялся спешно составлять новый план. Во-первых, сходить в кино. Посещение кинотеатра займет два часа. А что делать потом? Поводить старика по городу? Тут Дженнет напомнила, что еще до приезда дедушки она выговорила право показать ему город.

Вместе с внучкой спустился Юсуп-ага с третьего этажа. Оказавшись на тротуаре, облегченно вздохнул:

— Слава богу!

— Почему ты говоришь «слава богу», дедушка? Мама говорит «слава богу», когда я выздоравливаю после болезни. А ты сейчас почему сказал?

— Как на землю спустился, будто груз с плеч сняли. Наверху птицам жить хорошо, а я человек.

Они дошли до скамейки под навесом, и Дженнет оставила деда:

— Здесь мы сядем на троллейбус.

— А нельзя ли не садиться в эту твою штуку, дитя мое?

— Нам далеко. Пешком идти — целый час.

Старику хотелось сказать: «Я не устаю, даже если хожу целый день», но он не знал, как внучка,— вдруг устанет, ребенок ведь. И промолчал.

В троллейбусе Дженнет увидела подружку, подошла к ней и зашептала на ухо:

— Оглянись-ка незаметно. Видишь старика в тельпеке? Это мой родной дедушка. Настоящий кочевник. Первый раз в жизни сел в троллейбус. Вчера первый раз в жизни ехал в автобусе. Он ничего не ест, только пьет чай. Когда поднимается на третий этаж, ему кажется, что на плечах у него целый пуд груза.

Подружка слушала, исподтишка поглядывая на Юсупа-ага, и не знала, верить ли тому, что говорит Дженнет.

А Юсуп-ага не боялся уже встречных машин. Наоборот, опасался, как бы троллейбус — этакая махина! — не раздавил какую-нибудь из них. С интересом разглядывал он дома вдоль улицы. Сегодня они казались еще больше, еще выше, еще красивей, чем вчера. Домики колхозного поселка рядом с ними просто игрушечные.

— Дедушка, нам выходить!

Голос Дженнет так неожиданно прозвучал над ухом, что старик вздрогнул. Покорно дал вывести себя из троллейбуса. По улице пошел как-то медленно, неуверенно, даже споткнулся раза два.

— Почему ты спотыкаешься на ровном месте?

Ничто не ускользнет от этого ребенка.

— Голова что-то кружится.

— Я знаю, почему у тебя голова кружится.

— Почему?

— Ты голодный. Когда человек голоден, у него кружится голова и он спотыкается на ровном месте.

— Откуда тебе известно про это?

— Я видела такой фильм. Ты вчера вечером ничего не ел, только чай пил, сегодня утром опять только чай. Конечно, голова будет кружиться. А вон шашлык продают! Купим шашлыку, дедушка?

— Ты очень интересно рассказываешь, но про меня не угадала. Я не хочу есть, а голова у меня гудит от шума. Слишком много шуму в городе. Все машины жужжат разом, людей полным-полно, и все они говорят одновременно. К тому же все мелькает перед глазами, все спешат, торопятся куда-то.

Лицо старика раскраснелось, покрылось испариной. Дженнет, преисполненная сострадания, предложила:

— Вызвать «скорую»?

— Кто это — «скорая»?

— Врачи. Они скоро оказывают помощь.

— Не нужно. Давай зайдем вон в тот садик.

Под деревьями было прохладно, воздух чище, и Юсупага почувствовал себя лучше. Сели на скамейку, опоясавшую толстенный карагач. Средь листвы его весело чирикали воробьи (совсем как на старой шелковице Центрального пункта), женщина катила мимо них коляску с ребеночком.

Сидели примерно полчаса. Дженнет, неотступно наблюдавшая за дедом, сказала:

— Ты перестал потеть. Значит, и голова твоя перестала кружиться. Теперь ты не будешь спотыкаться. Пошли?

— Давай еще немножко посидим, дитя мое. Шум машин и людской говор даже сюда доносятся, а там...

Дженнет прислушалась.

— В самом деле. А почему тебе не нравится городской шум? Мне нравится. Грохот заводов, рев МАЗов — знаешь, что это такое?

— Что?

— Это мощь Родины!

— А блеяние овец разве не мощь Родины?

— Конечно, нет.

— Почему же?

— Овцы блеют, когда хотят есть или пить. Если их оставить без воды и без корма, они будут худеть, болеть и приплода не дадут.

— Откуда ты знаешь об этом, дитя мое?

— Прочла в книжке.

— В каком классе ты учишься?

— В четвертом... Дедушка, посиди один, я сейчас! — И умчалась. Юсуп-ага даже не успел спросить — куда. Вернулась скоро. Принесла бутылку лимонада и пакетик с чем-то.

— Попей и поешь,— сказала она деду.— Сразу сил прибавится. А то, если не прибавится, мы с тобой не сможем обойти весь зоопарк.

В пакетике был соленый горох, который обычно продают возле пивных баров. Дженнет как-то попробовала и нашла его превосходным. Сейчас она хотела угостить деда тем, что нравилось ей самой. Юсуп-ага от лимонада отказался, а гороху поел, и они отправились в зоопарк.

Зоопарк произвел на старого чабана сильное и противоречивое впечатление. С одной стороны, он рад был встретить старых знакомцев, известных ему животных и птиц. С другой — вид плененных, лишенных воли живых существ подействовал на него удручающе. Он долго стоял у клетки льва.

— Бедный, бедный царь зверей... Лежишь за решеткой, как преступник...— прошептал себе в бороду Юсуп-ага.

— Что ты сказал, дедушка?

— Я говорю, что лев царь зверей.

— Ты и раньше видел львов?

— Нет, только сказки про них слышал.

— А почему лев царь?

— Он самый могучий из хищников. Посмотри, голова как котел.

— Котел не такой, дедушка.

— Ты не видела котла, о котором я говорю, дитя мое. Он огромный, из чугуна. Его устанавливают на очаг, вырытый в земле, и готовят похлебку для больших тоев.

— А-а...

— Но этот бедняга мало похож на царя. Голова как котел, а грива такого же цвета, как верблюжья шерсть. И смирен, как верблюд. Лежит покорно и слезы источает. Просит пощады. Хочет, чтобы его отпустили назад в те места, где поймали. Поохотиться хочет, побегать на воле, полежать в тени деревьев... А его заперли в клетку.

— Ошибаешься, дедушка. Этого льва нигде не ловили. Он родился тут, в зоопарке. Его мать звали Гунной, а его зовут Ширджик. И ничего он, кроме зоопарка, не видел.

— Все равно он знает про волю и просторы, дитя мое.

Я сейчас расскажу тебе один случай, а ты сама решишь, прав я или нет.

Дженнет приготовилась слушать.

— Однажды наш ветеринар дал мне три маленьких яичка, стрепетиных, и попросил положить их под клушку. Курица вывела цыплят, из трех маленьких яичек тоже вылупились птенчики. Они всюду бегали за клушкой и вели себя точно так же, как остальные цыплята. Мы радовались: разведем домашних стрепетов, будут наши дети есть стрепетиные яйца. Но ветеринар говорил, что ручные стрепеты улетят вместе с дикими, когда придет время. И точно. Настала осень, птенчики стрепеты стали взрослыми птицами и все чаще поглядывали на небо и прислушивались к чему-то. Наконец в одну из лунных ночей они поднялись и улетели. Ветеринар сказал — зимовать в Африку. Он предвидел это и на ножку каждого из трех надел железное колечко.

Пришла весна. Травы было много, овцы мои быстро наедались и часто ложились отдыхать. И вот однажды в низинке неподалеку от отары увидел я стайку стрепетов. Птицы тоже заметили меня и упорхнули. А три остались на месте. Я пригляделся и увидел на ножке каждой железное колечко. Это были наши стрепеты, которых высидела курица. Я протянул руку ладонью кверху и стал звать: «Тюй-тюй-тюй»... Как ты думаешь, подошли они ко мне?

— Подошли, да?

— Да. Садились мне на ладонь, щипали клювиками. Раньше я их часто кормил с руки, и они этого не забыли. Все лето жили возле меня, вели себя как ручные, а осенью снова улетели с дикими птицами. Вот теперь скажи: кто научил стрепетов, выведенных вместе с домашними курами, глядеть в небо и улетать осенью в жаркие страны? Если хочешь знать, дитя мое, каждому живому существу, и зверю, и птице, снятся те места, где появились на свет их предки, даже если сами они никогда там не бывали. Знают все дороги и тропиночки, ручейки и реки, леса и степи. Как им удается, не могу тебе объяснить, но это именно так.

Обдумав рассказанное дедом, Дженнет согласилась, что льву Ширджику сейчас, наверное, снится Африка, в которой родилась его мать Гунна.

Дольше всего Юсуп-ага простоял у загончика с овцами. Нельзя сказать, чтобы они ему понравились скорее наоборот,— худые, облезлые. Но что же поделаешь, если других в городе нет.

Когда внучка с дедом вернулась домой, Майса, встревоженная их долгим отсутствием, спросила у дочери:

— Где вы были столько времени?

— В зоопарке.

— Весь день в зоопарке?

— Да. Дедушка никак не хотел уходить от овец. Он был похож на человека, который после долгой разлуки встретил родного брата.

— Дитя мое, откуда ты знаешь, как ведет себя человек, встретивший родного брата? — спросил Юсуп-ага.

— Я видела по телевизору спектакль про такого человека.

5

За ужином Юсуп-ага наконец поел, правда, по мнению заботливой невестки, гораздо меньше, чем надо было, и вся семья уселась смотреть телевизор. Показывали иностранный фильм, на туркменский язык он не был переведен, и Юсуп-ага не понял, о чем на экране идет речь, и, естественно, смотрел его без всякого интереса. Следующая передача — репортаж с завода электроприборов — велась на туркменском языке, но в ней говорилось о вещах столь далеких от старого чабана, что он опять почти ничего не понял.

А «на третье» был хоккей. Три пары глаз уставились на экран с жадным вниманием. Юсуп-ага недоумевал: что там делают эти люди, за чем это они гоняются, будто кошка за мышкой? Таких быстрых, ловких, неутомимых парней он не видел никогда. Но для них ли это странное занятие, похожее на детскую игру? Вот один загнал что-то в сеть. Остальные, ликуя, стали обнимать друг друга. Трое зрителей в комнате тоже возликовали, и кто-то крикнул: «Ура!» Дженнет, вне себя от восторга, обняла деда за шею, но тут же снова вся устремилась к экрану. У Юсупа-ага вконец испортилось настроение. Взрослые мужчины, которым в самый раз пасти овец, пахать землю, делать полезные машины,— заняты детской игрой. А сын, невестка и внучка так увлечены этим зрелищем, что позабыли обо всем на свете. Старик тихонько встал и вышел на балкон.

С балкона он увидел звезды, давно и хорошо знакомые, родные, как и овцы в зоопарке. Правда, со звездами в городе тоже не все в порядке. Их вроде меньше на небе, и не такие они яркие, как в пустыне. Он не догадался, что виной тому городское освещение.

Все равно звезды есть звезды. Хорошо смотреть на них и мечтать, вспоминать родные места. Только вот на что бы прилечь? Неслышно ступая, Юсуп-ага вернулся в гостиную, где трое с напряженным вниманием следили за происходящим на экране. Он прошел в свою комнату, взял кошму и подушку, вынес на балкон и, притворив за собой дверь, расположился под ночным небом. Если сделать над собой некоторое усилие, вполне можно представить, что лежишь на верхушке бархана, а внизу сопят и вздыхают овцы.

Трансляция хоккейного матча закончилась поздно.

— Где отец? — спросил Бяшим, обводя взглядом комнату.

— Правда, где же дедушка?

Заглянули в комнату Юсупа-ага — его там не было. Нехватку кошмы и подушки никто не заметил. Дженнет помчалась на кухню.

— Здесь его тоже нет!

— Может, он на улицу вышел? — предположил Бяшим.

— Какая улица? Ведь уже поздно! — возразила Майса.

Бяшим схватил с вешалки пиджак и выскочил за дверь. Старика не было. «Вышел воздухом подышать, решил пройтись, возможно, свернул куда. И заблудился. Дома-то все, как близнецы, похожие,— думал Бяшим.— Где же его теперь искать?»

Из конца в конец пробежал он свою улицу, обследовал и близлежащие. Завидев человеческую фигуру, окликал: «Отец!» Редких встречных спрашивал, не встречался ли им старик в тельпеке. Майса, встревоженная не меньше, чем он, то входила в комнату к свекру, то бесцельно переставляла посуду на кухне. Дженнет сообразила: если выйти на балкон, можно будет наблюдать за тем, как папа ищет дедушку. Она рванула балконную дверь и увидела спящего Юсупа-ага.

— Мамочка! — шепотом закричала Дженнет.— А дедушка на балконе! Спит!

6

Стремительная, шумная городская жизнь шла своим чередом, а Юсуп-ага никак не мог привыкнуть, найти в ней место для себя. Наоборот, интерес его к городу угасал, а тоска по родному, привычному становилась все глубже. Он замкнулся, почти перестал выходить из дому,

постоянным местом его пребывания сделался балкон. Здесь он лежал, дремал, пил чай, снова засыпал или задумывался. Трудно было определить, спит он или бодрствует. В конце концов Майса напустилась на мужа с упреками:

— Что за жизнь у бедного старика? Не могу на него смотреть, душа разрывается. Ничего не ест, никуда не ходит, почти не встает. Разве ты не видишь, что он тоскует? Неужели не можешь придумать, как развлечь отца?!

— А что придумать? Что? — спрашивал Бяшим.— Сходить в кино или в театр его не уговоришь. От загородных поездок отказывается. Зоопарк вроде бы ему понравился, но и туда он больше не желает ходить. Даже телевизор не смотрит...

— Еще бы! Мы же выбираем передачи для себя. А ему не интересно. Я слышала, как он сказал Дженнет: «Я даже согласен штраф заплатить, лишь бы меня не заставляли смотреть ваш хоккей».

— Что же ему показывать?

— Ну, мало ли что! Например, передачу для работников сельского хозяйства — хоть по телевизору увидит своих баранов. Или концерт бахши Сахи Джапарова...

— Придется из-за него второй телевизор покупать.

— Шутишь? Напрасно... О, придумала! Надо приглашать в гости стариков, таких же, как он. Пусть общается. Люди одного поколения скорее поймут друг друга.

— А ты умница, моя Майса!

— Тебя это удивляет?

— Не очень.

— Нахал!

В квартире Бяшима стали появляться не совсем обычные гости — почтенные яшули. Первый визит состоялся в субботу. Часов в одиннадцать раздался звонок. Бяшим открыл дверь.

— Вы Бяшим?

— Да.

— Здравствуйте. Я отец Кемала.

— О, здравствуйте, Кадыр-ага, входите, пожалуйста!

— Мой сын сказал мне: «К Бяшиму отец приехал жить в городе, сходи к нему, поздоровайся». Вот я и явился.

Увидев, что гость человек его возраста, Юсуп-ага оживился, повеселел. Майса быстро накрыла стол, и стариков оставили вдвоем:

— Может, усядемся на ковре? — предложил Юсуп-ага.— Когда я пью чай за столом, никакого удовольствия не получаю.

— Не будем нарушать порядки этого дома, Юсуп. Тем более — стол уже накрыт. Ничего, что я назвал вас просто Юсуп? По-моему, вы не старше меня.

— Мне семьдесят три года.

— Немножко старше. Мне семьдесят.

Кадыр-ага знал, что его собеседник, прирожденный кумли[1], тоскует в городе, и он должен занимательной беседой развеять эту тоску. Поэтому Кадыр-ага смотрел на ровесника и напряженно думал: о чем бы завести разговор?

— Ровесник мой, я слышал — вы впервые попали в город, это правда?

— Правда.

— Ну и как? Нравится вам здесь?

— Я уподобился человеку, который сел на чужую лошадь, ничего не зная о ее нраве и повадках.

— Со временем привыкнете. Мне тоже сначала казалось, что я с луны свалился,— такое все в городе было чужое и непривычное.

— А вы давно приехали?

— Давненько. В тысяча девятьсот девятнадцатом. На заработки. В то время Ашхабад был похож на большое село. Дома низкие, глинобитные, улицы кривые, узкие. Красная Армия только что изгнала белых. Многие дома были разрушены, улицы перегорожены булыжниками, на железной дороге перевернутые вагоны... Советская власть сказала: надо навести порядок, нужны строители. Вот я и стал строителем. Трудился так, что по ночам кости ныли. Много домов я построил. Я человек, уложивший миллион кирпичей!

Внезапно веселое и гордое выражение на лице Кадыраага сменилось горестной гримасой.

— Где вы были осенью сорок восьмого года, Юсуп?

— Где ж мне быть? В песках, с отарой.

— Ох, как страшно тряслась здесь земля в сорок восьмом! Дом, который я построил собственными руками, рухнул, едва я успел выскочить.

— Семья-то ваша не пострадала?

— Могла пострадать, да солдаты вовремя подоспели. Как я благодарен этим синеглазым здоровякам! Они по-

[1] Кумли — житель пустыни.

могли мне вытащить из развалин жену и детей... А многие тогда погибли. В Ашхабаде уцелело всего три или четыре здания.

— Значит, этот город построен заново?

— Да, именно. Теперь строят быстро. За считанные часы собирают дом, в котором можно разместить население целого поселка. Леса теперь требуется гораздо меньше, зато стекла нужно много.

— Бяшим говорит, что сейчас век стекла.

— Правильно говорит. Вот в этой квартире не только окна, но и двери из стекла, а бывают дома сплошь стеклянные...

Гость увлекся и стал подробно рассказывать о новых строительных материалах, о современной строительной технике. Юсуп-ага слушал, не все понимал и незаметно для себя задремал. Когда раздался легкий храп, гость потихоньку встал и вышел в другую комнату, где Бяшим, Майса и Дженнет опять смотрели хоккей. Он к ним присоединился.

Старый чабан проснулся так же внезапно и легко, как заснул. Увидел на столе чайники, пиалушки, угощение и вспомнил, что был ведь гость!

«Я заснул, а он ушел. Когда рядом кто-то сидит да еще разговаривает с тобой, заснуть очень невежливо. Правда, в степи это не считается невежливым. Там, если ты задремлешь, собеседник начнет дрова для костра собирать либо повернет отару. Проснешься — он продолжит рассказ. Великое дело вздремнуть на полчасика. И силы возвращаются, и мысль работает лучше». Так пытался оправдать себя в собственных глазах Юсуп-ага. Он действительно легко засыпал, мог уснуть, даже едучи на лошади. Но здесь, в городе, спать укладываются основательно и надолго, да и правила приличия иные. Эх, дурно это, что он захрапел посреди беседы! Наверно, обидел хорошего человека.

Огорченный, даже обескураженный, Юсуп-ага за обедом почти не притронулся к плову, в приготовление которого Майса вложила все свое искусство. Гость, посидев еще немного после обеда, ушел, пригласив Юсупа-ага непременно навестить его.

Дня через два Бяшим познакомил отца с другим стариком. Тот был несказанно рад, что нашелся свежий слушатель, которому можно с самого начала и во всех подробностях рассказать о достижениях науки наук — химии.

— Вы уже на пенсии, уважаемый Юсуп?

— Да.

— Это хорошо. А вот мне никак нельзя на пенсию. Много еще предстоит сделать! Перед химией открылись такие горизонты — ой-ой-ой! Мне не то что на пенсию идти — поболеть некогда! Скажите, вы работали в сельском хозяйстве?

— Да.

— В таком случае вам, конечно, знакомы чудеса, совершаемые химией. С помощью химикатов, например, урожаи хлопка...

— Я скотовод, чабан,— перебил энтузиаста химии Юсуп-ага.

— Скотоводам химики тоже оказали немало услуг. У вас имеются пластмассовые домики?

— Как будто бы есть одна такая штука на наших пастбищах, но, говорят, в ней летом жарковато.

— О, теперь мы делаем домики, которые отражают солнечные лучи! В них совсем не жарко, уверяю вас!

Далее химик принялся рассказывать о том, как внесение химических удобрений улучшает травостой на пастбищах. Юсуп-ага хотел отметить, что девственной туркменской пустыне для того, чтоб трава была густой и высокой, ничего не нужно, кроме снега зимой и дождя ранней весною, но промолчал — побоялся обидеть гостя. Когда химик заявил, что теперь нет смысла разводить скот ради кожи, Юсуп-ага с ним согласился. Однако уверение, что надобность в молочном скоте тоже скоро отпадет, ибо молоко будут изготовлять машины, воспринял как странную шутку.

— Да-да, это так, мой дорогой чабан! — настаивал химик.— Более того — скоро и мясо будет искусственное. Конечно, не такое вкусное, как натуральная баранина, но не менее питательное!

Юсупу-ага показалось, что пол уходит у него из-под ног...

7

На следующий день Юсуп-ага по обыкновению лежал на балконе, погруженный то ли в думы, то ли в дрему, как вдруг внимание его привлекла какая-то несообразность внизу, на улице. Он привстал и вытаращил глаза. Обгоняемый стремительными машинами, по обочине шоссе степенно вышагивал верблюд, ведомый туркменом в тель-

пеке. Откуда в этом городе верблюд? Юсуп-ага чуть не бегом спустился с третьего этажа и догнал необычную пару.

— Жив-здоров, братец?

— Салам, яшули.

— Как ты оказался здесь со своим верблюдом?

Человек посмотрел на него удивленно. Юсуп-ага поспешил объясниться:

— Я не горожанин, братец, приехал издалека, из песков. Твой верблюд напомнил мне родные места, вот я и погнался за вами.

— А в городе не так уж мало людей, которые держат верблюдов. Главным образом из-за чала. Вам, наверное, известны, яшули, целебные свойства этого напитка? Многие больные лечатся им.

— Ты сам-то городской?

— Я уже давно здесь живу. Мы поселились на окраине ради этой вот верблюдицы.

Беседуя так, они добрались до одной из центральных магистралей.

— Мне нужно перейти через эту улицу. А вы куда направляетесь, яшули?

— Да никуда. Я живу вон в том высоком доме, мимо которого ты прошел. Увидел тебя с балкона и спустился.

— Пойдемте к нам, яшули. Почаевничаем. Свежий чал у нас тоже найдется. Побеседуем. Мы хоть и в городе живем, а почти что сельские.

— Я бы пошел, да боюсь заблудиться, не найду ведь обратно дорогу.

— Ну, это пустяки, яшули. Обратно мы вас до самого дома проводим.

И Юсуп-ага принял приглашение.

Они стояли у перехода, ожидая, когда уменьшится поток машин, но он вроде не собирался уменьшаться. Рискнуть? Рискнем. И они повели верблюдицу через дорогу. Тут откуда ни возьмись мотоциклист вылетел, словно пуля из ружья. Чтобы не наехать на верблюдицу, резко свернул в сторону, но со скоростью не совладал, стукнулся о бетонный барьер, сооруженный для защиты от селей, и снова отлетел к середине улицы, где и упал. Чтобы не наехать на него, резко затормозил тяжелый грузовик, водитель шедшей сзади «Волги» не ожидал этого и стукнул об него свою машину. Образовалась пробка. Новые друзья поспешили увести верблюдицу обратно. Даже перешли с проезжей части на тротуар. Появились работники ГАИ, и началось выяснение причин дорожной катастрофы. Водители

столкнувшихся машин кричали каждый свое, лежавший на асфальте мотоциклист со стоном сел и попытался дать показания, но лейтенант-автоинспектор не стал его слушать («Вас опрошу после, вы нуждаетесь в услугах врача!»), а попросил двух рослых парней отнести пострадавшего к машине «скорой помощи», которая из-за образовавшейся пробки не могла подъехать к месту столкновения.

— Брат мой, уйдем отсюда. Я еще не видел такого базара машин, ей-богу, голова идет кругом,— сказал Юсупага.

— Нам теперь нельзя уйти,— ответил новый знакомый,— нас не отпустят.

— Кому до нас дело?

— Автоинспектору.

— Кто он такой? Я с ним не знаком.

— Вон тот лейтенант. Он следит за порядком на дорогах. Ему понадобятся свидетели. Он должен выяснить, кто виноват. А мы с тобой свидетели.

— А кто виноват?

— Скоро узнаем.

— Товарищи, кто видел это происшествие с начала до конца? Помогите мне, пожалуйста,— говорил меж тем автоинспектор.

Пятеро пионеров дружно подняли руки. Они рассказали лейтенанту, что целый квартал шли за людьми, ведущими верблюда («Вон того!»), видели, как те стояли, ожидая, пока машин станет меньше, чтобы перейти улицу, как наконец повели верблюда через дорогу, а тот не хотел идти, еле тащился, и в это время из-за поворота выехал мотоциклист. Чтобы не налететь на верблюда, мотоциклист свернул... И далее совершенно точно, в правильной последовательности, были пересказаны все действия участников происшествия. В заключение один из ребят сказал, что успел сфотографировать верблюда в момент перехода улицы.

— Можете проявить! — Он протянул лейтенанту свой фотоаппарат.

Лейтенант подошел к владельцу верблюда и, козырнув, сказал:

— Я сотрудник ГАИ. Имеете ли вы при себе документы, удостоверяющие вашу личность?

— Нет.

— Ничего. Сейчас составим акт, затем вам придется следовать за мной.

— Если можно, я вам здесь все расскажу, товарищ лейтенант. Зачем мне куда-то тащиться с верблюдом?

Я хорошо видел происшествие, и вы по моим показаниям быстро установите виновного.

— Боюсь, что виновный — это вы, гражданин...

...Возвращаясь вечером с работы, Бяшим увидел возле своего дома верблюда, окруженного детьми. Он не придал значения этому не совсем обычному явлению, быстро поднялся к себе на третий этаж. Отец встретил его вопросом:

— Сынок, ты знаешь, где поселок Пахта?

— Знаю.

— Придется нам сегодня туда пойти.

— А что мы там потеряли?

— Видел верблюдицу около дома?

— Видел.

— Забота о ней висит на моей шее.— И Юсуп-ага рассказал сыну о том, что произошло днем.

— Эта поездка, разумеется, не входила в мои планы. Но раз надо, съездим. Только поужинаем сначала. И закажем грузовое такси. Если пойдем пешком, таща за собой верблюда, до утра провозимся, а на машине управимся за двадцать минут.

— Верблюд — за ночь, а машина — за двадцать минут?

— Вот именно. Во-первых, колоссальная разница в скорости, во-вторых, придется подолгу стоять на каждом перекрестке, а перекрестков встретится много.

Юсуп-ага еще покачивал недоверчиво головой, когда раздался звонок у двери. Бяшим открыл.

— Не здесь ли живет яшули по имени Юсуп-ага?

— Это мой отец, входите, пожалуйста.

— О, ты ли это пришел, братец? — радостно вопросил Юсуп-ага.—Проходи, почетным гостем будешь. Благополучно ли завершилось дело?

— Не совсем.

— Так я и думал. Этот парень — как его? — с самого начала был очень суров.

— Я действительно виноват. Все случилось из-за моей медлительной верблюдицы.

— Тебя оштрафовали?

— Пока нет. Если я одним штрафом отделаюсь, сочту себя везучим.

— А что? Может быть и хуже наказание?

— Все зависит от мотоциклиста. Если он не очень пострадал, то и мне не очень влетит.

— А я собирался вести твою верблюдицу к вам в Пахта.

— Вот и вам из-за меня беспокойство. Пропади эта верблюдица пропадом, весь день мучаюсь с ней. Я уже побывал дома и приехал с сыном на мотоцикле. Он внизу ждет. Пойдемте к нам, яшули. Сын по окраинам поведет верблюдицу, а я вас на мотоцикле доставлю в поселок.

— Нет-нет! — Юсуп-ага даже головой затряс.— Ни за что не сяду на мотоцикл. Пусть твой сын на нем едет, а мы с тобой пешком пойдем по окраинам и верблюдицу домой доставим не спеша.

8

Погостив два дня у новых знакомых, Юсуп-ага вернулся к сыну в отличном настроении. Однако скоро от этого настроения не осталось и следа. Старик вновь загрустил, помрачнел. Опять он часами не покидал балкона, лишь изредка ненадолго спускался вниз размять ноги. Из попытки сдружить его с каким-нибудь ровесником-горожанином ничего не выходило. Слишком различны интересы, слишком непохож жизненный опыт. Юсуп-ага стеснялся и скучал. К тому же у него появились головные боли, которые день ото дня все сильнее мучили его. Хуже всего, что они сопровождались слабостью. Человек, у которого совсем еще недавно было железное здоровье, который мог с утра до ночи без устали ходить по пустыне, теперь еле волочил ноги.

В один из теплых февральских дней Юсуп-ага опять сидел на балконе. Слабый ветерок доносил до него запах влажной земли и свежей травки. Эти слабые ароматы он улавливал даже сквозь бензиновую вонь и гарь из труб расположенного неподалеку завода. А сегодня к милым сердцу запахам прибавился еще один, прямо райский. Юсуп-ага никак не мог сообразить, что же это так благоухает. Маки? Нет, не тот аромат, да и откуда макам взяться, сейчас их даже в пустыне еще нет.

Чтобы узнать, не нужно ли дедушке чего, на балкон вышла Дженнет.

— Посиди со мной, дитя мое.

Дженнет села.

— Чувствуешь какой-нибудь запах?

Дженнет принюхалась.

— Запах бензина?

— А еще?

— Больше ничем не пахнет.

— Да ты нюхай хорошенько.

Минуты две девочка добросовестно втягивала носом воздух.

— Ничего не чувствую, дедушка.

— Я бы сказал — благоухают цветы, но что может цвести в такое время?

— А-а-а! Знаю что! Это миндальное дерево! — Дженнет свесилась с балкона.— Вот посмотри, дедушка! Сюда смотри, под стену. Видишь?

Старик, перегнувшись через перила, увидел под самой стеной дерево в бело-розовом цвету.

— Да, еще одна весна пришла...— Юсуп-ага глубоко вздохнул.

— Дед, почему ты все время вздыхаешь? С тобой случилась беда?

— Беда? Не знаю, дитя мое... Сижу — ничего, встану — голова начинает кружиться, вот-вот упаду... Дала бы ты мне крепкого чаю.

Дженнет отправилась на кухню. Пока грелась вода, она перемыла посуду и почистила пылесосом ковер в гостиной. Потом, заварив чай в любимом дедушкином небесно-голубом чайнике, понесла его на балкон.

На балконе она едва не выронила чайник — так поразил ее вид старика.

— Что с тобой, дедушка?

Юсуп-ага жестом попросил поставить возле него чайник. Дженнет, тщательно перемешав чай, налила его в пиалу и подала деду.

— У тебя очень красное лицо. Выпей чаю, легче станет.

А сама ускользнула к соседям и от них позвонила в «скорую помощь». Вернувшись на балкон, увидела деда лежащим на спине. Особенно пугали раскинутые руки.

— Дедушка!!

Юсуп-ага приоткрыл глаза.

— Дитя мое...

Дженнет опустилась возле него на колени и стала поить чаем, держа в одной руке пиалу, другой приподняв голову старика.

Он пил с жадностью, потом сказал, что хочет вздремнуть. В это время у двери позвонили. Дженнет побежала открывать.

— Дедушка, к нам врач пришел! — крикнула она из коридора.— Проходите, больной там, па балконе,— сказала она Оруну Оруновичу, ибо это был он, а сама вышла на лестницу.

Там никого не было. Возле дома тоже никого. Как же так? Врач «скорой помощи» пришел один, без медсестры и даже без халата? Дженнет вернулась в квартиру.

Увидев друга, Юсуп-ага заторопился встать, но не смог.

— Лежи, лежи, дорогой! — Орун Орунович прошел на балкон и сел на кошму.

— Я соскучился по тебе,— тихо сказал Юсуп-ага.— Почему ты шесть месяцев не показывался?

— Вот пришел рассказать, где я пропадал эти шесть месяцев.— Орун Орунович весело улыбался, а сам внимательно разглядывал Юсупа-ага. Явно сдал старый чабан, лицо осунулось, румянец слишком яркий, нездоровый, и такие измученные глаза. Бедняга чем-то болен.— Тоскуешь, наверное, по своим барханам и овцам?

— Э-э, я, кажется, отгулял свое... В ногах совсем силы нет, голова постоянно болит, а погляди-ка на мои руки.— Руки старика дрожали.— Разве они удержат чабанскую палку?

На глаза Юсупа-ага навернулись слезы. Врач сделал вид, что не заметил этих слез. Он предложил старику перебраться в гостиную, уложил его там на диван, потом открыл чемоданчик, который постоянно носил с собой, вынул стетоскоп и аппарат для измерения давления. Не переставая улыбаться, сказал:

— Сейчас произведем настоящий врачебный осмотр и узнаем, чем дышит наш друг кочевник.

Закончив осмотр и помогая старику одеться, Орун Орунович как бы между прочим задавал вопросы:

— Бывает так, что у тебя по телу словпо мурашки бегают?

— Да.

— В ушах звенит?

— Звенело. Но когда ты пришел, перестало звенеть.

— Мурашки тоже скоро перестанут бегать. Прими-ка вот это.

Впервые в жизни Юсуп-ага проглотил лекарство. Орун Орунович потребовал, чтобы старик лег в свою постель. Тот послушался. Врач положил ему под голову две подушки.

— Раньше у тебя бывало такое состояние, как сейчас?

— Две недели назад было похожее. Но я выпил чайник чаю, и все прошло.

Пронзительно задребезжал звонок. На этот раз в дверях стоял человек в белом халате и с ним была медсестра.

— Вызывали «скорую помощь»?

— Да,— ответила ничего не понимающая Дженнет.— А разве...

— Почему никто не встретил машину? — перебил ее врач.— Где больной?

Дженнет проводила его и медсестру в комнату дедушки. Врач спросил у Оруна Оруновича:

— Вы больной?

— Нет, я врач-геронтолог.— Орун Орунович назвал свою фамилию.— Вовремя пришел в гости. Необходимая помощь больному уже оказана.— Он повел рукой в сторону Юсупа-ага.

— Что с ним?

— Гипертонический криз.

Из уважения к гостям Юсуп-ага хотел встать, но Орун Орунович попросил его ради всех святых не двигаться. Поскольку состояние больного явно приближалось к норме — цвет лица, пульс и прочее,— работники «скорой помощи» уехали. Орун Орунович остался. Он решил дождаться Бяшима.

Тот пришел в положенное время вместе с женой — они работали в одной смене. Пока все ужинали и пили чай, Юсуп-ага оставался в постели, врач не позволил ему подняться.

— Благодари судьбу, мой дорогой пустынник, что дело не закончилось инсультом.

Юсуп-ага не знал, что такое инсульт, но Бяшим и Майса знали, поэтому испугались не на шутку.

— Гипертонический кризис мог закончиться инсультом? — спросила Майса.

— Не кризис, а криз,— поправила Дженнет.

— Да, вполне могло случиться кровоизлияние в мозг,— мимолетно улыбнувшись девочке, ответил врач.

— А что надо сделать, чтобы криз не повторился? — спросил Бяшим.

— Этого вопроса я ждал. Но прежде чем ответить на него, следует, пожалуй, объяснить причину возникновения криза. У здорового человека гипертонического криза произойти не может, значит, остается констатировать наличие у вашего отца гипертонической болезни. Факт печальный. Откуда у него гипертония, хотите вы спросить? Причин для этого немало: подавленное настроение, постоянное присутствие факторов, вызывающих волнения, опасения, и как результат слишком большая нагрузка на нервную систему... Да можно еще долго продолжать! Пер-

вым толчком была пресловутая пенсия. У чабана с шестидесятилетним стажем вырвали из рук чабанский посох и сказали: «Дальше живи, ничего не делая». А подтекст был такой: как-нибудь прокормим тебя своим трудом, от тебя же самого теперь не много проку. Думаете, легко было вашему отцу такое пережить? Никогда он не был иждивенцем.

— Если все дело в этом, мы можем и в городе подыскать ему работу,— сказала Майса.— Сторожем, садовником,— словом, что-нибудь легкое, по силам ему.

— Не обольщайтесь, уважаемая. Сторож магазина, садовник в маленьком дворике — это не для вашего старика. Ему нужно его любимое дело, до мелочей знакомое, работа, в которой он как бы всемогущ.

— Вы видели когда-нибудь, как чабаны, согнувшись в три погибели, сидят у костра в тридцатиградусный мороз?! — запальчиво воскликнул Бяшим.— Я не хочу такой участи для моего престарелого отца!

— Для вас это было бы действительно тяжело, возможно, даже гибельно, но не для него. Его организм отлично закален и приспособлен переносить и стужу и зной.

— Теории, доктор! Кабинетная логика!

— Вот это называется — с больной головы на здоровую. Это ваша логика кабинетная, оторванная от конкретности данной ситуации.

— Хорошо. Еще один вопрос. Вы видели, как живут в селе? Даже в самых благоустроенных селах?

— Видел.

— По-вашему, сельский дом может сравниться с нашей квартирой? Открыл один кран, буквально чуть рукой шевельнул,— потекла чистейшая в мире холодная вода, открыл второй — вода горячая. А канализация и, простите, теплый, чистый, удобный туалет? А светлые комнаты, в которых зимой тепло, причем без гари, копоти и золы, а летом прохладно? Почему я не должен хотеть, чтобы мой работяга отец попользовался наконец благами подлинного комфорта?

— Он об этих благах не подозревал и, естественно, не мечтал о них. Они ему, честно говоря, ни к чему. Кроме того, как бы ни были ценны эти блага, они не в состоянии компенсировать для таких, как ваш отец, издержек городского бытия.

— Что вы имеете в виду? Какие издержки?

— А вот такие. Стремительный темп жизни — раз. Теснота, многолюдье везде — в доме, на улице, в троллей-

бусе, даже в зоопарке — два. Круглосуточный неумолчный шум, который мы с вами уже не замечаем, мы с вами, но не человек, всю жизнь проживший в безмолвии и покое пустыни. Это три. Далее. Каждый день на него обрушивается водопад информации, которую он совершенно не в состоянии усвоить и переварить. По-вашему, это не создает нервного напряжения? Наконец, несметное количество автомобилей и прочего транспорта просто-напросто держит его в страхе. Мне говорили, что он даже по тротуару ходит с опаской, словно в джунглях, где при каждом шаге можно наступить на змею. Если хотите знать, его угнетает даже третий этаж. Мне передали его собственные слова: «Жить в этом доме все равно что в гнезде птицы, которое притулилось на гнилом суку».

— От кого вы это слышали? Кто так подробно осведомлен о нашей семье?

— Дженнет.

Мать обернулась, чтобы отругать дочь, но ее не оказалось в гостиной. Она ушла в комнату Юсупа-ага, чтобы быть при нем в случае чего. Шутка ли — у дедушки гипертонический криз и могло даже быть кровоизлияние!

— Не браните девочку. Она у вас очень смышленая. И отзывчивая к тому же. Можете обижаться, но малышка Дженнет кое-что поняла раньше вас.

— Значит, вы утверждаете, что отец не может жить в городе? — Бяшим все еще колебался, не решаясь сделать вывод.

— Да. Я утверждаю, что в городе дни его сочтены. Если хотите, чтобы ваш старик еще долго ходил по земле, отправьте его назад в колхоз. И не просто в колхоз — на чабанский кош. Там от его недуга не останется и следа.

Бяшим тяжело вздохнул и понурился. В это время отворилась дверь и тихонько вошла Дженнет.

— Где ты была? — спросила мать.

— Возле дедушки сидела.

— Как он?

— Спит. А я сидела около него с закрытыми глазами и видела пустыню, ясно, как в кино.

— Интересно! — Орун Орунович и впрямь был заинтересован.— Расскажи-ка, детка, какой ты видела пустыню.

Просить себя Дженнет не заставила.

— Пустыня состоит из мельчайших кусочков камня величиной с кончик иголки,— с жаром начала она.— На

каждом квадратном метре миллиарды таких твердых кусочков. Эти твердые кусочки называются песком. Песок, хотя он из камня, мягкий, как бархат. От малейшего ветерка поверхность пустыни начинает пылить. Меж холмов и барханов во все стороны бегут длинные узкие тропинки. Они ведут от колодца к колодцу. В пустыне пасутся отары овец и табуны лошадей. А чабаны играют для них на камышовых дудках... Я еще видела разные картины, но сразу не вспоминается.

— Ну, все это она слышала от дедушки! — Майса усмехнулась.

— А вот и нет! Дедушка рассказывал про пустыню, но мне привиделось много такого, чего он не говорил и никто не говорил.

— Вздор! Откуда же тогда взялись твои видения? — В голосе Майсы зазвучали раздраженные нотки.

— Ну как ты не понимаешь, мама! Мы ведь происходим из рода кочевников. Бабушка, в честь которой меня назвали Дженнет, тоже жила в песках. И хотя я там никогда не была, я знаю, как выглядят те места, где они кочевали. И вообще все знаю про их жизнь. Откуда знаю, не могу объяснить, но знаю! И сама я тоже буду кочевницей,— твердо закончила Дженнет.

Никто ей не возразил.

9

Возвращение Юсупа-ага на кош чабаны отметили как праздник. В марте начинается окот, у земледельцев тоже горячая пора — посевная, в колхозе каждый человек на счету,— может, поэтому все были рады приезду Юсупа-ага? И поэтому. Но лишь отчасти.

Профессия чабана не так проста, как может показаться горожанину. Она требует множества самых различных знаний, чутья, сноровки, опыта. Всего этого у Юсупа-ага хоть отбавляй. И всегда он щедро делился тем, что умел, с молодыми. Но в колхозе немало других знающих чабанов. Значит, не только из-за опытности Юсупа-ага обрадовались ему в песках.

Так в чем же главная причина общей радости?

А почему ликуют дети, когда приходят родители, чтобы забрать их из садика домой? Ведь в детском саду есть все, что надо для ребят. И все же, завидев мать или отца, ребенок, вне себя от счастья, бросается в их объятия.

Чабаны знали, что овцы, пастбища, колодцы, чабанский посох, костер в степи существовали задолго до появления на свет Юсупа-ага, испокон века, можно сказать. И тем не менее им почему-то всегда казалось, что все это создано Юсупом-ага, его руками, трудами и заботами...

В первые годы существования колхоза общественный скот составлял всего одну отару, и старшим чабаном при ней был Юсуп-ага. Чабаном был его первый сын, Торе, подпаском — второй сын, Курбан. Оба они ушли на фронт в начале Великой Отечественной войны, и оба пали смертью храбрых. Наверное, поэтому колхозным чабанам и казалось, что все пошло от Юсупа-ага и что всем он вроде отца. С самых дальних колодцев явились они, чтобы приветствовать своего патриарха. Поздравив с возвращением, спешили назад на свои коши: овец нельзя бросать без присмотра. С Юсупом-ага остался один Салих. Он первый заметил вдали черную точку и показал на нее старику.

— Нуретдин, наверно, едет,— предположил тот.

Черная точка приближалась, росла, вскоре стало можно определить председателев газик. Нуретдин приехал в сопровождении завфермой мелкого рогатого скота и счетовода. Они сообщили, что правление колхоза назначило Юсупа-ага старшим чабаном прежней его отары.

— Яшули, пересчитай овец и прими. Составим акт,— сказал председатель Нуретдин.

— Составляй свой акт, братец. Я принимаю отару.

— Быстро ты как! Неужто уже сосчитали?

— Юсуп-ага не считал, он осмотрел отару,— сообщил Салих.

— Между осмотром и пересчетом большая разница,— сказал завфермой.

— Настоящий чабан с первого взгляда увидит, каких овец не хватает,— возразил ему Юсуп-ага.— В моей отаре не хватает десяти... нет, двенадцати штук.

Даже Салих был изумлен.

— Верно, двенадцати не хватает. Неужели вы знаете каких, яшули?

— Конечно, знаю. Нет старого барана номер пятьсот двенадцатый, по кличке Бесноватый. Вечно отбивался от отары и бегал один. И любил, как собака, обнюхивать новых людей. Где он?

— Его ужалила змея,— сказал Салих.

— Да, барана под номером пятьсот двенадцать ужалила змея, и он издох,— подтвердил счетовод.— Шкуру оприходовали.

— Нет овцы, похожей на зайчиху. Какой же у нее номер?.. Одна из тех, что приносила ягнят со смушкой сур.

— Овца номер пятьсот тридцать первый околела, поев ядовитой травы,— сообщил Салих.

Счетовод снова подтвердил его слова.

— Ну, а остальных десять, видно, взяли на мясо,— предположил Юсуп-ага,— они были в возрасте.

— Верно. Десять штук из этой отары забрали в счет мясных поставок.

— Все остальные, кажется, в наличии. Так что пиши свой акт, председатель. Укажи, что я принял девятьсот сорок восемь овец, двух коз, одного козла.

После того как с делом было покончено, сели пить чай. Юсуп-ага угощал начальство по всем правилам кумли. У председателя было отличное настроение, и он шутливо сказал старому чабану:

— Юсуп-ага, вы полгода прожили в городе, наверное, видели там немало интересного, познакомились с умными людьми, слышали мудрые речи. Городская культура пока еще выше сельской. Может, есть у вас какие-то пожелания, наставления нам?

— Есть, как не быть.

— Какие же?

Достав из кармана кожаный бумажник, подаренный Майсой, старик извлек из его глубин кусочек асфальта и протянул Нуретдину.

— Асфальт? Зачем вы мне его даете?

— Этой штукой следует покрыть все наши дороги. Ну, если не все, то хотя бы главные. Это мое первое наставление.

— Очень скоро мы его выполним, яшули,— с улыбкой сказал председатель.— С нового года начнем асфальтировать дороги. Говорите второе наставление.

— Второе, братец мой, будет такое: доставь воду прямо в дома. Пусть по одной трубе течет холодная, по другой горячая. Это очень удобно, избавляет от многих хлопот, бережет время.

— Согласен, яшули. Выполним и второе ваше наставление, только попозже. В следующей пятилетке.

— Третье наставление: вот в этом доме установи для нас телевизор. С его помощью можно увидеть, как живут люди всей земли, что они делают, что поют, на каких музыкальных инструментах играют... Много чего можно узнать... Я-то, невежда, думал, что телевизор — коробка, в которую кладут кино, оказывается, это совсем другая

штука. Она может связать тебя с любой частью мира. Великая вещь.

— Обязательно приобретем хороший телевизор для Центрального пункта,— пообещал председатель.— Еще будут наставления?

— Будут, только не сейчас. Потом, когда я вспомню. Сейчас у меня вопрос к тебе есть, Нуретдин.

— Спрашивайте, яшули.

— У Берды двое сыновей, одного я уговорил стать подпаском.

— Вот и хорошо.

— Раньше я тоже так думал, а теперь сомневаюсь.

— Почему?

— Один человек в городе — дураком его не назовешь, наоборот, он так много всего знает — сказал мне, что уже есть машины, которые делают искусственное молоко и мясо.

— Возможно, и есть.

— Но если машинами делать мясо, бараны будут не нужны, а стало быть, и чабаны тоже. Значит, я уговорил своего внука выбрать профессию, которая отживает век?

— Да что вы, яшули! Вовсе нет! — И Нуретдин пустился в длинный разговор о различиях между искусственными и натуральными продуктами. И очень убедительно доказал, что надобность в натуральных продуктах, в настоящем молоке и мясе, никогда не отпадет.— Разве может деланная, фальшивая улыбка заменить искренний и жизнерадостный смех? — сказал он под конец, и Юсупага совершенно уверился в его правоте.

— Значит, овцы так же вечны, как пустыня и небо?

— Да!

Уже садясь в машину, председатель сказал:

— У вас в поселке есть дом и меллек. Надо бы вспахать и посеять что-нибудь. Весна ведь.

— Разве мой меллек не передали другому человеку, когда я уехал в город?

— Нет.

— Почему?

— У нас оставалась слабая надежда на ваше возвращение,— улыбаясь, ответил Нуретдин.

— Брат мой, не нужны мне ни дом, ни меллек. Вся пустыня — мой меллек. Солнце — моя печка, звезды — свечи, а также подобие городских светофоров для машин — они тоже указывают путь. Если мой дом — вселенная, зачем мне те четыре стены в поселке?

Отара ввалилась в загон. Женщины принялись доить овцематок. Ягнята, почуяв запах молока, пронзительно заблеяли. Как отрадны были для взора и слуха Юсупа-ага эта картина и эти звуки!

— Вот и опять ты с нами,— сказал Салих.

— Да, опять я с вами... Ты вернешься на старое место?

— Нет, я буду пасти поярков дальше, на западе, там вырыли новый колодец. Перебирайся и ты туда после окота. Будешь досматривать свои сны.

— Я их уже досмотрел.

— Да? Что же было после того, как красный командир сказал тебе «товарищ»?

— Я его тоже назвал «товарищ». А потом заговорил молодой туркмен-джигит: «Товарищ Борисов сказал, что ты обязательно выздоровеешь. И он обещает возвратиться, чтобы помочь вам построить колхоз». Это не сон, Салих. Я вспомнил — красного командира действительно звали Борисов и туркмен-переводчик действительно сказал те слова.

— И Борисов возвратился?

— Нет. Передавали, что он убит в бою с басмачами.

Доярки, прослушав концерт, который передавали по радио, улеглись спать. Велев и помощнику спать до восхода солнца, Юсуп-ага погнал отару на ночной выпас. Лежа на макушке бархана и глядя на яркие звезды пустыни, он вспомнил городского друга Оруна Оруновича. Тот говорил: «Хотя человек и не вечен, как звезды или пустыня, он должен жить столько, сколько сам захочет, пока ему не надоест». Еще Орун Орунович говорил, что жизнь человеческую укорачивают болезни и, чтобы не болеть, человек должен работать. Работать в семьдесят, в восемьдесят и в сто лет. Работать, чтобы не давать покоя сердцу, чтобы оно не заснуло.

Чтобы не заснуло сердце чабана, он должен день и ночь бродить за отарой. Ноги его по щиколотку утопают в сыпучем песке, но тем не менее он легко взбирается на верхушку бархана с новорожденным ягненком на руках. На лбу его появляется легкая испарина. Эта испарина — доказательство того, что сердце чабана не спит, работает.

1977

Содержание

Туркменские повести

Составитель Атаджан Тагаи

Редактор В. Эльвин

Художественный редактор С. Данилов

Технический редактор Л. Витушкипа

Корректор С. Свиридов.

ИБ № 2891

Сдано в набор 21.10.83. Подписано в печать 16.07.84. Формат 84×108 1/32. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкиовенная иовая». Печать высокая. Усл. печ. л. 29,4 Усл. кр.-отт. 29,4. Уч.-изд. л. 32,88. Изд. № IV-1484. Тираж 50 000 экз. Заказ № 4-437. Цена 2 р. 50 к. Ордена Трудового Красного Зиамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции и ордеиа Трудового Красиого Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Ждаиова Союзполиграфпрома Государствениого комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28. Отпечатаио иа Киевской книжной фабрике республиканского объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР, Киев, ул. Воровского, 24

3

2
6
0

2
0

9
2
0
0

18

/
ая.
84.
ас-
СП,
ена
вой
ар-
ор-
ной
ата


Туркменские повести